М. ГОРЬКИЙ

10

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

# М. ГОРЬКИЙ

## ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

---

### ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
### В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

# М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

---

## «ГОРОДОК ОКУРОВ»
## «ЖИЗНЬ МАТВЕЯ КОЖЕМЯКИНА»
## НАБРОСКИ

1909—1911

МОСКВА · 1971

7-3-1
Подписное

**А. М. ГОРЬКИЙ**

**Капри, 1910—1911 гг.**

# ГОРОДОК ОКУРОВ

«...уездная, звериная глушь».

*Ф. М. Достоевский*

Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди нее — как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони.

Из густых лесов Чернораменья вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханных холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье — там ютится низкое мещанство.

Разрезав город, река течет к юго-западу и теряется в ржавом Ляховском болоте; ощетинилось болото темным ельником, и уходит мелкий лес густым широким строем в серовато-синюю даль. А на востоке, по вершинам холмов, маячат в бледном небе старые, побитые грозами деревья большой дороги в губернию.

Кроме города, на равнине, у опушки Черной Рамени приткнулось небольшое село Воеводино да две деревни: к северу — Обносково, а к востоку — Балымеры, Бубновка тож; вот и всё вокруг Окурова.

Обилие вод в краю насыщает летом воздух теплой влагой и пахучей духотой; небо там бледное и мутное, точно запотело, солнце — тускло, вечерние зори — зловеще багряны, а луна — на восходе — велика и красна, как сырое мясо.

Осенью над городом неделями стоят серые тучи, поливая крыши домов обильным дождем, бурные ручьи размывают дороги, вода реки становится рыжей и сер-

дитой; городок замирает, люди выходят на улицы только по крайней нужде и, сидя дома, покорно ждут первого снега, играют в козла, дурачки, в свои козыри, слушают чтение пролога, минеи, а кое-где — и гражданских книг. Снег падает густо и обильно, тяжкими хлопьями, заваливая улицы города едва не до крыш домов. По ночам на равнине заунывно воют волки; звезды крупны, синеваты и холодны, а зловещая Венера зелена, точно камень изумруд.

Город имеет форму намогильного креста: в комле — женский монастырь и кладбище, вершину — Заречье — отрезала Путаница, на левом крыле — серая от старости тюрьма, а на правом — ветхая усадьба господ Бубновых, большой, облупленный и оборванный дом: стропила на крыше его обнажены, точно ребра коня, задранного волками, окна забиты досками, и сквозь щели их смотрит изнутри дома тьма и пустота.

На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье около семисот. Кроме монастыря, есть еще две церкви: новый, чистенький и белый собор во имя Петра и Павла и древняя деревянная церковка Николая Мирликийского, о пяти разноцветных главах-луковицах, с кирпичными контрфорсами по бокам и приземистой колокольней, подобной кринолину и недавно выкрашенной в синий и желтый цвета.

Мещане в городе юркие, но — сытенькие; занимаются они торговлей красным и другим товаром на сельских ярмарках уезда, скупают пеньку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии; жены и дочери их вяжут из разноцветных шерстей туфли, коты, шарфы, фуфайки и дорожные мешки,— это рукоделие издавна привила им монастырская школа, где почти все они учились грамоте. Город славится вязаньем, посылает его к Макарию на ярмарку, и, должно быть, эта работа развила у жителей любовь к яркой окраске домов.

Главная улица — Поречная, или Бережок,—вымощена крупным булыжником; весною, когда между камней пробьется молодая трава, градской голова Сухобаев зовет арестантов, и они, большие и серые, тяжелые,— молча ползают по улице, вырывая траву с корнем.

На Поречной стройно вытянулись лучшие дома,—

голубые, красные, зеленые, почти все с палисадниками,— белый дом председателя земской управы Фогеля, с башенкой на крыше; краснокирпичный с желтыми ставнями — головы; розоватый — отца протоиереяИсаии Кудрявского и еще длинный ряд хвастливых уютных домиков — в них квартировали власти: войсковой начальник Покивайко, страстный любитель пения, — прозван Мазепой за большие усы и толщину; податной инспектор Жуков, хмурый человек, страдавший запоем; земский начальник Штрехель, театрал и драматург; исправник Карл Игнатьевич Вормс и развеселый доктор Ряхин, лучший артист местного кружка любителей комедии и драмы.

Только почтмейстер Кубарев, знаменитый цветовод, да казначей Матушкин жили на Стрелецкой — эта улица одним концом, разрезая Поречную, выходила на берег реки, а другим уперлась в базарную площадь у ворот монастыря.

В городе много садов и палисадников,— клен, рябина, сирень и акации скрывали лица домов, сквозь зелень приветливо смотрели друг на друга маленькие окна с белыми занавесками, горшками герани, фуксии, бегонии на подоконниках и птичьими клетками на косяках.

Жили на Шихане благодушно и не очень голодно, предуказаниям начальства повиновались мирно, старину помнили крепко, но, когда встречалась надобность, гибко уступали и новым требованиям времени: так, заметив избыток девиц, мещанство решило строить прогимназию.

— Всех девок, видно, замуж не выдашь,— стало быть, пусть идут на службу, в учительницы!

Говорилось тоже, что хорошо бы и гимназию иметь: деревня год от году всё беднеет, жить торговлей становится трудно, ремесло кормит всё хуже, в губернии учить детей — дорого, а учить их надобно: доктора, адвокаты и вообще ученый народ живет сытно.

По праздникам молодежь собиралась в поле за монастырем играть в городки, лапту, в горелки, а отцы и матери сидели у ограды на траве и, наблюдая за игрой, вспоминали старину.

Заезжие фокусники и разные странствующие «артисты» собирали в «Лиссабоне» полный зал; спектакли местного кружка любителей тоже посещались усердно, но особенно были любимы светские концерты местного хора, которыми угощал горожан Мазепа — зимою в «Лиссабоне», а летом на городском бульваре.

Рыжий глинистый обрыв городского берега был укреплен фашинником, а вдоль обрыва город устроил длинный бульвар, густо засадив его тополем, акациями, липой; в центре бульвара голова и Покивайко выстроили за свой счет красную беседку, с мачтой на крыше, по праздникам на мачте трепался национальный флаг. Две лестницы спускаются от беседки по обрыву, под ним летом стояли купальни: полосатая — голубая с белым — Фогеля, красная — головы, и серая, из выгоревших на солнце тесин — «публичная». От купален на реку ложатся разноцветные пятна, и река тихо полощет их кисею.

Другой берег, плоский и песчаный, густо и нестройно покрыт тесною кучей хижин Заречья; черные от старости, с клочьями зеленого мха на прогнивших крышах, они стоят на песке косо, криво, безнадежно глядя на реку маленькими больными глазами: кусочки стекол в окнах, отливая опалом, напоминают бельма.

Среди измятой временем, расшатанной половодьем толпы мещанских домишек торчит красная кирпичная часовня во имя Александра Невского: ее построил предок вымерших помещиков Бубновых на том месте, где его,— когда он, по гневному повелению Павла I, ехал в ссылку в Тобольск,— догнал курьер с приказом нового царя немедля возвратиться в Питер. Часовню эту почти на треть высоты заметало сором и песком, кирпич ее местами выломан во время драк и на починку печей, и даже железный, когда-то золоченый, крест — согнут. Больше никаких приметных зданий в слободе не было, если не считать «Фелицатина раишка», стоявшего в стороне от нее и выше по течению реки.

Ежегодно в половодье река вливалась в дворы Заречья, заполняла улицы — тогда слобожане влезали на чердаки, удили рыбу из слуховых окон и с крыш, ездили по улицам и по реке на плотах из ворот, снятых

с петель, ловили дрова, унесенные водою из леса, воровали друг у друга эту добычу, а по ночам обламывали перила моста, соединявшего слободу с городом.

Весною, летом и осенью заречные жили сбором щавеля, земляники, охотой и ловлею птиц, делали веники, потом собирали грибы, бруснику, калину и клюкву — всё это скупало у них городское мещанство. Человека три — в их числе Сима Девушкин — делали птичьи клетки и садки, семейство Пушкаревых занималось плетением неводов, Стрельцовы работали из корневища березы шкатулки и укладки с мудреными секретами. Семеро слобожан работало на войлочном заводе Сухобаева, девять человек валяло сапоги.

Войлочники и валяльщики сапог пили водку чаще и больше других, а потому пользовались общим вниманием и уважением всех слобожан. Иногда, по праздникам, лучший мастер по войлоку и один из сильнейших бойцов слободы, Герасим Крыльцов, вдруг начинал нещадно бить почитателей своих, выкрикивая, точно кликуша:

— Спаиваете вы меня, анафемы! Погибаю через вас — ух!

Но против него выходил красавец и первый герой Вавило Бурмистров и, засучивая рукава, увещевал его:

— Стой, Гараська! Ты как можешь, злодей, избивать христианский народ, который меня любит и уважает, а? Тебе чего жалко? Ну, держись!

Побежденный Герасим плакал:

— Не денег, братцы, жалко, жизни — жизни жалко моей!

Между городом и слободою издревле жила вражда: сытое мещанство Шихана смотрело на заречан, как на людей никчемных, пьяниц и воров, заречные усердно поддерживали этот взгляд и называли горожан «грошелюбами», «пятакоедами».

С Михайлова дня зачинались жестокие бои на льду реки, бои шли всю зиму, вплоть до масленой недели, и, хотя у слобожан было много знаменитых бойцов, город одолевал численностью, наваливался тяжестью: заречные всегда бывали биты и гонимы через всю сло-

боду вплоть до песчаных бугров — «Кобыльих ям», где зарывали дохлый скот.

Чаще всего из города в Заречье являлась полиция: с обысками, если случалась кража, ради сбора казенных повинностей, описи слободских пожитков за долги и для укрощения частых драк; всякие же иные люди приходили только по ночам, дабы посетить «Фелицатин раишко».

«Раишко» — бывшая усадьба господ Воеводиных, ветхий, темный и слепой дом — занимал своими развалинами много места и на земле и в воздухе. С реки его закрывает густая стена ветел, осин и берез, с улицы — каменная ограда с крепкими воротами на дубовых столбах и тяжелой калиткой в левом полотнище ворот. У калитки, с вечера до утра, всю ночь, на скамье, сложенной из кирпича, сидел большой, рыжий, неизвестного звания человек, прозванный заречными — Четыхер.

До Четыхера сторожем был младший брат Вавилы Бурмистрова — Андрей, но он не мог нести эту должность более двух зим: в холода заречное мещанство волчьей стаей нападало на развалины дома, отрывая от них всё, что можно сжечь в печи, и многое ломали не столь по нужде, сколько по страсти разрушать,— по тому печальному озорству, в которое одевается тупое русское отчаяние. Приходилось грудью защищать хозяйское добро — против друзей и даже родного брата: на этом деле и покончил Андрей свою жизнь — ему отбили печёнки.

Умирая, он хрипел:

— Фелицата,— за тебя стоял,— прощай!

Она плакала, закрывая лицо белыми руками, потом, с честью похоронив защитника, поставила над его могилою хороший дубовый крест и долго служила панихиды об упокоении раба божия Андрия, но тотчас же после похорон съездила куда-то, и у ворот ее «раишка» крепко сел новый сторож — длиннорукий, квадратный, молчаливый; он сразу внушил бесстрашным заречанам уважение к своей звериной силе, победив в единоборстве богатырей слободы Крыльцова, Бурмистрова и Зосиму Пушкарева.

Широкий, двухэтажный, с антресолями, колоннами и террасою, воеводинский дом развалился посредине двора, густо заросшего бурьяном. Вокруг дома лежали остатки служб — Фелицатино топливо; над развалинами печально качались вершины деревьев парка. «Раишко» помещался во втором этаже, его три окна почти всегда были прикрыты решетчатыми ставнями, над ним — как нос над подбородком старика — нависла крыша, обломанная тяжестью снега.

Скрытая за стеною в глубине двора жизнь «Фелицатина раишка» была недоступна наблюдениям заречных людей. Летом горожане являлись с реки, подъезжая в лодках к парку или крадучись берегом по кустам, зимою они проезжали слободской улицей, кутаясь в башлыках или скрывая лица воротниками шуб.

Знали, что у Фелицаты живут три девицы: Паша, Розочка и Лодка, что из хороших людей города наиболее часто посещают «раишко» помощник исправника Немцев, потому что у него хворая жена, податной инспектор Жуков, как человек вдовый, и доктор Ряхин — по веселости характера.

Знали также, что, когда к Фелицате съезжалось много гостей, она звала на помощь себе женщин и девиц слободы; знали, кто из них ходит к ней, но относились к этому промыслу жен и дочерей хладнокровно, деньги же, заработанные ими, отнимали на пропой.

Бородатые лесные мужики из Обноскова, Балымер и других сел уезда, народ смирный и простодушный, даже днем опасались ездить через слободу, а коли нельзя было миновать ее — ездили по трое, по четверо. Если же на улице слободы появлялся одинокий воз, встречу ему, не торопясь, выходили любопытные слобожане,— тесно окружая мужика, спрашивали:

— Что, дядя, продаешь?

И, осматривая товар,— крали, а если мужик кричал, жаловался — колотили его, слегка.

Летними вечерами заречные собирались под ветлы, на берег Путаницы, против городского бульвара, и, лежа или сидя на песке, завистливо смотрели вверх: на красном небе четко вырезаны синеватые главы церквей, серая, точно из свинца литая, каланча, с темной

фигурой пожарного на ней, розовая, в лучах заката, башня на крыше Фогелева дома. Густая стена зелени бульвара скрывала хвастливые лица пестрых домов Поречной, позволяя видеть только крыши и трубы, но между стволов и ветвей слобожане узнавали горожан и с ленивой насмешкой рассказывали друг другу события из жизни Шихана: кто и сколько проиграл и кто выиграл в карты, кто вчера был пьян, кто на неделе бил жену, как бил и за что. Знали все городские романы и торговые сделки, все ссоры и даже намерения горожан.

Узнавалась жизнь Шихана через женщин, ходивших на поденщину: полоть огороды, мыть полы в городских учреждениях, продавать ягоды и грибы на базаре и по домам.

Обо всем, что касалось города, Заречье говорило сатирически и враждебно; про свою жизнь рассуждало мало, лениво; больше всего любили беседы на темы общие, фантастические и выходившие далеко за пределы жизни города Окурова.

Любили пение. Летом каждый раз, когда на городском бульваре распевал хор Мазепы, Заречье откликалось ему голосами своих певцов Вавилы Бурмистрова и Артюшки Пистолета, охотника.

Слободской поэт Сима Девушкин однажды изобразил строй души заречных жителей такими стихами:

Позади у нас — леса,
Впереди — болото.
Господи! Помилуй нас!
Жить нам — неохота.

Скушно, тесно, голодно —
Никакой отрады!
Многие живут лет сто —
А — зачем их надо?

Может, было б веселей,
Кабы вдоволь пищи...
Ну, а так — живи скорей,
Да и — на кладбище!

Первой головою в Заречье был единодушно признан Яков Захаров Тиунов.

Высокий, сухой, жилистый — он заставлял ждать от него суетливых движений, бойкой речи, и было странно видеть его неспешную походку, солидные движения, слышать спокойный глуховатый голос.

Жизнь его была загадочна: подростком лет пятнадцати он вдруг исчез куда-то и лет пять пропадал, не давая о себе никаких вестей отцу, матери и сестре, потом вдруг был прислан из губернии этапным порядком, полубольной, без правого глаза на темном и сухом лице, с выбитыми зубами и с котомкой на спине, а в котомке две толстые, в кожаных переплетах, книги, одна — «Об изобретателех вещей», а другая — «Краткое всемирное позорище, или Малый феатрон».

В то время отец и мать его уже давно померли, сестра, продав хижину и землю, куда-то уехала. Яков Тиунов поселился у повивальной бабки и знахарки Дарьюшки, прозванной за ее болтливость Волынкой. Неизвестно было, на какие средства он живет; сам он явно избегал общения с людьми, разговаривал сухо и неохотно и не мог никому смотреть в лицо, а всё прятал свой глаз, прищуривая его и дергая головой снизу вверх. По вечерам одиноко шлялся в поле за слободой, пристально разглядывая землю темным оком и — как все кривые — держа голову всегда склоненною немного набок.

По рассказам Дарьюшки, дома кривой читал свои большие книги и порою разговаривал сам с собою; слободские старухи назвали его колдуном и чернокнижником, молодые бабы говорили, что у него совесть не чиста, мужики несколько раз пытались допросить его, что он за человек, но — не добились успеха. Тогда они стребовали с кривого полведра водки, захотели еще, а он отказал, его побили, и через несколько дней после этого он снова ушел «в проходку», как объяснила Волынка.

Вернулся Тиунов сорокапятилетним человеком, с седыми вихрами на остром — дынею — черепе, с жиденькой седоватой бородкой на костлявом лице, точно в дыму копченом,— на этот раз его одинокое темное око

смотрело на людей не прячась, серьезно и задумчиво.

Он снова поселился у Волынки и стал являться всюду, где сходились люди: зимой — в трактире Синемухи, летом — на берегу реки. Оказалось, что он хорошо поправляет изломанные замки, умеет лудить самовары, перебирать старые меха и даже чинить часы. Слобода, конечно, не нуждалась в его услугах, если же и предлагала иногда какую-нибудь работу, то платила за нее угощением. Но город давал Тиунову кое-какие заработки, и он жил менее голодно, чем другие слобожане.

Жизнь его проходила размеренно и аккуратно: утром бабы, будя мужей, говорили:

— Вставай, лежебок! Седьмой час в исходе — уж кривой в город шагает!

И все знали, что из города он воротится около шести вечера. По праздникам он ходил к ранней обедне, потом пил чай в трактире Синемухи, и вплоть до поздней ночи его можно было видеть всюду на улицах слободы: ходит человек не торопясь, задумчиво тыкает в песок черешневой палочкой и во все стороны вертит головой, всех замечая, со всеми предупредительно здороваясь, умея ответить на все вопросы. Речь его носит оттенок книжный, и это усиливает значение ее.

Когда бойкая огородница Фимка Пушкарева, больно побитая каким-то случайным другом сердца, прибежала к Тиунову прятаться и, рыдая, стала проклинать горькую бабью долю,— кривой сказал ей ласково и внушительно:

— А ты, Серафима, чем лаять да выть, подобно собаке, человечий свой образ береги, со всяким зверем не якшайся: выбери себе одного кого — поласковее да поумнее — и живи с ним! Не девушка, должна знать: мужчине всякая баба на час жена, стало быть, сама исхитрись сдержку поставить ему, а не стели себя под ноги всякому прохожему, уважь божье-то подобие в себе!

Слова эти запомнились женщинам слободы, они создали кривому славу человека справедливого, и он сумел получить за них не мало добрых бабьих ласк.

Но, как и раньше, в лунные ночи он ходил по полям вокруг слободы и, склонив голову на плечо, бормотал о чем-то.

Собираясь под ветлами, думающие люди Заречья ставили Тиунову разные мудрые вопросы.

Начинал всегда Бурмистров,— он чувствовал, что кривой затеняет его в глазах слобожан, и, не скрывая своей неприязни к Тиунову, старался чем-нибудь сконфузить его.

— Эй, Тиунов! Верно это — будто ты к фальшивым деньгам прикосновенность имел и за то — пострадал напрасно?

— Деньги — они все фальшивые,— спокойно отвечает кривой, нацеливаясь глазом в глаза Вавилы.

Бурмистров смущен и уже немножко горячится.

— Это как же? Ежели я вылью целковый из олова со стеклом и ртутью его обработаю, а казна — из серебра,— что же будет?

— Два целковых и будет! — глуховато говорит Тиунов.— И серебру и олову — одна цена в этом разе. Бумажный рубль есть, значит и деревянный али глиняный — можно сделать. А вот ежели ты сапог из бересты склеишь — это уж обман! Сапог есть вещь, а деньги — дрянь!

Говорит он уверенно, глаз его сверкает строго, и все люди вокруг него невольно задумываются.

Колченогий печник Марк Иванов Ключников, поглаживая голый свой череп и опухшее желтое лицо, сипло спрашивает:

— Вот, иной раз думаю я — Россия! Как это понять — Россия?

Тиунов, не задумываясь, изъясняет:

— Что ж — Россия? Государство она, бессомненно, уездное. Губернских-то городов — считай — десятка четыре, а уездных — тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия.

Помолчав, он добавил:

— Однако — хорошая сторона, только надо это понять, чем хороша, надо посмотреть на нее, на Русь, пристально...

— Не на этом ли тебе глаз-от вышибло? — спрашивает Бурмистров, издеваясь.

Ключников моргает заплывшими глазами и думает о чем-то, потирая переносицу.

Переваливаясь с боку на бок, Вавило находит еще вопрос:

— Вот — ты часто про мещан говоришь! — строго начинает он.— А ты знаешь — сколько нас, мещанства?

— Мы суть звезды мелкие, сосчитать нас, поди-ка, и немысленно.

— Врешь! Годов шесть тому назад считали!

— Стало быть, кто считал — он знает. А я не знаю. Трудно, чай, было итог пам подвести? — добавляет он с легоньким вздохом и тонкой усмешкой.

— Отчего?

— Оттого, главное, что дураки — они самосевом родятся.

Бурмистров, имея прекрасный случай придраться к Тиунову, обиженно кричит:

— Я разве дурак?

Но Ключников, Стрельцов и скромный Зосима Пушкарев, по прозвищу Валяный Чёрт,— успокаивают красавца.

А успокоив, Ключников, расковыривая пальцем дыру на колене штанины, озабоченно спрашивает:

— Ну, а примерно, Москва?

— Что ж Москва? — медленно говорит кривой, закатив темное око свое под лоб.— Вот, скажем, на ногах у тебя опорки, рубаха — год не стирана, штаны едва стыд прикрывают, в брюхе — как в кармане — сор да крошки, а шапка была бы хорошая... скажем — бобровая шапка! Вот те и Москва!

Отдуваясь и посапывая, Ключников обводит кривого взглядом, точно гадального петуха — на святках — меловой чертой, и — лениво говорит:

— А ведь, пожалуй, верно это!

Лежат они у корней ветел, точно куча сора, намытого рекой, все в грязных лохмотьях, нечесаные, ленивые, и почти на всех лицах одна и та же маска надменного равнодушия людей многоопытных и недоступных чувству удивления. Смотрят полусонными глазами на мутную воду Путаницы, на рыжий обрыв городского берега и в белесое окуровское небо над бульваром.

Влажный воздух напоен теплым запахом гниющих трав болота,— люди полны безнадежной скукой. Темный глаз кривого оглядывает их, меряет; Тиунов вертит головою так же, как в тот час, когда он подбирает старые, побитые молью меха.

Молчаливый Павел Стрельцов спрашивает Тиунова всегда о чем-нибудь, имеющем практическое значение.

— А что, Яков Захарыч, ежели водку чаем настоять — будет с этого мадера?

— Не будет! — отвечает Тиунов спокойно и решительно.— Мадеру настаивают — ежели по запаху судить — на солодском корне...

— Врешь ты, кривой! — говорит Бурмистров.— Никто ничего не знает, а ты — врешь!

— Не верь,— советует кривой.

— И не буду! Мне — ото всех твоих слов — плесенью пахнет. Ну какая беспокойная тоска всё это!

Вздыхают, плюют на песок, позевывая, крутят папироски. Вечер ласково стелет на берег теплые тени ветел. Со стороны «Фелицатина раишка» тихо струится заманчивая песня:

Ой ли, милые мои,
Разлюбезные мои...

— тонким голосом выводит Розочка, а Лодка сочно и убедительно подхватывает:

А пригоже ль вам, бояре,
Мимо терема идти?..

— Любит эта Розка по крышам лазить! — замечает Стрельцов.— Отчего бы?

— С крыш — дальше видно,— объясняет Тиунов.

В мягкую тишину вечера тяжко падает Фелицатин басовой хозяйский голос:

— Розка!

— Ну?

— Чай пить иди!

Ключников, чмокая губами, говорит:

— Хорошо бы теперь почайничать!

— Не сходя с места,— добавляет Зосима Пушкарев.

Бурмистров, обращаясь к Стрельцову, укоряет его:

— Еще в позапрошлом году хотел ты чайник завести, чтобы здесь чай пить,— ну, где он?

Круглое лицо Павла озабоченно хмурится, острые глазки быстро мигают, и, шепелявя, он поспешно говорит:

— Я, конечно, его сделаю, чайник! Со свистком хочется мне, чтобы поставил на огонь и — не думай! Он уж сам позовет, когда вскипит,— свистит он: в крышке у него свисток будет!

И вдруг, осененный новою мыслью, радостно объявляет:

— А то — колокольчик можно приспособить! На ручке — колокольчик, а внутри, на воде — кружок, а в кружке — палочка — так? Теперь — ежели крышку чайника прорезать, палочку,— можно и гвоздь,— лучше гвоздь!— пропустить сквозь дыру — ну, вода закипит, кружок закачается — тут гвоздь и начнет по колоколу барабанить — эко!

— Ну и башка! — изумленно говорит Зосима, опуская длинные желтые ресницы на огромные мутные глаза.

За рекой, на бульваре, появляются горожане: сквозь деревья видно, как плывут голубые, розовые, белые дамы и девицы, серые и желтые кавалеры, слышен звонкий смех и жирный крик Мазепы:

— Рэгэнт? Та я ж — позовить его!

Заречные люди присматриваются и громко сообщают друг другу имена горожан.

— Исправник вышел! — замечает Бурмистров, потягиваясь, и ухмыляется.— Хорошо мы говорили с ним намедни, когда меня из полиции выпускали. «Как это, говорит, тебе не стыдно бездельничать и буянить? Надо, говорит, работать и жить смирно!» — «Ваше, мол, благородие! Дед мой, бурмистр зареченский, работал, и отец работал, а мне уж надобно за них отдыхать!» — «Пропадешь ты», говорит...

— И по-моему,— говорит Ключников, зевнув,— должен ты пропасть из-за баб, как брат твой Андрей пропал...

— Андрей — от побоев! — говорит Зосима.—И вину сильно прилежал...

Бурмистров осматривает всех гордым взглядом и веско замечает:

— Не от вина и не от побоев, а — любил он Фелицату! Кабы не любил он ее — на что бы ему против всех в бой ходить?

Берегом, покачиваясь на длинных ногах, шагает высокий большеголовый парень, без шапки, босой, с удилищами на плече и корзиною из бересты в руках. На его тонком сутулом теле тяжело висит рваное ватное пальто, шея у него длинная, и он странно кивает большой головой, точно кланяясь всему, что видит под ногами у себя.

Павел Стрельцов, суетясь и волнуясь, кричит встречу ему:

— Сим! Иди скорей!

И, стоя на коленях, ждет приближения Симы, глядя на его ноги и словно считая медленные, неверные шаги.

Лицо Симы Девушкина круглое, туповатое, робкие глаза бесцветны и выпучены, как у овцы.

— Ну, чего сочинил? Сказывай! — предлагает Стрельцов.

И Ключников, ласково улыбаясь, тоже говорит:

— Барабань, ну!

Шаркая ногой по песку и не глядя на людей, Сима скороговоркой, срывающимся голосом читает:

Боже — мы твои люди.
А в сердцах у нас — злоба!
От рожденья до гроба
Мы друг другу — как звери!

С нами, господи, буди!
Не твои ли мы дети?
Мы тоскуем о вере,
О тебе, нашем свете...

— Ну, брось, плохо вышло! — прерывает его Бурмистров.

А Тиунов, испытующе осматривая поэта темным оком, мягко и негромко подтверждает:

— Священные стихи не вполне выходят у тебя, Девкин! Священный стих, главное, певучий:

Боже,— милостив буди ми грешному.
Подай, господи, милости божией...

Вот как священный стих текёт! У тебя же выходит трень-брень, как на балалайке!

Стрельцов, отрицательно мотая головой, тоже говорит:

— Не годится...

Сима стоит над ними, опустя тяжелую голову, молча шевелит губами и всё роет песок пальцами ноги. Потом он покачивается, точно готовясь упасть, и идет прочь, загребая ногами.

Глядя вслед ему, Тиунов негромко говорит:

— А все-таки — складно! Такой с виду — блаженный как бы... Вот — узнай, что скрыто в корне человека!

— Говорят — будто бы на этом можно деньги зашибить? — мечтательно спрашивает Стрельцов.

— А почему нельзя? Памятники даже ставят некоторым сочинителям: Пушкину в Москве поставили... хотя он при дворе служил, Пушкин! Державину в Казани — тоже придворный, положим!

Кривой говорит задумчиво, но всё более оживляется и быстрее вертит шеей.

— Особенно в этом деле почитаются вот такие, как Девушкин этот,— низкого происхождения люди. Был при Александре Благословенном грушник Слепушкин, сочинитель стихов, так ему государь золотой кафтан подарил да часы, а потом Бонапарту хвастался: «Вот, говорит, господин Бонапарт, у вас — беспорядок и кровопролитное междоусобие, а мои мужички — стишки сочиняют, даром что крепостные!»

— Это он ловко срезал! — восхищается Ключников.

Бурмистров сидит, обняв колена руками, и, закрыв глаза, слушает шум города. Его писаное лицо хмуро, брови сдвинуты, и крылья прямого крупного носа тихонько вздрагивают. Волосы на голове у него рыжеватые, кудрявые, а брови — темные; из-под рыжих пу-

шистых усов красиво смотрят полные малиновые губы. Рубаха на груди расстегнута, видна белая кожа, поросшая золотистою шерстью; крепкое, стройное и гибкое тело его напоминает какого-то мягкого, ленивого зверя.

— Ерунда всё это! — не открывая глаз, ворчит он.— Стихи, памятники — на что они мне?

— Тебе бы только Лодку! — говорит Ключников, широко улыбаясь.

Зосима Пушкарев оживленно восклицает:

— Ну ж,— она ему и пара! И красива — ух! Не хуже его, Вавилы-то, ей-богу...

— Почему — ерунда? — тихо спрашивает кривой, действуя глазом, точно буравом.— Если стих соответствует своему предмету — он очень сильно может за сердце взять! Например — Волга, как о ней скажешь?

Протянув руку вперед и странно разрубая слога, он тихо говорит своим глухим голосом:

Во-лга, Во-лга, вес-ной много-водною
Ты не так за-ливаешь поля,
Как великою скорбью народною...

Понимаете?

Как великою скорбью народною
Переполнилась наша земля!

Русская земля! Вот — правильные стихи! Широкие!

— Это ты откуда взял? — спрашивает печник, подвигаясь к нему.

— В Москве, в тюремном замке, студенты пели...

— Ты там сидел?

— А как же!

— За фальшивки?

— Нет! Ведь это так, шутка, что я фальшивками занимался, меня за бродяжничество сажали и по этапам гоняли. А раз я попал по знакомству: познакомился в трактире с господином одним и пошел ночевать к нему. Господин хороший. Ночевал я у него ночь, а на другую — пришли жандармы и взяли нас обоих! Он, оказалось, к политике был причастен.

— Что такое политика эта? — удивленно спрашивает Стрельцов.— Вон, сказывают, у одной мещанки в городе сына, солдата, посадили...

— У Маврухиной это!

— Помешалась она, говорили бабы...

— Политика — разно понимается,— спокойненько объясняет Тиунов.— Одни говорят: надобно всю землю крестьянам отдать; другие — нет, лучше все заводы рабочим; а третьи — отдайте, дескать, всё нам, а мы уж разделим правильно! Все, однако, заботятся о благополучии людей...

— Ну, а насчет мещан как?

Бурмистров, обернувшись к Стрельцову, строго заметил:

— Мещан политика не касается!

Кривой, поджав губы, промолчал.

С реки поднимается сырость, сильнее слышен запах гниющих трав. Небо потемнело, над городом, провожая солнце, вспыхнула Венера. Свинцовая каланча окрасилась в мутно-багровый цвет, горожане на бульваре шумят, смеются, ясно слышен хриплый голос Мазепы:

— Да — пэрэстаньте!

Вдруг раздается хоровое пение марша:

Как-то раз, перед толпою
Соплеменных гор...

— Погодите! — грозя кулаком, говорит Бурмистров.— Придет Артюшка — мы вам покажем соплеменных!

И орет:

— Артюшка-а!

Павел Стрельцов неожиданно и с обидою в голосе бормочет:

— Вот тоже сахар возьмем — отчего из березового сока сахар не делать? Сок — сладкий, березы — много!

Ему никто не отвечает.

— Также и лен,— почему только лен? А может, и осока, и всякая другая трава годится в дело? Надо всё испробовать!

Заложив руки за спину, посвистывая, идет Артюшка Пистолет, рыболов, птичник, охотник по перу и пушнине. Лицо у него скуластое, монгольское, глаза узкие, косые, во всю левую щеку — глубокий шрам: он приподнял угол губ и положил на лицо Артюшки бессменную кривую улыбку пренебрежения.

— Зачастили? — говорит он, кивая головой на город.— Ну, перебьем?

Бурмистров встает, потягивается, выправляя грудь, оскаливает зубы и командует:

— Начинай! Эх, соплеменные,— держись!

В сырой и душный воздух вечера врываются заунывные ноты высокого светлого голоса:

Ой, да ты, кукушка-а...

Артем стоит, прислонясь к дереву, закинув руки назад, голову вверх и закрыв глаза. Он ухватился руками за ствол дерева, грудь его выгнулась, видно, как играет кадык и дрожат губы кривого рта.

Вавило становится спиной к городу, лицом — к товарищу и густо вторит хорошим, мягким баритоном:

Ой ли, птица бесприютная-а,
Про-окукуй мне лето красное!

Вавило играет песню: отчаянно взмахивает головой, на высоких, скорбных нотах — прижимает руки к сердцу, тоскливо смотрит в небо и безнадежно разводит руками, все его движения ладно сливаются со словами песни. Лицо у него ежеминутно меняется: оно и грустно и нахмурено, то сурово, то мягко, и бледнеет и загорается румянцем. Он поет всем телом и, точно пьянея от песни, качается на ногах.

Все, не отрываясь, следят за его игрою, только Тиунов неподвижно смотрит на реку — губы его шевелятся и бородка дрожит, да Стрельцов, пересыпая песок с руки на руку, тихонько шепчет:

— Вот, тоже, песок... Что такое — песок, однако?

Из сумрака появляется сутулая фигура Симы, на плечах у него удилища, и он похож на какое-то большое насекомое с длинными усами. Он подходит бесшумно и,

встав на колени, смотрит в лицо Бурмистрова, открыв немного большой рот и выкатывая бездонные глаза.

Сочный голос Вавилы тяжело вздыхает:

Эх, да вы ль, пути-дороги темные...

Когда разразилась эта горестная японская война — на первых порах она почти не задела внимания окуровцев. Горожане уверенно говорили:

— Вздуем!

Покивайко, желая молодецки выправить грудь, надувал живот, прятал голову в плечи и фыркал:

— Японсы? Розумному человеку даже смешно самое это слово!

Фогель лениво возражал:

— Ну, не скажите! Они все-таки...

Но Покивайко сердился:

— А що воно таке — высетаке?

И с ехидной гримасой на толстом лице завершал спор всегда одной и той же фразой:

— Скэптицизм? Я вам кажу — лучше человеку без штанов жить, чем со скэптицизмом...

Долетая до Заречья, эти разговоры вызывали там равнодушное эхо:

— Накладем!

И долго несчастия войны не могли поколебать эту мертвую уверенность.

Только один Тиунов вдруг весь подобрался, вытянулся, и даже походка у него стала как будто стремительнее. Он возвращался из города поздно, приносил с собою газеты, и почти каждый вечер в трактире Синемухи раздавался негромкий, убеждающий голос кривого:

— Кто воюет? Россия, Русь! А воеводы кто? Немцы!

Озирая слушателей темным взглядом, он перечислял имена полководцев и поджимал губы, словно обиженный чем-то.

— Какие они немцы? — неохотно возражали слушатели. Чай, лет сто русский хлеб ели!

— Репой волка накормишь? Можешь? — серьезно спрашивает Тиунов.— Вы бы послушали, что в городе канатчик Кожемякин говорит про них! Да я и сам знаю!

— Ущемил, видно, тебя однажды немец, вот ты его и не любишь!

Развивались события, нарастало количество бед, горожане всё чаще собирались в «Лиссабон», стали говорить друг другу сердитые дерзости и тоже начали хмуро поругивать немцев; однажды дошло до того, что земский начальник Штрехель, пожелтев от гнева, крикнул голове и Кожемякину:

— А я вам скажу, что без немцев вы были бы грязными татарами! И впредь прошу покорно при мне...

Дергая круглыми плечами, Покивайко встал перед ним и сладостно возопил:

— Да сердце ж вы мое! Боже мой милый! Немцы, татары, або мордвины — да не всё ли ж равно нам, окуровцам? Разве ж мы так-таки уж и не имеем своего поля? А нуте, пожалуйте, прошу...

И осторожно отвел желчного Штрехеля за карточный стол.

В Заречье несчастия войны постепенно вызывали спутанное настроение тупого злорадства и смутной надежды на что-то.

— Посмотреть бы по карте, как там всё расположено...— предлагал озабоченно Павел Стрельцов.— Море там, вот его бы пустить в действие...

— Шабаш! — осторожно загудел Тиунов, когда узнали о печальном конце войны.— Ну, теперь те будут Сибирь заглатывать, а эти — отсюда навалятся!

Он тыкал пальцем на запад и, прищуривая глаз, словно нацеливался во что-то, видимое ему одному.

Вавило Бурмистров стал задумываться: он долго исподволь прислушивался к речам кривого и однажды, положив на плечо ему ладонь, в упор сказал:

— Ну, Яков, не раздражай души моей зря — говори прямо: какие твои мысли?

Тиунову, видимо, не хотелось отвечать, движением плеча он попробовал сбросить руку Вавилы, но рука лежала тяжело и крепко.

— Отступись! — с трудом вывертываясь, сказал он тихонько.

Бурмистров привык, чтобы его желания исполнялись сразу, он нахмурил темные брови, глубоко вздохнул

и тотчас выпустил воздух через ноздри — звук был такой, как будто зашипела вода, выплеснутая на горячие уголья. Потом молча, движениями рук и колена, посадил кривого в угол, на стул, сел рядом с ним, а на стол положил свою большую жилистую руку в золотой шерсти. И молча же уставил в лицо Тиунова ожидающий, строгий взгляд.

Завсегдатаи трактира тесно окружили их и тоже ждали.

— Ну,— сказал Тиунов, оглядываясь и сухо покашливая,— о чем же станем беседовать мы?

— Говори, что знаешь! — определил Бурмистров.

— Я на всю твою жизнь знаю, тебе меня до гроба не переслушать!

— Ничего, авось ты скорей меня подохнешь! — ответил Вавило, и всем стало понятно, что если кривой не послушается — красавец изобьет его.

Но Тиунов сам понял опасность; решительно дернув головой кверху, он спокойно начал:

— Ладно, скажу я вам некоторые краткие мысли и как они дошли до моего разума. Будучи в Москве, был я, промежду прочим, торговцем — продавал подовые пироги...

И начал подробно рассказывать о каком-то иконописце, вдовом человеке, который весь свой заработок тратил на подаяние арестантам. Говорил гладко, но вяло и неинтересно, осторожно выбирал слова и словно боялся сказать нечто важное, что люди еще не могут оценить и недостойны знать. Посматривал на всех скучно, и глуховатый голос его звучал подзадоривающе лениво.

— Ты, однако, меня не дразни! — сказал Вавило сквозь зубы.— Я — кроткий, но коли что-нибудь против меня — сержусь я тогда!

Кривой помолчал, потом строго воззрился на него и вдруг спросил:

— Ты — кто?

— Я?

— Да, ты.

Озадаченный вопросом, Бурмистров улыбнулся, оглядел всех и натянуто захохотал.

— Ты — мещанин? — спокойно и с угрозою вновь спросил кривой.

— Я? Мещанин! — Вавило ударил себя в грудь кулаком.— Ну?

— А знаешь ты, что такое соответствующий человек? — спрашивал Тиунов, понижая голос.

— Какой?

Кривой тихо и раздельно повторил:

— Со-ответствующий!

Бурмистров не мог более чувствовать себя в затруднительном положении: он вскочил, опрокинул стол, скрипнув зубами, разорвал на себе рубаху, затопал, затрясся, схватил Тиунова за ворот и, встряхивая его, орал:

— Яков! Не бунтуй меня!

Эти выходки были всем знакомы: к ним Вавило прибегал, когда чувствовал себя опрокинутым, и они не возбуждали сочувствия публики.

— Брось дурить, кликуша! — сказал Зосима Пушкарев, охватывая его сзади под мышки толстыми ручищами.

— Словно беременная баба, в самом деле! — презрительно и строго говорит Пистолет, и лицо у него становится еще более кривым.— Только тебе и дела — зверем выть! Дай послушать серьезный человечий голос!

Бурмистров почувствовал себя проигравшим игру, сокрушенно мотнул головой и, как бы сильно уставший, навалился на стол.

А Тиунов, оправляя чуйку, осторожно выговаривал, слово за словом:

— Мы все — мещане. Будем, для понятности, говорить по-азбучному, просто. Чему мы, примерно, соответствуем? По-азбучному сказать: какое нам место и дело отведено на земле государевой? Вопрос!

Никто не ответил на этот вопрос.

— Купец ли, дворянин ли и даже мужик — самый низкий слой земного жителя — все имеют соответственность тому-другому делу. А наше дело — какое?

Оратор вздохнул и, посмотрев на слушателей, победно усмехнулся.

— Ученых людей, студентов, которые занимаются политикой, спрашивал, двух священников, офицера — тоже политический,— никто не может объяснить — кто есть в России мещанин и какому делу-месту соответствует!

Ключников толкнул Вавилу в бок.

— Слышишь?

— Пошел к чёрту! — пробормотал Вавило.

— Но вот,— продолжал Тиунов,— встретил я старичка, пишет он историю для нас и пишет ее тринадцать лет: бумаги исписано им с полпуда, ежели на глаз судить.

— Кожемякин? — угрюмо спросил Вавило.

— Вот, говорит, тружусь, главнейше — для мещанства,— не ответив, продолжал кривой,— для него, говорит, так как неописуемо обидели его и обошли всеми дарами природы. Будет, говорит, показано мною, сколь русский народ, мещане, злоплененное сословие, и вся судьба мещанской жизни.

Бурмистров снова спросил:

— Ты читал?

— Нет, не читал. Но — я знаю некоторые краткие мысли оттуда. Вот, например, мы: какие наши фамилии? По фамилиям — мы выходим от стрельцов, пушкарей, тиунов — от людей нужных, и все мы тут — люди кровного русского ряда, хотя бы и черных сотен!

— Чего ты хочешь? — сурово спросил Вавило в третий раз.

Потирая руки, Тиунов объявил:

— Как чего? Соответственного званию места — больше ничего!

Он окинул всех просиявшим оком и, заметив, что уже на многих лицах явилась скука, продолжал живее и громче:

— Не желательно разве мне знать, почему православное коренное мещанство — позади поставлено, а в первом ряду — Фогеля, да Штрехеля, да разные бароны?

Павел Стрельцов охнул и вдруг взвился, закричал и захлебнулся.

— Верно-о! Да... дай мне ходу, да я — господи! — всякого барона в деле обгоню!..

Его крик подчеркнул слова Тиунова, и все недоверчиво, с усмешками на удивленных лицах, посмотрели друг на друга как бы несколько обновленными глазами. Стали вспоминать о своих столкновениях с полицией и земской управой, заговорили громко и отрывисто, подшучивая друг над другом, и, ласково играючи, толкались.

Были рады, что кривой кончил говорить и что он дал столь интересную тему для дружеской беседы.

А Вавило Бурмистров, не поддаваясь общему оживлению, отошел к стене, закинул руки за шею и, наклоня голову, следил за всеми исподлобья. Он чувствовал, что первым человеком в слободе отныне станет кривой. Вспоминал свои озорные выходки против полиции, бесчисленные дерзости, сказанные начальству, побои, принятые от городовых и пожарной команды,— всё это делалось ради укрепления за собою славы героя и было дорого оплачено боками, кровью.

Но вот явился этот пройдоха, застучал языком по своим черным зубам и отодвигает героя с первого места куда-то в сторону. Даже Артюшка — лучший друг — и тот, отойдя в угол, стоит один, угрюмый, и не хочет подойти, перекинуться парой слов. Бурмистров был сильно избалован вниманием слобожан, но требовал всё большего и, неудовлетворенный, странно и дико капризничал: разрывал на себе одежду, ходил по слободе полуголый, валялся в пыли и грязи, бросал в колодцы живых кошек и собак, бил мужчин, обижал баб, орал похабные песни, зловеще свистел, и его стройное тело сгибалось под невидимою людям тяжестью. Во дни таких подвигов его красивое законченное лицо становилось плоским, некоторые черты как бы исчезали с него, на губах являлась растерянная, глуповатая улыбка, а глаза, воспаленные бессонницей, наливались мутной влагой и смотрели на всё злобно, с тупой животной тоской. Но — стоило слобожанам подойти к нему, сказать несколько ласковых похвал его удали,— он вдруг весь обновлялся, точно придорожная пыльная береза, омытая дождем после долгой засухи, снова красивые глаза вспыхивали ласковым огнем, выпрямлялась согнутая спина, сильные руки любовно обнимали

знакомых; Вавило, не умолкая, пел хорошие песни, готов был в эти дни принять бой со всеми за каждого и даже был способен помочь людям в той или другой работе.

Сейчас он видел, что все друзья, увлеченные беседою с кривым, забыли о нем,— никто не замечает его, не заговаривает с ним. Не однажды он хотел пустить в кучу людей стулом, но обида, становясь всё тяжелее, давила сердце, обессиливала руки. И, постояв несколько минут,— они шли медленно,— Бурмистров, не поднимая головы, тихонько ушел из трактира.

На другой день утром он стоял в кабинете исправника, смотрел круглыми глазами на красное, в седых баках, сердитое лицо Вормса, бил себя кулаком в грудь против сердца и, захлебываясь новым для него чувством горечи и падения куда-то, рассказывал:

— Мы, говорит, мещане — русские, а дворяне — немцы, и это, говорит, надо переменить...

Вормс, пошевелив серыми бровями, спросил:

— Как?

— Что?

— Переменить — как?

— До этого он не дошел!

Исправник поднял к носу указательный палец, посмотрел на него, понюхал зачем-то и недовольно наморщил лоб.

— А другие? — спросил он.

— Другие? — повторил Бурмистров, понижая голос и оглядываясь.— Другие — ничего! Кто же другие? Только он один рассуждает...

— А печник? Там есть печник! Есть?

— Он — ничего! — хмуро сказал Вавило.

— Всё?

— Всё.

Исправник отклонил свое сухое тело на спинку кресла и, размеренно стукая пальцем по столу, сказал:

— Все вы там — пьяницы, воры, и всех вас, как паршивое стадо, следует согнать в Сибирь! Ты — тоже разбойник и скот!..

Говорил он долго и сухо, точно в барабан бил языком. Бурмистров, заложив руки за спину, не мигая, смотрел на стол, где аккуратно стояли и лежали странные вещи: борзая собака желтой меди, стальной кубик, черный, с коротким дулом, револьвер, голая фарфоровая женщина, костяная чаша, подобная человечьему черепу, а в ней — сигары, масса папок с бумагами, и надо всем возвышалась высокая, на мраморной колонне, лампа с квадратным абажуром.

Исправник, грозя пальцем, говорил:

— Ты у меня смотри!

Потом, сунув руку в карман, деловито продолжал:

— Ты теперь должен там слушать и доносить мне обо всем, что они говорят. Вот — на, возьми себе целковый, потом еще получишь,— бери!

Протянув открытую ладонь, Вавило угрюмо сказал:

— Я ведь не из-за денег...

— Это всё равно!

Опираясь на ручки кресла, исправник приподнял свое тело и наклонил его вперед, точно собираясь перепрыгнуть через стол.

Бурмистров уныло опустил голову, спросив:

— Идти мне?

— Ступай!

Был конец августа, небо сеяло мелкий дождь, на улицах шептались ручьи, дул порывами холодный ветер, тихо шелестели деревья, падал на землю желтый лист. Где-то каркали вороны отсыревшими голосами, колокольчик звенел, бухали бондари по кадкам и бочкам. Бурмистров, смешно надув губы, шлепал ногами по жидкой грязи, как бы нарочно выбирая места, где ее больше, где она глубже. В левой руке он крепко сжимал серебряную монету — она казалась ему неудобной, и он ее нес, как женщина ведро воды,— отведя руку от туловища и немного изогнувшись на правую сторону.

На месте вчерашней злобы против кривого в груди Вавилы образовалась какая-то холодная пустота, память его назойливо щекотали обидные воспоминания:

В городе престольный праздник Петра и Павла, по бульвару красивыми стаями ходит нарядное мещанство,

и там, посреди него, возвышаются фигуры начальствующих лиц. Громко играют медные трубы пожарных и любителей.

А посредине улицы, мимо бульвара, шагает он, Вавило Бурмистров, руки у него связаны за спиною тонким ремнем и болят, во рту — соленый вкус крови, один глаз заплыл и ничего не видит. Он спотыкается, задевая ушибленною ногою за камни,— тогда городовой Капендюхин дергает ремень и режет ему туго связанные кисти рук. Где-то за спиной раздается вопрос исправника:

— Кто?

— Зо слободы, ваше благородые, Бурмистроу!

— За что?

— Та буйство учиныв на базари!

И голос исправника горячо шипит:

— Дать ему там, сукиному сыну!

— Злушаю, ваше благородые!

Дали. Двое стражников уселись на голову и на ноги, а третий отхлестал нагайкой.

— Ты мне за это целковый платишь? — остановясь под дождем, пробормотал Вавило.

Одна за другой вспоминались обиды, уводя человека куда-то мимо трактиров и винных лавок. Оклеивая всю жизнь темными пятнами, они вызывали подавляющее чувство физической тошноты, которое мешало думать и, незаметно для Вавилы, привело его к дому Волынки. Он даже испугался, когда увидел себя под окном комнаты Тиунова, разинул рот, точно собираясь крикнуть, но вдруг решительно отворил калитку, шагнул и, увидев на дворе старуху-знахарку, сунул ей в руку целковый, приказав:

— Тащи две, живо! Хлеба, огурцов, рубца — слышишь?

А войдя в комнату Тиунова, сбросил на пол мокрый пиджак и заметался, замахал руками, застонал, колотя себя в грудь и голову крепко сжатыми кулаками.

— Яков — на! Возьми,— вот он я! Действительно — верно! Эх — человек! Кто я? Пылинка! Лист осенний! Где мне — дорога, где мне жизнь?

Он — играл, но играл искренно, во всю силу души:

лицо его побледнело, глаза налились слезами, сердце горело острой тоской.

Он долго выкрикивал свое покаяние и жалобы свои, не слушая,— не желая слышать,— что говорил Тиунов; увлеченный игрою, он сам любовался ею откуда-то из светлого уголка своего сердца.

Но наконец утомился, и тогда пред ним отчетливо встало лицо кривого: Яков Тиунов, сидя за столом, положил свои острые скулы на маленькие, всегда сухие ладони и, обнажив черные верхние зубы, смотрел в глаза ему с улыбкой, охлаждавшей возбуждение Вавилы.

— Ты — что? — спросил он, отодвигаясь от кривого.— Сердишься, а?

Тиунов длительно вздохнул.

— Эх, Вавило, хорошая у тебя душа все-таки!

— Душа у меня — для всего свободна! — воскликнул обрадованный Бурмистров.

— Зря ты тут погибаешь! Шел бы куда-нибудь судьбы искать. В Москву бы шел, в губернию, что ли!

— Уйти? — воскликнул Вавило, подозрительно взглянув на темное задумчивое лицо. «Ишь ты, ловок!»— мельком подумал он и снова стал поджигать себя: — Не могу я уйти, нет! Ты знаешь, любовь — цепь! Уйду я, а — Лодка? Разве еще где есть такой зверь, а?

— Возьми с собой.

— Не пойдет!

Бурмистров горестно ударил кулаком по столу так, что зашатались бутылки.

— Я уговаривал ее: «Глафира, идем в губернию! Поступишь в хорошее заведение, а я туда — котом пристроюсь».— «Нет, говорит, милый! Там я буду, может, десятая, а здесь я — первая!» Верно — она первая!

— Пустяки всё это! — тихо и серьезно сказал Тиунов.

Вавило посмотрел на него и качнул головой, недоумевая.

— Ты меня успокой все-таки! — снова заговорил он.— Что я сделал, а?

— Это насчет доноса? — спросил кривой.— Ничего! Привязаться ко мне трудно: против государь-императора ничего мною не говорено. Брось это!

— Вот — душа! —кричал Бурмистров, наливая водку.— Выпьем за дружбу! Эх, не волен я в чувствах сердца!

Выпили, поцеловались, Тиунов крепко вытер губы, и беседа приняла спокойный, дружеский характер.

— Ты сообрази,— не торопясь, внушал кривой,— отчего твое сердце, подобно маятнику, качается туда-сюда, обманывая всех, да и тебя самого? От нетвердой земли под тобою, браток, оттого, что ты человек ни к чему не прилепленный, сиречь — мещанин! Надо бы говорить — мешанин, потому — всё в человеке есть, а всё — смешано, переболтано...

— Верно! — мотая головой, восклицал Вавило.— Ах, ну и верно же, ей-богу! Всё во мне есть!

— А стержня — нету! И все мы такие, смешанные изнутри. Кто нас ни гни — кланяемся и больше ничего! Нет никаких природных прав, и потому — христопродавцы! Торговать, кроме души,— нечем. Живем — пакостно: в молодости землю обесчестив, под старость на небо лезем, по монастырям, по богомольям шатаясь...

— Верно! Жизнь беззаконная!

— Закон, говорится, что конь: куда захочешь, туда и поворотишь, а руку протянуть — нельзя нам к этому закону! Вот что, браток!

Гладкая речь Тиунова лентой вилась вокруг головы слободского озорника и, возбуждая его внимание, успокаивала сердце. Ему даже подумалось, что спорить не о чем: этот кривой, чернозубый человек славе его не помеха. Глядя, как вздрагивает раздвоенная бородка Якова Захарова, а по черепу, от глаз к вискам, змейками бегают тонкие морщины, Бурмистров чувствовал в нем что-то, интересно и жутко задевающее ум.

— Гляди вот,— говорил Тиунов, направляя глаз в лицо Вавилы,— ты на меня донес...

Вавило передернул плечами, точно от холода.

— А я тебе скажу открыто: возникает Россия! Появился народ всех сословий, и все размышляют: почему инородные получили над нами столь сильную власть? Это значит — просыпается в народе любовь к своей стране, к русской милой земле его!

Прищурив глаз, кривой налил водки, выпил и налил еще.

— А долго ты пить можешь? — с живым любопытством спросил Бурмистров.

Бывалый человек спокойно ответил:

— Пока водка есть — пью, а как всю выпью, то — перестаю...

Этот ответ вызвал у Вавилы взрыв резвого веселья: он хохотал, стучал ногами и кричал:

— Эт-то ловко!

Просидели до позднего вечера, и с той поры Бурмистров стал всем говорить, что Яков Захаров — умнейший человек на земле. Но, относясь к Тиунову с подчеркнутым уважением, он чувствовал себя неловко перед ним и, вспоминая о доносе, размышлял:

«Молчит, кривой дьявол! Видно, ищет своей минуты, когда бы ловчее осрамить меня...»

При этой мысли кровь в груди у него горячо вскипала, он шумно отдувался, расширяя ноздри, как породистый конь, и, охваченный тревожным темным предчувствием неведомой беды,— шел в «раишко», к Лодке, другу своего сердца и складочному месту огорчений своих.

Лодка — женщина лет двадцати трех, высокая, дородная, с пышною грудью, круглым лицом и большими серо-синего цвета наивно-наглыми глазами. Ее густые каштановые волосы гладко причесаны, тщательно разделены прямым пробором и спускаются на спину толстой, туго заплетенной косой. Тяжесть волос понуждает Лодку держать голову прямо,— это дает ей вид надменный. Нос у нее не по лицу мал, остр и хрящеват, темно-красные губы небольшого рта очерчены строго, она часто облизывает их кончиком языка, и они всегда блестят, точно смазанные маслом. И глаза ее тоже блестят приятною улыбкою человека, довольного своею жизнью и знающего себе цену.

Ходит она уточкою, вперевалку, и даже когда сидит, то ее пышный бюст покачивается из стороны в сторону; в этом движении есть нечто, раздражающее уг-

рюмого пьяницу Жукова; часто бывает, что он, присмотревшись налитыми кровью глазами к неустанным колебаниям тела Лодки, свирепо кричит:

— Перестань, дьявол! Сиди смирно!

Рыжая щетина на его круглой голове и багровых щеках встает дыбом, и глаза мигают, словно от испуга.

— Малина с молоком! — называет, восхищаясь, Лодку веселый доктор Ряхин и осторожно, со смущенной улыбкой на костлявом лице, отдаляется от нее. Он тяготеет к неугомонной певунье, гибкой и сухонькой Розке, похожей на бойкую черную собачку: кудрявая, капризная, с маленькими усиками на вздернутой губе и мелкими зубами, она обращается с Ряхиным дерзко, называя его в глаза «зелененьким шкелетиком». Она всем дает прозвища: Жуков для нее — «Ушат Помоевич», уныло-злой помощник исправника Немцев — «Уксус Умирайлыч».

Третья девица — рыжая коротенькая Паша — молчалива и любит спать. Позевывая, она тягуче воет. У нее большой рот, неровные крупные зубы. Косо поставленные, мутно-зеленые глазки смотрят на всех обиженно и брезгливо, а на Четыхера — со страхом и любопытством.

Сорокалетняя рослая и стройная Фелицата Назаровна Воеводина относится к девицам хорошо, покровительствует их сердечным делам, вмешивается в ссоры и умеет безобидно примирить. Лицо у нее хорошее, доброе, в глазах, всегда как бы полупьяных, светится странная, полувеселая улыбка. Она и сама еще не прочь угодить гостям: чудесно пляшет русскую, ловко играет на гитаре, умеет петь романсы о любви. Голос у нее небольшой, но очень гибкий и слащавый, он точно патока обливает людей, усыпляя в них все чувства, кроме одного. Причесывается Фелицата, спуская волосы на уши, любит хорошо одеваться, выписывает модный журнал, а когда пьяна — обязательно читает девицам и гостям стихи: «По небу полуночи ангел летел». При всем этом дела ее идут хорошо: известно, что за три года она положила в сберегательную кассу при казначействе тысячу семьсот рублей.

Когда Бурмистров подходит к воротам «Фелицатина раишка» — обезьяноподобный Четыхер ударом толстой и кривой ноги отворяет перед ним калитку.

— Здравствуй, чёрт! — говорит Вавило, косясь на длинные ручищи привратника, сунутые в карманы короткого полушубка.

— Здорово, дурак! — равнодушно и густо отвечает Четыхер.

Бурмистров дважды пробовал драться с этим человеком, оба раза был жестоко и обидно побит и с той поры, видя своего победителя, наливался тоскливою злобою.

С нею он и шел к Лодке. Женщина встречала его покачиваясь, облизывая губы, ее серовато-синие глаза темнели; улыбаясь пьяной и опьяняющей улыбкой, томным голосом, произнося слова в нос, она говорила ему:

— Уж я ждала, ждала...

— Ждала! — сурово и не глядя ей в лицо, отзывался Бурмистров.— Я третьего дня был!

Она молча прижималась к нему, дыша прерывисто и жарко.

— Али смешала с кем?

— Тебя-то? — тихо спрашивала она.

Наигравшись с ним, она угощала красавца пивом, а он, отдыхая, жаловался:

— Вот — тридцать годов мне, сила есть у меня, а места я себе не нахожу такого, где бы душа не ныла!

— А ты ходи ко мне почаще! — предлагала Лодка, сидя на постели и всё время упорно глядя в глаза ему.

Он хмурился, мотал головой и скучно говорил:

— Велика радость — ты! Для меня все бабы — пятачок пучок. Тобой сыт не будешь!

— Али я тебя не кормлю, не даю тебе сколько могу?

— Я не про то, дура! Я про душу говорю! Что мне твои полтинники?

Беседовали лениво, оба давно привыкли не понимать один другого, не делали никаких усилий, чтобы объяснить друг другу свои желания и мысли.

— Чего тебе надо?! — равнодушно покачиваясь, спрашивала Лодка.

Бурмистров закрывал глаза, не желая видеть, как вызывающе играет ненасытное тело женщины, качаются спущенные с кровати голые ноги ее, желтые и крепкие, как репа.

— Чего надо? — бормотал он.— Ходу, дороги надо!

— Иди! — двусмысленно улыбаясь, отвечала она.— Кто мешает?

— Все! И ты тоже!

В комнате пахнет гниющим пером постели, помадой, пивом и женщиной. Ставни окна закрыты, в жарком сумраке бестолково маются, гудят большие черные мухи. В углу, перед образом Казанской божьей матери, потрескивая, теплится лампада синего стекла, точно мигает глаз, искаженный тихим ужасом. В духоте томятся два тела, потные, горячие. И медленно, тихо звучат пустые слова,— последние искры догоревшего костра.

Но чаще Бурмистров является красиво растрепанный, в изорванной рубахе, с глазами, горящими удалью и тоской.

— Глафира! — орет он, бия себя в грудь.— Вот он я,— твой кусок! Зверь жадный, на, ешь меня!

Тогда глаза Лодки вспыхивают зеленым огнем, она изгибается, качаясь, и металлически, в нос, жадно и радостно поет, как нищий, уверенный в богатой милостыне:

— Миленький мой, заму-учился! Родненький мой братик, обиженный всеми людьми, иди-ка ты ко мне, приласкаю тебя, приголублю одинокого...

— Глафира! — впадая в восторг, кричал Вавило.— Возьми ты сердце мое — возьми его — невозможно ему дышать,— ну, нечем же, нечем!

В этот час он особенно красив и сам знает, что красив. Его сильное тело хвастается своей гибкостью в крепких руках женщины и тоскливый огонь глаз зажигает в ней и страсть и сладкую бабью жалость.

— Нету воли мне, нет мне свободы! — причитает Вавило и верит себе, а она смотрит в глаза ему со слезами на ресницах, смотрит заглатывающим взглядом, горячо дышит ему в лицо и обнимает, как влажная туча истощенную зноем землю.

Случалось, что после такой сцены Бурмистров, осторожно поднимая голову с подушки, долго и опасливо рассматривал утомленное и бледное лицо женщины. Глаза у нее закрыты, губы сладко вздрагивают, слышно частое биение сердца, и на белой шее, около уха, трепещет что-то живое. Он осторожно спускает ноги на пол — ему вдруг хочется уйти поскорее и тихо, чтобы не разбудить ее.

Иногда это удавалось, но чаще женщина, вздрогнув, вскакивала, спрашивая строго и пугливо:

— Ты что хочешь?

— Ухожу,— кратко говорил он, не глядя на нее.

Она следила серым взглядом полинявших глаз, как он одевается.

— Когда придешь?

— Приду — увидишь!

— Ну, прощай.

— Прощай!

И бывало так, что вдруг он чувствовал бешеную злобу к этой женщине, щипал ее и сквозь зубы говорил:

— Кабы не ты, дьявол мой,— эх! Был бы я свободен совсем...

Сначала она смеялась, вскрикивая:

— Щекотно, ой!

Но когда, раздражаемый ее криками, смехом и сопротивлением, он начинал бить ее — Лодка, ускользая из его рук, бежала к окну и звонко звала:

— Кузьма Петрович!

Являлся Четыхер. Но всегда заставал мирную картину: Бурмистров с Лодкой стояли или сидели обнявшись, и женщина говорила, нагло и наивно улыбаясь:

— Ай, простите нас, Кузьма Петрович, дурю я всё, по глупости моей! Выпейте стаканчик, не угодно ли? Пожалуйте, вот и закусочка!

Четыхер молча выплескивал водку или пиво в свою пасть, осматривал Бурмистрова и, значительно крякнув, выдвигался за дверь, а Вавило, покрытый горячей испариной, чувствовал себя ослабевшим и ворчал:

— Дура... Шуток не понимаешь!

Она, смеясь, облизывала губы, вздыхала и, вновь

обнимая его, заглядывала ему в глаза вызывающим взглядом.

Когда Вавило рассказал ей о Тиунове и его речах, Лодка, позевывая, заметила:

— Вот и Коля-телеграфист так же говорит: быть поскорости бунту! Немцев тоже боится, а доктор — не верит!

— Смутьяны! — заворчал Вавило.— Бунтов захотели с жиру да со скуки!

Лодка равнодушно предложила:

— Хочешь — я Немцеву скажу про кривого?

— Что скажешь?

Заплетая косу и соблазнительно покачиваясь, Лодка ответила:

— Не знаю! Ты научи.

Подумав, Вавило скучным голосом молвил:

— Нет, не надо. Не касайся этого,— что тебе? Да и я ведь так только, с тобой говорю, а вообще — наплевать на всё!

Через минуту он, вздохнув, добавил:

— Может, кривой-то правду говорит насчет мещанов? И про бунт тоже. Конечно, глупость это — бунты... ну, а я бы все-таки побунтовался,— эх!

— Уж ты у меня! — запела Лодка, обнимая его.

— Н-да-а, я бы показал себя! — разгораясь, восклицал Бурмистров.

Однажды, под вечер, три подруги гуляли в саду: Лодка с Розкой ходили по дорожкам между кустов одичавшей малины, а Паша, забравшись в кусты и собирая уцелевшие ягоды, громко грызла огурец.

Розка с жаром читала на память неприличные стихи. Лодка качалась, приятно облизывая губы, порою торопливо спрашивала:

— Как? Как?

И удивлялась:

— Вот так память у тебя!

— Он меня, как скворца, учит! — объясняла Розка.— Посадит на коленки, возьмет за уши да прямо и в рот и в глаза и начитывает, и начитывает!

Вздохнув, Лодка задумчиво молвила:

— Докторам все тайности известны! Ах, и смелый он у тебя,— ничего не боится!

— Ничего! А то вот какие стишки еще...

Снова раздался ее торопливый говорок. Когда они проходили мимо Паши, рыжая девушка, сонно взглянув на них, проворчала:

— Эки пакостницы!

— А ты жри, знай! — отозвалась Розка на ходу, точно камнем кинула.

— Да-а,— вздрогнув, задумчиво протянула Лодка.—Какой смелый!

Над малинником гудели осы и пчелы. В зелени ветел суматошно прыгали молодые воронята, а на верхних ветвях солидно уместились старые вороны и строго каркали, наблюдая жизнь детей. Из города доплывал безнадежный зов колокола к вечерней службе, где-то озабоченно и мерно пыхтел пар, вырываясь из пароотводной трубки, на реке вальки шлепали, и плакал ребенок.

— Любишь, как укроп пахнет? — тихо спросила Лодка подругу, но та, не отвечая на вопрос, с гордостью рассказывала:

— Ему — всё одинаково, ничего он не боится! Ты слушай...

Оглядываясь, она тихонько начала:

— «Однажды бог, восстав...»... Смотри-ка, Симка за нами подглядывает!

Прищурив глаза, Лодка посмотрела.

— И правда! Вот,— тоже стишки умеет сочинять.

— Ну уж! — пренебрежительно мотнув головой, воскликнула Розка.— Юродивый-то!

— Пойдем к нему?

— Пойдем, посмеемся! — согласилась Розка.

В проломе каменной стены сада стоял длинный Сима с удочками в руке и бездонным взглядом, упорно, прямо, не мигая, точно слепой на солнце, смотрел на девиц. Они шли к нему, слащаво улыбаясь, малина и бурьян цапали их платья, подруги, освобождаясь от цепких прикосновений, красиво покачивались то вправо, то влево, порою откидывали тело назад и тихонько взвизгивали обе.

— За рыбой? — ласково спросила Лодка.

Не шевелясь, Сима ответил:

— Да.

— Рано сегодня!

— Скоро начнется самый клев,— объяснил юноша, не сводя пустых глаз с лица девушки.

Розка, ущипнув подругу, спросила:

— Слышал стишки?

Сима утвердительно кивнул головой.

— Получше твоих-то,— задорно сказала черненькая девица.

— Нет,— негромко ответил Девушкин.

Это рассердило Розку.

— Скажите! — с досадой воскликнула она.— Какой ферт! Да ты совсем и не умеешь сочинять-то! Мя-мя-мя — только и всего у тебя!

— Я хочу, чтобы как молитва было,— тихо сказал Сима, обращаясь к Лодке.

Каждый раз, когда эта женщина видела юношу, наглый блеск ее взгляда угасал, зрачки расширялись, темнели, изменяя свой серо-синий цвет, и становились неподвижны. В груди ее разливался щекотный холодок, и она чаще облизывала губы, чувствуя во всем теле тревожную сухость. Сегодня она ощущала всё это с большей остротою, чем всегда.

«Некрасивый какой!» — заставила она себя подумать, пристально рассматривая желтоватое голодное лицо, измеряя сутулое тело с длинными, как плети, руками и неподвижными, точно из дерева, пальцами. Но взгляд ее утопал в глазах Симы, уходя куда-то всё дальше в их светлую глубину; беспокойное тяготение заставляло ее подвигаться вплоть к юноше, вызывая желание дотронуться до него.

Он не однажды говорил ей свои стихи, и, слушая его тихий и быстрый, размеренный говорок, она всегда чувствовала смущение, сходное с досадой, не знала, что сказать ему, и, вздыхая, молчала. Но каждый раз, помимо воли своей, спрашивала:

— Сочинил стихов?

— Да,— ответил Сима, наклоняя голову.

— Уйду я, ну вас к лешему! — воскликнула Роз-

ка, окидывая их насмешливым взглядом.— Ты, Глафира, поцеловала бы его разочек, да и пусть идет...

Засмеявшись, она отошла в кусты, звонко напевая:

И я ль страдала, страданула,
С моста в речку сиганула...

— Ну, что же, скажи! — вздохнув, предложила Лодка.

Он поднял голову, благодарно улыбнулся ей, на щеках у него вспыхнули розовые пятна, пустые глаза налились какою-то влагою. Лодка отодвинулась от него.

Пресвятая богородица,
Мати господа всевышнего!
Обрати же взор твой ласковый
На несчастную судьбу детей!

Челюсть у него дрожала, говорил он тихо, невнятно. Стоял неподвижно и смотрел в лицо женщины исподлобья, взглядом робкого нищего. А она, сдвинув брови, отмечала меру стиха легкими кивками головы, ее правая рука лежала на камнях стены, левая теребила пуговицу кофты.

В темных избах дети малые
Гибнут с холода и голода,
Их грызут болезни лютые,
Глазки деток гасит злая смерть!
Редко ласка отца-матери
Дитя малое порадует,
Их ласкают — только мертвеньких,
Любят — по пути на кладбище...

— Будет! — сказала Лодка, еще дальше отступая от него.

Сима взглянул в лицо ей и уныло замолчал, ему показалось, что она сердится: щеки у нее побелели, глаза стали темно-синими, а губы крепко сжались. Сима стал виновато объяснять:

— Это я потому, что у Стрельцовых Лиза померла. Долго очень хворала, а мать всё на поденщину ходит,— сердилась на нее, на Лизу: мешаешь, кричала. А умерла — так она третьи сутки плачет теперь, Марья-то Назаровна!

— Знаю я это! — почти с досадой, но негромко сказала женщина.— Хоронила я детей... двое было...

Она оглянулась: розовый сумрак наполнял сад, между ветвями деревьев, бедно одетых осеннею листвою, сверкало багровое солнце.

— Идем со мной! — вдруг приказала она Симе; юноша положил удилища и покорно тронулся с места, неловко поднимая ноги. Она же шла быстро и, как бы прячась от кого-то, нагибалась к земле. Привела его в темный угол сада и там, указав на кучу мелкого хвороста, шепнула ему:

— Сядь!

И, когда он сел, обняла его за шею, тихо и торопливо спрашивая:

— Ведь ты любишь меня, любишь?

— Да,— ответил Сима, вздрогнув.

— Ну, и я тебя люблю! — быстро сказала она.

Он, испуганно взглянув в лицо ей, отодвинулся.

— Это... это уж неправда... вы нарочно...

— Ах, господи! — тихонько воскликнула женщина.— Ей же богу! Вот — перекрестилась, видишь?

Тогда он взвыл, рванулся к ней и, сунув голову в колени ее, бормотал, радостно всхлипывая:

— Я ведь давно-о! Я вас — так люблю...

Отталкивая его, она шёпотом говорила:

— Ну, скорее,— ах, да скорее же...

Сима не понимал ее слов, она грубо схватила его, поспешно отдалась и потом сразу спокойно сказала, вздыхая глубоко и ровно:

— Ну, вот! Теперь ты будешь ходить ко мне,— будешь? Я скажу дворнику, чтобы пускал тебя!

Движением локтя она отстранила его от себя и встала, высокая и красивая.

— Ты знаешь — у меня муж есть? — спросила она, испытующе глядя в его ошеломленное и пьяное лицо.

— Знаю! — прошептал Сима.

— И любовник тоже есть...

Он смотрел в лицо ей, растерянно улыбаясь, пошатывался и молчал.

— Ну? Как же ты теперь будешь? — любопытно спросила она.

— Я скажу ему...

Лодка вздрогнула, выпрямилась.

— Что скажешь? Кому?

— Вавиле. Ничего! — успокоительно и радостно проговорил юноша.— Я уж сам, вы не бойтесь...

Что-то ласковое, почти материнское мелькнуло в глазах Лодки.

— Не смей! — строго сказала она.— Дурачок,— разве это можно?!

И, положив тяжелые руки на плечи юноши, ласково продолжала:

— Он убьет тебя, дурашка ты! Ты — молчи!

Повернула его и, легонько подталкивая, шептала:

— Ну, уходи теперь! Иди, прощай! Смотри же, молчи! Помни — убьет!

Он пытался обернуться к ней — ему хотелось обнять ее, но, когда он обернулся, она уже быстро и не оглядываясь шла прочь от него. Юноша неподвижно стоял над кучей полугнилого мусора, дремотно улыбался и смотрел влажным взглядом в кусты, где — точно облако — растаяли мягкие белые юбки.

Лодка шла так быстро, точно боялась, что кто-то неприятный остановит ее. Подпрыгивая по лестнице, вбежала в свою комнату, заперла дверь на ключ, схватилась за спинку кровати и глубоко вздохнула.

В полутьме комнаты скорбно мигал синий глаз лампады, вокруг образа богоматери молитвенно качались тени.

Женщина долго смотрела в угол, потом бесшумно опустилась на колени — точно прячась за высокой спинкой кровати,— и, сложив руки на груди, громко, льстиво зашептала:

— Пресвятая богородица, помилуй рабу твою, окаянную грешницу Глафиру!

Слава Симы Девушкина перекинулась через реку: земский начальник приказал привести к нему поэта, долго слушал его стихи, закрыв глаза и мотая головой, потом сказал:

— Надо учиться тебе, ты мало грамотен! Читать любишь?

Утомленный чтением и напуганный строгим лицом земского, Сима молчал.

Штрехель погладил бритые щеки ладонями, внимательно оглядел нескладное тело стоявшего у притолки и заговорил снова:

— Надо читать, братец мой! Пушкина надо читать! Знаешь Пушкина?

— Нет.

— Как? — удивился земский.— А помнишь в школе:

Встает заря, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик...

Это и есть — Пушкин! Ты где учился?

— В церковно-приходской.

— Ага, да! Но — Пушкина надо знать! Я тебе выпишу его книги, у меня нет сейчас, я выпишу из губернии. Что, у тебя здоровье слабое?

— Слабое,— эхом отозвался поэт.

— Надо лечиться! Ты ходи по праздникам гулять в Черемухинский бор, там — сосны, это очень полезно для тебя.

Дал Симе полтинник и ласково проводил его до прихожей.

Отец Исаия Кудрявский тоже одобрял стихи Симы.

— Похвально, Симеон, похвально! — говорил он, помавая благообразной головой.— Очень одобряю. И направление мысли и простота штиля — весьма трогает душу! Трудись, юноша, не зарывай в землю богом данного таланта и с помощию Симеона-богоприимца — молитвенника твоего — поднимешься, гляди, из мрака до высот. Вино — испиваешь?

— Нет,— сказал Сима, вздохнув,— вредно мне!

— Так! Это тоже похвально! — произнес отец Исаия, а когда поэт подошел под благословение — сунул ему в руку три больших пятака и объяснил: — Это тебе на

нужды твоя и за труды по чтению сочинений, кои — повторю — весьма и весьма заслуживают всяческих похвал.

Приглашали Симу и другие образованные люди города; он торопливо и робко говорил стихи, глотая слога и целые слова, и уходил, одаренный двугривенными и гривенниками.

Даже торговцы базара иногда зазывали его в лавки и, внимательно прослушав, награждали пятаком или алтыном. Некоторые, помоложе, советовали:

— Ты бы, парень, веселое выдумал чего-нибудь, а то уж скучно больно! Веселое-то — можешь?

— Нет,— отвечал Сима печально и виновато.

— Это жаль!

Доктор Ряхин, заставив поэта прочитать стихи, воскликнул, усмехаясь:

— Вот еще одна жертва ненужная!

А потом записал несколько стихотворений, обещая куда-то послать их, но при этом сказал, потирая свои сухие руки:

— Длиннейший мой юноша! Всё это, может быть, и недурно, только — едва ли своевременно, да! Ничего не обещаю, но непременнейше пошлю в разные места.

Он денег Симе не дал.

Девушкин начал прятаться от людей, ходил в город всё реже и только когда не мог избежать этого. Ясно видел, что никому не нравится, все смотрят на него с любопытством и нет людей, которые привлекали бы его сердце. Его длинная фигура, с неуклюжею головою на уродливо тонкой шее, желтое, костлявое лицо и пустые глаза, его робость, скрипучий, срывающийся голос и неподвижные, лишние руки — весь он не возбуждал в людях симпатии.

Наконец случилось нечто, оттолкнувшее от него горожан:

Однажды податной инспектор Жуков удил рыбу неподалеку от Симы и вдруг обратился к нему с приказанием:

— Эй, чучело! Напиши-ка мне стихи, я тебе трешницу дам — слышишь? Знаешь Розку? Ну, вот про нее напиши что-нибудь этакое, с перцем! Понял? Завтра

вечером приди к Фелицате и прочитай — я скажу, чтобы тебя пропустили!

Сима не ответил ему и, просидев еще минуты две, ушел, незаметно для Жукова. Он не любил этого толстого рыжего человека с маленькими глазками и огромными ушами. Знал, что Жуков великий похабник, что с похмелья он любит мучить людей и животных и что все окрестные мужики ненавидят инспектора. После того, как Сима сблизился с Лодкой, Жуков стал еще более неприятен ему: порою он представлял себе, как толстые красные руки этого человека тянутся к телу его подруги — тогда в груди юноши разливался острый холод, ноги дрожали, он дико выкатывал глаза и мычал от горя.

Он сочинил о Жукове длинные стихи, часто бормотал их про себя и однажды сказал Лодке. Она долго и зло смеялась, много целовала Симу и говорила:

— Так его, свинью! Хорошо!

А через несколько дней после этого Симу встретил письмоводитель податного, картежник Иванюков, и завопил:

— Ага-а! Тебя-то мне и надо! Уж я тебя, шило, искал, искал! Идем к податному, он тебя требует!

— Не хочу,— сказал Сима, отходя прочь.

Но Иванюков схватил его за рукав рваного пальто и громко спросил:

— А в морду, сударь, хотите получить?

И вот Сима очутился перед лицом Жукова; инспектор, лежа на диване, хрипло говорил ему, улыбаясь во всё лицо свое:

— Что же ты, скот, написал стихи, читаешь их везде, а я ничего не знаю, а? Ведь это я тебе заказал?

Сима весь налился страхом, злостью и тоской, и неожиданно для себя, незнакомым себе, высоким, взвизгивающим голосом, он начал:

— Его благородию Жукову Евсею...— Передохнув, он объяснил, покачиваясь на ногах и точно плавая в тумане.— Отчество я потому выкинул, что оно не ложится в стих,— Лиодорович — так и не зовут никого!

— Что-о? — удивленно спросил Жуков.— А ты читай, дубина!

Сима начал:

Правду рассказать про вас
Я никак не смею,
Потому — вы за нее
Сломите мне шею.

— Ну и глуп! — проворчал Жуков.

Будь я ровня вам — тогда
Я бы не боялся
И без всякого труда
Над вами посмеялся.

Жуков поднял голову и начал кашлять, тяжко спуская ноги с дивана,— его движение испугало Симу, он тоже остановился и кашлянул.

— Ну, что же? — хрипя и отплевываясь, проворчал Жуков.

Сима медленно выговорил:

Стыдно мне смотреть на вас,
Стыдно и противно...

Податной вытаращил глазки и, шевеля пальцами, протянул негромко:

— Что-о?

Поэт, вздрогнув, согнулся, быстро выскочил из комнаты и почти три недели прятался где-то. После он рассказывал слобожанам, что Жуков закричал ему — убью! — и бросил в него сапогом.

Эта сцена стала известна в городе.

— Захвалили парнишку, он и зазнался! — говорили на Шихане.— Они, слободские, один другого озорниковатее, их привечать — опасно!

Но в семи тысячах жителей Окурова и Заречья был один человек, относившийся к поэту серьезно: каждый раз, когда Сима, получив от Лодки спешно-деловую ласку, выходил из «раишка»,— у ворот его останавливал квадратный Четыхер.

— Ты? — спрашивал он, хотя знал и видел, чье длинное тело робко и неловко вылезает из калитки.

— Ну-ка, сядь! — предлагал он.

И когда Сима садился рядом с ним на лавке — он, положив на плечо или колено поэта широкую ладонь, тихонько просил:

— Ну-ка, скажи стишки!

Сима говорил, а Четыхер, вздыхая, украдкой крестился и снова просил:

— Ну-ка еще!

Юноше нравилось читать свои сочинения этому человеку, и он для него читал особенно: не торопясь, мягким шёпотом, старался придать любимым словам особую значительность и порою таинственно толкал слушателя, подчеркивая этим толчком слово или строчку, которые ему казались особенно важными.

Здесь, под воротами старого дома, когда-то наполненного иной жизнью, Сима как будто чувствовал, что он хоронит свои мысли без обиды и с честью, что встречают их не холодное любопытство и жалость, отрицающие его душу, а нечто иное, возбуждавшее в нем приятную гордость.

Из глубины всё еще важных развалин дворянского дома порою долетали визги девиц, тенор Коли-телеграфиста, колокольный голос Ваньки Хряпова, сына ростовщика, бойкие песни Фимки Пушкаревой, звон гитары — но все эти звуки тоскливой и пьяной жизни не мешали Симе и его слушателю.

— Ну-ка еще! — просил Четыхер, разглядывая из-под мохнатых рыжих бровей серебристое сияние Млечного Пути, радостное горение звезд, медленный ход медного круга луны или тихий бег облаков; смотрел Четыхер, слушал и, двигая плечом, незаметно крестился.

Тяжко спали изжеванные и обкусанные нищетою, оборванные диким озорством, темные избушки слободы, тесно окружая усадьбу Воеводиных,— точно куча мелкого мусора большую изломанную игрушку. Сима плотно прижимался к дереву ворот и, не уставая, читал.

Но иногда поспешные, милостивые и тепленькие ласки его возлюбленной поднимали в груди юноши тошное ощущение обиды, он вспоминал торопливые слова женщины, деловые движения ее тела и с упылою горечью думал:

-И хорошо. Именно это міру и надобно - радость! А пора намъ повернуть - эко, сколь мѣста отхватали!

Повернули. Идти стало свѣтлѣе - тѣни легли сзади, пошли ближе другъ къ другу.

-Главное, малый, - раздавался въ тишинѣ ночи спокойный голосъ Тіунова, - ты люби свою способность! Самъ ты для себя - вещь не важная, а способность твоя - это ужъ міру подарокъ! Насчетъ Бога - тоже хорошо, конечно! Однако, я пословицу помни: Богъ-то Богъ, да и самъ не будь плохъ. А главнѣйше - люби! Безъ любви-же человѣкъ дуракъ!

Ихъ догоняла предвѣстница осени тяжелая, черная туча, одѣвая поле и болото бархатомъ тѣни, а встрѣчу имъ ласково свѣтилъ полный кругъ [illegible] луны.

-Эхъ, Семенъ, Семенъ! - вздрагивалъ глуховатый голосъ Тіунова. - Сколько я видѣлъ людей, сколько горя постигъ человѣческаго! Любятъ люди горе, радость - вдвое! И скажу тебѣ отъ сердца слово хорошъ есть на землѣ русскій народъ! Дикій онъ, конечно, замордованный и весьма несчастенъ, а - хорошъ, добротный, даровитый народъ! Вотъ - ты погляди на него пристально и будешь любить! Ну, тогда, братъ, запоешь!

Сима улыбался, толкая кривого острымъ плечомъ.

Помолчавъ, Тіуновъ убѣдительно прибавилъ:

-Хорошъ народъ! И - аминь.

---

М. Горький

Сорок 909 Сентябрь

**«ГОРОДОК ОКУРОВ».**

**Страница машинописи с автографом.**

«Хоть бы раз один дала мне полюбоваться собой! Другие-то...»

Читать ему не хотелось, голос звучал вяло, сердце не входило в слова.

— Ну, ладно, спасибо! — говорил Четыхер и совал в руку три копейки или пятак.

— Не надо же! — говорил Сима, отдергивая руку.

— Ну-ка, а ты — бери! Я ведь — один. Мне хватит.

Боясь обидеть Четыхера, Сима брал монету и шел в поле.

Вечерами на закате и по ночам он любил сидеть на холме около большой дороги. Сидел, обняв колена длинными руками, и, немотствуя, чутко слушал, как мимо него спокойно и неустанно течет широкая певучая волна жизни: стрекочут хлопотливые кузнечики, суетятся, бегают мыши-полевки, птицы летят ко гнездам, ходят тени между холмов, шепчут травы, сладко пахнет одонцем, мелиссой и бодягой, а в зеленовато-голубом небе разгораются звезды.

В такую лунную ночь пред ним незаметно явился Тиунов и спросил, постукивая палочкой по сапогу:

— Что — стишки выдумываешь?

— Да,— сказал Сима, смущенный.

Крутя головой, Тиунов обвел его взглядом и ласково одобрил:

— Так! Ну, сочиняй, бог тебе в помощь!

И пошел тихонько прочь. Он показался Симе добрым и нужным сегодня — юноша встал и поплелся за ним.

Кривой обернулся, подождал и вновь окинул Симу взглядом.

— Как же это ты сочиняешь, интересно мне?

Юноша обрадовался, охотно и легко он стал говорить.

— Сначала — я думаю. Я даже всегда думаю, Яков Захарович. От этого, надо быть, испортилось у меня сердце — стеснение в нем и тоска. А иной раз — забьется оно, как птица, и вдруг — остановится.

— Так! — сказал кривой, усердно тыкая палочкой в голову своей тени, косо лежавшей у ног его.— А о чем же, малый, ты думаешь?

— Обо всем, Яков Захарович! — виновато сказал юноша.— Кто встретится или вспомнишь кого — человека ли, собаку ли... Птицы тоже...

— Так, так!

Тиунов почесал переносицу и тихонько двинулся вперед. Сима шел рядом, рассказывая.

— Кроме птиц — все толкутся на одном месте. Идет человек, наклоня голову, смотрит в землю, думает о чем-то... Волки зимой воют — тоже и холодно и голодно им! И, поди-ка, всякому страшно — всё только одни волки вокруг него! Когда они воют, я словно пьяный делаюсь — терпенья нет слышать!

Луна светила сзади них, тени ползли впереди: одна — покороче, другая — длиннее, обе узкие. Одна — острая, двигалась вперед ровными толчками, другая — то покрывала ее, то откидывалась в сторону, и снова обе сливались в бесформенное темное пятно, судорожно скользившее по земле.

Спотыкаясь, Сима объявил:

— У меня даже стишок сочинен про волков! — приостановился и начал читать:

Ходят волки по полям да по лесам,
Воют, морды поднимая к небесам.
Я волкам — тоской моей,
Точно братьям,— кровно сроден,
И не нужен, не угоден
Никому среди людей!
Тяжело на свете жить!
И живу я тихомолком.
И боюся — серым волком
Громко жалобу завыть!

Тиунов взмахнул палочкой, поглядел в небо, в даль и себе под ноги.

— А веселое — не склонен сочинять? — спросил он, вздыхая.

Сима, тоже оглянувшись, ответил виновато:

— Про податного Жукова сочинил, да плохо вышло. Артюшка поет:

Как живут у нас в Заречье
Худы души человечьи...

Это я же составил! А то еще про город...

— Что — про город?

— А вот! — юноша снял с головы старенький картуз, зачем-то распялил его перед лицом и начал тихонько:

Эх, попел бы я веселых песен!
Да кому их в нашем месте нужно?
Город для веселья — глух и тесен,
Все живут в нем злобно и недужно.
В городе у нас — как на погосте —
Для всего готовая могила.
Братцы мои! Злую склоку бросьте,
Чтобы жить на свете легче было!

Замолчал.

— Всё?

Кривой нацелился глазом в лицо юноши и, усмехаясь, спросил:

— Какое же тут веселье? Дурачок!

Помолчав, он повторил:

— Эхе-хе, дурачок!

Юношу не обидело грустное и ласковое восклицание, он даже улыбался, говоря:

— Ведь я не сказал, Яков Захарович, что это — веселое.

— Не сказал разве?

— Не-ет!

— Так! Ну, ладно!

Слева от них, в темном ельнике болота, гулко крикнул пугач — тишина всколыхнулась и снова застыла, как масло. Далеко впереди середь поля вспыхнул тихий огонь и стал быстро разгораться, вздрагивая и краснея.

— Вон,— сказал кривой,— видать, мужики из Балымер в ночном светец разложили. Свежевата ночка-то!

— Стихами, Яков Захарович, мне легче думать, а простые слова труднее складываются у меня. Мне всё хочется, чтобы стихи-то как молитвы были, а как это надо делать — не знаю! Ежели длинный стих, то будто молитвеннее выходит — а так ли? Вот еще стихи, про город тоже:

Снова тучи серые мчатся над болотами.
Разлилася в городе тишина глубокая.
Люди спят, измучены тяжкими заботами,
И висит над сонными небо одноокое...

— Какое небо-то? — удивленно спросил Тиунов.

— Одноокое,— смущенно ответил Сима и отодвинулся от спутника, виноватым голосом объясняя: — Оно ведь всегда одноглазое: днем солнце, а ночью — луна только.

— Кривое, стало быть, как я? — сказал Тиунов, посмеиваясь.— Это ничего, ловко! Только — звезды забыты тобой.

— При полной-то луне — какие звезды?

— М-м... верно, маловато их! Да! Потом вот тучи, говоришь, и — луна?

— Это бывает! Бегут тучи, а между них — луна, и всё небо — вздрагивает, будто ломается...

Тиунов замолчал, а Сима тихонько прибавил:

— Я назвал небо-то одноким — забыл про вас, ей-богу!

— Ничего! — сказал кривой.

— Дальше у меня так идут стихи:

В небе тучи гонятся за слепой луной,
Полем тихо крадется чья-то тень за мной...

— Всё ты да ты! — вдруг заговорил Тиунов.— Ты, да я, да сватья,— только и знатья! Да голодное житье, да смерть!

Юноше очень хотелось рассказывать Тиунову свои стихи, но кривой, видимо, не хотел слушать: помахивая палочкой, он тихонько шагал и говорил:

— Всё это, конечно, действует в жизни — и бедность есть и смерть, а людей, однако, не одолевает! И дедушка мой голодал, и отец голодал, а и сам я не больно сытно живу. И они — померли, и я помру — верно!

Вспоминая свои стихи, Сима не ответил.

— Ну, помру, и — ни синь пороха после меня не останется! — убедительно говорил Тиунов.— Злодей помрет — люди скажут: ах, какой злодей был! Добрый помрет — добром помянут. Бывает — и собаку дохлую жалко людям. Кошек тоже часто вспоминают: хорош, дескать, зверь был, умный или там — ласковый, мышей ловко хватал. А помрут Яков Тиунов, Семен Девушкин — и никто ничего не скажет. Были мы али нет — это всем всё равно. Вот ты бы о чем подумал, малый, об этом вот! Да! Подумай! Дело — важное! Ты — человечек одинокий, а одинокие-то люди и есть самые лучшие, верные слуги миру.

Сима — молчал. Ровная и мягкая речь кривого не мешала смутным мыслям юноши искать нужных слов.

— А ты будь нужен людям не столь в горе, сколько в радости, ты их с радостью полюби! Горе, малый, дешево! В нем — как арестанты в серых халатах своих — все людишки одинаковы: ни дворяне, ни мещане не отличны. А ты — в радость иди, покажи людям радость — птицу редкую, птицу райскую — вот! Вот у тебя есть — скажем — талан, ты его серьезно полюби! Надо, брат, всё полюбить: инструмент, которым работаешь,— долото, например,— и его полюби тоже! Оно тебя поймет, хоть и железо, а — полюбив твою руку — оно тебе в работе сильно может помочь.

Полем идут двое —
Старый с молодым...

— складывалось в голове Симы. Он спотыкался и простирал вперед прямые, длинные руки:

Перед ними — тени
Стелются, как дым...

В сумраке души, в памяти, искрами вспыхивали разные слова, кружились, как пчелы, одни исчезали,

другие соединялись живою цепью, слагали песню — Симе было жутко и приятно, тихая радость ласкала сердце.

— Вот, гляди! — задумчиво текла речь кривого.— Живут в России люди, называемые — мещане. Кто их несчастнее? — подумай. Есть — цыгане, они всё бродяжат, по ярмаркам — мужиков лошадями обманывают, по деревням — кур воруют. Может, они и не делают ничего такого, ну, уж так говорится про них. А мещане хоть больше на одном месте трутся — но тоже самые бесполезные в мире жители...

Юноша, глядя вперед бездонным взглядом круглых глаз, шаркал ногами по земле, и ему казалось, что он легко поднимается в гору.

Старый молодому
Что-то говорит,
Впереди далеко
Огонек горит...

Вдали, над темной гривой Чернораменского леса, поднялась тяжелая туча и гасила звезды. Огонь костра взыграл ярче, веселее.

— Мне, малый, за пятый десяток года идут, и столько я видел — в соборе нашем всего не сложишь, на что велик храм! Жил я — разно, но больше — нехорошо жил! И вот, после всего, человеческое мое сердце указывает: дурак, надобно было жить с любовью к чему-нибудь, а без любови — не жизнь!

Сима, улыбаясь, сочинял:

Узкою тропинкою
Тесно им идти,
Покрывают тени
Ямы на пути.
Оба спотыкаются,
Попадая в ямы,
Но идут тихонько
Дальше всё и прямо.
Господи владыко!
Научи ты их,
Как дойти средь ночи
До путей твоих!

Он остановился и радостно вскричал, схватив кривого за рукав:

— Яков Захарович, а я сейчас еще стихи сочинил, ей-богу, вот только сейчас! Слушайте!

Когда он сказал стихи свои, кривой ткнул в лицо ему темный свой глаз и одобрительно заметил:

— Ну вот! Ишь ты ведь...

— Ах, господи! — тихонько воскликнул Сима.— Это такая, знаете, радость, когда сочинишь что-нибудь, даже плакать хочется...

— И хорошо. Именно это миру и надобно — радость! А пора нам повернуть — эко, сколь места отхватали!

Повернули. Идти стало светлее — тени легли сзади, пошли ближе друг к другу.

— Главное, малый,— раздавался в тишине ночи спокойный голос Тиунова,— ты люби свою способность! Сам ты для себя — вещь неважная, а способность твоя — это миру подарок! Насчет бога — тоже хорошо, конечно! Однако и пословицу помни: бог-то бог, да и сам не будь плох! А главнейше — люби! Без любви же человек — дурак!

Их догоняла предвестница осени, тяжелая черная туча, одевая поле и болото бархатом тени, а встречу им ласково светил полный круг луны.

— Эх, Семен, Семен! — вздрагивал глуховатый голос Тиунова.— Сколько я видел людей, сколько горя постиг человеческого! Любят люди горе, радость — вдвое! И скажу тебе от сердца слово — хорош есть на земле русский народ! Дикий он, конечно, замордованный и весьма несчастен, а — хорош, добротный, даровитый народ! Вот — ты погляди на него пристально и будешь любить! Ну, тогда, брат, запоешь!

Сима улыбался, толкая кривого острым плечом.

Помолчав, Тиунов убедительно прибавил:

— Хорош народ! И — аминь!

Рыжая девица Паша несла в «раишке», кроме специального труда, обязанности горничной: кухарка будила ее раньше всех, и Паша должна была убирать

зал — огромную, как сарай, комнату с пятью стрельчатыми окнами; два из них были наглухо забиты и завешены войлочным крашеным ковром.

Потолок зала пестро расписан гирляндами цветов, в них запутались какие-то большеголовые зеленые и желтые птицы и два купидона: у одного слиняло лицо, а у другого выкрошились ноги и часть живота.

Матрена Пушкарева, кухарка, сообщила Паше, что потолок расписывал пленный француз в двенадцатом году, и почти каждое утро Паша, входя в зал с веником и тряпками в руках, останавливалась у дверей и, задрав голову вверх, серьезно рассматривала красочный узор потолка, покрытый пятнами сырости, трещинами и копотью ламп.

Иногда Матрена окликала ее:

— Ты что, лешая, опять вытаращила буркалы? Убирай скорее, встают уж все...

Улыбаясь, Паша отвечала:

— Сейча-ас! Уж больно француз этот ловок! И как он писал, тетя? Не иначе — лежа надо было писать ему, ай?

Матрена сердилась.

— Тебе бы всё лежа и жить! Погоди, околеешь — пролежишь, толстомясая, до косточек бока-то твои!

— Где-то он теперь, французик бедненький? — вздыхая, мечтала Паша.

Часто бывало так, что, любуясь работой француза, девушка погружалась в дремотное самозабвение, не слышала злых криков хозяйки и подруг; тогда они, сердитые с похмелья, бросались на нее, точно кошки на ворону, и трепали девицу, вытирая ее телом пыль и грязь зала.

Когда Пашу били — она не сопротивлялась, а только пыхтела, закрыв глаза; уставали бить ее — она плакала и жаловалась не сразу: сначала посмотрит, где и как на ней разорвана одежда, потом уходит на двор и там начинает густо, басом, выть и ругаться.

На ее рев с улицы в калитку высовывалась огромная голова Четыхера, он долго слушал жалобы Паши молча, наконец они ему, видимо, надоедали — тогда привратник пренебрежительно убеждал ее:

— Ну-ка, перестань ты! Бесстыдница. Орешь тут, а люди слышат! Эй! Люди-то слышат, мол!

— Чай — больно! — успокаиваясь, объясняла Паша.

Четыхер разумно говорил:

— Для того и бьют.

Однажды ночью, во время кутежа, пьяный Немцев и Ванька Хряпов грязно обидели Пашу, она вырвалась от них, убежала на двор и там, прислонясь у ворот, завыла.

— Опять плачешь? — спросил Четыхер, приотворив калитку.

— Дяденька! — воскликнула девица сквозь рыдания.— Что я за несчастная? Господи!

— Ну-ка, перестань! — посоветовал Четыхер.

А она не переставала.

Четыхер послушал ее вопли еще несколько времени и сказал, тяжко вздыхая:

— Ну, и голос же! Ах ты, чтоб те сдохнуть! Ин подь сюда!

Вывел ее на улицу, оглянулся, посадил на лавку, сел рядом с ней и начал уговаривать.

— Ну — молчи! Сиди. Вот — ночь-то какая теплая. И никого нет. Кто тебя обидел?

Всхлипывая, Паша стала рассказывать, как ее обидели, но Четыхер брезгливо остановил:

— Ну — ладно! Не люблю я пакостей этих. Молчи знай!

Она покорно замолчала, прислонясь к нему плечом; человек попробовал отодвинуться от нее — некуда было. Тогда, сунув длинные руки между колен своих, он наклонился и, не глядя на нее, забормотал:

— Чу — Маркушина собака воет, слышишь? Держат пса на цепи не кормя, почитай, это — чтобы пес-от злее был. Видишь, как хорошо ночью на улице-то? Народу совсем никого нету... То-то! Вон — звезда упала. А когда придет конец миру, они — снегом, звезды-то, посыпятся с неба. Вот бы дожить да поглядеть...

Говорил он долго. Порою его глаза, невольно косясь направо, видели ноги девицы, круглый ее локоть и полуприкрытую грудь. Он чувствовал, что ее тяжелое тело всё сильнее теснит его,— Четыхеру было тепло,

приятно; не разжимая колен, он вытянул из них правую руку, желая обнять Пашу, и вдруг услыхал сонный храп.

— Али спишь? — удивленно и тихонько спросил он.

Не ответила.

— Ну-ка! — сказал Четыхер, пошевелив плечом.

Она, сладко чмокнув губами, спокойно и глубоко вздохнула. Человек посмотрел в лицо девушки, осыпанное рыжими прядями растрепанных волос, — рот Паши был удивленно полуоткрыт, на щеках блестели еще не засохшие слезы, руки бессильно повисли вдоль тела.

Четыхер усмехнулся и, качая головою, проворчал:

— Эка дура! Вот дурёха-то!

И крепкий ее сон и детская беспомощность тела вызвали у него доброе удивление. Поглядывая на нее сбоку и успешно побеждая непроизвольные движения своих длинных рук, он долго, почти до света, смирненько сидел около нее, слушая, как в доме ревели и визжали пьяные люди, а когда в городе, на колокольне собора, пробило четыре часа, разбудил ее, говоря:

— Ну-ка, иди ко мне в сторожку! Эй, иди-ка! А то сейчас полезут эти все...

— Как это я заснула? — удивленно оглядываясь, спрашивала Паша.

— А так — закрыла глаза да и спишь.

— Ах ты, господи...

— Ну, иди знай...

Отворил калитку перед ней и, проводив глазами белую фигуру ее до поры, пока она не скрылась в его комнатенке, рядом с кухней, привратник громко хлопнул створом и, широко расставив ноги, долго смотрел в землю, покачивая головой.

Эта ночь ничего не изменила в отношениях Паши и Четыхера, но скоро девушку опять побили.

Однажды, после сильного кутежа, Лодка проснулась в полдень полубольная и злая: мучила изжога, сухую кожу точно ржавчина ела, и глазам было больно. Спустив ноги на пол, она постучала пяткой в половицу; подождав, постучала еще сильнее, а затем начала колотить по полу ногами яростно, и глаза у нее зловеще потемнели.

Когда явилась Паша, она швырнула башмаком в голову ей, дико ругаясь, изорвала на ней кофту и столкнула девушку с лестницы.

Снова Паша плакала, и снова явился Четыхер — видимо, только что проснувшийся, растрепанный и суровый.

— Ну чего? — спросил он.

— Глафира меня...

— За что?

— Да разве я знаю, господи...

— Господи! — передразнил он густой голос девушки и тоном хозяина приказал: — Иди, умой рожу-то!

Шмыгая носом, она пошла в дом, а Четыхер, вытянув руку вперед и тыкая пальцем вслед Паше, сумрачно объявил:

— Я вам покажу — драться!

Сильным ударом ноги отшвырнул далеко прочь какой-то черепок и решительно пошел в кухню, где шумно спорили Фелицата с кухаркой. Открыв дверь, он заполнил ее своим квадратным телом и, прерывая речь хозяйки, сказал:

— Вот что — Пелагею вы зря бьете...

— Ты что, Кузьма? — усталым голосом спросила хозяйка, не поняв его слов.

— Я говорю — пошто Пелагею бьете? — повторил Четыхер, схватившись руками за косяки.

И дородная Матрена Пушкарева и сама Фелицата Назаровна Воеводина удивленно вытаращили глаза: почти три года человек смирно сидел у ворот, всегда молчаливый, всем послушный, ни во что не вмешиваясь, но вот — пришел и, как имеющий власть, учит хозяйку.

— Бить нельзя. Она — как ребенок. Глупая она.

Фелицата Назаровна негромко и рассыпчато засмеялась, вскинула голову и подошла к нему. Сегодня ее волосы были причесаны вверх короной, увеличивал рост хозяйки; широкий красный капот, браслеты и кольца на руках, лязг связки ключей у пояса, мелкие, оскаленные зубы и насмешливо прищуренные глаза — всё это принудило дворника опустить и руки и голову.

— Ты кто здесь? — ехидно спросила Фелицата.

Он, открыв рот, промычал что-то несвязное.

— Пошел вон! — приказала хозяйка, взмахнув рукой.

Четыхер тяжело повернулся, пошел и слышал, как она сказала:

— Ишь ты, батюшка! Не выспался, видно!

Остановясь на крыльце, он схватил рукою перила лестницы, покачал их — дерево дряхло заскрипело. А в кухне умильно скрипел рабий голос Матрены:

— Ка-ак он выкатился, а ба-атюшки!

— У меня просто!

— Ну, уж и храбрая вы, ах!

— Я, матушка моя, дворянка.

— Уж и правда, что генеральша!

— Дворяне никого не боятся! Мне стоит сказать одно слово Немцеву — так этот леший невесть где будет! Там в городе разные шёпоты шепчут о всяких пустяках, видно, и сюда ветер что-то доносит. Вот он и осмелел. Ну — меня, голубчик, не испугаешь — нет!

Четыхер оглянулся, замычал, точно больной бык, и пошел по двору, кривыми ногами загребая бурьян, гнилые куски дерева, обломки кирпичей — точно пахал засоренную, оброшенную землю.

А Лодка умылась, не одеваясь, выпила чашку крепкого чая и снова легла, чувствуя сверлящие уколы где-то в груди: как будто к сердцу ее присосалась большая черная пиявка, пьет кровь, растет и, затрудняя дыхание, поднимается к горлу.

Перед нею неподвижно стояли сцены из прожитой утомительной ночи: вот пьяный Жуков, с дряблым, прыщеватым телом — хочет плясать, грузно, как мешок муки, падает навзничь и, простирая руки, испуганно хрипит:

— Поднимите меня! Скорей!

Раздражительный Немцев прыгает русскую перед Фелицатой, стукая по полу костлявыми пятками, и визгливо повторяет:

— Эх-ну! Последние деньки наши! Разделывай, дворянка!

Доктор, позеленевший от множества выпитого им вина, всё дразнил Розку, доводя ее до злых слез, и шу-

тил какие-то страшные шутки. А телеграфист Коля почему-то расплакался, стучал кулаками по столу и орал:

— Мертвецы! Мертвецы вы!

Его обливали водой, терли за ушами спиртом, потом он уснул, положив голову на колени Фелицаты. И даже Ванька Хряпов, всегда веселый и добродушный, был пасмурен и всё что-то шептал на ухо Серафиме Пушкаревой, а она, слушая его, тихонько отирала слезы и несколько раз поцеловала Ивана в лоб особенным поцелуем, смешным и печальным.

Веселились необычно, без расчета: швыряли деньгами так, словно все вдруг разбогатели, привезли дорогого вина, держались с девицами более грубо, чем всегда, и все говорили друг другу что-то нехорошее и непонятное.

Тяжело было с ними и боязно. Хозяйка шёпотом предупредила Лодку и Розку:

— Поменьше пейте сами-то! Гости сегодня не хороши в себе!

Дверь тихо отворилась. Лодка приподняла голову — в комнату, ласково улыбаясь, смотрело бледное лицо Симы.

— Не спишь?

Лодка недовольно приоткрыла глаза, тихо ответив:

— Нездоровится мне.

Он осторожно, на пальцах ног, подошел к ней, склонился, заглядывая в глаза.

— Можно мне посидеть у тебя?

И когда она утвердительно кивнула головой, Сима тихо примостился на краю кровати, положил белую руку Лодки на колено себе и стал любовно гладить ладонью своею горячую пушистую кожу от локтя до кисти.

— Вчера, сидя на большой дороге, еще стихи сочинил,— сказать?

— Про богородицу? — сквозь зубы спросила Лодка.

— Нет, так — про жизнь. Сказать?

— Ну, скажи,— вздохнув, разрешила женщина.

Господи — помилуй!
Мы — твои рабы!

— начал Сима шёпотом.

Лодка поучительно заметила:

— Всё ты — про одно и то же! Это не больно трудно всегда про одно говорить.

Сима усмехнулся и, покорно опустив голову, замолчал.

— Ну? — закрыв глаза, спросила Лодка.

Он снова забормотал скороговоркой чуть слышно:

Господи — помилуй!
Мы — твои рабы!
Где же взять нам силы
Против злой судьбы
И нужды проклятой?
В чем мы виноваты?
Мы тебе — покорны,
Мы с тобой — не спорим,
Ты же смертью черной
И тяжелым горем
Каждый день и час
Убиваешь нас!

— Что ты всё жалуешься? — перебила его Лодка, неприязненно хмурясь.— Ты бы лучше мне сочинил хоть какие-нибудь любовные стишки, а то — господи да господи! Что ты — дьячок, что ли? Любишь, а стишков не догадаешься сочинить!

Сима перестал гладить ее руку и отрицательно замотал головой.

— Не умею я про женщин...

— Любить — научился, ну, и этому научись,— серьезно сказала женщина.

Приподнялась, села на постели и закачалась, обняв колена руками, думая о чем-то. Юноша печально осматривал комнату — всё в ней было знакомо и всё не нравилось ему: стены, оклеенные розовыми обоями, белый глянцевый потолок, с трещинами по бумаге, стол с зеркалом, умывальник, старый пузатый комод, самодовольно выпятившийся против кровати, и ошарпанная, закоптевшая печь в углу. Сумрак этой комнаты всегда — днем и ночью — был одинаково душен.

— Врешь ты! — задумчиво и медленно начала говорить Лодка.— Врешь, что не умеешь про женщин. Вон как про богородицу-то сочинил тогда:

Чтоб мир избавить ото зла,
Ты сына миру отдала.

Да! — Она вдруг как-то злобно оживилась и, щелкнув языком, прищурила глаза: — Да-а, а они, сукины дети, образованные, и про нее пакостные стихи составляют! Ух, свинья!

Сима искоса посмотрел на ее обнаженную грудь и беспомощно задвигал руками, словно они вдруг помешали ему.

— Ты бы послушал, какие про нее стишки знает доктор, дрянь рвотная!

Она вытянула ноги, легко опрокинула Симу на колени себе и наклонилась над ним, почти касаясь грудью его лица. Юноше было сладостно и неудобно — больно спину: длинное тело его сползало на пол, он шаркал ногами по половицам, пытаясь удержаться на кровати, и — не мог.

— Упаду сейчас,— смущенно сказал он.

— Ой, неуклюжий! Ну?

Помогла ему сесть, обняла и, ласково заглядывая в глаза, попросила:

— Сочини, а?

— Чего?

— Смешное.

— Да что же смешное есть? — тихо спросил юноша.

— Про меня что-нибудь. А то...

Замолчала и долго испытующе смотрела в светло-бездонные глаза, а потом, закрыв их мягкою ладонью, сказала, вздыхая:

— Нет, ты не можешь! Ты у меня — робкий. А они — они про всё могут смешно говорить!

— Про бога — нельзя! — напомнил тихонько Сима.

Снова помолчав, Лодка грубо толкнула его в бок и сказала капризным голосом:

— Не щекотай! Руки холодные,— не тронь!

Юноша приподнял голову — ее рука соскользнула

со лба его. Он посмотрел глазами нищего в лицо ей и, печально улыбаясь, проговорил:

— Не любишь ты меня. Не нравлюсь я тебе.

Закинув руки за голову и глядя в потолок, женщина рассуждала:

— Если б я умела, так я бы уж сочиняла всегда одно смешное, одно веселое! Чтобы всем стыдно было. Обо всем бы — ух!

Сима повторил, касаясь рукою ее груди:

— Не любишь ты меня.

— Ну, вот еще что выдумал! — спокойно сказала она.— Как же не люблю? Ведь я денег не беру с тебя.

И, подумав, прибавила, играя глазами.

— Я всех мужчин люблю — такая должность моя!

Юноша вздохнул, спустил ноги на пол и сел, жалобно говоря:

— Кабы ты хоть немножко любила меня — об этом надо бы сказать Вавиле-то! А то — стыдно мне перед ним...

Она обеспокоилась, гибко вскочила, обняла Симу и внушительно стала убеждать его:

— Ты этого и не думай, ни-ни! Слышишь? Я — только тебя люблю! А Вавило... он, видишь, такой... он человек единственный...

Она закрыла глаза и вся потянулась куда-то.

— Я с ним — отчего? — спокойнее и увереннее продолжала она.— От страха! Не уступи-ка ему — убьет! Да! О, это он может! А тебя я люблю хорошо, для души — понял?

Всё крепче обнимая худое, нескладное тело, она заглядывала в глаза юноши темнеющим взглядом, а между поцелуями рассудительно доказывала:

— Мне за любовь эту чистую много греха простится — я знаю! Как же бы я не любила тебя?

Сима трепетал под ее поцелуями, точно раненый журавль, горел жарким огнем и, закрыв глаза, искал губами ее губ.

Женщина еще более торопливо, чем всегда, отдавалась ему, без радости и желания, деловито говоря:

— Ты — не беспокойся!

И после ласково, вкрадчиво шептала:

— Попробуй, Симушка, сочини что-нибудь такое, чтобы люди забоялись тебя! Ты — будь смелее! Ведь обо всем можно сказать, что хочешь,— вон, смотри-ка, образованные-то как говорят! И все уважают их. А они и архангелов даже осмеяли, ей-богу!

Глаза ее были широко открыты, в них сверкали зеленоватые искры, лицо горело румянцем, дышала она часто, и груди ее трепетали, как два белые голубя.

Юноша гладил дрожащей рукой щеку ее, смотрел в наивные глаза и, снова разгораясь, слушал ласковый шёпот:

— Мне тебя любить — одна моя заслуга... Ведь я же знаю, что великая грешница я, всей жизнью моей...

Город был весь наполнен осторожным шёпотом — шептались и обыватели и начальство, только один Коля-телеграфист говорил громко и день ото дня становился всё более дерзким в речах.

Франтоватый, юркий, худенький, он, храбро вздернув острый нос в пенсне кверху, метался по городу и всюду сеял тревожные слухи, а когда его спрашивали: «Да почему ты знаешь?», многозначительно отвечал: «Уж это верно-с!» И молодцевато одергивал свою щегольскую тужурку.

Доктор Ряхин, покашливая, убеждал его:

— А вы, батя, не волновались бы. Вы рассуждайте философски: человек не может ни ускорять событий, ни задерживать их, как не может он остановить вращение земли, развитие прогрессивного паралича или, например, этот идиотский дождь. Всё, что должно быть,— будет, чего не может быть — не будет, как вы ни прыгайте! Это, батя, доказано Марксом, и — значит— шабаш!

— Но, Алексей же Степанович! — восклицал Коля, вытягиваясь куда-то к потолку.— Должны же люди что-нибудь делать?

— Указано им — плодитесь, множьтесь и населяйте землю, всё остальное приложится вам! И, ей-богу, миленький, ни на что более сложное, чем это простое и приятное занятие, не способны люди, и вы, дорогой, в их числе!

— Господи! Какой же вы мрачный человек в речах ваших!

— Такова позиция человека уездного, ибо — как сказано во всех географиях — население русских уездных городов сплошь состоит из людей, занимающихся пьянством, карточной игрой и мизантропией. А вы — дрыгаете ножкой,— к чему? Вам конституции хочется? Подождите, миленький, придет и конституция и всякое другое благополучие. Сидите смирно, читайте Льва Толстого, и — больше ничего не нужно! Главное — Толстой: он знает, в чем смысл жизни,— ничего не делай, всё сделается само собой, к счастью твоему и радости твоей. Это, батя, замечательнейший и необходимейший философ для уездных жителей.

— Вы говорите совсем как Тиунов! — уныло воскликнул Коля.

— Тиунов? Ага, переплетчик!

— Он, собственно, часовщик.

— Весьма вероятно, и часовщик. Уездный житель всё делает, но ничего не умеет.

— Фу, боже мой! — вздыхал огорченный юноша и уходил, чувствуя себя ощипанным.

Доктор, снедаемый каким-то тайным недугом, был мало понятен Коле, но привлекал его шутовской иронией речи, возбуждавшей в голове юноши острые, дерзкие мысли. Ему нравилась и внешность доктора, напоминавшая тонкий хирургический инструмент в красивом футляре, нравилось уменье Ряхина завязывать галстук пышным бантом, его мягкие рубашки, ловко сшитые сюртуки, остроносые ботинки и округлые движения белых ловких рук. Он любил видеть, как на бледном лице вздрагивают тонкие губы жадного рта, играют насмешливо прищуренные глаза. Иногда доктор возбуждал в Коле тоску своими насмешками, но чаще эти речи наполняли юношу некоторой гордостью: повторяя их знакомым, он вызывал общее удивление, а это позволяло ему чувствовать себя особенным человеком — очень интеллигентным и весьма острого ума.

Но и после охлаждающих разговоров с доктором Коля чувствовал и видел всюду в городе тревожное, хмурое любопытство: все беспокойно ожидали чего-то,

трое обывателей, выписав наиболее шумную газету, приняли озабоченный вид политиков, ходили по базару спешно, встречаясь, жестоко спорили, часа по два, собирая вокруг себя почтительно внимательную толпу слушателей.

Коля вмешивался в спор:

— Дальше невозможно жить так, как жили до сей поры!

— Отчего же? — серьезно и удивленно спрашивали некоторые обыватели.

— От глупости! — объяснял Коля, ловя пенсне, соскакивавшее с переносицы.

— Позволь,— от чьей же это глупости?

— От всероссийской! От вашей! — кричал юноша, вспоминая фразы Ряхина.

Иные обижались.

— Однако ты, парень, осторожнее! Что за слова такие?

Мелкие люди города слушали Колю с вожделением, расспрашивали его подробно, но их вопросы носили узко практический характер, юноша не умел ответить и, боясь сконфузиться, убегал от таких бесед.

В общем город начинал жить, точно собираясь куда-то, и мужья на предложения жен купить то или другое ввиду зимы отвечали неопределенно:

— Погоди! Еще неизвестно, что будет.

Властные люди города стали часто собираться вместе, тайно беседуя о чем-то, и наконец обывателям стало известно, что отец Исаия скажет за поздней обедней проповедь, которая объяснит все тревоги и рассеет их, что Штрехель устроит в «Лиссабоне» какой-то особенный спектакль, а исправник потребует из губернии трех полицейских, если же можно, то и солдат.

— Солда-ат! — воскликнул, мигая, всегда пьяный портной Минаков и вдруг сообразил: — Понимаю. Ага-а!

Он долго мучил публику, не говоря, что именно понято им, и наконец сообщил:

— Решено, стало быть, оборотить нас в заштатный город!

Большинство усумнилось в этом, но многие говорили:

— Что ж, только слава, что город мы, а всего и мощена-то у нас одна улица да вот базарная площадь.

Вечером Минаков, сидя в грязи против церкви Николая Чудотворца, горько, со слезами жаловался:

— Угодничек божий, милостивый! Прекратили нас— кончено!

А городовой Капендюхин, стоя над ним, утешал портного:

— А ну, Егор, не реви, як баба! Ще, може, ничего не буде!

Слухи о том, что начальство хочет успокоить горожан, подтвердились: исправник вызвал Колю и, должно быть, чем-то сконфузил его — бойкий телеграфист перестал бегать по улицам.

К Минакову явился Капендюхин и сурово объявил ему:

— А ну, Егор, идем у полицию.

— Зачем?

— А чтоб тебе слухов не пускать.

Арестовали какого-то странника, исчезли Вавило Бурмистров и печник Ключарев.

Любители драмы и комедии стали готовиться к спектаклю — но в их суете и беготне было что-то показное, подчеркнутое,— горожане ясно видели это.

За обедней в воскресенье собор был набит битком; окуровцы, обливаясь потом, внимательно слушали красивую проповедь отца Исаии: он говорил об Авессаломе и Петре Великом, о мудрости царя Соломона, о двенадцатом годе и Севастополе, об уничтожении крепостного права, о зависти иностранных держав к могуществу и богатству России, а также и о том, что легковерие — пагубно.

Расходясь по домам, обыватели соображали:

— Видать, что и взаправду будут перемены,— по пустякам в церкви не позволят говорить!

Жуткая тревога усиливалась, внимание к словам друг друга росло. Собирались кучками и догадывались:

— Иностранец этот — он всегда соображает, как Россию уязвить,— отчего бы?

Кто-то внушительно разъяснил:

— Главное — тесно ему: разродился в несметном

количестве, а жить — негде! Ежели взять земную карту, то сразу видно: отодвинули мы его везде к морским берегам, трется он по берегам этим, и ничего ему нету, окромя песку да соленой воды! Народ — голый...

— В таком разе, конечно, и русскому позавидуешь...

Раздавался голос Тиунова:

— Решено призвать к делам исконных русских людей — объявлено было про это давно уж!

Обыватели спрашивали друг друга:

— Это — кто говорит?

— Кривой из слободы.

Солидные люди, отмахиваясь, шли прочь:

— Есть кого слушать!

— Подмечайте, православные, хороших людей, которые поразумнее, почестнее...

Бондарь Кулугуров, огромный бородатый старик, спросил:

— Где они у нас?

Его поддержали:

— Н-да, эдаких чего-то не знатно.

— Кто к пирогу?

— Пора.

— Пустое затеяно! — говорил бондарь, вытягиваясь во весь рост.— Ты пойми, слобожанин, что нам с того, коли где-то, за тысячу верст, некакие люди — ну, скажем, пускай умные — сядут про наши дела говорить? Чего издали увидят? Нет, ты мне тут вот, на месте дай права! Дома мне их дай, чтоб я вору, голове Сухобаеву, по всем законам сопротивляться мог, чтоб он меня окладом не душил,— вот чего мне позволь! А что на краю земли-то — нас не касаемо!

Глаза у бондаря были узкие, они казались маленькими щелками куда-то в беспокойную, глубокую тьму, где всегда кипело неукротимое волнение и часто вспыхивал зеленый гневный огонь. И руки у него были тоже беспокойные — странно мотались, точно стремясь оторваться от большого тела, шумно хлопали ладонями одна о другую, сцеплялись кривыми пальцами и терлись, и редко движения их совпадали со словами старика.

— Эх, почтенный! — начал было Тиунов, сверкая глазом.

— Вот те и эх! — отразил бондарь и, круто повернувшись, пошел прочь, а за ним отошли и другие.

— Православные! — обратился кривой к оставшемуся десятку человек.— Я говорю в том наклонении, что мы, мещанство...

Но кривой плохо выбрал время: каждого человека в этот час ждал дома пирог,— его пекут однажды в неделю, и горячий — он вкуснее. А еще Тиунов забыл, что перед ним люди, издавна привыкшие жить и думать одиноко — издревле отученные верить друг другу. На улицу, к миру, выходили не для того, чтобы поделиться с ним своими мыслями, а чтобы урвать чужое, схватить его и, принеся домой, истереть, измельчить в голове, между привычными тяжелыми мыслями о буднях, которые медленно тянутся из года в год; каждый обывательский дом был темницей, где пойманное новое долго томилось в тесном и темном плену, а потом, обессиленное, тихо умирало, ничего не рождая. Так семя цветка, занесенное ветром в болото, сгнивает там бесследно, не имея сил разрастись, расцвести и улыбнуться небу яркой улыбкой.

Осталась с кривым старуха Маврухина — красные глаза ее, залитые мутной влагой, смотрели в лицо ему, чего-то ожидая, и Тиунову неловко было уйти от них.

— Что, бабуня? — тихо спросил он.

— Сынок мой едет, чу! — сообщила мать.

— Куда он?

— К царю небесному...

— Ишь ты! — печально усмехаясь, сказал Тиунов.

— Нашли, слышь, дорогу-то туда!

Старуха тряслась и неверными движениями рук кутала дряхлое, разбитое горем и временем тело в грязные лохмотья.

— Прощай, бабуня! — сказал кривой, отходя.

Она, улыбаясь, осталась одна на площади, перед большим светлым храмом.

Тыкая в землю палочкой, Тиунов, не спеша, шел в слободу, жевал губами, чмокал и, протянув перед собой левую руку, шевелил пальцами, что-то, видимо, высчитывая.

Понедельник был тихий, ясный; за ночь мороз подсушил грязь улиц,— городок стоял под зеленоватым куполом неба празднично чистенький — точно жених.

Гулко и мерно бухали бондари, набивая обручи, за рекой пыхтела пароотводная трубка сухобаевского завода, где-то торопливо и озабоченно лаяла собака, как бы отвечая заданный урок.

Но уже с утра по улицам города поплелся, как увечный нищий, слух о порче телеграфа.

Как всегда, в девять часов к почтовой конторе подкатилась монастырская бричка с дородной и ласковой матерью Левкадией и смешливой краснощекой послушницей Павлой на козлах; у закрытых дверей конторы стоял седоусый Капендюхин, с трубкой в зубах и грозно сдвинутыми бровями. Покряхтывая, мать Левкадия вылезла из брички и остановилась у крыльца, удивленная необычным выражением давно и хорошо знакомого ей добродушного лица.

— Здравствуй, Нифонт! Бог милости прислал!

— Благодарствуйте,— ответил городовой таким тоном, как будто говорил: «Ну, нет, меня не обманешь!»

И, надув щеки, взглянул в небо.

— Ну-ка, открой дверь-то! — попросила монахиня.

Капендюхин посмотрел на нее сверху вниз и спросил:

— А зачем?

— Как это — зачем? — обиженно сказала монахиня.— Ведь я же за почтой приехала и две депеши у меня...

— Почты никакой не буде!

Старушка взволновалась.

— О господи, спаси и помилуй,— что ты? И вчера не было... Неужто грех какой-нибудь в дороге?

Капендюхин внушительно поднял руку и остановил ее:

— Вы, мать Лекадия, слухов не пускайте! Вам уже сказано — почты вовсе не будет, и — всё тут!

— А депеши? — робея и немножко сердясь, спросила старуха, девятый год, без помехи, исполнявшая на почте монастырские дела.

— Телеграфа нет.

— Нет?

Капендюхин наслаждался знанием тайны, и от полноты удовольствия его усатое лицо смешно надулось. Он долго мучал любопытство монахини, возбуждая в ней тревогу, и наконец как-то вдруг вдохновенно объяснил:

— Спортился главный телеграф у Петербурге. Комета, знаете, ходит там, так вот та комета задела башню, откуда все проволоки,— да вы же знаете телеграф, что мне говорить, вы же разумная женщина!

Мать Левкадия растерянно и недоверчиво посмотрела на него снизу вверх и — рассердилась уже до слез.

— Я, батюшка мой, не женщина, а монахиня, да-а... а смеяться надо мною — грех тебе!

Сконфузив городового, она уехала, а через несколько минут о событии уже знали на базаре, праздное любопытство было возбуждено, и торговцы, один за другим, пошли смотреть на почту. Они останавливались посреди улицы, задрав головы рассматривали уставленные цветами окна квартиры почтмейстера и до того надоели Капендюхину расспросами о событии, что он рассердился, изругался, вынул записную книжку и, несколько раз облизав карандаш, написал в ней:

«Его благородыю ваше благор пришел народ лезет меня осаживает и пускает слухи. Не могу справится тишину порядок нарушають Капендюхи».

Потом он неожиданно схватил за шиворот сына бондаря Селезнева, озорника Гришку, и, делая вид, будто дерет его за уши, шепнул мальчику:

— Беги у полицию, на, отдай помощнику записку — пятак дам, живо!

Сметливый Гришка вырвался и исчез, как пуля, сопровождаемый хохотом и гагайканьем обывателей.

Но скоро они принуждены были задуматься: из-за угла улицы появился полицейский надзиратель Хипа Вопияльский, а его сопровождало двое солдат с ружьями на плечах и два стражника верхами.

Весь город знал скромного и робкого Архипа с детства, все помнили его псаломщиком у Николая Чудотворца, называли его Хипой и в свое время много смеялись шутке преосвященного Агафангела, изме-

нившего фамилию его отца, милейшего дьячка Василия Никитича Коренева, в смешное прозвище Вопияльского, потому что Коренев в каком-то прошении, поданном владыке, несколько раз употребил слово «вопию».

И вот этот застенчивый, неспособный человек шагает с обнаженной шашкой в руке и кричит издали устрашающим голосом:

— Ра-азойдись, эй!

Даже сам Капендюхин был, видимо, поражен странным зрелищем, подтянулся и, пряча трубку в карман, заворчал:

— Эге! То-то же!

Ошарашенные обыватели полезли вон из улицы, стражники, покачиваясь на старых костлявых лошадях, молча сопровождали их, кое-кто бросился бежать, люди посолиднее рассуждали:

— Это против кого же они?

— Н-да, пугают!..

— Что такое, братцы мои, а?

Ничего не понимая — шутили, надеясь скрыть за шутками невольную тревогу, боясь показаться друг другу глупыми или испуганными. Но некоторые уже соображали вслух:

— Позвольте — это как же? Вот я, примерно, письмо послал, требованьице на товаришко, куда же оно денется?

— А мне бы, не сегодня — завтра, деньжат надобно получить из губернии...

Уже давно с болот встали густые тучи и окутали город сырым пологом. Казалось, что домá присели к земле и глазами окон смотрят на хозяев своих не то удивленно, не то с насмешкой, тусклой и обидной. Кое-где раздавались глухие удары бондарей:

— Тум-тум-тум! тум-тум!

Короткий день осени старчески сморщился, улицы наполнились скучной мглой, и в ней незаметно, как плесень, росли темные, вязкие слухи, пугливые думы.

— У казначейства, слышь, тоже солдаты поставлены...

— Ну?

— Памфил-сапожник сказал...

— А давеча, утречком рано, слободского Вавилу Бурмистрова, бойца, из полиции к исправнику на дом провели, слышь...

— Может быть, в Петербурге этом опять что-нибудь такое вышло, как тогда, зимой?..

— Вроде бунта?

— Да ведь нас это тогда никак не коснулось.

Кто-то задумчиво соображал:

— В слободе кривой есть...

— А то тут горбатенький в земстве служит, тоже, слышь, боек...

— Немого — тоже хорошо спросить?

— Не я тому виноват, что умные люди уроды больше!

Громко, неискренно хохотали и снова пробовали шутить, но шутки складывались плохо, в сердце незаметно просачивалось что-то новое и требовало ответа. И когда смотрели в поле, то всем казалось, что холмы выросли, приподнялись и теснее, чем раньше, окружают городишко.

С поля налетал холодный ветер, принося мелкую пыль отдаленного дождя. В окнах домов уже вспыхивали желтые огни. По времени надо бы к вечерне звонить, а колокола не слышно, город облегла жуткая тишина, только ветер вздыхал и свистел, летая над крышами домов, молча прижавшихся к сырой и грязной земле.

Часть обывателей собралась в нижней черной зале «Лиссабона», другие ушли в трактиры базара — до поздней ночи сидели там, чего-то ожидая. И напряженно сплетали недоумения дня с обрывками давних слухов, которые память почему-то удержала.

— Главное — японец этот!

— Намедни Кожемякин говорил, будто немец тоже...

— Кожемякин, старый чёрт, он больше насчет бабья знающ...

— Ну, нет, он все истории насквозь знает. Петр, говорит, Великий навез, говорит, этого немца.

— Екатерина тоже навезла.

— Сколько много, братцы мои, этих навозных людей у нас?!

Неуклюжая, непривычная к работе мысль беспомощно тыкалась всюду, как новорожденный котенок, еще слепой.

— Н-да-а! А ведь действительно, много иностранцев противу нас поставлено!

— Против тебя — палку в землю воткни — и довольно! Сто лет не шелохнешься.

— Ты храбер!

— Брось, ребята! Кому ее надо, храбрость вашу?

Почти никто не напился пьян, домой пошли тесными компаниями, говорили на улице, понижая голоса, и передко останавливались, прислушиваясь к чему-то. Шумел ветер голыми сучьями деревьев, моросил дождь, лаяли и выли озябшие, голодные собаки.

Не велика была связь города с жизнью родной страны, и когда была она — не замечали ее, но вот вдруг всем стало ясно, что порвалась эта связь, нет ее. Раньше о том, что на земле есть еще жизнь, другие города, иные люди, напоминало многое: ежедневно в девять часов утра в город, звеня колокольцем, влетала почтовая тройка из губернии, с полудня вплоть до вечера по улицам ходил, прихрамывая, разносчик писем Калугин, по вечерам в трактирах являлась губернская газета, в «Лиссабоне» — даже две. И вдруг— всё остановилось: остался среди лесов и болот маленький городок, и все люди в нем почувствовали себя забытыми.

Создавалось настроение нервозное, подозрительное и тоскливое. Людьми овладевала лень, работать не хотелось, привычный ежедневный труд как бы терял смысл.

— Живем где-то за всеми пределами! — ворчал Кулугуров, расхаживая по базару с толстой палкой в руках.

— Что же начальство наше?

— Н-да, сокрылось чего-то...

— Думает!

— Это — пора!

В глазах деловых людей их маленькие дела с каждым часом вырастали во что-то огромное, затенявшее всю жизнь, и вот этому — смыслу жизни — откуда-то грозила непонятная и явная опасность.

Прошел слух, что исправник вызывал трактирщиков и предупредил их, что, может быть, придется закрыть трактиры.

— Еще чего выдумают! — сердито закричал старый бондарь.— На улице, что ли, торчать нам? Не лето, чай!

— Дома сиди! — предложили ему.

— Разве в эдакое смутное время можно по домам расползаться? Надобно сообща жить, грудой!

И, сердясь всё более, он кричал, широко разевая большой рот и тряся седой бородой:

— Нате-ка! Кто-то где-то там распорядился, и — ни слуха ни духа ниоткуда! Вроде как мы теперь сполна отданы в плен начальству — делай с нами что хочешь, и пожаловаться некуда! Нет, эти штуки надо разобрать!

Речи его еще более раздували тревогу окуровцев.

Ходил по улицам Тиунов и, помахивая палочкой, ко всему прислушивался, нацеливаясь темным оком то в одно, то в другое лицо, рассматривая всех, точно цыган лошадей на конной ярмарке.

Его спрашивали:

— Что случилось — не слыхал?

— Не знаю. Заминка какая-то в делах, а что — не понять! — отвечал он, отходя и поджимая губы.

Его сухой одноглазый лик тоже казался опрокинутым, одежда на нем странно измялась, заершилась, точно человек этот только что с трудом пролез сквозь какое-то узкое место.

Мелькало больное лицо Кожемякина, его печальные глаза и желтая, дрожащая рука, теребившая белую бороду.

Вся жизнь городка остановилась пред невидимой и неощутимой преградой, люди топтались на одном месте день, два, ходили к отцу Исаие за какими-то советами, но священник оказался болен, вспомнили о председателе земской управы — он уехал в губернию.

Разбились по группам, сообразно интересам своим, смотрели друг на друга подозрительно, враждебно и не столько слушали, сколько подслушивали друг друга.

На третий день по городу с утра заговорили, что на базаре, в трактире Семянникова, будет дано объяснение всему, и обыватели быстрыми ручьями, шумя и волнуясь, стеклись на базар.

В трактире, у стены, на столе стоял горбатый статистик Шишмарев и, размахивая руками, кричал:

— Россия поняла, наконец...

Его большая голова вертелась во все стороны, голос срывался, глаза налились испугом, на щеках блестели капли пота или слез. Трактир был полон, трещали стулья и столы, с улицы теснился в дверь народ, то и дело звенели жалобно разбитые стекла, и Семянников плачевно кричал тонким голосом:

— Кто мне за имущество заплатит?

Несколько голосов настойчиво взывали к Шишмареву:

— Эй, послушайте, надолго это установлено — без почты чтобы?

— Вы дело, вы о делах говорите, почтенный!

— Он про Россию дябит всё, горбатая кикимора!

— Чего он в делах понимает?

Площадь базара стала подобна котлу,— люди кружились на ней, точно крупинки гречи в закипающей воде. Небо накрыло город серой тяжелой шапкой, заволокло дали и сеяло мелкую сырость пепельно-светлого цвета.

— Идея свободы, солидарности и прогресса...— выкрикивал Шишмарев.

С улицы жители напирали в дверь, лезли в открытые окна с выбитыми ставнями и тревожно требовали:

— Громчее!

— Горбатый, не слыхать!

— Давай его на улицу!

— И вот наконец,— надрывался статистик,— все классы общества...

Было уже много людей, опьяненных возбуждением, оно разгоралось, как лесной пожар, замелькали в толпе отуманенные глаза, полупьяные, злые улыбки. В толпе, словно налим, извивался портной Минаков, негромко внушая:

— Это, братцы мои, речи опасные! — и, хитро улыбаясь, подмигивал глазом.

А впереди него, расталкивая всех, метался Вавило Бурмистров; засучив рукава рубахи, весело и радостно сверкая глазами, он орал на всю улицу:

— К разделке! Вот она! Пришел день, эхма!

Солидные люди пока всё еще оставались спокойными зрителями сумятицы; останавливая Вавилу, они спрашивали:

— Ты чего кричишь?

— Чего? — грозно повторял боец и вдруг, просияв радостью, обнимал вопрошавшего крепкими руками.— Милый, али нехорошо, а? На дыбы встают люди — верно? Пришел день! Слышал — свобода? Хочу — живу, хочу — нет, а?

Обыватели, насильно улыбаясь, спрашивали:

— В чем — свобода?

— Братья! — захлебываясь и барабаня кулаками в грудь, пел Бурмистров.— Душа получает свободу! Играй душа, и — кончено!

— Пьяный! — говорили друг другу солидные люди, отходя от него, и хмурились.

Женщины, разглядывая красавца, поджимали губы и, лицемерно опуская глаза, шептали:

— Бесстыдник какой!

А Минаков, с темными пятнами на лице, всё нырял за Вавилой и неустанно вполголоса внушал:

— Эти самые речи — ой-ой-ой!

Из двери трактира, как дым из трубы, густо лез на улицу потный, разогретый обыватель, подталкивая горбуна,— горбун был похож на мяч, плохо сшитый из тряпья и разорванный.

— Тащи стол!

Солидные люди, не желая смешиваться с толпой, отходили к заборам и прижимались к ним — они смотрели сиротами города.

— Какой, однако, скандал развели!

— Ни тебе полиции, ни кого...

— Вчера хоть стражники ездили!

Базунов, церковный староста от Николы, самый крупный торговец города, говорил вкрадчивым и плачущим голосом:

— Позвольте,— как же это, братцы? Вдруг является неизвестного звания всем чужой человек и — рассуждает, а? А у нас дела торговые и другие разные, и мы — в стороне, а? Кем, однако, держится город, а?

— Что же это? — спрашивал Кулугуров, никого не слушая.— Жили-жили и — накося, оброшены, одни, и при этом начат такой беспорядок, как же это, а?

— Слободские пришли — вон там их с полсотни, поди-ка...

Над толпой у двери качалась голова Шишмарева, его большой рот открывался и отчаянно кричал:

— Мы должны дружно и смело...

Речь его заглушали вопросы.

— Кто остановку-то приказал?

Но тело горбуна вздрогнуло, он высоко взмахнул руками и исчез, а на его месте явился Бурмистров с взлохмаченными кудрями, голой грудью — красивый и страшный.

— Народ! — взревел он, простирая руки.— Слушай, вот — я! Дай мне — совести моей — ходу!

Стало как будто тише, спокойнее, и, точно крик ночной зловещей птицы, дважды прозвучал чей-то тонкий голос:

— Эки дела! Эки дела!

— Говорит нам — мне и Минакову — помощник исправника Немцев: иди, говорит, ребята, слушай, кто что скажет, и докладай мне! Ежели, говорит, что опасное...

— Ишь ты! — насмешливо крикнул кто-то.

— Православный народ! — кричал Бурмистров.— Что есть опаснее нашей жизни! И вот пришел день! Пусть каждый схлестнется со своей судьбой — один на один — без помехи, верно? Разрушена теснота наша, простирайся, народ, как хочешь! Вставай супротив судьбы..

— Ну, братцы мои, это действительно, что опасные речи! — тревожно говорил Базунов в толпе у забора.— Как начнет их братия, слободские, схлестываться...

Раздались яростные крики:

— Гони его!

— Сдерни со стола-то!

— Зачем гнать? Будет! Надоели нам они, гонения эти!

Солидные люди стали расходиться по домам, осторожно и подавленно перекидываясь тихими восклицаниями.

— Однако!

— Эдак, ежели каждый начнет...

— Что такое, братцы, а?

А Кулугуров громко кричал:

— Оброшены мы и позабыты...

Стороной, держась вдали от людей, тихо шли Тиунов и Кожемякин, оба с палочками в руках.

— Ну что, всех дел мастер? — невесело улыбаясь, спрашивал канатчик.

— Что ж, Матвей Савельич! Вот — сами видите!

Стукая палочкой по своему сапогу, кривой вполголоса, медленно и фигурно говорил:

— Правильно изволили вы намедни сказать, что народ — не помнящий родства...

— Давили, видишь ты, давили, да как бы уж и вовсе выдавили душу-то живую, одни ошметки остались...

— А главное — понять невозможно, что значит забастовка эта и чьего она ума?..

— Пойдем чайку попить ко мне...

Не торопясь, они идут по улице, прочь от взволнованных людей, оба степенные, задумчивые.

Люди отходили от толпы, но она не таяла, становилась всё шумнее, оставшиеся на базаре терлись друг о друга, и это нагревало их всё более. Явились женщины, их высокие голоса, вливаясь в общий шум, приподнимали его и обостряли отношения: шум пенился, точно крепкая брага, становился всё пьянее, кружил головы. Общая тревога не угасала, недоумение не разрешалось — среди этих людей не было сил создать одну мысль и одно чувство; угловатые, сухие и разные, они не сливались в живую разумную силу, освещенную единством желания.

И не о чем было говорить, кроме близких и хорошо знакомых, будничных дел.

Женщины вынесли на улицу домашнее: косые

взгляды, ехидные улыбки, и многое давнее, полузабытое, снова начинало тлеть и куриться, ежеминутно вспыхивая то там, то тут злыми огоньками.

— Нет, матушка моя, не-ет! Ты мне за это ответишь!

Говорили о трех кочнах пластовой капусты, украденных с погреба, о том, что Ванька Хряпов не хочет жениться на Лизе Матушкиной и что казначей исхлестал дочь плетью.

Незаметно избили Минакова, он шел по улице, упираясь в заборы руками, плевался кровью, всхлипывал и ныл:

— Господи-и! За что-о?

Свистя и взвизгивая, носился по городу ветер, раздувал шум и, охлаждая сбитых в толпу возбужденных людей, вытеснял их с улицы в дома и трактиры.

Гулко шумели деревья, зловеще выли и лаяли обеспокоенные собаки.

Во тьме, осторожно ощупывая палочкой землю, молча шагал Тиунов, а рядом с ним, скользя и спотыкаясь, шел Бурмистров, размахивая руками, и орал:

— Много ль ты понимаешь, кривой!

Боясь, что Вавило ударит его, Тиунов покорно ответил:

— Мало я понимаю.

А боец взял его за плечи, с упреком говоря:

— И никого тебе не жаль — верно?

Кривой промолчал, вглядываясь в огни слободы, тонувшие где-то внизу, во тьме.

— Верно! — тверже сказал Вавило.— Я — лучше тебя! Мне сегодня всех жалко, всякий житель стал теперь для меня — свой человек! Вот ты говоришь — мещаны, а мне их — жаль! И даже немцев жаль! Что ж немец? И немец не каждый день смеется. Эх, кривой, одноглазая ты душа! Ты что про людей думаешь, а? Ну, скажи!

Не хотелось Тиунову говорить с человеком полупьяным, а молчать — боялся он. И, крякнув, осторожно начал:

— Что ж люди? Конечно, всем плохо живется...

— Ага-а! — слезливо воскликнул Вавило.

— Ну, однако, в этом и сами они не без вины же...

— Во-от! — всхлипывая, крикнул Бурмистров.— Сколько виновато народу против меня, а? Все говорили — Бурмистров, это кто такое? А сегодня — видели? Я — всех выше, и говорю, и все молчат, слушают, ага-а! Поняли? Я требую: дать мне сюда на стол стул! Поставьте, говорю, стул мне, желаю говорить сидя! Дали! Я сижу и всем говорю, что хочу, а они где? Они меня — ниже! На земле они, пойми ты, а я — над ними! И оттого стало мне жалко всех...

Шли по мосту. Черная вода лизала сваи, плескалась и звенела в тишине. Гулко стучали неверные шаги по расшатанной, измызганной настилке моста.

— Стало мне всех жалко! — кричал Вавило, пошатываясь.— И я говорю честно, всем говорю одно — дайте человеку воли, пусть сам он видит, чего нельзя! Пусть испробует все ходы сам,— эх! Спел бы я теперь песню — вот как! Артюшки нет...

Он остановился в темноте и заорал:

— Артюха-а!

Тиунов быстро шагнул вперед и, согнувшись, трусцой побежал к слободе.

— Артюха-а! — слышал он позади хрипящий зов, задыхался и прыгал всё быстрее, подобрав полы, зажимая палочку под мышкой.

— Кривой! Захарыч!

Тиунов по звуку понял, что Вавило далеко, на минутку остановился, отдышался и сошел с моста на песок слободы,— песок хватал его за ступни, тянул куда-то вниз, а тяжелая, густая тьма ночи давила глаза.

Бурмистров, накричавшись до надсады в горле, иззяб, несколько отрезвел и обиженно проворчал:

— Ушел, кривой дьявол. Хорошо!

Он быстро начал шагать посредине моста, доски хлюпали под ногами,— и вдруг остановился, думая:

«А если он в воду упал?»

Подошел к перилам, заглянул в черную блестящую полосу под ногами, покачал головой.

— У-у!

И, махнув рукою, запел:

Мырамы-орное твое личико
И — ах, да поцелуем я ль ожгу...

— Ушел, кривой! Пренебрегаешь? — ворчал он, прерывая песню.

Эх, и без тебя я, моя милая,
Вовсе жить на свете — нет, не могу!

В памяти Бурмистрова мигали жадные глаза горожан, все они смотрели на него снизу вверх, и было в них что-то подобное огонькам восковых свеч в церкви пред образом. Играло в груди человека долгожданное чувство,— опьяняя, усиливало тоскливую жажду суеты, шума, движения людей...

Он шлепал ногами по холодному песку и хотя почти совсем отрезвел, но кричал, махал руками и, нарочно распуская мускулы, качался под ветром из стороны в сторону, как гибкий прут.

Кое-где в окнах слободы еще горел огонь. «Фелицатин раишко» возвышался над хижинами слобожан темной кучей, точно стог сена над кочковатым полем. И во тьму не проникало из окон дома ни одной полоски света.

«Пойду к ней, к милой Глаше, другу! — решил Бурмистров, вдруг согретый изнутри.— Расскажу ей всё... Кто, кроме нее, меня любит? Кривая собака — убежала...»

Он безнадежно махнул рукой и, глядя на воеводинский дом, соображал:

«Никого нет. Попрятались все».

Когда Вавило подошел к воротам, встречу ему, как всегда, поднялся Четыхер, но сегодня он встал против калитки и загородил ее.

— Пропускай, ну! — грубо сказал Вавило.

— Занята Глашка,— ответил Четыхер.

— Врешь?

Дворник промолчал.

— Ведь никого нет?

— Стало быть — есть.

Препятствие возбуждало Бурмистрова. Он всем телом вспомнил мягкую теплую постель и вздрогнул от холода.

— Жуков, что ли? — угрюмо спросил он.

И вдруг ему показалось, что Четыхер смеется; он присмотрелся — плечи квадратного человека дрожали и голова тоже тряслась.

— Ты чего? — заревел он и, забыв, что дворник сильнее его, взмахнул туго сжатым кулаком. Но запястье его руки очутилось в крепких пальцах Четыхера.

— Ну-ка, не бесись, не ори, дурак! — спокойно и как будто даже весело сказал Кузьма Петрович.— Ты погоди-ка. Я пущу тебя, пес с тобой! Ну — только уговор: там у нее Девушкин...

— Кто? — спросил Вавило, выдернув руку и отшатнувшись.

— Ну — кто! Говорю — Девушкин Семен.

— Симка? — повторил Бурмистров и до горла налился холодным изумлением.

— Ежели ты его тронешь,— вразумительно говорил Четыхер,— гляди — плохо тебе будет от меня! Для прилику, для страха — ударь его раз, ну — два, только — слабо! Слышь? А Глашку — хорошенько, ее вздуй как надо, она сама дерется! По холодной-то морде ее, зверюгу! А Семку — тихо! Ну, ступай!

Он отворил калитку, но Бурмистров стоял перед нею, точно связанный, наклоня голову и спрятав руки за спину.

— Ну-ка, иди! — сказал Четыхер, подталкивая его.

Он высоко поднял ногу, как разбитая лошадь, ступил во двор и, добравшись в темноте до крыльца, сел на мокрую лестницу и задумался.

«Милый ты мой, одинокий ты мой!» — вспомнились ему певучие причитания Лодки.

Нехорошее, обессиливающее волнение, наполняя грудь, кружило голову, руки дрожали, и было тошно.

«Врет Четыхер! — заставил он себя подумать.— Врет!»

Он мысленно поставил рядом с Лодкой неуклюжего парня, уродливого и смешного, потом себя — красавца и силача, которого все боятся.

«Чай, не колдун Симка?» — вяло подумал Бурмистров, стиснув зубы, вспомнив пустые глаза Симы.

Вавило тряхнул головой, встал и пошел наверх, сильно топая ногами по ступеням, дергая перила, чтобы они скрипели, кашляя и вообще стараясь возможно больше и грознее шуметь. Остановясь у двери, он пнул в нее ногой, громко говоря:

— Отворяй!

Раздался спокойный голос Лодки:

— Кто это?

— Отвори!

Во рту Бурмистрова было сухо, и язык его двигался с трудом.

— Ты, Вавило?

Он налег плечом на филенку двери, без труда выдавил ее. Когда тонкие дощечки посыпались к ногам Лодки, она быстро сняла крюк с пробоя и отскочила в сторону, крича:

— Ты что это, а? Ты — что?

Бурмистров на секунду остановился в двери, потом шагнул к женщине и широко открытыми глазами уставился в лицо ей — бледное, нахмуренное, злое. Босая, в рубашке и нижней юбке, она стояла прямо, держа правую руку за спиной, а левую у горла.

— Глафира! — хрипло и медленно заговорил Вавило, качая головой.— Что ж ты, дьявол, а?

Его рука, вздрагивая, сама собою поднималась для удара, глаза не могли оторваться от упорного кошачьего взгляда неподвижно и туго, точно струна, вытянувшейся женщины. Он не кончил слов своих и не успел ударить — под кроватью сильно зашумело, потом высунулась растрепанная голова Симы. Юноша торопливо крикнул:

— Погоди, Вавило...

Лодка злобно взвизгнула и бросилась вон. Бурмистрову показалось, что она ударила его чем-то тяжелым и мягким сразу по всему телу, в глазах у него заиграли зеленые и красные круги, он бессмысленно взглянул в темную дыру двери и, опустив руки вдоль тела, стал рассматривать Симу: юноша тяжело вытаскивал из-под

кровати свое полуголое длинное тело, он был похож на большую ящерицу.

— Ты — прости! — торопливо, вздрагивающим голосом бормотал он.— Ведь она — из жалости ко мне, ей-богу! А я — кто меня, кроме нее? Ты, Вавило, хороший человек...

Вавило таращил глаза, точно ослепленный, и, всё ниже наклоняясь к Симе, протягивал руку к нему, а когда юноша сел на полу, он схватил его за тонкую шею, приподнял, поставил перед собой и заглянул в глаза. Сима захрипел, царапая ногтями крепкую руку, душившую его, откидывал голову назад и странно, точно дразнясь, двигал языком; глаза его выкатывались из орбит. Вавило ударил левой рукой «под душу» Симе и сжал его шею всеми десятью пальцами; пальцы сжимались всё крепче, под ними хрустели хрящи, руки Симы повисли вдоль тела и шарили по бокам, точно отыскивая карманы. Он становился всё тяжелее. Бурмистров несколько раз встряхнул юношу, отрывая его от пола, и, разжав пальцы, отбросил его от себя. Сима мягко упал под ноги ему, хлопнув ладонью о половицу и стукнув о пол тяжелой головой. Бурмистров покачнулся и, схватясь одеревеневшими пальцами за спинку кровати, свалился на постель.

Когда вошел Четыхер, а за ним в двери явились длинные белые фигуры Фелицаты, кухарки и девиц — он сидел неподвижно, закусив губу, и тупо рассматривал голову Девушкина на полу у своих ног.

— Ты что сделал, пес? — спросил Четыхер.

Бурмистров взглянул на него, вскочил и прыгнул вперед, точно цепная собака, но дворник оттолкнул его ударом в грудь. Вавило попятился и, запнувшись за ноги трупа, сел на пол.

Женщины выли, визжали; Четыхер что-то кричал, вытягивая к Бурмистрову длинную руку, потом вдруг все, кроме дворника, исчезли.

На столе, вздрагивая, догорала свеча, по серой скатерти осторожно двигались тени, всё теснее окружая медный подсвечник. Было тихо и холодно.

Вавило поднялся с пола, сел на кровать, потирая грудь, и негромко спросил:

— Неужто — до смерти?

— Я тебе, пес дикой, говорил: ее — бей, а его не тронь! — укоризненно сказал Четыхер.

— Я не бил! — проворчал Вавило.

Не спуская с него глаз, дворник нагнулся, пощупал тело Симы и сказал, выпрямляясь:

— Не дышит будто? Водой бы его, что ли? — и, разводя руками, продолжал удивленно: — Ну и дурак ты, собака! Какого парня, а? Середь вас, шалыганов, один он был богу угодный! Связать тебя!

Упираясь руками в кровать, Бурмистров сидел и молчал. Дворник подвинулся к нему, взял со стола свечу, осветил лицо, увидал на лбу его крупные капли пота, остановившиеся глаза и нижнюю челюсть, дрожавшую мелкою дрожью.

— Что, дурак, боишься? — спросил он, ставя свечу на стол.— Еще с ума сойдешь — хорошо будет!

Он прислушался — в доме стояла плотная, непоколебимая тишина, с улицы не доносилось ни звука. Потом он долго и молча стоял среди комнаты, сунув руки в карманы и глядя исподлобья на Бурмистрова,— тот сидел неподвижно, согнув спину и опустя голову.

На лестнице раздались тихие шаги — кто-то шел во тьме и сопел.

— Это кто?

— Я,— тихо ответил голос Паши.

— Ну?

— Нету полицейских!

— В город надобно бежать.

Через несколько минут Паша тихонько сказала:

— Куда мне деваться, дядя Кузьма? Мне боязно!

— Сядь на лестницу и сиди! Я — тут!

— С кем ты говоришь? — вдруг тихонько спросил Бурмистров.

— А тебе какое дело?

— Ты бы со мной поговорил...

— Больно нужно! — проворчал Четыхер, но тотчас же строго спросил: — Пошто человека убил?

— А я знаю? — как сквозь сон ответил Вавило.— Нечаянно это! Так уж — попал он под колесо, ну и... Что мне — он?

Бурмистров завозился на постели, тяжко вздыхая, и тихо предложил:

— Ты бы вынес его за дверь?

— Как же! Ишь ты! — сурово воскликнул Четыхер.— Разве это можно трогать до полиции?

— Шла бы эта полиция, что ли, уж...

— Что — мучит совесть-то?

— Нет! — не сразу ответил Бурмистров.— А так, как-то... Ведь верно, он был не вредный человек...

Огонь свечи затрещал, задрожал и погас.

— Ну, вот тебе еще, чёрт те...— проворчал Четыхер.

Вавило сел на постели, подобрав под себя ноги, скрестил руки на груди, а пальцами вцепился в плечи свои. Он стучал зубами и покряхтывал.

— Затворить бы дверь...

— Чего? — спросил Четыхер и, не получив ответа, угрюмо молвил: — Ты, гляди, не вздумай бежать али что... Ты сиди смирно!

— Бессмысленный человек,— куда я побегу?Хошь— сам пойду в полицию?

— Ладно! Сиди знай...

— Ты думаешь — рад я, что всё это случилось? — бормотал Вавило, видимо, боясь молчания.— Зачем Глашка сделала это?

— Озорники вы тут все!

— Погубил я свою жизнь!

Четыхер спокойно отозвался:

— А ты думаешь что? Конечно, погубил!

Снова оба замолчали. Тьма линяла за дверью, в коридоре ее уже сменил сероватый сумрак.

Нехотя, но громко заскрипели ступени — кто-то медленно поднимался по лестнице.

— Это кто? — спросил Четыхер.

— Охотник! — тихо ответила Паша за дверью.

В двери над головой Четыхера вспыхнуло пламя спички, осветив кривое лицо Артюшки Пистолета,— дворник тяжело приподнялся на ноги и сказал с удовольствием:

— Во-он как, ружье принес...

— Я в лес шел,— объяснил Артюшка,— а Матрена Пушкарева кричит — иди к нам! Где Вавило?

— Я тут! — отозвался Бурмистров скучным голосом.

— Что, брат?

Вавило заворочался, раздраженно говоря:

— Кузьма, к чему тут темнота? Огня надобно!

В поредевшей тьме было видно, как он взмахивает руками, стоя на коленях посредине кровати.

— Вот, Артюша, достигла меня судьба, через бабу достигла, как и следовало...

— Замолол! — презрительно воскликнул Четыхер.— Пашуха, подь-ка и впрямь, тащи огня! — И деловито объяснил Артюшке: — Одним-то нам и при огне боязно было...

А Бурмистров продолжал, обиженно и поспешно:

— Я ведь знал, что просто с ней не кончишь,— так оно и вышло! А уж Семен, ей-богу, не знаю как попал, он совсем посторонний! Это правильно сказал Кузьма — надо было Глашку убить!

— Ничего я не сказал! — грубо прикрикнул Четыхер, подвигаясь к нему.

— А у ворот?

— Кто слышал? Где свидетели?

— Я слышал! Не-ет, ты погоди...

— Эка, поверят тебе!

Они оба начали злиться и взвизгивать — но тут неслышно явилась Паша, сунула в дверь руку с зажженной лампой,— Четыхер принял лампу, поднял ее над головой и осветил поочередно Бурмистрова на постели, с прижатыми к груди руками и встрепанной головой, изломанное тело Симы на полу, а около печи Артюшку. Он стоял, положив ладони на дуло ружья, и лицо его улыбалось кривой бессменной улыбкой.

— Видно, не споем мы с тобой никогда больше? — вопросительно молвил Бурмистров, глядя на товарища жадными глазами.

Артюшка сплюнул сквозь зубы и сказал:

— Кабы смениться можно, я бы за тебя пошел в Сибирь, право, чего же? Там охота действительно что серьезная, а здесь только дробь-порох зря тратишь! Людей там тоже, слышь, немного, а это чего уж лучше!

— Верно! — позевывая, сказал Четыхер.

— Други вы мои, эх! — тихо воскликнул Бурмистров.— Жалко мне себя все-таки! Судить будут... и все эти церемонии! Уж гнали бы прямо!

Снова, не торопясь, потекла утешительная речь Пистолета:

— Ты же церемонии любишь. Плохо тут жить — вот о чем думай. Верно ведь Сима-то сочинил: «жить нам — неохота». Ну, конечно, всякий старается выдумать себе что-нибудь — на этом и шабашит!

— Чисто он стихи сочинял,— вспоминал Четыхер, глядя на труп, и незаметно перекрестил себе грудь.

— Сочинишь, в таком месте болтаясь! — странно двигая изувеченной щекой, сказал Артюшка и вздохнул.— Мне вот двадцать семь лет, а тоже иной раз такое в голову лезет — беда! Даже боязно! Я оттого, правду сказать, и живу в сторонке от людей, один, что опасаюсь часто,— как бы чего не сделать...

— Да-а! — согласился Четыхер.— Сидишь-сидишь у ворот ночью-то, да вдруг и подумаешь — ах вы, чтоб вас громом побило!

Он держал лампу в руках и вертел шпенек, то уменьшая, то увеличивая огонь; это вызывало странные приливы и отливы серых теней на стенах, на потолке, на полу.

— Что вы — словно панихиду поете? — уныло пробормотал Бурмистров.

Артюшка, глядя на Четыхера, виновато, точно Сима, улыбался и всё говорил:

— А то иной раз сам себе стариком покажешься вдруг, словно сто лет прожил и всё знаешь, что и завтра будет и через год, право!

— В городе, слышь, чего-то шумят? — задумчиво молвил Четыхер.

— Н-да, шумят, был я там вчера и третьего дни: кричат все, а что такое? И Вавило кричал — свобода, дескать, надобна, и чтобы каждый сам за себя. Это — есть! Этого — сколько хочешь! Только мне никуда такая свобода. Я драться не хочу — за что мне драться? Мой интерес, чтобы тихо было, это я люблю...

Он кивнул головою на труп.

— Это, что ли, свобода? Нет. Чего делать будем со свободой? — вот где гвоздь! Павлуха Стрельцов — он рад,— заведу, говорит, себе разные пачпорта и буду один месяц по дворянскому пачпорту жить, другой по купеческому.

— Он тоже вроде Семена, покойника,— сказал Четыхер.

Пистолет подумал и согласился:

— Похож, пожалуй!

Замолчали.

Снова по лестнице кто-то осторожно поднимался. Пистолет поднял голову и нюхнул воздух.

— Кузьма! — тихо позвала Розка.

— Эй?

— Нейдет полиция.

— Ну?

— Не идут.

— Как же быть?

— Я не знаю.

— Не идут — не надо! — сказал Бурмистров строго и обиженно.— Я и сам до нее дойду.

— Полиция обязана прийти, коли убийство сделано! — нахмурившись, заявил Четыхер.— Я порядки знаю — в пожарной команде служил...

— Что это вы с огнем? — удивленно спросила Розка, заглядывая в дверь.— Ведь светло уж!

Четыхер недоверчиво посмотрел на нее, погасил лампу, желтый свет сменился кисейно-серым утром.

— И верно, что светло,— сказал Четыхер, помялся и, тяжко отдуваясь, предложил: — Надобно идти, Вавило, нечего тут!

— Идем! — не двигаясь, согласился Бурмистров.

— Ты дай-ко я тебе руки свяжу! — предложил дворник, распоясываясь.

Вавило встал с постели, не глядя, перешагнул через труп, подошел к дворнику и, повернувшись спиной к нему, заложил руки назад. Но Четыхер снова запахнул полушубок, крепко подтянув живот кушаком, лицо у него перекосилось, он почмокал губами.

— Ну, ин не надо! И так не убежишь.

— Не убежит,— тихо подтвердил Пистолет.

— Не убегу! — сказал Бурмистров.— Только бы ее не встретить!

— Где там? — ворчал дворник.— Она, чай, куда-нибудь в погреб забилась, дрожит. Ну, айда!

Сходя с лестницы, он сопел, сморкался и говорил, вздыхая:

— И Семена жалко — покой его бог! — и тебя, дурака, жалко! Эх ты, курина вошь!

Сверху лестницы раздался громкий и тревожный шёпот:

— Дяденька Кузьма!

Наклонясь над перилами, Паша показывала руками, как завязывают узлы.

— Ну, ладно, курица! — отмахнулся от нее Четыхер.

А на улице сказал своему арестанту, усмехаясь:

— Пашка-то, курицына дочь, требовает, чтобы я тебя связал!

— Что я ей сделал худого? — глухо спросил Вавило.— Пальцем никогда не тронул.

— Это она не против тебя, она за меня боится! — объяснил Четыхер самодовольно и, обратясь к Артюшке, добавил: — Та же дитё! Без разума живет. Ей бы в монастыре жить надобно, а она — вон где!

Пистолет шел рядом с Вавилой, но не смотрел на него. Ружье держал под мышкой вниз дулом, руки в карманах потертой короткой куртки из толстого синего драпа. На голове его кожаный картуз, большой козырек закрывал глаза, бросая на лицо черную тень.

Долго шли молча, только под ногами похрустывал, ломаясь, тонкий утренний ледок. Было холодно. Стекла маленьких окон смотрели на улицу мутно и сонно — слобода еще спала.

— Ну,— сказал Пистолет, остановясь,— дальше я не пойду с вами. Мне — в лес. Я ведь зашел так только... посмотреть — может — неверно? Оказалось — вполне верно! Значит — прощай, что ли, Вавило?

Бурмистров, вопросительно глядя на него, протянул руку — Артюшка взял ее, дернул вправо, влево и, круто повернувшись, пошел прочь, не оглядываясь.

Бурмистров исподлобья проводил его долгим взглядом, потом, оглянувшись, шагнул с тротуара на середину улицы.

— Куда? — крикнул на него Четыхер, как пастух на барана.

— Видишь куда! — сердито ответил Вавило.

— Совсем как арестант желаешь? — миролюбиво сказал Четыхер, помолчав.— Осудился, стало быть, перед собой-то?

Бурмистров, пошатываясь, шагал вдоль улицы. Иногда нога его, проламывая слои льда, тонула в грязи, но он шел прямо, не обходя луж, затянутых тусклою серою пленкою.

Когда они вошли на мост, с горы на них взглянул ряд пестрых домов,— окна их были прикрыты ставнями, и казалось, что лучшая улица города испуганно зажмурила глаза.

Потом их обогнала собака; не спеша, поджав хвост, она пошла впереди, встряхивая шерстью и качаясь на кривых ногах.

— Уть ты! — сказал ей Вавило, негромко и беззлобно.

Она посмотрела на него одним глазом, точно Тиунов, остановилась и, подумав секунду, воровской тихой походкой пошла куда-то в сторону, еще туже поджав хвост.

Вперебой пели кочета, встречая осеннее утро.

Выскочив из комнаты, Лодка молча нырнула вниз, быстро выбежала на двор, но по двору пошла осторожно, боясь ушибить или уколоть во тьме босые ноги. Сырая ночь холодно коснулась груди и плеч; протянув руку вперед, Лодка подвигалась к воротам и уже хотела позвать Четыхера, как вдруг ее остановила ясно вспыхнувшая мысль:

«Нехорошо как, что Симка, а не другой кто! Смеяться будут надо мной из-за него... ах, уж и будут!»

Хлопнула калитка, по земле зашаркали тяжелые шаги.

— Это вы, Кузьма Петрович?

— Ага-а, сбежала! — насмешливо отозвался Четыхер, подвигаясь к ней.

— Идите скорее — он там убьет Симу-то! Зачем вы его пустили?

Четыхер вдруг схватил ее за рубаху и потащил куда-то, глухо выкрикивая:

— А чтобы он тебя отхлестал хорошенько, вот зачем! Как ты Пашку...

Но прежде чем он успел ударить ее, Лодка вырвалась из его рук, отскочила в сторону, взвизгнув:

— Фелицата Назаровна!

— Ладно! — тихо сказал Четыхер, исчезая.— Я тебя достигну!

В доме хлопали дверями, был слышен тревожный голос хозяйки, и точно кто-то плясал, дробно стуча ногами по полу.

Женщина, вздрагивая от холода, придерживая руками изорванную рубаху и спадавшую юбку, тихонько двигалась к крыльцу; в груди у нее разгоралась обида, сменяя испуг.

Жуткое желание знать, что случилось наверху, остановило ее у лестницы, а сверху уже прыгала Розка, вскрикивая:

— Господи!

И ее догонял плачущий голос хозяйки:

— Скорее, голубушка, доктора! А ты, Паша, за полицией — скорей!

Лодка бесшумно скользнула в угол коридора, подождав, когда подруги выбежали на двор, прошла в комнату Фелицаты, сбросила там изорванное белье и на минуту неподвижно замерла, точно готовясь прыгнуть куда-то.

«Надо уйти!»

Увидала в зеркале свое отражение и, вздрогнув, начала поспешно одеваться в платье хозяйки, небрежно разбросанное по комнате.

Через несколько минут она шла по улице слободы, решив спрятаться у Серафимы Пушкаревой, шла — и в голове у нее вспыхивали одна за другой обидные и протестующие мысли о том, что — вот, нужно прятаться, что Четыхер может разрывать на ней одежду

и грозить побоями ей, что над ней будут смеяться из-за связи с Девушкиным.

Мельком, между мыслями о себе, она подумала и о том, что Вавило, при его силе, мог серьезно ушибить Симу. Это заставило ее пойти медленнее, она плотнее закуталась теплою шалью и еще яснее почувствовала, что впереди ее ждет множество неприятностей, огорчений и некуда от них скрыться.

Не заметив, она миновала проулок, где жили Пушкаревы, остановилась у чьих-то ворот, послушала, как робко и жалобно стелется по воздуху сторожевой колокольный звон в городе, у Николы.

Темными буграми стояли дома слободы; между ними по улице бежал сырой поток ветра со стороны болот; где-то шуршали ветки деревьев о стену или крышу, и негромко, должно быть, во сне, тявкала собака.

«Пойду лучше к этому, к свинье»,— вдруг решила Лодка.

Она быстро направилась к мосту, ей уже казалось, что это самое умное — пойти ночевать к Жукову: к нему не посмеет прийти Вавило, и полиция — в случае чего — постеснится беспокоить ночью важного человека.

Но, подвигаясь вперед, против ветра, она вспоминала инспектора, его жалкое, беспомощное тело, склонность всегда чего-то пугаться, грубость, за которой — она знала — скрывается отсутствие характера, вспомнила противные привычки Жукова и брезгливо поежилась, но в ней росло и крепло какое-то, еще неясное решение, заставляя ее добродушно и лукаво улыбаться.

Подойдя к крыльцу дома, она сильной рукой дернула за ручку звонка, и когда из-за двери сиплый старушечий голос тревожно спросил — кто это? кого́ надо? — Лодка ответила громко и властно:

— Евсея Лиодоровича надо видеть!

Старуха начала расспрашивать, кто и зачем так поздно пришел. Лодка отвечала ей сурово и сердито топала ногами.

— Уж извините! — отворив дверь и кланяясь, сказала старуха.— Ночью-то депеши только носят. А теперь — вон что идет, осторожность нужна!

— Ну, молчи, карга! — ответила гостья.

Жуков встретил Лодку в прихожей, со свечой в руке; на плечах у него висело ватное пальто, в зубах торчала, дымясь, толстая папироса. Он радостно таращил глаза и говорил, растягивая слова:

— Это — комплимент! Как ты надумала? И разодета — ну-у-у!

— Соскучилась! — бойко сказала женщина.

— Ну, иди сюда! Петровна, самовар, живо!

Взяв Лодку за руку, он вел ее, сгребая ногами половики и путаясь в них, а она облизывала губы, осматривалась и дышала как-то особенно ровно, глубоко.

— Садись! А я — лампу зажгу. Хорошо, что ты пришла, чёрт! Понимаешь — больше недели сижу, как сыч в дупле, скучища зеленая, хоть вой! А, чёрт, палец ожег!

Он никогда не говорил так много, и Лодка смотрела на него с удивлением. Всегда грубый, подозрительный, недоверчиво ухмылявшийся, сегодня он был не похож на себя, мягок, говорил тихо и со странным вниманием поглядывал на окна.

— Что на улицах — тихо?

— Ночь ведь.

— Это ничего, ночь! Теперь... такие дни... короткие, что шум не убирается в них и остается на ночь. Вчера, около полуночи, вдруг — в окна стучат! Да! Спачала в одно, потом в другое. Я лежу и думаю — а вдруг влезут, чёрт их возьми!

Лампа у него гасла, когда он вставлял стекло в горелку, но это не раздражало его; всё тише он рассказывал:

— Выйдешь на улицу — везде какие-то нахальные рожи! Все кричат, смотрят октябрем,— да ведь теперь и есть октябрь!

Он зажег лампу, вытер запачканные руки о полы пальто и пошел куда-то в угол, с трудом двигая тяжелые ноги, в почном белье и больших войлочных туфлях.

— Эти маленькие городишки — точно мышеловки, ей-богу! — тихо говорил он.— Попадет в такой город человек, и — капут ему! И — капут!

В комнате пахло водкой, табаком и прокислыми огурцами. Все вещи казались сдвинутыми с места, и даже белая изразцовая печь с лежанкой тоже любопытно высунулась на середину комнаты и осматривала ее блестящим желтым глазом отдушника.

— Ты смотришь, где кровать? — говорил Жуков, стоя в углу перед шкафом и звеня стеклом стаканов.— Кровать рядом. Я сплю здесь, на диване. Кровать у меня хорошая, двуспальная...

— Вы что там делаете? — спросила Лодка, подходя к нему.— Нужно на стол собрать? Дайте сюда — что это?

— Это? Погоди — кажется, ром, а может быть, коньяк. Сейчас попробую. Старуха бьет бутылки, переливает из двух в одну...

Вытащив пробку, он поднес бутылку ко рту — женщина отняла вино.

— После попробуете! Сначала соберем всё как следует, благородно, на стол, потом сядем, будто муж и жена. Будто я приехала,— жена приехала.

Приставив ко лбу ладонь, он смотрел на нее из-под козырька и неопределенно говорил:

— Как ты, однако,— что это ты?

— Ничего! — ласково сказала Лодка.— Просто,— у вас гостья, молодая женщина, а вы — прицеливаетесь, как бы сразу напиться...

Жуков засмеялся неожиданно громко.

— Женщина! — кричал он сквозь смех.— Да, чёрт, ты — женщина!

Собирая на стол чайную посуду и бутылки, она ощупывала глазами углы, мимоходом постучала пальцами по чернильнице из какого-то белого металла, стоявшей на конторке, незаметно взвесила на руке чайные ложки и одобрительно покачала головой.

Жуков сидел на диване, следил за ней, жмуря глаза, поглаживая усы и чмокая толстыми губами.

— Нехорошо у вас! — строго заметила Лодка.

— Нехорошо,— не то соглашаясь, не то спрашивая, повторил податной инспектор.

— Хлам везде, пыль, не прибрано — ай-ай!

— Это всё старуха!

— А еще образованный вы! — корила его Лодка.— Разве образованный человек должен в таком беспорядке жить?

Жуков сморщил лоб и попросил:

— Бро-ось! Я, право, рад, что ты пришла! Все-таки — не один. Собираюсь кота завести — нет нигде хорошего кота!

Она села рядом с ним и, когда он обнял ее, сказала, хмуро разглядывая его лицо:

— Что это как вы стареете?

— Скучно, Глаша!

— Мешки-то какие сделались под глазами!

— Перестань ты! Это ничего, мешки. Я тут пил немножко, вот они и сделались. Да! Я вот всё думаю: как дешев человек в России! И как не нужен никому, ей-богу!

Сокрушенно качая головой, Лодка перебила его речь:

— Ах, Евсей Лиодорович! Не могу я забыть, как вы тогда упали и как испугались! Ведь вы это помереть испугались?

Жуков дернулся всем телом, заглушенно крикнув:

— Ты что? Чего тебе?

— Мне? Ничего! — удивилась она, ласково гладя его отекшее лицо мягкой теплой ладонью.

— Зачем ты ноешь? — проворчал он.— Пришла — и сиди... сиди, этого, как это? Как следует, одним словом. А то — ступай, откуда пришла!

— Господи! Чай, ведь мне жалко вас! — не обижаясь, воскликнула женщина.— Вижу я, что здоровье у вас всё хуже да хуже...

Он отрицательно замотал головой.

— Врешь!

— Отчего — вру?

— Не знаю. Никого, ничего не жалко тебе,— врешь!

Он говорил твердо, и Лодка, смутясь, прикрыла глаза.

Но инспектор, посмотрев на нее, смягчился.

— Мне, брат, и без тебя скучно... то есть если, конечно, ты — веселая, так не скучно, а так...

И вдруг замолчал, помигал глазами и стал смеяться хлипким смехом:

— Разучился говорить, чёрт возьми!

Старуха внесла самовар и, посмотрев на гостью круглыми черными, как у мыши, глазами, исчезла, сердито фыркая, толкая коленями мебель по дороге.

— Ну, давай чай пить! — хрипел Жуков.— Н-да-а! Играл на виолончели,— разучился. Жена, бывало, очень любила слушать,— жена у меня хорошая была!

— Значит — не верите вы мне? — спросила женщина, усаживаясь за стол.

Он налил в стаканы вино, молча усмехнулся дряблой усмешкой и сказал:

— Пей!

— Что же неверного в том, что я вас жалеть могу? — настаивала Лодка.— Вот, вижу, человек одинокий, больной, и смерть от вас не за горами — ведь так?

Податной инспектор шумно поставил пустой стакан на стол, схватился рукой за спинку стула, глаза его страшно выкатились, лицо посинело.

— Т-ты! — крикнул он придушенным злостью голосом и брызгая слюной.— Ты — зачем?

Она не испугалась. Пила вино маленькими глотками, облизывала губы и, покачиваясь, смотрела в лицо Жукова ласково и нагло.

— Ш-ш! Вы не бойтесь, не сердитесь, лучше послушайте, пока трезвый...

— Не хочу! Не смей!

— Да что это, какой...

Он еще несколько раз грубо крикнул на нее, но Лодка ясно видела беспомощность этой груды испорченного мяса и, чувствуя, как оно наливается страхом перед нею, становилась всё более спокойной, деловитой и ласковой.

— Я давно про вас думаю, Евсей Лиодорович,— слащаво и немножко в нос говорила она.— О болезнях ваших, одиноком вашем житье и как вы скоро стареете...

— Перестань, говорю.

Он хотел сказать строго, но сказал устало, сморщился, тяжело вздохнул и выпил еще стакан.

— Родных у вас нету...

— Врешь, есть!

— А кто?

— Племянник есть.

— Где? — подозрительно спросила Лодка.

— В Казани. Студент. Что?

Жуков торжествующе захохотал, разваливаясь на стуле, и снова налил себе вина.

Но Лодка, пытливо глядя в глаза ему, сказала:

— Никогда вы ничего не говорили про студента.

— А все-таки есть! Да!

Он ударил ладонью по колену, победоносно сопя и фыркая.

Лодка хмуро помолчала и, вдруг осветясь изнутри какою-то новою веселою мыслью, начала тихонько смеяться, прищурив глаза, сверкая мелкими зубами.

— Ага! — почему-то воскликнул Жуков.— Что?

— Ну, есть студент, хорошо! — заговорила она игриво и свободно.— Только — какая же польза в студенте? Студент — не женщина! Какой от него уход, какая забота? Мешать еще будет вам, молодой-то человек, стыдно вам будет перед ним...

Она кокетливо покачнулась к Жукову, а он опустил глаза, подобрался, съежился.

— Да и опасно ему жить здесь.

— Почему это? — пробормотал Жуков.

Лодка откинулась на спинку кресла и, положив руки на стол, вдохновенно объяснила:

— А вот вы говорите, что сердится народ,— вот поэтому! Да, да,— что вы так смотрите на меня? В окошки-то стучат к вам, ага! Ведь на кого сердятся? На вас, образованных людей! Я знаю!

— Ты — врешь! — тихо сказал Жуков, глядя на нее круглыми глазами. И, что-то вспомнив, он серьезно добавил, подняв палец: — Как ты смеешь говорить это? Ты — кто? Чёрт знает кто!

— Я? — воскликнула Лодка.— Нет, уж извините! Я — в бога верую, я — не похабница, я над пресвятой богородицей не смеялась!

И медленно, отыскивая наиболее веские, грубые слова, она начала бросать ими в лицо Жукова.

— Конечно, вы ученый человек, конечно! А кто смеется над архангелом Гавриилом? Вы смеетесь, уче-

ные,— доктор, Коля и вы! Не правда? И первые похабники тоже вы! Ведь если теперь выйти на базар и сказать людям, какие вы стишки читаете, — что будет?

Жуков, тяжело ворочая шеей, смотрел на нее, оглядывался вокруг и молчал. Перед ним всё задвигалось и поплыло: являлся шкаф, набитый бумагами, чайной посудой и бутылками, письменный стол, закиданный пакетами, конторка, диван с пледом и подушкой и — два огромные глаза — темные окна с мертвыми стеклами.

В белых изразцах печи сверкал отдушник и тоже как будто кружился, бросая желтые лучи.

Женщина, вспоминая множество обид, нанесенных ей этим человеком и другими, всё говорила, чувствуя в груди неиссякаемый прилив силы и бесстрашия. Развалившееся по стулу жидкое тело с каждой минутой словно всё более расплывалось, теряя очертания человеческой фигуры. Глаза Лодки стали светлыми, и голос звенел всё яснее.

— Есть тут благочестивая одна старушка, Зиновея. Если, потеряв на время стыд, рассказать без утайки, что вы в Благовещенье с Пашей делали...

— Брось! — попросил Жуков, с усилием протягивая ей стакан.— На, пей! Или ты уж пьяная?

— Ах — нет, извините, я не пьяная! — сказала Лодка, оттолкнув его руку и вставая из-за стола.

— Что тебе нужно? — в десятый раз спросил Жуков, тоскуя и чувствуя, что вино не пьянит его.

— Ничего мне не нужно. А так, захотелось посчитаться. Зиновею — все знают, ей все поверят...

Подумав, она почти искренно прибавила:

— Право — жаль вас! Такой уж вы несчастный! И умрете скоро к тому же.

— Лодочка! — сложив руки, завыл Жуков.— Ну, не надо, не говори больше, ну, я же...

— Упадете навзничь, и — кончено!

Он протянул к ней руку, хотел что-то сказать, но губы его вздрогнули, глаза закрылись и из-под ресниц потекли слезы.

Несколько секунд она молча смотрела на него,

потом подошла, взяла руки его, положила их на бедра себе и, крепко схватив его за уши, запрокинула голову податного так, что красный кадык его высунулся сквозь жир острым углом.

— Года ваши небольшие еще,— раздельно говорила она,— сорок пять, чай? А уж какой вы некрасивый! А я — и в слезах хороша!

— Ну, зачем, зачем ты это? — хрипя и задыхаясь, говорил он, вертя головой, чтобы освободить уши из ее рук.

Она села на колени к нему, Жуков глубоко вздохнул, прижался щекой к ее груди и стал упрекать ее:

— Ф-фу, как нехорошо! Какая ты озорница! Ну — зачем? Пришла — спасибо! Я тебе — враг? И про всё это, как мы шалили,— зачем говорить?

А сам дрожащими пальцами расстегивал ее платье и, касаясь горячего тела, чувствовал, как живая, возбуждающая сила наполняет его грудь, уничтожая страх.

— Милая Глаша! Будем жить друзьями, право, а? Немножко друзьями? Ладно? Племянник — чепуха!

— Я знаю! — сказала она, выскальзывая из его рук.— Ну, баиньки пора. Уж скоро, чай, светать будет. Вставай!

Он поднялся, заискивающе ухмыляясь, и, кивая головой на дверь в соседнюю комнату, заворчал, как старая обласканная собака.

— Огонь возьми.

В спальне, раздеваясь, она спросила его:

— Старушка эта обкрадывает тебя, а?

— Хе-хе! — ответил Жуков, вытирая мокрым полотенцем свои заплаканные глаза.

Лодка, голая, любовно гладила свое чистое тело ладонями и, качая красивою головою, брезгливо фыркала:

— Ух, какой беспорядок везде, ну уж — образованный! Пыль, грязь, ай-ай!

Инспектор смотрел на нее и жирно хихикал, потирая руки.

Он скоро заснул, Лодка повернулась, чтобы погасить огонь,— со стены на нее смотрел большой

портрет женщины: продолговатое сухое лицо с очками на носу и бородавкой у левой ноздри.

«Какая уродская!» — подумала Лодка, прикручивая фитиль.

Портрет медленно утонул во тьме.

«Жена или мать? Наверное — жена...»

И, высунув язык портрету, погасила огонь.

Сумрак облил стены, потолок, вещи, мертвенно застыл.

Под его серою пеленою красное лицо Жукова потемнело, точно у мертвого, и еще более опухло. Нос инспектора вздрагивал, тонко посвистывая, жесткие волосы рыжих усов запали в рот и шевелились, колеблемые храпящим дыханием, небритые щеки ощетинились, нижняя губа отвалилась, обнажив крупные, лошадиные зубы. Вся голова Жукова напоминала уродливый огромный репей, глубоко вцепившийся в подушку толстыми колючими усиками.

«Пресвятая богородица, прости-помилуй!» — мысленно сказала Лодка, охваченная тоскою и отвращением.

Потом, кутаясь в одеяло, подумала утомленно:

«А тот, звереныш, наверно, в арестантской ночует...»

И задремала, соображая:

«Старуху надо прогнать. Возьму Клавдейку Стрельцову. Она — хроменькая, нищенка...»

...Ей приснилось, что она стремглав бежит куда-то под гору, гора всё круче и всё быстрее невольный бег Лодки, она не может остановиться и громко кричит, чувствуя, что вот сейчас упадет, расшибется насмерть.

Обливаясь холодным потом, открыла глаза,— Жуков грубо и сильно тряс ее за плечо.

— Ну, и дрыхнешь ты! Совсем мертвая.

— Отстань! Много ли я спала...— сердито сказала она, не видя его лица.

Инспектор, кашляя и харкая, упрямо говорил:

— Вставай, вставай! Скоро одиннадцать, люди могут прийти, знакомый зайдет, а тут — здравствуйте! — этакая гостья...

Она приподняла голову, посмотрела на него, медленно облизывая губы,— лицо Жукова показалось ей

страшным: желтое, синее, глаза, налитые кровью, казались ранами. Полуодетый, он стоял у кровати, оскалив зубы, и тыкал в рот себе зубной щеткой.

— Задним крыльцом пройди, а не через парадное,— слышишь?

Лодка, закутавшись одеялом, поднялась и сказала:

— Уйди...

Ей хотелось сказать какое-то другое слово, но горло сжала судорога обиды.

Инспектор, не торопясь, ушел в соседнюю комнату, где было светло, чисто прибрано и шумел самовар.

«Старушка очень довольна будет! — бессвязно думала женщина, одеваясь.— Выгнал...»

Ей казалось, что ее тело поет и жалуется, точно его избили во сне чем-то тяжелым и мягким, не оставляющим иных следов, кроме тягостной боли в груди.

«Выгнал! — мысленно повторяла она.— Так!»

Руки у нее дрожали — взяла с умывальника стакан, а он выскользнул из пальцев и упал на пол, разбившись вдребезги.

— Н-ну? — крикнул Жуков, появляясь в двери.— Проснись!

«Точно кучер на лошадь! — подумала Лодка и стала собираться поспешнее.— Ладно! — мысленно угрожала она хозяину и недоверчиво оглядывалась.— Гонишь, гнилой пес? Старушке будет приятно. Пусть! А стекол в окнах — я тебя лишу. Да!»

Она закутала голову шалью так, что остались незакрытыми только злые глаза, вышла в соседнюю комнату и там сказала, не глядя на Жукова:

— Ну, прощайте, Евсей Лиодорович...

Ухмыляясь, он протянул ей руку с зеленой бумажкой; она осторожно вытянула деньги из толстых пальцев.

— Благодарю вас.

— Довольно?

— Хватит.

— Иди налево, через кухню,— до свиданья!

У двери в кухню она глубоко вздохнула, еще плотнее закутала лицо, отворила дверь и бросилась через

кухню, как сквозь огонь, выбежала на двор, на улицу и быстро пошла по тротуару, сжав зубы, сдерживая биение сердца.

Перед нею неотступно плыло красное лицо с оскаленными зубами, тряслись дряблые щеки, утыканные рыжим волосом.

«Сначала,— прищурив глаза, подумала она,— пойду я к Зиновее. Уж она прозвонит всё, что скажешь, всему городу! Подожди, голубчик, не-ет, ты подожди!»

Мысленно беседуя с Жуковым, она шла твердо и уверенно.

Ненадежная, выжидающая тишина таилась в городе, только где-то на окраине работал бондарь: мерно чередовались в холодном воздухе три и два удара:

— Тум-тум-тум... Тут-тум...

Бурмистров валялся на нарах арестантской, тупо глядя в стену, исчерченную непонятными узорами, замазанную грязью. Не первый раз был он тут, не однажды его били в этой конуре, и, наверное, в грязи ее стен есть его кровь.

Он жил в полусонном состоянии расслабленности и отупения: мысли его пересекали одна другую и вдруг проваливались куда-то в темную глубину души, где притаилась жадная тоска и откуда по всем жилам острою отравою растекалась злая горечь.

О Симе он почти не думал, но иногда в памяти его вспыхивали прозрачные глаза юноши, он смотрел в глубину их с жутким любопытством и смущенно убеждал покойника:

«Чудак — туда же! Ну — где тебе? Я ли не человек против тебя?»

И порою ему казалось, что всё это дурной сон,— не мог юродивый парнишка занимать его, Вавилино, законное место на груди Лодки.

Но, вспоминая неутомимое тело Глафиры, певучий посовой звук ее речей и заглатывающий взгляд синих пьяных глаз, он сжимал кулаки, скрипел зубами и готов был реветь от обиды. Точно пила резала ему

грудь, он обливался потом от возбуждения, бродил по арестантской, шатаясь, как слепой, и скороговоркою, сквозь зубы говорил:

— Не я ли тебя любил, а? Кто, кроме тебя, дорог был мне, окаянная душа?

Ему казалось, что так оно и было: он любил Глафиру честно и крепко, и вся жизнь его, все дни были полны этой любовью. Ради нее он торчал в городе, ничего не желая, не ища лучшей доли; для нее он укреплял за собою всячески, чем можно, славу первого смельчака и бойца слободы.

Ему нравилось видеть себя в такой позе, и он ожесточенно повторял:

— Всю жизнь ради тебя!

И снова еще сильнее раздувал сам себя, точно мяч, чтобы, ударившись о настоящее, подпрыгнуть над ним.

Уставал от этих усилий и вдруг, беспомощно оглянув комнату, чувствовал себя загнанною лошадью в грязном стойле.

«Все меня забыли, никто не приходит,— думал он, стоя перед железной решеткой окна.— Схлестнулся со своей судьбой...»

Из окна виден был двор полицейского правления, убранный истоптанною желтою травою, среди двора стояли, подняв оглобли к небу, пожарные телеги с бочками и баграми. В открытых дверях конюшен покачивали головами лошади. Одна из них, серая и костлявая, всё время вздергивала губу вверх, точно усмехалась усталой усмешкой. Над глазами у нее были глубокие ямы, на левой передней ноге — черный бинт, было в ней что-то вдовье и лицемерное.

Над дверью сеновала, для отвода болезней от лошадей, был прибит гвоздями скелет птицы, на коньке крыши торчал чисто вымытый дождями рогатый череп козла, выше него неустанно качались голые вершины деревьев.

Люди по двору ходили озабоченно и угрюмо, говорили негромко, но видно было, что все торопятся куда-то.

Вавило открывал форточку — в камеру вливались крепкие запахи навоза, дегтя, кожи и отовсюду из

города доносился странный гул, точно кто-то разорил все вороньи гнезда в садах.

«Шумят!» — завистливо думал Бурмистров и тяжко вздыхал, вспоминая себя среди толпы людей. Каждый раз, когда он вспоминал это событие, оно выступало перед ним всё более значительно, красиво и манило его снова к людям, в шум и суету.

Он плевал в стену голодной горячей слюной и, снова вспоминая Лодку, мысленно грозился:

«Ладно, собака!»

Вспоминал Тиунова, хмурился, думая:

«Чай, с утра до вечера нижет слово за словом, кривой чёрт! Опутывает людей-то...»

Но мысль о Симе, о суде, о Сибири сваливала его на нары, и он снова погружался в оцепенение.

В полдень третьих суток заключения в камеру вошел Капендюхин, не затворив дверь, сел на нары и, толкнув Вавилу в бок, осведомился:

— Лежишь?

— Скоро, что ли, допрашивать меня будут? — сердито спросил Бурмистров.

— Не знаю того, братику! — сказал Капендюхин, вздохнув.

Его усы растрепались, обвисли, брови были высоко подняты, на лице городового неподвижно лежало выражение печали и обиды.

— Теперь уж не до тебя! — медленно говорил он, уставив в стену большие оловянные глаза.— Ты знаешь, чего вышло?

И, не ожидая ответа, сообщил, качнув головой:

— Свобода всем вышла!

— Кому? — равнодушно спросил Бурмистров.

— А всем жителям.

Городовой вынул из-за обшлага шинели кисет, из кармана трубку и, посапывая, начал набивать ее табаком.

— Да! Вышла-таки! Сегодня у соборе молебен будет. Всем всё прощено!

Вавило посмотрел на него, медленно приподнялся и сел рядом.

— Кто объявил?

— Государь император, кому же больше?

— Всем?

— Я ж говорю...

— И мне?

— А и тебе! Почему же и не тебе? Если всем, то — и тебе.

— Меня — судить надо! — вяло и угрюмо сказал Бурмистров.— Свобода! Нашли время, когда объявить, черти.

Он вопросительно прислушивался к своим словам и недоумевал: бывало, говоря и думая о свободе, он ощущал в груди что-то особенное, какие-то неясные, но сладкие надежды будило это слово, а теперь оно отдавалось в душе бесцветным, слабым эхом и, ничего не задевая в ней, исчезало.

Городовой курил, плевал в стену и спокойно говорил:

— Теперь такое начнется — ух! Теперь каждый каждому все обиды напомнит!

Вавило встал на ноги и, выпячивая грудь, сказал:

— Что ж, выпускай меня!

— Подожди! — отрицательно мотнув головой, ответил Капендюхин.— Я ж не могу, не приказано мне. Я зашел по дружбе, просто так. Было время — приказывали мне сажать тебя у полицию, то я сажал. Человеку приказывают — он делает. Вот прикажут мне: иди, выпускай Бурмистрова, то я пойду и скажу: а ну, Бурмистроу, ступай себе! Разве это не бывало?

— А как же Девушкин-то? — спросил Вавило, недоверчиво глядя на городового.

— Это — твое дело. Мне — что? Я ж ему не брат, не отец. Я за него не могу взыскивать.

— Ну, и выпускай меня! — решительно проговорил Бурмистров, подвигаясь к двери.

Не останавливая его, городовой выколачивал пепел из трубки и безнадежным голосом говорил:

— Куда ты торопишься? Вот чудак! Лежал-лежал, вдруг вскочил... А куда?

Если бы Капендюхин попробовал остановить Вавилу, Вавило, наверное, ушел бы из камеры, но, не встретив сопротивления, он вдруг ослабел и, присло-

нясь к стене, замер в недоумении, от которого кружилась голова и дрожали ноги. Городовой, растирая пальцем пепел у себя на колене, лениво говорил о том, что обыватели озорничают, никого не слушаются, порядок пропал.

— Такое идет, как будто все, и мужчины и бабы, плешивые стали, ей-богу! У всех явилось какое-то одно, как у арестантов. Или выстегал их кто-то прутьями и люди не могут сидеть, бегают-бегают, а всё потому, что начальство уже устало заботиться о людях: а ну вас, свиньи, к бесу, нате вам свободу! Вот, живите, а я — посмотрю с-за уголка, что будет...

Он рассердился, надул щеки и вышел, хлопнув громко дверью.

Бурмистров посмотрел на дверь, подошел к ней, ударил ногой — дверь тяжело отворилась. Он выглянул в темный коридор, сурово крикнув:

— Эй, вы! Заприте!

Никто не ответил. Вавило, оскалив зубы, с минуту стоял на пороге каземата и чувствовал, словно кто-то невидимый, но сильный, обняв его, упрямо толкал вперед. Притворив дверь, он, не торопясь, пошел по коридору, дорога была ему известна. У него вздрагивали уши; с каждым шагом вперед он ступал всё осторожнее, стараясь не шуметь, и ему хотелось идти всё быстрее; это желание стало непобедимым, когда перед ним широко развернулся пожарный двор.

Несколькими прыжками он добежал до конюшен, влез по лестнице на крышу, прыгнул с нее в чей-то огород, присел на корточки, оглянулся, вскочил и помчался куда-то через гряды, усеянные мерзлыми листьями капусты и картофельной ботвой.

Усталый, запыхавшийся, он ткнулся в угол между каких-то сараев, встал на колени,— за забором, точно телеграфные проволоки в ветреный день, глухо и однообразно гудели потревоженные голоса людей.

Бурмистров оглянулся, взял из кучи щепок обломок какой-то жерди, вытянулся вперед и приложил лицо к щели забора: в тупике за ним стояло десятка полтора горожан — всё знакомые люди.

Стояли они тесной кучкой, говорили негромко,

серьезно, и среди них возвышалась огромная седая голова Кулугурова. Все были одеты тепло, некоторые в валенках, хотя снега еще не было. Они топтались на кочках мерзлой грязи и жухлого бурьяна, вполголоса говоря друг другу:

— Ладно, говорю, ты спи! — рассказывал Кулугуров, сверкая глазами.— И только это легла моя старуха,— бух! В ставень камнем, видно, кинули.

— Их две шайки основалось,— докладывал Базунов осторожным и как бы что-то нащупывающим голосом,— Кожемякин да кривой со слободы — это одна, а телеграфистишка с горбатым из управы земской...

— Да, да, вот эти!

— Что же делать будем, а?

Бурмистров вздрагивал от холода. Часто повторяемый вопрос — что делать? — был близок ему и держал его в углу, как собаку на цепи. Эти зажиточные люди были не любимы им, он знал, что и они не любят его, но сегодня в его груди чувства плыли подобно облакам, сливаясь в неясную свинцовую массу. Порою в ней вспыхивал какой-то синий болотный огонек и тотчас угасал.

Когда же он услышал, что Тиунова ставят рядом с Кожемякиным, его уколола в сердце зависть, и он горько подумал:

«Присосался, кривой чёрт!»

И тотчас же сообразил:

«Кабы он, дьявол, не покинул меня тогда, на мосту,— ничего бы и не было со мной!»

Народа в тупике прибавлялось, разговор становился всё более тревожным, всё менее ясным для Бурмистрова.

Кто-то говорил густым и торжественным голосом, точно житие читая:

— Ходит по городу старушка нищая Зиновея и не известная никому женщина с ней,— женщина-то, слышь, явилась из губернии,— и рассказывают они обе, будто разные образованные люди...

— Слободские идут!

— У собора сотен пять народу!

— Слободские — это беда!

— Один Вавило Бурмистров, боец-то их, на десять человек наскандалить может...

Вавило невольно пугливо откинулся от забора, но — ему было приятно слышать мнение горожан о нем. И на секунду в нем явилось острое желание прыгнуть через забор, прямо в середину кучи этих людей,— эх, посыпались бы они кто куда!

Он улыбнулся, закрыл глаза, его мускулы сами собою напрягались.

За забором горожане гудели, как пчелиный рой:

— В том соображении, что господь бог, святая наша церква и православное духовенство едины есть народу защитники-ходатели, то решили эти ученые, чтобы, значит, церкви позакрыть...

— Кожемякин вчера успокаивал, что ничего-де худого не будет...

— А свобода эта, всем данная,— ничего?

— Начнется от них, свободных, городу разорение!

— Все дела остановились — какие могут быть убытки, а? Да будь-ка я на месте головы, да я бы... ах, господи! гонцов бы везде послал...

— Что же, братцы, делать?

«Боятся, черти!» — соображал Вавило, оскалив зубы.

Тревога обывателей была приятна ему, она словно грела его изнутри, насыщая сердце бодростью. Он внимательно рассматривал озабоченные лица и ясно видел, что все эти солидные люди — беспомощны, как стадо овец, потерявшее козла-вожатого.

И вдруг в нем вспыхнул знакомый пьяный огонь — взорвало его, метнуло через забор; точно пылающая головня, упал он в толпу, легко поджигая сухие сердца.

— Православный народ! — кричал он, воздевая руки кверху и волчком вертясь среди напуганных людей.— Вот он я, Бурмистров,— бейте! Милые — эх! Понял я — желаю открыться, дайте душу распахнуть!

От него шарахнулись во все стороны, кто-то с испуга больно ударил его по боку палкой, кто-то завыл. Вавило кинулся на колени, вытянул вперед руки и бесстрашно взывал:

— Бей, ребята, бей! Теперь свобода! Вы — меня, а вас — они, эти, которые...

Он не знал — которые именно, и остановился, захлебнувшись словами.

— Стой! — крикнул Кулугуров, взмахивая рукой.— Не тронь его, погоди!

— Я ли, братцы, свободе не любовник был?

Обыватели осторожно смыкались вокруг него, а Бурмистров, сверкая глазами, ощущал близость победы и всё более воодушевлялся.

— Что она мне — свобода? Убил я и свободен? Украл и свободен?

— Верно! — крикнул Кулугуров, топая ногами.— Слушай, народ!

Кто-то злобно и веско сказал:

— Да-а, слушай, он сам, чу, третьего дня, что ли, и впрямь человека убил!

— Да ведь он о том и говорит! — орал старый бондарь.

— Видали? — подпрыгивая, кричал Базупов.— Вот она — свобода! Разбойник, а и то понял! Во! Во-от она, русская совесть, ага-а!

Вавило немножко испугался и заиграл с жаром, с тоской и отчаянием.

— Верно — убил я! Убежал разве? Нету! Судите — вот я! Кого я убил?

Ему снова захлестнуло язык, сжало горло, он схватился руками за грудь и несколько страшных секунд молчал, не зная, что сказать.

Вокруг глухо бормотали:

— Кается!

— От души, видать!

— Простой народ, он завсегда бога помнит! А эти разные образованные, они вон, слышь, и над богом издеваются...

— Ну все-таки убийство ежели...

— Кого я убил? — крикнул Вавило.— Выученика Тиунова, кривого смутьяна...

Он сам удивился своим словам и снова на секунду замолчал, но тотчас понял выгоду неожиданной обмолвки, обрадовался и вспыхнул еще ярче.

— За что я его? За поганые его стихи, ей-богу, братцы! За богохульство! Я знаю — это кривой его выучил, фальшивый монетчик! Не стерпело сердце обиды богу, ну, ударил я Симку, единожды всего, братцы! Такая рука,— я ничего не скрываю,— такая сила дана мне от господа! И — тоже — где убил? У распутной девки! Там ли хорошему человеку место?

Мещане угрюмо смотрели на него, а Кулугуров убедительно говорил, покрывая крики Вавилы:

— Мы в этом не судьи, нас эти дела разбойные не касаются! А что он против свободы — это мы можем принять!

— Нет, кривой-то, а? — злобно воскликнул кто-то.— Везде!

— Смутьянишка, дьявол!

— Старушку бы эту Зиновею — и женщину с ней — тоже бы заставить,— пусть расскажут про антихристовы затеи эти...

Чей-то тревожный голос крикнул:

— Глядите-тко, сколько их к собору прет! Сомнут они нас, ей же богу! Братцы!

— И мы туда! — загремел Кулугуров.— Али мы не граждане в своем городе? И ежели все нас покинули без защиты, как быть? Биться? Вавил, айда с нами, скажи-ка им там всё это, насчет свободы, ну-ка!

Он засучил рукава пиджака по локоть и сразу несколькими толчками сбил, соединил всех в плотную, тяжелую кучу. Бурмистрова схватили сзади под руки и повели, внушая ему:

— Ты — прямо говори...

— Не бойсь, поддержим!

— Полиции нет...

— Мы тебе защиту дадим...

— Насчет кривого-то хорошенько!..

Вавило точно на крыльях летел впереди всех, умиленный и восторженный; люди крепко обняли своими телами его тело, похлопывали его по плечам, щупали крепость рук, кто-то даже поцеловал его и слезливо шепнул в ухо:

— На пропятие идешь, эхх!

— Пустите! — говорил Вавило, встряхивая плечами.

Малосильное мещанство осыпалось с него, точно лист с дерева, и похваливало:

— Ну, и здоров же!

И снова прилеплялось к возбужденному, потному телу.

Бурмистров понял свою роль и, размахивая голыми руками, орал:

— Я их открою! Всех!

Он никогда еще не чувствовал себя героем так полно и сильно. Оглядывал горящими глазами лица людей, уже влюбленных в него, поклонявшихся ему, и где-то в груди у него радостно сверкала жгучая мысль:

«Вот она, свобода! Вот она!»

Клином врéзались в толпу людей на площади и, расталкивая их, быстро шли к паперти собора. Их было не более полсотни, но они знали чего хотят, и толпа расступалась перед ними.

— Гляди! — сказали Бурмистрову.— Вон они!

На паперти, между колонн, точно пряталась кучка людей, и кто-то из них, размахивая белым лоскутком, кричал непонятные, неясные слова.

Сквозь гул толпы доносились знакомые окрики Стрельцова, Ключникова, Зосимы...

«Наши здесь!» — подумал Вавило, улыбаясь пьяной улыбкой; ему представилось, как сейчас слобожане хорошо увидят его.

Он вскочил на паперть, широко размахнул руками, отбрасывая людей в стороны, обернулся к площади и закричал во всю грудь:

— Православные! Все вы... собрались... и вот я говорю, я! Я!

Встречу ему хлынул густой, непонятный гул. Вавило всей кожей своего тела почувствовал, что шум этот враждебен ему, отрицает его. Площадь была вымощена человеческими лицами, земля точно ожила, колебалась и смотрела на человека тысячами очей.

В груди Бурмистрова что-то оборвалось, на сердце пахнуло жутким холодом; подняв голос, он напрягся

и с отчаянием завыл, закричал, но снова, еще более сильно и мощно, сотнями грудей вздохнула толпа:

— Долой! Не надо!

И рядом с ним, где-то сбоку, спокойно текла уверенная речь, ясно звучали веские слова:

— Кого же ставят они против правды? Вы знаете, кто этот человек...

Еще раз внутри Бурмистрова туго патянулась какая-то струна — и со стоном лопнула.

— Врет! — крикнул он в огромное живое лицо перед собой; обернулся, увидал сухую руку, протянутую к нему, темный глаз, голый — дынею — череп, бросился, схватил Тиунова, швырнул его куда-то вниз и взревел:

— Бей!

— Наших бьют! — взвыло окуровское мещанство.

И закружились, заметались люди, точно сор осенний, схваченный вихрем. Большинство с воем кинулось в улицы, падали, прыгали друг через друга, а около паперти закипел жаркий, тесный бой.

— Ага-а! — ревел старый бондарь Кулугуров, взмахивая зеленым обломком тетивы церковной лестницы.— Свобода!

Вавило бил людей молча, слепо: крепко стиснув зубы, он высоко взмахивал рукою, ударял человека в лицо и, когда этот падал, не спеша, искал глазами другого.

Люди, не сопротивляясь, бежали от него, сами падали под ноги ему, но Вавило не чувствовал ни радости, ни удовольствия бить их. Его обняла тягостная усталость, он сел на землю и вытянул ноги, оглянулся: сидел за собором, у тротуарной тумбы, против чьих-то красных запертых ворот.

Неподалеку стояла кучка людей, человек десять, и среди них оборванный, встрепанный Кулугуров, отирая большой ладонью разбитое лицо, громко говорил:

— Попало ему, кривому дьяволу, довольно-таки!

На пестрых главах церкви Николы Мирликийского собралась стая галок и оглушительно кричала. Бурмистров взглянул на них, глубоко вздыхая.

Он как будто засыпал, его давила усталость, он тупо смотрел в землю и двигал ногой, растирая о камни чью-то измятую шапку.

— Всех разогнали, пока что! — кричал бондарь.— Так-то вот! Ну, айда!

Он высморкался пальцами и пошел к Вавиле, сопровождаемый товарищами.

— Куда меня теперь? — тихо и угрюмо спросил Бурмистров, когда они подошли и окружили его.

— Что — ушибли тебя? — не отвечая, осведомился бондарь.

— Куда меня?

Но раньше, чем кончить свой вопрос, Вавило почувствовал, что его крепко держат за руки, поднимают с земли.

— А вот, значит,— серьезно говорил Кулугуров,— как ты — первое — повинился нам в убийстве, а второе — драку эту начал,— ну, отведем мы тебя в полицию...

Кто-то добавил:

— Мы тебе, друг, не потатчики, нет!

Вавило взглянул на него и промолчал.

Пошли. Бурмистров смотрел в землю, видел под ногами у себя лоскутья одежды, изломанные палки, потерянные галоши. Когда эти вещи были близко — он старался тяжело наступить на них ногой, точно хотел вдавить их в мерзлую землю; ему всё казалось, что земля сверкает сотнями взглядов и что он идет по лицам людей.

И как сквозь сон слышал гудение встревоженного города и солидную речь бондаря:

— А бой в сем году рано начали — до Михайлова-то дня еще недели две время...

Как-то вдруг повалил снег, и всё скрылось, утонуло в его тяжелой ровной кисее.

— Удавлюсь я там, в полиции! — глухо и задумчиво сказал Вавило.

— Еретик — всегда еретиком останется! — ответили ему откуда-то со стороны.

— Не хочу... не пойду! — вдруг остановясь, крикнул Бурмистров, пытаясь стряхнуть уцепившихся

за него людей и чувствуя, что не удастся это ему, не сладит он с ними.

Они начали злобно дергать, рвать, бить его, точно псы отсталого волка, выли, кричали, катались по земле темною кучею, а на них густо падали хлопья снега, покрывая весь город белым покровом долгой и скучной зимы.

Во мгле снежной пурги черными пятнами мелькали галки.

И всё работал неутомимый человек,— где-то на Петуховой горке, должно быть; он точно на весь город набивал тесный крепкий обруч, упрямо и уверенно выстукивая:

— Тум-тум-тум... Тум-тум...

# ЖИЗНЬ МАТВЕЯ КОЖЕМЯКИНА

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

По ночам, подчиняясь неугомонной старческой бессонице, Матвей Савельев Кожемякин, сидя в постели, вспоминает день за днем свою жизнь и четко, крупным полууставом, записывает воспоминания свои в толстую тетрадь, озаглавленную так:

«Мысленные и сердечные замечания, а также некоторые случаи из жизни города Окурова, записанные неизвестным жителем сего города по рассказам и собственному наблюдению».

Ниже, почерком помельче, приписано:

«Для чтения с доверием и для познания скорбной жизни уездного русского города».

Тетрадь лежит перед ним на косой доске столика-пюпитра; столик поставлен поверх одеяла, а ножки его врезаны в две дуги, как ноги игрушечного коня. С правого бока стола привешена на медной цепочке чернильница; покачиваясь, она бросает на одеяло тень, маленькую и темную, как мышь. В головах кровати, на высокой подставке, горит лампа, ровный свет тепло облил подушки за спиной старика, его желтое голое темя и большие уши, не закрытые узеньким венчиком седых волос. Когда старик поднимает голову — на страницы тетради ложится темное круглое пятно, он гладит его пухлой ладонью отекшей руки и, прислушиваясь к неровному биению усталого сердца, прищуренными глазами смотрит на белые изразцы печи в ногах кровати и на большой, во всю стену, шкаф, тесно набитый черными книгами.

Сосредоточенно обращенный в прошлое взгляд старика медленно бродит в сумраке большой комнаты, почти не видя расплывшихся очертаний давно знакомых вещей,— их немного, все они грузные и стоят, точно вросли в пол. Простор комнаты пустынен, и сумрак ее холоден.

За книжным шкафом — дверь, от нее к передней стене вытянулся еще шкаф, тоже полный книг. Два окна плотно закрыты ставнями, в простенке — старинное овальное зеркало в золотой фигурной раме, под зеркалом диван, перед ним стол с выгнутыми ногами, а на столе — старинная Библия в коже; блестит серебро ее застежек. Около стола растопырились кресла в чехлах из парусины, на полу — толстая серая кошма. В переднем углу за кроватью — тройной киот, в нем девять икон. Задумчиво потрескивая, горит хрустальная лампада на серебряных цепях, освещая вверху ласковые лики Иисуса, богородицы, Ивана Крестителя, в середине — Николая Чудотворца, Не рыдай мене мати и Василия Блаженного, а в нижнем ряду образа Кирилла и Мефодия, Антония и Феодосия и московских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы.

Над постелью, в рамках из сосновых шишек,— две фотографии: кабинетный портрет молодой женщины с кудрявым ребенком на коленях,— обе фигуры расплылись и подобны отражению в текучей воде.

Матвей Кожемякин долго, не мигая глазами, смотрит на портреты, потом, крестясь, тихо шепчет:

— О господи многомилостливый! Продли дни моя для ради завершения дела любови моея и совести!

И, осторожно омакнув перо в чернильницу, покорно склоняя голову, он, не спеша, четко пишет в тетрадке:

«Оканчивая воспоминания мои о жизни, столь жалостной и постыдной, с горем скажу, что не единожды чувствовал я, будто некая сила, мягко и неощутимо почти, толкала меня на путь иной, неведомый мне, но — вижу — несравнимо лучший того, коим я ныне дошел до смерти по лени духовной и телесной, потому что все так идут. Но не понял я вовремя наставительных

и любовных усилий жизни и сопротивлялся им, ленивый раб, когда же благостная сила эта все-таки незаметно овладела мною — поздно было. Вкушая, вкусих мало меда и се — аз умираю».

Тишина в комнате кажется такой же плотной и серой, точно кошма на полу. С воли чуть слышно доносятся неясные звуки боязливой и осторожной ночной жизни города, они безличны и не колеблют ни устоявшейся тишины, ни мысль старика, углубленную в прошлое.

Он чувствует себя одиноко стоящим в пустоте, у подножия высокой горы; с ее вершины, покрытой темной тучей, он тихо и безвольно скатился сюда — вот пред ним весь этот путь,— он мысленно прошел его десятки раз.

Ему шел седьмой год, когда мать его вдруг исчезла из дома: она не умерла, а просто однажды ночью тайно ушла куда-то, оставив в памяти мальчика неясный очерк своей тонкой фигуры, пугливый блеск темных глаз, торопливые движения маленьких смуглых рук,— они всегда боязливо прятались. Ни одного слова ее не осталось в памяти сына.

Отец — человек высокий, тучный, с большой рыжей и круглой, как на образе Максима Грека, бородою, с красным носом. Его серые глаза смотрели неласково и насмешливо, а толстая нижняя губа брезгливо отвисала. Он двигался тяжело, дышал шумно и часто ревел на стряпуху и рабочих страшным, сиплым голосом. Матвей долго боялся отца, но однажды как-то сразу и неожиданно полюбил его.

Было это на второй день Пасхи; недавно стаял последний вешний снег, от земли, нагретой солнцем, густо поднимался теплый и душистый парок, на припеке появились прозрачные, точно кружева, зеленые пятна милой весенней травы.

Матвей, в розовой рубахе из канауса, ходил по двору вслед за отцом, любуясь блеском солнца на лаковых голенищах новых сапог.

— Что-о, Муругой,— сказал отец, приседая на корточки перед конурой собаки,— что, пес, скушно, а? Скушно?

Из круглого выреза конуры, грохнув цепью, вырвался Муругой,— отец крикнул, взмахнул рукой и окропил лицо сына тяжелыми каплями теплой влаги.

Прибежали люди, началась суета и шум, темнобровая пышная стряпуха Власьевна повязывала руку отца полотенцем, а он топал ногами, ругался и требовал ружье. Гремя цепью, собака яростно металась, брызгала пеной и выла тоскливо, страшно.

Широкорожий и рябой дворник Созонт принес ружье, отец, опустясь на колено, долго водил стволом вслед за движениями собаки, целясь в ее красную влажную пасть, в желтые клыки, а Созонт глухо ворчал:

— Не надо бы...

Бухнул выстрел, отец, окутавшись синим дымом, покачнулся и сел,— пегий лохматый пес встал на задние лапы, натянув цепь, зарычал, судорожно отирая передними овлажненную кровью морду, потом свернулся набок, громко щелкнув зубами. Толкнув собаку сапогом в морду, отец сказал Созонту:

— В глаза попало...

Власьевна, протягивая ковш воды, плачевно ныла:

— Савел Иваныч, помой руку-то!

— Тебя тоже из поганого ружья пристрелить надо! — закричал отец, взмахивая здоровой рукой.— Говорил — не корми мясом! Сазан, иди, зови лекаря!

Он стал разматывать красное полотенце с руки, а Матвей, замирая от страха и любопытства, принял ковш из рук Власьевны и бросил его, налив себе воды в сапоги: он увидал, что из отверстия конуры выкинулся гибкий красный язык огня, словно стремясь лизнуть отцовы ноги. Но отец тотчас схватил собачий дом, опрокинул его и стал вытряхать горящую солому, под ногами у него сверкали желтые цветки, они горели у морды собаки, вспыхивали на ее боках; отец весь курился серым дымом, фыркал и орал, мотая головою из стороны в сторону.

От едкого запаха тлеющей соломы и паленой шерсти

у мальчика закружилась голова, он присел на ступени крыльца и, готовый плакать, со страхом ждал, что скажет отец, пристально смотревший на него, взвешивая пораненную руку на ладони здоровой.

А он вдруг подошел, сел рядом и кротко спросил:

— Испугался, брат?

— Испугался.

— Ну, ничего! Я тоже испугался...

Матвей искоса поглядел на отца, не веря ему, удивляясь, что такой большой, грозный человек так просто, не стыдясь, говорит о своем испуге.

— Жалко мне,— сказал он, подумав.

— Собаку-то?

— Тебя.

— Ме-ня? — странно протянул отец.

— Огонь-то как на тебя. Как пыхнет! Он — откуда это?

— От пыжа. Знаешь — затычка в ружье кладется, пенька?

Матвей тесно прижался к плечу отца, заглянув в его полинявшее лицо и отуманенные глаза.

— Больно болит рука-то?

Отец смешно оттопырил нижнюю губу, косо поглядел на руку и ответил новым голосом:

— Ничего. Левая.

До этого дня мальчик почти никогда не беседовал с ним так хорошо, и теперь у него сразу возникло желание спросить большого рыжего человека о множестве вещей. Между прочим, ему казалось, что отец неверно объяснил появление огня — уж очень просто!

— Тятя, у собаки есть душа?

— Ну, зачем ей! — молвил отец.

Помолчав, мальчик тихонько протянул:

— Ка-ак он на тебя фукнул, огонь-то!

Отец положил на голову ему тяжелую мохнатую руку и необычно ласково заговорил:

— Жаль собаку-то! Девять лет жила. Ну, однако, хорошо, что она меня цапнула. Вдруг бы тебя, а? Господи помилуй!

Лицо его покраснело, рыжие брови сурово сдвинулись и опустились на глаза. Но это не испугало Матвея,

он еще ближе пододвинулся к отцу, ощущая теплоту его тела.

На двор вкатился маленький и круглый человечек, веселый, одетый в смешную клетчатую хламиду и штаны навыпуск. Отец ушел с ним в горницу, сказав:

— Ты не ходи, Мотя, тебе не к чему глядеть на кровь...

Оставшись на крыльце, мальчик вспомнил, что, кроме страха перед отцом, он носил в своей душе еще нечто тягостное.

Вскоре после того, как пропала мать, отец взял в дом ласковую слободскую старушку Макарьевну, у нее были ловкие и теплые руки, она певучим голосом рассказывала мальчику славные жуткие сказки и особенно хорошо длинную историю о том, как живет бог на небесах:

Сидить грозен бог на престоле златоогненном,
Предстоять ему серафими, херувими, светли ангели,
День и ночь всё поють они да славу богу вечному.
А как просять царя-то небесного о милости грешникам,
Со стыда в очи грозные, божии, поглядеть не решаютьси...

Когда она напевала эту песнь — ее черные добрые глазки блестели мелкими, как жемчужинки на ризе иконы, слезами.

Но, прожив месяца три, она была уличена Власьевной в краже каких-то денег. Тогда отец, Созонт и стряпуха положили ее на скамью посредине кухни, связали под скамьею маленькие руки полотенцем, Власьевна, смеясь, держала ее за ноги, а Созонт, отвернувшись в сторону, молча и угрюмо хлестал по дрожавшему, как студень, телу тонкими прутьями.

Макарьевна бормотала, точно водой захлебываясь:

— Батюшки, помилуйте! Не виновата я перед господом... не виноватую... у-у...

— Сыпь, Сазан! — покрикивал отец, стоя у печи и крепко держа Матвея за руку.

А Власьевна, подмигивая на дворника, говорила:

— Гляди-ко — стыдится, морду-то отворотил как, а, мамоньки!

Матвей хотел попросить отца не сечь старуху, но не решился и горько заплакал.

— Будет! — сурово крикнул Кожемякин.

Тот день вечером у постели мальчика сидела Власьевна, и вместо тихих сказок он слышал жирные, слащавые поучения.

— Надо быть умненьким, тятеньку жалеть да слушаться, а ты от него по углам прячешься — что это?

Потом явилась дородная баба Секлетея, с гладким лицом, темными усами над губой и бородавкой на левой щеке. Большеротая, сонная, она не умела сказывать сказки, знала только песни и говорила их быстро, сухо, точно сорока стрекотала. Встречаясь с нею, отец хитро подмигивал, шлепал ладонью по ее широкой спине, называл грепадером, и не раз мальчик видел, как он, прижав ее где-нибудь в угол, мял и тискал, а она шипела, как прокисшее тесто.

Власьевна плакала, грозилась:

— Уйду! Еретик...

Но ушла Секлетея.

В тот день, когда ее рассчитали, Матвей, лежа на постели, слышал сквозь тонкую переборку, как отец говорил в своей комнате:

— Ну, чего орала да куксилась, дура толстомясая?

— Дорогуша ты моя, сердечная,— слащаво ныла Власьевна.

— Не лезь. Думаешь, не всё равно мне, какая баба? Не о себе у меня забота...

— Да уж я ли Мотеньке не слуга...

— Ему мать надобно...

Мальчик завернулся с головою в одеяло и тихонько заплакал.

Но теперь ему хотелось забыть, как секли ласковую старушку, а разговор отца с Власьевной хорошо и просто объяснял всё неприятное и зазорное:

«Это он — для меня...»

Отец выглянул в окно, крикнув:

— Моть, иди чай пить!

Пили чай, водку и разноцветные наливки, ели куличи, пасху, яйца. К вечеру явилась гитара, веселый лекарь разымчиво играл трепака, Власьевна плясала так, что стулья подпрыгивали, а отец, широко размахивая здоровой рукой, свистел и кричал:

— Делай, ведьма! Моть — поди сюда! Любишь, стало быть? Эх, мотыль мой милый, монашкин сынок! Не скучай!

Он дал сыну стаканчик густой и сладкой наливки и, притопывая тяжелыми ногами, качая рыжей, огненной головой, пел в лицо ему удивительно тонким и смешным голосом:

Вот во поле, на лужку
Стоит бражка в туеску,
Она пьяная — хмельна,
Крепче всякого вина...

Матвею почему-то было жалко отца; ему казалось, что вот он сейчас оборвет песню и заплачет.

— Марков — подкладывай огня! Ох ты! Крутись! — командовал отец.

Коротенький лекарь совсем сложился в шар, прижал гитару к животу, наклонил над нею лысую голову, осыпанную каплями пота; его пальцы с веселою яростью щипали струны, бегали по грифу, и мягким тенорком он убедительно выговаривал:

И поп — помрет,
И солдат — помрет,
Только тот не помрет,
Кого смерть не возьмет!

— И-их! — визжала Власьевна, отчаянно заламывая руки над головой.

— Марков! — вопил отец.— Гляди, а? Это ли не зверь, а?

— Холмы-горы! — отзывался лекарь, брызгая веселым звоном струн, а Матвей смотрел на него и не мог понять, где у лекаря коленки.

Вдруг явился высокий суровый Пушкарь, грозно нахмурил темное бритое лицо и спросил хриплым голосом:

— За что Муругого убили, беси?

Отец поднял завязанную руку, махая ею.

— Видал? Сустав с мизинца — напрочь! Марков ножницами отстриг. Садись, служба!

— Еще башку тебе отстригут, погоди! — предупредил солдат, усмехаясь и взяв Матвея за руку.

— Айда спать!

Через несколько дней, в воскресенье, отец, придя из церкви, шагал по горнице, ожидая пирога, и пел:

От юности моея
мнози борют мя страсти,
Но сам мя заступи
и спаси, спасе мой!

Со двора в окно, сквозь узорные листья герани, всунулась серая голова Пушкаря. Он кричал:

— Опять кощунишь, Савел? Опять носам?

— Поди прочь! — сказал отец, не останавливаясь.

— Я те говорю — осанна заступи! Осанна, а не — носам!

Отец подошел к окну и, ударив себя кулаком в грудь, внушительно заговорил:

— Сам! Понимаешь, старый чёрт? Не я, а — бог! Но сам...

В окно полился торжествующий рев:

— Ага-а, запутался, еретик! Я — не я, сам — не сам...

— Уйди!

— Осанну господню не тронь...

— У-ух! — взвыл Савелий Кожемякин и, схватив обеими руками банку с цветком, бросил ею в голову Пушкаря.

Это вышло неожиданно и рассмешило мальчика. Смеясь, он подбежал к окну и отскочил, обомлев: лицо отца вспухло, почернело; глаза, мутные, как

у слепого, не мигая, смотрели в одну точку; он царапал правою рукою грудь и хрипел:

— Господи! Исусе... Исусе...

Матвей выскочил вон из комнаты; по двору, согнув шею и качаясь на длинных ногах, шел солдат, одну руку он протянул вперед, а другою дотрагивался до головы, осыпанной землею, и отряхал с пальцев густую темно-красную грязь.

Матвей кинулся в амбар и зарылся там в серебристо-серой куче пеньки, невольно вспоминая жуткие сказки Макарьевны: в них вот так же неожиданно являлось страшное. Но в сказках добрая баба-яга всегда выручала заплутавшегося мальчика, а здесь, наяву,— только Власьевна, от которой всегда душно пахнет пригорелым маслом.

На дворе раздался голос отца:

— Я вас, деймоны, потаскаю в амбар, запру и подожгу! Доведете вы меня! Матвей! Мотюшка!

Вздрагивая от страха, мальчик выбрался из пеньки и встал в дверях амбара, весь опутанный седым волокном. Отец молча отвел его в сад, сел там на дерновой скамье под яблоней, поставил сына между колен себе и невесело сказал:

— Ну, что ты испугался? Пугаться вредно. Какая твоя жизнь будет в испуге да в прятышках? Не видал ты солдата пьяным?

— Ты ему голову разбил! — тихонько напомнил мальчик.

— Эка важность! На службе его и не так бивали.

Он долго рассказывал о том, как бьют солдат на службе, Матвей прижался щекою к его груди и, слыша, как в ней что-то хрипело, думал, что там, задыхаясь, умирает та черная и страшная сила, которая недавно вспыхнула на лице отцовом.

— Ты его не бойся! — говорил рыжий человек.— Он это так, со скуки дурит. Он ведь хороший. И дерутся люди — не бойся. Подерутся — помирятся.

Он говорил ласково, но нехотя, и слова подбирал с видимым трудом. Часто прерывая речь, смотрел в пустое небо, позевывая и чмокая толстой губой.

Жадно пили свет солнца деревья, осыпанные желто-

ватыми звездочками юной листвы, тихо щелкая, лопались почки, гудели пчелы, весь сад курился сочными запахами — расцветала молодая жизнь.

— Спать хочешь? — грустно спросил Матвей.

— Нет, это так, от скуки зевается. В праздники всегда скушно.

— Ты и в будни часто про скуку говоришь.

— А и в будни не больно весело! — Кожемякин крепко стиснул сына коленями и как будто немного оживился.— Прежде веселее было. Не столь спокойно, зато — веселее. Вот я тебе когда-нибудь, вместо бабьих-то сказок, про настоящее поведаю. Ты уж большой, пора тебе знать, как отец жил...

— Расскажи сейчас! — умильно попросил Матвей.

— Можно и сейчас! — подумав, молвил отец.— Вот, примерно, ходил я с отцом — дедом твоим — на расшиве, бечевой ходили, бурлаками, было их у нас двадцать семь человек, а дед твой — водоливом. Мужик он был большой, строгий, характерный...

Савелий Кожемякин прищурил глаза, крякнул и недоверчиво оглянул светло-зеленые сети ветвей.

— Предметы-те, Мотяй, всё больно сурьезные, не уложатся они в малый твой разум! — проговорил он, сомнительно разглядывая сына.— Погодить, пожалуй, надо нам беседы-то беседовать...

— Нет, ты, тятя, сейчас! — настаивал мальчик, отводя рукой бороду отца.

— Чекотно? — усмехаясь спросил Савелий.— Вот и мне тоже чекотно, как про старое-то вспомню.

Подумав, он плавно начал:

— Ну,— были мы люди костромские, жили на Ветлуге, в уголку, между двух рек, Ошмы да Нишмы,— место глухое, лесное, место уютное, человеку и всякому зверю удобное. В Ошме да Нишме окунье водилось и головли здоровенные,— ловил я их — без числа много! Самый знаменитый окунь — он в Которосль-реке живет, около Ростова Великого,— вот, брат, город хорош! Звон там в соборе особенный и крепость неодолимая — ни татаре, ни поляки, ни даже сам Бонапарт не мог ее взять! Храбрый был этот царь Бонапарт, умный был, Москву забрал и всю Русь, а тут — обошел

вокруг крепости ростовской, почесал переносицу да и говорит генералам своим: «Нет, лыцари мои верные, айдате прочь! Этого города и нам не взять!» Это он обманул их. Тут, видишь ты, так было: покуда он на коне своем, один, ночью, вокруг крепости ехал, духовенство ростовское всё время, бесперечь, било в те кремлевские колокола. А вылиты эти колокола из серебра, кое много лет у нищих выменивалось: дадут нищему монету серебряную, а Ростов-город и выменяет ее на медь. Конечно, и обманывали нищих, но колокола от того обмана не страдали, а, может, даже зазывней звонят. Вот этот звон и разбередил Бонапарту душу, подумал он о ту пору: «Всё я забрал, а на что мне? Детей нету». Дети у него поумирали в то время. Так и остался Ростов не тронут... Ну, про окуней теперь: окунь, братец ты мой, рыба жадная да хитрая, и ловить ее надо умеючи. Пошли мы однажды с отцом на Ошму, по окуня; идем лесом, темно,— вдруг навстречу нам сельца Болотина барин шагает, с ружьем, с сумой охотничьей. Отец — дед-от твой — шепчет мне: «Лезь в кусты!» Ну, сунулся я, притаился...

Кожемякин крякнул, замолчал и снова хмуро оглянул весь сад, посмотрел на главы монастырской церкви. Мальчик, тихонько расчесывая пальцами густую бороду отца, нетерпеливо толкнул его локтем в грудь.

— Говори-и...

— Ну,— продолжал тот тихо и задумчиво,— вот, значит... После этого дедушка твой сбежал в Рыбный, в бурлаки...

— А барин? — спросил Матвей.

— Барин,— он так и того,— неохотно ответил Кожемякин, глядя в небо.— Тогда, брат, барин что хотел, то и делал; люди у него в крепостях были, лишенные всякой своей воли, и бар этих боялись пуще чертей али нечисти болотной... Сестру мою — теткой, стало быть, пришлась бы тебе...

Большой рыжий человек вздохнул и, как бы жалуясь, молвил:

— Вот и опять... тут как только вспомнишь что-нибудь касательное жизни человеческой, так совсем

невозможно про это ребенку рассказать! Неподходящее всё... Ты иди-ка, посиди у ворот,— а я тут вздремну да подумаю...

Он разжал колени и легонько, заботливо отодвинул сына в сторону.

У ворот на лавочке сидел дворник в красной кумачной рубахе, синих штанах и босой. Как всегда, он сидел неподвижно, его широкая спина и затылок точно примерзли к забору, руки он сунул за пояс, рябое скучное лицо застыло, дышал он медленно и глубоко, точно вино пил. Полузакрытые глаза его казались пьяными, и смотрели они неотрывно.

На все вопросы Матвея он неизменно отвечал:

— Не знаю. Кто его знает? Никто этого не знает...

Но иногда он, как будто совершенно опьяненный, начинал бормотать приглушенным голосом непонятные слова:

— Теперь — на дорогу бы выйти. Хохлы — они зовут дорогу — шлях. Шляются люди. Ежели всё прямо идти — куда придешь в год время? Неизвестно. А в пять годов? Того пуще. Никто ничего не знает. А — сидят.

Потянувшись, он долго и пристально смотрел на свои ноги, словно не понимая, зачем они ему, а потом из его рта снова ползли одно за другим тяжелые сырые слова:

— Во Пскове один человек говорил мне — я, говорит, шесть тыщ верст прошел. Ну что ж, говорю? Ничего, говорит. Видно, говорю, нет земле краю? Неизвестно, говорит. Потом — рубаху у меня украл.

Опять молчал, мысленно уходя куда-то, и, неожиданно толкнув Матвея, говорил:

— Ежели бы до морей дойти — до предельных морей, которые без берегов лежат. Каспицкое — в берегах. Это известно от киргиз. Они круг его обходят. Киргизьё — колдуны больше...

От этого человека всегда веяло неизбывной тоской; все в доме не любили его, ругали лентяем, называли полоумным. Матвею он тоже не нравился — с ним было всегда скучно, порою — жутко, а иногда его

измятые слова будили в детской душе нелюдимое чувство, надолго загонявшее мальчика куда-нибудь в угол, где он, сидя одиноко целыми часами, сумрачно оглядывал двор и дом.

Дом Кожемякина раньше был конторою господ Бубновых и примыкал к их усадьбе. Теперь его отделял от земли дворян пустырь, покрытый развалинами сгоревшего флигеля, буйно заросший дикою коноплею, конским щавелем, лопухами, жимолостью и высокой жгучей крапивой. В этой густой, жирно-зеленой заросли плачевно торчали обугленные стволы деревьев, кое-где от их корней бессильно тянулись к солнцу молодые побеги, сорные травы душили их, они сохли, и тонкие сухие прутья торчали в зелени, как седые волосы.

Приземистый, построенный из кондового леса — в обхват бревно — дом Кожемякина стоял боком на улицу, два его окна были скрыты от любопытных глаз палисадником и решеткою, а двор огражден высоким забором с крепкими воротами на дубовых вереях. Фасад, с резным крыльцом посередине, обращен во двор, из его шести окон виден темный и слепой, наглухо забитый верхний этаж барского дома, источенная ржавчиною рыжая крыша, обломанные ветром трубы, согнутые флюгера и презрительно прищуренные слуховые окна. Стекла их выбиты, на чердаке барского дома живет много сизых голубей, по крыше осторожно ходят голодные кошки, охотясь за тяжелой неумной птицей.

А из высокой крыши жилища Кожемякина, переломив ее, неожиданно и странно высунулся чердак в два окна; их выцветшие радужные стекла напоминают глаза совы, когда она днем, не мигая, смотрит на свет. По другую сторону дома — узкий и длинный сад, огороды и, за малинником, баня, между грядок свеклы, репы и моркови. Сад и огород тоже обнесены высоким забором, с гвоздями по гребню; за ним — сад монастыря, в густой зелени старых лип тонут голубые главы двух маленьких монастырских церквей — зимней и летней.

Когда цветут липы, их желтый цветень, осыпаясь, золотит серые крыши монастырских строений, а одна липа так высока, что ее пышные ветви достигают окон колокольни и почти касаются шелковым листом меди маленьких колоколов.

Квадратный двор Кожемякина весь обстроен службами, среди них множество уютных углов; против ворот прочно осел в землю крепкий амбар. Выгоревший на солнце и омытый дождями, он туго набит облаками серовато-зеленой и серебристой пеньки; в сухую погоду его широкий зев открыт, и амбар кажется огромною печью, где застыл серый густой дым, пропитанный тяжким запахом конопляного масла и смолы. Сквозь амбар — ход на пустырь, там устроен канатный завод. Пустырь велик, выходит в поле и тоже весь зарос бурьяном, только посредине его протоптана широкая тропа, и над нею, вздрагивая, тянутся вдаль серые нити волокна пеньки. На конце пустыря они привязаны к салазкам, нагруженным кирпичами, и по мере того, как шнуры, свиваясь, укорачиваются, салазки, вздрогнув, скрипят и подвигаются вперед. Под шнурами стоят деревянные гребни, между зубьями их беззвучно дрожат серые струны, а четверо рабочих с утра до вечера, изо дня в день медленно ходят вдоль этих струн, пятясь задом, точно привязанные к ним на всю жизнь. Они одеты в синюю посконь, босы, угрюмы; под ногами у них валяются бобины — конусообразные куски дерева.

Против ворот амбара, в крепком дубовом стане, медленно вращается вертикальное колесо, с железными крючьями в центре — от них и текут тонкие ручьи волокна, а вертит колесо полуслепой и полоумный мужик Валентин.

Колесо тихо скрипит, Валентин гнусаво и немолчно поет всегда одну и ту же песню, слов которой Матвей никогда не мог расслушать. Двое мужиков работали на трепалах, двое чесали пеньку, а седой Пушкарь, выпачканный смолою, облепленный кострикой и серебряной паутиной волокна, похож на старого медведя, каких водят цыгане и бородатые мужики из Сергача.

Все двигаются не торопясь и молча, а он вертится около головки — у колеса, щупает черными пальцами натяжение струн, приседая, смотрит узкими глазами вдоль них и бежит на прямых ногах в конец пустыря, чтобы облегчить или прибавить груз. Кашляет, ворчит, садится на обрубок бревна, хватает счеты и, держа их на весу, передвигает взад и вперед косточки, они прилипают к его пальцам, не ходят по изогнутой проволоке — солдат яростно ругается. Потом берет узкую длинную книгу и ковыряет в ней карандашом, часто обсасывая его синими губами. Он без шапки; его красное лицо в седой щетине подобно углю, покрытому пеплом.

В часы скуки Матвей влезал на дерновую крышу землянки, где хранилась смола, масло и разные инструменты; она стояла под густой тенью старой ветлы. Отсюда мальчик видел весь пустырь, заросли сорных трав, покрытые паутиною пеньки, а позади пустыря, словно застывшие вздохи земли, бесплодной и тоскующей, лежали холмы, покрытые желтыми лютиками и лиловыми колокольчиками на тонких стеблях; по холмам бродили красные и черные коровы, серые овцы; в мутном небе таяло тусклое солнце, обливая скудную землю влажным зноем. Холмы опускались куда-то, из-за их лысоватых вершин был виден темный гребень леса. В душном воздухе резко выделялся запах конопли и просмоленной веревки, заглушая пряные ароматы садов, где зрели яблоки, наливалась вишня и, склонясь к земле, висели тяжелые гроздья пахучей черной смородины.

Справа — развалины флигеля и мертвый барский дом, слева — тихий монастырь, и отовсюду в маленькую одинокую душу просачивалась скука, убивавшая желания; они тонули в ней, как солнечные лучи в теплой воде нагретого ими болота.

Пушкарь старался развлекать Матвея. Увидав его, он хрипло кричал:

— Эй, лезь сюда!

И рассказывал ему что-нибудь о трудной солдатской жизни, а однажды предложил:

— Хошь, я тебе песню спою? Ха-арошую песню вспомнил!

Не ожидая ответа, он плачевно сморщил лицо, завел глаза под лоб и тонким бабьим голосом пропел:

Аф-фицеры очень стро-оги...

Но вдруг зверски вытаращил глаза и хриплым басом отрубил:

Оч-чень строги!

И снова уныло завел:

Сулят нам побои мно-оги...

И снова рявкнул:

Э-эхма,— многи!

А потом закрыл глаза и, безнадежно покачивая головою, заунывно и тонко протянул:

Впе-еред ве-елят идти-ить!

Солдат пел смешно, но песня показалась Матвею унылою.

— Не пой! — попросил он.

— Не показалась песня? — сказал Пушкарь, немножко удивленный.— Эх ты, мотыль! Это потому, что я ее не с начала запел, а начало у нее хорошее!

Слышны весточки плачевны,
Всем народам объявленны:
Рекрутской набор —
Людям перевод!

— Ну тебя! — молвил Матвей и убежал от него.

Иногда его ловила Власьевна и, важно надув губы, усаживала в кухне за стол против себя.

— Давай-ка побеседуем чинно да скромненько, чем паучком-то в уголку сидеть.

И строго спрашивала:

— Меру возраста господня знаешь?

— Нет! — сурово отвечал мальчик, не глядя на нее.

— А ты в глаза мне гляди,— предлагала пышная стряпуха,— так-то не запомнишь! Знай, мера эта —33! А какое есть число прародителей господних от Адама?

— Не знаю.

— 300! Теперь — гляди...

И хитреньким голоском она продолжала:

— И задумал злой сатана антихрист — дай-де возвеличу себя вдвое супротив Христа! Удвоился, взял себе число 666, а что крест складывается из трех частей, не из шести — про это и забыл, дурак! С той поры его всякому видно, кто не щепотник, а истинной древней веры держится.

Об антихристе она говорила не часто, но всегда безбоязненно и пренебрежительно; имя божие звучало в устах ее грозно; произнося его, она понижала голос, закатывала глаза и крестилась. Сначала Матвей боялся бога, силы невидимой, вездесущей и всезнающей, но постепенно и незаметно привык не думать о боге, как не думал летом о тепле, а зимою о снеге и холоде.

Больше всего дородная стряпуха любила говорить о колдунах, ведьмах и чародействе; эти рассказы Матвей слушал жадно, и только они смягчали в нем непобедимое чувство неприязни к стряпухе.

Говоря о колдовстве, она понижала голос до жуткого шёпота, ее круглые розовые щеки и полная, налитая жиром шея бледнели, глаза почти закрывались, в словах шелестело что-то безнадежное и покорное. Она рассказывала, как ведуны вырезывают человечий след и наговорами на нем сушат кровь человека, как пускают по ветру килы и лихорадки на людей, загоняют под копыта лошадей гвозди, сделанные из гробовой доски, а ночью в стойло приходит мертвец, хозяин гроба, и мучает лошадь, ломая ей ноги.

Каждый раз мальчик замечал, что, наговорив о злой силе ведьм и колдунов много страшного, Власьевна вдруг как будто сама пугалась и торопливо, жарким шёпотом убеждала его:

— Только ты не думай, что все они злые, ой, нет, нет! Они и добрые тоже, добрых-то их еще больше будет! Ты помни — они всех трав силу знают: и пла-

кун-травы, и тирлича, и кочедыжника, и знают, где их взять. А травы эти — от всех болезней, они же и против нечистой силы идут — она вся во власти у них. Вот, примерно, обает тебя по ветру недруг твой, а ведун-то потрет тебе подмышки тирлич-травой, и сойдет с тебя обаяние-то. Они, батюшка, много добра делают людям!

— Они — угодники? — спросил Матвей.

Власьевна, подумав, нерешительно сказала:

— Нет, богу, чай, те угодны, которые в монастырях, в пустынях спасаются, а эти ведь прямо против нечистых-то идут...

— Бог — помогает им?

— А как же! Он, батюшка, всем помогает.

—А он бы лучше громом побил злых-то колдунов!

Власьевна вздохнула и ответила:

— Жалеет, видно! Все-таки — его тварь.

Но глубже всех рассказов той поры в память Матвея Кожемякина врезался рассказ отца про Волгу. Было это весенним днем, в саду, отец только что воротился из уезда, где скупал пеньку. Он приехал какой-то особенно добрый, задумчивый и говорил так, точно провинился пред всем миром.

Сидели за столом в малиннике; Савелий Кожемякин тряхнул головой, вобрал в грудь много воздуха и протянул руку.

— И вот — река Волга-матушка, братец ты мой! Ширины она огромной, глубока, светла и течет... как будто в грудь тебе течет, али бы из груди твоей льется,— это даже невозможно попять, до чего хорошо, когда лежит пред тобою широкий путь водный, солнышком озолоченный! И бегут по нем, как лебедя, косовые лодки грудастые, однокрылые, под одним, значит, белым парусом. Золотые беляны с тесом вальяжно, как дворянки в кринолинах, не спеша, спускаются; тут тебе мокшаны и коломенки, и разного фасона барки да баржи, носа свои пестрые вверх подняв, весело бегут по синей-то реке, как на бархате шелком вышиты. На иных паруса кумачом оторочены, мачты-дерева вертунами золочеными украшены: где — стрела, где — петух, где — рука с мечом, это — чтобы ветер показывать, а больше — для красы. Которые палубы кры-

шами крыты, а по крышам коньки резаны, тоже кочета или вязь фигурная, и всё разными красками крашено, и флажки цветные на мачтах птицами бьются; всё это на реке, как в зеркале, и всё движется, живет,— гуляй, душа!

Он говорил тихо и как бы на распев церковный. Толстые пальцы протянутой вперед руки легонько шевелились, точно он псалом царя Давида на гуслях играл. Потом, опустив руку, он стал чертить пальцем на доске стола круги и кресты, задумчиво продолжая:

— Идешь ты на барже, а встречу тебе берега плывут, деревни, села у воды стоят, лодки снуют, словно ласточки, рыбаки снасть ставят, по праздникам народ пестро кружится, бабьи сарафаны полымем горят — мужики-то поволжские сытно живут, одеваются нарядно, бабы у них прирабатывают, деньги — дороги, одёжа — дешева! Взглянешь, бывало, на берег, вспыхнет сердце — загогочешь во всю силу — эй вы, жители! Здорово ли живем? Бечевой бурлаки, согнувшись, идут, как баранки на мочало вздетые,— маленькие они издаля-то! Песни гудут, ровно бы большущие пчелы невидимо летят. А ночью — потемнеет река, осеребрится месяцем, на привалах огни засветятся, задрожат на черной-то воде, смотрят в небо как бы со дна реки, а в небе — звезды эти наши русские, и так мило всё душе, такое всё родное человеку! Обнимает Волга сердце доброй лаской, будто говорит тебе: «Живи-де, браток, не тужи! Чего там?» Волга, Матвей, это уж воистину за труд наш, для облегчения от бога дана, и как взглянешь на нее — окрылится сердце радостью, ничего тебе не хочется, не надобно, только бы плыть — вот какая разымчивая река!

Он замолчал, вздохнув, и опустил голову; молчал и мальчик, охваченный светлым чувством гордости: никогда еще отец не говорил с ним так мягко и сердечно.

— Теперь — про себя расскажи! — попросил он наконец.

— Про себя? — повторил отец.— Я — что же? Я, брат, не умею про себя-то... Ну, как сбежал отец мой на Волгу, было мне пятнадцать лет. Озорной был.

Ты вот тихий, а я — ух какой озорник был! Били меня за это... и отец и многие другие, кому надо было. А я не вынослив был на побои, взлупят меня, я — бежать! Вот однажды отец и побей меня в Балахне, а я и убег на плотах в Кузьдемьянск. С того и началось житье мое: потерял ведь я отца-то да так и не нашел никогда — вот какое дело!

Сдвинув рыжие брови, он гулко крякнул, перекрестился, задев сына рукою по щеке, и крепко прижал его к себе.

— Не по возрасту тебе эти рассказы, зря это я! Кабы ты старше был...

— Мне уж одиннадцатый год! — напомнил Матвей.

— Велико дело! Ну, я прилягу, вздремлю. Поди-ка, скажи Власьевне — войлок бы мне принесла.

— Я сам...

— Нет, лучше она...

Матвею стало грустно, не хотелось уходить. Но когда, выходя из сада, он толкнул тяжелую калитку и она широко распахнулась перед ним, мальчик почувствовал в груди прилив какой-то новой силы и пошел по двору тяжелой и развалистой походкой отца. А в кухне — снова вернулась грусть, больно тронув сердце: Власьевна сидела за столом, рассматривая в маленьком зеркальце свой нос, одетая в лиловый сарафан и белую рубаху с прошвами, обвешанная голубыми лентами. Она была такая важная и красивая.

«Лучше меня!» — завистливо подумал он и грубым голосом сказал:

— Эй, отнеси, поди, тяте серый войлок!

Она быстро взглянула на него, покраснела и убежала в горницу отца; ее торопливость понравилась Матвею; нахмурив брови, он поднял голову и важно вышел за ворота.

Ему было не велено выходить на улицу без Созонта, и раньше он никогда не решался нарушать запрет отца, но сегодня захотелось посидеть у ворот одному.

Теплое небо было пусто, и на улице — ни души; жители, покушав пирогов, дремали в этот час. Где-то вдали скрипела веревка качелей, взвизгивали девицы,

а с реки долетал смягченный и спутанный далью крик ребят.

Вдоль улицы, налитой солнцем, сверкали стекла открытых окон, яркие пятна расписных ставен; кое-где на деревьях в палисадниках люди вывесили клетки с птицами; звонко пели щеглята, неумолчно трещали веселые чижи; на окне у Базуновых задумчиво свистела зарянка — любимая птица Матвея: ему нравилось ее скромное оперение, красная грудка и тонкие ножки, он любил слушать ее простую грустную песенку, птица эта заставляла его вспоминать о матери.

Весенние песни пленных птиц заглушал насмешливый свист скворцов. Черные и блестящие, точно маслом смазанные, они, встряхивая крыльями, сидели на скворешнях и, широко открывая желтые носы, дразнили всех, смешно путая песню жаворонка с кудахтаньем курицы. Матвей вспомнил, что однажды Власьевна на его вопрос, почему скворцы дразнятся, объяснила:

— От зависти да со зла! Скворцы да воробьи в бога не верят, оттого им своей песни и не дано. Так же и люди: кто в бога не верит — ничего не может сказать...

Мальчик смотрел вдоль улицы, обильно заросшей травою, и представлял себе широкую синюю полосу Волги. Улица — река, а пестрые дома в садах — берега ее.

Но это не волновало сердца так приятно и бодро, как волновал рассказ отца.

Гулко щелкнуло о скобу железо щеколды, из калитки высунулась красная голова отца, он брезгливо оттопырил губу, посмотрел вдоль улицы прищуренными глазами.

— Подь сюда!

А на дворе, взяв сына за плечо, уныло заговорил:

— Вот оно: чуть только я тебе сказал, что отца не слушался, сейчас ты это перенял и — махнул на улицу! А не велено тебе одному выходить. И еще: пришел ты в кухню — Власьевну обругал.

— Я не ругал! — угрюмо глядя в землю, сказал Матвей.

— Она говорит — ругал...

— Врет она!

Долго и молча отец ходил по двору, заглядывая во все углы, словно искал, где бы спрятаться, а когда, наконец, вошел в свою горницу, то плотно прикрыл за собою дверь, сел на кровать и, поставив сына перед собою, крепко сжал бедра его толстыми коленями.

— Давай мы с тобой опять говорить... о делах серьезных.

Положив тяжелую руку на голову сына, другой, с отрезанным суставом мизинца, он отер свое красное виноватое лицо.

— Хошь возраста мне всего полсотни с тройкой, да жизнь у меня смолоду была трудная, кости мои понадломлены и сердце по ночам болит, не иначе, как сдвинули мне его с места, нет-нет да и заденет за что-то. Скажем, на стене бы, на пути маятника этого, шишка была,— вот так же задевал бы он!

Матвею стало жалко отца, он прижался к нему и сказал:

— Это пройдет.

Старик приподнял глаза к потолку, борода его затряслась, губа отвисла, и, вздохнув, он прошептал:

— Умрешь — всё пройдет, да вот — пока жив — мешает.

Рука его как будто стала еще тяжелей.

— И, — сказал он, глядя в окно,— затеял я жениться...

— На Власьевне? — спросил сын, спрятав голову под бородой отца.

— Не-ет, на другой...

Облегченно вздохнув, Матвей улыбнулся и молвил:

— Это хорошо, что не на ней!

— Ну-у? Али хорошо?

— А как же! — горячо и быстро шептал мальчик.— Она вон всё про колдунов говорит!

— Я, брат, в эти штуки не верю, нет! — весело сказал отец.— Я, брат, колдунов этих и в будни и в праздники по мордам бивал,— в работниках жил у колдуна — мельник он, так однажды, взяв его за грудки...

Он оборвал речь, прикрыл глаза и, печальпо качая головою, вздохнул.

— Так вот,— значит, будет у тебя мачеха...

— Молодая? — спросил Матвей.

— То-то, что молодая!

Матвей знал, зачем люди женятся; откровенные разговоры Пушкаря, рабочих и Власьевны о женщинах давно уже познакомили его с этим. Ему было приятно слышать, что отец бросит Власьевну, и он хотел знать, какая будет мачеха. Но все-таки он чувствовал, что ему становится грустно, и желание говорить с отцом пропало.

— О господи, господи,— вздохнул старик.— Бабы, брат, это уж такое дело,— не понять тебе! Тут — судьба, не обойдешь ее. Даже монахи, и те вон...

Едва перемогаясь, чтобы удержать слезы, сын пробормотал:

— Была у тебя жена-то...

— Была, да — нет. А тебе надобен присмотр: женщину надо добрую да хорошую. Вот я и нашел...

Поглядев на окно, где стояли два горшка с розанами и штоф какой-то золотисто-желтой настойки, он тихо продолжал:

— Мать твоя — она, брат, умница была! Тихая умница. И всё понимала, так жалела всех, что и верно — некуда ей было девать себя, кроме как в монастырь запереться... Ну, и заперлась...

Матвей вздрогнул, изумленно и недоверчиво глядя в лицо отцу.

— Она разве в монастыре? В этом, в нашем?

— Нет,— сказал отец, грустно качнув головой,— она дале-еко! В глухих лесах она, и даже — неизвестно где! Не знаю я. Я с ней всяко — и стращал и уговаривал: «Варя, говорю, что ты? Варвара, говорю, на цепь я тебя, деймона, посажу!» Стоит на коленках и глядит. Нестерпимо она глядела! Наскрозь души. Часом, бывало, толкнешь ее — уйди! А она — в ноги мне! И — опять глядит. Уж не говорит: пусти-де! — молчит...

Матвей заплакал: было и грустно и радостно слышать, что отец так говорит о матери. Старик, наклонясь, закрыл лицо его красными волосами бороды и, целуя в лоб, шептал:

— Глазенки у тебя ее, и ты тоже будто всё понимаешь,— эх, сынок мой! Сынишка ты монашкин...

Борода его стала сырой. В сердце мальчика еще горячее и ярче вспыхнула любовь и жалость к большому рыжему человеку, в котором он чувствовал что-то хорошо знакомое детскому сердцу.

Теперь, когда Матвей знал, что мать его ушла в монастырь, Власьевна стала для него еще более неприятна, он старался избегать встреч с нею, а разговаривая, не мог смотреть в широкое, надутое лицо стряпухи. И, не без радости, видел, что Власьевна вдруг точно сморщилась, перестала рядиться в яркие сарафаны, — плотно сжав губы, она покорно согнула шею.

Вскоре отец захворал, недели две он валялся по полу своей комнаты на широкой серой кошме, весь в синих пятнах, и целые дни, сидя около него, мальчик слушал хриплый голос, часто прерываемый влажным глухим кашлем.

Окна были наглухо закрыты ставнями, комната полна сумрачной прохлады, и в чуткую память мальчика свободно и глубоко ложились простые отцовские рассказы.

— Я, брат, был мужик — распахни-душа, доверчивый, только обозлили меня разные жулики! Есть на Руси такие особые люди: будто он хороший и будто честно говорит — а внутри себя просто гнилой жулик: ни в нем нет веры ни во что, ни ему, сукиному сыну, ни в чем верить нельзя. Влезет эдакий в душу тебе, подобно червю, и незаметно источит ее. А со мной дружбу легко начать: увижу, бывало, веселого человека — вот мне и друг! Ну, жулики этим пользовались. Вот, Матвей, подрастешь ты, может, услышишь про меня здесь худую речь — будто деньги я не добром нажил или там иное что, ты этому не верь!

— Не буду! — обещал сын.

— Не верь! Деньги — они всеми одинаково наживаются — удачей! Удачлив — наживешь, неудачлив — хоть тысячу людей ограбь, всё нищим будешь. Это — вроде игры. Бывает — дойдешь в игре до драки — эка

беда! Нельзя иначе-то: положено нам судьбой жить в азарте. Я не хвастаюсь, может, и нехорошо что делал, против божьих заповедей, так ведь и все против их! А которые стыдятся, они вон в леса, в скиты, в монастыри уходят. Не всем по монастырям жить, а то и монахи с голоду помрут. А один человек — не житель, рыба и та стаями ходит да друг друга ест...

— Супротив других я, думается, не крупен грешник. Ты вот возьми-ка губернию нашу, Воргород: тамошние богачи все разбойники! Соборный староста, судоходец Соковнин — я-то его больно хорошо знаю! — он с Максимом Башлыком в товарищах был. Максим этот, годах в двадцатых, а может и раньше, на верхнем плесе атаманом ходил, Балахну грабил однажды, именитого купца Зуева вчистую обобрал — семь бочек одного серебра-золота увезли. Молодцов у Максима немного было, а всё орел к орлу, и ни одного из них, слышь, не поймали — смекай! А теперь этот Соковнин — благочестивый человек и у властей — в ласках. И многие этак-то! Масловы, рыбники, от фальшивых денег вознеслись, а теперь старый-то Маслов золотую медаль носит. Ты не думай, я не осуждаю, а рассказываю. Тут вся верхняя Волга в старину-то разбоем жила, тем Воргород и славен, тем он и крепко встал. В каждой семье есть пятнышко, и, почитай, у всех в родне — монах али монахиня, а то скитница отмаливают грехи-то старинные. Разбои да фальшивые деньги, а после того — Севастопольская кампания: ратников на войну снаряжали — лыко за кожу шло по той поре. Метель была денежная, ассигнации снегом на головы падали, серебро мерками мерили! Лабзин-купец, хлебник большой, в сороковом году, в голод великий, приехал к Бутурлину — губернатору: жертвую, говорит, голодным три мерки серебра! Это сколько? — спрашивают. Три, говорит, мерки, а сколько в них — мне не счесть! Не жалели денег-то, вроде бар. Одна разница — баре искуснее жить умеют. Они, брат, — да, они могут!

Старик, улыбаясь, закрыл глаза, словно вспомнив что-то хорошее, и, помолчав немного, продолжал:

— Ты одно помни: нет худа без добра, а и добро без худа — чудо! Господь наш русский — он добрый бог,

всё терпит. Он видит: наш-то брат не столь зол, сколько глуп. Эх, сынок! Чтобы человека осудить, надо с год подумать. А мы, согрешив по-человечьи, судим друг друга по-звериному: сразу хап за горло и чтобы душа вон!

Слушая чудесные сказки отца, мальчик вспоминал его замкнутую жизнь: кроме лекаря Маркова и молодого дьячка Коренева, никто из горожан не ходил в гости, а старик Кожемякин почти никогда не гулял по городу, как гуляют все другие жители, нарядно одетые, с женами и детьми. Церковь они посещали Никольскую — самый бедный приход, а в монастыре, где молились лучшие люди города, Матвей никогда не был. Входя в свой темный и тесный старый храм, мальчик замечал, что народ расступается перед отцом нехотя, провожает его косыми взглядами, враждебным шёпотом.

Вспомнил он, как однажды Пушкарь шутя говорил Созонту:

— Откуда вы с хозяином — никому не известно, какие у вас деньги — неведомо, и кто вы таковы — не знатно никому! Вот я — я здешний, слободской человек и могу тебе дедов-прадедов моих с десяток назвать, и кто они были, и чем их били, а ты — кто?

— Так вот как она строго жизнь наша стоит! — говорил отец, почесывая грудь. — И надо бы попроще как, подружнее жить, а у нас все напрягаются, чтобы чужими грехами свои перед богом оправдать али скрыть, да и выискивают грехи эти, ровно вшей в одежде у соседа,— нехорошо! И никто никого не жалеет, зверье-зверьем!

Матвей тихонько напомнил:

— А мать?

— Мать? — задумчиво переспросил старик.— Да-а... она жалела людей! Она слабая была, запуганная; у нее, видишь ты, отца с матерью на торговой площади кнутом били, а она это видела. Тут тоже не всё ладно: отец-то ее богомаз был, в Елатьме жили они — это на Оке есть такое жительство,— ну, так вот, он будто ризу снял с иконы, а мать — спрятала. Отец говорит: барин ризу снял, а не я! Барин — церковный

староста, богатейший человек был, а с отцом у него нелады были. Темное дело! Посадили их под арест, а они — бежать, бариновы охотники — вослед и поймали их около Мурома, а отец-от Варварин отбиваться стал да зашиб, что ли, кого-то. Я о ту пору там был, в Елатьме этой, как били их, стоял в народе, глядь — девица на земле бьется, как бы черной немочью схвачена. Ну, жалко стало! А как мать ее с отцом в каторгу пошли, осталась она, Варвара-то, как овца в лесу. Женились мы да вот сюда и приехали, купил я тут усадьбу эту и поставил завод. Канатное дело я хорошо прошел, мне оно сначала приятно было; ходишь, бывало, вдоль струн да вспоминаешь прожитое, как бы на гуслях играя. Ну, и зажили. Не больно весело, а дружно. Раз только из-за серег вышло: были у меня серьги — яхонт-камень, жемчугом обложен, и подвески по жемчужине, с ноготь величиной, случаем они мне достались — богатейшая вещь! На, говорю, Варюха, носи! А она — не хочу, говорит. Душу, говорит, украшать надобно, а не тело. Я говорю — дура! Душа серег носить не станет! Спорили, спорили...

Он искоса посмотрел на сына, закашлялся и умолк, прикрыв глаза.

Вскоре после болезни отец обвенчался. Невеста, молодая и высокая, была одета в голубой сарафан, шитый серебром, и, несмотря на жару, в пунцовый штофный душегрей. Ее доброе круглое лицо словно таяло, обливаясь слезами, и вся она напоминала речную льдину в солнечный весенний день.

Отец стоял в синей поддевке и желтой шелковой рубахе, на складках шелка блестел огонь лампад, и Матвею казалось, что грудь отца охвачена пламенем, а голова и лицо раскалились.

Матвея нарядили в красную рубаху, плисовые синие штаны и сапоги зеленого сафьяна на мягкой подошве, по-татарски расшитые красным и желтым.

Свидетелями были лекарь, дьячок, Пушкарь и огромный чернобородый мужик из Балымер, Яков, дядя

невесты. Венчались в будни, народу в церкви было немного, но в темной пустоте ее всё время гулко звучал сердитый шёпот баб. Около Матвея стояла высокая костлявая старуха, вся в черном, как монахиня, и шипела, перекоряясь с Власьевной.

— Тоже и про твоего хозяина нехорош слушок ходит...

— Все-таки, сударыня моя, не чета он ей...

— Чет — нечет, судьба мечет, а ты тут при чем будешь?

Матвей думал:

«Что ж отец Власьевну-то не прогнал?»

После обряда невеста попросилась идти домой по улице в венцах и с попом, но отец кратко сказал:

— Не надо!

По церкви поплыл глухой и грозный гул.

Шли домой, Матвей шагал впереди всех без картуза: он нес на груди икону, держа ее обеими руками, и когда, переходя дорогу, споткнулся, то услышал подавленный и как будто радостный крик Власьевны:

— Ой, запнулся!

Всю дорогу вслед за свадебным шествием бежала пестрая собака; иногда она обгоняла людей; высокая старуха, забегая вперед Матвея, грозила собаке пальцем и шипела:

— Чтоб те разорвало, окаянную!

А чернобородый мужик на всю улицу сказал:

— Пестрое житье-то сулит!

Пришли домой, на дворе бабы начали о чем-то спорить, молодая испуганно глядела на них голубыми глазами и жалобно говорила:

— Тетеньки, не знаю я, как это...

— Где хмель-от? — спрашивала черная старуха.

А кто-то злорадно удивлялся:

— Не знаи-ить, бабоньки, ай да молодуха! Не знаить, слышите!

Толстая баба, похожая на двухпудовую гирю, дергала молодую за рукав, убеждая:

— А ты — во-ой! Ты вой!

И вдруг молодуха, вытаращив глаза, пронзительно запела:

Ой, бедная я, несчастная,
Ни подружек у меня, ни сватеек,
Ни отца родного, ни матери,
Не подарят мне, сиротинушке,
Ни овечки, ни теленочка...

— Дура! — строго и презрительно закричала черная старуха. — Это когда надо было выть? Перед церковью, ду-уреха!

Отец растолкал баб, взял молодую за руку и, ласково усмехаясь, сказал:

— Ты погоди — побью, тогда и взвоешь.

Пришли поп, дьякон и дьячок Коренев; все гости ввалились со двора в комнаты, толкаясь, уселись за стол и долго в молчании ели свадебную лапшу, курник, пили водку и разноцветные наливки.

Матвей сидел бок с мачехой, заглядывая в глаза ее, полно налитые слезами и напоминавшие ему фиалки и весенние голубые колокольчики, окропленные росой. Она дичилась его, прикрывала глаза опухшими ресницами и отодвигалась. Видя, что она боится чего-то, он тихонько шепнул ей:

— Отец-то добрый...

Она вздохнула.

Пока за столом сидели поп и дьякон, все ели и пили молча, только Пушкарь неугомонно рассказывал что-то о военном попе.

— Хоть я, говорит, человек безоружный, но за уши вас оттаскать могу! Да и цап его за ухо, юнкера-то!

Поп звонко хохотал, вскидывая голову, как туго взнузданная лошадь; длинные волосы падали ему на угреватые щеки, он откидывал их за уши, тяжко отдувался и вдруг, прервав смех, смотрел на людей, строго хмурясь, и громко говорил что-нибудь от писания. Вскоре он ушел, покачиваясь, махая рукою во все стороны, сопровождаемый старым дьяконом, и тотчас же высокая старуха встала, поправляя на голове темный платок, и начала говорить громко и внушительно:

— Не дело, боярин Савел Иваныч, что обряда ты ни в чем соблюдать не хочешь, и тебе, Палагея, знать бы —

не дело делаешь. В дом ты пришла — заздравной чары гостям не налила...

Отец чмокнул губой и громко проговорил:

— Налей сама да и вылакай,— ведьма!

— Брось, матушка! — сказал Яков, махнув рукой, и стал насыпать ложкой в стакан водки сахарный песок.

Баба, похожая на гирю, засмеялась, говоря:

— Какие уж порядки да обряды — цветок-от в курнике воткнут был совсем зря: всем ведомо, что невеста-то не девушка! Сорван уж давно цветочек-от!

Мачеха, наклоня голову, быстро перекрестилась; наклонив голову, Матвей услыхал ее шёпот.

— Богородица... благословенная...

Отец встал и рявкнул на баб:

— Цыц!

Словно переломившись в пояснице, старуха села, а он широко повел рукой над столом, говоря спокойно и густо:

— Вас позвали не уставы уставлять, а вот — ешьте да пейте, что бог послал!

— А я не хочу есть! — заявил Яков, громко икнув и навалившись грудью на стол.

— Ну, пей!

— А я и пить не хочу! Вино твое вовсе не скусно.

— То-то ты сахару в него навалил!

— А тебе жаль?

Чернобородый мужик ударил ладонью по столу и торжествующе спросил:

— Ж-жаль?

— Ну, сиди! — сказал отец, отмахнувшись от него рукою.

Все кричали: Пушкарь спорил с дьячком, Марков — с бабами, а Яков куражился, разбивал ложки ударом ладони, согнул зачем-то оловянное блюдо и всё гудел:

— И сидеть не хочу! Я — гость! Ты думаешь, коли ты городской, так это тебе и честь?

Отец презрительно чмокнул и сказал:

— Эка свинья!

— Кто? — спросил Яков, мигая тупыми глазами.

— Ты!

Чернобородый мужик подумал, поглядел на хозяина и поднялся, опираясь руками о стол.

— Матушка! Марья! — плачевно крикнул он. — Айдате отсюда!

Вскочила молодая, заплакала.

— Дяденька Яков! Баушка Авдотья, тетенька...

— Молчи! — сурово сказал отец, усаживая ее.— Я свиньям не потатчик. Эй, ребята, проводите-тка дорогих гостей по шее, коли им пряники не по зубам пришлись!

Пушкарь, Созонт и рабочие начали усердно подталкивать гостей к дверям, молодая плакала и утирала лицо рукавом кисейной рубахи.

«Словно кошка умывается»,— подумал Матвей.

Вдруг поднявшись на ноги, отец выпрямился, тряхнул головой.

— Эх, дружки мои единственные! Ну-ка, повеселимся, коли живы! Василий Никитич,— доставай, что ли, гусли-то! Утешь! А ты, Палага, приведи себя в порядок — будет кукситься! Мотя, ты чего ее дичишься? Гляди-ка, много ли она старше тебя?

— Стеня и трясыйся должен бы ты, Савелий, жить,— говорил дьячок, доставая гусли из ящика.

— А в нем — беси играют! — крикнул Пушкарь.

Матвей прижался к мачехе, она доверчиво обняла его за плечи, и оба они смотрели, как дьячок настраивает гусли.

Тонкий, как тростинка, он в своем сером подряснике был похож на женщину, и странно было видеть на узких плечах и гибкой шее большую широколобую голову, скуластое лицо, покрытое неровными кустиками жестких волос. Под левым глазом у него сидела бородавка, из нее тоже кустились волосы, он постоянно крутил их пальцами левой руки, оттягивая веко книзу, это делало один глаз больше другого. Глаза его запали глубоко под лоб и светились из темных ям светом мягким, безмолвно говоря о чем-то сердечном и печальном.

Вот он положил гусли на край стола, засучил рукава подрясника и рубахи и, обнажив сухие жилистые руки, тихо провел длинными пальцами вверх и вниз по струнам, говоря:

— Внимай, Савелий, это некая старинная кантата свадебная!

И приятным голосом запел, осыпая слова, как цветы росой, тихим звоном струн:

Венус любезная советовалася
Яблок, завистная, отняти,
Рекла бо: время нам скончати прения,
Сердца любовию спрягати...

Матвей, видя, что по щекам мачехи льются слезы, тихонько толкнул ее в бок:

— Не плачь!

А дьячок торжественно пел, обливая его лицо теплым блеском хороших глаз:

Загадка вся сия да ныне явная,
Невеста славная днесь приведется;
Два сердца, две души соединилися,
И — се — песнь брачная поется...

— Не плачь, говорю! — повторил Матвей, сам готовый заплакать от славной музыки и печали, вызванной ею.

Она наклонилась к нему и прошептала знакомые слова:

— Скушно мне...

— Хорошо, да не весело! — буйно кричал отец, выходя на середину горницы.— А нуте-ка, братцы, гряньте вдвоем что-нибудь для старых костей, уважьте, право!

— И веселие свято есть, и ему сердцем послужим! — согласно проговорил дьячок.

Марков схватил гитару, спрятал колени в живот, съежился, сжался и вдруг залился высоким голосом:

Эх, да мимо нашего любимого села...

А дьячок ударил по все струны, осыпал запевку раскатистой трелью и сочно поднял песню:

Протекала матка Колыма-река...

Отец, передернув плечами, усмехнулся молодой, крикнул:

— Ну, Палага, выходи, что ли?

И, одна рука в бок, а другая за поясом, плавно пошел вдоль горницы, встряхивая головой.

— Видно, идти мне! — робко сказала Палага, встав и оправляя сарафан.

А песня разгоралась:

Как по реченьке гоголюшка плывет,
Выше бережка головушку несет,
Ой, выше плечик крыльем взмахивает!..

Отец, как бы не касаясь пола, доплыл до Палаги и ударился прочь от нее, четко и громко выбивая дробь каблуками кимряцких сапог. Тогда и Палага, уперев руки в крутые бедра, боком пошла за ним, поводя бровями и как будто удивляясь чему-то, а в глазах ее всё еще блестели слезы.

— Эхма, старость,— прочь с костей! — покрикивал Савелий Кожемякин.

Стречу гоголю да утица плывет,
Кличет гоголя, ах, ласково зовет!..

Палага, точно голубая птица, плавала вокруг старика и негромко, несмело подпевала:

Понеж люди поговорку говорят,
Будто с милым во любви жить хорошо...

У Матвея слипались глаза. Сквозь серое облако он видел деревянное лицо Созонта с открытым ртом и поднятыми вверх бровями, видел длинную прямую фигуру Пушкаря, качавшегося в двери, словно маятник; перед ним сливались в яркий вихрь голубые и желтые пятна, от веселого звона гитары и гуслей, разымчивой песни и топота ног кружилась голова, и — мальчику было неловко.

Первый раз он видел, как пляшет отец, это нравилось ему и — смущало; он хотел, чтобы пляска скорее кончилась.

— Хозяин! — просачивался сквозь шум угрюмый голос дворника. — Народ собрался, поглядеть просятся... хозяин, народ там, говорю...

— Гони! — хрипло сказал Кожемякин, остановясь и отирая пот с лица.

— Лаются.

— Гони, говорю! Народ! Свиньи, а — тоже! — зверями себя величают...

— Ладу нет! Мы там пятеро...

— Ид-ди! — крикнул отец, и лицо его потемнело.

К Матвею подошла мачеха, села рядом с ним и, застенчиво улыбнувшись, сказала:

— Вот я как расхрабрилася...

Он вдруг охватил ее за шею так крепко, как мог, и, поцеловав щеку ее, промычал тихо и бессвязно:

— Ты не бойся... вместе будем...

Палага цапала его голову и, всхлипывая, шептала:

— Мотенька, — спасибо те! Господи! Уж я послужу...

— Савелий, гляди-ка! — крикнул лекарь. — Эге-ге!

Мальчик поднял голову: перед ним, широко улыбаясь, стоял отец; качался солдат, темный и плоский, точно из старой доски вырезанный; хохотал круглый, как бочка, лекарь, прищурив калмыцкие глаза, и дрожало в смехе топорное лицо дьячка.

— Каково? — кричал Марков. — Молодой — не ждет, а?

— Это — хо-орошо! — усмехаясь, тянул отец и теребил рыжую бороду, качая головой.

Лицо мачехи побледнело, она растерянно мигала глазами, говоря:

— Он ведь сам это...

Матвей сконфузился и заплакал, прислонясь к ней; тогда солдат, схватив его за руку, крикнул:

— Пошли прочь, беси! Пакостники!

И отвел взволнованного мальчика спать, убеждая его по дороге:

— Ты — не гляди на них, — дураки они!

Долго не мог заснуть Матвей, слушая крики, топот ног и звон посуды. Издали звуки струн казались печальными. В открытое окно заглядывали тени, вливался тихий шелест, потом стал слышен невнятный ропот, как будто ворчали две собаки, большая и маленькая.

— Зря...

— Ми-илый...

Мальчик тихонько подошел к окну и осторожно выглянул из-за косяка; на скамье под черемухой сидела Власьевна, растрепанная, с голыми плечами, и было видно, как они трясутся. Рядом с нею, согнувшись, глядя в землю, сидел с трубкою в зубах Созонт, оба они были покрыты густой сетью теней, и тени шевелились, точно стараясь как можно туже опутать людей.

— Жена ли она ему-у? — тихонько выла Власьевна.

А дворник угрюмо ворчал:

— Говорю — зря это...

Мелко изорванные облака тихо плыли по небу, между сизыми хлопьями катилась луна, золотя их мохнатые края. Тонкие ветви черемухи и лип тихо качались, и всё вокруг — сад, дом, небо — молча кружилось в медленном хороводе.

После свадьбы дома стало скучнее: отец словно в масле выкупался — стал мягкий, гладкий; расплывчато улыбаясь в бороду, он ходил — руки за спиною — по горницам, мурлыкая, подобно сытому коту, а на людей смотрел, точно вспоминая — кто это? Матвею казалось, что старик снова собирается захворать,— его лицо из красного становилось багровым, под глазами наметились тяжелые опухоли, ноги шаркали по полу шумно. Мачеха целыми днями сидела под окном, глядя в палисадник, и жевала солодовые да мятные жамки, добывая их из-за пазухи нарядного сарафана, или грызла семечки и каленые орехи.

— Хошь орешков? — спрашивала она, когда пасынок подходил к ней.

Он не умел разговаривать с нею, и она не мастерица была беседовать: его вопросы вызывали у нее только улыбки и коротенькие слова:

— Да. Нет. Ничего.

Иногда она сносила в комнату все свои наряды и долго примеряла их, лениво одеваясь в голубое, розовое или алое, а потом снова садилась у окна, и по смуг-

лым щекам незаметно, не изменяя задумчивого выражения доброго лица, катились крупные слезы. Матвей спал рядом с комнатою отца и часто сквозь сон слышал, что мачеха плачет по ночам. Ему было жалко женщину; однажды он спросил ее:

— Что ты всё плачешь?

— Али я плачу? — удивленно воскликнула она, дотронувшись ладонью до щеки, и, смущенно улыбнувшись, сказала: — И то...

— О чем ты?

— Так! Привычка такая...

Почти всегда, как только Матвей подходил к мачехе, являлся отец, нарядный, в мягких сапогах, в черных шароварах и цветной рубахе, красной или синей, опоясанной шелковым поясом монастырского тканья, с молитвою.

Обмякший, праздничный, он поглаживал бороду и говорил сыну:

— Ну, что, не боишься мачехи-то? Ну, иди, гуляй!

Он перестал выезжать в уезд за пенькой и в губернию с товаром, посылая вместо себя Пушкаря.

— Тятя,— звал его сын,— иди на завод, мужики кличут!

— Савка там?

— Там.

— Позови его сюда.

Приходил Савка, коренастый, курносый, широкорожий; серовато-желтые волосы спускались на лоб и уши его прямыми космами, точно некрашеная пряжа. Белые редкие брови едва заметны на узкой полоске лба, от этого прозрачные и круглые рачьи глаза парня, казалось, забегали вперед вершка на два от его лица; стоя на пороге двери, он вытягивал шею и, оскалив зубы, с мертвою, узкой улыбкой смотрел на Палагу, а Матвей, видя его таким, думал, что если отец скажет: «Савка, ешь печку!» — парень осторожно, на цыпочках подойдет к печке и начнет грызть изразцы крупными желтыми зубами.

Он заикался, дергал левым плечом и всегда, говоря слово «хозяин», испускал из широкого рта жадный и горячий звук:

— Ххо!

— Ну, ступай, негожа рожа! — отпускал его отец, брезгливо махнув рукой.

Однажды пришли трое горожан, и один из них, седой и кудрявый Базунов, сказал отцу:

— Вот, Савелий Иванов, решили мы, околоток здешний, оказать тебе честь-доверие — выбрать по надзору за кладкой собора нашего. Хотя ты в обиходе твоем и дикóй человек, но как в делах торговых не знатно худого за тобой — за то мы тебя и чествуем...

Облокотясь на стол, отец слушал их, выпятив губу и усмехаясь, а потом сказал:

— Али нет между вами честных-то людей? Какая ж мне в том честь, чтобы жуликами командовать?

— Погоди! Кто тебя на команду зовет?

— И свиней пасти — нет охоты...

— Что ж ты лаешься?

Отец встал, тряхнул головой.

— Идите, откуда пришли! Не уважаю я вас никого и ни почета, ни ласки не хочу от вас...

Горожане встали и молча пошли вон, но в дверях Базунов обернулся, говоря:

— Правда про тебя сказано: рожа — красная, душа — черная!

Проводив их громким смехом, отец как-то сразу напился, кричал песни и заставлял Палагу плясать, а когда она, заплакав, сказала, что без музыки не умеет, бросил в нее оловянной солоницей да промахнулся и разбил стекло киота.

Но к вечеру он отрезвел, гулял с женой в саду, и Матвей слышал их разговор.

— Ты бабенка красивая, тебе надо веселее быть! — глухо говорил отец.

— Я, Савель Иваныч, стараюсь ведь...

Матвей сидел под окном, вспоминая брезгливое лицо отца, тяжелые слова, сказанные им в лицо гостям, и думал:

«За что он их?»

Спустя несколько дней он, выбрав добрый час, спросил старика:

— Тятя, за что ты горожан-то прогнал?

Савелий Кожемякин легонько отодвинул сына в сторону, пристально посмотрел в глаза ему и, вздохнув, объяснил:

— Чужой я промеж них. Поначалу-то я хотел было в дружбе с ними жить, да они на меня — сразу, как псы на волка. Речи слышу сладкие, а когти вижу острые. Ну, и — война! Грабили меня, прямо как на большой дороге: туда подай, сюда заплати — терпенья нет! Лошадь свели, борова убили, кур, петухов поворовали — счету нет! Мало того, что воруют,— озорничать начали: подсадил я вишен да яблонь в саду — поломали; малинник развел — потоптали; ульи поставил — опрокинули. Дважды поджечь хотели; один-от раз и занялось было, да время они плохо выбрали, дурьё, после дождей вскоре, воды в кадках на дворе много было — залили мы огонь. А другой раз я сам устерег одного сударя, с горшком тепла за амбаром поймал: сидит на корточках и раздувает тихонько огонек. Как я его горшком-то тресну по башке! Уголья-то, видно, за пазуху ему попали, бежит он пустырем и воет — у-у-у! Ночь темная, и видно мне: искры от него сыплются. Смешно! Сам, бывало, по ночам хозяйство караулил: возьму стяжок потолще и хожу. Жуть такая вокруг; даже звезда божья, и та сквозь дерево блестит— вражьим глазом кажется!

Он добродушно засмеялся, но тотчас же потускнел и продолжал, задумчиво качая головой:

— Заборы высокие понастроил вот, гвоздями уснастил. Собак четыре было — попробовали они тут кое-чье мясцо на ляжках! Два овчара были — кинутся на грудь, едва устоишь. Отравили их. Так-то вот! Ну, после этаких делов неохота людей уважать.

Он замолчал, положив руку на плечо сына, и, сдерживая зевоту, подавленно молвил:

— И вспоминать не хочется про эти дела! Скушно...

Матвей невольно оглянулся: слишком часто говорил отец о скуке, и мальчик всё более ясно чувствовал тупой гнет этой невидимой силы, окружавшей и дом и всё вокруг душным облаком.

Матвей Савельев Кожемякин до старости запомнил жуткий и таинственно приятный трепет сердца, испытанный им в день начала ученья.

Все — отец, мачеха, Пушкарь, Созонт и даже унылая льстивая Власьевна — собрались в комнате мальчика, а Василий Никитич Коренев, встав перед образом, предложил торжественным голосом:

— Усердно помолимся господу нашему Иисусу Христу и угодникам его Кузьме-Дамиану, а также Андрию Первозванному, да просветят силою благостной своей сердце отрока и приуготовят его к восприятию мудрости словесной!

А когда кончили молитву, он ласково, но строго сказал:

— Теперь — изыдите, оставьте нас!

Усадил Матвея у окна на скамью рядом с собою и, обняв его за плечи, нагнулся, заглядывая в лицо славными своими глазами.

— Не бойся,— тихонько сказал он, — не трепещи, не к худому готовишься, а к доброму.

И тем же полушёпотом продолжал, указывая рукою на сад:

— Смотри, в какой светлый и ласковый день начинаем мы!

За окном стояли позолоченные осенью деревья — клен, одетый красными листьями, липы в желтых звездах, качались алые гроздья рябины и толстые бледно-зеленые стебли просвирняка, покрытые увядшим листом, точно кусками разноцветного шелка. Струился запах созревших анисовых яблок, укропа и взрытой земли. В монастыре, на огородах, был слышен смех и веселые крики.

— Что есть грамота?

Этот тихий вопрос обнял сердце мальчика напряженным предчувствием тайны и заставил доверчиво подвинуться к учителю.

— Грамота,— играя волосами ученика, говорил дьячок,— суть средство ознакомления ума с делами прошлого, жизнью настоящего и планами людей на будущее, на завтрее. Стало быть,— грамота сопрягает

человека со человеками, сиречь приобщает его миру. Разберем это подробно.

— Что есть слово? Слово есть тело разума человеческого, как вот сии тела — твое и мое — есть одежда наших душ, не более того. Теперь: берем любую книгу, она составлена из слов, а составил ее некий человек, живший, скажем, за сто лет до сего дня. Что же должны мы видеть в книге, составленной им? Запечатленный разум человека, который жил задолго до нас и оставил в назидание нам всё богатство души, накопленное им. Стало быть, примем так: в книгах заключены души людей, живших до нашего рождения, а также живущих в наши дни, и книга есть как бы всемирная беседа людей о деяниях своих и запись душ человеческих о жизни. Понял?

Матвей вспомнил толстые церковные книги, в кожаных переплетах с медными застежками, и тихо ответил:

— Понял.

— А слушать не устал?

— Нет! — живо ответил ученик.

— Верю. Дело, видимо, хорошо пойдет!

Его лицо озарилось улыбкой, он встал и, к удивлению ученика, объявил:

— На первый раз достаточно сказанного. Ты о нем подумай, а коли чего не поймешь — скажи.

Дьячок не ошибся: его ученик вспыхнул пламенным желанием учиться, и с быстротою, всех удивлявшей, они до зимы прошли букварь, а в зиму и часослов и псалтырь. Раза два в неделю дьячок брал после урока гусли и пел ученику псалмы.

Се что добро или что красно,
Но еже жити братии вкупе!

И не однажды ученик видел на глазах учителя, возведенных вверх, влагу слез вдохновения.

Чаще всего он пел:

Господи, искусил мя еси и познал мя еси,
Ты познал еси восстание мое...

И когда он доходил до слов:

Яко несть льсти в языце моем...—

голос его звучал особенно сильно и трогательно.

Пил он, конечно, пил запоем, по неделям и более. Его запирали дома, но он убегал и ходил по улицам города, тонкий, серый, с потемневшим лицом и налитыми кровью глазами. Размахивая правою рукою, в левой он сжимал цепкими пальцами булыжник или кирпич и, завидя обывателя, кричал:

— Зверие поганое — камением поражу вас и уничтожу, яко тлю!

Горожане бегали от него, некоторые ругались, жаловались благочинному, иные зазывали его в дома, поили там еще больше и заставляли играть и плясать, словно черти пустынника Исаакия. Иногда били его.

Матвей любил дьячка и даже в дни запоя не чувствовал страха перед ним, а только скорбную жалость.

Самым интересным человеком, после дьячка, встал перед Матвеем Пушкарь.

Вскоре после начала учения, увидав мальчика на крыше землянки с букварем в руках, он ухватил его за ногу и потребовал:

— Ну-ка, покажь, какие они теперь, буквари-то! Иомуд? — читал он, двигая щетинистыми скулами.— Остяк? Скажи на милость, какой народ пошел! — Покачав сомнительно головою, он вздохнул и сказал негромко: — Д-да, прирастает народу на Руси, это хорошо — работники нам надобны! Устамши мы,— много наработали, теперь нам отдыхать пора, пущай другие потрудятся для нас... Государство огромное, гор в нем, оврагов, пустырей — конца-краю нет! Вот гляди — бурьян растет: к чему он? Надо, чтобы съедобное росло на земле — горох, примерно, коноплю посей. Работники чрезвычайно надобны: всё требует рук. Гору — выровнять, овраг — засыпать, болото — высушить, всю землю — вспахать, засеять, чтобы всем пищи хватало, во-от! Россия нуждается в работниках.

Прищурил маленькие глазки, хозяйственно осмотрелся и, похлопав мальчика по колену, продолжал:

— Вот что, мотыль, коли соберутся они тебя драть — сигай ко мне! Я тебя спрячу. Тонок ты очень, и порки тебе не стерпеть. Порка, — это ты меня спроси, какая она!

Мальчик быстро схватывал всё, что задевало его внимание. Солдат уже часто предлагал ему определить на ощупь природную крепость волокна пеньки и сказать, какой крутости свивания оно требует. Матвею льстило доверие старика; нахмурясь, он важно пробовал пальцами материал и говорил количество оборотов колеса, необходимое для того или этого товара.

Пушкарь, размахивая руками, радостно кричал:

— Вер-рно!

И начинал свои бесконечные речи:

— Вот отец твой тоже, бывало, возьмет мочку в руку, глаз прищурит, взвесит — готово! Это — человек, дела своего достойный, отец-то!

— За что его люди не любят? — спросил Матвей как-то раз.

— Его? — удивленно вскричал солдат. — А за что его людям любить? Вона! Какой он герой?

Пушкарь захохотал и потом, подумав, прибавил:

— Да они, беси, никого не любят!

— Почему?

— А кто знает! Спроси их — они и сами не знают, поди-ка!

— По писанию, надо любить друг друга,— обиженно сказал Матвей.

Пушкарь взглянул на него и, стирая грязной рукою улыбку с лица, неохотно сказал:

— Мало ли чего написано!

— А ты его любишь? — допрашивал Матвей.

— Эк тебя! — сказал солдат, усмехаясь.— И верно, что всякая сосна своему бору шумит. Я Савелья уважаю, ничего! Он людей зря не обижает, этого нет за ним. Работу ценит.

— А как он тебя тогда горшком-то?

— Цветком? Ничего, ловко! Он во всем ловок. Пьяный я тогда был, а когда я пьян, мне проповедь читать припадает охота. Всех бы я учил — просто беда! Даже ротному однажды подсунул словцо: бог, мол, не велел в морду бить! Вспороли кожу-то...

Он подумал, искоса поглядел на Матвея, закашлялся и сказал, вдруг оживляясь:

— Вот я тебе примерную историю расскажу, а ты — смекай! Распорядилось начальство, чтобы мужикам картошку садить, а мужики, по глупости,— не желаем, говорят, картошки! И бунтуются: пришлют им картошку, а они — это от антихриста! Да в овраг ее, в реку али в болото, так всю и погубят, не отведав. Случилось так и в Гуслицах, где фальшивые деньги делают, и вот послали туда нашей роты солдат на усмирение. Хорошо! Командир у нас немец был, Устав звали мы его, а по-настоящему он — Густав. Здоровенный поручик, строгости — непомерной. Сейчас это он — пороть мужиков! Устроились на площади перед церковью и — десятого порют, шиппрутьями —это такие пруты для порки придуманы были. Правду сказать — простые прутья, ну, а для пущего страха по-немецки назывались. Порем. Урчат мужики, а картошку не признают. Велел Устав паварить ее целый котел и каждому поротому советует — ешь! Мужик башкой качает — не буду, дескать, а немец ка-ак даст ему этой картошкой-то горячей в рыло — так вместе с передними зубами и вгонит ее в рот! Плюют мужики, а держатся. Я хошь и солдат, ну, стало мне жалко глупых этих людей: бабы, знаешь, плачут, ребятишки орут, рожи эти в крови — нехорошо, стыдно как-то! Хошь и мужики, а тоже — русские, крещеный народ. Вот вечером, после секуции — секуция это тоже по-немецки, а по-нашему просто порка,— вечером, набрал я вареной картошки и — к мужикам, в избу в одну. «Ах, вы, говорю, беси! Вот она, картошка, глядите! Совсем как мука, али вроде толокна. Вот — я солдат, крест на теле, стало быть, крещеный». Показал им крест, а он у меня настоящий был, поморского литья, с финифтей. И давай перед ними картошку эту жевать. Съел штуки три, видят они — не разорвало меня; бабеночка одна, молоденькая, руку протянула — дай, дескать! Взяла, перекрестясь, дает мужику, видно, мужу: «Ешь, говорит, Миша, а грех — на меня!» На коленки даже встала перед ним, воет: «Поешь, Миша, не стерплю я, как начнут тебя пороть!» Ну, Миша этот поглядел на

стариков, — те отвернулись,— проглотил. За Мишей— Гриша да Епиша — и пошло дело! Всё съели! Я, конечно, рад, что прекратил бунтовство, кричу: «Что, мол, так вашу раздак? Еще, что ли, принести?» — «Тащи, говорят, служивый, не все отведали». Сейчас я до капрала — Хайбула капрал был из Касимова, татарин крещеный — приятель мне. И драли нас всегда вместе. Так и так, мол! «Ловок ты, Пушкарев, говорит,— доложу, говорит, я про тебя: будет награда, не иначе». Набрали мы с ним этой окаянной картошки и опять к мужикам. А они, беси, уж и вина припасли. Ну, насосались мы! И вдруг — Устав! Как с полатей свалился. «Как, кричит, меня не слушать, а солдат слушать?» По-русски он смешно ругался. Наутро нас — драть: меня с Хайбулой. Всыпали очень памятно...

Язык старика неутомимо раскапывал пропитанный кровью мусор прошлого, а Матвей слушал и боялся спокойствия, с которым старик говорил.

Кончив, солдат потыкал пальцем в пятно смолы на колене штанов, поглядел искоса на мальчика и пояснил:

— Ежели с людьми действовать ласково — их можно одолеть, при всей их глупости. А отец твой — он тоже вроде картошки: явилось вдруг неизвестно что, и никому никакого уважения! У Сазана рожа разбойная, око тяжелое, говорить он немощен, только рычит. Откуда люди, кто такие? Ни се́ло, ни па́ло, а — ударило! Здешние мещане сами вор на воре. Тут лет двадцать назад такие грабежи были — ни проходу, ни проезду! На Шихане воровали, а на нас, слободских, доносили, мы-де воры-то! А ведь есть вор по охоте, есть и по нужде...

Странные рассказы Пушкаря наполняли душу мальчика темным хаосом. Он чувствовал себя подавленным бременем страшных сказок о порках, зуботычинах, о том, как людей забивали насмерть палками, как продавали их, точно скот. В ярких речах отца жизнь рисовалась подобной игре и сказке, в словах солдата она смотрела сурово, требовала терпения и покорности,— мальчик не мог примирить это явное противоречие. Он не ощущал ни жалости, ни сострадания

к массе битых людей, но им овладевало утомляющее недоумение, оно превращалось в сонливость; мальчик забивался куда-нибудь в укромный уголок и там, безуспешно стараясь разобраться в своих впечатлениях, обыкновенно засыпал кошмарным сном.

Однажды, за уроком, дьячок сказал ему:

— Видишь, как бойко и мелко научился ты писать? Хорошо! А еще лучше было бы, буде ты, сшив себе тетрадь, усвоил привычку записывать всё, что найдешь достойным сохранения в памяти. Сделай-ко это, и первое — приучишься к изложению мысли, а второе — украсишь одиночество твое развлечением небесполезным. Человеческое — всегда любопытно, поучительно и должно быть сохраняемо для потомства.

Мальчик горячо схватился за эту мысль, попросил отца купить десть толстой бумаги, а дьячка — собственною его рукою написать на первом листе песню о Венус.

— Не годится! — сказал Коренев, гладя плечо ученика.— Это надо поставить серьезно, надо так смотреть: всякое дело есть забава, и всякая забава дело есть. Сначала дадим записям будущим достойный титул.

Подумал и сказал:

— Пиши!

На первой странице Матвей тщательно вывел гусиным пером:

«Запись рассказов, песен и разных случаев из жизни города Окурова, Воргородской губернии, которые я, Матвей Кожемякин, слышал и видел с тринадцатилетнего возраста».

— Теперь пиши: «Во имя отца и сына и святого духа». А исписав всю тетрадь, подпишешь: «Аминь!»

Он взял ученика пальцами за подбородок, приподнял его лицо и, глядя в глаза любовным и строгим взглядом матери, молвил:

— Аминь, сиречь — истина! Понимаешь? Теперь давай запишем несколько сентенций, направляющих ум.

Львиное лицо дьячка задумчиво нахмурилось, глаза ушли под лоб, он поднял палец, как бы грозя кому-то.

— Пиши здесь, с краешка, мелко:

«Не осуждаю, а — свидетельствую».

— Хорошо. Теперь — отступя книзу:

«Жизнь человека — скоропреходяща, деяния же его века жить достойны иногда».

— Теперь — с правой стороны, покрасивее постарайся:

«И птичка скромная гласит своею песней,
Что правда вымыслов живее и чудесней».

Окинув довольным взглядом написанное, он одобрил:

— Видишь, как красиво рассеялись семена разума на чистом этом поле? Ты, начиная записывать, всегда предварительно прочитывай эту заглавную страницу. Ну, давай я начертаю тебе на память петые мною свадебные стихиры!

И крупным полууставом, с затейными хвостиками и росчерками, он записал песнь.

Вскоре после этого он исчез из города: по жалобе обывателей его послали в дальний монастырь на послушание за беспутную и пьянственную жизнь. Матвей плакал, узнав об этом; старик Кожемякин, презрительно оттопыривая губу, ворчал и ругался:

— Ну, конечно,— сослать его! Беспутен, вишь! Ваши-то пути каковы? Жабьи души! Марков в губернию перебрался с тоски здешней, теперь и этого нет... Деймоны! Тоже и Василий, пьет называется! Мы в его годы ковшом вино пили, а никаких запоев не приключалось что-то!

Матвей усердно принялся за тетрадку, но ее первая страница положила почти неодолимую преграду умной затее дьячка: ученик, при виде фигурно написанного титула, долго не мог решиться начать свои записи, боясь испортить красоту тетради. Как-то раз, после долгих приготовлений, он, волнуясь, начал на обороте страницы, где были записаны сентенции:

«Сегодня тятя сказывал, как бурлаки в Балахне бои ведут...»

Пальцы дрожали, перо прыгало, и вдруг со лба упала на бумагу капля пота. Писатель горестно ахнул: чернила расплывались, от букв пошли во все стороны лапки. А перевернув страницу, он увидал, что фуксин прошел сквозь бумагу и слова «деяния же его» окружились синим пятном цвета тех опухолей, которые появлялись после праздников под глазами рабочих. Огорченный, он решил не трогать эту тетрадку, спрятал ее и сшил другую.

Он уже записал все прибаутки Макарьевны, какие остались в памяти, о сыне Максиме в четыре аршина, про Ерему и Федосью, а особенно нравилось ему краткое сказание о вороне:

Летела ворона,
Села на ворота;
Стук носом в вереё:
— Мне хозяйку самоё!

Ворона жила в этих словах солидная, важная и дерзкая, с ее серым брюшком и гладкой, словно маслом намазанной, головою.

Он несколько раз пробовал записывать рассказы отца, но у него не хватало слов для них, писать их было скучно, и на бумаге они являлись длинными, серыми, точно пеньковые веревки.

В пятнадцать лет он казался старше: коренастый, полный, с темными вьющимися волосами над белым лбом и недоверчивым взглядом карих глаз. Молчаливый, сдержанный, он говорил тихо, вдумчиво, смотрел на всё зорко, а между бровей, над переносьем, у него уже намечалась печальная тонкая складка. Одиночество развивало его воображение; безделье и жирная, обильная пища награждали его тяжелыми снами, головной болью и будили чувственность. Каждый раз, когда ему случалось видеть желто-розовые плечи мачехи или ее ноги, стройные и крепкие, его охватывал сладкий и стыдный трепет, и он поспешно отходил прочь от нее, всегда покорной, всем ласково улыбавшейся, молчаливой и незаметной.

Она жила, точно кошка: зимою любила сидеть в теплых темноватых уголках, летом пряталась в тени сада.

Шила, вязала, мурлыча неясные, однообразные песни, и, начиная с мужа, всех звала по имени и отчеству, а Власьевну — тетенькой.

На Матвея она смотрела словно сквозь ресницы, он избегал оставаться с нею один, смущаясь, не находя, о чем говорить.

С некоторого времени его внимание стал тревожно задевать Савка: встречая Палагу на дворе или в кухне, этот белобрысый парень вдруг останавливался, точно врастал в землю, и, не двигая ни рукой, ни ногой, всем телом наклонялся к ней, точно готовясь упасть, как подрубленное дерево, а поперек его лица медленно растекалась до ушей узкая, как разрез ножом, улыбка, чуть-чуть открывая жадный оскал зубов.

— Ххо-зяйка!

— Здравствуй! — бледнея, отвечала Палага.

Однажды Матвей, сортируя пеньку, слышал, как Савка говорил кому-то:

— Теперь воля. Теперь я сам себе хозяин. Деньги надо, говоришь? Ну, так что? Достанем! Теперь — воля!

Он становился развязней, меньше заикался, а мертвые его глаза как будто еще выросли, расширились и жаднее выкатывались из-под узкого лба.

Летом, в жаркий день, Пушкарь рассказал Матвею о том, как горела венгерская деревня, метались по улице охваченные ужасом люди, овцы, мычали коровы в хлевах, задыхаясь ядовитым дымом горящей соломы, скакали лошади, вырвавшись из стойл, выли собаки и кудахтали куры, а на русских солдат, лежавших в кустах за деревней, бежал во тьме пылающий огнем человек.

— Помочь-то не могли вы? — спросил Матвей.

— Им, венгерцам-то? — удивленно воскликнул солдат.— Чудак, чай — война! Мы же и подожгли их, а ты — помочь! Мы в него стреляли, в этого, который горел...

— Зачем? Он и так бы умер.

— Испугались мы! — посмеиваясь, сказал солдат. — Мчится прямо на нас и кричит источным голосом!

Темно, ночь. Это верно, что не надо было стрелять, нам наказано было просто поджечь деревню и глядеть, есть ли тут где войско венгерское или нет? А сами мы ни слуху ни духу не должны были неприятелю давать. Поджигал я да татарин один казанский,— в тот раз его и зарубили. Так было: запалили мы с ним деревню, отползли на место, а этот, горящий-то, как бы за нами вослед. А на выстрелы наши конница ихняя откуда ни возьмись,— нарядные такие конники у них,— и давай они нас крошить, братец ты мой! Казанскому этому голову даже до глаз развалили, меня — саблею по плечу, да лошадь копытом в живот дала. Досталось памятно! Было нас человек с двадцать, а уцелело шестеро, кажись, и то все порублены. Всех бы насмерть порубили, да подвалила помощь из леса. Ибрагим татарина звали, хорош был парень! Татаре — первый народ, самый честный! Я тебе прямо скажу: во зверях — собаки, а в людях татаре — это самое лучшее! Бывало, говорит мне — Сяпан! — не мог, татарская лопатка, сказать Степан, а всё — Сяпан, как чапан выходило у него,— смешной был!

Он еще долго говорил, подставив солнечным лучам серую голову, коричневую шею, и дергал костлявыми плечами, точно стряхивая с тела душный зной.

Но Матвей уже не мог слушать, его вместилище впечатлений было не емко и быстро переполнялось. На солнечном припеке лениво и молча двигались задом наперед синие канатчики, дрожали серые шнуры, жалобно скрипело колесо и качался, вращая его, квадратный мужик Иван. Сонно вздрагивали обожженные солнцем метелки лошадиного щавеля, над холмами струилось марево, а на одной плешивой вершине стоял, точно в воздухе, пастух.

В монастырском саду тихо пели два женские голоса. Один тоненький, как шелковинка, заунывно развивался:

Отверзи-и...

А другой, гуще и сильнее, вторил:

Отверзи-и ми...

Потом певицы звонко засмеялись.

Матвей встал и пошел в амбар. Хотелось облиться с ног до головы ледяной водой или сунуть голову куда-нибудь в темное холодное место и ничего не видеть, не слышать, не думать ни о чем.

Он забрался в мягкое облако пеньки, лег и стал мысленно продолжать пение клирошанок, вспоминая медные, кованые слова:

Студными бо окалях душу мою грехми...

Вдруг откуда-то донесся тихий и горячий шёпот:

— Куда-а? Ну, куда-а мы, родимый, пойдем?

Это говорила Палага, а чей-то другой голос бесцветно ответил:

— Мала ли земля...

«Савка!» — подумал Матвей, чувствуя, как что-то острое укололо его в сердце. Он осторожно приподнял голову: в сумраке, недалеко от него, стояли плотно друг к другу Палага и дворник Созонт. Он положил ей руки на плечи, а она, наклонив голову вбок, быстро перебирала пальцами кромку фартука и смотрела куда-то мимо мужика. Матвею казалось, что теперь глаза у нее зеленые, точно у кошки. Очарованный ими, вспоминая свои сны и откровенные суждения Пушкаря о женщинах, он вытянул шею, в сладком и трепетном волнении слушая и следя.

Созонт медленно водил руками по телу женщины, она уклонялась, повертываясь к нему боком и отводя его руки бережными движениями своих.

— Не тронь,— слышал Матвей ее шёпот...

Тяжелое дыхание Созонта, вздохи Палаги свивались в одну прядь звуков со скрипом колеса за стеною и ворчливою скороговоркою Пушкаря:

— Два на десять, три на десять! Эй, бес линючий! Савка...

Матвей усмехнулся, вспомнив о широкоротом парне, и подумал злорадно, с тоской и обидой:

«Прозевал, дурак...»

Мужик толкал мачеху плечом, оттирая ее в темный угол огромного амбара,— Матвею стало не видно их,

он просунулся вперед и съехал с печьки, шумно стукнув пятками о половицы.

Согнувшись, почти на четвереньках, Созонт бросился в дверь на двор, а женщина тихонько, как собака во сне, взвизгнула и, стоя на коленях, огромными глазами уставилась в лицо пасынка.

Страх, стыд и жалость к ней охватили его жаром и холодом; опустив голову, он тихонько пошел к двери, но вдруг две теплых руки оторвали его от земли, он прижался щекою к горячему телу, и в ухо ему полился умоляющий, виноватый шёпот:

— Миленький, не ходи! Христом богом прошу —не говори! Мотенька, сиротинушка,— матушки твоей ради! — не жалуйся...

На лицо ему капали слезы, всё крепче прижимали его сильные руки женщины и, охваченный сладостным томлением, он сам невольно прижимался к ней.

А она шептала торопливо и жарко:

— Ведь ты не маленький, видишь ведь: старый тятя твой, хиреет он, а я — молодая, мне ласки-то хочется! Родненький, что будет, если скажешь? Мне — побои, ему — горе, да и этому, — ведь и его жалко! А уж я тебя обрадую: вот слободские придут огород полоть, погоди-ка...

Ему казалось, что он кружится в сухом и горячем вихре и стремглав летит куда-то вместе с нею. Он стал вырываться из ее объятий, тогда женщина мягко и покорно развела руки и, застегивая дрожащими пальцами ворот сорочки, тупо проговорила:

— Ну, бог с тобой,— иди,— прости тебе Христос...

— Я не скажу,— тихо молвил Матвей и, чувствуя, что она не поняла или не верит ему, повторил: — Слышишь — не скажу!

Палага странно согнулась, стала маленькой, до смешного, и, тревожно заглянув в лицо ему, спросила шёпотом:

— Ей-богу?

— Ей-богу! — сказал он, подняв глаза к потолку амбара, перекрестился и взял ее за руки. — Только ты не уходи, пожалуйста...

— Мотя,— ах, господи!

Снова обняв его, она поцеловала лоб и щеки пасынка, радостно блестя глазами, полными слез, и повела куда-то, говоря низким, точно чужим голосом:

— Сиротина мой — спасибо тебе!

Потом они сидели близко друг ко другу в саду, под вишнями, над ними чирикали воробьи, расклевывая ягоды; был конец июня, липа цвела, цветень ее золотил листья, медовый запах сладко кружил голову юноши.

Палага, поводя в воздухе белой холеной рукой, задушевно говорила:

— Гляжу я на тебя — ходишь ты тихонький и словно бы не здешний, думаю — уйдет он за матерью своей, сирота, лишит кого-то счастья-радости любовной! Сбились мы все тут, как зайцы в половодье на острове маленьком, и отец твой, и я, и этот человек, и всем нам — каждому сиротство свое — как слепота!

Ее румяное лицо казалось Матвею удивительно красивым, речь — умною, как речи дьячка Коренева. Всё еще чувствуя волнение и стыдный трепет в теле, он доверчиво смотрел в глаза ей, и ему хотелось положить голову на круглое, немного загоревшее ее плечо.

Вдруг откуда-то явилась рыжая борода отца, юноша вскочил на ноги, как будто его прутом хлестнуло, а женщина поднялась тяжко, точно старуха.

— Я проснулся, кричу — Палага, квасу... — ворчал старик, позевывая и крестя рот. — О чем беседу вели?

На нем была надета татарская рубаха, из-под нее торчали голые икры, обмотанные синим узором вздутых вен. Багровое лицо горело среди зелени огромным чудным цветком, окруженное, как сиянием, рыжими волосами.

Матвей перевел глаза на мачеху — стройная, румяная, с маленьким, точно у ребенка, ртом, она стояла, покорно сложив руки на груди, бледная.

— Я кого спрашиваю? — рявкнул старик.

Сын негромко ответил, глядя под ноги себе:

— Она мне рассказывала...

— Как в Балымерах мужики жили, за барами,— вздохнув, договорила Палага.

— Расскажет она! — проворчал Кожемякин, косо посмотрев на жену, и сурово отослал ее готовить чай.

Матвей видел его тяжелый, подозрительный взгляд и напряженно искал, что сказать старику, а тот сел на скамью, широко расставив голые ноги, распустил сердито надутые губы в улыбку и спросил:

— Ну, что скажешь?

— За баней на березе ремез гнездо свил,— вдруг выдумал Матвей и испуганно оглянулся, сообразив: «Сейчас велит — покажи!»

— Это ты врешь, брат! — сказал отец и завыл, зевая.

Сад вздрогнул, точно расправив зеленые крылья,— поплыл вверх.

— Кабы ремез,— поучительно гудел отец,— он бы гнездо строил на дереве с большим да крепким листом. Ремез — шьет гнездо,— это надо знать!

Матвей облегченно вздохнул, и ему стало жалко отца, стыдно перед ним. Старик оглянул сад и, почесывая бороду, благодарно поднял глаза к небу.

— Добёр господь к земле своей — эко украсил ее щедро как!

Смерил сына глазом и, вздохнув, продолжал:

— Велик ты становишься, однако! Вот он — тайный ребячий рост: дерево летом не заметишь, сколько выросло, а весной, глядь — распустит наряды свои...

Скоро Палага крикнула пить чай. За столом старик начал хвалить Пушкаря.

— Хорош солдат — железо, прямо сказать! Работе — друг, а не то, что как все у нас: пришел, алтын сорвал, будто сук сломал, дерево сохнет, а он и не охнет! Говорил он про тебя намедни, что ты к делу хорошо будто пригляделся. Я ему верю. Ему во всем верить можно: язык свихнет, а не соврет!

Матвей поперхнулся крошками сдобной лепешки, а Палага шумно вздохнула.

— Говорил он мне,— продолжал Кожемякин,— хочу, говорит, для племяшей избенку поправить, дай-ко ты мне вперед рублев сорок. Изволь, получи! И сто — дам. Потому, говорю, крупа драная, что хо-

роший работник — делу второй хозяин, половина удачи...

Юноша, искоса поглядывая на Палагу, удивлялся: ее розовое кукольное лицо было, как всегда, покорно спокойно, глаза красиво прикрыты ласковыми тенями ресниц; она жевала лепешку, не торопясь и не открывая рта, и красные губы ее жили, как лепестки цветка под тихим ветром.

Добродушно ворчала вода в самоваре, тонко свистел пар, вырываясь из-под крышки, в саду распевала малиновка; оттуда вливались вечерние теплые запахи липы, мяты и смородины, в горнице пахло крепким чаем, душистым, как ладан, березовым углем и сдобным тестом. Было мирно, и душа мальчика, заласканная песнью, красками и запахами догоравшего дня, приветно и виновно раскрывалась встречу словам отца.

«А кабы сказал я ему про Палагу,— смутно подумал он,— плакала бы она, избитая, а он зверем рычал бы на всех...»

— Теперь вот,— ухмыляясь, насмешливо говорил Савелий,— мещанство фордыбачить начало: я-ста да мы-ста, два-ста да три-ста, горожане-де мы, хозяева! Это — глупость, Мотя! Все мы — работники для матушки России, это Пушкарь понимает. Он мне сколько раз кричал: «Ты, говорит, рыжий, думаешь — я на тебя работаю? На-ко»,— и показывает кукиш мне. «Я, говорит, на царя работаю, на Россию-мать!» Да. А мещанишки боятся, что мужик их забьет. Как государь-батюшка крестьянство из крепости изнял, да как теперь встряхнется он, мужичок, оно, пожалуй, и верно, что туго придется горожанам-то! Свободного народа прибавилось, слава те господи! Горожане — они сами бы не прочь людей в крепость покупать, ан и не вышло дело! Теперь сказано всем: нуте-ка, попробуйте на воле жить!

Кожемякин крепко ударил по столу рукою и крикнул, поблескивая глазами:

— Хорошее время, сынишка, выпало тебе, чтобы жить! А я вот — четыре с лишком десятка лет в крепостях прожил!

Он хищно прищурился, оглядывая горницу.

— Велика Россия, Матвей, хороша, просторна! Я вот до Черного моря доходил, на новые места глядеть шарахались мы с Сазаном,— велика матушка Русь! Теперь, вольная, как начнет она по-новому-то жить, как пойдет по всем путям — ой-гой...

Палага пугливо повела плечами, посмотрела в окно и негромко проговорила:

— А мои родители не дождались светлого денька.

Навалившись грудью на стол, старик усмехнулся.

— Знаешь ты,— спросил он Матвея,— что ее отца от семьи продали? Продали мужа, а жену с дочерью оставили себе. Хороший мужик был, слышь, родитель-то у ней,— за строптивость его на Урал угнали железо добывать. Напоследях, перед самой волей, сильно баре обозлились, множество народа извели!

— А всего больше девок да баб,— тихонько вставила Палага, стирая пальцами слезы со щеки.

— В тяжелые дни бабы да вино всегда в большом расходе! — размеренно толковал отец.— Ты, однако, Матвей, огулом судить не приучайся: озорничали баре — верно, и зверья было много промеж них — тоже верно, ну, были и хорошие люди, а коли барин-дворянин да хорош, так уж он — превосходен! Недавние дворяне, вроде Бубновых здешних, они непрочно себя на земле чуяли и старались, сколько можно больше, сорвать да награбить. А были — которые хозяевами считали себя исконными, века вековать на земле надеялись, добро делать старались, только — не к месту: на болоте сеять — зря руками махать! Мужики тоже бар портили, как червивые маслята, примерно, могут спортить и крепкий белый гриб, положи-ко их вместе! Помнишь — работал у нас Лексей, мужик белобрысый такой? Рассказал он мне однова, как прославился перед барином верностью своей рабьей: старого Бубнова наложница стала Лексея на грех с ней склонять, девица молодая была она, скучно ей со стариком...

Кровь бросилась в лицо юноши: незаметно взглянув на мачеху, он увидал, что губы ее плотно сжаты, а в глазах светится что-то незнакомое, острое. А Савелий Кожемякин добродушно говорил:

— Лексей этот сейчас барину донес. Позвал барин

ее, позвал и его и приказывает: «Всыпь ей, Алеха, верный раб!» Лексей и сек ее до омморока вплоть. Спрашиваю я его: «Что ж, не нравилась она тебе?» — «Нет, говорит, нравилась, хорошая девка была, скромная, я всё думал — вот бы за меня такую барину отдать!» — «Чего ж ты, говорю, донес-то на нее?» — «Да ведь как же, говорит, коли баринова она...»

Старик откинулся от стола и захохотал.

— Обрыдл он мне с той поры, стал я к нему привязываться совсем зря. Понимаю, что зря, а не могу удержаться, взглянешь на него и так, ни за что ни про что облаешь. А он только глазами мигает да кланяется — терпенья нет! Эдакие люди — беда вредны; они какую хошь узду ослабят зверю твоему, полный простор дают всем деймонам в душе человечьей. Он будто кроткий, а тебе хочется по морде ему треснуть. Прогнал я его: иди-ка, говорю, Лексей, с богом, не ко двору ты мне, сердце портишь! Такого мужика у нас сколько хошь попаделано, и долго он не вымрет, ой, долго! Он себе барина найдет, в нем воли нет. Воля — это внутри! А он, кроткий-то, он за свой страх боится жить, ему надобно, чтобы кто-нибудь отвечал за него богу и царю, сам он на себя ничего, окромя побоев, не хочет брать. Он так себя ставит, чтобы можно было на страшном суде сказать: это я не сам делал, заставляли меня насильно другие люди, разные. Это, брат, плохой народ, его — сторонись!

И так, почти до ужина, поблескивая зоркими насмешливыми глазами, старый Кожемякин поучал сына рассказами о прошлых днях. Теплая тень обнимала душу юноши, складные рассказы о сумрачном прошлом были интереснее настоящего и, тихонько, незаметно отводя в сторону от событий дня, успокаивали душу музыкою мерной речи, звоном емких слов.

Ужинали в кухне, вместе со всеми рабочими, и пища была обильна: сначала подавали окрошку из мяса, яиц, огурцов и луку с квасом, забеленную сметаной; два горячих — лапшу да щи с мясом или похлебку с бараниной и борщ; потом ели гречушную или просяную

кашу, жирно политую коровьим маслом, а заедали всё это иногда простоквашей, иногда сычеными киселями. По праздникам, сверх всего, пекли пироги с капустой, морковью, с луком и яйцами, с кашей и рыбьими жирами, а в постные дни ели окрошку из сушеного судака и сазана, толокно, грибные похлебки, горох, пареную брюкву, свеклу и репу с патокой.

Отец говорил:

— Кто ест много да скоро — тот и работает споро!

Все ели из одной деревянной чаши, широкой и уемистой, сидя за столом чинно, молча; только Пушкарь неугомонно трещал, как старый скворец.

Первая ложка — хозяину, а за ним тянулись руки остальных, по очереди старшинства; сначала хлебали горячее без мяса, потом хозяин, ударяя ложкой о край чашки, командовал:

— Таскай со всем!

И если кто-нибудь зачерпывал два куска мяса вместо одного, старый Кожемякин, невзирая на возраст захватчика, звучно щелкал его донцем ложки по лбу. Темный лоб Пушкаря, густо расписанный морщинами, страдал чаще других.

Неустанно двигались скулы и челюсти, играли кадыки, сверкали волчьи зубы, от мохнатых грудей шел парок, на лицах блестели капли пота. Чавкали громко, смачно, глубоко вздыхали от усталости и, облизывая ложки, далеко высовывали большие языки, толстые и красные. Вставая из-за стола, истово крестились в темный угол, где приветно мигал желтый огонек лампады, освещая грустные глаза богоматери, высокий лоб Николы, украшенный затейными морщинами, и внимательный лик Христа. Помолясь, кланялись хозяину, говоря подавленными голосами:

— За хлеб, за соль покорно благодарим!

А Савка, выкатывая на хозяйку рачьи глаза, всегда бормотал:

— Балдарю!

— Благо-дарю! — орал на него Пушкарь. — Облом! Дарю благо! Понял?

Парень, с видимым усилием отрывая глаза от фарфорового лица Палаги, не торопясь, повторял:

— Баландарю, стал-быть...

Матвей однажды слышал, как этот парень, идя по двору, ворчал:

— Бландарю... Черти!

Показалось, что он скрипел зубами.

Юноше нравились чинные обрядные обеды и ужины, ему было приятно видеть, как люди пьянеют от сытости, их невеселые рожи становятся добродушными, и в глазах, покрытых масленой влагой, играет довольная улыбка. Он видел, что люди в этот час благодарят от полноты чувств, и ему хотелось, чтобы мужики всегда улыбались добрыми глазами.

В этот вечер отец, оглянув стол, спросил, нахмурясь:

— А Сазан где?

Савка завозился, открыл рот и радостно пустил:

— Г-гы-ы!

— Это что? — крикнул хозяин.

Деревянная ложка в руке Палаги дрожала, лицо ее покрылось красными пятнами. Все за столом не глядели друг на друга. Матвей ясно видел, что все знают какую-то тайну. Ему хотелось ободрить мачеху, он дважды погладил ее колено, а она доверчиво прижалась к нему.

Савка беспокойно вертел головой и тихонько рычал, собираясь сказать что-то.

— Чего вертишься? — строго спросил отец.

— Он ушел, г-гы-ы! — радостно объявил Савка.— Скажи, говорит, хозяину, что я ушел совсем. Я за водой на речку еду, а он идет с котомкой, гы!

— Пошел Максим, и котомка с ним! — заговорил Пушкарь.— Опять в бега, значит.

— Да-а! — сказал отец, подумав и не глядя ни на кого. — И не простился...

— Приспичило,— пояснил солдат.— Любят это у нас — бродяжить...

Кожемякин положил ложку и сказал:

— Это такие люди — неугомонные, много я их встречал. Говорят, будто щуров сон видели они: есть такая пичужка, щур зовется. Она с нами живет, и песня у нее как бы сквозь дрему: тихая да сладкая, хоть сам-то щур — большой, не меньше дрозда. А гнездо он себе вьет при дорогах, на перекрестках. Сны его неведомы

никому, но некоторые люди видят их. И когда увидит человек такой сон — шабаш! Начнет по всей земле ходить — наяву искать место, которое приснилось. Найдет если, то — помрет на нем...

Все стали жевать медленнее, чавкать тише, лица как будто потемнели.

— Третий раз пошел Сазан,— задумчиво продолжал старик.— Чуется мне — не увидим мы друг друга,— воротится он, а меня уж нет!

Сумрак в кухне стал гуще, а огонь лампады ярче и глаза скорбящей богоматери яснее видны.

Лежа в постели, Матвей вспоминал некрасивое рябое лицо дворника, рассеянный взгляд бесцветных глаз и нудные скупые речи.

«Идти бы,— а то — что? Нашли толк... Из пустого в порожнее... До предельных морей дойти бы...»

Юноша представлял себе, как по пыльной, мягкой дороге, устланной черными тенями берез, бесшумно шагает одинокий человек, а на него, задумавшись, смотрят звезды, лес и глубокая, пустая даль — в ней где-то далеко скрыт заманчивый сон.

Вскоре отец отправился скупать пеньку, а на другой день после его отъезда, рано утром, Матвея разбудила песня в саду под его окном.

На заре-то, матушка,
Птички голосно поют,
А меня-то, матушка,
Думки за сердце берут...

Старушечий голос перебил песню:

— Тише, девки, тут хозяйский сын спит!

— А пора ему вставать...

— Давай, девушки, глянем, как молоденький купчик спит!

По стене зашуршало — Матвей поднял голову, и взгляд его встретился с бойким блеском чьих-то веселых глаз; он вспомнил обещание мачехи, весь вспыхнул томным жаром и, с головой закрывшись одеялом, подумал со страхом:

«Пришли огородницы...»

За окном, поддразнивая, смеялись:

— Не спи-ит, девушки!

Он вскочил и бросился в кухню умываться, думая о том, что сегодня надо надеть праздничный наряд; набил себе в рот мыльной пены и окончательно растерялся, услыхав насмешливое ворчание Власьевны:

— Ишь, как рано вскочил, когда девицами-то запахло! Молока-то дать?

Напоминание о молоке обидело его, он точно па сказочный подвиг собирался, а тут — молока хотят дать, как теленку! Не отвечая, полуодетый, побежал он будить мачеху, шумно вошел в ее комнату, отдернул полог кровати и зажмурился.

— Вставай,— сказал он тихонько.

Непромытые глаза щипало, их туманили слезы. Солнце было уже высоко, золотистый утренний свет властным потоком влился в окно, осенил кровать и одел полунагое тело женщины чистым и живым сиянием.

Подбив под себя красное кумачевое одеяло, мачеха вытянулась, как струна, и, закинув руки за голову, лежала, точно в огне. Ласково колебались, точно росли, обнаженные груди, упруго поднялись вверх маленькие розовые соски — видеть их было стыдно, но не хотелось оторвать глаз от них, и они вызывали в губах невольную, щекотную дрожь. В тени полога лицо женщины казалось незнакомым. Ее брови поднялись, рот полуоткрылся, и крылья носа вздрагивали, точно Палага собиралась заплакать,— от нее веяло печалью. Эта печаль, вместе с блеском солнца, прикрывала соблазн наготы строгим и чистым покровом и, угашая робкое волнение юной крови, будила иные, незнакомые чувства.

Матвей опустил полог, тихонько ушел в свою комнату и сел там на кровать, стараясь что-то вспомнить, вспоминая только грудь женщины,— розовые цветки сосков, жалобно поднятые к солнцу.

В солнечном луче кружилась серебряная пыль, за окном смеялись, шаркало железо заступа, глухо падали комья земли.

Матвей подошел к окну и стал за косяком, выглядывая в сад, светло окропленный солнцем. Перед ним

тихо качались высокие стебли мальвы, тесно усаженные лиловыми и желтыми цветами в росе. Сверкающий воздух был пропитан запахом укропа, петрушки и взрытой сочной земли.

Между гряд, согнувшись и показывая красные ноги, выпачканные землей, рылись женщины, наклоня головы, повязанные пестрыми платками. Круто выгнув загорелые спины, они двигались как бы на четвереньках и, казалось, выщипывали траву ртами, как овцы. Мелькали темные руки, качались широкие бедра; высоко подобранные сарафаны порою глубоко открывали голое тело, но Матвей не думал о нем, словно не видя его.

Иногда огородницы говорили знакомые юноше зазорные слова, о которых дьячком Кореневым было сказано, что «лучше не знать их, дабы не поганить глаголы души, которая есть колокол божий».

Юноша вспомнил тяжелое, оплывшее жиром, покрытое густой рыжею шерстью тело отца,— бывая с ним в бане, он всегда старался не смотреть на неприятную наготу его. И теперь, ставя рядом с отцом мачеху, белую и чистую, точно маленькое облако в ясный день весны, он чувствовал обиду на отца.

Вспомнилась ему отцова шутка. Вскоре после свадьбы он, подмигнув Пушкарю на Палагу, гулявшую в саду, сказал:

— Хороша, а?

— Днем — ничего! — отозвался Пушкарь.

— А почью — того лучше! — снова подмигивая, молвил отец.— Ночью, положим, все бабы лучше.— И громогласно сипло захохотал.

Матвею захотелось узнать, почему бабы лучше ночью, и он спросил солдата.

— Бабы-то? — ухмыляясь, ответил Пушкарь. — Они, братец мой, очень другие по ночам! — Но, сморщившись, плюнул и уже серьезно пояснил: — Ведьмов много между ними! В трубу летают — слыхал?

— Труба—узкая,— нерешительно заметил Матвей.

— Ну,— ничего! У бабы кости мягки. А тебе, однако, рано про это знать! — строго закончил он.

— Ишь, откуда он подглядывает за девушками-то!—

вдруг услыхал Матвей сзади себя голос Палаги. Положив руки свои на плечи ему, она, усмехаясь, спросила: — Которая больше нравится?

— Никоторая! — ответил он, боясь пошевелиться.

В нем зажглось истомное желание обнять Палагу, говорить ей какие-то хорошие, сердечные слова.

Выглянув в окно, женщина сказала:

— А вон Натанька Тиунова, хорошая какая! Бабеночка молодая, вольная,— муж-от у нее четыре года тому назад в Воргород ушел да так и пропал без вести. Ты гляди-ка: пятнадцати годов девчушечку замуж выдали за вдового, всё равно как под жернов сунули...

Он слушал молча, избегая ее взгляда, боясь, как бы она не догадалась, что он видел ее наготу.

Но, несмотря на волнение, он ясно слышал, что сегодня Палага говорит так же нехотя и скучно, как, бывало, иногда говорил отец. Сидя с нею за чаем, он заметил, что она жует румяные сочни без аппетита, лицо ее бледно и глаза тупы и мутны.

— Нездоровится тебе? — спросил он.

— Нет,— так чего-то снулая...

Оглянувшись на дверь, она заговорила быстро и тихо:

— Ой, как боялась я эти дни! Тогда, за ужином-то,— покажись мне, что Савка этот всё знает про меня. Господи! Да и тебя забоялась вдруг. Спаси тебя Христос, Мотя, что смолчал ты! Уж я тебя утешу, погоди ужо...

Улыбнувшись, она подмигнула ему, но и слова и улыбка ее показались юноше пустыми, нарочными.

— Ничего мне не надо! — молвил он, краснея.

— Как не надо, милый? Я ведь знаю, какие сны снятся в твои-то годы.

— Не говори про это! — попросил Матвей, опустив голову.

— Ну, не буду, не буду! — снова усмехнувшись, обещала она. Но, помолчав, сказала просто и спокойно: — Мне бы твой грешок выгоден был: ты про меня кое-что знаешь, а я про тебя, и — квиты!

И раньше, чем Матвей успел сказать что-либо в ответ ей, она, всхлипывая и захлебываясь слезами, начала шептать, точно старуха молитву:

— Глаз завести всю ночь до утра не могла, всё думала — куда пошел? Человек немолодой, бок у него ножиком пропорот, два ребра сломаны — показывал. Жил здесь — без обиды, тихо. Никого на свете нет у него... куда идет? Ох, Мотя, — виновата я перед батюшкой твоим, виновата! Ну, голубь же ты мой тихий, так стыдно молодой женщине со старым мужиком жить, так нехорошо всё это, и такая тоска, — сказать нельзя! Разумный мой,— я глупее тебя, а дам тебе советец верный: коли увидишь, не любит тебя жена,— отпусти ее лучше! Отпусти...

И, вскинув руками, она беспомощно поникла.

— Эх, кабы ты постарше был!

— Я всё понимаю! — сказал Матвей, легонько стукнув по столу рукой.

— Где уж! Всего-то и поп не поймет. Ты бы вот что понял: ведь и Сазан не молоденький, да человек он особенный! Вот, хорошо твой батюшка про старину сказывает, а когда Сазан — так уж как райские сады видишь!

— Разве он умел говорить? — недоверчиво спросил Матвей.

— Тем меня и взял! — горячо ответила женщина, и даже плечи у нее зарумянились.— Он так умел сказывать, что слушаешь, и — времени счету нет! Выйду, бывало, к нему за баню, под березы, обнимет он меня, как малого ребенка, и начнет: про города, про людей разных, про себя — не знаю, как бог меня спасал, вовремя уходила я к батюшке-то сонному! Уж он сам, бывало, гонит,— иди, пора! Я ведь ничего не знаю, нигде не бывала: Балымеры да Окуров, десять верст дороги раз пяток прошла, только и всего! Ведь только и живешь, когда сон видишь да сказки слушаешь... Кабы у меня дите было! Да — на сорной-то земле не взойти пшенице...

Она заплакала. Казалось, что глаза ее тают,— так обильно текли слезы. Будь это раньше, он, обняв ее, стал бы утешать, гладя щеки ей, и, может быть, целовал, а сейчас он боялся подойти к ней.

Вплоть до самого обеда он ходил за нею, точно жеребенок за маткой, а в голове у него всё остановилось

вокруг голого, только солнцем одетого тела женщины.

За обедом огородницы сидели против него. Они умылись, их опаленные солнцем лбы и щеки блестели, пьяные от усталости глаза, налитые кровью, еще более пьянели от вкусной пищи, покрываясь маслянистой влагой.

Они хихикали, перемигивались и, не умея или не желая соблюдать очереди в еде, совали ложки в чашку как попало, задевали за ложки рабочих — всё это было неприятно Матвею.

Жадный, толстогубый рот Натальи возбуждал в нем чувство, близкое страху. Она вела себя бойчее всех, ее низкий сладкий голос тек непрерывною струею, точно патока, и все мужчины смотрели на нее, как цепные собаки на кость, которую они не могут достать мохнатыми лапами.

Часто та или другая женщина взвизгивала, и тогда Палага робко просила:

— А вы, бабочки, потише!

— Дак щиплются! — отвечали ей, охая.

Необычный шум за столом, нескромные шутки мужиков, бесстыдные взгляды огородниц и больше всего выкатившиеся глаза Савки — всё это наполнило юношу темным гневом; он угрюмо бросил ложку и сказал:

— Матушка, крикни на них хорошенько, забыли, видно, они, что за столом сидят!

Он сейчас же сконфузился, опустил голову и с минуту не смотрел на людей, ожидая отпора своему окрику. Но люди, услышав голос хозяина, покорно замолчали: раздавалось только чмоканье, чавканье, тяжелые вздохи и тихий стук ложек о край чашки.

Матвей изумленно посмотрел на всех и еще более изумился, когда, встав из-за стола, увидал, что все почтительно расступаются перед ним. Он снова вспыхнул от стыда, но уже смешанного с чувством удовольствия,— с приятным сознанием своей власти над людьми.

В своей комнате, налитой душным зноем полудня, он прикрыл ставень и лег на пол, вспоминая маленькие зоркие глаза отца и его волосатые руки, которых все боялись.

«Этак-то легко! — думал он.— Только крикнуть, а тебя и слушают,— легко!»

Заснув крепким сном, он проснулся под вечер; в жарком воздухе комнаты таял, пройдя сквозь ставень, красный луч солнца, в саду устало перекликались бабы, мычало стадо, возвращаясь с поля, кудахтали куры и пугливо кричали галчата.

Чувствуя, что сегодня в нем родилось и растет что-то новое, он вышел в сад и, вдохнув всею силою груди душистый воздух, на минуту опьянел, точно от угара, сладко отравившего кровь.

Он любил этот миг, когда кажется, что в грудь голубою волною хлынуло всё небо и по жилам трепетно текут лучи солнца, когда теплый синий туман застилает глаза, а тело, напоенное пряными ароматами земли, пронизано блаженным ощущением таяния — сладостным чувством кровного родства со всей землей.

Сквозь мягкий звон в ушах до него долетел тихий крик Палаги:

— Что ты... ой!..

Встряхнув головою, он, улыбаясь, оглянулся, но не увидел мачехи, а снова услыхал ее возглас:

— Да что ты!

Голос шел из-за бани; там, в тенистом углу, стояли четыре старые березы, почти прижимаясь друг к другу пестрыми стволами.

Повинуясь вдруг охватившему его предчувствию чего-то недоброго, он бесшумно пробежал малинник и остановился за углом бани, точно схватившись за сердце крепкою рукою: под березами стояла Палага, разведя руки, а против нее Савка, он держал ее за локти и что-то говорил. Его шёпот был громок и отчетлив, но юноша с минуту не мог понять слов, гневно и брезгливо глядя в лицо мачехе. Потом ему стало казаться, что ее глаза так же выкатились, как у Савки, и, наконец, он ясно услышал его слова:

— Теперь — воля! У кого деньги — тот и барин! Х-хозяин!

Парень раскачивал руки Палаги, то отводя их от тела, то снова приближая.

Пошатываясь, Палага изнеможенно бормотала:

— Пусти-ка,— с ума ты сошел!

— Рассчитай: я тебе покоя тут не дам! А его жалеть, старика-то, за что? Кто он такое? Ты подсыпь ему в квас,— я тебе дам чего надо — ты и подсыпай легонько. Лепешки можно спечь тоже. Тогда бы и сыну...

Матвей понял смысл речи,— он слыхал много историй о том, как травят людей белым порошком,— небо побагровело в его глазах, он схватил стоявший под рукою, у стены бани, заступ, прыгнул вперед и с размаха ударил Савку.

— Батюшки! — взвизгнула Палага, рванувшись в сторону.

Матвей снова размахнулся, но заступ увяз в чем-то, вырвался из его рук, тяжелый удар в живот сорвал юношу с земли, он упал во тьму и очнулся от боли — что-то тяжелое топтало пальцы его руки.

Приподнялся, сел. Около него старательно возилась тесная кучка людей, они кряхтели и взмахивали руками, точно молотя зерно. Над забором, между гвоздей, торчали чьи-то головы, оттуда падали одобрения и советы:

— Сади под душу!

— Между крылец-то, эй, черный!

Над ним наклонилась Палага, но он не понимал ее речи, с ужасом глядя, как бьют Савку: лежа у забора вниз лицом, парень дергал руками и ногами, точно плывя по земле; веселый большой мужик Михайло, высоко поднимая ногу, тяжелыми ударами пятки, черной, точно лошадиное копыто, бухал в его спину, а коренастый добродушный Иван, стоя на коленях, истово ударял по шее Савки, точно стараясь отрубить голову его тупым красным кулаком.

Оборванный, выпачканный кровью и пылью, парень тыкался лицом в землю и кричал визгливо:

— Бу-удет... бу-у... бра-а-атцы...

С забора советовали:

— Поверните, лешие, да против сердца разок!

А громкий голос говорил внушительно и солидно:

— Есть люди, которые с продухами под мышками, как ты его ни бей — ему ничего! Потому — два дыхания имеет.

Около Матвея возились Палага, Пушкарь и огородница Наталья; на голове у него лежало что-то мокрое, ему давали пить, он глотал, не отрывая глаз от страшной картины и пытаясь что-то сказать, но не мог выговорить ни слова от боли и ужаса.

— Будет! — крикнул он наконец.

Михайло обернулся к нему и согласно ответил:

— Ну, ин будет!

Савка пополз вдоль забора, цапаясь за доски темно-красными руками; его кровь, смешавшись со взрытой землей, стала грязью, он был подобен пню, который только что выкорчевали: ноги, не слушаясь его усилий, волоклись по земле, как два корня, лохмотья рубахи и портков казались содранной корой, из-под них, с пестрого тела, струился темный сок.

Около Палаги стоял Михайло и, улыбаясь, говорил:

— По чашечке бы с устатка-то, хозяюшка!

— Ребята! — кричал Пушкарь. — Волоките его в баню! Ах бес, а?

Сердце Матвея больно замирало, руки тряслись, горло душила противная судорога. Он глядел на всех жалобными глазами, держась за руку мачехи, и слова людей царапали его, точно ногтями.

— Степан Федорыч,— говорила Палага Пушкарю,— не надо бы в баню-то, как встанет он ночью да как...

С забора радостно крикнули:

— Ага-а, боисси, шкуреха?!.

Матвей вскочил и начал швырять в головы зрителей комьями земли.

Четверо мужиков, взяв Савку за руки и за ноги, поволокли его, точно куль мякины, задевая и шаркая о землю его выгнутою спиною.

— А вы приподнимите его! — серьезно сказал Михайло.— Этак-то, волоком, шкуру сдерете!

В саду собрались все рабочие, огородницы, Власьевна,— Матвей смотрел на них и молчал, изнывая от тяжелого удивления: они говорили громко, улыбались, шутя друг с другом, и, видимо, никто из них не чувствовал ни страха, ни отвращения перед кровью, ни злобы,

против Савки. Над ним посмеивались, рассказывая друг другу об ударах, нанесенных ему.

— Дурак он,— добродушно говорил Иван,— так, вроде полоумного даже, ей-богу!

— Воля, говорит! Всё про волю.

— Да-а! Молодой еще!

Все стали оживленнее и веселее обычного, точно кончили работу и рады, что кончили ее, не устав.

Матвей пошел в кухню — там Власьевна, промывая водой большие царапины на плече и левой груди Палаги, говорила:

— Уж как мы пред хозяином будем теперь — не зна-аю!

— Малину поломали,— бормотала Палага.

Увидав пасынка, она повернулась спиной к нему, воскликнув:

— Ой, ты тут, а я оголилася...

— Ничего,— успокоительно сказала Власьевна.— Он еще дитя...

Юноше захотелось обругать ее; стиснув зубы, он вышел из кухни, сел на ступени крыльца и задумался.

Что люди дрались — это было в порядке жизни; он много раз видел, как в праздники рабочие, напившись вина, колотили друг друга, пробуя силу и ловкость; видел и злые драки, когда люди, сцепившись подобно псам, катались по земле бесформенным комом, яростно скрипя зубами и вытаращив налитые кровью, дикие глаза. Эти драки не пугали его. Но теперь, когда он видел, как деловито, истово и беззлобно били человека насмерть, забавляясь избиением, как игрой,— теперь Матвей тяжело почувствовал страх перед людьми, спокойно отиравшими о свои грязные портки пальцы, вымазанные кровью товарища по работе.

Мимо него игриво бегала Наталья, перенося из сада в угол двора корзины выполотой травы и взвизгивая, как ласковая собачка. За женщиной по земле влачилась длинная темная тень, возбуждая неясное нехорошее чувство.

Вышла Палага, села ступенью выше Матвея и спросила, положив ему руку на плечо:

— Больно Савка тебя ударил?

— Нет,— ответил он, невольно подвигаясь к ногам женщины и заглядывая в лицо ее, унылое и поблекшее. — Это ты велела бить его?

— Сами они. Как увидала я тебя — ой, какой ты страшный был! — крикнула,— тут он меня за горло, а они и прибежи. Сразу затоптали его. Обидел он меня, а все-таки — встанет ли?

Матвей посмотрел в небо — около луны, в синей пустоте, трепетно разгоралась золотая звезда. Он снова взглянул в круглое лицо мачехи, спрашивая:

— Сказать им — убейте, вина дам,— убьют они?

Палага, вздохнув, ответила:

— Убьют.

Позвали ужинать. Толстая и седая старуха — по прозвищу Живая Вода — подробно и со вкусом рассказывала о ранах Савки и стонах его; мужики, внимательно слушая ее льстивую речь, ухмылялись.

— Ничего,— сказал Михайло голосом человека, знающего дело. — Отлежится к утру. Вот меня годов с пять назад слободские утюжили, это да-а!

И все наперебой начали добросовестно вспоминать, где и как били их и когда сами они бивали людей.

«Злые или нет?» — думал Матвей, исподлобья оглядывая людей.

Под шум разговора молодой парень Кузьма, должно быть, ущипнул Наталью; она, глухо охнув, бросила ложку и сунула руки под стол.

— Брысь, беси! — крикнул Пушкарь, звучно щелкая ложкой по лбу парня и женщину.

Все засмеялись, мачеха что-то жалобно бормотала, а Наталья, сидя с открытым ртом, мычала, тоже, видимо, пробуя смеяться, но лицо ее вытянулось и застыло в гримасе боли.

Матвей встал. Ему хотелось что-то сказать, какие-то резкие, суровые слова, вызвать у людей стыд, жалость друг к другу. Слов таких не нашлось, он перешагнул через скамью и пошел вон из кухни, сказав:

— Не хочу...

А на дворе прижался в углу у запертых ворот и заплакал в бессильной злобе, в страхе и обиде.

Там нашла его Палага.

— Сирота моя тихая! — причитала она, ведя его в дом.— Замаяли тебя! И это еще здесь, не выходя из дома, а каково будет за воротами?

Он прижимался к ней и рычал:

— Так бы всех — по харям! Погоди, вырасту я...

Окно в его комнате было открыто, сквозь кроны лип, подобные прозрачным облакам, тихо сияло лунное небо, где-то далеко пели песни, бубен бил, а в монастыре ударяли в колокол — печально ныла медь.

Палага, не выпуская руку пасынка, села у окна, он прислонился к ее плечу и, понемногу успокаиваясь, слушал задумчивую речь.

— Была бы я дальняя, а то всем известно, что просто девушка порченая, барину Бубнову наложницей была, а батюшка твой за долг меня взял. Никто меня не слушает, не уважает, какая хозяйка я здесь? Редко и по отчеству-то назовут. Выйти не смею никуда, подружек — нет; может, и нашла бы я хороших людей — батюшка из дома не пускает, не верит он в совесть мою. Да и как верить? Торная тропа — ни бесу, ни попу не заказана. Вон Савка-то, парнишка еще, а говорит: отрави хозяина! Другой бабе-то не сказал бы, а мне — можно! Меня, как приблудную овцу, всяк своей считает. Скушно мне, не у дела я...

Всхлипнув, она застонала в тоске, обняла Матвея и, прижимая голову ко груди своей, повторила протяжно:

— Ску-ушно мне...

В его груди больно бились бескрылые мысли, он со стыдом чувствовал, что утреннее волнение снова овладевает им, но не имел силы победить его и, вдыхая запах тела женщины, прижимал сомкнутые губы к плечу ее.

— Милый мой,— шептала Палага,— на что мы родились? Почто живем?

Незаметно для себя он прислонился к ней плотнее и отскочил, а она простодушно спросила:

— Укололся? Разорвал он мне рубаху-то, я тут булавкой приколола, не успев другую рубаху надеть. Вот, вынула.

Наклонясь к подоконнику, она открыла грудь, и он, не владея более собой, жадно прильнул к ней губами.

— Ой, что ты это? — шептала она, отталкивая его.— Мотя, полно-ка...

Ей удалось подняться на ноги, она оторвала голову его и, держа ее в ладонях, шептала, упрекая:

— Видишь вот — отказался давеча от Натальи-то...

И, отодвинувшись от окна в тень, деловито сказала:

— Ты — ложись-ка, а дверь-то не запирай.

— Почто? — спросил Матвей, вздрогнув.

— Уж я знаю!

Крепко поцеловав его в лоб, она ушла, а юноша, обомлев, прижался в угол комнаты, глядя, как на полу шевелятся кружевные тени, подползая к ногам его спутанными клубами черных змей.

Юноша взглянул в окно — мягко блеснуло чистое лунное небо.

«Надо ставень закрыть. Комары...» — как сквозь сон подумалось ему.

И снова прижался к стене, вздрогнув: около его двери что-то шаркнуло, зашуршало, она осторожно открылась, и весь голубой свет луны пал на лицо и фигуру Натальи, как бы отталкивая ее.

На лице женщины неподвижно, точно приклеенная, лежала сладкая улыбка, холодно блестели ее зубы; она вытянула шею вперед, глаза ее обежали двумя искрами комнату, ощупали постель и, найдя в углу человека, остановились, тяжело прижимая его к стене. Точно плывя по воздуху, женщина прокрадывалась в угол, она что-то шептала, и казалось, что тени, поднимаясь с пола, хватают ее за ноги, бросаются на грудь и на лицо ей.

— Уйди! — громко сказал Матвей.

Она не послушалась и всё двигалась к нему; от нее истекал запах земли, пота и увядшей травы.

— Уйди прочь! — крикнул он, когда женщина была так близко, что он мог ударить ее. Топнув ногой, он глухо позвал: — Мама!

Он помнил, как Наталья отшатнулась назад, хлопнула дверь,— тут на него упало тяжелое облако тьмы, закружило его и унесло с собою.

Потом он лежал на постели, задыхаясь от едкого запаха уксуса и хрена, рядом сидела Палага, говоря Власьевне:

— Страшен день послал на нас господь!

А Власьевна терла на терке хрен, отвернув лицо в сторону, и слащаво пела:

— Какая ты ему мать? В твои годы за эдаких замуж выдают. В деревнях-то и завсе так: парнишке пятнадцать, а девку всегда старше берут. Ничего не поделаешь, коли мужики-то обречены работе на всю жизнь,— всяко извертываться надобно, чтоб хребет не треснул ране времени...

— Что я буду делать? — не отвечая, бормотала Палага.— Как оборонюсь от наветов-то? Да еще и этот захворал.

Ее испуганные глаза потемнели, осунувшееся лицо казалось раздавленным. Тяжело вздохнув, она приложила ухо к груди Матвея,— он шепнул на ухо ей:

— Прогони Власьевну...

Охнув тихонько, Палага выпрямилась и долго молчала, глядя в стену, а потом нерешительно и тихо молвила:

— Кажись — спит он! Ты, пожалуй, иди, ложись, я позову, коли что...

А когда стряпуха ушла, она, наклонясь к Матвею, тревожно быстро спросила:

— Чем напугала тебя дура эта?

— Ничем! — ответил юноша, стыдливо отводя глаза в сторону, и с гордостью, самому себе непонятной, добавил: — Она и не дотронулась до меня!

Палага подвинулась ближе к нему, спрашивая с жадным любопытством:

— Как же это вышло?

Кратко рассказав ей, он обиженно попенял:

— На что ты ее прислала?

— Да ведь как же! — воскликнула она, улыбаясь и покраснев.— Ведь ты...

Играя пальцами ее руки, он сказал, вздохнув:

— Я думал, ты сама придешь...

Она отшатнулась, удивленно мигнув, и покраснела еще более густо.

— Посидеть со мной,— окончил Матвей.

Палага тихонько засмеялась, прикрывая рот рукою.

— Ой, господи! Что почудилось мне!

— Что?

— Та-ак.

И, невесело качнув головой, вздохнула.

— Смехи!

— Это кто меня раздел? — смущенно спросил Матвей.

— Мы. А что?

Он завернулся в одеяло, встал и пошел к окну.

— Ладно ли тебе вставать-то? — заботливо осведомилась женщина, не глядя на него.

— Дышать трудно! — тихо ответил юноша.— Глаза ест хрен...

За окном сияло голубое небо, сверкали редкие звезды лунной ночи и вздрагивала листва деревьев, словно отряхая тяжелый серебряный блеск. Был слышен тихий шорох ночной жизни растений и трав.

Оба долго стояли у окна, не говоря ни слова.

— О чем думаешь? — спросил наконец Матвей.

— А вот,— медленно ответила женщина,— приедет батюшка твой, начнут ему на меня бухать со всех сторон — что я буду делать? Скажи-ка ты мне...

Матвею польстило, что она спрашивает его совета. Он сдвинул брови и — молчал, не зная, что ответить. Потом, неожиданно для себя, спросил:

— Если сказать Наталье — иди, спи с Пушкарем,— пойдет?

— Дадут гривенничек — пойдет! — просто ответила Палага.

— Ругают эдаких-то,— сумрачно сказал юноша, подумав.

— Ругают! — повторила женщина, точно эхо. И снова зазвучал ее шёпот: — Приедет батюшка, да объявит в полицию, да как начнут, сраму-то, позора-то сколько будет!

— Постой! — сказал Матвей, прислушиваясь.

Луна уже скатилась с неба, на деревья лег густой и ровный полог темноты; в небе тускло горели семь огней колесницы царя Давида и сеялась на землю золотая пыль мелких звезд. Сквозь завесу малинника в окне

бани мерцал мутный свет, точно кто-то протирал темное стекло желтым платком. И слышно было, как что-то живое трется о забор, царапает его, тихонько стонет и плюет.

— Савка!—шепнула Палага, схватившись за грудь.

— Уходит! — сообразил Матвей, оживляясь. — Пусть идет! Давай-ка отопрем ворота — не перелезть через забор ему...

— Ушибет он тебя...

Но он уже высунулся за окно и громко шептал в тишину сада:

— Савка, иди во двор, я тебе отопру ворота, иди скорей...

В саду всё затихло, потом раздался хриплый ответ:

— Водки вынеси...

Палага побежала из компаты.

— Я налью!

Наскоро одевшись, Матвей выскочил на крыльцо, бросился к воротам,— у калитки стоял на коленях Савка, влажно хрипел, плевался, его голова качалась, напоминая неровно выточенный черный шар, а лица не было.

— Что-о,— хрипел он, пока Матвей отодвигал запор,— уходили насмерть, а теперь — боитесь?

Приоткрыв калитку, Матвей выглянул во тьму пустынной улицы; ему представилось, как поползет вдоль нее этот изломанный человек, теряя кровь, и — наверное — проснутся собаки, завоют, разбуженные ее теплым запахом.

— Испугались, сволочи! — рычал Савка.— Кабы я полиции не боялся, я бы не ушел... я бы-и...

Прибежала Палага, протягивая Матвею большой чайный стакан. Савка, учуяв едкий запах водки, сопел, ощупывая воздух пальцами.

— Где? Не вижу...

Темнота и, должно быть, опухоли увеличили его тело до жутких размеров, руки казались огромными: стакан утонул в них, поплыл, остановился на уровне Савкиной головы, прижавшись к темной массе, непохожей на человечье лицо.

Пил Савка долго, пил и мычал:

— Ум... умм...

Потом, бросив стакан на землю, сказал, вставая на ноги:

— Ну, пускай!

Матвей широко распахнул калитку. Палага сунула в руку ему что-то тяжелое, обернутое в шерсть.

— Дай ему,— деньги...

Савка, услыхав ее шёпот, странно завыл:

— А-а — на гроб-могилу? Ну, кабы не боялся я... давай! С пасынком живешь, Палашка! Лучше эдак-то. Тот издохнет, ты всё — хозяйка...

Он качался в калитке, скребя ногтями дерево, точно не мог шагнуть на улицу. Но, вывалившись за ворота, он вдруг более твердым и освежевшим голосом сказал, стукнув чем-то по калитке:

— Эй вы, сволочи,— не запирай ворота-то... а то догадаются, что сами вы меня выпустили,— дурачье!

«Верно сказал!» — подумал Матвей, и в нем искрой вспыхнуло доброе чувство к Савке.

Палага, сидя на завалинке дома, закрыла лицо ладонями, было видно, как дрожат ее плечи и тяжко вздымается грудь. Она казалась Матвею маленькой, беззащитной, как ребенок.

Около строящегося собора сторож сухо колотил по доске, кончил он — торопливо задребезжали звуки чугунного била на торговой площади. Светало, синее небо становилось бледнее, словно уплывало от земли.

— Идем спать! — сказал Матвей, крепко взяв женщину за руку.

Жалкий вид ее согнутой фигуры, неверные шаги и послушное подчинение — всё это внушало ему заботу о ней.

— Замучилась? — ласково молвил он, чувствуя себя сильнее и старше ее.

Она кивнула головой. В комнате отца Матвей погладил ее руку, говоря:

— Ложись да спи скорее! Это хорошо, что ушел он, Савва-то...

— Да-а,— тихонько ответила Палага и стала расстегивать сарафан.

Он с невольным изумлением оглянул комнату, полную прохладной тающей тьмой, широкую кровать, гору красных подушек на ней и с гордостью почувствовал себя полным хозяином этой женщины.

— Защитушка ты моя — что бы я делала без тебя! — укрепляя его ощущение силы и власти, бормотала Палага, сидя на кровати в одной рубахе, словно прозрачная на темном фоне одеяла.

Полуоткрыв рот, он присматривался к очертаниям ее тела и уже без страха, без стыда, с радостью чувствовал, как разгорается в нем кровь и сладко кружится голова.

— А и тебя тоже боязно — не маленький ты,— слышал он тихий зовущий шёпот.— Всё ближе ты да ближе! Вон что Савка-то пролаял! Да и Власьевна говорит — какая-де я тебе мать?

Матвей подошел к ней,— размахнув руками, точно крыльями, она прижала его к себе и поцеловала в лоб, сердечно сказав:

— Прощай, родимый!

...С лишком сорок лет прошло с этого утра, и всю жизнь Матвей Кожемякин, вспоминая о нем, ощущал в избитом и больном сердце бережно и нетленно сохраненное чувство благодарности женщине-судьбе, однажды улыбнувшейся ему улыбкой пламенной и жгучей, и — богу, закон которого он нарушил, за что и был наказан жизнью трудной, одинокой и обильно оплеванной ядовитою слюною строгих людей города Окурова.

Он четко помнит, что, когда лежал в постели, ослабев от поцелуев и стыда, но полный гордой радости, над ним склонялось розовое, утреннее лицо женщины, она улыбалась и плакала, ее слезы тепло падали на лицо ему, вливаясь в его глаза, он чувствовал их соленый вкус на губах и слышал ее шёпот — странные слова, напоминавшие молитву:

«Пусть горе мое будет в радость тебе и грех мой — на забаву, не пожалуюсь ни словом никогда, всё на себя возьму перед господом и людьми! Так ты обласкал всю меня и утешил, золотое сердце, цветочек тихий! Как

в ручье выкупалась я, и словно душу ты мне омыл — дай тебе господи за ласку твою всё счастье, какое есть...»

Очарованный неведомыми чарами, он молча улыбался, тихонько играя волосами ее, не находя слов в ответ ей и чувствуя эту женщину матерью и сестрой своей юности.

В памяти его вставали вычурным и светлым строем мудрые слова дьячка Коренева:

«Брак есть духовное слияние двух людей для ради совокупного одоления трудностей мучительных житейских, кои ежедень, подобно змеям, неотступно и люто жалят душу».

Ему хотелось сказать это Палаге, но она сама непрерывно говорила, и было жалко перебивать складный поток ее речи.

В небе разгорался праздничный день, за окном вздыхал сад, окропленный розовым золотом утренних лучей, вздрагивали, просыпаясь, листья и протягивались к солнцу; задумчиво и степенно, точно молясь, качались вершины деревьев.

На белой коже женщины вспыхнули золотые пятна солнца, она испуганно соскочила на пол.

— Ой, сейчас встанут все, загалдят! Савку-то прозевали, прибегут будить меня — уходи скорее!

Раздетая, она была странно маленькой, ловкой и складной.

Придя к себе, Матвей лег, закрыл глаза и не успел заснуть, как услыхал крик Пушкаря на дворе:

— Тебе, косолапому бесу, башки своей не укараулить, не брался бы! Чего теперь Савелий-то скажет? Ну, припасай морду!

Имя отца дохнуло на юношу холодом, он вспомнил насмешливые хищные глаза, брезгливо оттопыренную губу и красные пальцы пухлых рук. Съежился и сунул голову под подушку.

Четыре дня не было отца, и каждая минута этих дней памятна Кожемякину,— он обладал здоровой и редкой способностью хорошо помнить светлые минуты жизни.

Они сразу выдали людям свой грех: Матвей ходил как во сне, бледный, с томными глазами; фарфоровое

лицо Палаги оживилось, в глазах ее вспыхнул тревожный, но добрый и радостный огонь, а маленькие губы, заманчиво припухшие, улыбались весело и ласково. Она суетливо бегала по двору и по дому, стараясь, чтобы все видели ее, и, звонко хлопая ладонями по бедрам, вскрикивала:

— Ай, батюшки, забыла!

Широкорожая Власьевна многозначительно и едко улыбалась, Пушкарь крепко тер ладонью щетину на подбородке и мрачно сопел, надувая щеки.

Однажды после ужина, ожидая Палагу, Матвей услыхал в кухне его хриплый голос:

— Ду-ура!

— Уж дура ли, умная ли, а такому греху не потатчица. Чтобы с матерью...

— С тобой бы, а? Какая она ему мать?

— Как так? С отцом, чай, обвенчана.

— Бес болотный! Кабы у них дети были?

— Что ты говоришь, безбожник? А еще солдат...

— Тьфу тебе!

Матвей слушал, обливаясь холодным потом. Пришла Палага, он передал ей разговор в кухне, она тоже поблекла, зябко повела плечами и опустила голову.

— Власьевна скажет! — прошептала Палага.— Она сама меня на эту дорожку, к тебе, толкала. Надеется всё. Ведь батюшка-то твой нет-нет да и вспомнит ее милостью своею...

Матвей не поверил, но Палага убедила его в правде своих слов.

— Мне что? Пускай их, это мне и лучше. Ты, Мотя, не бойся,— заговорила она, встряхнувшись и жадно прижимая его голову ко груди своей.— Только бы тебя не трогали, а я бывала бита, не в диковинку мне! Чего боязно — суда бы не было какого...

Задумалась на минуту и снова продолжала веселее:

— А Пушкарь-то, Мотя, а? Ах, милый! Верно — какая я тебе мать? На пять лет и старше-то! А насчет свадьбы — какая это свадьба? Только что в церковь ходили, а обряда никакого и не было: песен надо мной не пето, сама я не повыла, не поплакала, и ничем-ничего не было, как в быту ведется! Поп за деньги венчал,

а не подружки с родными, по-старинному, по-отечески...

— Подожди! — сказал Матвей.— Боюсь я. Может, бежать нам? Бежим давай!

Палага с неожиданной силой сжала его и, целуя грудь против сердца, говорила:

— Хрустальный ты мой, спаси тя господи за ласковое слово!

Глаза ее, поднятые вверх, налились слезами, как цветы росой, а лицо исказилось в судороге душевной боли.

Он испугался, вскочил, женщина очнулась, целовала его, успокаивая, и когда Матвей задремал на ее руках, она, осторожно положив голову его на подушку, перекрестила и, приложив руку к сердцу, поклонилась ему.

Сквозь ресницы он видел этот поклон и — вздрогнул, охваченный острым предчувствием беды.

Утром его разбудил Пушкарь, еще более, чем всегда, растрепанный, щетинистый и темный.

— Лежишь? — сказал он.— Тебе бы не лежать, а бежать...

— Куда? — спросил Матвей, не скрывая, что понимает, о чем речь.

— То-то — куда! — сокрушенно качая головой, сказал солдат.— Эх, парень, не ладно ты устроил! Хошь сказано, что природа и царю воевода,— ну, все-таки! Вот что: есть у меня верстах в сорока дружок, татарин один,— говорил он, дергая себя за ухо.— Дам я записку к нему,— он яйца по деревням скупает, грамотен. Вы посидите у него, а я тут как-нибудь повоюю... Эх, Матвейка,— жалко тебя мне!

Вошла Палага, кивнула головой и встала в двери, словно в раме.

— Вот она, грош цена,— ворчал солдат, потирая щеку. И, вдруг широко открыв рот, захохотал, как сова на болоте.

— Ах, дуй вас горой!

Он тряс шершавой головой, икал и брызгал слюною, скрыв свои маленькие глазки в густой сети морщин.

— Стой-ка! — воскликнула женщина, струною вытянувшись вверх.

Из сада назойливо лез в окно глухой звук, приближался, становясь всё торопливее и ясней.

— Пожалуй — он? — медленно сказал Пушкарь.— Ну, ребята, становись на правеж!

Матвею показалось, что кто-то невидимый и сильный схватил его одною холодною рукою за голову, другою — за ноги и, заморозив кровь, растягивает тело. Палага крестила его частыми крестами и бормотала:

— Бог грешным милостив... милостив...

Наскоро одевшись, нечесаный и неумытый, сын выскочил на двор как раз в тот миг, когда отец въезжал в ворота.

— Здорово ли живете? — слышал Матвей хриплый голос.

Потом отец, огромный, серый от пыли, опаленный солнцем, наклонясь к сыну, тревожно гудел:

— Ты что какой, а? Нездоров, а?

А потом, в комнате Матвея, Пушкарь, размахивая руками, страшно долго говорил о чем-то отцу, отец сидел на постели в азяме, без шапки, а Палага стояла у двери на коленях, опустив плечи и свесив руки вдоль тела, и тоже говорила:

— Бей меня... бей!

Лицо старика, огромное и багровое, странно изменилось, щеки оплыли, точно тесто, зрачки слились с белками в мутные, серо-зеленые пятна, борода тряслась, и красные руки мяли картуз. Вот он двинул ногой в сторону Палаги и рыкнул:

— Уйди прочь, стерва...

Встал, расстегнул ворот рубахи, подошел к двери и, ударив женщину кулаком по голове, отпихнул ее ногой.

— Иди со мной, Степан! — сказал он, перешагивая через ее тело.

Пушкарь тоже вышел, плотно притворив за собою дверь.

Было слышно, как старик, тяжко шаркая ногами, вошел в свою горницу, сбросил на пол одежду, распахнул окно и загремел стулом.

Когда ушел отец, сыну стало легче, яснее; он наклонился к Палаге, погладил ее голову.

— Брось, не тронь! — пугливо отшатнувшись, прошептала она.

Но он опустился на пол рядом с нею, и оба окостенели в ожидании.

Всё, что произошло до этой минуты, было не так страшно, как ожидал Матвей, но он чувствовал, что это еще более увеличивает тяжесть которой-то из будущих минут.

Дом наполнился нехорошею, сердитой тишиною, в комнату заглядывали душные тени. День был пестрый, над Ляховским болотом стояла сизая плотная туча, от нее, не торопясь, отрывались серые пушистые клочья, крадучись, ползли на город, и тени их ощупывали дом, деревья, ползали по двору, безмолвно лезли в окно, ложились на пол. И казалось, что дом глотал их, наполняясь тьмой и жутью.

Прошло множество тяжких минут до поры, пока за топкою переборкою четко посыпалась речь солдата,— он говорил, должно быть, нарочно громко и так, словно сам видел, как Матвей бросился на Савку.

— Больно ушиб? — глухо спросил отец.

— Жалуется Матвей на живот,— живот, говорит, болит...

Палага радостно шептала:

— Ой, миленький, это он — чтобы не трогал тебя батя-то!

— Ну, лежит он,— барабанил Пушкарь,— а она день и ночь около него. Парень хоть и прихворнул, а здоровье у него отцово. Да и повадки, видно, тоже твои. Сказано: хозяйский сын, не поспоришь с ним...

— Ты мне ее не оправдывай, потатчик! — рявкнул отец.— Она кто ему? Забыл?

— Вона! — воскликнул солдат.— Ей — двадцать, ему — пятнадцать, вот и всё родство!

— Ну, пошел, иди! Пошли ее сюда, а Мо... сын вышел бы в сад,— ворчал отец.

— Ты вот что... нам дворника надо...

— После!

— А ты слушай: есть у меня верстах в сорока татарин на примете...

— После, говорю!

— Вот ты меня и пошли за ним, а Матвея со мной дай...

— Молись за него, Мотя! — серьезно сказала Палага и, подняв глаза вверх, беззвучно зашевелила губами.

Матвей чутко слушал.

— Ладно,— сказал отец.

— Я не поеду, не хочу! — шепнул Матвей.

— Родимый!

— Завтра и поеду! — предложил солдат.

— Сегодня бы! — сказал отец.

— Нельзя, не справлюсь!

— Пушкарь!

— Ай?

— Плохо дело-то!

— Чем?

— Зазвонят в городе...

Матвей невольно сказал:

— Боится людей-то!

— А как же их не бояться? — ответила женщина, вздохнув.

— Вона! — вскричал Пушкарь.— Удивишь пас звоном этим! Ты вот стряпке привяжи язык короче...

— Савку-то вам бы до смерти забить да ночью в болото...

— Что — лучше этого! Ну — иду! Ты, Савелий, попомни — говорится: верная указка не кулак, а — ласка!

— Иди! — крикнул старик.

Отворилась дверь, и Пушкарь, подмигивая, сказал Палаге громко:

— Иди к хозяину!

И, наклонясь, зашипел:

— Ду-ура! Оделась бы потолще. Наложи за пазухите чего-нибудь мягкого, ворона!

Палага усмехнулась, обняла голову пасынка, молча поцеловала и ушла.

Солдат взял Матвея за руку.

— Айда!

— Бить он ее будет? — угрюмо спросил юноша.

— Побьет несколько,— отвечал солдат и успокоительно прибавил: — Ничего, она баба молоденькая... Бабы — они пустые, их можно вот как бить! У мужика внутренности тесно положены, а баба — у нее пространство внутри. Она — вроде барабана, примерно...

Беспомощный и бессильный, Матвей прошел в сад, лег под яблоней вверх лицом и стал смотреть в небо. Глухо гудел далекий гром, торопливо обгоняя друг друга, плыли дымные клочья туч, вздыхал влажный жаркий ветер, встряхивая листья.

— Оо-рро-о-о! — лениво рычал гром, и казалось, что он отсырел.

В голове Кожемякина бестолково, как мошки в луче солнца, кружились мелкие серые мысли, в небе неустанно и деловито двигались на юг странные фигуры облаков, напоминая то копну сена, охваченную синим дымом, или серебристую кучу пеньки, то огромную бородатую голову без глаз с открытым ртом и острыми ушами, стаю серых собак, вырванное с корнем дерево или изорванную шубу с длинными рукавами — один из них опустился к земле, а другой, вытянувшись по ветру, дымит голубым дымом, как печная труба в морозный день.

Матвей чувствовал, что Палага стала для него ближе и дороже отца; все его маленькие мысли кружились около этого чувства, как ночные бабочки около огня. Он добросовестно старался вспомнить добрые улыбки старика, его живые рассказы о прошлом, всё хорошее, что говорил об отце Пушкарь, но ничто не заслоняло, не гасило любовного материнского взгляда милых глаз Палаги.

Мучительная тревога за нее сжимала сердце, юноша ощущал горячую сухость в горле, ему казалось, что из земли в спину и в затылок ему врастают острые шипы, рвут тело.

Вдруг он увидал Палагу: простоволосая, растрепанная, она вошла в калитку сада и, покачиваясь, как пьяная, медленно зашагала к бане; женщина проводила пальцами по распущенным косам и, вычесывая вырван-

ные волосы, не спеша, навивала их на пальцы левой руки. Ее лицо, бледное до синевы, было искажено страшной гримасой, глаза смотрели, как у слепой, она тихонько откашливалась и всё вертела правой рукой в воздухе, свивая волосы на пальцы.

Матвей вскочил с земли, подкинутый взрывом незнакомой ему злобы.

— Больно?

— Ничего! — ответила она серьезно и просто.— Ты теперь...

Пошатнувшись, схватила его за плечо и прошептала, задыхаясь:

— Пушкаря возьми,— ты не ходи один! Он меня — в живот всё ножищами-то... ребеночка, видно, боится...

— Ну, пусть и меня бьет,— пробормотал Матвей, срываясь с места.

Слепо, как обожженный, он вбежал в горницу и, не видя отцова лица, наскакивая на его темное тело, развалившееся на скамье у стола, замахал сжатыми кулаками.

— Бей и меня,— ну, бей!

И замолчал, как ушибленный по голове чем-то тяжелым: опираясь спиною о край стола, отец забросил левую руку назад и царапал стол ногтями, показывая сыну толстый темный язык. Левая нога шаркала по полу, как бы ища опоры, рука тяжело повисла, пальцы ее жалобно сложились горсточкой, точно у нищего, правый глаз, мутно-красный и словно мертвый, полно налился кровью и слезой, а в левом горел зеленый огонь. Судорожно дергая углом рта, старик надувал щеку и пыхтел:

— Са-ппа... ппа... ппа...

Матвей выскочил из горницы и наткнулся на Власьевну.

— Эк тебя! — услышал он ее крик, и тотчас же она завизжала высоко и звонко:

— Ба-атюшки! Уби-или! Отца-а...

С этой минуты, не торопясь, неустанно выматывая душу, пошли часы бестолкового хаоса и тупой тоски.

Точно головня на пожаре в серой туче дыма, летал Пушкарь, тряс Власьевну, схватив ее за горло, и орал:

— Я те дам убийство!

— Кровь, миленький, на полу...

— Палагина, а не его! Вас, ведьмов, в омута бросать надо!

Палага, держась одной рукой за косяк, говорила:

— Брось ее! Попа-то, лекаря-то бы...

Отец, лежа на постели, мигал левым глазом, в его расширенном зрачке неугасимо мерцала острая искра ужаса, а пальцы руки всё время хватали воздух, ловя что-то невидимое, недающееся.

По двору, в кухне и по всем горницам неуклюже метались рабочие. Матвей совался из угла в угол с какими-то тряпками и бутылками в руках, скользя по мокрому полу, потом помогал Палаге раздевать отца, но, увидав половину его тела неподвижною, синею и дряблой на ощупь, испугался и убежал.

В темном небе спешно мелькали бледные окуровские молнии, пытаясь разорвать толстый слой плотных, как войлок, туч; торопливо сыпался на деревья, крыши и на землю крупный, шумный летний дождь — казалось, он спешит как можно скорее окропить это безнадежное место и унести свою живительную влагу в иные края. Рокотал гром, шумели деревья, с крыш лились светлые ленты воды, по двору к воротам мчался грязный поток, в нем, кувыркаясь, проплыла бобина, ткнулась в подворотню и настойчиво застучала в нее, словно просясь выпустить ее на улицу.

Вышла Палага, положила подбородок свой на плечо Матвея, как лошадь, и печально шептала в ухо ему:

— Миленький,— видно, и мне в монастырь идти, как матушке твоей...

Стучали в ворота, Матвей слышал стук, но не отпирал и никого не позвал. Выскочил из амбара веселый Михайло и, словно козел, прыгая по лужам, впустил во двор маленького черного попа и высокого рыжего дьячка; поп, подбирая рясу, как баба сарафан, громко ворчал:

— Священно-церковнослужителя зовут, а ворот не отпирают! Дикость!

Когда он вошел в дом, Михайло, сладостно покрякивая, развязал пояс рубахи и начал прыгать на одном

месте: дождь сек его, а он тряс подол рубахи, обнажая спину, и ухал:

— Уухх-ты-ы! У-ухх! А-а!

Это было так вкусно, что Матвею тоже захотелось выскочить на дождь, но Михайло заметил его и тотчас же степенно ушел в амбар.

«Отец помирает!» — напомнил себе юноша, но, прислушавшись к своим чувствам, не нашел в них ничего яснее желания быть около Палаги.

Дождь переставал, тучи остановились над городом и, озаряемые голубоватым блеском отдаленных молний, вздрагивали, отряхая на грязную землю последние, скупые капли. Каркала ворона, похваливая дождь.

Снова долго стучали железной щеколдой и пинками в калитку, а в амбаре глухо спорили:

— Иди, отпирай!

— Я попу отпирал.

— Попу-то и я бы отпер...

— Иди, Ван!

— Яким, иди ты!

Сухой, угловатый Яким вылез из амбара, поглядел на лужи, обошел одну, другую и попал в самую середину третьей, да так уж прямо, не спеша и не обходя грязи, и дошел до ворот.

Высокий человек в картузе с кокардой, в сером смешном казакине и полосатых штанах навыпуск, спросил:

— Здесь больной?

Яким подумал, потрогал свой пупок и ответил:

— Хозяин-от? Куда ж ему деваться? Ту-ут он, в горницах.

— Болван! — просто сказал человек с кокардой.

Матвей тоскливо вздохнул, чувствуя, что серые тесные облака всасывают его в свою гущу.

— Что? — неожиданно спросил Пушкарь, подходя сзади, и, ударив Матвея по плечу, утешительно объяснил: — Ничего! Это — паларич. У нас был капитан Земель-Луков, так его на параде вот эдак-то хватило. Чебурах наземь и — вчистую!

— Умер? — спросил Матвей.

— А как же? Обязательно умер!

— Тятя тоже умрет?

— Чудак! — усмехнулся солдат, поглядывая в сторону.— И он, и я, и ты — на то живем! Дело сделал и — вытягивай ходилки!

Помолчав, Матвей сказал укоризненно и тихо:

— Избил он Палагу-то.

— Н-да, видать, попало ей! — согласился Пушкарь.— Нельзя, жалко ему! Ревностный он, старый бес, до баб! Обидно рыжему козлу!

Солдат неприятно сморщился, плюнул и старательно растер плевок ногой, а потом ласково добавил:

— Ничего, она хрюшка здоровенная!

Оглянувшись, Матвей шёпотом спросил:

— Тебе жалко тятю-то?

— Привык я! — сказал Пушкарь, вздыхая.— Мы с ним ничего, дружно жили. Уважались оба. Дружба с человеком — это, брат, не гриб, в лесу не найдешь, это, брат,— в сердце растет!

И ушел, поднимая ноги высоко, как журавль, ставя их в грязь твердо и шумно.

Матвей остался в сенях, соображая:

«Говорит нехорошо про отца, плюет. А жалеет...»

Снова явилась Палага и, виновато улыбаясь, сказала:

— Не могу больше стоять на ногах...

Он отвел ее в свою горницу и, когда она легла на постель, заведя глаза под лоб, уныло отошел от нее, отодвинутый знакомым ему, солоноватым теплым запахом,— так пахло от избитого Савки.

— Не надо бы мне ложиться у тебя,— бормотала она.— Растоптал он, раздавил, видно, внутри-то у меня.

Матвей взглянул на нее и вдруг со страшной ясностью понял, что она умрет, об этом говорило ее лицо, не по-человечески бледное, ввалившиеся глаза и синие, точно оклеенные чем-то, губы.

Он молча ткнулся головой в грудь ей. Палага застонала и, облизывая губы сухим языком, едва слышно попросила:

— Сними головку-то,— дышать мне тяжко...

Потом сын стоял рядом с Пушкарем у постели отца; больной дергал его за руку и, сверкая зеленым глазом, силился сказать какие-то слова.

— Пу... пуш...

Солдат тыкал себя пальцем в грудь, спрашивая:

— Я, что ли?

— Ма...

— Матвей? Чтобы мне его наблюдать — так, что ли? Ну, это я знаю! Ты, Савел, об этом — ни-ни...

Но старик махал рукою и шипел:

— Ах-хи-и... Паш... аш... мо... мо-о...

— Ну да! — сказал Пушкарь.— Я знаю! Монастырь.

Старик отталкивал руку сына, хватался за сердце, мычал и шипел, тяжко ворочая языком, хлопал себя по бедру и снова цапал сына потными толстыми пальцами.

Вся левая половина его тела точно стремилась оторваться от правой, спокойно смотревшей мертвым глазом куда-то сквозь потолок. Матвею было страшно, но не жалко отца; перед ним в воздухе плавало белое, тающее лицо женщины. Голос старика напоминал ему шипение грибов, когда их жарят на сковороде.

У окна стоял поп и говорил лекарю:

— Более же всего я люблю сомов, даже во снах, знаете, вижу их нередко...

Высокий дьячок, стоя перед часами, скоблил пальцем желтый циферблат, густо засиженный мухами; эти мухи — большущие, синие — наполняли воздух горницы непрерывным гудением. Всё вокруг было крепко оклеено вязкою тоскою, всё как бы остановилось, подчиняясь чьей-то неведомой власти.

Так прошло четыре темных дождливых дня, на третий — удар повторился, а ранним утром пятого дня грузный рыжий Савелий Кожемякин помер, и минуту смерти его никто не видал. Монахиня, сидевшая у постели, вышла в кухню пить чай, пришел Пушкарь сменить ее; старик лежал, спрятав голову под подушку.

— Я говорю,— рассказывал солдат,— ты чего спрятался? Это я будто шутю! Ты, говорю, не прячься! Приоткрыл, а он тово,— весь тут, окромя души...

Матвей рыдал от невыносимого страха пред смертью, проснувшейся жалости к отцу и боязни за Палагу.

Она не вставала, металась в жару и бредила, живот ее всё вздувался. Не раз Матвей видел в углу комнаты

тряпки, испачканные густой темной кровью, и все дни его преследовал ее тяжелый, пьяный запах.

Изредка приходя в сознание, женщина виновато смотрела в лицо Матвея и шептала:

— Ой, как я расхворалася! Горницу отбила у тебя. Где ты спишь-то,— хорошо ли тебе спать-то?

Хоронили отца пышно, со всеми попами города и хором певчих; один из них, пожарный Ключарев, с огромною, гладко остриженною головою и острой, иссиня-черной бородой, пел громче всех и всю дорогу оглядывался на Матвея с неприятным, подавляющим любопытством.

Прислушиваясь к мирному, глухому говору людей, молодой Кожемякин с удивлением слышал немало добрых речей об отце.

— Что гордион и буеслов был покойник, это — с ним! — говорил старик Хряпов, идя сзади Матвея.— Ну, и добр был: арестантам ежесубботне — калачи...

— Арестанты — это верно! Они ему того — близки были...

— На Пасху — яйца, творог, на Рождество — мясо...

И, перечислив подробно все деяния усопшего, Хряпов покаянно сказал:

— А не уважал людей — дак ведь и то сказать надобно: за какие дела уважать нас? Живем, конечно, ну — ловкости особенной от нас для этого не требуется...

Кто-то ворчал:

— Неведомо нам, сколько демонов обступят смертные одры наши в час остатний...

Рядом с Матвеем шагал длинный и похожий на скворешницу Пушкарь в невиданном темно-зеленом мундире с позументами на воротнике и на рукавах, с медными пуговицами на груди и большой черной заплатой под мышкой. Иногда он, оборачиваясь назад, поднимал руку вверх и строго командовал:

— Тиш-ша!

Слушались.

Когда стали погружать в серую окуровскую супесь тяжелый гроб и чернобородый пожарный, открыв глубочайшую красную пасть, заревел, точно выстрелил: «Ве-еч...» — Матвей свалился на землю, рыдая и биясь головою о чью-то жесткую, плешивую могилу, скупо одетую дерном. Его обняли цепкие руки Пушкаря, прижали щекой к медным пуговицам. Горячо всхлипывая, солдат вдувал ему в ухо отрывистые слова:

— Ничего! Держись! Слушай команду, мотыль! Я, брат,— вот он я!

И всю дорогу, вплоть до двора, солдат бормотал, храбро попирая липкую окуровскую грязь:

— Командир был своей жизни, да! Он? Кабы в другом месте, он бы делов наделал! Лют был на работу! Дом этот купив, что делал, супостат рыжий! И печник он, и кровельщик, и маляр, и плотник — куда хошь! А гляди, какой сад развел: дерева — красавцы, червя — нет, кора чистая, ни лишаинки! К нему монахини ходили садовому делу учиться,— мастер, ведун! Это, брат, дорогого стоит, когда можешь людей чему доброму научить! Бывало, говорит: не одни цветы да травы, а и человек должен землю украшать — да! Железо ковать, жену целовать — везде поспел! Я, бывало, шутю: Савелий, вон там лес стоит, подь, выкоси его к вечеру! Жили, брат, как надо, правильно! И ты так живи: с человеком — и подерись, а сердцем поделись...

Придя домой, юноша со стыдом почувствовал, что ему нестерпимо хочется есть; он видел, что поминки начнутся не скоро: рабочие остались врывать крест на кладбище, и нищих собралось мало. Тогда он тихонько стащил со стола кусок ситного хлеба, ушел в сад, там, спрятавшись в предбаннике, быстро съел его и, чувствуя себя виноватым, вышел на двор.

Он впервые увидал так много людей, обративших на него внимание. Девять столов было накрыто на дворе; в кухне Власьевна и Наталья пекли блины, из окна густо текло жирное шипение масла, нищие, заглядывая в окно, нетерпеливо и жадно потягивали носами. Их было несколько десятков, здоровых и калек, и все они, серые, тихие, лениво топтавшиеся по двору, заползая во все углы, показались Матвею противными, как вши.

Двор был натискан лохмотьями и набит шорохом голосов, подобным мурлыканью множества кошек. Отовсюду на лицо Матвея падали слащавые улыбки, в уши вторгался приторный шёпот сочувствия, восхищения молодостью, красотой и одеждой, вздохи, тихие слова молитв. Он замечал, как злые и жадные глаза, ощупывая его, становились покорны, печальны и ласковы,— и, обижаясь этой, слишком явною, ложью, опускал голову.

Седые грязные волосы всклокоченных бород, опухшие желтые и красные лица, ловкие, настороженные руки, на пальцах которых, казалось, были невидимые глаза,— всё это напоминало странные видения божьего крестника, когда он проезжал по полям мучений человеческих. Как будто на двор с улиц города смели все отрепья, среди них тускло сверкали осколки бутылок, и ветер брезгливо шевелил эту кучу гнилого сора. Только две-три фигуры, затертые в углах двора, смотрели на всё вокруг равнодушными глазами, как бы крепко связанные бесконечной, неразрешимой думой о чем-то важном.

К Матвею подкатился пузатый человечек с бритым лицом, вытаращил круглые, точно копейки, стертые глаза, изорванные сетью красных трещин. Размахивая короткой рукой, он начал кричать:

Вотще и втуне наши пени,
Прпидет смерть с косой своей
И в ярый холод смертной сени
Повергнет радость наших дней!..

А сзади кто-то торопливо совал в ухо Матвея сухие слова:

— Не верь ему, родимый! Он не юродивый, а чиновник,— чиновник он, за воровство прогнан, гляди-ко ты, клоп какой,— у нас тут настоященький есть юродивый...

— Государь мой,— говорил чиновник жалобно и громко,— прошу послушать превосходные и утешительные стихиры, сочиненные дядей моим, знаменитым пиитой и надворным...

Но его оттерли прочь, поставив перед Матвеем длинного человека, несуразно сложенного из острых костей, наскоро обшитых старой, вытертой, коричневой кожей. Голова у него была маленькая, лоб выдвинулся вперед и навис над глазами; они смотрели в лицо юноши, не мигая и словно не видя ничего.

— Спой, Алеша, спой песенку! — говорили ему.

Он затопал ногой о землю и стал ворчать, неясно и с трудом выговаривая слова:

Жил Пыр Растопыр.
Обежал он целый мир,
Копеечек наловил —
Смерть себе купил...

И снова в ухо юноши кто-то быстро сыпал:

— Об этом тебе бы подумать: он ничего зря не говорит, а всё с намерением, великого подвига человек, тоже купеческий сын...

Матвей задыхался в тесном зловонном плену, но вдруг нищие закачались, их плотная груда поредела.

— Живо за столы, мизгирьё! — кричал солдат.

Матвею хотелось сказать, что он боится нищих и не сядет за стол с ними, противны они ему, но вместо этого он спросил Пушкаря:

— Что ты как толкаешь их?

— Они за толчком не гонятся...

— Они за нас бога молят...

— В кабаках больше...

Кожемякин спросил:

— Ты чего-нибудь боишься?

— Я?

Солдат потер чисто выбритый подбородок и нерешительно ответил:

— Не знаю. Не приходилось мне думать об этом...

Тогда Матвей сказал о нищих то, что хотелось, но Пушкарь, наморщив лоб, ответил:

— Нет, ты перемогись! Обычай надо исполнить. Нехорошо!

Юноша съежился, ему стало неловко перед солдатом и жаль сказанного.

Зашел к Палаге, она была в памяти, только ноги у нее совсем отнялись.

— Некрасивая, чай, стала? — виновато спросила она.

— Красивая... еще лучше...

За сутки она истаяла страшно: нос обострился, желтые щеки опали, обнажив широкие кости скул, темные губы нехорошо растянулись, приклеившись к зубам.

— Родимый,— шелестел ее голос,— ах, останешься ты один круглым сиротиной на земле! Уж ты держись за Пушкарева-то, Христа ради,— он хошь слободской, да свят человек! И не знаю лучше его... Ох, поговорить бы мне с ним про тебя... коротенькую минутку бы...

Он был рад предлогу уйти от нее и ушел, сказав, что пришлет солдата.

А послав его к Палаге, забрался в баню, влез там на полок, в темный угол, в сырой запах гниющего дерева и распаренного листа березы. Баню не топили всего с неделю времени, а пауки уже заткали серыми сетями всё окно, развесили петли свои по углам. Кожемякин смотрел на их работу и чувствовал, что его сердце так же крепко оплетено нитями немых дум.

Слышал, как Власьевна и Наталья звали его, слышал густое урчание многих голосов на дворе, оно напоминало ему жирные пятна в ушате с помоями. Хотелось выйти на пустырь, лечь в бурьян вверх лицом и смотреть на быстрый бег сизых туч, предвестниц осени, рожденных Ляховским болотом. Когда на дворе стало тихо и сгустившийся в бане сумрак возвестил приближение вечера, он слез с полка, вышел в сад и увидал Пушкаря, на скамье под яблоней: солдат, вытянув длинные ноги, упираясь руками о колени, громко икал, наклоня голову.

— Н-на, ты таки сбежал от нищей-то братии! — заговорил он, прищурив глаза.— Пренебрег? А Палага — меня не обманешь, нет! — не жилица,— забил ее, бес... покойник! Он всё понимал,— как собака, примерно. Редкий он был! Он-то? Упокой, господи, душу эту! Главное ему, чтобы — баба! Я, брат, старый петух, завел себе тоже курочку, а он — покажи! Показал. Раз, два и — готово!

Матвей дотронулся до него и убедительно попросил:

— Давай схороним ее хорошенько,— без людей как-нибудь!

— Палагу? — воскликнул солдат, снова прищурив глаза.— Мы ее само-лучше схороним! Рядышком с ним...

— Не надо бы рядом-то...

— Рядом! — орал солдат, очерчивая рукою широкий круг.— Пускай она его догонит на кругах загробных, вместе встанет с ним пред господом! Он ему задаст, красному бесу!..

— Не ругайся, нехорошо! — сказал Матвей.

Солдат посмотрел на него, покачал головой и пробормотал:

— Вя-вя-вя — вякают все, будто умные, а сами — дураки! Ну вас к бесам!

Пьянея всё более, он качался, и казалось, что вот сейчас ткнется головой в землю и сломает свою тонкую шею. Но он вдруг легко и сразу поднял ноги, поглядел на них, засмеялся, положил на скамью и, вытянувшись, сказал:

— Боле ничего...

«С ним жить мне!» — подумал юноша, оглядываясь.

К вечеру Палага лишилась памяти и на пятые сутки после похорон старика Кожемякина тихонько умерла.

Матвей уговорил солдата хоронить ее без поминок. Пушкарь долго не соглашался на это, наконец уступил, послав в тюрьму три пуда мяса, три — кренделей и триста яиц.

Зарыли ее, как хотелось Матвею, далеко от могилы старого Кожемякина, в пустынном углу кладбища, около ограды, где густо росла жимолость, побегушка и темно-зеленый лопух. На девятый день Матвей сам выкосил вокруг могилы сорные травы, вырубил цепкие кусты и посадил на расчищенном месте пять молодых берез: две в головах, за крестом, по одной с боков могилы и одну в ногах.

— Ну, брат,— говорил солдат Матвею ласково и строго,— вот и ты полный командир своей судьбы!

Гляди в оба! Вот, примерно, новый дворник у нас,— эй, Шакир!

Откуда-то из-за угла степенно вышел молодой татарин, снял с головы подбитую лисьим мехом шапку, оскалил зубы и молча поклонился.

— Вот он, бес! — кричал солдат, одобрительно хлопая татарина по спине и повертывая его перед хозяином, точно нового коня.— Литой. Чугунный. Ого-го!

Дворник ловко вертелся под его толчками, не сводя с Матвея серых, косо поставленных глаз, и посмеивался добродушным, умным смешком. В синей посконной рубахе ниже колен, белом фартуке, в чистых онучах и новых лаптях, в лиловой тюбетейке на круглой бритой голове, он вызывал впечатление чего-то нового, прочного и чистого. Его глаза смотрели серьезно и весело, скуластое лицо красиво удлинялось темной рамой мягких волос, они росли от ушей к подбородку и соединялись на нем в курчавую раздвоенную бороду, открывая твердо очерченные губы с подстриженными усами.

— Бульна хороша золдат! — говорил он, подмигивая на Пушкаря.

Матвей смущенно усмехался, не зная, что сказать. Но Шакир, видимо, поняв его смущение, протянул руку, говоря:

— Давай рука, хозяин! Будем довольна, ты — мине, я — тибяй...

И, вдруг облапив Пушкаря, поднял его на воздух и куда-то понес, крича:

— Айда, абзей! Кажи — какой доска? Кажи шерхебель, всю хурда-мурда кажи своя!

Матвей засмеялся, легко вздохнул и пошел в город.

При жизни отца он много думал о городе и, обижаясь, что его не пускают на улицу, представлял себе городскую жизнь полной каких-то тайных соблазнов и веселых затей. И хотя отец внушил ему свое недоверчивое отношение к людям, но это чувство неглубоко легло в душу юноши и не ослабило его интереса к жизни города. Он ходил по улицам, зорко и дружественно наблюдая за всем, что ставила на пути его окуровская жизнь.

Бросилось в глаза, что в Окурове все живут не спеша, ходят вразвалку, вальяжно, при встречах останавливаются и подолгу, добродушно беседуют.

Выйдя из ворот, он видит: впереди, домов за десяток, на пустынной улице стоят две женщины, одна — с ведрами воды на плечах, другая — с узлом под мышкой; поравнявшись с ними, он слышит их мирную беседу: баба с ведрами, изгибая шею, переводит коромысло с плеча на плечо и, вздохнув, говорит:

— Вот уж опять — четверг.

— Бежит время-то, милая!

— Через день и тесто ставить...

— С чем печешь?

— По времени-то с капустой надо, а либо с морковью, да мой-от не любит...

Они косятся на Кожемякина, и баба с узлом говорит:

— А сходи-ка ты, мать моя, ко Хряповым, у них, чу, бычка зарезали, не продадут ли тебе ливер. Больно я до пирогов с ливером охотница!

Баба с ведрами, не сводя глаз с прохожего, отвечает медленно, думая как бы о другом о чем-то:

— Хряповы — они и детей родных продадут, люди беззаветные, а бычок-от у них чахлый был, оттого, видно, и прирезали...

Сдвинувшись ближе, они беседуют шёпотом, осененные пестрою гривою осенней листвы, поднявшейся над забором. С крыши скучно смотрит на них одним глазом толстая ворона; в пыли дорожной хозяйственно возятся куры; переваливаясь с бока на бок, лениво ходят жирные голуби и поглядывают в подворотни — не притаилась ли там кошка? Чувствуя, что речь идет о нем, Матвей Кожемякин невольно ускоряет шаги и, дойдя до конца улицы, всё еще видит женщин,— покачивая головами, они смотрят вслед ему.

Тихо плывет воз сена, от него пахнет прелью; усталая лошадь идет нога за ногу, голова ее понуро опущена, умные глаза внимательно глядят на дорогу, густо засеянную говяжьими костями, яичной скорлупой, перьями лука и обрывками грязных тряпок.

Межколесица щедро оплескана помоями, усеяна сорьём, тут валяются все остатки окуровской жизни,

только клочья бумаги — редки, и когда ветер гонит по улице белый измятый листок, воробьи, галки и куры пугаются,— непривычен им этот куда-то бегущий, странный предмет. Идет унылый пес, из подворотни вылез другой, они, не торопясь, обнюхиваются, и один уходит дальше, а другой сел у ворот и, вздернув голову к небу, тихонько завыл.

На сизой каланче мотается фигура доглядчика в розовой рубахе без пояса, слышно, как он, позевывая, мычит, а высоко в небе над каланчой реет коршун — падает на землю голодный клекот. Звенят стрижи, в поле играет на свирели дурашливый пастух Никодим. В монастыре благовестят к вечерней службе — из ворот домов, согнувшись, выходят серые старушки, крестятся и, качаясь, идут вдоль заборов.

Кажется, что вся эта тихая жизнь нарисована на земле липучими, тающими красками и еще недостаточно воодушевлена, не хочет двигаться решительно и быстро, не умеет смеяться, не знает никаких веселых слов и не чувствует радости жить в прозрачном воздухе осени, под ясным небом, на земле, богато вышитой шелковыми травами.

На Стрелецкой жили и встречались первые люди города: Сухобаевы, Толоконниковы, братья Хряповы, Маклаковы, первые бойцы и гуляки Шихана, высокий кудрявый дед Базунов,— они осматривали молодого Кожемякина недружелюбно, едва отвечая на его поклоны. И ходили по узким улицам еще вальяжнее, чем все остальные горожане, говорили громко, властно, а по праздникам, сидя в палисадниках или у ворот на лавочках, перекидывались речами через улицу.

— У меня — бардадын, фалька и осьмерка козырей...

— Н-ну? Подтасовал?

— А у него, лешего, хлюст козырей: туз, король, валет.

— Подтасовал!

— Стало быть — у меня двадцать девять с половиной, а у него тридцать один...

В другом месте кричали:

— Василь Петров, ты давеча за что Мишку порол?

— Хвост кошке насмолил сапожным варом, бесеныш!

Хохочут.

В праздничные вечера в домах и в палисадниках шипели самовары, и, тесно окружая столы, нарядно одетые семьи солидных людей пили чай со свежим вареньем, с молодым медом. Весело побрякивали оловянные ложки, пели птицы на косяках окон, шумел неторопливый говор, плавал запах горящих углей, жирных пирогов, помады, лампадного масла и дегтя, а в сетях бузины и акации мелькали, любопытно поглядывая на улицу, бойкие глаза девиц.

— Иду я вчера от всенощной,— медленно течет праздничная речь,— а на площади лежит пожарный этот, в самой-то грязи...

— То-то не пел он вчера!

— Лежит это он растерзанный, срамотный весь,— Лизавета, отойди-ка в сторонку...

А отцы семейств ведут разговоры солидные:

— Как прекратили откупа, куда больше стал мужик пить.

Старый красавец Базунов, сидя на лавке у ворот, плавною искусною речью говорит о новых временах:

— Понаделали денег неведомо сколь, и стали оттого деньги дешевы! Бывало-то, фунт мяса — полушка шел, а теперь, па-ко, выложи алтын серебра!

Базунов славен в городе, как знаток старины, и знаменит своим умением строить речь во всех ладах: под сказку, по-житийному и под стих.

Говорят о божественном, ругают потихоньку чиновников, рассказывают друг другу дневные и ночные сны.

— Лег я вчерась после обеда вздремнуть, и — навалился на меня дедушка...

— А я, сударь мой, седни ночью такое видел, что не знаю, чему и приписать: иду будто мимо храма какого-то белого и хотел снять шапку, да вместе с ней и сними голову с плеч! Стою это, держу голову в руках и не знаю — чего делать мне?

По дороге храбро прыгают лощеные галки, не боясь человечьих голосов, влетают на заборы и кричат о чем-то. Далеко в поле бьет коростель, в слободе играют на

гармонике, где-то плачет ребенок, идет пьяный слесарь Коптев, шаркая плечом о заборы, горестно всхлипывает и бормочет:

— Ну, вино-оват! Нате, винова-ат я! Нате, бейте,— потрудитесь!

На западе красно горит окуровское солнце, лишенное лучей.

Медленно проходя мимо этой мирной жизни, молодой Кожемякин ощущал зависть к ее тихому течению, ему хотелось подойти к людям, сидеть за столом с ними и слушать обстоятельные речи — речи, в которых всегда так много отмечалось подробностей, что трудно было поймать их общий смысл.

Но как-то раз, когда он задумчиво шагал мимо палисадника Маклаковых, к решетке прильнуло девичье лицо с черными глазами, и прямо в ухо прожужжали два слова:

— Мачехин муж — у-у!

Он вздрогнул,— девица показала ему язык и исчезла.

В другой раз кто-то весело крикнул из окна:

— Припадочный идет!

«Это почему же? — удивился Матвей и, добросовестно подумав, вспомнил свой обморок. — Всё знают!»

Он не обижался, но, удивляясь недружелюбному отношению, невольно задумывался.

Однажды за окнами базуновского дома он услыхал такие речи:

— Опять Савелки Кожемякина сын шагает...

— Чего это он ходит?

— Пускай. У нас и свиньи невозбранно по улице гуляют...

— Ох, не люблю я ходебщиков этих! Да еще такой...

Матвей не пожелал слышать, какой он.

В этой улице его смущал больше всех исправник: в праздники он с полудня до вечера сидел у окна, курил трубку на длиннейшем чубуке, грозно отхаркивался и плевал за окно. Борода у него была обрита, от висков к усам росли седые баки,— сливаясь с желтыми воло-

сами усов, они делали лицо исправника похожим на собачье. Матвей снимал картуз и почтительно кланялся.

— Арр-тьфу! — отвечал исправник.

На Поречной гуляли попы, чиновники и пышно разодетые дамы; там молодого парня тоже встречал слишком острый интерес к его особе.

— Ах какой! — воскликнула однажды немолодая дама в розовом платье и зеленой шляпке с перьями и цветами. Господин в серой шляпе и клетчатых брюках громко сказал:

— Хотите поцеловать? От него луком пахнет.

— Ах, насмешник!

— Он толокно ест с конопляным маслом.

И клетчатый человек стал кричать, постукивая тростью о забор:

— Эй, парень! Поддевка! Эй...

Кожемякин торопливо повернул на пустырь, где строили собор, и спрятался в грудах кирпича, испуганный и обиженный.

Ему захотелось отличить себя от горожан, возвыситься в их глазах — он начал носить щегольские сапоги, велел перешить на себя нарядные рубахи отца. И однажды, идя от обедни, услыхал насмешливый девичий возглас:

— Мамочки, как выпялился!

— Ровно пырин,— пояснила другая девица.

Ему казалось, что все окна домов смотрят на него насмешливо, все человечьи глаза — подозрительно и хмуро. Иногда короткою искрою мелькал более мягкий взгляд, это бывало редко, и он заметил, что дружелюбно смотрят только глаза старух.

Он полюбил ходить на Петухову горку — это было приятное место: маленькие домики, дружно связанные плетнями, стоят смиренно и смотрят задумчиво в тихое поле, на холмы, весною позолоченные цветами лютиков и одуванчиков, летом — буро-зеленые, словно они покрыты старинным, выцветшим штофом, а в тусклые дни долгой зимы — серебристо-белые, приветно мягкие. Там, далеко за холмами, стоит синяя стена Черной Рамени, упираясь вершинами мачтовых сосен в мякоть

серых туч. В поле весело играют ребятишки, со дворов несутся гулкие звуки работы бондарей.

Здесь он нашел недруга в лице сапожника Сетунова. Сидя под окнами или на завалинке своей ветхой избы, с красными облупленными ставнями в один створ, сапожник сучил дратву, стучал молотком, загоняя в каблуки вершковые гвозди, кашлял, хрипел и всех прохожих встречал и провожал прибаутками. Сам он был человек измятый, изжеванный, а домишко его с косыми окнами, провисшей крышей и красными пятнами ставен, казалось, только что выскочил из жестокой драки и отдыхает, сидя на земле. Еще издали заметив нарядно одетого парня, сапожник складывал руки на груди и начинал пронзительно свистеть, якобы отдыхая и любуясь синими далями, а когда Матвей равнялся с ним, он испуганно вскакивал на ноги, низко кланялся и нарочито тонким голосом говорил:

— Ах, простите, извините, не звоните...

Или любезно спрашивал:

— Чего кочет хочет, о чем он хлопочет?

Это смешило Матвея, но скоро словечки Сетунова стали вызывать у него смутное ощущение неловкости перед чахлым человеком.

— Опять пошел Савось на авось! — сказал однажды сапожник.

«Верно ведь! — подумал Кожемякин.— Что я хожу?»

И ушел на кладбище посмотреть, целы ли березы над могилой Палаги. Две из них через несколько дней после посадки кто-то сломал, а одну выдрал с корнем и утащил. Матвей посадил новые деревья, прибавив к ним молодую сосну, обнес могилу широкой оградой и поставил в ней скамью.

Всё чаще заходил он в этот тихий уголок, закрытый кустами бузины, боярышника и заросший лопухом, и, сидя там, вспоминал всё, что видел на улицах города. Вокруг него в кустах шумели воробьи, качались красные гроздья ягод, тихо осыпался желтый лист, иногда прилетала суетливая стайка щеглят клевать вкусные зерна репья. Хорошо было сидеть тут, глядя, как большое красное солнце важно опускается в болото, щедро

обливая темно-синюю щетину ельника золотом и багрецом. Ярко рдеет белесое окуровское небо; огромные комья сизых туч разорваны огненными ручьями желтых и пурпуровых красок, в густом дыме вспыхивает и гаснет кровавое пламя, струится, сверкает расплавленное золото. Живая ткань облаков рождает чудовищ, лучи солнца вонзаются в их мохнатые тела подобно окровавленным мечам; вот встал в небесах темный исполин, протягивая к земле красные руки, а на него обрушилась снежно-белая гора, и он безмолвно погиб; тяжело изгибая тучное тело, возникает в облаках синий змий и тонет, сгорает в реке пламени; выросли сумрачные горы, поглощая свет и бросив на холмы тяжкие тени; вспыхнул в облаках чей-то огненный перст и любовно указует на скудную землю, точно говоря:

«Пожалей. Полюби».

Живет в небесах запада чудесная огненная сказка о борьбе и победе, горит ярый бой света и тьмы, а на востоке, за Окуровом, холмы, окованные черною цепью леса, холодны и темны, изрезали их стальные изгибы и петли реки Путаницы, курится над нею лиловый туман осени, на город идут серые тени, он сжимается в их тесном кольце, становясь как будто всё меньше, испуганно молчит, затаив дыхание, и — вот он словно стерт с земли, сброшен в омут холодной жуткой тьмы.

Смотрел юноша, как хвастается осень богатствами своих красок, и думал о жизни, мечтал встретить какого-то умного сердечного человека, похожего на дьячка Коренева, и каждый вечер откровенно, не скрывая ни одной мысли, говорить с ним о людях, об отце, Палаге и о себе самом.

«И пусть бы у этого человека дочь была, а он выдал бы ее замуж за меня»,— думал юноша.

Он начал засматриваться на девушек. Это было сразу замечено, и городские женихи не однажды обидно и зло смеялись над ним. Почти каждый раз, когда он выходил в поле, где молодежь играла в лапту, горелки и шар-мазло, его награждали насмешливыми советами:

— Эй ты! Не свихни глаз-то, а то поправлять их мне придется!

— Ты бы, парень, сначала у Сомихи побывал.

— На что ему? Он ученый!

От Пушкаря и рабочих Матвей знал, что Сомиха, пожилая, грязная и толстая баба, учит городскую молодежь делам любви за косушку водки и фунт крепделей.

Мальчишки кричали ему:

— Вдовец! Мачехин муж...

Бледнея и смущенно улыбаясь, он молча уходил прочь и думал без обиды, но с великим удивлением:

«Вам-то что? Если я виноват — так против отца, против бога,— а вы-то что?»

Он не отвечал на обиды и насмешки и не заметил, что его скромность, смущенные улыбки, бесцельная ходьба по городу и неумение подойти к людям, познакомиться с ними вызывают у них то снисходительное, небрежное отношение к нему, которое падает на долю идиотов, убогих и юродивых.

А в нем незаметно, но всё настойчивее, укреплялось желание понять эти мирные дни, полные ленивой скуки и необъяснимой жестокости, тоже как будто насквозь пропитанной тоскою о чем-то. Ему казалось, что если всё, что он видит и слышит, разложить в каком-то особом порядке, разобрать и внимательно обдумать,— найдется доброе объяснение и оправдание всему недоброму, должно родиться в душе некое емкое слово, которое сразу и объяснит ему людей и соединит его с ними.

Приходилось разбираться в явлениях почти кошмарных. Вот рано утром он стоит на постройке у собора и видит — каменщики бросили в творило извести черную собаку. Известь только еще гасится, она кипит и булькает, собака горит, ей уже выжгло глаза, захлебываясь, она взвизгивает, судорожно старается выплыть, а рабочие, стоя вокруг творила в белом пару и пыли, смеются и длинными мешалками стукают по голове собаки, погружая искаженную морду в густую, жгучую, молочно-белую массу.

— Почто вы ее? — спросил он.

Молодой малый, с круглым румяным лицом и опудренными известью усами, ответил вопросом:

— Твоя, что ли?

— Нет.

— Та́к это мы,— сказал парень, добродушно ухмыляясь,— смешно больно полощется она!

А другой рабочий объяснил:

— Бегала она тут,— бегает, значит, ну — животная все-таки глупая — сорвалась! Мы было хотели вытащить ее, да куда она? Ослепла, чай. Пускай уж...

Матвей, наклонив голову, сконфуженно отошел прочь: он видел, что именно этот человек, русый и курносый, подманил собаку, приласкал ее и сшиб в творило пинком ноги, крикнув товарищам:

— Топи ее!

Вот посреди улицы, перебирая короткими ногами и широко разгоняя грязь, бежит — точно бочка катится — юродствующий чиновник Черноласкин, а за ним шумной стаей молодых собачонок, с гиком и свистом, мчатся мальчишки, забегают вперед и, хватая грязь, швыряют ею в дряблые, дрожащие щеки чиновника, стараясь попасть в его затравленные, бессильно злые глаза. Он уже весь обрызган, грязь течет у него по животу, который безобразно свисает до колен, человек прыгает по лужам, открыв круглый, как у сома, рот, и одной рукой машет перед лицом, защищая глаза, а другой подхватывает снизу живот свой, точно боясь потерять его. Его коротенькое тело неизъяснимо быстро вертится во все стороны, он устал, из маленьких глаз текут грязные слезы.

Мальчишки прыгают вокруг него и хором кричат, взмахивая руками:

— Петька Черноласкин, бритая губа! Соль воровал, жену барам продавал! Кабацкая затычка, острожный клоп!

Из окон домов высунулись какие-то однообразно мутные лица, слышен одобрительный говорок:

— Уж эти ребятишки, гляди-тко, опять чиновника опевают...

— За что вы его? — спрашивает Матвей кудрявого мальчугана с пестрым от веснушек лицом, и запыхавшийся человечек удало отвечает:

— От самого от монастыря гоним!

— За что?

— Та-ак!

— Ты бы его пожалел! — тихонько и оглядываясь советует Кожемякин.— Гляди, как он устал...

— Я сам устал! — правдиво отвечает юный гонитель, отирая потное лицо рукавом рубахи.

Мальчик постарше, с маленькими, точно у мышонка, ушами и острым носом, говорит, нахмурясь:

— Кабы он настоящий юрод был — тогда надо пожалеть...

Еще два-три голоса спешно объясняют:

— Алешу мы не трогаем...

— Мы только его да Собачью Матку...

Остроносый мальчик отодвинулся в сторону, приложил локти к бокам и спросил:

— Ты Кожемякин будешь? Мачехин муж?

И стремглав бросился прочь.

На углу Напольной стоит двухэтажный обгоревший дом. Сгорел он, видимо, уже давно: дожди и снега почти смыли уголь с его бревен, только в щелях да в пазах остались, как сгнившие зубы, черные, отшлифованные ветром куски и, словно бороды, болтаются седые клочья пакли.

Сквозь пустые окна верхнего этажа видно небо, внутри дома хаотически торчат обугленные стропила, балки, искалеченные колоды дверей; на гниющем дереве зеленые пятна плесени, в мусоре густо разросся бурьян, из окон сонно кивает чернобыльник, крапива и пырей. С одной стороны дома — сад, в нем обгоревшие ветлы, с другой — двор, с проваленными крышами построек.

В солнечные дни тусклый блеск угля в пазах испещряет дом черными гримасами, в дожди — по гладким бревнам обильно текут ржавые, рыжие слезы. Окна нижнего этажа наглухо забиты досками, сквозь щели угрюмо сверкают радужные стекла, за стеклами — густая тьма, и в ней живет Собачья Матка.

Высокая, прямая и плотная, она ходила по городу босиком, повязывая голову и плечи теплою серою шалью, лохмотья кофты и юбок облекали ее тело плотно и ловко, как сосну кора. Из-под шали, приспущенной на лоб и закрывавшей подбородок, сердито смот-

рели круглые совиные глаза и неподвижно торчал большой, словно железный, нос. Она шагала твердо и отмеривала пройденный путь широкими взмахами толстой ореховой палки, стучала под окнами властной рукою и, когда обыватель высовывал голову, говорила ему сиплым, неприятным голосом:

— Милостыню подай!

За нею всегда бежала стая собак; старые солидные дворняги с вытертою шерстью и седым волосом на равнодушных мордах, унылые псы с поджатыми хвостами в репьях и комьях грязи, видимо уже потерявшие уважение к себе; бежали поджарые сучки, суетливо тыкая всюду любопытные носы и осматривая каждый угол хитрым взглядом раскосых глаз, катились несокрушимо веселые щенята, высунув розовые языки и удивленно вытаращив наивные глаза. Все они были дружно объединены тем чувством независимости от людей, которое всегда наиболее свойственно паразитам, все жили и ходили по миру всегда вместе со своей кормилицей, и часто она отдавала им милостыню тут же, на глазах милосердного обывателя.

Ее — боялись; говорили, что она знакома с нечистой силой, что ей послушны домовые,— стоит захотеть ей, и корова потеряет удой, лошадь начнет гонять по ночам дедушка, а куры забьют себе зоба. Предполагалось, что она может и на людей пускать по ветру килы, лихорадки, черную немочь, сухоту.

Милостыню ей давали обильно и молча, не изъясняя, для какой цели дают, если же кто-нибудь по забывчивости говорил: «Прими Христа ради за упокой раба...» — Собачья Матка глухо ворчала:

— Больно нужно...

И — бросала кусок своим собакам.

Ее история была знакома Матвею: он слышал, как Власьевна рассказывала Палаге, что давно когда-то один из господ Воеводиных привез ее, Собачью Матку,— барышнею — в Окуров, купил дом ей и некоторое время жил с нею, а потом бросил. Оставшись одна, девушка служила развлечением уездных чиновников, потом заболела, состарилась и вот выдумала сама себе наказание за грехи: до конца дней жить со псами.

Матвей помнил, как Палага задумчиво и тихонько спросила:

— А может, это она оттого, что уж очень обрыдли люди-то ей?

— Что ты это, мать моя, чай, людей-то бог сотворил!

— А ее? — спросила Палага, подумав.

— Кого?

— Эту, барышню-то?

Власьевна начала поучительно объяснять Палаге разницу между собаками, людьми и Собачьей Маткой, а Матвей, слушая, еще лишний раз вспомнил брезгливо оттопыренную губу отца.

Мальчишки следили за Собачьей Маткой, издали лукая камнями в ее свиту, но где-нибудь в глухом тупике, на пустыре, за углом, вдруг окружали ее, крича:

— Собачья Мать, покажи пачпорт! Покажь пачпорт, Собачья Мать...

Она останавливалась и, высоко вздернув юбку, показывала им желтые ноги, мохнатый живот и глухо, в такт их крикам, говорила три слова:

— Вот — вам — пачпорт!

Ребятишки визжали, хохотали, кидая в нее камнями и грязью, а она повертывалась к ним лицом и, не мигая совиными глазами, повторяла:

— Вот — вам — пачпорт!

Иногда взрослые, видя это, стыдили ребят:

— Что? Видели? Так вас и надо, охальники!

Когда она бесстыдно и зло обнажалась, Кожемякин в тоске и страхе закрывал глаза: ему казалось, что все мальчишки и собаки были выношены в этом серо-желтом мохнатом животе, похожем на унылые древние холмы вокруг города.

Изо дня в день он встречал на улицах Алешу, в длинной, холщевой рубахе, с раскрытою грудью и большим медным крестом на ней. Наклоня тонкое тело и вытянув вперед сухую черную шею, юродивый поспешно обегал улицы, держась правою рукою за пояс, а между пальцами левой неустанно крутя чурочку, оглаженную до блеска,— казалось, что он преследует нечто, не видимое никому и постоянно ускользающее от него.

Тонкие, слабые ноги четко топали по доскам тротуаров, и сухой язык бормотал:

— Пыр Растопыр, берегись, божий мир...

Взрослые, уступая ему дорогу, крестились, а мальчишки, натыкаясь на него, пугливо отскакивали в сторону, если же он шел на них — молча разбегались. И даже храбрый будочник Анкудин Черемис, единолично избивавший сразу несколько человек мастеровых, когда они буянили или колотили жен, играли в орлянку или когда ему было скучно,— даже Анкудин сторонился Алеши и, тревожно мигая косыми глазами, прятал кулаки за спину.

...В базарные дни Кожемякин ходил по Торговой площади, прислушиваясь к спорам горожан с деревенскими. Мужики были коренастые, бородатые, точно пенья, обросшие мохом; мещанство рядом с ними казалось мелким и суетливым, подобно крысам у конуры цепного пса. Большинство мещан не скрывало своего пренебрежения к деревенским, и лишь немногие разговаривали с ними притворно ласково. Часто говорилось:

— На погибель вашу воля дана вам, обломы!

— Почем репа? — спрашивал Базунов.

— Алтын мера.

— Ты сам — некоторое время назад — со всей семьей, с отцом-матерью, за алтын продавался, да не куплен остался!

— Ах, уж этот Еремей Петров! — хохотали мещане.

А старуха Хряпова, торгуя липовую опарницу, отчитывает мужика на весь базар:

— Побойся бога-то, чай, крещеный ты, а грабителем выступаешь! Гривенник — понимаешь ли ты слово-то — гривенник, а?

Все горожане возмущались жадностью мужиков, много говорили о том, что воля всё больше портит их, обращаясь к старым крестьянам, часто называли их снохачами; в воздухе, точно летучие мыши, трепетали бранные, ехидные слова, и пестрые краски базара словно линяли в едком тумане общего раздражения.

В начале базара крестьяне держались тихо, почти не отвечая на ругательства, лицемерные ласки и насмешки горожан; они скучно и лениво поглядывали

вокруг, будто ожидая иных людей, другого отношения.

Но, сбегав раза два в трактир, и мужики становились бойчее, на ругань отвечали руганью, на шутки — шутками; к полудню почти все они были выпивши, и споры их с покупателями нередко разрешались боем. Являлся базарный староста Леснов, приходил Анкудин и другой будочник — Мохоедов; пьяных и буянов отправляли в пожарную. Солидные люди, внушительно крякая, говорили мужикам:

— У нас — немного павоюешь: здесь город, а не лес!

Матвея поражало обилие позорных слов в речах людей, поражала легкость, с которой люди старались обидеть друг друга, и малая восприимчивость их к этим обидам. Ему казалось, что весь воздух базара пропитан сухой злостью, все пьянеют от нее и острого недоверия друг к другу, все полны страха быть обманутыми и каждый хочет обмануть — словно здесь, на маленькой площади, между пожарною каланчою и церковною колокольнею, в полукруге низеньких торговых рядов, сошлись чуждые друг другу, враждебные племена. Между ними, точно черви, ползают нищие, одинаково равнодушные и прилипчивые ко всем; в шуме торгового крика лицемерными змейками извиваются мольбы:

— Благодетели и кормильцы...

В горячем волнении спора и брани часто раздается имя Христа,— оно звучит бездушно, как привычное слово, смысл которого всеми забыт.

У лавок с красным товаром на земле сидят слепцы — три пыльные фигуры; их мертвые лица словно вырублены из пористого камня, беззубые рты, шамкая, выговаривают унылые слова:

Ой, истомились наши костыньки,
А и пора бы-ть нам в могилки лечь,
А грехи-те не пущают нас...

Молодой скуластый Петр Толоконников щиплет рыжий волос на верхней губе и говорит басом:

— Смерти просят, а гроши всё собирают!

Вася Хряпов, похожий на хорька, пристально смотрит в лица слепых, соображая вслух:

— Чай, поди, обманывают?

Тогда длинный, неуклюжий Маклаков, торговец иконами, посудой и гармониями, предлагает:

— А ты кинь им в зенки-то пыли горсть!

Вася подкрался и осыпал лица слепцов серой дорожной пылью. Они перестали петь и, должно быть, не впервые испытывая такую пробу их зрения, начали спокойно и аккуратно вытирать каменные лица сухими ладонями сморщенных рук.

Старик Хряпов трясет сына за волосы, приговаривая:

— Не дури, не озорничай, не безобразь!

А Толоконников, подмигивая Маклакову, говорит:

— Нисколько жалости нет у Василия этого!

Эти трое — первейшие забавники на базаре: они ловили собак, навязывали им на хвосты разбитые железные ведра и смотрели, смеясь, как испуганное животное с громом и треском мечется по площади, лая и визжа. В сырые дни натирали доски тротуара мылом, любуясь, как прохожий, ступив в натертое место, скользил и падал; связывали узелки и тюрички, наполняя их всякою дрянью, бросали на дорогу,— их веселило, когда кто-нибудь поднимал потерянную покупку и пачкал ею руки и одежду.

Они любили вырывать с корнями молодые деревья, отламывать скамьи у ворот, разбивать скворешни меткими ударами камней, бросать в дома обывателей через окна тухлые яйца.

И не только этим трем нравились подобные забавы — Матвей знал, что вся городская молодежь болеет страстью к разрушению. Весною обламывали сирень, акацию и ветви цветущих яблонь; поспевала вишня, малина, овощи — начиналось опустошение садов, оно шло всё лето, вплоть до второго Спаса, когда хозяева снимали с обломанных деревьев остатки яблок, проклиная озорников и забыв, что в юности они сами делали то же.

Каждый день, в хлопотливой суете утра, в жаркой тишине полудня, в тихом шуме вечера, раздавался визг

и плач — это били детей. Им давали таски, потасовки, трепки, выволочки, подзатыльники, плюхи и шлепки, секли березовыми прутьями, пороли ремнями,— Кожемякин, не испытавший ничего подобного, вспоминал отца с теплой благодарностью и чувством уважения к нему.

Избитые мальчишки смеялись друг над другом и тоже дрались; в них не заметно было жалости к животным: осенью, во время перелета, они ловили множество певчих птиц и зря мучили их в тесных, грязных клетках; весною ставили пичужкам силки из конского волоса — попадая в тонкую крепкую петлю, птица билась, ломала себе ноги и часто умирала, истерзанная.

Дети, как и взрослые, производили впечатление людей, которые поселились в этом месте временно,— они ничего не любят тут, им ничего не жалко. Город был застроен тесно, но было много пустырей; почти везде на дворах густо росли сорные травы, ветер заносил в огороды их семена, гряды овощей приходилось полоть по два, по три раза; все плодовые деревья в садах были покрыты лишаями, росли коряво, медленно и давали плохой урожай.

Но всего более угнетало Кожемякина отношение окуровцев к женщине, оно с печальной ясностью обличало в темных душах людей присутствие чего-то страшного, что — он чувствовал — незаметно прилеплялось и к его душе грязным, ядовитым пятном, вызывая соблазнительные, тревожные мысли и стыдное, болезненное напряжение в теле. Наблюдая за играми молодежи в поле, около монастырской ограды, он видел, что даже подростки любят обижать девиц: щиплют их, колотят, бросают в косы репьи; во время игры в горелки стараются загнать девиц к самой ограде, где густо и высоко разрослась крапива, и там повалить их в жгучую заросль. Слезы обиженных девушек почти всегда вызывали довольные усмешки парней, и во всех играх ясно сквозило желание причинить боль, грубо подчеркнуть превосходство мужской силы.

Последнее особенно резко бросалось в глаза. Кожемякин сначала оправдывал дикие выходки окуровских женихов. Видя, как они петухами ходят около девиц,

плюют на подолы им скорлупою семян и орехов, как толкаются локтями, стараясь задеть по грудям, Матвей, внутренно усмехаясь, не без зависти думал:

«Это они развязность свою показывают...»

Женщины с великою страстью, с поражающим и словно больным озлоблением ссорились между собою: сестры, невестки, соседки; свекрови колотили спох, матери — дочерей. Ругались на огородах, через заборы, стоя у ворот, на улице, на базаре, в церковной ограде. Куры, разрывшие грядки, собака, выпившая куриное яйцо, кошка, посетившая погреб, зависть к успеху дочери соседа у парней, ревность к мужу — вся жизнь выносилась на улицу в резких криках, в обидных словах и с яростным бесстыдством кликуш оплевывалась желчью, обливалась грязью. Иногда юноше казалось, что над городом непрерывно дрожит болезненный и тоскливый вой:

«А-а-а...»

Почти каждый праздник, под вечер или ночью, где-нибудь в городе раздавался крик женщины, и не однажды Матвей видел, как вдоль улицы мчалась белая фигура, полуголая, с растрепанными волосами. Вздрагивая, вспоминал, как Палага навивала на пальцы вырванные волосы...

Но самое страшное Матвей находил в дружеских беседах мужчин о женщинах: всё, что он слышал раньше от рабочих и помимо воли уловил из бесстыдных разговоров отца с Пушкарем и Власьевной,— всё это теперь разлилось перед ним до размеров глубокой грязной лужи, в которой тонула женщина, стыдно обнаженная и, точно пиявками, густо облепленная клейкими, пакостными словами.

Невыразимо грубое бесстыдство бесед о женщинах, окружая юношу душным, жарким облаком, угнетало его до отупения. Ему казалось иногда, что нагая женщина брошена среди улицы и по чреву ее — чреву матери — тяжко топают грязными сапогами, растаптывая нерожденные жизни, попирая нерассказанные сказки. Он был уверен, что все женщины, кроме Власьевны, такие же простые, ласковые и радостно покорные ласкам, какою была Палага, так же полны жалости к людям,

как полна была ею — по рассказам отца — его мать; они все казались ему матерями, добрыми сестрами и невестами, которые ожидают жениха, как цветы солнца.

Но теперь он начинал чувствовать к ним жадное любопытство чужого человека, ничем не похожего на них. Раньше он стыдился слушать рассказы о хитрости женщин, о жадной их плоти, лживом уме, который всегда в плену тела их, а теперь он слушал всё это внимательно и молча; смотрел в землю, и пред ним из нее выступали очертания нагого тела.

Ночами, чувствуя, что в сердце его, уже отравленном, отгнивает что-то дорогое и хорошее, а тело горит в бурном вожделении, он бессильно плакал,— жалко и горько было сознавать, что каждый день не дает, а отнимает что-то от души и становится в ней пусто, как в поле за городом.

Всюду чувствовалась жестокость. В мутном потоке будничной жизни — только она выступала яркими пятнами, неустранимо и резко лезла в глаза, заставляя юношу всё чаще и покорнее вспоминать брезгливые речи отца о людях города Окурова.

Та жизнь, о которой хвалебно и красочно говорил отец, обошла город, в котором человек, по имени Самсон, был горбат, плешив, кривонос и шил картузы из старых штанов.

И не раз Матвей печально думал:

«Лучше бы, как прежде, догадываться, чем — верно знать, как теперь знаешь!»

Дома тоже было тяжко: на место Власьевны Пушкарь взял огородницу Наталью, она принесла с собою какой-то особенный, всех раздражавший запах; рабочие ссорились, дрались и — травили Шакира: называли его свиным ухом, спрашивали, сколько у него осталось дома жен и верно ли, что они, по закону Магомета, должны брить волосы на теле.

Неистощимые в гнусных выдумках, они осыпали благообразного татарина гнилым хламом пакостных слов, а он серьезно смотрел на них раскосыми глазами и, щелкая языком, говорил негромко, но убедительно:

— Ай-яй, нехоруша! Бульна нехоруша! На всем смеялся! Селовеком смеялся, Магоммедам смеялся, ал-

лахом смеялся — чито бульша остался-та? Ай-яй, русска шалтай-балтай нехоруша язык!

Уши его, оттопыренные, точно ручки глиняного рукомойника, краснели, серые умные глаза наливались влагою.

Пошли окуровские дожди, вытеснили воздух, завесили синие дали мокрыми туманами; побежали меж холмов холодные потоки, разрывая ямы в овраги, на улицах разлились мутные лужи, усеянные серыми пузырями, заплакали окна домов, почернели деревья,— захлебнулась земля водой. Город опустел, притих, мокрый, озябший, распухший от дождя; галки, вороны, воробьи — всё живое попряталось; звуки отсырели, растаяли, слышен был только жалобный плач дождя, и ночами казалось, что кто-то — большой, утомленный, невидимый — безнадежно молит о помощи: «Помоги. Пожалей...»

Однажды, темным вечером, Кожемякин вышел на двор и в сырой тишине услыхал странный звук, подобный рыданиям женщины, когда она уже устала от рыданий. В то же время звук этот напоминал заунывные песни Шакира — песни, которые он всегда напевал за работой, а по праздникам — сидя на лавке у ворот.

— Это ты, Шакир?

Звук оборвался, растаял. Из тьмы выдвинулась стройная фигура дворника, он подошел к хозяину и, разведя руками, заговорил так, точно его душила чья-то тяжелая рука.

— Бульна трудна, касяйн! Аxx, рука сам поднимает — бить хочет морда всякая — ур-сыгим ананны! Нету бульша — не можна терпеть моя! Давай рашёт!

Он взбросил шапку на голову и, натягивая ее обеими руками, залаял, топая ногою о землю:

— Аф-аф-аф...

Юноша стыдливо опустил голову, не находя слов утешения для человека, который был вдвое старше его и — плакал.

— Моя — терпел! — слышал он тяжелые, ломаные слова.— Моя — молчал, нисява, думал-та, Шакирка! Зубам скрыпил, Магоммед молил — вся делал-та! Давай рашёт!

Сердце Матвея расширилось, согретое гневом, в глазах у него поплыли зеленые, дымно-светлые круги, он кашлянул и твердо сказал:

— Погоди, не уходи! Я их пугну, погоди...

Но голос у него сорвался, как у молодого петуха, и он крикнул:

— Ты бы их — по харям!

— Твоя — добра! — чмокнув губами, сказал Шакир.— Селовеком смеются — нисява, богум-та — нехоруша, аххх!

Придя в кухню к ужину, Матвей взглянул на осунувшееся, печальное лицо татарина и снова почувствовал в груди тяжелый прибой злобы.

— Вы,— сказал он, вздрогнув, и первый раз, без стыда, с наслаждением выругался скверными словами. Все вытаращили на него глаза и как будто съежились — это ободрило его.

Передохнув, он спокойно и веско сказал:

— Кто будет смеяться над Шакиром — расчет!

Все молчали. Потом Пушкарь торжествующе протянул:

— Что-о, беси? Ага-а!

А молодой хозяин не решился сесть за стол с обруганными им людьми, ушел в сад, уже раздетый холодными ветрами октября, и долго ходил по дорожкам, засыпанным листом.

Наступили холода, небо окуталось могучим слоем туч; непроницаемые, влажные, они скрыли луну, звезды, погасили багровые закаты осеннего солнца. Ветер, летая над городом, качал деревья, выл в трубах, грозя близкими метелями, рвал звуки и то приносил обрывок слова, то чей-то неконченный крик.

Каждый час в затаенной тишине прильнувшего к земле города вздрагивал и ныл монастырский колокол; сторож у Николы дергал веревку, и она всегда заставляла дважды взвизгнуть лист железа на крыше колокольни.

Медь поет робко и уныло,— точно кто-то заплутался в темноте и устало кричит, уже не веря, что его услышат. Разбуженные собаки дремотно тявкают, и снова город утопает в глубоком омуте сырой тишины.

Вечерами по праздникам в кухню являлся певчий Ключарев — родственник Натальи, как сказал Пушкарь, плюнув при этом.

Матвею нравилось сидеть в кухне за большим, чисто выскобленным столом; на одном конце стола Ключарев с татарином играли в шашки,— от них веяло чем-то интересным и серьезным,— на другом солдат раскладывал свою книгу, новые большие счеты, подводя итоги работе недели; тут же сидела Наталья с шитьем в руках, она стала менее вертлявой, и в зеленых глазах ее появилась добрая забота о чем-то. В трубе пел ветер, за печью шуршали тараканы, хозяйственно потрескивал мороз на дворе, щелкали косточки счет, Шакир мурлыкал песни, а Наталья дружески смеялась над ним.

Сначала Ключарев, видимо, стеснялся Матвея, вставал, сопел и, отводя в сторону большие, тяжелые глаза, глубоким басом ворчал:

— Здравия желаю...

И всегда после этого приветствия откуда-то из-за угла, с полатей, откликалось недовольное, сомневающееся эхо:

— У-у-у...

Шакир шлепал ладонью по скамье рядом с собою и говорил хозяину:

— Сядыс! Учис! Пожарна — ходы! Такой твой? Моя — суда, абзей!

И, подмигивая Матвею, легонько толкал его в бок.

Ключарев играл хуже татарина; он долго думал, опершись локтями на стол, запустив пальцы в черные курчавые волосы на голове и глядя в середину шашечницы глазами неуловимого цвета. Шакир, подперев рукою щеку, тихонько, горловым звуком пыл:

Амди — кайдак — килаин?
Кунум — ночук — коганн?

Ключарев поднимал голову, молча смотрел на него и снова думал.

— Чего это ты поешь, Шакир? — спрашивала Наталья, усмехаясь.

— Русскам-та языкам будит: чего стану делать, как будит жить? — вот чего поем!

— Смешные у вас песни, у татар! — говорила Наталья, грустно вздохнув.

Матвей поглядывал на Ключарева, вспоминая, как страшно спокойно он пел, этот человек, идя за гробом отца и над могилой. Лицо певчего запоминалось с первого взгляда: треугольник, основанием которого служил большой смуглый лоб, а вершиною искривленный налево длинный нос. Щеки его почти сплошь заросли черным жестким волосом, и под усами не было видно ни губ, ни зубов. Юноше казалось, что Ключарев думает не об игре, оттого всегда и проигрывает Шакиру. Он ждал от черного человека каких-то интересных рассказов и — дождался. Однажды певчий, не отрывая глаз от шашек, заговорил:

— Видел я сон: идет по земле большой серый мужик, голова до облаков, в ручищах — коса, с полверсты, примерно, длиной, и косит он. Леса, деревни — всё валит. Без шума, однако.

Наталья спокойно догадалась:

— К мору это. К холере...

— К холере? — сомневаясь, повторил Ключарев и, подумав, продолжал: — Вдруг бы да — въявь — пришел такой огромный человек, взял бы это колокольню за шпиль, да и начал садить ею по домам, по крышам, по башкам...

Пушкарь, неодобрительно качая головою, сказал:

— Опять ты, Яким, завираться начал!

А Шакир, качаясь, смеялся.

— Ай-яй! Ай, какой шалтай-балтай!

Ключарев посмотрел на солдата серьезным взглядом расширенных глаз.

— Ежели снится? Сон — не вранье. Вот тоже как-то рыба снилась, вроде сома, только зубастая. И летит на крыльях,— сажен полсотни крыло у нее...

— Ну? — спросил Матвей, видя, что пожарный замолчал, погружаясь во мрак своих снов.

— Ну — летит. Ничего. Тень от нее по земле стелется. Только человек ступит в эту тень и — пропал! А то обернется лошадью, и если озеро по дороге ей — она его одним копытом всё на землю выплескивает...

Слова его, проходя сквозь густую заросль черных

волос, тоже становились черными и мохнатыми, подобно паукам.

— Белая рыба-то? — задумчиво спрашивает Наталья.

— Серая. Как пыль, цветом.

— К дождям это, что ли? — соображает Наталья.— Белая — к снегу. Лошадь,— оттепели не будет ли?

— Пушкарь! — подмигивая Матвею, говорит Шакир.— Как этот сухой рыба зовем-та?

— Сазан? Судак?

Татарин хохочет.

— Она — судак! Рыба — судак, пожарный — чудак. Ай-яй, любят ваша шалтай-балтай язык, ах! Мынога выдумала русска; скушна стала — еще выдумываит! Язык — верстой, слова — пустой, смешной чудак-судак!

Матвею показалось, что татарин сказал какую-то правду. Однажды он спросил Ключарева, откуда тот родом, и удивился, узнав, что певчий — слободской.

— А я думал, ты дальний!— разочарованно сказал он.

Тот поднял треугольное лицо и объяснил, пристально глядя на Матвея:

— Нас, Ключаревых, две семьи: Макара да Григорья. Я — Макаров.

— Н-ну? — сомнительно усмехаясь, сказал Пушкарь.— Это не дознано. Скорее ты казначею Перекопову судьбою обязан. У нас по слободе очень трудно разобрать, от кого дети родятся. Бедность!

— Это ничего не означает! — толковал Ключарев спокойно и густо.— Я говорю, как по церковным записям числюсь. Сын Макара Ключарева, ну и — сын ему! Мне от этого ни прибыли, ни убытку.

И, обращаясь к Матвею, продолжал:

— Я бывал далеко. Пять лет в кавалерии качался. Пьянство — по кавалерии — во всех городах. В Ромнах стояли мы — хохлы там, поляки,— ничего понять нельзя! Потом — в Пинске тоже. Болотища там — чрезвычайно велики. Тоже скушно. Плохо селятся люди — почему бы? Лезут, где тесно, а зачем? Отслужил — в пожарную нанялся, все-таки занятно будто бы.

Темные слова расползаются по кухне, наводя на всех уныние, и даже тараканы за печью тише шуршат.

— Я в мальчишках еще любил огонь гасить. Бывало, товарищи разложат костер, а я его затопчу, песком закидаю.

— На что? — спросил Матвей.

— Так. Днем и без огня светло, а ночам положено быть темными.

— Аллах делал,— задумчиво сказал Шакир.— Люди-та не трогай!

Но посмотрел на всех и, улыбаясь, добавил:

— А когда лошадка пасти ночью: холодна, волка ходит,— огонь нужна!

Иногда Пушкарь начинал говорить о своей службе, звучали знакомые Матвею слова: «шип-прутены», «кивер», «скуси патрон», «зеленая улица». «кладсь»... Часто он спорил с Ключаревым, замахиваясь на него книгой и счетами:

— Какой ты солдат, черный бес!

— А ты? — несокрушимо спокойно спрашивал певчий, не глядя на него.— Веревки вьешь?

— Тут не веревки, идолобес, тут работа! Каждый должен исполнять свою работу. Всякая работа — государева служба, она для России идет! Что такое Россея— знаешь? Ей конца нет, России: овраги, болота, степи, пески — надо всё это устроить или нет, бесов кум? Ей всё нужно, я знаю, я ее скрозь прошел, в ней работы на двести лет накоплено! Вот и работай, и приводи ее в порядок! Наработай, чтобы всем хватало, и шабаш. Вот она, Россея!

— Мне вязать некого, веревок не требуется...

— Н-не надо-о? — завывал Пушкарь, извиваясь от гнева.— Не жел-лаешь, а-а? Скажи на милость! Стало быть — суда без причала, плавай как попало, а? Червяк ты на земле...

— Я — пожарный.

— Оттого, что — лентяй! Понимаю я идолобесие твое: мы тут горим три, много пять разов в год, да и то понемногу, вот ты и придумал — пойду в пожарную, там делать нечего, кроме как, стоя на каланче, галок считать...

Пока они спорили, татарин, прищуривая то один, то другой глаз, играл сам с собою, а Матвей, слушая крик старого солдата и всматриваясь в непоколебимое лицо Ключарева, старался понять, кто из них прав.

— Чтобы всяк человек дела своего достоин был — вот те закон! Тут те всякой жизни оправдание! Работай! — свирепствовал Пушкарь, гремя счетами, хлопая по столу книгой, ладонью, шаркая ногами.

А Ключарев, не торопясь, пропускал сквозь усы:

— Наплевать мне на всё это, было бы сердце спокойно. Всем делам один конец: ходя — умрешь и лежа — умрешь!

Матвею вспомнилась любимая песня веселого лекаря Маркова:

И поп — помрет,
И солдат — помрет,
Только тот не помрет,
Кого смерть не возьмет!..

Тяжелая, темная скука обнимала юношу мохнатыми лапами, хотелось лечь в постель и проспать неделю, месяц, всю зиму.

Играли на полях певучие вьюги, осеняя холмы белыми крыльями, щедро кутая городок в пышные сугробы снега, выли по ночам голодные, озябшие волки, и, отвечая им, злобно лаяли трусоватые окуровские собаки. Редко небо бывало свободно от серых облаков, но хороши были те ночи, когда синева небес, до глубин своих пронизанная золотыми лучами звезд, вся дрожала, горела и таяла. Ликуя, сверкали снежинки, словно звездною пылью окропив землю, отдыхавшую под их мягким пологом для новых весенних рождений. Покорно согнулись ветви деревьев, наклоняя пуховые белые лапы; алмазами и смарагдами блещут сучья, одетые кружевом инея. Кресты церквей окованы серебром, а скворешни стоят в пышных шапках; на крыши домов плотно легли толстые гривы сугробов, свесив края, узорно вырезанные ветром. Морозный воздух чутко звонок — степенное карканье ворон, озабоченных холодом, веселое треньканье синиц, смешной скрип снегирей легко разносились по городу из конца в конец.

А вокруг него на холмах оледенела тишина, и Окуров стоит на блюде из серебра, кованного морозом, отчеканенного вьюгами.

На льду реки Путаницы начались бои: каждый праздник, после обеда, из слободки, засыпанной снегом до крыш и невидной на земле, серыми комьями выкатывались мальчишки. Перебежав реку, они кричали на гору:

— Давай бою!

На них сестрины и мамины кофты, иной просто окутан шалью, многие обуты в тяжелые отцовы сапоги, есть бойцы без шапок — головы повязаны платками; у большинства нет ни варежек, ни рукавиц. На горе их ожидает враждебный стан; горожане одеты наряднее, удобней и теплей, они смеются над оборвышами:

— Вылезли тараканы из-под маминых юбок! Эй, бабье, лезь сюда, мы вам рожи растворожим...

Слободские относятся к бою серьезно: они деловито, тесною цепью лезут вверх по остеклевшей горе, цапаясь голыми руками за куски мерзлой глины, и покрикивают:

— Эй, наша сторона,— не разваливайся! Не заскакивай вперед, не наяривайся!

Сначала горожане стараются сбрасывать нападающих под гору, но это опасно: слободские цепко хватают их за сапоги и если кувырком летят вниз, так вместе. Тогда городские отступают, впуская слобожан на Поречную, и здесь сразу разгорается веселый бой.

— Вали, наши, вали! — кричит юный слободской народ, наступая на противника плотной стенкой.— Бей пшенисных!

Они суше горожан, ловчее и храбрее; их отцы и матери чаще и злее бьют, поэтому они привычны к боли и чувствительны к ней менее, чем мальчики города.

Городские ведут бой с хитростями, по примеру отцов: выдвинут из своей стенки против груди слобожан пяток хороших вояк, и, когда слобожане, напирая на них, невольно вытянутся клином, город дружно ударит с боков, пытаясь смять врага. Но слободские привыкли к этим ухваткам: живо отступив, они сами охватывают горожан полукольцом и гонят их до Торговой площа-

ди, сбрасывая на землю крепкими ударами голых кулаков.

На площади уже собрались подростки, ожидая своей очереди вступить в бой; обе стенки противников выравниваются, осыпая друг друга бранью и насмешками.

— Сыты ли? — спрашивают слобожане, гордясь победой.

Городские нестройно поют:

Голопузая слободка
Продает девок за водку...

Не оставаясь в долгу, слободка отвечает:

А окуровски мещане
Мать-отца сожрут со щами...

В морозном воздухе непрерывно звучат детские голоса, раздаются зазорные слова.

— Нищие!

— Обжоры!

— Воры!

— Сами — жулье!

Отдохнув за время словесной брани, разгорячась обидами, они снова бросаются друг на друга, ухая и подвизгивая, разбивая носы и губы. Теперь дерутся на глазах старших, и каждому мальчику хочется показать свою удаль, силу и ловкость.

У рядов под навесами лавок стоят зрители, а среди них знаменитые бойцы города: Толоконников, оба Маклаковы, слесарь Коптев, толстый пожарный Севачев. Все они одеты удобно для боя: в коротких полушубках легкой ордынской овцы, туго подпоясаны яркими кушаками, на руках хорошие голицы, у старшего Маклакова — зеленые, сафьяновые.

Иногда из стенки выскакивает юный человек с разбитым носом или рассеченною губою, подходит к зрителям, поплевывая на снег, употребляя великие усилия, чтобы сдержать слезы боли, обиды и озлобления.

— Что, болван? — неласково встречает его дядя, брат или отец.— Опять расквасили морду-то?

И дразнит, раздражаемый видом крови:

— А ты зареви! Ишь, сморщил харю-то!

Мальчик ревет, а родственник, поймав его за ухо или за вихор, треплет и приговаривает:

— Не реви, коли дерешься, не реви, сукин сын!

К слободским подошли подростки и, стоя за своей стенкой, пренебрежительно вызывают город:

— Эй, женихи, выходи, что ли!

— Холостяги, не трусь...

Разорвав свою стенку, выходит вперед Мишка Ключарев, племянник певчего, стройный и сухой молодец лет шестнадцати.

— Но, прочь! — говорит он городским мальчишкам, махнув на них рукою, как на воробьев; они почтительно отступают, некоторые бегут ко взрослым, тревожно извещая:

— Мишка Ключарь вышел! Айдате! Вон он растопырился, глядите-тко!

Мишка сбросил с плеч лохмотье, снял с головы шапку, кинул ее за плечо и вызывает:

— Выходи, женихи! Ну, кто там? Один на один! Эй, куроводы!

Волосы у него на круглой голове стоят ершом, лицо скуластое, маленький нос загнут вниз, как у филина, тонкие губы презрительно искривлены; он широко расставил ноги, уперся руками в бока и стоит фертом, поглядывая на врагов светлыми недобрыми глазами.

Горожане долго вполголоса спорят — надо поставить против Мишки бойца-однолетка, а однолетки, зная его ловкость, неохотно идут.

Вышел коренастый широкорожий Базунов — слободские хохочут и свистят: весной, на Алексея божия человека, Базунову минет девятнадцать лет.

— О-го-го! Какого старичка поставили!

— Дедушка, не робь!

Базунову стыдно: оборотясь назад, он жалобно кричит:

— Васька, шел бы ты! Кулугуров?

— Я опосля тебя,— густо отвечает Кулугуров, но тут же откровенно говорит: — Да ведь уж бился я с ним,— не сладить мне.

Не глядя на Мишку, Базунов спрашивает:

— Хошь со мной?

— Хошь с отцом твоим! — хвастливо отвечает Мишка и задорно кричит:— Эй, наши, скажите там родителю, что помирал я, так кланялся ему...

Базунов вытянул вперед сжатый кулак левой руки, правую согнул в локте и, угрюмо сдвинув брови, готовит удар — «насыкается».

Хрустит снег под его тяжелыми ногами, кругом напряженное молчание, обе стенки дружно обнимают бойцов широким кругом, покрикивая:

— Раздайсь! Не тесни, эй!

Мишка зорко следит за противником, иногда он быстро взмахивает правой рукой — Базунов отскочит, а Мишка будто бы поднял руку голову почесать.

— Ты не бойся! — глумится он.— Я не до смерти тебя, я те нос на ухо посажу, только и всего дела! Ты води руками, будто тесто месишь али мух ловишь, а я подожду, пока не озяб. Экой у тебя кулак-от! С полпуда, чай, весу? Каково-то будет жене твоей!

— Тебе вот плохо будет! — ворчит Базунов.

Городской боец размахнулся, ударил — Мишка присел и ткнул его в подбородок снизу вверх, спрашивая:

— Как здоровье-то?

Освирепел Базунов, бросился на противника, яростно махая кулаками, а ловкий подросток, уклоняясь от ударов, метко бил его с размаха в левый бок.

— Лексей, не горячись! Что ты, дурова голова? Стой покойно, дубина! — кричали горожане.

— Не горячись, слышь! — повторял слободской боец, прыгая, как мяч, около неуклюжего парня, и вдруг, согнувшись, сбил его с ног ударом головы в грудь и кулака в живот — под душу. Слобода радостно воет и свистит; сконфуженные поражением, люди Шихана нехотя хвалят победителя.

— Ловок, шельма!

— Да-а! Туроват.

— Верткий...

— Сыр Алешка-то против его!

Базунов, задыхаясь, сидит на земле и бормочет:

— Ежели он вроде комара,— вьется, вьется... эдак-то разве бьются?

— Эй, Кулугуров! — гордо кричит победитель.— Ну-ко, иди!

— Не люблю я поодиночке...

— Не любишь?

— Я — в стенке...

— А на печке?

Ребятишки слободы радостно поют во всё горло:

— На печку, под печку, на тепленький шесток залез толстенький коток! Вздули, раскатали, зубы расшатали!

Среди горожан осторожное движение, глухой ропот.

— Эй, наши, гляди в оба! — командует Ключарев.— Федька Ордынцев, иди сюда! Гришка с Фомкой — становись ко мне!

И вдруг, махнув руками, он бросает своих на кучу горожан, выкрикивая высоким альтом:

— Вали-и на Шихан! Бей женихов, не жалей кулаков! Вали-и...

Сшиблись ребята, бойко работают кулаки, скрипят зубы, глухо бухают удары по грудям, то и дело в сторону отбегают бойцы, оплевывая утоптанный снег красными плевками, сморкаясь алыми брызгами крови.

— Не робь, наша! — кричит Кулугуров.

— Держись, слобода! — звенит Мишкин альт.

Кипит крутой бой, бойцы сошлись и ломят друг друга во всю силу, яростно оспаривая победу.

— Бей женишков, оладышников! — покрикивают слободские.

— Стой, наши, не беги! — командуют Кулугуров с Базуновым, но городская молодежь уже отступает, не выдерживая дружного и быстрого натиска слободских; так уж издавна повелось, что слобода одолевает, берет бой на площади и гонит городских до церковной ограды.

Зрители-горожане, видя, что дети их сломлены, горячатся и кричат своим взрослым бойцам:

— Чего глядите? Гонят наших-то! Вона как бьют! Айдате вы, пора!

И вот, сбоку, на зарвавшихся слобожан бросаются Маклаковы, Коптев, Толоконников, бьют подростков по чему попало, швыряют их о землю, словно траву косят.

— Ого-го-го! Пошли наши, пошли! — радостно гогочет толпа зрителей, подбодряя свою сторону, и, вприпрыжку следуя за боем, будто невзначай дают пинки в бока лежащих на земле слобожан.

— Лежачего не бить, дьяволы! — злобно завывают побежденные, отползая в сторону.

Там и тут, присев на корточки и прикрывая локтями лица свои от намеренно нечаянных ударов горожан, они ждут удобной минуты, чтобы незаметно убежать за реку.

Матвей Кожемякин тоже вместе со всеми горожанами поддается возбуждению, празднует победу и куда-то бежит, смеясь. Но увидав, как бьют лежачих, останавливается и тихонько идет в стороне. Ему хочется крикнуть людям:

«Почто нечестно бьете?»

Но он не находит ни времени, ни смелости на это и знает, что его крик не услышали бы.

Ловко, точно уж, вьется меж ногами бегущих Мишка Ключарев; катается по земле, как бочонок, сын лучшего бойца слободы Ордынцева Федька и пыхтит от злости, умывая снегом разбитое лицо.

Растерялась слобода, рассеялась, разнесло бойцов, словно вихрем.

— Ого-го! — ревут победители, стоя на берегу реки, а снизу, со льда, несется:

— Держись, наши, идем!

Короток зимний день, уже синий сумрак окутал реку, тают в нем снежные лачуги слободы; распуганные звоном к вечерней службе, улетели по гнездам птицы с колоколен; становится холоднее.

По льду реки, не спеша, темным облаком идут на город слободские бойцы; горожане, стоя у обрыва, присматриваются к ним, считая:

— Стрельцов идет, старый чёрт...

— А Квашнин тут?

— Вон, сбоку-то...

— И Македошка вышел!

— Ордынцев впереди...

— Многовато их высыпало сегодня!..

— Эй, полупочтенные! — кричит с реки всегда пьяный слободской сапожник Македон.— Пожалуйте на поле, мы бы вас потяпали!

Горожане, подтягивая кушаки, спускаются на лед, уговариваясь:

— Ты, Коптев, в середину встань, а Маклаковы — с плеч тебе...

— Севачева с Ермилом да Толоконниковым на левое бы крыло, да еще туда которых посильнее, да тем крылом и хлестнуть их, когда они разойдутся.

— Приятели! Припятили? — кричит слободской народ, уставляясь стеною. Весь он лохматый, одерганный, многие бойцы уже сильно выпивши, все — и пьяные и трезвые — одинаково бесшабашно дерзки на язык, задорят горожан с великим умением, со смаком, во всех есть что-то волчье, отчаянное и пугающее.

Македон, пьяненький и весь вывихнутый, приплясывая, поет во всю глотку:

Окуровски воеводы —
Знамениты куроводы;
Живут сыто, не горюют,
Друг у друга кур воруют...

А чей-то развеселый голос вторит:

У них жены всё — Матрены,
Кулаком рожи крещены — их, ты!

— Эй вы,— угрюмо кричит Толоконников,— выходи, что ли, кто против меня, веселы воры!

— Еруслан Лазарич? Здорово ли живешь? Тоскует мой кулак по твоему боку!

— А ты выходи!

— А ты погоди!

— Трусишь?

— Трясусь. Ноги за уши заскакивают!

— Вот я те обобью их, уши-те!

— Эко хорошо будет! Оглохну я — никогда глупой речи твоей не услышу!

— Ну-ко, ребята, с богом! — говорит слесарь Коптев, обеими руками натягивая шапку на голову.— Вались дружно! Бей воров!

И свирепо воет, возбуждая себя и своих:

— Давай бою-у-у! Пошла наша, пошла-а! Бей их! Бей! Бей!

Хлынули горожане тяжелой волной на крепкую стенку слободских, забухали кулаки, заляскали некрепко сжатые зубы, раздался оглушающий рев и вой:

— У-ух! А-аxx!

— Молодчики-слобода, стой дружно! — громогласно кричит высокий рыжий Ордынцев и, точно топором рубит, бьет по головам горожан. Против него — Коптев, без полушубка, в разорванной рубахе. Они давние приятели, кумовья.

— Егор Иванычу — эхма! — здоровается Ордынцев, с размаха ударяя кума по виску.

— Изот Кузьмич, получи-кась! — отвечает Коптев, нанося ему удар в грудь.

А сапожник Македон, держа в зубах шапку, быстрыми ударами хлещет Маклакова с уха на ухо и мычит. Тяжелый Маклаков мотает головой, ловя какую-то минуту, и вдруг, ударив сапожника сверху, словно заколачивает его в лед.

— Накось!

Снова размахнувшись, он хочет сбить Ордынцева, но длинный шорник Квашнин бьет его одной рукой под мышку, другой — по зубам; городской силач приседает, а Квашнин кричит:

— Ты встань! Нет, ты постой! Я те додам еще разок! Ты мне за плею недодал, дак я те...

Старый, сутулый медведь Стрельцов, спокойно и мерно разбивая лица горожан огромным кулаком, сипло кричит:

— А ты не разговаривай! Ты — бей знай! Счета твои — в будни сведешь!

Городских теснят к берегу — кажется, что вот сейчас их прижмут к обрыву и раздавят, размозжат десятками тяжелых кулаков.

Слышны тяжкие удары, кряканье, злобный вой и стон, плюются люди, ругаются сверлящей русской бранью.

И всё яростнее бьют в середину стены городских, разламывая ее, опрокидывая людей под ноги себе, словно надеясь найти за ними коренного и страшнейшего врага.

Но уже слышен тревожный крик Федьки Ордынцева:

— Тятя, гляди-ко, заходят, тятя!

— Наз-зад, наши, наза-ад! — кричит Мишка Ключарев.

Поздно. Справа и сзади обрушились городские с пожарным Севачевым и лучшими бойцами во главе; пожарный низенький, голова у него вросла в плечи, руки короткие,— подняв их на уровень плеч, он страшно быстро сует кулаками в животы и груди людей и опрокидывает, расталкивает, перешибает их надвое. Они изгибаются, охая, приседают и ложатся под ноги ему, точно бревна срубленные.

— За-хход-ди! — рычит он.

Пробился к нему слободской боец Стрельцов, наклонил голову, как бык, и опрокинул пожарного, но тут же сам присел, ушибленный по виску Толоконниковым.

— Ломи-и! — воет Шихан.

— Отдай, наши, отдай! — кричат подростки слободы, видя, что отцы их, братья и дядья разбиты, раскиданы по льду реки.

Но уже взрослые разгорячились и не могут вести бой правильно; против каждого из сильных людей слободы — пятеро-шестеро горожан; бой кончен, началась драка — люди вспомнили взаимные обиды и насмешки, старую зависть, давние ссоры, вспомнили всё темное, накопленное измала друг против друга, освирепели и бьются злобно, как зверье.

— Отдай, наши, отдай! — кричат рассеянные слобожане, не успевая собраться в ряд; их разбивают на мелкие кучки и дружно гонят по узким улицам слободы, в поле, в сугробы рыхлого снега.

Возвращаясь домой, победители орут на улицах слободы похабные песни о зареченских девицах и жен-

щинах, плюют в стекла окон, отворяют ворота; встретив баб и девушек, говорят им мерзости.

Кожемякин видит, как всё, что было цветисто и красиво,— ловкость, сила, удаль, пренебрежение к боли, меткие удары, острые слова, жаркое, ярое веселье — всё это слиняло, погасло, исчезло, и отовсюду, злою струей, пробивается темная вражда чужих друг другу людей,— та же непонятная вражда, которая в базарные дни разгоралась на Торговой площади между мужиками и мещанами.

Часто бывало, что та или другая сторона, отбив от стенки противников заранее намеченного бойца, обыскивала его и, находя в рукавице свинчатку, гирьку или пару медных пятаков, нещадно избивала пинками нарушителя боевых законов.

Когда оба ряда бойцов сшибались в последний раз, оспаривая победу, и в тесной куче ломали ребра друг другу, издавая рев, вой и свирепые крики, у Матвея замирало сердце, теснимое чувством отчуждения от этих людей.

Иногда же он, ясно ощущая свое одиночество, наполнялся тоскливою завистью и, слыша хриплые, но удалые крики, чувствовал злое желание броситься в свалку и безжалостно бить всех, пока хватит сил.

Ему пришлось драться: он шел домой, обгоняемый усталыми бойцами города, смотрел, как они щупают пальцами расшатанные зубы и опухоли под глазами, слышал, как покрякивают люди, пробуя гибкость ноющих ребер, стараются выкашлять боль из грудей и всё плюют на дорогу красными плевками.

На Поречной нагнали трое парней, и один, схватив его сзади за плечо, удивленно протянул:

— Это какой человек?

— Кожемякин.

— Кож-жемякин? Какой такой Кожемякин?

Другой парень, хихикая, пояснил:

— Савельев сын.

— Савелья? Какого такого Савелья?

— Отстань! — угрюмо сказал Матвей, узнав по голосам, что его остановили Маклаков, Хряпов и Кулугуров.

— Савельев сын? — продолжал Хряпов.— А может, ты — сукин сын, а?

Этот парень всегда вызывал у Кожемякина презрение своей жестокостью и озорством; его ругательство опалило юношу гневом, он поднял ногу, с размаха ударил озорника в живот и, видя, что он, охнув, присел, молча пошел прочь. Но Кулугуров и Маклаков бросились на него сзади, ударами по уху свалили на снег и стали топтать ногами, приговаривая:

— Ты ного-ой,— ты в брюхо-о?

Матвей запутался в тулупе, не мог встать,— они били его долго, стараясь разбить лицо. Он пришел домой оборванный, в крови, ссадинах, с подбитыми глазами, и, умываясь в кухне, слышал жалобный вопль Натальи:

— Ба-атюшки! Вот так избили! Кто это?

Матвей не отвечал, и тогда Пушкарь с гордостью объяснил:

— Наши, конечно, слободские! Он — городской, стало быть, они его и били! Ну, вот, брат, и был ты в первом сражении — это хорошо! Эх, как я, будучи парнишкой, бои любил!..

Матвей перестал ходить на реку и старался обегать городскую площадь, зная, что при встрече с Хряповым и товарищами его он снова неизбежно будет драться. Иногда, перед тем как лечь спать, он опускался на колени и, свесив руки вдоль тела, наклонив голову — так стояла Палага в памятный день перед отцом,— шептал все молитвы и псалмы, какие знал. В ответ им мигала лампада, освещая лик богоматери, как всегда, задумчивый и печальный. Молитва утомляла юношу и этим успокаивала его.

...В монастыре появилась новая клирошанка,— высокая, тонкая, как березка, она напоминала своим покорным взглядом Палагу,— глаза ее однажды остановились на лице юноши и сразу поработили его. Рот ее — маленький и яркий — тоже напоминал Палагу, а когда она высоким светлым голосом пела: «Господи помилуй...» — Матвею казалось, что это она для него

просит милости, он вспоминал мать свою, которая, жалеючи всех людей, ушла в глухие леса молиться за них и, может быть, умерла уже, истощенная молитвой.

В черной шлычке и шерстяной ряске, клирошанка была похожа на маленькую колоколенку, задушевным серебряным звоном зовущую людей к миру, к жизни тихой и любовной. И стояла она впереди всех на клиросе, как на воздухе, благолепно окруженная мерцанием огней и прозрачным дымом ладана. Окованные серебром риз, озаренные тихими огнями, суровые лики икон смотрели на нее с иконостаса так же внимательно и неотрывно, как Матвей смотрел.

Клирошанка, видел он, замечала этот взгляд, прикованный к ее глазам, и, выпрямляя тонкое тело, словно стремилась подняться выше, а голос ее звучал всё более громко и сладко, словно желая укрепить чью-то маленькую, как подснежник юную, надежду.

Странные мечты вызывало у Матвея ее бледное лицо и тело, непроницаемо одетое черной одеждой: ему казалось, что однажды женщина сбросит с плеч своих всё темное и явится перед людьми прекрасная и чистая, как белая лебедь сказки, явится и, простирая людям крепкие руки, скажет голосом Василисы Премудрой:

«Я мать всего сущего!»

Тогда всем станет стыдно пред нею, стыдно до слез покаяния, и все, поклонясь мудрой красоте ее, обновят жизнь светлой силою любви.

Он не спрашивал, откуда явилась клирошанка, кто она, точно боялся узнать что-то ненужное. И когда монастырская привратница, добрая старушка Таисия, ласково улыбаясь, спросила его: «Слушаешь новую-то клирошанку?» — он, поклонясь ей, торопливо отошел, говоря:

— Хороший голос. Прощайте!

Вдруг клирошанка исчезла: не было ее за всенощной, заутреней, и в обедню не было.

«Может, захворала?» — тоскливо подумал он.

Но вечером в день Благовещения он услыхал, что Наталья, которой известно было всё в жизни города, рассказывает торжественно и подробно:

— Богачи они, Чернозубовы эти, по всему Гнилищенскому уезду первые; плоты гоняют, беляны, лесопил у них свой. Ну, вот, судари вы мои, как заметил свекор-то, что и младший его сын на нее метит, на Катерину эту, отправил он ее в монастырь наш для сохранности. Тут вернулся жених, а он — кривой, мальчишком будучи, сыча ловил, а сыч глаз-от ему и выклюнь. «Где Катерина?» А у отца, старого лешего, своя думка: дескать, стал ее брат твой одолевать непосильно. «Егор?» — «Он самый!» А кривого зовут — Левон. Вот и пошел этот Левон на лесопильню, да братца-то — колом, да и угоди, на грех, по виску,— тот сразу душеньку свою богу и воротил! Вот, значит, полиция, вот — чиновники-те! И взяли ее, Катерину-то, на допрос, увезли со стражей...

— Это новая клирошанка, про нее ты? — спросил Матвей тихонько.

— Про нее про самую! И есть, милые мои, слушок, будто не без греха она тут: путалась будто с нареченным-то свекром. Сирота, по сиротству всё может быть...

Матвей стоял в двери, держась за косяки, точно распятый, и бормотал:

— Это ты врешь,— всё врешь!

Наталья стала горячо доказывать ему свою правоту, но он ушел к себе, встал перед окном, и ему казалось, что отовсюду поднимается душная муть,— точно вновь воскресла осень,— поднимается густым облаком и, закрывая светлое пятно окна, гасит блеск юного дня весны.

В первый день Пасхи он пошел на кладбище христосоваться с Палагою и отцом. С тихой радостью увидел, что его посадки принялись: тонкие сучья берез были густо унизаны почками, на концах лап сосны дрожали желтые свечи, сверкая на солнце золотыми каплями смолы. С дерна могилы робко смотрели в небо бледно-лиловые подснежники, качались атласные звезды первоцвета, и уже набухал желтый венец одуванчика.

Между крестами молча ходили люди; Кожемякин издали увидал лохматую голову Ключарева; певчий без шапки сидел на чьей-то могиле и тихонько тонким прутом раскачивал стебель цветка, точно заставляя его кланяться солнцу и земле.

Похристосовались. Черный человек невнятно сказал что-то о ранней весне.

— У тебя кто тут? — спросил Матвей, кивая на могилу.

Ключарев постучал о землю ногой и ответил:

— Никого нет.

И, оглянувшись, предложил:

— Пойдем. Сыро здесь.

От крестов на дорожку падали легкие тени, молодая зелень травы темнела под ними.

— Скучаешь? — спросил певчий, скосив глаза вбок.

— Н-нет! — не сразу и нетвердо ответил Кожемякин.

— Шакир — он верно говорит! — продолжал черный мужчина.— Скучающий мы народ, русские-то. И от скуки выдумываем разное. Особенно — здесь...

— Да ведь и Шакир здешний!

Ключарев надвинул картуз на нос и проговорил:

— Они с Пушкаревым — особенные! В бога твердо верят, например...

Матвей удивленно отшатнулся от него.

— А ты разве не веришь?

— Я не про себя говорю, а вообще,— неохотно сказал певчий.

Матвей строго заметил:

— Как это — вообще?

— Так уж! — зевнув, отозвался Ключарев. Но, оглянувшись вокруг, заговорил таинственно и ворчливо: — Не знаю я, как это сказать, ну, однако, погляди: бог, Исус Христос, а тут же — судьба! Бог — так уж никакой судьбы нет! Ничего нет, просто — бог! Везде — он, и всё от него! А у нас — бог, судьба, да сатана еще, черти, домовые, водяной... Лешие потом. В болотах — кикиморы. И всему клиру вера есть. Ничего нельзя понять: что божие и что от судьбы исходит? Наш никольский поп превосходно в домового верит, я те побожусь в этом! И в судьбу твердо верит: такая — говорит мне — твоя судьба, Яким! Ничего, говорит, не поделаешь! Я говорю — какая же судьба, если бог? Смеется: это-де слово одно — судьба...

Он широко повел рукой в воздухе и сказал, словно угрожая кому-то:

— Знаю я, какое это слово! Это не слово, нет!..

Матвей вспомнил ту покорность, с которою люди говорят о судьбе, бесчисленные поговорки в честь ее, ему не хотелось, чтобы пожарный говорил об этом, он простился с ним.

А через несколько дней после этого певчий вдруг спросил Кожемякина, равнодушно и тупо:

— Ты к девкам ходишь?

— Нет! — покраснев, ответил Матвей.

— Отчего?

— Не с кем,— смущенно сказал Матвей, подумав.

— А-а! — протянул певчий таким тоном, как будто находил причину воздержания юноши вполне достаточной, и тотчас же предложил:

— Пойдем со мной. Со мной — не бойся. Завтра и пойдем, сегодня суббота, грех, а завтра...

Матвей посмотрел на его деревянное лицо и подумал:

«Пойду я, что ли? Как быка, поведут. Какой он несуразный! То про судьбу, то вдруг про это. Да сны его еще».

Было обидно думать об этом, но стыда он не чувствовал. Воздержание давалось ему всё с бóльшим трудом, и за последнее время, видя Наталью, он представлял ее себе в ту тяжелую ночь, когда она вошла к нему в комнату, посланная Палагой.

Воспоминание о Палаге всё слабее мешало думать о других женщинах, и часто эти думы бывали мучительны.

На другой день вечером он сидел в маленькой комнатке одной из слободских хибарок, безуспешно стараясь скрыть неодолимое волнение, охватившее его. Перед ним на столе стоял самовар и, то съеживаясь, то разбухая, злорадно шипел:

— И-и-и...

И показывал Матвею желтое, искаженное и плачевное лицо, с прикрытыми трусливо глазами. Скрипели половицы, скрипели козловые башмаки девушки,—

она бегала по комнате так быстро, что Матвей видел только темную косу, белые плечи и розовую юбку.

Ключарев густым голосом убеждал его:

— Ты — выпей! Тут — надо выпить.

Он уже был пьян, держал на коленях у себя большую бабу и кричал:

— Дуняша! Угощай его!

— Да они не пьют никак!

— Старайся!

Потом он исчез, точно суетливая Дуняша вдруг вымела его из комнаты шумящим подолом своей юбки. Улыбаясь, она села рядом с Матвеем и спросила его:

— Можно тебя обнять?

— Можно,— бормотал он, не глядя на нее.— Можно!

Она обняла, заглянула в лицо ему пустыми глазами и удивленно спросила:

— Что ж ты не веселый?

Матвей подвинулся к ней, бессвязно говоря:

— Боязно как-то,— я тебя в первый раз вижу.

Она беспечно засмеялась:

— Да ведь и я тебя впервой!

С этого дня Ключарев стал равнодушно водить Матвея по всем вязким мытарствам окуровской жизни, спокойно брал у него деньги, получив, пренебрежительно рассматривал их на свет или подкидывал на ладони и затем опускал в карман.

Он не попрошайничал и не требовал, а именно брал, как нечто бесспорно должное ему, но делал это так часто, что Матвей не однажды замечал:

— Больно много ты берешь! Пушкарь вон ворчит на меня...

— Плюнь! Всё равно!— отвечал Ключарев и дарил девицам платки, щедро угощал орехами, пряниками и наливками.

«Всё равно!» — тупым эхом отдавалось в груди юноши, и покорно, точно связанный, он шел за пожарным всюду, куда тот звал его.

Кожемякин замечал, что пожарный становился всё молчаливее, пил и не пьянел, лицо вытягивалось, глаза выцветали, он стал ходить медленно, задевая ногами

землю и спотыкаясь, как будто тень его сгустилась, отяжелела и человеку уже не по силам влачить ее за собою.

Наталья встречала его угрюмо. Шакир, завидев черную бороду певчего, крепко сжимал губы и куда-то, не спеша, уходил. Пушкарь рычал на него:

— Опять явился! Смутьян, бес...

— Нездоровится тебе, Макарыч? — спрашивал Матвей, чувствуя, что этому человеку тяжко.

Пожарный посмотрел вдаль мутным взглядом и в два удара сказал окуровское словцо:

— Скушно.

Юноша вспомнил отца, который тоже умел сказать это слово — круглое, тяжкое и емкое — так, что земля точно вздрагивала от обиды.

Однажды, гуляя с Матвеем в поле, за монастырем, Ключарев как будто немного оживился и рассказал один из своих серых снов.

— И вот вижу я — море! — вытаращив глаза и широко разводя руками, гудел он.— Океан! В одном месте — гора, прямо под облака. Я тут, в полугоре, притулился и сижу с ружьем, будто на охоте. Вдруг подходит ко мне некое человечище, как бы без лица, в лохмотье одето, плачет и говорит: гора эта — мои грехи, а сатане — трон! Уперся плечом в гору, наддал и — опрокинул ее. Ну, и я полетел!

— Проснулся?

Ключарев не ответил. Приставив ладонь ко лбу, он смотрел на дальние холмы, вытянув шею и широко расставив ноги.

На другой день рано утром по городу закричали, что в огороде полиции кто-то «самоубийством застрелился из ружья».

Ключарев прервал свои сны за пожарным сараем, под старой уродливой ветлой. Он нагнул толстый сук, опутав его веревкой, привязал к нему ружье, бечевку от собачки курка накрутил себе на палец и выстрелил в рот. Ему сорвало череп: вокруг длинного тела лежали куски костей, обросшие черными волосами, на стене сарая, точно спелые ягоды, застыли багровые пятна крови, серые хлопья мозга пристали ко мшистым доскам.

Суетилась строгая окуровская полиция, заставляя горбатого Самсона собирать осколки костей; картузник едва держался на ногах с похмелья, вставал на четвереньки, поднимая горб к небу, складывал кости в лукошко и после каждого куска помахивал рукой в воздухе, точно он пальцы себе ожег.

— Это кто же? — испуганно спрашивали друг друга окуровцы.

— Господи, да пожарный же!

— Еще у Николы пел!

— Известное лицо.

— Да ведь головы-то нету, ну, и...

Люди с Торговой площади солидно говорили:

— Мастеровой народ — он уж всегда как-нибудь...

— Разве он мастеровой?

— Ну, пожарный, всё равно!

— Мастеровой совсем другое дело! Он в праздник эдак не решится. Он — по вторникам.

— Верно. В понедельник-то он еще пьет.

— И потом, мастеровые — они больше вешаются.

Большинство молчало, пристально глядя на землю, обрызганную кровью и мозгом, в широкую спину трупа и в лицо беседовавших людей. Казалось, что некоторые усиленно стараются навсегда запомнить все черты смерти и все речи, вызванные ею.

Кто-то озабоченно и боязливо спросил:

— Где же его закопают?

— Где подобные закопаны? Там и его.

— Я потому, что как он на клиросе пел...

— Пение не оправдывает...

Маленький старичок Хряпов говорил:

— На моем веку семнадцатая душа эдак-то гибнет.

И перечислял по пальцам удавленников, опоиц. замерзших и утонувших пьяниц.

А Базунов, стоя без шапки и встряхивая седыми кудрями, громко говорил, точно псалтырь читал:

— Егда же несть в сердце человеческом страха божия — и человека не бе, но скот бесполезный попирает землю!

Был август, на ветле блестело много желтых листьев, два из них, узенькие и острые, легли на спину

Ключарева. Над городом давно поднялось солнце, но здесь, в сыром углу огорода, земля была покрыта седыми каплями росы и черной холодной тенью сарая.

— Айда-ко домой! — сказал Пушкарь, толкнув Матвея плечом.

Пошли. Улица зыбко качалась под ногами, пестрые дома как будто подпрыгивали и приседали, в окнах блестели гримасы испуга, недоумения и лицемерной кротости. В светлой, чуткой тишине утра тревожно звучал укоризненный голос Шакира:

— Оттова, что выдумала русска...

— Много ты понимаешь,— ворчал Пушкарь.

— Моя — понимаит. Мине — жалка. Ну, зачем нарочна выдумыват разные слова-та? Самы страшны слова, какой есть,— ай-яй, нехоруша дела! Сам боится, другой все пугаит...

— Молчи!

— Зачем молчить? — упрямо и ласково говорил татарин.— Оттова русска скучна живет — выдумыват! Работа мала. Нарочно выбираит ваша русска, котора дума тяжела-та! Работа не любит он никакой...

— Отстань, бес...

С неделю времени Матвей не выходил из дома, чувствуя себя оглушенным, как будто этот выстрел раздался в его груди, встряхнув в ней всё тревожное и неясное, что почти сложилось там в равнодушие человека, побежденного жизнью без битвы с нею. Впечатления механически, силою тяжести своей, слагались в душе помимо воли в прочную и вязкую массу, вызывая печальное ощущение бессилия,— в ней легко и быстро гасла каждая мысль, которая пыталась что-то оспорить, чем-то помешать этому процессу поглощения человека жизнью, страшной своим однообразием, нищетою своих желаний и намерений,— нудной и горестной окуровской жизнью.

Чтобы разорвать прочные петли безысходной скуки, которая сначала раздражает человека, будя в нем зверя, потом тихонько умертвив душу его, превращает в тупого скота, чтобы не задохнуться в тугих сетях города

Окурова, потребно непрерывное напряжение всей силы духа, необходима устойчивая вера в человеческий разум. Но ее дает только причащение к великой жизни мира, и нужно, чтобы, как звезды в небе, человеку всегда были ясно видимы огни всех надежд и желаний, неугасимо пылающие на земле.

Из Окурова не видно таких огней.

...Медленно и скучно прошла зима, весною Кожемякина снова ударило горе. Раз прибежала Наталья, тревожно крича:

— Иди-ка, Матвей Савельич, чего-то Пушкарев притомился у нас!

Солдат сидел в двери амбара на большом клубке отшлихтованного каната и, упираясь руками в полотнище двери, плевал на землю кровью, приговаривая:

— Хм-на! Как будто того,— Матвей... проштрафился я... н-на... в грудях чего-то, что ли...

Рабочие, стоя сзади него, лениво попрекали:

— Надо тебе было экую тягу ворочать...

— Пошли прочь! — слабо сказал солдат, вытирая ладонью кровь с губ.— Текёт, скажи на милость...

Попробовав встать на ноги, он пошатнулся, едва не упал и, сконфуженно качая головою, пробормотал:

— На-ко! Пил — назад с год, а похмелье — вот...

Когда его подняли, канат оказался облит кровью и одежда его влажною. В кухне, перекрестясь на образа, он вытянулся на лавке, приказав рабочим:

— Ну, пошли отсюда! Стряпка — принеси-ка мне лёду, я поглотаю малость.

И, оставшись с глазу на глаз с Матвеем, строго заговорил, глядя в темное чело печи:

— Это крышка мне! Теперь — держись татарина, он всё понимает, Шакирка! Я те говорю: во зверях — собаки, в людях — татаре — самое надежное! Береги его, прибавь ему... Ох, молод ты больно! Я было думал — еще годов с пяток побегаю,— ан — нет,— вот она!

Он наморщил брови и замигал глазами. С лавки на пол тяжко падали капли крови. Наталья принесла лед и встала у двери, пригорюнясь.

— Ну, чего тебе? Иди, иди,— ишь ты!

И, когда она ушла, хозяйственно сказал:

— Ты ее не тронь, она — ничего баба! Шакир ее вышколил. С бабами — осторожно! Шутки — шутками, а бабы своей цены стоят! Жениться захочешь, гляди невест в слободе у нас, наши хоть и нищие, голодные, а умнее здешних,— это верно!

Он устало завел глаза. Лицо его морщилось и чернело, словно он обугливался, сжигаемый невидимым огнем. Крючковатые пальцы шевелились, лежа на колене Матвея,— их движения вводили в тело юноши холодные уколы страха.

— В голове шум,— говорил Пушкарев,— словно тараканы шуршат, н-на... Жениться — не торопись: от судьбы и на четвереньках не уйдешь...

Матвею хотелось утешать его, но стыдно было говорить неправду перед этим человеком. Юноша тяжко молчал.

— Как помру,— сипло и вяло говорил Пушкарь,— позови цирульника, побрил бы меня! Поминок — не делай, не любишь ты нищих. Конечно — дармоеды. Ты вот что: останутся у меня племянники — Савватейка с Зосимой — ты им помоги когда!

— Ладно,— с трудом сказал Матвей.

— Больно-то добр не будь — сожрут до костей! Оденьте в мундир меня,— как надо! Ты не реви...

— Жалко тебя! — всхлипывая, сказал Матвей.

— Ничего,— сипел Пушкарев, не открывая глаз.— Мне тоже жалко умирать-то... Про мундир не забудь,— в порядке чтобы мне! Государь Николай Павлыча, может быть, стречу...

Он вдруг как будто вспыхнул и отчетливо выговорил:

— Семьдесят два года беспорочно служил,— везде дела честно вел... это у господа записано! Он, батюшка, превыше царей справедливостью...

Легонько оттолкнув Матвея, он снова ослабел.

— Что же попа-то нет? Плохо мне,— иди-ка, пошли Шакира... скорее!

Матвей выбежал в сени,— в углу стоял татарин, закрыв лицо руками, и бормотал. По двору металась Наталья; из ее бестолковых криков Матвей узнал, что

лекарь спит, пьяный, и его не могут разбудить, никольский поп уехал на мельницу, сомов ловить, а варваринский болен — пчелы его искусали так, что глаза не глядят.

Юноша стоял на крыльце и, видя сквозь открытые двери амбара серые нити, скучно вытянутые по пустырю, думал:

«Теперь мне около этого ходить...»

Ему хотелось идти к Пушкарю, окно кухни было открыто, он слышал шёпот солдата и короткие, ноющие восклицания Шакира:

— Будь покойна, бачка! Моя — верна — аххх!

Потом татарин высунул из окна голову, крикнув:

— Касяйн!

Солдат еще более обуглился, седые волосы на щеках и подбородке торчали, как иглы ежа, и лицо стало сумрачно строгим. Едва мерцали маленькие глаза, залитые смертною слезою, пальцы правой руки, сложенные в крестное знамение, неподвижно легли на сердце.

— Не слышит! — говорил Шакир, передвигая тюбетейку с уха на ухо.— Не двигаит рука...

— Матвей, ты здесь? — спросил солдат.— Пальцы мне... сложи крестом...

— Я сложил,— сказал Шакир.

— Руки на груди... Что же вы попа-то... беси...

По полу медленно, темной лентой текла кровь.

«В подпечек нальется, будет пахнуть»,— вздрогнув, подумал Матвей.

Челюсть солдата отваливалась, а губы его всё еще шелестели, чуть слышно выговаривая последние слова:

— В руце твои... Саватейку с Зосимой не забудь... Матвей... Прощай... Шакир-то здесь?..

— Тута, бачка, тута!

Татарин стоял и, глядя на свои ладони, тоже шептал что-то, как бы читая невидимую книгу.

— Скажи дяде, Рахметулле... Спасибо ему за дружбу! Ежели что неладно — зови его... Матвей... Рахметулла — всё может, герой... Благодарствую за дружбу... скажи...

Пришел высокий и седой монастырский батюшка, взглянул на умирающего и ласково сказал:

— Нуте-с, оставьте нас...

— Ух какой! — тихонько говорил татарин Матвею, сидя с ним на завалинке.— Сколько есть кровь-та,— до последний капля жил...

— Жалко мне его,— сердечно отозвался Матвей,— так жалко! Отца я пе жалел эдак-то...

— Я ему мальчишкам знал-та... теперь такой большой татарин — вот плачит! Он моя коленкам дирижал, трубам играл, барабанам бил — бульша двасать лет прошел! Абзей моя, Рахметулла говорил: ты русска, крепка сердца твоя — татарска сердца, кругла голова — татарска голова — верна! Один бог!

Матвей взглянул на дворника и с легкой обидой спросил:

— Не любите вы русских-то?

— Хоруша — все любит, нехоруша — никакой не любит,— татар прямой! Это — русска никого не любит, ни хоруша, ни плохой — врать любит русска! Пушкарь — прямой, ух! Наша народ простая, она прямой любит...

Татарин говорил долго, но Кожемякин не слушал его,— из окна доносился тихий голос священника, читавшего отходную. На крыше бубновского дома сидели нахохлившись вороны, греясь на солнце.

Потом поп вышел на крыльцо, говоря хозяйственно:

— Нуте-с, пожалуйте проститься с отходящим в путь безвозвратный...

Шакир крикнул рабочим; вороны встрепенулись и, наклоняя головы, подозрительно осмотрели двор. Отовсюду в кухню собирался народ, мужики шли, оправляя рубахи, выбирая из бород кострику и сосредоточенно глядя под ноги себе.

Войдя в кухню, Кожемякин услыхал сдержанный говор Натальи:

— Копеечки бы сейчас же на глаза-то наложить, а то — остеклеют, не закроются, другого звать будут...

Взглянув через плечи людей в темное лицо усопшего, молодой хозяин тупо прибавил:

— Челюсть подвяжите...

Он ушел на завод и долго сидел там, глядя, как бородатый Михайло, пятясь задом, шлихтует веревку, про-

тирая ее поочередно то конским волосом, то мокрой тряпицей. Мужик размахивал руками так, как будто ему хотелось идти вперед, а кто-то толкает его в грудь и он невольно пятится назад. Под ноги ему подвернулась бобина, он оттолкнул ее, ударив пяткой. Конус дерева откатился и, сделав полукруг, снова лег под ноги, и снова Михайло, не оглядываясь, отшвырнул его, а он опять подкатился под ноги.

«Дурак какой! — подумал Матвей.— Отшвырнул бы в сторону сильнее».

Назойливо лезли в глаза струны пеньки, из них торчала серебряными иглами перебитая кострика. Рабочие, привязанные к этим серым дрожащим линиям, обманно уходившим вдаль, изредка и нехотя говорили что-то друг другу, а хозяин думал:

«К чему это мне? Бросить бы да уехать куда-нибудь...»

Кроткий весенний день таял в бледном небе, тихо качался прошлогодний жухлый бурьян, с поля гнали стадо, сонно и сыто мычали коровы. Недавно оттаявшая земля дышала сыростью, обещая густые травы и много цветов. Бил бондарь, скучно звонили к вечерней великопостной службе в маленький, неубедительный, но крикливый колокол. В монастырском саду копали гряды, был слышен молодой смех и говор огородниц; трещали воробьи, пел жаворонок, а от холмов за городом поднимался легкий голубой парок.

Под звуками и движениями жизни явной чуть слышно, непрерывно трепетало тихое дыхание мая — шелковый шелест молодых трав, шорох свежей, клейкой листвы, щелканье почек на деревьях, и всюду невидимо играло крепкое вино весны, насыщая воздух своим пряным запахом. Словно туго натянутые струны гудели в воздухе, повинуясь ласковым прикосновениям чьих-то легких рук,— плыла над землею певучая музыка, вызывая к жизни первые цветы на земле, новые надежды в сердце.

Юноше стало до слез грустно за себя и жалко всё это скучное, мягко разлитое вокруг и покорно исчезавшее в невеселом небе, низко спустившемся над землею.

«Все уходят,— думалось ему с легкой, как туман, обидой, вдруг коснувшейся сердца.— Чуть кто получше — то умрет, то убежит, как Созонт и Марков, а то прогонят, как дьячка...»

Пришел Шакир и, сняв шапку, стал просить денег.

— Ты шапку-то надень! — сердито и сконфуженно сказал Матвей.— Чего это ты?

Татарин слабо усмехнулся.

— Не снай. Мешать боялся моя — думаит ты...

— Нет, уж ты не бойся! — негромко и дружески сказал юноша.— Я сам всего боюсь тут...

— Нисява! — бодро тряхнул головою татарин.— Не нада скушна думать — всё хоруша будит! Весна пришел... Давай делам говорить: могил копать нада, старик землям хоронить нада...

...В день похорон Пушкарева шел дождь, и народа собралось немного, даже нищие поленились — не все пришли.

Шакир шагал стороной, без шапки, в тюбетейке одной, она взмокла, лоснилась под дождем, и по смуглому лицу татарина текли струи воды. Иногда он, подняв руки к лицу, наклонял голову, мокрые ладони блестели и дрожали; ничего не видя перед собою, Шакир оступался в лужи, и это вызывало у людей, провожавших гроб, неприятные усмешки. Кожемякин видел, что горожане смотрят на татарина косо, и слышал сзади себя осуждающее ворчание:

— Нехристь, а тоже провожает...

— На кладбище-то, чай, не пустят его...

Матвей и сам не знал, можно ли татарину войти на кладбище, он смотрел на Шакира, обильно поливаемого теплым, весенним дождем, и думал:

«Трудно придется ему...»

А дождь усиливался, оживленнее застучал по крышам, зашелестел ветвями деревьев, по дороге еще веселее побежали ручьи, громче захлюпала грязь под ногами рабочих, быстро шагавших, неся легкий длинный гроб. Горожане растаяли в дожде, около солдата остались только нищие да свои.

Положили храброго солдата Степана Пушкарева в одной ограде с Палагой. Мокрый угреватый никольский поп наскоро пропел вечную память, дьячок погремел погасшим кадилом, и оба, подобрав полы, спешно убежали в караулку сторожа. Михайло, Иван и Яким, торопливо опустив гроб в яму, начали сбрасывать на него мокрую землю, они сталкивали ее ногами и лопатами, крышка гроба звучала глухо, как отсыревший барабан. Вместе с землею в могилу падали светлые крупные капли с тонких веток березы, с широких лап празднично нарядной, чисто омытой сосны.

Кожемякин плакал, ткнувшись головой в дубовый Палагин крест.

— Ну, айда домой, Матвей Савельич! — глухо сказал Михайло.— Что уж?!

Сквозь слезы и серую сеть дождя Матвей видел татарина, он стоял у ограды лицом на восток, его шапка лежала у ног, на траве, дождь разбил ее в темный бесформенный ком.

— Погодим,— сказал Кожемякин, кивнув на Шакира.

Все поглядели туда, на серую согнутую спину и круглую голову, осеянную дождем.

— Н-да! — промолвил Михайло.— Вот и не нашей веры, а — чувствует...

Иван задумчиво сказал:

— Хорош человек был солдат. Строг, а хорош!

Помолчали, поежились, отряхая мокрые бороды, потом Михайло спросил:

— Теперь кто приказчиком будет?

Матвей не ответил. Тогда Иван, тяжело вздохнув, безразличным голосом молвил:

— Нам — всё едино, хоша бы кто...

И все поочередно высказались, не глядя на хозяина и друг на друга:

— Дело знал бы...

— Нам — хоть татарин, хоть чуваш-мордвин...

— Наше дело — работай...

Кожемякин, чувствуя за притворным равнодушием слов неумело скрытые надежды и назревающую обиду, думал:

«Трудно будет Шакиру,— труднее, пожалуй, чем мне...»

Домой он шел рядом с татарином, а рабочие шагали сзади. Порою кто-нибудь громко фыркал, сдувая капли дождя с бороды и усов...

С этого дня Кожемякин зажил так, как будто поехал на розвальнях по зимней, гладко укатанной дороге. Далекий однообразный путь бесцелен и наводит равнодушную дремоту, убаюкивая мысли, усыпляя редкие мимолетные тревоги. Иногда встряхнет на ухабе, подкипет на раскате,— вздрогнет человек, лениво поднимет голову и, сонно осмотрев привычный путь, давно знакомые места, снова надолго задремлет.

В душе, как в земле, покрытой снегом, глубоко лежат семена недодуманных мыслей и чувств, не успевших расцвесть. Сквозь толщу ленивого равнодушия и печального недоверия к силам своим в тайные глубины души незаметно проникают новые зерна впечатлений бытия, скопляются там, тяготят сердце и чаще всего умирают вместе с человеком, не дождавшись света и тепла, необходимого для роста жизни и вне и внутри души.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С неделю сеял мелкий спорый дождь, шуршал по крыше, сек деревья, вздыхал и плакал, переставал на час-два и — снова сыпался мелкой пылью.

Город взмок, распух и словно таял, всюду лениво текли ручьи, захлебнувшаяся земля не могла более поглощать влагу и, вся в заплатах луж, в серых нарывах пузырей, стала подобна грязному телу старухи пищей.

Солнце точно погасло, свет его расплылся по земле серой жидкой мутью, и трудно было понять, какой час дня проходит над пустыми улицами города, молча утопавшими в грязи. Но порою — час и два — в синевато-сером небе жалобно блестело холодное бесформенное пятно,— старухи называли его «солнышком покойничков».

Матвей Кожемякин сидел у окна, скучно глядя, как в саду дождь сбивает с деревьев последние листья; падая, они судорожно прыгают на холодной чешуе ручья.

Вошел Шакир и сказал, оскалив зубы:

— Барыня с мальчикой кухням сыдит, мокрый оба вся.

— Кто такая? — удивленно спросил Матвей.

— Не знай. Три день квартирам искал — нет его!

— Где тут квартиры!

Шакир передвинул тюбетейку со лба на затылок, потрогал пальцем концы усов и предложил:

— Давай ей чердак, пустой он, куда его? Мальчика бульно веселый!

— Ну что ж, давай,— не думая, согласился хозяин.— Годится ли для жилья-то?

— Сам увидит!..

— Никогда на нем не жили.

— Возьмем руб! — сказал татарин и, подмигнув, ушел.

Мысли Матвея, маленькие, полуживые и робкие, всегда сопровождались какими-то тенями: являлась мысль и влекла за собою нечто, лениво отрицавшее ее. Он привык к этому и никогда не знал, на чем остановится в медленном ходе дум, словно чужих ему, скользивших над поверхностью чего-то плотного и неподвижного, что молча отрицало всю его жизнь. Он слышал, как над его головою топали, возились, и соображал:

«Постоялка,— словно болезнь, неожиданно. Коли молодая — сплетни, конечно, пойдут. Мальчонка кричать будет, камнями лукаться и стекла побьет... К чему это?»

Снова явился Шакир, весело сказав:

— Сдал за руб!

— Только скажи — тихо жили бы, хозяин, мол, шуму не любит...

— Они — смирны! — уверенно воскликнул татарин и тихонько усмехнулся, а Кожемякин подумал:

«Чего он веселится?»

На другой день, за утренним чаем, Наталья, улыбаясь, сказала:

— Ой, Матвей Савельич, и чудна стоялка-то, уж вот чудна!

Шакир, вскинув голову, дробно засмеялся, его лицо покрылось добрыми мелкими морщинками, он наклонился к хозяину и, играя пальцами перед своим носом, выговорил, захлебываясь смехом:

— Зубу щеткам чистил!

— Ну-у? — изумленно и не веря протянул Матвей.

— А ей-богу! — торопливо воскликнула Наталья.— С мелом, — мел у нее в баночке!

— Болят зубы-то, может? — заинтересовался хозяин.

— Не-е, не жалилась...

И, улыбаясь во всю ширину откормленного плутоватого лица, Наталья скороговоркой продолжала:

— Видать — дальняя она и обычая особого, великатная такая, всё — пожалуйста да всё на вы! Принесла

я воды ведро — благодарит — благодарю-де вас, я-де сама бы взяла, не беспокойтесь вдругорядь, пожалуйста!

— Красивая? — задумчиво осведомился Кожемякин.

— Ничего будто. Плечики-те кругленькие да и грудь ровно бы у девушки. Из лица сурьезная, а усмешка — приятная, ласковенькая.

— Молодая, значит...

— По сыночку судя — годов двадцати пяти, а может, и осьми. Откуда бы такая?

Вздохнув, Наталья добавила:

— Жалостная. А именья всего-на́все — две корзинки да сундучок кожаный, с медными бляшками.

В окно торкался ветер, брызгая дождем, на дворе плачевно булькала вода, стекая в кадки под капелью; Шакир, довольно улыбаясь, громко схлебывал чай, сладкий голос Натальи пел какие-то необычные слова — Кожемякин оглядывался вокруг, чувствуя непонятное беспокойство.

— Бог с ней! — сказал он, опустив глаза.— Пускай живет, лишь бы тихо. А мальчонко что?

— Ласковенькой: вошла я, а он мылом намазан, кричит — здравствуйте, как вас зовут? Право!

— Ну, коли они ласковы, и мы с ними ласковы будем! — заявил хозяин с добрым чувством в груди.

Шакир утвердительно кивнул головой, а Наталья, словно устыдившись чего-то, проговорила:

— Вот только зубы-то,— больно смешно! Сунула в рот щеточку костяную и елозит и елозит по зубам-то,— как щеку не прободет?

После обеда в небе явились светло-синие пятна, отражаясь в устоявшейся воде луж на дворе. И вот — перед самой большой лужей сидит на корточках вихрастый остроносый мальчик, гоняя прутом чурку по воде, и что-то кричит, а вода морщится, будто смеясь в лицо ему.

Матвей тихонько открыл окно,— в комнату влетел звонкий, срывающийся голос:

Не во сне ли вижу я,
Аль горя-чая молитва
Доле-тела до царя?

У крыльца, склонив голову набок и пощипывая бороду, стоял Шакир, а в дверях амбара качалась кривобокая фигура дворника Маркуши. Прячась за косяк, Матвей Савельев смотрел на складную фигурку мальчика и думал:

«Худоват, ножонки-то жидкие; я в эту пору не таков был — сытее гораздо!»

Воспоминание о себе поднялось в груди теплой волной, приласкало. Мальчик встал, вытер руки о штаны, подтянул их и — снова запел, еще отчетливее разрубая слова:

Ах ты, во-оля, моя во-оля...

Наскоро подсучил штанины, храбро шагнул в лужу красными, как гусиные лапы, ногами и продолжал глубочайшим басом:

Зо-ло-тая ты мо-оя!

Левая штанина спустилась в воду, певец прыгнул из лужи и, поскользнувшись, встал на четвереньки.

— Ах, язва! — крикнул он, отряхая грязь с растопыренных пальцев.

Матвей Савельич высунулся из окна и сочувственно заметил:

— Заругает теперь мамаша-то...

Снова присев на корточки, мальчик полоскал руки в воде и, подняв вверх темнобровое, осыпанное светлыми вихрами лицо, успокоительно улыбаясь, ответил:

— Ничего!

— Тебя как звать?

— Боря. А вас?

— Мотя.

Кожемякин поднял руку к лицу, желая скрыть улыбку, пощупал бороду и сконфуженно поправился:

— Дядя Матвей,— Матвей Савельев...

Сунув руки в карманы штанишек, мальчик, прищурясь, спросил:

— Это вы и есть хозяин?

— Я самый. А что?

— Так! — сказал Боря.

Но, подумав, добавил:

— Толстый вы, однако!

Кожемякин серьезно возразил:

— Ты еще, значит, не видал пастояще толстых-то!

— Ну-у! — сказал Боря, усмехаясь.— Не ви-идал! Еще каких! У нас, в Каинске...

— Где это?

— В Каинске. Вы не знаете?

— Это какой губернии?

Мальчик учительски поправил его:

— Это не в губернии, а в Сибири...

Кожемякин раздвинул банки с цветами, высунулся из окна до половины, оглянув двор: Шакир ушел, Маркуша, точно медведь, возился в сумраке амбара.

— Зачем же в Сибири? — негромко спросил он.

Мальчик недоуменно поглядел на него и, широко улыбаясь, сказал:

— Смешной какой вы! Так уж выстроили город — в Сибири. Ваш город — здесь выстроили, а тот — там, вот и всё!

— Это верно! — торопливо согласился Кожемякин. — Где поставили город, там он и стоит. Грамотный ты?

— Конечно! — ответил Боря, пожимая плечами.

— И я вот тоже! — сообщил Кожемякин, а его собеседник поднял прут с земли и взглянул в небо, откуда снова сеялась мокрая пыль.

— Борис! — крикнул светлый и холодный голос.— Ты бы шел в комнату,— дождь!

На крыльце стояла высокая женщина в темном платье, гладко причесанная, бледная и строгая, точно монахиня. Было в ней также что-то общее с ненастным днем — печальное и настойчивое. Она видела Кожемякина в окне и, наверное, догадалась, что он хозяин дома, но — не поклонилась ему.

— Иди, пожалуйста! — сказала она.

«Пожалуйста! — подумал Кожемякин, закрывая окно.— Сыну-то — пожалуйста?..»

Короткий день осени быстро таял в сырой мгле. В переплет оконной рамы стучалась голая ветка рябины; ветер взмывал, кропя стекла мелкими слезами, сквозь стены просачивался плачевный шёпот.

Тринадцать раз после смерти храброго солдата Пушкарева плакала осень; ничем не отличённые друг от друга, пустые годы прошли мимо Кожемякина тихонько один за другим, точно темные странники на богомолье, не оставив ничего за собою, кроме спокойной, привычной скуки,— так привычной, что она уже не чувствовалась в душе, словно хорошо разношенный сапог на ноге.

А сегодня скука стала беспокойна. Точно серые пузыри на лужах, в голове являлись неожиданные и сердитые мысли,— хотелось пойти на чердак и спросить эту женщину:

«Ты — кто такая? Почему из Сибири? Зачем говоришь сыну-ребенку — пожалуйста? А зубы мелом чистишь — зачем?»

Матвей ходил в сумерках по комнате и каким-то маленьким, внезапно проснувшимся кусочком души понимал, что всё это вопросы глупые. Охотнее и легче думалось о мальчике.

«Боек!»

Этот мальчик как будто толкнул красной от холода, мокрой рукой застоявшееся колесо воспоминаний, оно нехотя повернулось и вот — медленно кружится, разматывая серую ленту прожитого. Мягко шаркая по полу войлочными туфлями, он дошел в воспоминаниях до Палаги, и мысль снова обратилась к постоялке.

«Чиновница, видно... гордая, не поклонилась...»

Вошла Наталья, тихо спрашивая:

— Засветить огонь-от?

— Погоди. Сам засвечу.

Вздохнув, она рассказала, что когда на чердаке затопили печь — весь дым повалил в горницу, так что постоялка с сыном на пол легли, чтобы не задохнуться.

— Сошли бы сюда! — хмуро сказал хозяин.— Не укушу, может.

— Шакир полез на крышу, а в трубе-то воронье гнездо...

— Что мудреного?

Наталья снова вздохнула и, опустив голову, виновато сказала:

— Будочник пришел...

— Почто?

— Не знаю. А вроде как насчет стоялки...

— Ну вот,— заворчал Кожемякин,— выдумали вы с Шакиром, тоже...

Он, не торопясь, вышел на кухню, но будочника уже не было. На столе горела лампа, стоял деревянный ковш, от него пахло пивом. Шакир сидел у стола и щелкал пальцами по ручке ковша, а Наталья, спрятав руки под фартук, стояла у печи,— было сразу видно, что оба они чем-то испуганы. И Матвей испугался, когда они, торопливо и тихо, рассказали ему, что полиция приказывает смотреть за постоялкой в оба глаза,— женщина эта не может отлучаться из города, а те, у кого она живет, должны доносить полиции обо всем, что она делает и что говорит.

Это грозило какими-то неведомыми тревогами, но вместе с тем возбуждало любопытство, а оно, обтачиваясь с каждым словом, становилось всё требовательнее и острее. Все трое смотрели друг на друга, недоуменно мигая, и говорили вполголоса, а Шакир даже огня в лампе убавил.

«За что ее?» — напряженно соображал Матвей.

Шакир догадывался:

— Деньга фальшивы?

Но Наталья сказала:

— Не похоже будто...

— Почем нам знать, кто на что похож? — тихо заметил Кожемякин.

— Может, с мужем сделала чего? — вслух думала Наталья.— Лицо у ней строговато,— пирожок, может, спекла?

— Молчай! — приказал Шакир.

Полиция у всех окуровцев вызывала одинаково сложное чувство, передающееся наследственно от поколения к поколению: ее ненавидели, боялись и — подобострастно льстили ей; не понимали, зачем она нужна, и назойливо лезли к ней во всех случаях жизни. И теперь, говоря о постоялке, все думали о полиции.

— Сказали ей про будочника? — спросил хозяин.

— Нет.

— Надобно сказать.

— Верно! — согласился Шакир.— Мы ее как знаем? А полицию ай-яй хорошо знаем!

Наталья засуетилась:

— Бабочка одинокая, без мужа — кто их разберет, чего им от ней надо? Женщинка молодая. Ин пойду, скажу...

Кожемякин задумался.

— Погоди! Ставь-ка самовар скорей! Подь со мной, Шакир...

Придя в горницу, он зажег лампу и, чувствуя себя решающим важное дело, внушал татарину:

— Нам — одинаково, что — полиция, что — неизвестный человек. Мы желаем жить, как жили,— тихо! Вот я позову ее и спрошу: что такое? И ежели окажется, что что-нибудь, ну,— тогда пускай очистит нас...

— Ну да! — скучно сказал Шакир, оправляя половики, а потом выпрямился и, вздохнув, ушел.

Кожемякин встал перед зеркалом, в мертвом стекле отражалось большелобое пухлое лицо; русая борода, сжимая, удлиняла его, голубые, немного мутные глаза освещали рассеянным невеселым светом. Ему не нравилось это лицо, он всегда находил его пустым и, несмотря на бороду,— бабьим. Сегодня на нем — в глазах и на распустившихся губах — появилось что-то новое и тоже неприятное.

«Она, поди-ка, ненамного моложе меня?» — вдруг и опасливо подумал он.

Наталья внесла самовар.

— Поди,— приказал он негромко,— скажи ей — хозяин, мол, просит,— вежливо, гляди, скажи! Просит, мол, сойдите... пожалуйста! Да. Будто ничего не знаешь, ласковенько так! Нам обижать людей не к чему...

Наталья ушла, он одернул рубаху, огладил руками жилет и, стоя среди комнаты, стал прислушиваться: вот по лестнице четко стучат каблуки, отворилась дверь, и вошла женщина в темной юбке, клетчатой шали, гладко причесанная, высокая и стройная. Лоб и щеки у нее были точно вылеплены из снега, брови нахмурены, между глаз сердитая складка, а под глазами тени утомления или печали. Смотреть в лицо ей — неловко, Ко-

жемякин поклонился и, не поднимая глаз, стал двигать стул, нерешительно, почти виновато говоря:

— Здравствуйте, сударыня! Пожалуйста, вот — чайку не угодно ли,— не сочтите за обиду,— чашечку!

— Благодарю вас...

Теперь голос ее звучал теплее и мягче, чем тогда, на дворе. Он взглянул на нее,— и лицо у нее было другое, нет складки между бровей, темные глаза улыбаются.

«Вот она, баба,— мельком подумал он,— разбери, какая она!» — и, смущенно покашливая, спросил ее имя.

— Евгения Петровна Мансурова,— раздельно выговорила постоялка и вдруг сама, первая, сказала, улыбаясь:

— Паспорта у меня нет, но — вы не беспокойтесь, я — под надзором полиции, и начальство уже знает, что я живу в вашем доме.

Эти ясно сказанные слова ошеломили Кожемякина, он даже вспотел и не сразу, растерянно молвил:

— Ничего-с...

В голове у него прыгали и стучали в виски пугливые мысли:

«Будет у меня жить — приказано ей, что ли, от начальства? Может, назло мне али на смех? А будочник как же?»

Она еще говорила о чем-то, но слова ее звучали незнакомо, и вся она с каждой минутой становилась непонятнее, смущая одичавшего человека свободою своих движений и беззаботностью, с которой относилась к полиции.

— Тепло как у вас! — слышал он и, чтобы не ошибиться в смысле ее слов, повторял их про себя.

— Я люблю, чтобы тепло было...

— А чем это так славно пахнет?

— Медом-с,— липовый мед, соты! — тыкая пальцем в стол, говорил Кожемякин, упорно рассматривая самовар, окутанный паром. И неожиданно для себя предложил: — Вы бы медку-то взяли — для сына?

— Спасибо! — сказала женщина, как-то особенно звонко.— К нему пришел этот ваш татарин,— славный он у вас, должно быть?

Это было понятно ему.

— Четырнадцать лет живет,— облегченно вздохнув, сообщил он.— Очень честный! Татары очень честные,— будто и не наемный, а свой...

Шаль спустилась с круглых плеч женщины, и стало видно, что гладкие волосы ее заплетены в толстую косу, а в конец косы вплетена черная лента.

«Не девица, а с косой?» — мимолетно подумал он, наливая чай.

Улыбка женщины была какая-то медленная и скользящая: вспыхнув в глубине глаз, она красиво расширяла их; вздрагивали, выпрямляясь, сведенные морщиною брови, потом из-под чуть приподнятой губы весело блестели мелкие белые зубы, всё лицо ласково светлело, на щеках появлялись славные ямки, и тогда эта женщина напоминала Матвею когда-то знакомый, но стертый временем образ.

«На Палагу не похожа,— думал он,— а на кого-то похожа?»

Но вот улыбка соскользнула с лица, снова морщина свела брови, губы плотно сжались, и перед ним сидит чужой, строгий человек, вызывая смутную тревогу.

«Чего бы ей сказать? — соображал Кожемякин, двигая по столу тарелку с лепешками и пряниками.— Улыбнулась бы еще...»

И предлагал глухим голосом:

— Вот — откушайте,— домашнего печенья...

— Спасибо! — ласково кивнув головой, молвила она, взяв лепешку. Кисти рук у нее были узенькие, лодочкой, и когда она брала что-нибудь, тонкие пальцы обнимали вещь дружно, ласково и крепко.

— Итак,— снова заговорила она,— вас всё это не касается, бежать я не собираюсь...

«Это о чем же она? — бесцеремонно уставив на нее глаза, догадывался Матвей.— Вот опять улыбается...»

— Бежать — зачем? — сказал он, словно упрашивая.— Бежать тут некуда — болота, леса всё. У нас — хорошо. Весной, конечно, хорошо-то. Летом тоже. Мальчику вашему понравится. Рыба в речке есть. Птиц ловить будет. Грибов — числа нет! На телегах ездят по грибы-то...

— А гимназии у вас нет ведь?

— Это — училище?
— Да.
— Училище — есть.
— Сколько классов?
— Три... кажись.
— Это не гимназия...

Матвей вздохнул,— стало немного досадно, что в Окурове нет гимназии.

— Глухо у вас! — молвила женщина, тоже вздыхая, и начала рассказывать, как она, остановясь на постоялом дворе, четыре дня ходила по городу в поисках квартиры и не могла найти ни одной. Везде ее встречали обидно грубо и подозрительно, расспрашивали, кто она, откуда, зачем приехала, что хочет делать, где муж?

— Так странно, точно я не русская или попала в чужую страну, говорю непонятным языком и все меня боятся!

Это было знакомо ему, сближало с нею, будило сочувствие.

— А где у вас супруг-то?

Окинув его внимательным взглядом, она кратко ответила:

— Умер.

И ему показалось, что это слово, всегда печальное, сегодня лишено своего тяжелого смысла.

— Простудился и — умер! — внятно повторила она.— Там очень холодно, в Сибири...

— Он там должность имел?

Приподняв плечи, женщина просто сказала:

— Да нет же! Я вам говорю,— мы сосланы были, понимаете? В ссылке...

И прибавила еще какое-то, никогда не слыханное слово. Матвей сел на стуле плотнее.

— За что же-с?

Кусая губы, она накинула на плечи шаль, оглянула комнату и тоже спросила строго и веско:

— Вы знаете — что такое политика? Политическое преступление?

— Н-нет,— сказал Кожемякин, съежившись и опуская глаза под ее взглядом, тяжелым, точно отталкивавшим его.

— Ну, это я вам в другой раз объясню! — слышал он. Снова ее речь звучала ласковее и мягче.

— А теперь — до свиданья! Спасибо вам. Право, не знаю, что стала бы я делать, если бы вы не сдали мне уютный ваш чердачок!

Уходя, она еще улыбнулась, и это несколько успокоило тревогу, снова поднятую в нем пугающими словами — Сибирь, ссылка, политическое преступление. Особенно многозначительно было слово политика, он слышал его в связи с чем-то страшным и теперь напряженно вспоминал — когда и как это было?

Он чувствовал себя усталым, как будто беседа с постоялкой длилась целые часы, сидел у стола, вскинув руки и крепко сжимая ладонями затылок, а в памяти назойливо и зловеще, точно осенний ветер, свистели слова — Сибирь, ссылка. Но где-то под ними тихо росла ласковая дума:

«Подбородок у ней — будто просвира. И ямка на нем — детская, куда ангелы детей во сне целуют. А зубы белые какие, — на что она их мелом-то?»

Вдруг его тяжко толкнуло в грудь и голову темное воспоминание. Несколько лет назад, вечером, в понедельник, день будний, на колокольнях города вдруг загудели большие колокола. В монастыре колокол кричал торопливо, точно кликуша, и казалось, что бьют набат, а у Николы звонарь бил неровно: то с большою силой, то едва касаясь языком меди; медь всхлипывала, кричала.

Матвей выбежал за ворота, а Шакир и рабочие бросились кто куда, влезли на крышу смотреть, где пожар, но зарева не было и дымом не пахло, город же был охвачен вихрем тревоги: отовсюду выскакивали люди, бросались друг ко другу, кричали, стремглав бежали куда-то, пропадая в густых хлопьях весеннего снега.

Кто-то скакал на черном коне к монастырю и, протянув вперед руку, неистово орал:

— Пере-еста-ать! Не зво-они-и!

А у Николы звонили всё гуще и мрачнее.

На бегу люди догадывались о причине набата: одни говорили, что ограблена церковь, кто-то крикнул, что отец Виталий помер в одночасье, а старик Чапаков,

отставной унтер, рассказывал, что Наполеонов внук снова собрал дванадесять язык, перешел границы и Петербург окружает. Было страшно слушать эти крики людей, невидимых в густом месиве снега, и все слова звучали правдоподобно.

— Реки-чу вскрылись не вовремя! — говорил кто-то позади Матвея, безнадежно и густо.— Потоп наступает, слышь...

— Кто говорит?

— Депеша пришла!

— Нам потоп не тревога — мы высоко живем...

В сумраке вечера, в мутной мгле падающего снега голоса звучали глухо, слова падали на голову, точно камни; появлялись и исчезали дома, люди; казалось, что город сорвался с места и поплыл куда-то, покачиваясь и воя.

Вот старик Базунов, его вели под руки сын и зять; без шапки, в неподпоясанной рубахе и черном чапане поверх нее, он встал как-то сразу всем поперек дороги и хриплым голосом объявил на весь город:

— Чего зря лаете? Али не слышите по звону-то — государь Александра Миколаич душу богу отдал? Сымай шапки!

Все вдруг замолчали, и стало менее страшно идти по улицам среди темных и немых людей.

Потом Кожемякин стоял в церкви, слушал, как священник, всхлипывая, читал бумагу про убийство царя, и навсегда запомнил важные, печальные слова:

— «Неисповедимые веления промысла — свершились...»

Было в этих словах что-то отдаленно знакомое, многообразно связанное со всею жизнью.

Его очень беспокоил Шакир, он тоже стоял в церкви, тряс головой и мычал, точно у него болели зубы,— Матвей боялся, как бы окуровцы не заметили и не побили татарина.

Но церковь была почти не освещена, только в алтаре да пред иконами, особо чтимыми, рассеянно мерцали свечи и лампады, жалобно бросая желтые пятна на черные лики. Сырой мрак давил людей, лиц их не было видно, они плотно набили храм огромным, безглавым,

сопящим телом, а над ними, на амвоне, точно в воздухе, качалась темная фигура священника.

Из церкви Матвей вынес тупое недоумение и боль в голове, точно он угорел. Стояли без шапок в ограде церкви, Шакир чесал грудь, чмокал и ныл.

— Засем эта? Ай-яй, какой людя, озорства всегда...

— Молчи-ка! — сказал Кожемякин.— Слушай, чего говорят...

Говорили многие и разно, но все одинаково угрюмо, негромко и неуверенно.

— Поди — англичанка подкупила...

— Турки тоже...

— И турки! Они — могут!

— Побил он их!

— Ой, Шакир, гляди — привяжутся к тебе! — шепнул Кожемякин татарину.

А тот — рассердился:

— Я — турка? Мы Россиям живем, мы — своя люди, что ты?

И всё плыл, понижаясь, тихий, задумчивый гул:

— Не впервóй ведь насыкались они на него...

— Кто?

— А эти...

— Кто — эти?

— Ну, а я почем знаю? Спроси полицию, это ей знать!

Вдруг чей-то высокий голос крикнул, бодро и звонко:

— Теперь, обыватели, перемены надо ждать!

И тотчас многие голоса подхватили с надеждой:

— Конечно уж...

— Перемены... н-да-а...

— После Николай Павлыча были перемены...

— Как же! Откупа, первое...

— Не дай бог!

— Мужиков из крепости вывел...

— Рекрутчина общая...

— Это тоже многих подшибло!

— А на фитанцах как нажились иные?

— Не дай господи, как пойдет ломка опять!

Где-то сзади Матвея гулко и злорадно взревели:

— Господишки это, дворянишки всё, политика это,

тесно, вишь, им! Политика, говорю, сделана! Из-за мужиков они, чтоб опять крепость установить...

— Вер-рно! — хрипло закричал Базунов.— Дворяне! Политика сделана-а!

И человек двадцать именитых граждан, столкнувшись в кучу, галдели вперебой о дворянах, о жадности их, мотовстве и жестокости, о гордости и всех пороках нелюбимого, издревле враждебного сословия господ.

— А сам — какой? — ворчал Шакир.

— Праведники! — тихо отозвался Кожемякин.— Айда домой!

И пора было уходить: уже кто-то высокий, в лохматой шапке, размахивал рукою над головами людей и орал:

— Стой, мерзавец! Ты — кто? Городовой! Я тебе покажу, крамольник! Возьми его, Захар! Ты кто, старик, а? Б-базунов? Ага!

Кожемякин с Шакиром отошли шагов на десять, и густой снег погасил воющие голоса людей; на улице стало тихо, а всё, что слышали они, точно скользнуло прочь из города в молчание белых полей.

Но сегодня, сейчас вот, всё это вновь возвратилось, памятное и сжатое, встало перед глазами сохранно, как написанное пылающими красками на стене церкви, грозило и наполняло страхом, внушая противоречивые мысли:

«Пусть уедет, бог с ней! Сын про царя поет — родимый, голубчик — про царя! А мать — вон оно что! Куда теперь ехать ей? Нету здесь квартир, и были бы — не пустят ее,— побить даже могут. Это — как раз!»

Вошла Наталья, весело спрашивая:

— Убирать самовар-от?

— Пошли Шакира скорее!..

И Шакир пришел веселый.

— Чего скалишь зубы-то? Сядь-ко...

Татарин сел, потряхивая головою и улыбаясь.

— Знаешь,— тихо заговорил Кожемякин,— за что она в Сибири-то была? Помнишь — царя убили? Она из этих людей...

Шакир отрицательно потряс головой.

— Нет, она четыр годы раньше Сибирям ехал...

И, не ожидая возражений хозяина, оживленно продолжал:

— Борка всё знайт, ух какой мальчика! Хороший людя,— ух!

— Чем? — спросил Матвей, и не веря и радуясь.

— Ух,— всё,— очен!

— Да ты не ухай,— ты толком скажи!

Татарин махнул рукой и засмеялся, восклицая:

— Айда везде! Ему все людя хороша — ты, я — ему всё равной! Веселый! Я говорю: барына — она говорит: нет барына, Евгень Петровна я! Я говорю — Евгень всегда барына будит, а она говорит: а Наталья когда будит барына? Все барына, вот как она! Смеял я, и Борка тоже, и она,— заплакал потом, вот как смешной!

— Смеется она? — сомневаясь, осведомился Матвей.

— Сколки хошь! Голова дернул вверх, катай — айда!

Он шумно схлебывал чай, обжигался, перехватывал блюдце с руки на руку, фыркал и всё говорил. Его оживление и ласковый блеск радостно удивленных глаз спугнули страх Матвея.

— Что ж она говорила? — допытывался он.

— Всё! Ух, такой простой...

— Ну, бог с ней! — решил Кожемякин, облегченно вздыхая.— Ты, однако, не говори, что она из этих!

— Зачем буду говорить? Кто мне верит?

— Дурному всяк поверит! Народ у нас злой, всё может быть. А кто она — это дело не наше. Нам — одно: живи незаметно, как мы живем, вот вся задача!

Он долго внушал Шакиру нечто неясное и для самого себя; татарин сидел весь потный и хлопал веками, сгоняя сон с глаз своих. А в кухне, за ужином, о постоялке неустанно говорила Наталья, тоже довольная и заинтересованная ею и мальчиком.

— Такая умильная, такая ли уж великатная, ну — настоящая госпожа!

Матвей, всё более успокаиваясь, заметил:

— Эк вы, братцы, наголодались по человеке-то! Ничего не видя, а уж и то и се! Однако ты. Наталья, не больно распускай язык на базаре-то и везде,— тут все-таки полиция причастна...

И замолчали, вопросительно поглядывая друг на друга.

Дробно барабаня пальцами по столу, Кожемякин чувствовал, что в жизнь его вошло нечто загадочное и отстраниться от загадки этой некуда.

«Да и охоты нет отстраняться-то,— покорно подумал он.— Пускай будет что будет,— али не всё равно?»

И вспомнил, что Шакир в первый год жизни в доме у него умел смеяться легко и весело, как ребенок, а потом — разучился: смех его стал звучать подавленно и неприятно, точно вой. А вот теперь — татарин снова смеется, как прежде.

«Детей он любит — когда они свиным ухом не дразнятся и камнями не лукают...»

Ночью, лежа в постели, он слышал над головой мягкий шорох, тихие шаги, и это было приятно: раньше, бывало, на чердаке шуршали только мыши да ветер, влетая в разбитое слуховое окно, хлопал чем-то, чего-то искал. А зимою, тихими морозными ночами, когда в поле, глядя на город, завистливо и жалобно выли волки, чердак отзывался волчьему вою жутким сочувственным гудением, и под этот непонятный звук вспоминалось страшное: истекающая кровью Палага, разбитый параличом отец, Сазан, тихонько ушедший куда-то, серый мозг Ключарева и серые его сны; вспоминалась Собачья Матка, юродивый Алеша, и настойчиво хотелось представить себе — каков был видом Пыр Растопыр?

Когда над городом пела и металась вьюга, забрасывая снегом дома до крыш, шаркая сухими мохнатыми крыльями по ставням и по стенам,— мерещился кто-то огромный, тихонький и мягкий: он покорно свернулся в шар отребьев и катится по земле из края в край, приминая на пути своем леса, заполняя овраги, давит и ломает города и села, загоняя мягкою тяжестью своею обломки в землю и в безобразное, безглавое тело свое. Незаметно, бесшумно исчезают под ним люди, растет оно и катится, а позади него — только гладкая пустыня, и плывет над нею скорбный стон:

— Помоги!

Первый месяц жизни постоялки прошел незаметно быстро, полный новых маленьких забот: Шакир уговорил хозяина переложить на чердаке печь, перестлать рассохшийся пол, сделать еще целую кучу маленьких поправок,— хозяин морщился и жаловался:

— Тут на починку столько денег уйдет, что и в два года она мне их не покроет, постоялка-то!

— Нисяво! — весело утешал татарин.— Наша говорит — «хороша людя дороже деньга!»

— Да я не столь о деньгах, а возня это — стучат, скрипят!

На время, пока чердак устраивали, постоялка с сыном переселилась вниз, в ту комнату, где умерла Палага; Кожемякин сам предложил ей это, но как только она очутилась на одном полу с ним,— почувствовал себя стесненным этой близостью, чего-то испугался и поехал за пенькой.

Ездил и всё думал о ней одни и те же двуличные вялые думы, отягощавшие голову, ничего не давая сердцу.

Ясно было только одно:

«Она тоже всем тут чужая, вроде как я...»

Эта грустная мысль была приятна и торопила домой.

Воротясь и увидав комнату Палаги пустой уже, Матвей вздохнул, жалея о чем-то.

Подходила зима. По утрам кочки грязи, голые сучья деревьев, железные крыши домов и церквей покрывались синеватым инеем; холодный ветер разогнал осенние туманы, воздух, еще недавно влажный и мутный, стал беспокойно прозрачным. Открылись глубокие пустынные дали, почернели леса, стало видно, как на раздетых холмах вокруг города неприютно качаются тонкие серые былинки.

Уже отгуляли рекрута — в этом году не очень буйно: вырвали три фонаря на базарной площади, выбили стекла в доме земской управы и, когда дрались со слободскими, сломали часть церковной ограды у Николы,— палки понадобились.

А в Балымерах племянник кулака Мокея Чапунова в петлю полез со страха перед солдатчиной, но это не помогло: вынули из петли и забрили.

Вечера становились неиссякаемо длинными. В прошлые годы Матвей проводил их в кухне, читая вслух пролог или минеи, в то время как Наталья что-нибудь шила, Шакир занимался делом Пушкаря, а кособокий безродный человек Маркуша, дворник, сидя на полу, строгал палочки и планки для птичьих клеток, которые делал ловко, щеголевато и прочно. Иногда играли в карты — в дураки и свои козыри, а то разговаривали о городских новостях или слушали рассказы Маркуши о разных поверьях, о мудрости колдуний и колдунов, поисках кладов, шутках домовых и всякой нечистой силы.

Но теперь в кухне стал первым человеком сын постоялки. Вихрастый, горбоносый, неутомимо подвижной, с бойкими, всё замечавшими глазами на круглом лице, он рано утром деловито сбегал с верха и здоровался, протягивая руку со сломанными ногтями.

— Я буду вам помогать, Наташа!

В коротенькой рыжей курточке, видимо, перешитой из мужского пиджака, в толстых штанах и валенках, обшитых кожей, в котиковой, всегда сдвинутой на затылок шапочке, он усаживался около Натальи чистить овощи и на расспросы ее отвечал тоном зрелого, бывалого человека.

— Как же вы, миленький, ехали-то?

— Очень просто,— на лошадях!

— Чай, городов-то сколько видели?

Прищурив глаза, он перечислял:

— Екатеринбург, Пермь, Сарапуль,— лучше всех — Казань! Там цирк, и одна лошадь была — как тигр!

— Ой, господи! — вздыхала Наталья.

— Полосатая, а ноги — длинные, и от нее ничего нельзя спрятать...

Подробно рассказав о лошади, подобной тигру, или еще о каком-нибудь чуде, он стряхивал с колен облупки картофеля, оглядывался и говорил:

— Шакир, давайте чего-нибудь делать!

— Айда, завод глядим!

На пустыре Борю встречали широкими улыбками, любопытными взглядами.

— С добреньким утречком!

Взмахивая шапкой, Борис Акимович солидно отвечал:

— Здравствуйте, господа! Бог на помощь!

— Благодарим! — отвечали господа, шлепая лаптями по натоптанной земле.

— Маркуша! Давайте мне работу!

— На-ко, миляга, на! — сиповато говорил Маркуша, скуластый, обросший рыжей шерстью, с узенькими невидными глазками. Его большой рот раздвигался до мохнатых, острых, как у зверя, ушей, сторожко прижавшихся к черепу, и обнажались широкие желтые зубы.

— Ты, Боря, остерегайся его! — предупредили однажды Борю мужики.— Он колдун, околдует тебя!

Человек семи лет от роду пренебрежительно ответил:

— Колдуны — это только в сказках, а на земле нет их!

В сыром воздухе, полном сладковатого запаха увядших трав, рассыпался хохот:

— Ах, мать честная, а?

— Маркух — слыхал?

— Нету, брат, тебя...

Полуслепой Иван гладил мальчика по спине, причитая:

— Ой ты, забава,— ой ты, малая божья косточка!

Маркуша тряс животом, а Шакир смотрел на всех тревожно, прищурив глаза.

Кожемякин, с удивлением следя за мальчиком, избегал бесед с ним: несколько попыток разговориться с Борей кончились неудачно, ответы и вопросы маленького постояльца были невразумительны и часто казались дерзкими.

— Нравится тебе у меня? — спросил он однажды.

Мальчик взмахнул ресницами, сдвинул шапку на затылок.

— Разве я у вас?

— А как? Дом-от чей? Мой! И двор и завод...

— А город?

— Город — царев.

Боря подумал.

— Вы что делаете?

— Я? Веревку, канат...

— Нет,— топнув ногой, повторил Боря,— что делаете вы?

— Я? Я — хозяин, слежу за всеми...

— Вас вовсе и не видно!

— А твой тятя что делал?

— Тятя — это кто?

— Отец,— али не знаешь?

— Отец называется — папа.

— Ну, папа! У нас папой ребятенки белый хлеб зовут. Так он чем занимался, папа-то?

— Он?

Боря нахмурился, подумал.

— Книги читал. Потом — писал письма. Потом карты рисовал. Он сильно хворал, кашлял всё, даже и ночью. Потом — умер.

И, оглянув двор, накрытый серым небом, мальчик ушел, а тридцатилетний человек, глядя вслед ему, думал:

«Врет чего-то!»

В другой раз он осведомился:

— Как мамаша — здорова?

Боря, поклонясь, ответил:

— Благодарю вас, да, здорова.

«Ишь ты!» — приятно удивленный вежливостью, воскликнул Матвей про себя.

— Не скучает она?

— Она — большая! — вразумительно ответил мальчик.— Это только маленьким бывает скучно.

— Ну,— я вот тоже большой, а скучаю!

Тогда Борис посоветовал ему:

— А вы возьмите книжку и почитайте. Робинзона или «Родное слово»,— лучше Робинзона!

«Какое родное слово? О чем?» — соображал Матвей.

И каждый раз Боря оставлял в голове взрослого человека какие-то досадные занозы. Вызывая удивление бойкостью своих речей, мальчик будил почти неприязненное чувство отсутствием почтения к старшим, а дружба его с Шакиром задевала самолюбие Кожемякина. Иногда он озадачивал нелепыми вопросами, на которые ничего нельзя было ответить,— сдвинет брови, точно мать, и настойчиво допытывается:

— Почему здесь много ворон?
— Ну, разве это можно знать?
— А почему нельзя? Запрещается?
— Н-нет,— а просто — зачем?
— Вы их любите?
— Ворон-то? Чай, их не едят, чудак ты!
— Чижей тоже не едят, а вы их любите!
— Так они поют!

Казалось, что это удовлетворило Борю, но, подумав, он спросил:

— Разве любят за то, что — можно есть или — что поют?

Кожемякина обижали подобные вопросы, ему казалось, что эта маленькая шельма нарочно говорит чепуху, чтобы показать себя не глупее взрослого.

Однажды Маркуша, сидя в кухне, внушал Борису:

— Кот — это, миляга, зверь умнеющий, он на три локтя в землю видит. У колдунов всегда коты — советчики, и оборотни, почитай, все они, коты эти. Когда кот сдыхает — дым у него из глаз идет, потому в ём огонь есть, погладь его ночью — искра брызжет. Древний зверь: бог сделал человека, а дьявол — кота и говорит ему: гляди за всем, что человек делает, глаз не спускай!

— Вы видали дьяволов? — спросил Боря звонко и строго.

— Храни бог! На что они мне надобны?

— А вы, дядя Матвей, видали?

— Ну вот,— где их увидишь?

Мальчик, нахмурясь, солидно сказал:

— Это вы всё смеетесь надо мной, потому что я — еще маленький! А дьяволов — никто не видел, и вовсе их нет, мама говорит — это просто глупости — дьяволы...

Он прищурил глаза, оглядывая темные углы кухни.

— Если бы они были, и домовые тоже, я уж нашел бы! Я везде лазию, а ничего нет нигде — только пыль, делаешься грязный и чихаешь потом...

Маркуша, удивленно открыв рот, затрясся в припадке судорожного смеха, и волосатое лицо его облилось слезами, точно вспотело, а Матвей слушал сиплый, рыдающий смех и поглядывал искоса на Борю, думая:

«Хитрюга мальчонок этот! Осторожно надо с ним, а то и высмеет,— никакого страха не носит он в себе, суется везде, словно кутенок...»

Было боязно видеть, как цепкий человечек зачем-то путешествует по крутой и скользкой крыше амбара, висит между голых сучьев деревьев, болтая ногами, лезет на забор, утыканный острыми гвоздями, падает и — ругается:

— Ах, язва, чёрт!

«Без отца,— без начала»,— думал Кожемякин, и внимание его к мальчику всё росло.

Задевала песня, которую Боря неугомонно распевал — на земле, на крыше, вися в воздухе.

Не с росой ли ты спустилась,
Не во сне ли ви-жу я,
Аль горя-чая моли-итва
Доле-тела до царя?

— Это про какого царя сложено?

— Который освободил крестьян...

Пристально глядя в лицо ребенка, Кожемякин тихо сказал:

— Да, вот он освободил людей, а его убили...

Боря с горячим интересом воскликнул:

— На войне?

— Нет, просто так, на улице, бомбой...

— Этого не бывает! — сказал мальчик неодобрительно и недоверчиво. — Царя можно убить только на войне. Уж если бомба, то, значит, была война! На улицах не бывает бомбов.

Кожемякин смущенно замолчал, и острое чувство жалости к сироте укололо полуживое сердце окуровского жителя.

«А вдруг окажется, что и родители твои к войне этой причастны?» — подумалось ему.

Отношение матери к сыну казалось странным,— не любит, что ли, она его?

Однажды Боря вдруг исчез со двора. Шакир и Наталья забили тревогу, а постоялка сошла в кухню и стала спокойно уговаривать их:

— Ничего страшного нет,— придет! Он привык бегать один.

— Ай, матушка! — суетясь, точно испуганная курица, кудахтала Наталья.— Куда ему бегать? Как это можно! Город-от велик, и собаки в нем, и люди пьяные, а и трезвый злой человек — диво ли?

— Ну, вот, и пусть он увидит всё это! — сказала постоялка, усмехаясь.

«Неужто не боится?» — соображал Матвей, неприметно разглядывая ее уверенное лицо, и — напомнил ей:

— Семь лет ему.

— В январе — восемь уж будет.

«В апреле зачат!» — быстро сосчитал Матвей.

Шакир, нахлобучив шапку, убежал на улицу и скоро привел Бориса, синего от холода, с полузамерзшими лапами, но очень довольного прогулкой. Наталья растирала ему руки водкой, а он рассказывал:

— Хотели на меня напасть два больших мальчика, а я им как погрозил кулаком...

— Не хвастай, Борька! — сказала мать.

— Почем ты знаешь, что этого не было? — задумчиво спросил он.

— Потому, что тебя знаю.

— Правда, не было! Ничего интересного не было. Просто шли люди вперед и назад, немного людей,— потом один человек кидал в собаку лёдом, а будочник смеялся. Около церкви лежит мертвая галка без головы...

Приглаживая его вихры, мать ласково молвила:

— Ну вот это правда!

— Да,— сказал мальчик, вздохнув.

Кожемякин тихонько засмеялся.

— Хотел придумать поинтересней что, а мамаша-то и не позволила!

— Он у меня мечтатель, а это — вредно! Надо знать жизнь, а не выдумывать.

Она точно на стене написала эти слова крупными буквами, и Матвею легко было запомнить их, но смысл этих слов был неясен для него.

«Разве можно выдумать жизнь?»

Он заметил, что постоялка всегда говорит на два лада: или неуважительно — насмешливо и дерзко, или строго — точно приказывая верить ей. Часто ее темные глаза враждебно и брезгливо суживались под тяжестью опущенных бровей и ресниц, губы вздрагивали, а рот становился похож на злой красный цветок, и она бросала сквозь зубы:

— Это — глупости! Это — чепуха!

Вызывающе выпрямлялась, и все складки одежды ее тоже становились прямыми, точно на крещенских игрушках, вырезанных из дерева, или на иконах.

Она редко выходила на двор и в кухню,— Наталья сказывала, что она целые дни всё пишет письма, а Шакир носил их на почту чуть не каждый день. Однажды Кожемякин, взяв конверт из рук татарина, с изумлением прочитал:

— Казань. Его превосходительству— эгэ-э... превосходительству, гляди-ка ты! — Георгию Константиновичу Мансурову? И она Мансурова,— дядя, что ли, это? Неси скорей, Шакир, смотри, не потеряй!

С той поры он стал кланяться ей почтительнее, ниже и торопился поклониться первым.

Иногда он встречал ее в сенях или видел на крыльце зовущей сына. На ходу она почти всегда что-то пела, без слов и не открывая губ, брови ее чуть-чуть вздрагивали, а ноздри прямого крупного носа чуть-чуть раздувались. Лицо ее часто казалось задорным и как-то не шло к ее крупной, стройной и сильной фигуре. Было заметно, что холода она не боится,— ожидая сына, подолгу стоит на морозе в одной кофте, щеки ее краснеют, волосы покрываются инеем, а она не вздрагивает и не ежится.

«Здоровая! — одобрял Матвей.— Привыкла в Сибирях-то...»

И очень хотелось поговорить с нею о чем-нибудь весело и просто, но — не хватало ни слов, ни решимости.

Случилось, что Боря проколол себе ладонь о зубец гребня, когда, шаля, чесал пеньку. Обильно закапала на снег алая кровь; мужики, окружив мальчика, смотрели, как он сжимал и разжимал ярко окрашенные пальцы, и чмокали, ворчали что-то, наклоняя над ним

темные рожи, как большие собаки над маленькой, чужой.

— Это вовсе не больно!— морщась и размахивая рукою, говорил Боря.

— Да-кось, я тебе заговорю кровь-то,— сказал Маркуша, опускаясь на колени, перекрестился, весь ощетинился и угрожающе забормотал над рукою Бори:

— Как с гуся вода, чур, с беса руда! Вот идет муж стар, вот бежит конь кар — заклинаю тя, конь,—стань! Чур! В Окиане-море синий камень латырь, я молюся камню...

— Не надо! — крикнул мальчик.— Пустите меня!

Но его не слушали,— седой, полуслепой и красноглазый Иван укоризненно кричал:

— Это от поруба заговор, а не от покола!

— Подь к домовому, не лезь!— возразил Маркуша.

Кожемякин видел всё это из амбара, сначала ему не хотелось вмешиваться, но когда Боря крикнул, он испугался и отвел его в кухню. Явилась мать, на этот раз взволнованная, и, промывая руку, стала журить сына, а он сконфуженно оправдывался:

— Да мне не больно же, только испугался я!

— Чего испугался? Шалить не боишься?

— Подожди, мама! Он там начал говорить,— что он говорил, дядя Матвей?

— Заговор на кровь,— объяснил Кожемякин.

Не взглянув на него, постоялка спросила:

— Вы верите в заговоры?

— А как же! Ведь вот — остановилась кровь?

— Это — от испуга, а не от заговора! — сухо сказала женщина.

— Они, мама, сделались совсем как индейцы, а я как белый пленник...

— Ну, не болтай пустяков! Ты сам индюшка!

И, посмотрев в лицо Матвея обидно блестевшим взглядом, сказала, точно угрожая:

— Интересно поговорить с этим, — заговорщиком!

Чувствуя себя отброшенным ее словами, Кожемякин приподнял плечи и ушел из кухни, а сквозь неприкрытую дверь до него доходила торопливая, воющая речь татарина:

— Сударина-мачка! Не надо туда ему пускать одному! Такой там,— ах! Мать ругайт всегда, кровь любит смотреть,— не нада!

А постоялка говорила:

— Вы мне избалуете сына, Шакир! Ему нужно всё видеть.

Скорбный голос татарина убеждал:

— Мачка Евгенья! Не нужна,— ничего не нужна! Ты не нужна и хозяйн — добра людя не нужна, ах! Бояться нужна!

Постоялка звучно засмеялась.

— Полноте, Шакир, не верю я вам!

А Кожемякин, понимая вой Шакира, не понимал ее храбрости, и она раздражала его.

«Погоди, барыня,— испугаешься! Гордость-то посотрется,— смирней будешь!»

И, ощущая упрямое желание напугать ее, он вспоминал тихую, кошмарную окуровскую жизнь, которую эта женщина отрицала, не зная, над которой смеется, не испытав ее власти.

Он мысленно считал недоверчивые усмешки постоялки, учительные замечания, которые она бросала мимоходом, и — сердился. Он сознавал себя способным одолеть в ней то чужое, непонятное, что мешало ему подойти к ней, создавая неощутимую, но всё более заметную преграду. Назойливо пытался разговориться с нею и — не мог, смущаясь, обижаясь, не понимая ее речей и стыдясь сознаться в этом.

Ему часто казалось, что когда постоялка говорит,— слова ее сплетаются в тугую сеть и недоступно отделяют от него эту женщину решеткой запутанных петель. Хорошее лицо ее становилось неясным за сетью этих слов, они звучали странно, точно она говорила языком, незнакомым ему.

Однажды он особенно ясно почувствовал ее отдаленность от жизни, знакомой ему: сидел он в кухне, писал письмо, Шакир сводил счет товара, Наталья шила, а Маркуша на полу, у печки, строгал свои палочки и рассказывал Борису о человечьих долях.

Дверь тихо отворилась, вошла постоялка, погрозила пальцем сыну, лежавшему у ног Маркуши, и тихонько

села рядом с Натальей,— села так, точно собиралась подстеречь и поймать кого-то.

— Ну и вот,— медленно и сиповато сказывал Маркуша,— стало быть, ро́дится человек, а с ним и доля его ро́дится, да всю жизнь и ходить за ним, как тень, и ходить, братец ты мой! Ты бы в праву сторону, а она те в леву толкнеть, ты влево, а она те вправо, так и мотаить, так всё и мотаить!

— Она какая? — вдумчиво спросил Боря.

— Она-то? Разная, кому — пить, кому — утонуть!

— На кого она похожа?

Кожемякин перестал писать, наблюдая за постоялкой,— наклоня голову набок, поджав губы и прищурив глаза, она оперлась плечом о стену и, перебирая тонкими пальцами бахрому шали, внимательно слушала.

— Видом какая, значить? — говорил Маркуша, двигая кожей на лбу.— Разно это,— на Каме-реке один мужик щукой ее видел: вынул вентерь, ан глядь — щука невеличка. Он ее — за жабры, а она ему баить человечьим голосом: отпусти-де меня, Иван, я твоя доля! Он — бежать. Ну, убег. Ему — без беды обошлось, а жена вскоре заболела да на пятый месяц и померла...

— Отчего? — снова спросил Боря, заглядывая в подпечек.

— Доля, значить, ей такая,— судьба!

— А щука?

— А щука — уплыла, куда ей надоть. Доля — она, миляга, разно представляется, когда надо и заяцем, и собакой, и котом тоже — до сухого листа можеть. Было в Воронеже — идеть это женщина, а сиверко — ветер, дождь, дело осеннее. И вот нанесло ей ветром на щеку листочек, а он, слышь ты, и прилип к щеке-то. Она его сними да и брось наземь, и слышить, в уши-те ей шепчуть: положить бы те меня за пазуху, пригреть бы, ведь я долюшка твоя злосчастная! Сдурела бабочка, спужалась да — бежать! Прибегла это домой, а муж да двое деток грибам объелись, помирають. И померли, а она с той поры так те и живеть, как листок на ветру,— куда ее понесеть, туда она и идеть!

Он замолчал и зевнул длинным, воющим зевком; с колена его, покрытого куском кожи, непрерывно и

бесшумно сыпались тонкие серые стружки, а сзади, по белой стенке печи, распласталась тень лохматой головы.

— Это тараканы под печкой? — осведомился Боря, вздохнув.

Наталья ответила:

— Может, тараканы, а то мышата.

— И домовой тоже,— снова заговорил Маркуша,— он подпечек любить, это ему — самое место!

Постоялка пошевелилась и мягко сказала:

— Борис, иди спать!

— Ну, мама, рано еще!

Она веско повторила:

— Иди, я прошу!

Мальчик поднялся, тряхнул головой и, оглянув кухню так, точно в первый раз был здесь, попросил мать:

— Тогда и ты иди!

— Я посижу еще здесь...

Он неохотно подошел к двери, отворил ее, выглянул в сени и медленно переступил порог.

— Проводить пойти,— сказала Наталья, откладывая шитье,— а то ты бы, Шакир, пошел.

Татарин сорвался с места, но постоялка покачнулась вперед и строго остановила его:

— Нет, пожалуйста, не надо!

«Что это она?» — подумал Кожемякин.

И негромко заметил:

— Испугается, пожалуй...

Она взглянула так сердито, точно вызывала на спор.

— Чего?

— Темна! — сказал Шакир, умильно улыбаясь, а Маркуша зачем-то гукнул, точно сыч, и тихонько засмеялся.

Постоялка, косясь на него, громко проговорила:

— Он знает, что ночью — темно.

Все замолчали, слушая, как торопливо стучат по лестнице маленькие ноги и срываются со ступеней. Потом наверху заскрипела и хлопнула дверь.

— Дошел! — облегченно вздохнула Наталья.— Чай, сердчишко-то как билося!

Кожемякин видел, что две пары глаз смотрят на женщину порицающе, а одна — хитро и насмешливо.

Стало жаль ее. Не одобряя ее поступка с сыном, он любовался ею и думал, с чувством, близким зависти:

«Характерец, видно!»

Вот она снова прижалась к стене и как-то слишком громко и властно проговорила:

— Расскажите, Марк, еще что-нибудь!

Его уши вздрогнули, он приподнял волосатое, безглазое лицо и однотонно просипел:

— Я, барынька, не Марк, а Елисей, это прозванья моя — Марков! Елисей, а по отцу — Петров, а по роду — Марков, вот я кто!

Кутаясь в шаль, она усмехнулась.

— Хорошо, буду знать. Что же, Елисей Петрович, доли эти — всегда злые, нет?

Маркуша стряхнул стружки с колена, посопел и, не торопясь, начал снова вытягивать из себя слова, похожие на стружки.

— Ежели ты с ей не споришь — она ничего, а кто ее не уважает, тому — страдать!

— Вы вашу долю не видали?

— Не-ет! А вот хлебопек один муромской, так он чуть не увидал. Бился он, бился — всё нету удачи! И узнал, случаем, один тайный стих из черной книги. Пошел на перекрест в лесе, где дороги сошлись, крест снял и читаеть стих этот. Раз читаеть и два — ничего, а начал в третьи, по лесу-то ка-ак гукнеть: не могу-у-у... А он — храбёр, хоть и дрожить весь, аж потом облился, ну — всё читаеть, и в самом конце, в последнем, значить, слове — чу, идет! Чижало таково тащится и стонеть, ну — не сдюжил он — бежать! И с этого дню, барынька, приключились ему в сердце корчи...

— Вы в бога верите? — вдруг спросила постоялка, наклоняясь вперед.

Шакир и Наталья опасливо переглянулись, а Кожемякин вздрогнул, точно его укололо.

Маркуша тряхнул головой и дунул, как будто отгоняя шмеля.

— Зверь, барынька, и тот богу молится! Вон, гляди, когда месяц полный, собака воеть — это с чего? А при солнышке собака вверх не видить, у ней глаз на даль

поставлен, по земле, земная тварь,— а при месяце она и вверх видить...

— Подождите,— перебила постоялка его речь,— значит, вы верите в бога?

Он тяжело приподнял голову, поглядел на нее чем-то из-под густых бровей и спросил:

— Али я хуже собаки?

— Бог — всемогущ, да?

— Ну, так что будить?

— Что же такое — судьба? — спросила она.— Откуда же доли эти?

Маркуша усмехнулся, повертел головой и, снова согнув спину, скучно затянул:

— Доли-те? А от бога, барынька, от него всё! Родилась, скажем, ты, он тотчас архангелем приказывает — дать ей долю, этой! Дадуть и запишуть,— с того и говорится: «Так на роду написано» — ничего, значить, не поделаешь!

«Нарочно он говорит нудно так, — думал Матвей,— озлить ее хочет,— отступилась бы лучше!»

— Вот те и доли! А есть еще прадоли — они на города даются, на села: этому городу — под горой стоять, тому селу — в лесе!

— Но послушайте,— мягче спросила она,— зачем же бог...

Теперь Маркуша не дал ей кончить вопроса:

— А зачем — дело не наше! Дано нам что дано, и — ладно! А зачем — помрешь — узнаешь...

Наклонясь к нему и говоря как бы в темя мужику, она снова настойчиво спросила:

— Вы знаете ангелов-хранителей?

— Ангели — как же! — отозвался он, качнув головой.— Ангель — это для богу угодных, на редких это, на — дурачков, блаженных, юродивых, ангели,— чтобы их охранять, оттого они и зимой босы ходять и всё сносять. Ангель, сказано, хранитель, значить — уж решено: этого — хранить, он богу угоден, нужен!

— А доли?

— А они — на испытание. Родилась ты, а — какова будешь? Вот те долю и дають — покажи себя, значить, какого ты смирения!

Кожемякин видел, что постоялка сердится — брови ее сошлись в одну черту, а по лицу пробегают тени, и казалось, что ей трудно сидеть, какая-то сила приподнимает ее. Он кашлянул и примирительно заметил:

— Чудно́ вам думы наши слушать.

— А вы — так же думаете? — быстро и внятно спросила она его.

Он не знал, так ли думает, но, застигнутый врасплох, ответил:

— Да ведь как же?

— И в долю верите?

— В долю все верят! — сказала Наталья, мельком взглянув на Шакира.— Про нее и в песнях поется...

Постоялка положила ей на плечо руку, видимо, желая что-то сказать, но настойчиво, как сама она, и как бы новым голосом заговорил Маркуша:

— Тут, барынька, в слове этом, задача задана: бог говорить — доля, а дьявол — воля, это он, чтобы спутать нас, подсказываеть! И кто как слышить. В ину душу омманное это слово западеть, дьяволово-то, и почнеть человек думать про себя: я во всем волен, и станеть с этого либо глупым, либо в разбойники попадеть,— вот оно!

Лицо Маркуши покривилось, волосы на нем ощетинились, а от углов губ к ушам всползли две резкие морщины. Тряхнув головой, он согнал их, а Матвей, заметив это, неприязненно подумал:

«Смеется, леший!»

— Я те скажу,— ползли по кухне лохматые слова,— был у нас в Кулигах — это рязанского краю— парень, Федос Натрускин прозванием, числил себя умным,— в Москве живал, и запретили ему в Москве жить — стал, вишь, новую веру выдумывать. Ну, прибыл в Кулиги и всё говорить: это — не так, этого — не надоть, это — не по-божьи. И попу эдак говорить, всем! А кто знаеть, как по-божьи-то? Это надобно догадаться. Мужики до времени слушали его, ухмылялись. Только — пымали они конокрада и бьють, а Натрускин прибег о то место, давай кричать: не надо! Тут его заодно и уложили, колом ли, чем ли — ухлопали, значить! Вот — он ду-

мал — воля, а доля-то его и прижала к земле. Это, барынька, всегда так: вольные-то коротко живуть. А живи в ладу со своей долей — ну, проживешь незаметно, в спокое. Против ветра — не стой, мало ли что по ветру пущено. Эдак-то было с купцом одним весьегоньским...

Вдруг женщина посунулась вперед, точно бросаясь на Маркушу, и, протянув к нему руку, ласково, густо заговорила:

— Послушайте, ведь всё это пагубно для вас, ведь вы — умнее этого, это — цепи для живой вашей души и страшная путаница,— страшная!

Кожемякин тоже подался к ней, вытянул руку вдоль стола и, крепко вцепившись пальцами в край доски, прикрыл глаза, улыбаясь напряженно ожидающей улыбкой.

Ему давно не нравился многоречивый, всё знающий человек, похожий на колдуна, не нравился и возбуждал почтение, близкое страху. Скуластое лицо, спрятанное в шерстяной массе волос, широконосое и улыбающееся темной улыбкой до ушей, казалось хитрым, неверным и нечестным, но было в нем — в его едва видных глазах — что-то устойчивое и подчинявшее Матвея. Работал Маркуша плохо, лениво, только клетки делал с любовью, продавал их монахиням и на базаре, а деньги куда-то прятал.

Шакир не однажды предлагал рассчитать его, как человека нерабочего, но хозяин не решался.

— Оставь, ну его! Не объест. А прогоним — навредит еще чем-нибудь!

И была другая причина, заставлявшая держать Маркушу: его речи о тайных, необоримых силах, которые управляют жизнью людей, легко и плотно сливались со всем, о чем думалось по ночам, что было пережито и узнано; они склеивали всё прошлое в одно крепкое целое, в серый круг высоких стен, каждый новый день влагался в эти стены, словно новый кирпичик,— эти речи усыпляли душу, пытавшуюся порою приподняться, заглянуть дальше завтрашнего дня с его клейкой, привычной скукой.

И вот теперь он видел, как постоялка, плавно и красиво помахивая рукой, точно стирает, уничтожает чер-

ную тень Маркушиной головы, неподвижно прильнувшую к стене печи.

Не мигая, он следил за игрою ее лица, освещенного добрым сиянием глаз, за живым трепетом губ и ласковым пением голоса, свободно, обильно истекавшего из груди в словах, новых для него, полных стойкой веры. Сначала она говорила просто и понятно: о Христе, едином боге, о том, что написано в Евангелии и что знакомо Матвею.

Но вот всё чаще в речь ее стали вмешиваться темные пятна каких-то незнакомых слов, они разделяли, разрывали понятное, и прежде чем он успевал догадаться, что значило то или другое слово, речь ее уходила куда-то далеко, и неясно было: какая связь между тем, что она говорит сейчас, и тем, что говорила минутою раньше?

«Не торопись!» — мысленно просил он ее, стыдясь попросить вслух.

— Всё это — древнее, не христианское,— внушала она горячо и ласково, точно мать сыну.— Дело в том, что мы, славяне...

«Почему — славяне?» — спрашивал себя Кожемякин.

— Религиозный культ...

«Культ?» — повторял Матвей смешное слово с недоумением и досадой, а в уши ему назойливо садились всё новые слова: культура, легенда, мистика. Их становилось всё больше, они окружали рассказчицу скучным облаком, затемняли лицо ее и, точно отодвигая куда-то в сторону, делали странной и чужой.

Вздохнув, он оглянулся: Наталья, видимо, задремавшая, ткнула себе иглою в палец и теперь, вытаращив глаза, высасывала кровь, чмокала и плевала на пол, Шакир, согнув спину, скрипел по бумаге ржавым пером, а Маркуша, поблескивая лезвием ножа, неутомимо сеял тонкие серпики и кольца стружек.

Голос постоялки порвался, словно непосильно туго натянутая струна, она встала, оглянула всех, спросив негромко и как бы виновато:

— Неинтересно вам?

Матвей Савельев конфузливо опустил глаза, собираясь сказать, что слишком торопится она, трудно слушать, а Наталья поспешно и милостиво молвила:

— Как же, Евгенья Петровна, неинтересно? О-очинь интересно!

Помахивая в воздухе затекшими пальцами, Шакир серьезно и одобрительно говорил:

— Нашим книгам коран маленьки слова твоя есть, мачка, есть!

— Спасибо, Шакир! — сказала она, смеясь, ловким движением накинула на плечи спустившуюся шаль и, вздохнув, пошла к двери.

— Ну,— спокойной ночи!

Кожемякину показалось, что в голосе ее звучит обида. Маркуша осторожно разогнул спину, приподнял голову и, раздвинув рот до ушей, захихикал:

— Ни зерна не поняла, хи! Навешивал, навешивал я ей в уши-те — не понимат, вижу! Ай ты, господи-богородице-Никола, скольки народу на земле, а толку нету!

Кожемякин поднялся, грубовато говоря:

— Никто, видно, не понимает того, что надобно, не одна она...

— Во-от! А я про что баю?

Шакир глядел на Маркушу, оскалив зубы.

— Ты пугаишь все людя, а она про сам бог говорит — не страшно!

— Молода! — ответил Маркуша.— Смолоду — все храбрятся, а поживеть, гляди — испугается!

Матвей тоже вспомнил, как она в начале речи говорила о Христе: слушал он, и казалось, что женщина эта знала Христа живым, видела его на земле,— так необычно прост и близок людям был он в ее рассказе.

Он ушел к себе, взял Евангелие и долго читал те места, о которых она упоминала, читал и с великим удивлением видел, что действительно Христос проще и понятнее, чем он раньше казался ему, но, в то же время, он еще дальше отошел от жизни, точно между живым богом и Окуровом выросла скучная, непроходимая пустыня, облеченная туманом.

«И так со всем, что она говорит,— печально думал он,— всё как будто яснее, а — уходит дальше!»

Не спалось ему в эту ночь: звучали в памяти незнакомые слова, стучась в сердце, как озябшие птицы в

стекло окна; четко и ясно стояло перед ним доброе лицо женщины, а за стеною вздыхал ветер, тяжелыми шматками падал снег с крыши и деревьев; словно считая минуты, шлепались капли воды,— оттепель была в ту ночь.

Задремав, он видел непонятные сны: летают в поле над лысыми холмами серые тени и безответно стонут:

— Славяне, славяне!

Идет Маркуша, весь обвешанный клетками, ухмыляется и бормочет:

— А я про что баю?

А на одном холме, обнаженном от снега ветрами, израненном трещинами, распластался кто-то и кричит:

— Это — не так,— не так!

Запели петухи сырыми голосами, закаркали вороны, в монастыре ударили к заутрене,— маленький колокол кричал жидко и неубедительно.

Матвей, не открывая глаз, полежал еще с полчаса, потом босой подошел к окну и долго смотрел в медленно таявшие сумерки утра, на обмякший, рыхлый снег.

«За утреню пойти, что ли?» — спросил он себя и вспомнил, как года три тому назад, жарким летним вечером, Наталья, хитро улыбаясь, сунула ему бумажку, шепнув:

— Возьми-ка гостинчик, Матвей Савельич!

Он развернул листок и прочитал кудряво написанные слова:

«Ежели вы можете сохранить секрет, то сегодня после одиннадцати часов подойдите к монастырскому забору, где черемуха, вам скажут его, очень важное».

«Клирошанки балуются»,— не удивясь, подумал он тогда.

Весь город знал, что в монастыре балуют; сам исправник Ногайцев говорил выпивши, будто ему известна монахиня, у которой груди на редкость неровные: одна весит пять фунтов, а другая шесть с четвертью. Но ведь «не согрешив, не покаешься, не покаявшись — не спасешься», балуют — за себя, а молятся день и ночь — за весь мир.

Он пошел на зов неохотно, больше с любопытством, чем с определенным желанием, а придя к месту, лег на

теплую землю и стал смотреть в щель забора. Ночь была лунная, в густом монастырском саду, покрытом тенями, лежала дремотная тишина; вдруг одна тень зашевелилась, зашуршала травою и — черная, покачиваясь, подошла к забору. По росту и походке он сразу догадался, что это странноприимница Раиса, женщина в годах и сильно пьющая, вспомнил, что давно уже ее маленькие, заплывшие жиром глаза при встречах с ним сладко щурились, а по желтому лицу, точно масло по горячему блину, расплывалась назойливая усмешка, вспомнил — и ему стало горько и стыдно.

Не отзываясь на вздохи и кашель, не смея встать и уйти, он пролежал под забором до утра так неподвижно, что на заре осторожная птичка, крапивник, села на ветку полыни прямо над лицом его и, лишь увидав открытые глаза, пугливо метнулась прочь, в корни бурьяна.

Потом вспомнилось, как городская сваха Бобиха приходила сватать ему порченых невест: были среди них косенькие, шепелявые, хроменькие, а одна — с приданым, со младенцем. Когда он сказал Бобихе: «Что ты мне каких сватаешь?» — «А каких, свет?» — «Да с изъянцем всё...»,— дерзкая, избалованная старуха, подмигивая, ответила: «По купцу, свет, и товар! Думаешь, город забыл про мачеху-то? Ой, нет! У города память крепкая!»

И затряслась, охваченная тихоньким скверным смешком.

...Он простоял у окна вплоть до времени, когда все в доме встали, спешно умылся, оделся, пошел в кухню, отворил дверь и встал на пороге. Сидя за столом, Маркуша держал Борю меж колен, говоря ему:

— Язычник, значить? Она у тебя скажеть! Это, стало быть, ябедник, али говорю много — язычник-то? Да, миляга, я всякого могу заговорить, от меня не спасешьси! А ты вот спроси-ка ее — как надобе бородавки лечить? Вон она у тебя, бородавка-то!

Кожемякин ступил в кухню и, неожиданно для себя, сурово сказал:

— Тебе бы не набивать голову ребенку чем не надо!

Сказал и — понравился сам себе.

Чистенький, розовый и милый, Боря поднял брови, ласково здороваясь.

— Здравствуйте!

Матвей пожал его руку.

— С добрым утром!

— Благодарю! — шаркнув ногою, сказал Борис.— И вас также!

Тогда Матвей, чувствуя маленькую новую радость, засмеялся, схватил мальчика на руки и предложил ему:

— Ну, давай, что ли, дружиться, а?

— Конечно, давай! — согласился Борис. Пощупал волосы на голове Матвея и объявил.— Вот мягкие волосы у тебя! Мягче маминых.

— Да ну?

— Честное слово!

— Это, брат, хорошо.

— Почему?

Матвей смутился.

«А пес знает — почему! Экой пытливый!» — подумал он, опустив Борю на пол и спрашивая:— Ты чай пил?

— Нет еще. Еще мама не оделась.

— Не оделась?

Он на секунду закрыл глаза.

— Давай лучше со мной чай пить! Сочни велим сделать, а?

— Давай!

А за чаем дружба окрепла: мальчик воодушевленно рассказывал взрослому о Робинзоне, взрослый, по-детски увлеченный простой и чудесной историей, выслушал ее с великим интересом и попросил:

— Дай-ко ты мне эту книгу!

Днем, встретив постоялку, он осмелился сказать ей:

— А забавен сын у тебя, Евгенья Петровна! Да и — умен!

— Приятно слышать,— молвила она, ласково улыбаясь.

Улыбка еще более ободрила его.

— И подобрей тебя будто...

Женщина нахмурилась и прошла куда-то мимо, бросив на ходу:

— Я — не ребенок.

«Эк сказала! — думал Кожемякин, сморщив лицо.— А я ребенок, что ли?»

И, обиженный, лениво пошел на завод.

Он ясно видел, что для этой женщины Маркуша гораздо интереснее, чем хозяин Маркуши: вот она, после разговора в кухне, всё чаще стала сходить туда и даже днем как будто охотилась за дворником, подслеживая его в свободные часы и вступая с ним в беседы. А старик всё глубже прятал глаза и ворчал что-то угрожающее, встряхивая тяжелой головою.

«Напрасно это она! — размышлял Матвей.— Меня — избегает, а тут...»

Через несколько дней, в тихие сумерки зимнего вечера, она пришла к нему, веселая, в красной кофте с косым воротом, похожей на мужскую рубаху, в черной юбке и дымчатой, как осеннее облако, шали. Косу свою она сложила на голове короной и стала еще выше.

— Я пришла просить вас о великом одолжении,— говорила она, сидя около лежанки, в уютном углу комнаты.

От красной кофты у него потемнело в глазах, и он едва видел ее лицо на белом блеске изразцов.

Она говорила, что ей нечем жить, надобно зарабатывать деньги, и вот она нашла работу — будет учить дочь казначея Матушкина и внука Хряпова, купца.

— Это — Ванюшка,— пробормотал Кожемякин, чувствуя, что надо же сказать что-нибудь,— у него отец с матерью на пароходе сгорели...

— Но учить детей мне запрещено, и надо, чтобы никто не знал этого...

— Не узнают! — горячо сказал Матвей и весь вспотел, подумав: «Эх, конечно, узнают!»

Ему пришла в голову счастливая мысль:

— А вы — так, будто нет ученья, просто — ходят дети к Боре, играть...

— Конечно! — весело сказала она.— Теперь еще — нельзя ли мне заниматься здесь, у вас?

Он обрадовался, вскочил со стула, почти крикнув:

— А сколько вам угодно!

— Три раза в неделю, по часу. Вас не обеспокоит это?

— Меня-то? — воскликнул он.

Ее брови вздрогнули, нахмурились, но тотчас же она беззаботно засмеялась.

— Конечно, это узнают и — запретят, но, пока можно, надо делать, что можешь. Ну, спасибо вам!

Крепко пожав его руку, ушла, оставив за собою душистый пьяный запах, а Матвей, возбужденно шагая по комнате, отирал потное лицо и размышлял:

«Узнают? Взятку дам — глотай! Отца Виталия попрошу. Теперь, милая...»

Он в первый раз назвал ее так, пугливо оглянулся и поднял руку к лицу, как бы желая прикрыть рот. Со стены, из рамы зеркала, на него смотрел большой, полный, бородатый человек, остриженный в кружок, в поддевке и сиреневой рубахе. Красный, потный, он стоял среди комнаты и смущенно улыбался мягкой глуповатой улыбкой.

«Экой ты какой!» — упрекнул его Кожемякин, подходя к окну и глядя в синий сумрак сада.

Стены дома щипал мороз, и бревна потрескивали. Щекотало сердце беспокойно радостное предчувствие чего-то, что скоро и неизбежно начнется, о чем стыдно и жутко думать.

«Ее и обнять не посмеешь, эдакую-то»,— печально усмехаясь, сказал он себе и отошел в темный угол комнаты, мысленно молясь:

«Царица небесная! Помоги и помилуй,— отжени искушение!»

Уже дважды падал мокрый весенний снег — «внук за дедом приходил»; дома и деревья украсились ледяными подвесками, бледное, но теплое солнце марта радугой играло в сосульках льда, а заспанные окна домов смотрели в голубое небо, как прозревшие слепцы. Галки и вороны чинили гнезда; в поле, над проталинами, пели жаворонки, и Маркуша с Борисом в ясные дни ходили ловить их на зеркало.

Матвей Савельев прочитал «Робинзона», «Родное слово», «Детский мир» и еще штук пять столь же интересных книг,— это еще более скрепило его дружбу с сыном постоялки.

А она всё улыбалась ласковой, скользящей улыбкой

и — проходила мимо него, всегда одинаково вежливая и сдержанная в словах. Три раза в неделю Кожемякин подходил на цыпочках к переборке, отделявшей от него ту горницу, где умерла Палага, и, приложив ухо к тонким доскам, слушал, как постоялка учила голубоглазую кудрявую Любу и неуклюжего широколицего Ваню Хряпова.

Слышно было хорошо, доски почти не скрадывали звуков, к тому же он немного раздвинул их топором, расширив щели.

Почти всегда после урока грамоты постоялка что-нибудь читала детям или рассказывала, поражая его разнообразием знаний, а иногда заставляла детей рассказывать о том, как они прожили день.

— Вот, слушайте, как мы ловили жаворонков! — возглашал Борис.— Если на землю положить зеркало так, чтобы глупый жаворонок увидал в нем себя, то — он увидит и думает, что зеркало — тоже небо, и летит вниз, а думает — эх, я лечу вверх всё! Ужасно глупая птица!

— Она не глупее тебя,— вмешивалась мать и начинала интересно говорить о том, как живут жаворонки.

«Все-то она знает!» — изумлялся Матвей. Обилие знаний, внушая ему уважение к этой женщине, охлаждало его мечты, отпугивало робкие желания и — всё сильнее влекло к ней.

Однажды он услыхал, как она звучно и печально читала детям стихи:

Черные стены суровой темницы
Сырость одела, покрыли мокрицы;
Падают едкие капли со свода...
А за стеною ликует природа.
Куча соломы лежит подо мною;
Червь ее точит. Дрожащей рукою
Сбросил я жабу с нее... а из башни
Видны и небо, и горы, и пашни.
Вырвался с кровью из груди холодной
Вопль, замиравший неслышно, бесплодно;
Глухо оковы мои загремели...
А за стеною малиновки пели...

Вечером, встретив ее в кухне, он попросил:

— Давеча, мимо двери проходя, слышал я — стихи читали вы,— не дадите ли мне их?

— Не могу. Я по памяти читала, книжки нет у меня.

— Ну, напишите.

— Хорошо. Вам понравилось?

— Да, очень!

Она медленно сказала:

— Это написано Щербиной,— я очень любила его раньше,— давно, давно!

— Вы напишите, а я — в тетрадку себе вложу...

Присматриваясь к нему, она спросила шутливо:

— В тетрадку? Вы, может быть, сами пишете стихи?

— Нет, зачем же! Так это у меня,— скуки ради события разные записываю для памяти,— сознался он.

— Да-а? — вопросительно протянула она, и ему показалось, что глаза ее стали больше.— Интересно! Вы не дадите мне прочесть ваши записки?

Ее голос звучал необычно ласково, так она еще никогда не говорила с ним; он осмелел и доверчиво сказал:

— Неловко будет, там всякое написано... А вы лучше сойдите ко мне в свободный ваш час,— я вам на выбор прочитаю...

Женщина задумчиво молчала, глядя куда-то мимо него, он следил за ее глазами и, холодея, ожидал ответа.

— Что ж? Хорошо! — как-то вдруг и решительно сказала постоялка, выпрямившись.— Когда?

— Хоть сейчас!

— Ах вы, писатель! — тихо воскликнула она и тотчас же, другим голосом, словно рассердившись, спросила: — Вам сколько лет?

— Тридцать один... два...

— Неправда! Пятнадцать! — молвила постоялка опять по-новому. Матвей вздрогнул:

«Неужто — заигрывает?»

А она, проходя к двери, строго бросила:

— Я приду через час!

Он приказал Наталье ставить самовар, бросился в свою комнату, выхватил из шкафа две толстые тетради, хлопнул ими по столу и — решил, что нужно одеться по-праздничному.

...Вот уже прошел один из длиннейших часов его жизни. Наталья, умильно улыбаясь и глядя вбок, давно поставила на стол кипящий самовар. Матвей сидел перед ним одетый в рубаху синего кашемира, вышитую монахинями золотистым шелком, в тяжелые шаровары французского плиса, с трудом натянул на ноги давно не ношенные лаковые сапоги и намазал волосы помадой. Пробовал повесить на грудь тяжелые отцовы часы, но они не влезали в карман рубахи, а надеть жилет — не решился, в комнате было жарко. Сидел не шевелясь, стараясь не видеть своего лица, уродливо отраженного светлою медью, и напряженно слушал, когда наконец застучат по лестнице ее твердые шаги.

«Семнадцать минут... восемнадцать»,— считал он, обиженно поглядывая на желтый циферблат стенных часов, огромный, как полная луна на восходе, и такой же мутно-зловещий.

Высокий ворот рубахи давил шею, сапоги жали пальцы и при каждом движении ног сухо скрипели.

На двадцать третьей минуте она открыла дверь — он встал встречу ей, покорно кланяясь.

А она, тихо подвигаясь к столу, оглянула его с ног до головы и спросила:

— Что это вы каким кучером нарядились?

Матвей сел, виновато заметив:

— И вы... в красной кофте...

— Что ж из этого следует?

— Я не знаю! — уныло сказал Кожемякин.

— Я тоже,— раздалось в ответ.

Но вдруг она упала на стул и — точно вспыхнула вся — звонко захохотала, вскинув голову, выгибая шею, вскрикивая сквозь смех:

— Ой, простите! Вы — ужасно смешной,— честное слово! Нестерпимо смешнущий!

Он был счастлив, качался на стуле, поглаживая ладонями плисовые свои колени, и, широко открыв рот, вторил ей басовитым грудным смешком.

— Ах, чудак вы! — говорила она, отирая слезы; добрые глаза ее смотрели грустно.

Дрожащей рукой он наливал чай, говоря с тихой радостью:

— Дикий,— тут все — дикие... а я, видно, особенно,— живу один и...

Между бровей ее легла складка.

— Чай буду разливать я, а вы — читайте! — деловито сказала она. Матвей заметил перемену в лице и голосе ее, встал с места — сапоги неестественно заскрипели. Сердце его облилось горечью, он опустил глаза:

— Да и глуп я!

— Это — почему? — не вдруг и негромко осведомилась женщина.

— А вот — хотел как лучше, как больше чести вам, а вышло — смешно только...

Резким движением руки расстегнул две пуговицы ворота рубахи, сел с боку стола и открыл тетрадку.

— Ну — читайте,— успокоительно сказала постоялка,— читайте!

Он кашлянул, глухим голосом прочитал кантату о богине Венус и взглянул на гостью,— она улыбалась, говоря:

— Стихи — допотопные, а читаете вы мрачно очень!

— Как умею, не обессудьте...

Но она настойчиво повторила:

— Вы читайте просто, как говорите, это лучше будет...

Ему казалось, что тут две женщины: одна хорошая и милая, с нею легко и приятно, а другая — любит насмехаться и командовать.

— Вот еще стихи:

Ты, смертный, пробудись и будь полезен свету,
Да вера и дела усовершат тебя.
Ах, дорог миг, спеши ты к своему предмету
И к смерти приготовь себя.

— Веселенькие стишки! — лениво сказала женщина.

Кожемякин вздохнул, продолжая:

Ты смеешь умствовать, когда век заблуждаться
Высокого ума есть в мире сем удел,
К трудам родимся мы, а в неге наслаждаться
Есть — счастия предел.

— Откуда вы взяли такую премудрость? — спросила она, пожав плечами.

Он неохотно объяснил:

— Приборы медные на окна покупал, так в эти стихи шпингалет был завернут...

— Что же вам тут нравится?

— Слова значительные,— ответил он обиженно.— Здесь эдакие слова кто скажет?

— Н-ну? — воскликнула она, усмехаясь.— Эдакими словами себя не — как это?— не усовершишь!

«Не буду я коромыслом выгибаться перед тобой!» — подумал Матвей и, перекинув сразу несколько страниц, тем же глухим, ворчащим голосом, медленно произнося слова, начал:

— «75-го году, Мая 21-го дня.

Третьего дня Петухова горка, почитай, сплошь выгорела, девятнадцать домов слизал огонь. Прошел слух, будто сапожник Сетунов, который дразнил меня, бывало, по злобе на соседей поджег, однако не верю этому. Утром вчера пымали его на своем пепелище, когда он вьюшки печные вырывал, свели в пожарную, а в ночь — умер».

— Били? — тихонько спросила гостья.

— Не знаю. Поди-ка — били! — не глядя на нее, ответил летописец.— У нас это дешево.

— А чем он вас дразнил?

— Так, хворый он был, а я — молодой.

«Того же году, Августа 2-го дня.

Слесаря Коптева жена мышьяком отравила. С неделю перед тем он ей, выпивши будучи, щеку до уха разодрал, шубу изрубил топором и сарафан, материно наследство, штофный. Вели ее в тюрьму, а она, будучи вроде как без ума, выйдя на базар, сорвала с себя всю одежу» — ну, тут нехорошо начинается, извините!

В комнате снова прозвучал тихий вопрос:

— Послушайте, зачем вы это записали?

— Не знаю...

Но подумав, объяснил:

— Я — выдающее записываю. Вот это интересней будет:

«Того же, Сентября 20-го дня.

У Маклаковых беда: Федоров дядя знахарку Тиунову непосильно зашиб. Она ему утин лечила, да по старости, а может, по пьяному делу и урони топор на поясницу ему, он, вскочив с порога, учал ее за волосья трепать да и ударил о порог затылком, голова у нее треснула, и с того она отдала душу богу. По городу о суде говорят, да Маклаковы-то богаты, а Тиуниха выпивала сильно; думать надо, что сойдет, будто в одночасье старуха померла».

Постоялка вместе со стулом подвинулась ближе к нему,— он взглянул на нее и испугался: лицо ее сморщилось, точно от боли, а глаза стали огромными и потемнели.

— Я ничего не понимаю! — странно усмехаясь, молвила она.— Что такое утин? Зачем топор?

«Ага! — подумал Кожемякин, оживляясь,— и ты не всё знаешь!»

И стал объяснять, глядя в ее недоумевающее лицо:

— Это — средство такое старинное...

— Топор — средство? — спросила она.— Господи, как нелепо! А — утин?

— Утин называется, когда поясница болит. Тут еще голик нужен. Хворый человек ложится на порог, на спину ему кладут голик, которым в печи жар заметают, а по голику секут топором — не крепко — трижды три раза. И надобно, чтобы хворый по каждому третьему разу спрашивал: «Чего секешь?» А знахарь ему: «Утин секу!» Тогда хворый обязан сказать заговор: «Секи утин крепче, да еще гораздо, размети, голик, утин на двенадцать дорог, по двенадцатой ушел бы он на весь мой век! Пресвятая Прасковея Пятница, пожалей болящие косточки!» А потом голик надо выбросить к подворотне, и хорошо, чтобы на заре кот обнюхал его.

Женщина приподнялась на стуле и оглянула комнату.

— Вы — что? — беспокойно спросил Матвей.

— Ничего.

— Может — не надо читать?

— Нет, пожалуйста! Но — послушайте, доктор у вас есть?

— Есть, как же! Старичок из военных,— пьет только, а так — хороший...

— Читайте! — сказала она, склоняя голову.

— «Того же, Октября 6-го дня.

Сегодня актерку хоронили, из тех, что представляют с разрешения начальства в пожарном сарае. Померла она еще четвертого дня, изойдя кровью от неизвестной причины, а говорят — от побоев. В Покров была жива, я ее видел, играла она благородную женщину, и было скучно сначала, а потом страшно стало, когда ее воин, в пожарной каске из картона, за волосья схватил и, для вида, проколол ножом. Воин этот будто муж ее и всё выл дико, а она высокая, худущая, и голос хриплый. Базунов на представлении всех рассмешил, крикнув ей: „А ты, сударыня, не кашляй, кашель я у себя дома ежедень слышу и гривенник за это — дорого!“ У него сноха в чахотке. Актерку несли мимо нас двое пожарных да два товарища ее, а третий, муж будто, сзади шел, с городовым, пьяный, вечную память неистово орал и плакал; будочник удерживал его, чтобы не безобразил, однако не мог. На кладбище не пустили, а велено зарыть около Мордовского городища, где Ключарев и другие подобные закопаны». Всё.

— Вы хорошо делаете, записывая это, — медленно и вдумчиво сказала постоялка,— очень хорошо!

— Почему же? — спросил он.— Иногда перечитаешь это — скучно очень!

— Да? Только скучно? Не более?

«Чего она добивается?» — подумал Кожемякин и, не ответив, продолжал:

— «76-го году, Апреля 29-го дня.

На базаре неизвестного человека чиновник Быстрецов поймал, посадили в полицию, а он оттуда в ночь выбежал, теперь с утра ищут его, иные верхами поскакали, иные пеше ходят. Побили прохожего какого-то, оказалось — не тот, кого надо. Базунов сказывал, что человек подослан поляками леса казенные жечь, были у него найдены зажигательные бумаги. Как убежал — нельзя понять, потому что когда его схватили, то одну руку из плеча вывернули. Толоконников хвастался и

божился, что это он сам и вывертывал. Ему в этом верить можно, зверь».

Женщина провела рукою по лицу, потом откинулась на спинку стула, скрестив на груди руки.

— Нашли?

— Нет. Вам не скучно?

— Пожалуйста — читайте! — попросила она, закрыв глаза.

Кожемякин наклонился над тетрадью.

— Тут до 79 года домашнее всё идет: насчет Шакира, как его за Наталью били...

— Кто?

— Горожане. Про некоторых рабочих мысли разные...

— Чьи мысли?

— Мои. Тоже о домашнем, о себе — я это пропущу?

— Воля ваша,— сказала она, вздохнув. И крепко закуталась шалью, несмотря на жару в комнате.

«Зря, пожалуй, затеял я всё это!» — безнадежно подумал Матвей, поглядывая на ее скучно вытянувшееся лицо и глаза, окруженные тенями. Перелистывая страницы, он говорил, вслушиваясь в свой однотонный голос:

— Вот — собор достроили, молебствие было. Маляр опился,— неинтересное всё. Трех бойцов слободских гирьками забили. К Вагиным во двор волк забежал, зарезал собаку. Глупости разные: портной Синюхин нос свояченице своей откусил, Калистратовым ворота дегтем помазали,— ну, это ошибка была... Колокол соборный хотели поднимать: шестьсот двадцать пуд колокол был, стали пробовать — треснул. Подняли его уже в 82-м году, перед Успеньем. Пожары, конечно. Это уж каждогодно город горит, даже и смотреть мало интересно, не токмо писать про это. Мальчишки мяли зыбку на весеннем льду, семеро провалилось, трое утонуло сразу, а еще один, воспитанник мой, Саватейка Пушкарев, от простуды помер. Секлетея Добычина, по грибы пойдя, пропала, одни говорят — в болоте увязла, другие думают — ушла в Черноборский монастырь. У нее не всё хорошо было со священником Никольским, отцом Виталием...

Пока он перечислял всё это, читая, как дьячок поминание, женщина бесшумно встала, отошла в сумрак комнаты и остановилась там у окна.

«Чего беспокоится?» — думал он, искоса поглядывая на нее и чувствуя, что ему становится всё более неловко с нею.

— Вот,— нарочито, с большим усилием, оживляясь, воскликнул он:

— «79-го году, Июня 3-го дня.

На базаре живую русалку показывали, поймана в реке Тигре, сверху женщина, а хвост — рыбий, сидит в ящике с водой, вроде корыта, и когда хозяин спрашивает, как ее звать и откуда она родом, она отвечает скучно: Сарра из Самарры. С двумя ерами, а то и тремя. Плечи голые и в прыщах, точно бы у человека. Многие не верят, что настоящая, а Базунов даже кричал, что Самара на Волге, а не на Тигре, и что Тигр-река давно в землю ушла. А русалкин хозяин объяснил, что Самарой называется Самария, про которую в Евангелии писано, где Исус Христос у колодца вел беседу с женщиной семи мужей. Базунов сконфузился, погрозил ему кулаком и ушел. Первый раз он потерпел конфуз, и всем его даже стало жалко, а некоторые очень злорадничали. Старенек, уже более девяти десятков лет ему. В том же балагане таз жестяной стоял, налит водой, и кто в эту воду трешник, а то семишник бросал, назад взять никак не мог, вода руку неведомой силой отталкивала, а пальцы судорогой сводило. Воду эту хозяин продавал по гривеннику бутылка, говорил, что против лихорадки хороша».

— А — война? — спросила постоялка издали.

Кожемякину показалось, что в голосе ее звенят слезы, он испугался, заторопился.

— Война? Это — сейчас! Не совсем про войну, но — турка есть! Вот-с!

«Воеводина барыня пленного турка привезла, все ходят за реку смотреть, и я тоже видел: человек роста высокого, лицом черен, большеголов и усат. А одет по-русски, в штатское, рыжий сюртук, брючки черные, только на голове красная шапка вроде кастрюльки. Улыбается не злобно, а как бы даже виновато. Гулял

он с Воеводиной за слободою, на буграх,— она ему по плечо и толстовата, глаза у ней навыкат, добрые. Смеялась, голос же хрипловат. Турка с палкой ходит, правую ногу оттягивая, видно, был поврежден. В городе про барыню нехорошо говорят, а Базунов подбивает жаловаться губернатору, боясь, чтобы племя не пошло. И так, говорит, в господах наших русской-то крови не боле семи капель осталось».

— Потом вот еще про то же:

«Октября 29-го дня.

Слышал от отца Виталия, что барыню Воеводину в Воргород повезли, заболела насмерть турецкой болезнью, называется — Баязетова. От болезни этой глаза лопаются и помирает человек, ничем она неизлечима. Отец Виталий сказал — вот она, женская жадность, к чему ведет».

«Не обиделась бы!» — спохватился Кожемякин, взглянув на гостью; она, стоя около печи, скрестила руки на груди, низко опустив голову.

— Тут еще,— торопливо заговорил он,— Плевну брали, но я тогда в селе Воеводине был, и ничего выдающего не случилось, только черемисина какого-то дегтем облили на базаре. А вот:

«80-го году, Июня 5-го.

У чиновника Быстрецова беда: помер в одночасье прибывший гостить брат, офицер, а мертвое мыло из дома не выкинули на перекресток-то...»

— Какое мыло? — тихо, точно вздохнув, спросила постоялка.

— Мертвое, которым покойника обмывают,— объяснил он.— Оно, видите, вредное, его надо на четыре ветра выбрасывать. А Быстрецовы — не выбросили, и жена его, видно, умылась мылом этим и пошла вся нарывами, извините, французской болезнью. Он ее бить, — муж-то, — а она красивая, молодая такая...

— Господи боже мой! — заговорила постоялка, бесшумно, точно по воздуху подвигаясь к столу.— Как всё это страшно,— ведь вам страшно, да?

Он растерялся, не понимая ее волнения, пугаясь его, и, оглядывая комнату, говорил, словно извиняясь:

— Страшно — нет. А вот — скучно очень,— так

скучно — сказать нельзя! «Это я вру! — подумал он тотчас же.— Вру, потому что страшно!»

И, как будто подслушав его мысли, она сердито сказала:

— Не может быть,— не верю я вам! Читайте о 81-м годе...

«Ну, вот! — мысленно воскликнул он.— Эх, зря всё начато,— хотел поближе к ней, а сам наваливаю хламу этого на дороге! А теперь — это еще...»

И глухим, пониженным голосом, торопясь, пробормотал:

— «Марта 5-го дня.

В Петербурге убили царя, винят в этом дворян, а говорить про то запрещают. Базунова полицейский надзиратель ударил сильно в грудь, когда он о дворянах говорил, грозились в пожарную отвести, да человек известный и стар. А Кукишева, лавочника,— который, стыдясь своей фамилии, Кекишевым называет себя,— его забрали, он первый крикнул. Убить пробовали царя много раз, всё не удавалось, в конец же, первого числа, застрелили бомбой. Понять это совсем нельзя».

Он замолчал.

— Всё? — спросила постоялка.

Ему показалось, что голос ее звучит пугливо и обиженно. Она снова подвигалась к столу медленно и неверно, как ослепшая, лицо ее осунулось, расширенные зрачки трепетно мерцали, точно у кошки.

— Всё! — ответил он громко, желая всколыхнуть тягостное недоумение, обнимавшее его.

Неловко, как-то боком и тяжело, она села на стул, хмуро улыбаясь и спрашивая чужим голосом:

— Что же,— плакали люди, жалели, да?

— Н-не знаю. Старушки плакали,— так они всегда уж, кто ни умри...

— Но ведь он,— горячо и настойчиво воскликнула постоялка, крепко сцепив пальцы и хрустя ими,— ведь он столько сделал добра народу — вы знаете?

«Непричастна! — решил Матвей, вспыхнув радостью и облегченно вздыхая. — Слава те господи!»

И, наклонясь к ней, ласково, как только мог, доверчиво заговорил:

— Я, видите, мало ведь знаю! Конечно, может, некоторые и жалели, да я людей мало вижу...

— Почему? — пристально глядя в лицо его, осведомилась женщина.

— Так, как-то не выходит. Приспособиться не умею,— да и не к кому тут приспособиться — подойдешь поближе к человеку, а он норовит обмануть, обидеть как ни то...

Она снова встала на ноги и пошла, шаль спустилась с плеча ее и влеклась по полу.

— Но все-таки! Что же говорили о нем?

— Да так,— догадывались — кто убил, зачем? Потом сошлись, что дворяне. Любопытно всем было, первый раз случилось эдакое...

— Первый раз! — воскликнула она негромко.

— Ведь он здесь не бывал, по картинкам только знали, да в календарях, а картинки да календари не у каждого тоже есть,— далеко мы тут живем!

— Долго говорили об этом?

— Н-не знаю! Здесь всё скоро проходит; у каждого своя жизнь, свой интерес...

Он помолчал, оглядывая высокую фигуру, и предложил:

— Да вот, ежели не устали вы, так я подробно расскажу, как это было...

Постоялка быстро обернулась к нему, восклицая:

— Пожалуйста, ах, пожалуйста

«Жалеет, видно!» — думал Кожемякин.

И начал рассказывать о страшном вечере, как он недавно вспомнился ему, а женщина тихо и бесшумно ходила по комнате взад и вперед, покачиваясь, точно большой маятник.

Ветер лениво гнал с поля сухой снег, мимо окон летели белые облака, острые редкие снежинки шаркали по стеклам. Потом как-то вдруг всё прекратилось, в крайнее окно глянул луч луны, лег на пол под ноги женщине светлым пятном, а переплет рамы в пятне этом был точно черный крест.

Матвей кончил рассказ; гостья с усмешкой взглянула на него и молвила негромко:

— Да, действительно,— мертвое мыло! Н-ну, почитайте еще,— можно?

«А — капризна, трудно угодить ей!» — подумал Кожемякин, тихонько вздыхая.

— «81-го году, Апреля 7-го дня.

Третьего дня утром Базунов, сидя у ворот на лавочке, упал, поняли, что удар это, положили на сердце ему теплого навоза, потом в укроп положили...»

Он остановился — постоялка не то плакала, не то смеялась, наполняя комнату лающими звуками.

— Это было несколько сотен лет тому назад! — прерывисто, пугающим голосом говорила она.— Какого-то князя в укроп положили... Владимирко, что ли,— о господи!

«Что она?» — неприязненно соображал Матвей.— Если удар, всегда сердце греют и в укроп кладут,— пояснил он, искоса наблюдая за нею.

— Да, мертвое мыло! — молвила она сквозь зубы.— О боже мой, конечно!

И оглядывалась вокруг, точно сейчас только заметив погасший самовар, тарелки со сластями, вазы варенья, вычурную раму зеркала, часы на стене и всю эту большую неуютную комнату, полную запахами сдобного теста, помады и лампадного масла. Волосы на висках у нее растрепались, и голова казалась окрыленной темными крыльями.

Матвей наклонился над тетрадкой, продолжая:

— «А он дважды сказал — нет, нет, и — помер. Сегодня его торжественно хоронили, всё духовенство было, и оба хора певчих, и весь город. Самый старый и умный человек был в городе. Спорить с ним не мог никто. Хоть мне он и не друг и даже нажег меня на двести семьдесят рублей, а жалко старика, и когда опустили гроб в могилу, заплакал я», — ну, дальше про меня пошло...

— Чем он занимался? — спросила постоялка, вставая.

— Всем вообще... деньги в рост давал тоже.

Она бледно и натянуто улыбнулась.

— Ну, благодарю вас! Довольно, я не стану больше слушать...

И протянула ему руку, говоря:

— Странный вы человек, удивительно! Как вы можете жить в этом... спокойно жить? Это ужасно!.. И это стыдно, знаете! Простите меня,— стыдно!

Он ничего не успел сказать в ответ ей — женщина быстро ушла, бесцветно повторив на пороге двери:

— Благодарю вас!..

Кожемякин сошвырнул тетради на пол, положил локти на стол, голову на ладони и, рассматривая в самоваре рыжее уродливое лицо, горестно задумался:

«Стыдно? А тебе какое дело? Ты — кто? Сестра старшая али мать мне? Чужая ты!»

Спорил с нею и чувствовал, что женщина эта коснулась в груди его нарыва, который давно уже безболезненно и тайно назревал там, а сейчас вот — потревожен, обнаружился и тихонько, но неукротимо болит.

— Убирать самовар-то? — сладко спросила Наталья, сунув голову в дверь.

— Бери! Помоги-ка сапог снять...

Она села на пол перед ним, ее улыбка показалась Матвею обидной, он отвел глаза в сторону и угрюмо проворчал:

— Чего оскалилась? Что ты понимаешь?

Напрягаясь, она покорно ответила:

— Я, батюшка, ничего не понимаю,— зачем?

— А — смеешься! — топая онемевшей ногой, сказал он миролюбивее.— Ужинать не ждите, гулять пойду...

— Какой теперь ужин! — воскликнула кухарка.— Ты гляди-кося час пополуночи время. И гулять поздно бы...

— Твое дело? — крикнул он.— Что вы все учите меня?

Через полчаса он шагал за городом, по черной полосе дороги, возражая постоялке:

«Живу я не хуже других, для смеха надо мной — нет причин...»

Луна зашла, звезды были крупны и ярки. По сторонам дороги синевато светились пятна еще не стаявшего снега, присыпанные вновь нанесенным с вечера сухим и мелким снежком. Атласное зимнее платье земли было

изодрано в клочья, и обнаженная, стиснутая темнотою земля казалась маленькой. От пестрых стволов и черных ветвей придорожных берез не ложились тени, всё вокруг озябло, сморщилось, а холмы вздувались, точно темные опухоли на избитом, истоптанном теле. Под ногою хрустели стеклянные корочки льда, вспыхивали синие искры — отражения звезд.

Было тихо, как на дне омута, из холодной тьмы выступало, не грея душу, прошлое: неясные, стертые лица, тяжкие, скучные речи.

...Краснощекая курносая Дуняша косит стеклянными глазами и, облизывая языком пухлые, десятками мужчин целованные губы, говорит, точно во сне бредит:

— Ты бы, Мотенька, женился на мне, хорошу девицу за тебя всё равно не дадут...

Он — выпил, и ему смешно слышать ее шепелявые слова.

— Почему?

Она заплетает толстыми пальцами мочальные волосы в косу и тянет:

— А слухи-то? Вона, бают, будто ты с татарином своим одну бабу делишь...

«Зря она это говорила — научили ее, а сама-то и не верила, что может замуж за меня выйти!» — думал он, медленно шагая вдаль от города.

Была еще Саша Сетунова, сирота, дочь сапожника; первый соблазнил ее Толоконников, а после него, куска хлеба ради, пошла она по рукам. Этой он сам предлагал выйти за него замуж, но она насмешливо ответила ему:

— А ты полно дурить!

Была она маленькая, худая, а ноги толстые; лицо имела острое и злые, черные, как у мыши, глаза. Она нравилась ему: было в ней что-то крепкое, честное, и он настойчиво уговаривал ее, но Саша смеялась над его речами нехорошим смехом.

— Брось ты эту блажь, купец! Ведь коли обвенчаюсь я с тобой — через неделю за косы таскать будешь и сапогом в живот бить, а я и так скоро помру. Лучше налей-ка рюмочку!

Выпив, она становилась бледной, яростно таращила глаза и пела всегда одну и ту же противную ему песню:

Ды-ля чи-иво беречься мине?
Веткин был ответ,—
И я вуже иссохшая-а-а...

— Брось, пожалуйста! — уговаривал он.— Что я, плакать к тебе пришел?

Улыбаясь пьяной улыбкой, показывая какие-то зеленые зубы, она быстро срывала с себя одежду, насмешливо, как ее отец, покойник, вскрикивая:

— Ах, извините! И-извините...

Становилась злобно бесстыдной, и на другой день он вспоминал о ней со страхом и брезгливостью.

Однажды ночью она выбрала все деньги из его карманов и ушла, оставив записку на клочке бумаги, вырванном из поминанья,— просила не заявлять полиции о краже: попросить у него денег не хватило смелости у нее, и не верила, что даст он.

«Никто никому не верит»,— размышлял Матвей, спотыкаясь.

И вспомнил о том, как, в первое время после смерти Пушкаря, Наталье хотелось занять при нем то же место, что Власьевна занимала при его отце. А когда горожанки на базаре и на портомойне начали травить ее за сожительство с татарином, всё с нее сошло, как дождем смыло. Заметалась она тогда, завыла:

— Шакирушка, да неужто разлучат нас, сердешненький?

Татарин, желтый со зла и страха, скрипел зубами, урчал:

— Что делам? Ты — грешна, я — грешна, все — праведны! Бежать нада...

Однажды он пришел с базара избитый до крови, сидел согнувшись, пробовал пальцем расшатанные зубы, плевался и выл:

— Айда, пошел, Шакирка-шайтан, совсем долой земля, пуста башка!

А Матвей стоял у печи и чувствовал себя бессильным помочь этой паре нужных ему, близких людей, молчал, стыдясь глядеть на их слезы и кровь.

Наталья поливала бритую голову водой, а Шакир толкал ее прочь.

— Тебе тоже башка ломать будут! Хозяйн — ай-яй! Пророк твой Исус, сын Марии,— как говорил? Не делай вражда, не гони друга. Я тебе говорил — коран! Ты мне — твоя книга сказывал. Не нужна тут я, и ты не нужна...

«Вот как живем!» — мысленно крикнул Кожемякин постоялке.

Чем больше думалось, тем более жизнь становилась похожей на дурной сон, в котором приятное было мимолетно, вспыхивало неясными намеками.

Вот он сидит в жарко натопленной комнате отца Виталия, перед ним огромный мужчина в парусиновом подряснике, с засученными по локоть рукавами, с долотом в руке, на полу — стружки, обрубки дерева; отец Виталий любит ульи долбить — выдолбит за год штук десять и дарит их всем, кому надобно.

— Так, так! — говорит он, щуря маленькие добрые глазки. У него большая сивая борода, высокий лоб, маленький красный нос утонул между пухлых щек, а рот у него где-то на шее.

— Так! А креститься магометанин сей не хощет? Не ведаю, что могу сотворить в казусном эдаком случае! Как предашь сие забвению на пропитанье? Превыше сил! Озорник у нас житель, весьма и даже чрезмерно. Балдеют, окаяннии, со скуки да у безделья, а обалдев — бесятся невесть как. Оле нам, люду смиренному, среди этого зверия! Совестно мне, пастырю, пред тобою, а что сотворю — не вем! Да, вот те и пастырь...

Он стучал черенком долота по колену, и, должно быть, больно было ему — морщился, вздрагивал, но все-таки стучал.

— Хотя сказано: паси овцы моя, о свиниях же — ни слова, кроме того, что в них Христос бог наш бесприютных чертей загонял! Очень это скорбно всё, сын мой! Прихожанин ты примерный, а вот поспособствовать тебе в деле твоем я и не могу. Одно разве — пришли ты мне татарина своего, побеседую с ним, утешу, может, как,— пришли, да! Ты знаешь дело мое и свинское на меня хрюкание это. И ты, по человечеству,

извинишь мне бессилие мое. Оле нам, человекоподобным! Ну — путей добрых желаю сердечно! Секлетеюшка — проводи!

Из угла откуда-то поднялась маленькая женщина, большеглазая, носатая, с тонкими бровями.

Матвей догадался, что это и есть Добычина, вдова племянника отца Виталия, учителя, замерзшего в метель этой зимою. Она недавно приехала в Окуров, но уже шел слух, что отец Виталий променял на нее свою жену, больную водянкой. Лицо этой женщины было неприветливо, а локти она держала приподняв, точно курица крылья, собираясь лететь.

Другой раз он видел ее летним вечером, возвращаясь из Балымер: она сидела на краю дороги, под березой, с кузовом грибов за плечами. Из-под ног у нее во все стороны расползлись корни дерева. Одетая в синюю юбку, белую кофту, в желтом платке на голове, она была такая светлая, неожиданная и показалась ему очень красивой. Под платком, за ушами, у нее были засунуты грозди еще неспелой калины, и бледно-розовые ягоды висели на щеках, как серьги.

— Хотите — подвезу? — предложил он, остановив лошадь.

— Спасибо, я пешком дойду, а вот если грибы возьмете,— сказала она без ужимок, неизбежных у окуровских женщин.— Ну что, татарина вашего перестали обижать?

— Ругают, да хоть не бьют, и на том спасибо!

— Слушала я тогда, как вы говорили, и очень горячности вашей удивлялась!

— Человек он хороший,— смущенно сказал Матвей.

— Да. Батюшка очень его полюбил.— Она задумчиво и печально улыбнулась.— Говорил про него: сей магометанин ко Христу много ближе, чем иные прихожане мои! Нет, вы подумайте,— вдруг сказала она так, как будто давно и много говорила об этом,— вот полюбили друг друга иноплеменные люди — разве не хорошо это? Ведь рано или поздно все люди к одному богу придут...

— Да-а! — сказал Матвей, удивленный ее умными словами.— Как это верно вы!

— Прощайте,— молвила Добычина, кивнув головой, и пошла обок дороги, а потом — полем, прямо на город.

Он посмотрел на нее тогда и подумал, что, должно быть, всю жизнь до сего дня она прошла вот так: стороною, одна и прямо куда нужно.

А вскоре и пропала эта женщина. Вспоминая о ней, он всегда видел обнаженные, судорожно вцепившиеся в землю корни и гроздья калины на щеках ее.

...Впереди во тьме двигалось что-то большое, как дом, шуршало и скрипело.

Два воза хвороста выплыло из темноты, на них качались коротенькие, безногие фигуры мужиков. В холодном воздухе лениво поплыло похабное окуровское слово.

— Чего ходишь тут, мать...

«Вот,— размышлял Матвей, поворотясь вслед возам,— встретили человека — обругали! Знают, что хороший человек встречается редко, и ругают, на случай, всякого...»

На востоке явилось желтовато-алое пятно, обнажив во тьме старые деревья, голые ветви раскипулись на этом пятне, рисуя путаный узор. Снег потерял синий блеск, а земля стала черной. Вдали громоздились неясные очертания города — крестообразная куча домов зябко прижалась к земле и уже кое-где нехотя дышала в небо сизыми дымами,— точно ночные сны печально отлетали. Деревья садов накрыли и опутали дома темными сетями; город казался огромным человеком: пойманный и связанный, полуживой, полумертвый, лежит он, крепко прижат к земле, тесно сдвинув ноги, раскинув длинные руки, вместо головы у него — монастырь, а тонкая высокая колокольня Николы — точно обломок копья в его груди.

Сунув руки в карманы, Кожемякин пристально смотрел и чувствовал, что сегодня город будит в нем не скуку и страх, как всегда, а что-то новое, неизведанное, жалостливое.

«Пожила бы ты здесь лет десяток,— думал он, обращаясь к постоялке,— поживи-ка вот!»

В улице, скрипя, отворялись ворота, хлопали калитки, гремели болты ставен, не торопясь, выходили

люди — словно город, проснувшись, лениво кашлял и отхаркивал темные куски мокроты.

У ворот дома стоял Шакир с лопатой в руках; увидав хозяина, он смешно затопал ногами.

— Встал уж? — приветливо крикнул Матвей.

— Давно.

— Рано!

— Серсам не спит.

— А я, брат, на кладбище заходил...

— Тоже серсам не спит?

Матвей поглядел на доброе, печально улыбавшееся лицо и, легонько толкнув татарина локтем, сказал:

— Понятлив ты, Магомет!

— Нисяво! Сам знаишь — хорошо скоро не делаит! Немножкам терпеть нада...

Передвинув шапку со лба на затылок, татарин сказал, вздохнув и плюнув:

— На воротам пишут углям, мелам дрянной слова — грамоту учили дыля этому, да?

— Где? — угрюмо спросил Матвей, оглядывая ворота.

— Стирал я...

Они посмотрели друг на друга, потом вдоль улицы.

— Это, поди, мальчишки-певчие! — хмуро сообразил Матвей.— Их, наверно, регент подучил. Ты гляди, как бы она, а то Боря не прочитали...

— Глядим всегда...

Кожемякин пошел в дом, вспоминая фигуру регента, длинноволосого человека с зелеными глазами, в рыжем пальто.

С недавней поры он почти каждый день являлся под вечер к воротам и, прохаживаясь по тротуару, пел, негромко, отчетливо:

Не гулял с кистенем я в др-рему-чем лес-су!
Не лежал я во рву...

Песня его звучала печально и убедительно,— был он худенький, чахлый, а длинное, остренькое личико — все в прыщах.

Ходил еще мимо ворот какой-то служащий в управе, но этот был всегда пьян и — не пел.

...Прошло дней пять в затаенном ожидании чего-то; постоялка кивала ему головою как будто ласковее, чем прежде, и улыбка ее, казалось, мягче стала, дольше задерживалась на лице.

Но Матвей обиженно думал:

«Милости просить я у тебя не стану!»

И все напряженнее ждал — когда же, наконец, она станет близка и понятна?

Вдруг случилось нечто, опрокинувшее его: вечером, в кухне, Маркуша сказывал Борису о таинственной птице щур, живущей на перекрестках лесных дорог; пришла постоялка, вслушалась в рассказ и неожиданно проговорила:

— А ведь сами-то вы, Петрович, не верите в эти сказки!

Маркуша сердито вскинул голову, пошевелил ушами и сурово просипел:

— Мне, барынька, пятьдесят два года — эвона сколь! Мне-то пустякам верить зазорно бы...

Она долго молчала, удивленно мигая большими глазами, а потом, поглядев на всех, нерешительно и негромко спросила:

— Зачем же другим внушать веру в пустяки?

Однообразно, точно безпадежно жалуясь, Маркуша бормотал:

— Покою не стало, что это? Я всю землю прошел от моря до моря, и в Архангельском был, и в Одессе, и в Астрахани, у меня пятки знают боле, чем у иного голова! Меня крутить нечего...

Матвей видел, что постоялка точно испугалась чего-то, лицо ее побледнело, вытянулось и как будто стало злым. Тише, но еще более настойчиво она сказала:

— Вы можете объяснить мне — зачем вы учите тому, во что у вас нет веры? Ведь вы обманываете людей!

Он выгнул спину, точно кот, и глухо засмеялся, тряся головой:

— А они — не приставай!

«Прогоню я его!» — сердито решил Кожемякин.

Постоялка ходила по кухне сбивающимися шагами и говорила, растерянно усмехаясь:

— Знаете, Матвей Савельич, это страшнее всех до-

мовых и леших, доль и судеб — и даже ваших записок,— вы понимаете? Наташа, пожалуйста, отведите Борю наверх,— иди, Борис!

А Маркуша, чему-то радуясь, смеялся бухающими звуками и выкрикивал:

— А они — не приставай, люди-то! У меня — своя душа, может, горше твоей плачет, да-а! А тут спрашивают — что это, это как? Ну, скажешь им: это вот что, а это — вот как, а сам-от думаешь: подьте вы к лешему, не до вас! Так ли оно там, не так ли, скажешь им — ну, они отстанут. Царь я им, что ли? Кабы я царь али святой был, я бы делом потешил, а я не царь — ну, будь и слову рад, да-а! Мне себя успокоить надобно, мне своя-то душа ближе. И поп, проповедь сказывая, про себя говорит, всяк о себе, а людям — им что ни говори, всё одно будет — отстаньте! Черти есть? Есть. Отстань! А может, нету их? Нет. Отстань! Вот те, барынька, и весь разговор,— и есть — отстань, и нет — отстань! Все эдак говорят, и я — тоже. Я знаю дело: во что ни верь — умрешь! Словами смерть не одолеть, живым на небо не возьмуть, нет, барынька...

Но она, согнув шею, точно ушибленная по голове, тихо ушла из кухни.

Тогда Матвей сурово сказал:

— Ты, Маркуша,— придерживай язык. Я те врать не позволю!

И услыхал в ответ незнакомый, твердый, грубый голос:

— А не приставайте — не совру! Чего она пристает, чего гоняет меня, забава я ей? Бог, да то, да се! У меня лева пятка умней ее головы — чего она из меня душу тянеть? То — не так, друго — не так, а мне что? Я свой век прожил, мне наплевать, как там — правильно-неправильно. На кладбищу дорога всем известна, не сам я туда пойду, понесуть; не бойсь, с дороги не собьются!

Он перестал строгать, говорил, точно лаял, густо, злобно, отрывисто, и конца его словам не чувствовалось.

Вскочил Шакир и — взвыл, махая руками:

— Ай-яй бесстыдна,— ух, старык!

А он вертел головой и всё бормотал:

— Отстань и — кончено,— да!

— Брось, Шакир,— махнув рукой, сказал Кожемякин, уходя из кухни.

Усталый, подавленный, он сел на крыльце, пытаясь понять то, что случилось.

«Вот — я его опасался, ставил особо от людей, а он — пустое место!»

И удивленно воскликнул про себя:

«Во-от она чего за ним следила! Подстерегла-таки,— умница!»

Над провалившейся крышей бубновского дома ясно блестел серп луны, точно собираясь жать мелкие редкие звезды. Лаяли собаки, что-то трещало и скрипело, а в тени амбара хрустнул лед и словно всхлипнули.

— Это вы? — вздрогнув, спросил Матвей.

— Я,— не сразу ответила постоялка и, высокая, черная, вышла на свет.— Что это трещит?

— Видно, бедные подобрались, Бубновых дом обдирают на топливо,— объяснил он, глядя на нее с уважением и оттенком того чувства, которое раньше вызывал в нем ведун Маркуша.

— Просто как всё у вас,— тихо сказала женщина.

— Выморочное, охранять некому...

И, заглянув в бледное ее лицо, осторожно спросил:

— Обидел вас Маркуша-то?

— Да-а,— опустясь на ступень крыльца, заговорила она.— То есть — не обидел, но... не знаю, как сказать. Мне всегда казалось, что говорит он бездушно — со скрытой усмешкой, не веря в свои слова. Я много встречала народа,— мужики вообще скрытны, недоверчивы,— после этих встреч в душе остается что-то тяжелое, непонятное,— а вот сегодня выяснилось...— Она замолчала на секунду и вдруг тихо, точно упрашивая кого-то, вскрикнула: — Очень хочется, чтобы я ошиблась! Страшно это! Вспомнились ваши записки — мертвое мыло и всё...

«Что она говорит?» — думал Кожемякин, напряженно вслушиваясь в ее слова.

— Прогоню я его!

Она болезненно воскликнула:

— Ну вот! Эх, какой вы...

— Обидно очень! — объяснял Матвей.— Бывало —

слушаешь его, удивление такое в душе: всё человек знает, всё объясняет, а он — вон как, просто — болтал...

— Вы не можете представить себе,— заговорила постоялка, точно жалуясь, как недавно Маркуша жаловался,— до чего это поразительно — неверие его! Когда не верят образованные люди — знаете, есть и были такие — думаешь: ну что ж? Хилые цветы! А ведь он — почва, он — народ... и не один десяток лет внушал людям то, во что не верил, это ужасно! Я не знала, что такие люди есть, а теперь мне кажется, что я видела их десятки, — таких, которые, говоря да и нет, говорят — отстань! Какой страшный внутренний разрыв человека с людьми, с миром! Всё равно, что сказать людям, лишь бы оставили в покое,— в каком покое? Среди образованных не верующие ни во что все-таки хоть в себя верили, в свою личность, в силу своей воли,— а ведь этот себя не видит, не чувствует! Вспомните, как он говорил о долях! Какое безмерное, глубочайшее и невозмутимое отчаяние, — вы понимаете?

Нет, он плохо понимал. Жадно ловил ее слова, складывал их ряды в памяти, но смысл ее речи ускользал от него. Сознаться в этом было стыдно, и не хотелось прерывать ее жалобу, но чем более говорила она, тем чаще разрывалась связь между ее словами. Вспыхивали вопросы, но не успевал он спросить об одном — являлось другое и тоже настойчиво просило ответа. В груди у него что-то металось, стараясь за всем поспеть, всё схватить, и — всё спутывало. Но были сегодня в ее речи некоторые близкие, понятные мысли.

— Живешь, живешь и вдруг с ужасом видишь себя в чужой стране, среди чужих людей. И все друг другу чужды, ничем не связаны — ничем живым, а так — мертвая петля сдавила всех и душит...

— Вот! Действительно — петля!

— Хочется заполнить эту яму между тобою и людьми, а она становится всё шире, глубже...

— Глубже? Да...

Эти понятные куски ее речи будили в нем доверие к ней, и когда она на минуту замолчала, задумалась, он вдруг оглянулся, как бы опасаясь, чтобы кто-то чужой не подслушал его, и спросил:

— Евгенья Петровна, скажите вы мне, как это случилось, что вот вы русская и я русский, а понимать мне вас трудно?

Она быстро обернулась к нему.

— Трудно?

— Очень! Некоторые слова...

— Ах, что слова! — скорбно воскликнула она.— Но — понятно ли вам, что я добра хочу людям, что я — честный человек?

Он по совести ответил:

— Да, честный, иначе я думать про вас не могу, ей-ей!

И готов был перекреститься.

— Спасибо! — тихонько сказала она, схватив его руку. Потом, оглянув двор и небо,— поежилась.

— Страшновато у вас и холодно.

— Пойдемте в горницу! — умоляюще предложил он, и когда она, безмолвно поднявшись на ноги, пошла впереди,— его охватило жаром светлое предчувствие новых дней.

Задумчиво расхаживая по комнате, она говорила, высоко подняв брови:

— Это тоже ужасно... и очень верно: вы русский, я русская, а говорим мы — на разных языках, не понимая друг друга...

Сидя на лежанке, он внимательно следил за игрою ее лица, сменой удивления, тревоги и тоски, а сердце билось:

«Вот, сегодня, сегодня!..»

Он видел, что сегодня эта женщина иная, чем в тот вечер, когда слушала его записки,— не так заносчива, насмешлива и горда, и тревога ее речи понятна ему.

«Ага, почуяла?» — думал он, немножко торжествуя, но больше жалея ее.

Она вздрагивала, куталась в шаль, часто подносила руки к вискам, и на щеке у нее трепетала темная прядь волос.

— Я тоже не понимаю вас,— слышал он.— С виду вы такой, простите, обыкновенный...

«За что — простить?» — думал Матвей.

— И вдруг — эти неожиданные, страшные ваши записки! Читали вы их, а я слышала какой-то упрекающий голос, как будто из дали глубокой, из прошлого, некто говорит: ты куда ушла, куда? Ты французский язык знаешь, а — русский? Ты любишь романы читать и чтобы красиво написано было, а вот тебе — роман о мертвом мыле! Ты всемирную историю читывала, а историю души города Окурова — знаешь?

Она глухо засмеялась.

— Точно я птицей была в тот вечер, поймали вы меня и выщипывали крылья мне, так, знаете, не торопясь, по перышку, беззлобно... скуки ради... Пошла я на другой день гулять, вышла за город и с горки посмотрела на него какими-то новыми глазами. Лежит на снегу паучье гнездо, и невидимо тянутся от него во все стороны к деревням эти паутинки,— ваши окуровские, липкие мысли, верования, ядовитая пена мертвого мыла! Тянутся далеко и опутывают, отравляют множество людей дикими суевериями, тупой, равнодушной жестокостью. Этот ваш страшный мудрец — как его?

— Базунов? — хмуро подсказал Матвей.

Ее слова о городе вызвали в нем тень обиды: он вспомнил, каким недавно представился ему Окуров, и, вздохнув, сказал:

— Городок, конечно, маленький, ну и думы наши маленькие...

А она, закинув руки за голову, тихонько воскликнула:

— Ах, как жалко, что я женщина!

Что-то знакомое ему прозвучало в этих словах.

— Отчего — жалко?

— Это очень мешает иногда,— сказала постоялка задумчиво.— Да... есть теперь люди, которые начали говорить, что наше время — не время великих задач, крупных дел, что мы должны взяться за простую, черную, будничную работу... Я смеялась над этими людьми, но, может быть, они правы! И, может быть, простая-то работа и есть величайшая задача, истинное геройство!

И вдруг снова закружился хоровод чуждых мыслей, непонятных слов. Казалось, что они вьются вокруг нее, как вихрь на перекрестке, толкают ее, не позволяя най-

ти прямой путь к человеку, одиноко сидевшему в темном углу, и вот она шатается из стороны в сторону, то подходя к нему, то снова удаляясь в туман непонятного и возбуждающего нудную тоску.

«Не со мною, сама с собою говорит она! — думал Кожемякин.— Маркушка-то не совсем, видно, ошибся...»

И когда она ушла,— как-то вдруг, незаметно, точно растаяла,— он сначала почувствовал, что ее речи ничего не оставили в нем ясного и прочного, а только путаницу незнакомых слов.

Но — ошибся: с этого вечера он начал думать о ней смелее, к этим думам примешивалось что-то снисходительное и жалостливое — ему стала ведома ее слабая сторона.

«Страшновато? В чужой земле? — вспоминал он ее слова и печально усмехался, чувствуя себя в чем-то сильнее ее.— То-то вот!»

На другой день утром Боря, сбежав к нему, сказал, что мама захворала и не встанет сегодня.

— Да ну-у? — пугливо воскликнул Матвей.

Он смело пошел наверх, но, войдя в маленькую комнатку с потолком, подобным крышке гроба, оробел.

— Что это вы?

— Да вот,— улыбнулась она,— голова болит, жар...

В глазах у него стояло, всё заслоняя, розовое лицо на белой подушке, в облаке пышно растрепанных волос.

— Клюковного морсу надо вам.

— Это — хорошо,— согласилась она.

— Сейчас велю. Неужто из-за Маркушки это вы? — робко спросил он, опустив глаза.

— Н-нет, конечно! Хотя — и это недешево стоит, согласитесь! — Прикрыв глаза ресницами, она невесело улыбнулась, говоря: — Точно я оступилась, знаете, и всё внутри вздрогнуло неожиданно и больно...

Матвей ушел, думая:

«Как горячо приняла!»

И в кухне вдруг почему-то вспомнил, что в окно чердака видно каланчу — она торчит между крыш города, точно большой серый кукиш.

Хворала она недель пять, и это время было его праздником. Почти каждый день он приходил справляться

о ее здоровье и засиживался в тесной комнатке у ног женщины до поры, пока не замечал, что она устала и не может говорить.

Говорила она много, охотно, и главное — что он понял и что сразу подняло его в своих глазах — было до смешного просто: оказалось, что всё, о чем она говорит,— написано в книгах, всё, что знает она,— прочитано ею.

Он настойчиво просил:

— Как только встанете — книги эти мне добудьте!

— Непременно. Я так рада, что вы хотите читать!

— И я рад.

А мысленно продолжал:

«Буду знать не меньше тебя».

Думать о том, что превосходство над ним этой женщине дали только книги, было приятно.

Больше всего она говорила о том, что людей надо учить, тогда они станут лучше, будут жить по-человечески. Рассказывала о людях, которые хотели научить русский народ добру, пробудить в нем уважение к разуму,— и за это были посажены в тюрьмы, сосланы в Сибирь.

Было странно слышать, что есть люди, которые будто смеют ставить себя, свою волю против всей жизни, но — вспоминался отец, чем-то похожий на этих людей, и он слушал доверчиво. В рассказах постоялки таких людей было множество — десятки; она говорила о них с великой любовью, глаза горели восхищением и скорбью; он скоро поддался красоте ее повестей и уверовал в существование на земле великих подвижников правды и добра,— признал их, как признавал домовых и леших Маркуши. Он слушал рассказы о их жизни и подвигах благоговейно и участливо, как жития святых, но не мог представить себе таких людей на улицах города Окурова.

И каждый раз, когда женщина говорила о многотрудной жизни сеятелей разумного, он невольно вспоминал яркие рассказы отца о старинных людях, которые смолоду весело промышляли душегубством и разбоем, а под старость тайно и покорно уходили в скиты «душа́ спасать». Было для него что-то общее между эти-

ми двумя рядами одинаково чуждых и неведомых ему людей,— соединяла их какая-то иная жизнь, он любовался ею, но она не влекла его к себе, как не влекли его и все другие сказки.

— Как же сделать, чтобы хорошие люди свободу имели сеять разум и добро? — спрашивал он.

Постоялка долго, подробно объясняла ему пути к свободе,— в такие минуты она всегда была особенно красива,— но слова ее возбуждали недоумение у него, и он осторожно возражал:

— Конечно, это хорошо бы, да ведь как ее, всю-то Россию, к одному сведешь? Какие, примерно, отсюдова — от нас вот — люди на государеву службу годятся? Никому ничего не интересно, кромя своего дома, своей семьи...

— Интересы проснутся!

— Что же будет? — соображал он вслух.— Ну вот, позвали здешних, а им ничего, кроме Окурова, не надобно и ничего неизвестно; дремовцам — кроме Дремова, мямлинцам — кроме Мямлина, да так все одиннадцать уездов, каждый сам за себя, и начнется между ними неразберимая склока, а воргородские — поумней да и побойчей всех, их верх и будет! Они, конечно, встанут за те уезды, что на полдень живут, те им дороже...

И, недоверчиво усмехаясь, говорил:

— Нет, сначала бы всех нас кипятком обдать, что ли, а то — прокалить, как вот сковороды в чистый понедельник прокаливают!

Она сердилась, взмахивала руками, они обнажались выше локтей, а кофта на груди иногда распахивалась. Кожемякин опускал глаза, сердце его учащенно билось, в голове стучали молотки, и несколько минут он ничего не понимал и не слышал.

Рассказала она ему о себе: сирота она, дочь офицера, воспитывалась у дяди, полковника, вышла замуж за учителя гимназии, муж стал учить детей не по казенным книжкам, а по совести, она же, как умела, помогала мужу в этом; сделали у них однажды обыск, нашли запрещенные книги и сослали обоих в Сибирь — вот и всё.

Так просто и странно. Он ожидал большого рассказа, чего-то страшного, а она рассказала кратко, нехотя, хмуря брови и брезгливо шмыгая носом. Ему хотелось спросить — любила ли она мужа, счастливо ли жила, вообще хотелось, чтобы она сказала еще что-то о себе, о своем сердце,— он не посмел и спросил:

— Дядюшка-то жив?

— Да. Он вице-губернатор теперь...— позевнув легонько, ответила она.

— И не вступился за вас?

— Мы с ним разно думаем.

— Всё едино, ведь — родной.

Нахмурясь, она спросила:

— Что значит — родной?

— Одна кровь, один род-племя...

— Ну, это — древности, роды и племена ваши! — усмехаясь, сказала она и вдруг, крепко закрыв глаза, тихонько сказала:

— Родной — это тот, чья душа близка мне...

«Заигрывает?» — холодея, подумал Кожемякин.

Часто после беседы с нею, взволнованный и полный грустно-ласкового чувства к людям, запредельным его миру, он уходил в поле и там, сидя на холме, смотрел, как наступают на город сумерки — время, когда светлое и темное борются друг с другом, как мирно приходит ночь, кропя землю росою, и — уходит, тихо уступая новому дню.

В эти часы одиночества он посменно переживал противоречивые желания. Хотелось что-то сделать и гордо сказать женщине — видишь, какой я? Хотелось просто прийти и молча лечь собакой к ее ногам.

Мирно и грустно думалось, что хорошо бы отдать ей всё — имущество, деньги, а самому уйти куда-нибудь, как ушел Сазан. Но всё чаще и упорнее он останавливался на светлом желании сказать ей:

«Оба мы с тобой — всем чужие, одинокие люди,— давай жить вместе весь век!»

И представлялась тихая жизнь, без нужды в людях, без скрытой злобы на них и без боязни перед ними, только — вдвоем, душа с душою. Было сладко думать об этом, в груди теплело, точно утро разгоралось там.

Молодые травы на холме радостно кланялись утренней заре, стряхивая на парную землю серебро росы, розовый дым поднимался над городом, когда Кожемякин шел домой.

Иногда постоялка читала ему стихи, и, когда произносила слово «любовь», он смущенно опускал глаза, соображая:

«Заигрывает?»

Однажды она среди речи утомленно закрыла глаза,— он окостенел, боясь пошевелиться. А она через две-три минуты подняла веки глаз и, усмехаясь, сказала:

— Видела сон...

— Хороший?

— Да. Жаль, что хорошие сны кратки.

«Заигрывает!» — решил Матвей.

Она встала на ноги во дни, когда березы уже оделись желтым клейким листом, прилетели ревнивые зяблики и насмешливые скворцы.

Теплым, ослепительно ярким полуднем, когда даже в Окурове кажется, что солнце растаяло в небе и всё небо стало как одно голубое солнце,— похудевшая, бледная женщина, в красной кофте и черной юбке, сошла в сад, долго, без слов напевая, точно молясь, ходила по дорожкам, радостно улыбалась, благодарно поглаживала атласные стволы берез и ставила ноги на теплую потную землю так осторожно, точно не хотела и боялась помять острые стебли трав и молодые розетки подорожника.

Волосы у нее были причесаны короной и блестели, точно пыльное золото, она рассматривала на свет свои жалобно худенькие руки,— Матвей, идя сбоку, тоже смотрел на прозрачные пальцы, налитые алою кровью, и думал:

«Словно королева в сказке вышла из плена у волшебника!»

Седоватые бархатные листья клевера были покрыты мелкими серебряными каплями влаги, точно вспотели от радости видеть солнце; ласково мигали анютины глазки; лиловые колокольчики качались на тонких стеблях; на сучьях вишен блестели куски янтарного клея, на яблонях — бледно-розовые шарики еще не

распустившегося цвета; тихо трепетали тонкие ветки, полные живого сока, струился горьковатый вкусный запах майской полыни.

На улице весело кричали дети, далеко в поле играл пастух, а в монастыре копали гряды и звонкий голос высоко вел благодарную песнь:

— О, всепетая мати, бога родшая...

Женщина взглянула в лицо Матвея ласковым взглядом глубоко запавших глаз.

— Всепетая мати — это и есть весна, а бог — солнце! Так когда-то верили люди,— это не плохо! Добрые боги созданы весною. Сядемте!

Сели на скамью под вишнями, золотые ленты легли на плечи, на грудь и колена ее, она их гладила бледными руками, а сквозь кожу рук было видно кровь цвета утренней зари.

У Матвея кружилась голова, замирало сердце, перед глазами мелькали разноцветные пятна,— медленно, точно поднимая большую тяжесть, он встал и проговорил тихо:

— Евгенья Петровна, полюбил я тебя очень, выходи, пожалуйста, замуж за меня...

И вспыхнул весь жгучей радостью: она не рассердилась, не нахмурилась, а, улыбаясь как-то особенно приветливо и дружески, сказала тихо:

— Ах, как это жаль!

Он сел рядом с нею и схватил ее руку, прижал к лицу своему.

— Не могу больше ждать,— так хочется, чтоб ты вышла за меня, а — боязно... ну, скажи — выйдешь?

— Нет! — сказала она.

Он не поверил.

— Ты погоди...

— Нет! Я и так опоздала уж...

— В чем — опоздала? — быстро спросил он.

— Мне следовало сказать вам это «нет» раньше, чем вы спросили меня,— говорила она спокойно, ласково, и потому, что она так говорила, он не верил ей.

— Видите ли, Матвей Савельич, еще когда я первый раз — помните? — пришла к вам, я поняла: вот этот

человек влюбится в меня! Я стала бояться этого, избегала знакомства с вами,— вы заметили это?

— Да! — сказал он, жадно слушая.

— Но здесь это — трудно, немыслимо! Шакир и Наталья так часто говорили, какой вы добрый, странный, как много пережили горя, обид...

— Да! Очень...

— Им тоже хочется, чтобы я вышла замуж за вас...

— Конечно! — радостно воскликнул он, вскакивая на ноги.— Они ведь тоже оба любят вас, ей-богу! Вот мы и будем жить — четверо! Как в крепости!

Она глубоко вздохнула, приглаживая ногою землю.

— Мне захотелось подойти к вам ближе...

«Зачем она говорит это?» — тревожно подумал он.

Слова ее падали холодными каплями дождя.

— Мы можем быть только друзьями, а женой вашей я не буду. Не думайте об этом,— слышал он сквозь шум в ушах.

Встала и, не торопясь, ушла, а он смотрел, как она уходит, и видел, что земля под ногами ее колеблется.

Наступили тяжелые дни, каждый приносил новые, опрокидывающие толчки, неизведанные ощущения, пестрые мысли; порою Кожемякину казалось, что грудь его открыта, в нее спешно входит всё злое и тяжкое, что есть на земле, и больно топчет сердце.

Всё исчезло для него в эти дни; работой на заводе он и раньше мало занимался, ее без ошибок вел Шакир, но прежде его интересовали люди, он приходил на завод, в кухню, слушал их беседы, расспрашивал о новостях, а теперь — никого не замечал, сторожил постоялку, ходил за нею и думал про себя иногда:

«Должно быть, на собаку я похож при ней...»

Когда ему встречался Боря, целыми днями бегавший где-то вне дома, он хватал его на руки, тискал, щекотал бородой лицо и жадно допытывался:

— Любишь меня? Ну, по совести, любишь?

Мальчик отбивался руками и ногами, хохотал и кричал:

— Пусти-и! Дядя Матвей, мне же некогда, ну, пусти же! Мы — в лес, с Любой и Ванюшкой...

Он стремглав убегал, а Матвей, глядя в землю, считал про себя:

«Восемь ему, мне бы — сорок, а ему уж — шестнадцать! А пятьдесят — двадцать шесть,— да! Господи, внуши ты ей...»

— Евгенья Петровна, что ты со мной делаешь? — укоризненно шептал он.

А она, точно камнями кидая, отвечала:

— Не могу. Не могу.

— Да погоди, не говори так-то! Подай хоть надежду...

— Нет! Не надо надеяться...

— Объясни ты мне, Христа ради, что это, как? Вот — ты говоришь — хороший я человек и друг тебе, а ты для меня — хорошая женщина и друг, и оба мы — русские, а ладу — нет между нами: мной желаемое — тебе не надобно, твои мысли — мне не ясны,— как это вышло?

Она ему внушала что-то, он слушал ее плавную речь и, озлобляясь, грозил в душе:

«Робок я, счастье твое! Связываешь ты меня словами этими колдовскими... и кабы не так я тебя много любил!»

— Неужто ты и пожалеть не можешь? — спросил он ее однажды.

Она выпрямилась и ответила сурово:

— Из жалости — не любят!

— Как это? — удивленно воскликнул он.— Что ты, Евгенья Петровна, говоришь? Из-за того и любят, что жалко человека, что не добро ему быти едину...

— Тут мы никогда не поймем друг друга! — вздохнув, сказала она.

Но порою он чувствовал, что ей удается заговаривать его любовь, как знахарки заговаривают боль, и дня два-три она казалась ему любимой сестрой: долго ждал он ее, вот она явилась, и он говорит с нею обо всем — об отце, Палаге, о всей жизни своей, свободно и просто, как с мужчиной.

Иногда это удивляло его:

ющимъ, какъ увядшій цвѣтокъ подсолнечника. Ночи не приносили дышавшимъ съ собой освѣжающимъ дыханіемъ, а плотно, точно трауромъ, одѣвали городъ жаркими тѣснями. Луна всходила огромная, словно колесо; багровая и злая, она поднималась надъ городомъ медленно и тоже изливала тяжкую духоту. Озимое пожухло; травы порыжѣли, желтые лютики, алая ночная красавица, лиловые колокольцы и всѣ бѣдные цвѣты безплодныхъ полей, жалобно свернувъ насохшіе лепестки, покорно наклонились къ землѣ, а по ней уже пошли трещины, подобныя устамъ судорожно искривленнымъ мученіями жажды. устамъ.

Днемъ въ городѣ, гудя какъ струны, носились тучи жирныхъ мухъ и только стрижи, жадно вскрикивая, мелькали надъ улицами, а вся иная птица печально пряталась въ тѣни; къ вечеру съ болота налетѣли комары и неумолчно плакали всю ночь.

Потные люди двигались медленно, нехотя, смотрѣли въ небо хмуро и порицающе, а говорили другъ съ другомъ устало, лѣниво, безнадежно и быстро раздражались, кричали, ругаясь зазорными словами.

Кожемякинъ не спалъ по ночамъ, отъ безсонницы болѣла голова, на вискахъ у него явились серебрянные волосы. Тѣло, полное болью неудовлетвореннаго желанія, все сильнѣе разгоравшагося, словно таяло, щеки осунулись, запавшіе глаза смотрѣли разсѣянно и безпомощно. Какъ сквозь туманъ онъ видѣлъ сочувствующіе взгляды Шакира и Натальи, видѣлъ, какъ усмѣхаются рабочіе, зналъ, что по городу ходитъ дрянной, обидный для него и постоялки слухъ, и внутренно отмахивался ото всего:

-Все равно...

По ночамъ уходилъ въ поле и [redacted],

**«ЖИЗНЬ МАТВЕЯ КОЖЕМЯКИНА».**

**Страница машинописи с правкой М. Горького.**

«Что это, о чем я говорю?»

Но, взглянув в лицо ей, видел добрые глаза, полные внимания и участия, немножко приоткрытые губы, серьезную складку между бровей,— лицо родного человека.

Именно этот человек грезился ему темными ночами зимы, когда он ворочался в постели, пытаясь уснуть под злой шорох вьюги и треск мороза, образ такого человека плавал перед ним в весенние ночи, когда он бродил по полю вокруг города.

И снова в груди поднималось необоримое желание обнять и целовать ее, как Палагу, и чтобы она благодарно плакала, как та, и говорила сквозь слезы:

«Как в ручье выкупалась я, словно душу ты мне омыл лаской твоею...»

«Насильно разве?» — всё чаще думалось ему.

Но — не смел: в ней было что-то, легко отражавшее мысль о насилии. Полубольной, с чувством злобы на себя и на нее, он думал:

«Что же, какой этому конец?»

И заводил с нею беседу о жалости:

— Ведь вот — жалеешь ты Палагу, народ, товарищей твоих...

— Это — не то! — говорила она, отрицательно качая головой.— Так мне и вас жалко: мне хочется добра вам, хочется, чтобы человеческая душа ваша расцвела во всю силу, чтобы вы жили среди людей не лишним человеком! Понять их надо, полюбить, помочь им разобраться в темной путанице этой нищей, постыдной и страшной жизни.

Говорила она о сотнях маленьких городов, таких же, как Окуров, так же плененных холодной, до отчаяния доводящей скукой и угрюмым страхом перед всем, что ново для них.

Набитые полуслепыми людьми, которые равнодушно верят всему, что не тревожит, не мешает им жить в привычном, грязном, зазорном покое,— распластались, развалились эти чужие друг другу города по великой земле, точно груды кирпича, бревен и досок, заготовленных кем-то, кто хотел возвести сказочно огромное здание,

но тот, кто заготовил всё это богатство,— пропал, исчез, и весь дорогой материал тоже пропадает без строителя и хозяина, медленно сгнивая под зимними снегами и дождями осени.

Хорошо она говорила — горячо и так красиво, точно молодая монашенка акафист богородице читала, пламенно веруя, восхищаясь и завидуя деве Марии, родившей бога-слово.

Ее тонкие пальцы шевелились, точно играя на невидимых гуслях или вышивая светлыми шелками картины прошлой жизни народа в Новгороде и во Пскове, глаза горели детской радостью, всё лицо сияло.

— Видите — он умел жить иначе, наш народ! — восклицала она, гордо встряхивая головой.

Часто, слушая ее речь, он прикрывал глаза, и ему грезилось, что он снова маленький, а с ним беседует отец,— только другим голосом, — так похоже на отцовы истории изображала она эту жизнь.

— Теперь — не то! — печально возражал он.

Ему не очень хотелось возражать ей, было жалко и ее и себя, жалко все эти сказки, приятные сердцу, но — надо было показать, что и он тоже знает кое-что: он знал настоящий русский народ, живущий в Окуровском, Гнилищенском, Мямлинском и Дремовском уездах Воргородской губернии.

И, не глядя на нее, однотонно, точно читая псалтырь по усопшем, он рассказывал, как мужики пьянствуют, дерутся, воруют, бьют жен и детей, и сохачествуют, и обманывают его во время поездок по округе за пенькой.

Сначала она слушала внимательно, расспрашивала, сожалела, а потом начинала кусать губы, и приветливые глаза ее смотрели мимо Матвея.

— А как они друг друга едят, и сколь трудно умному промеж их! — говорил он, понижая голос.— Вот Маркуша про мужика Натрускина сказывал,— ни одной деревни, наверно, нет, которая бы такого Натрускина со свету не сжила!

— Ага, вот видите! — воскликнула она, торжествуя.— Есть же иные люди...

— По одному-то на тысячу!

Он рассказывал ей о Савке с его страшным словом: «Х-хозяин...»

— Вот настоящий мужик — он за целковый отца с матерью продаст, да еще попытается гнилых подложить!

Постоялка отрицательно качала головой — это с еще большей силою будило в нем суровые воспоминания. Горячась, он размахивал в воздухе рукою, точно очищал дорогу всему дурному и злому, что издали шло на него темною толпою, и, увлекаясь, говорил ей, как на исповеди:

— Когда любимую мою женщину били, лежал я в саду, думал — бьют али нет еще? Не заступился, не помог! Конечно — отец! Ну, хоть в ноги бы ему броситься... Так и вытоптал он ребеночка из нее,— было бы ему теперь пятнадцать лет...

— Перестаньте об этом! — тихо просила она, не глядя на него.

Когда он впервые рассказал ей о своем грехе с Палагой и о том, как отец убил мачеху,— он заметил, что женщина слушала его жадно, как никогда еще, глаза ее блестели темным огнем и лицо поминутно изменялось. И вдруг по скорбному лицу покатились слезы, а голова медленно опустилась, точно кто-то силою согнул шею человека против воли его.

Он схватил ее руку, крепко трижды поцеловал и ушел прочь, пробормотав:

— Спасибо, Евгенья Петровна,— пойду на могилку к ней,— скажу, что вот... спасибо!

...Весна была жаркая, грозила засухой, с болот поднимался густой, опаловый туман и, растекаясь в безветренном воздухе, приносил в город душный кислый запах гниющих трав. Солнце было мутно, знойно и, лишенное лучей, казалось умирающим, как увядший цветок подсолнечника. Ночи не дышали освежающим дыханием, а плотно, точно трауром, одевали город жаркими тенями. Луна всходила огромная, словно колесо; багровая и злая, она поднималась над городом медленно и тоже изливала тяжкую духоту. Озимое пожухло, травы порыжели, желтые лютики, алая ночная красавица, лиловые колокольцы и все бедные цветы

бесплодных полей, жалобно свернув иссохшие лепестки, покорно наклонились к земле, а по ней уже пошли трещины, подобные устам, судорожно искривленным мучениями жажды.

Днем в городе, гудя, как струны, носились тучи жирных мух, и только стрижи, жадно вскрикивая, мелькали над улицами, а вся иная птица печально пряталась в тени; к вечеру с болота налетали комары и неумолчно плакали всю ночь.

Потные люди двигались медленно, нехотя, смотрели в небо хмуро и порицающе, а говорили друг с другом устало, лениво, безнадежно и быстро раздражались, кричали, ругаясь зазорными словами.

Кожемякин не спал по ночам, от бессонницы болела голова, на висках у него явились серебряные волосы. Тело, полное болью неудовлетворенного желания, всё сильнее разгоравшегося, словно таяло, щеки осунулись, запавшие глаза смотрели рассеянно и беспомощно. Как сквозь туман, он видел сочувствующие взгляды Шакира и Натальи, видел, как усмехаются рабочие, знал, что по городу ходит дрянной, обидный для него и постоялки слух, и внутренно отмахивался ото всего:

«Всё равно...»

По ночам уходил в поле и слушал там жалобный шелест иссохших трав, шорох голодных мышей, тревожное стрекотание кузнечиков — странный, отовсюду текущий, сухой шум, точно слабые вздохи задыхавшейся земли; ходил и думал двумя словами, издавна знакомыми ему:

«Пожалей. Полюби».

И казалось, что всё вокруг непрерывно, жарким шёпотом повторяет эти слова.

Ходил он, заложив руки за спину, как, бывало, отец, тяжело шаркая ногами, согнув спину, опустя голову,— мысленно раздев любимую женщину, нес ее перед собою, в жарком воздухе ночи, и говорил ей:

«Вот, отец у меня был хороший человек, да — зверь, а уж я — не зверь, а от тебя дети были бы еще больше люди! Евгеньюшка! Ведь только так и можно — любовью только новых-то, хороших-то людей родишь!»

Представлял себе груди ее, спелые плоды, призванные питать новую жизнь, и вспоминал розовые соски Палагиных грудей, жалобно поднятые вверх, точно просившие детских уст. Потом эти чувства темнели, становились тяжелей, он сжимал кулаки, шел быстрее, обливаясь потом, и ложился где-нибудь у дороги на пыльную траву усталый, задыхающийся.

А иногда возвращался домой и тихонько, как зверь, ходил по двору, поглядывая на окно чердака прищуренными глазами, кусая губы и едва сдерживая желание громко крикнуть, властно позвать ее:

«Иди сюда!»

Не мог решиться на это и, опустошенный, изломанный, выгоревший, шел к себе, валился в постель, отдаваясь во власть кошмару мучительных видений.

«Кабы у меня отцов характер был — давно бы уж кончилось всё это! Нет, надобно насильно...»

А на дворе как-то вдруг явился новый человек, маленький, угловатый, ободранный, с тонкими ногами и ненужной бородкой на желтом лице. Глаза у него смешно косили, забегая куда-то в переносье; чтобы скрыть это, он прищуривал их, и казалось, что в лице у него плохо спрятан маленький ножик о двух лезвиях, одно — побольше, другое — поменьше.

Он занял место Маркуши и с первых же дней всех заинтересовал своей обязательной, вежливой улыбочкой, бойкою, острою речью; а ребята на заводе приняли его насмешливо и неприязненно: худой и сутулый Фома, мужик из Воеводина, с головой, похожей на топор, и какими-то чужими глазами, внимательно оглядел нового дворника и убежденно объявил:

— Это вот от эдаких засуха-то!

Человек спрятался за спину Шакира, отвечая оттуда неожиданно звонким голосом:

— Засуха, любезный господин, вовсе не от меня, засуха — от оврагов, как говорили мне очень ученые господа! Овражки вы развели, господа хозяева, и спускаете воду,— засухи весьма жестокие ждут вас, судари мои!

Фома открыл рот, поглядел на товарищей, заглянул через плечо Шакира и безнадежно сказал:

— Экой ты дурак, брат,— ну и дурак!

И все захохотали, кроме Шакира. Он отвел нового дворника в амбар, внушая ему:

— С ними — молчай больша, они тебе бить захотят!

— Я кулаку не верю! — забросив глаза в переносье, сказал новый человек.

«Вот еще один... какой-то!» — подумал Кожемякин, сидя в тени амбара.

Нанимая дворника, он прочитал в паспорте, что человек этот — мещанин города Тупого Угла, Алексей Ильич Тиверцев, двадцати семи лет, поглядел на него и заметил:

— А похож ты — на дьячка...

— Это уж как вам будет угодно! — вежливо отозвался мещанин. — У нас в Углу все сами на себя не похожи,— с тем возьмите!

Кожемякину показалось, что в человеке этом есть что-то ненадежное, жуликоватое, и он был обидно удивлен, заметив, что Евгения Петровна сразу стала говорить с Алексеем подолгу, доверчиво и горячо, а тот слушал ее как-то особенно внимательно и отвечал серьезно, немногословно и точно.

Ему вспомнилось, как она первое время жизни в доме ходила на завод и мерзла там, пытаясь разговориться с рабочими; они отвечали ей неохотно, ухмылялись в бороды, незаметно перекидывались друг с другом намекающими взглядами, а когда она уходила, говорили о ней похабно и хотя без злобы, но в равнодушии их слов было что-то худшее, чем злоба.

Потом, увидав, как он, хозяин, относится к ней, они начали низко кланяться женщине, издали снимая шапки и глядя на нее, как нищие, а разговаривать стали жалобными голосами, вздыхая и соглашаясь со всем, что она ни скажет.

— Забитый у вас тут народ! — печально говорила она.

«Выдь-ка ты замуж за эдакого забитого — он те покажет!» — думал Матвей.

Его вообще и всегда обижало ее внимание к простым людям; она как будто отдавала им нечто такое, что ему было более нужно, чем этим людям, и на что он имел право большее, чем они. Вот теперь явился этот

тонконогий Алексей, и она целыми вечерами беседует с ним — зачем?

После ужина, когда работа кончена и душная ночь, обнимая город и людей липким, потным объятием, безнадежно стонала о чем-то тысячами тонких и унылых комариных голосов,— сидели впятером на крыльце или в саду. Шакир разводил небольшой дымник и, помахивая над ним веткой полыни, нагонял на хозяина и постоялку синие струйки едкого курева. Люди морщились, кашляли, а комары, пронизывая кисейные ткани дыма, неугомонно кусались и ныли.

Сливаясь с их песнями, тихо звучал высокий голосок нового человека:

— У нас по уезду воды много — с десяток речек текёт, а земли маловато и — неродимая, так народ наш по миру разбегается весь почти. Били нас в старину поляки, только мы с того боя ничему не выучились,— однако бабы чулки на продажу вяжут да колбасы делают — Москва эти колбасы помногу ест! А мужики больше вздыхают: очень-де трудно жить на земле этой; бог — не любит, начальство — не уважает, попы — ничему не учат, самим учиться — охоты нет, и никак невозможно понять — на что мы родились и какое удовольствие в Тупом Углу жить?

Он кидал во все стороны косенькие свои глазки, вежливенько улыбался, бил ладонями комаров и, не уставая, точил слова, а они текли, звеня, точно тонкая струйка воды из худого ведра.

— Люди, так скажу,— сидячей породы; лет по пятидесяти думают — сидя — как бы это хорошенько пожить на земле? А на пятьдесят первом — ножки протянут и помирают младенчиками, только одно отличие, что бороденки седенькие.

Над садом неподвижно стоит луна, точно приклеилась к мутному небу. Тени коротки и неуклюжи, пыльная листва деревьев вяло опущена, всё вокруг немотно томится в знойной, мертвой тишине. Только иногда издали, с болота, донесется злой крик выпи или стон сыча да в бубновской усадьбе взвоет одичалый кот, точно пьяный слободской парень.

Постоялка сидит согнувшись, спрятав лицо, слу-

шает речь Тиверцева, смотрит, как трясется его ненужная бородка, как он передвигает с уха на ухо изжеванный картуз; порою она спросит о чем-нибудь и снова долго молчит, легонько шлепая себя маленькой ладонью по лбу, по шее и по щекам.

«Говорить она стала меньше, больше спрашивает»,— соображал Кожемякин, следя, как в воздухе мелькает, точно белая птица, ее рука.

Откуда-то со стороны подбегает серенькая дума:

«Вот — сидят пятеро людей, все разные, а во всех есть одно — бесприютный народ...»

— Ой, господи! — стонет Наталья.— Спать — жарко, сидеть — душно!

А Шакир, размахивая полынью, горячо говорит дворнику:

— Зачем нарошна собирать такой мислям-та? Бог говорит — работай, русский говорит — зачем работать — все помираем! Зачем такой мисля нарошна бирот? Э, хитрый русский, не хочит работать-та!

Однажды после такой беседы Матвей ревниво спросил постоялку:

— Чего это вы доверчиво так с ним?

— Он — интересный! — сказала Евгения.

— А я полагаю, что и ему, как Маркушке, тоже на всё наплевать.

И, подумав, прибавил:

— Только — с другой стороны...

Женщина оглянулась, точно поискав кого-то глазами, и задумчиво сказала:

— Вот — Натрускин, помните?

— Евгенья Петровна! — заговорил он тихо и жалобно.— Ну, пожалей же меня! Полюби! Как нищий, прошу,— во всем поверю тебе, всё буду делать, как велишь! Скажи мне: отдай всё мужикам,— отдам я!

— Знаете, что я решила? — услыхал он ее спокойный голос.— Уеду я от вас скоро! Все видят, как вы относитесь ко мне,— это тяжело. Даже Боря спрашивает: почему он смотрит на тебя, точно индеец,— слышите?

— Пропаду я...

Она приподняла плечи и, не торопясь, отошла, покачивая головой.

И то, что она шла прочь от него не спеша, вызвало в нем острую мысль:

«Не решается, боится, может, думает — обману, не женюсь — милая! Нет, надобно смелее — чего я боюсь?»

Через несколько дней из «гнилого угла» подул влажный ветер, над Ляховским болотом поднялась черно-синяя туча и, развертываясь в знойном небе траурным пологом, поплыла на город.

Шумно закричали вороны и галки, откуда-то налетели стружки и бестолково закружились по двору, полетела кострика и волокна пеньки, где-то гулко хлопнули ворота — точно выстрелило,— отовсюду со дворов понеслись крики женщин, подставлявших кадки под капель, визжали дети.

На монастырской колокольне в край колокола била ветка липы, извлекая из меди радостно стонущий звук; в поле тревожно играл пастух, собирая стадо,— там уже метались белые молнии, плавал тяжкий гул грома.

Кожемякин вышел на крыльцо и, щурясь от пыли, слушал трепет земли, иссохшей от жажды.

У постоялки только что начался урок, но дети выбежали на двор и закружились в пыли вместе со стружками и опавшим листом; маленькая, белая, как пушинка, Люба, придерживая платье сжатыми коленями, хлопала в ладоши, глядя, как бесятся Боря и толстый Хряпов: схватившись за руки, они во всю силу топали ногами о землю и, красные с натуги, орали в лицо друг другу:

Дай бог дождю
Толщиной с вожжу!
На рожь, ячмень
Поливай весь день!

— Не та-ак! — источным голосом кричала Люба.

А они кружились в столбе пыли, крича еще сильнее:

Ты, мать божья,
Ты подай дождя!
На просо да на рожь
Поливай как хошь!

— Вот и сынишка мой тоже язычником становится,— услыхал Матвей сзади себя, обернулся и обнял женщину жадным взглядом.

На ней была надета белая мордовская кофта без ворота, широкая и свободная. Тонкое полотно, прикрыв тело мягкими складками, дразнило воображение, соблазнительно очерчивая крутые плечи и грудь.

По крыше тяжело стучали еще редкие теплые капли; падая на двор, они отскакивали от горячей земли, а пыль бросалась за ними, глотая их. Туча покрыла двор, стало темно, потом сверкнула молния — вздрогнуло всё, обломанный дом Бубновых подпрыгнул и с оглушающим треском ударился о землю, завизжали дети, бросившись в амбар, и сразу — точно река пролилась с неба — со свистом хлынул густой ливень.

Вскипела пыль, приподнялась от сухой земли серым дымом и тотчас легла, убитая; темно-желтыми лентами потянулись ручьи, с крыш падали светлые потоки, но вот дождь полил еще более густо, и стало видно только светлую стену живой воды.

— Как дивно, господи! Как хорошо! — слышал Матвей сквозь веселый плеск и шорох.

В голове у него гудело, в груди ходили горячие волны.

— Холодно,— сказал он, не оглядываясь,— сыро, шли бы в горницу...

— Что в саду теперь творится! — воскликнула она снова.

«Не пойдет!» — думал он.

И вдруг почувствовал, что ее нет в сенях.

Тихо и осторожно, как слепой, он вошел в комнату Палаги,— женщина стояла у окна, глядя в сад, закинув руки за голову. Он бесшумно вложил крючок в пробой, обнял ее за плечи и заговорил:

— Евгеньюшка,— хошь убей после — всё равно...

Тело женщины обожгло ему руки, он сжал ее крепче,— она откачнулась назад, Матвей увидел ласковые глаза, полуоткрытые губы, слышал тихие слова:

— Голубчик вы мой, не надо, оставьте...

Легко, точно ребенка, он поднял ее на руки, обнял всю, а она ловко повернулась грудью к нему и на се-

кунду прижала влажные губы к его сухим губам. Шатаясь, охваченный красным туманом, он нес ее куда-то, но женщина вдруг забилась в его руках, глухо вскрикивая:

— Оставьте!

Вырвалась, как скользкая рыба, отбежала к двери и оттуда, положив руку на крючок, а другою оправляя кофту, говорила словами, лишающими силы:

— Я не могу обмануть вас — я знаю себя: случись это — я была бы противна себе,— ненавидела бы вас. Этим нельзя забавляться. Простите меня, если я виновата перед вами...

Он сидел на стуле, понимая лишь одно: уходит! Когда она вырвалась из его рук — вместе со своим телом она лишила его дерзости и силы, он сразу понял, что всё кончилось, никогда не взять ему эту женщину. Сидел, качался, крепко сжимая руками отяжелевшую голову, видел ее взволнованное, розовое лицо и влажный блеск глаз, и казалось ему, что она тает. Она опрокинула сердце его, как чашу, и выплеснула из него всё, кроме тяжелого осадка тоски и стыда.

— Уйдите уж! — сказал он, безнадежно махнув рукой.

Ушла. На косяке, взвизгивая, качался крючок. Две шпильки лежали на полу и маленький белый комок носового платка.

«Увидят, покажется им чего и не было»,— подумал Кожемякин, поднимая шпильки, бросил их на стол, а на платок наступил ногой и забыл о нем.

Ливень прошел, по саду быстро скользили золотые пятна солнца, встряхивали ветвями чисто вымытые деревья, с листьев падали светлые, живые, как ртуть, капли, и воздух, теплый, точно в бане, был густо насыщен запахом пареного листа.

На дворе свежо звучали голоса.

— Я думала — гра-ад будет! — пела Наталья.

Смеялись дети, им вторил Шакир своим невеселым, всхлипывающим смешком, звонко просыпались слова Алексея — всегда особенные:

— Как милостыньку швырнули нам,— сердито брошено! Нате, захлебнитесь, постылые!

Слушая, как неприятно отдаются все звуки в пустой его груди, Кожемякин подумал:

«А она мне не хотела милостыню дать...»

Вдруг стало стыдно до озлобления, захотелось схватить себя за волосы, выпрыгнуть в окно и лечь в грязь лицом, как свинья, или кричать, ругаться...

Шумно чирикали воробьи, в зелени рябины тенькал зяблик, одобрительно каркали вороны, а на дворе кричала Люба:

— Ой, ой, ты потонешь...

Раздался сердитый возглас Евгении:

— Борис, перестань!

А Ванюшка Хряпов басом сообщил:

— Он уз всё лавно моклый...

Матвей почувствовал, что по лицу его тяжело текут слезы, одна, холодная, попала в рот, и ее солоноватый вкус вызвал у него желание завыть, как воют волки.

«Уйдет, уедет!»

Ему казалось, что он не в силах будет встретить ее ни завтра, никогда,— как одолеть свой мужской стыд перед нею и эту всё растущую злость?

«Я — сам уеду! Еще скажешь ей что-нибудь...»

Робко отворилась дверь,— Матвей быстро отер лицо, повернулся: это Шакир.

— Чай пить нада!

— Не буду я. Вели Алексею коня заложить. Я, может, в Балымерах ночую.

Татарин исчез и за дверью сказал кому-то печально:

— Балымерам едит...

Снова отворилась дверь, и светло вспыхнула надежда,— он опустил голову, слушая тихие, ласковые слова:

— Вот что, Матвей Савельич, давайте забудем всё это, темное, поговорим дружески...

— Евгенья Петровна, родимая! — отозвался он, не глядя на нее.— Околдовала ты меня на всю жизнь! Стыдно мне,— уйди, пожалуйста!

В нем кипело желание броситься к ней, схватить ее и так стиснуть, мучить, чтобы она кричала от боли.

— Послушайте, я — не могу, потому что...

— Уйди! — глухо и настойчиво повторил он.

Она бесшумно ушла.

Через полчаса он сидел в маленьком плетеном шарабане, ненужно погоняя лошадь; в лицо и на грудь ему прыгали брызги теплой грязи; хлюпали колеса, фыркал, играя селезенкой, сытый конь и четко бил копытами по лужам воды, еще не выпитой землею.

Крепко стиснув зубы, Матвей оглядывался назад — в чистом и прозрачном небе низко над городом стояло солнце, отражаясь в стеклах окон десятками огней, и каждый из них дышал жаром вслед Матвею.

Расстегнув ворот рубахи, он прикрыл глаза ресницами и мотал головою, чтобы избежать грязных брызг, а они кропили его, и вместе с ними скакали какие-то остренькие мысли.

«Никогда я на женщину руки не поднимал,— уж какие были те, и Дунька, и Сашка... разве эта — ровня им! А замучил бы! Милая, пала ты мне на душу молоньей — и сожгла! Побить бы, а после — в ногах валяться,— слезы бы твои пил! Вот еду к Мокею Чапунову, нехорошему человеку, спохачу. Зажгу теперь себя со всех концов — на кой я леший нужен!»

Мысли являлись откуда-то со стороны и снизу, кружились, точно мухи, исчезали, не трогая того, что скипелось в груди мертвою тяжестью и больно давило на сердце, выжимая тугие слезы.

«Тридцать с лишним лет дураку!» — укорял он себя, а издали, точно разинутая пасть, полная неровных гнилых зубов, быстро и жадно надвигалась на него улица деревни.

Вот большая изба Чапунова, и сам Мокей, сидя на завалинке, кивает ему лысой, как яйцо, головой.

— Здорово ли живем?

— Прими лошадь! — сказал Кожемякин, выскакивая в грязь.— Гулять приехал я...

Косолапый босой мужик собрал лицо в мелкие складочки и, деятельно почесывая низко подпоясанный, надутый живот, хозяйским баском прокричал:

— Анна! Любка! Ворота отворите!

Изогнулся и, намекающе прищурив пустой светлый глаз, сказал уже другим голосом:

— Погулять захотелось после дождичка? Хорошее дело! Земля вздохнула, и человеку надобно...

Матвей смотрел в сторону города: поле курилось розоватым паром, и всюду на нем золотисто блестели красные пятна, точно кто-то щедро разбросал куски кумача. Солнце опустилось за дальние холмы, город был не виден. Зарево заката широко распростерло огненные крылья, и в красном огне плавилась туча, похожая на огромного сома.

— Мямлинские, чу, лес зажгли, трое суток горело, поди — погасло теперь, ась?

— Ну, а мне почем знать! — сердито ответил Матвей.

Колеи дорог, полные воды, светясь, лежали, как шелковые ленты, и указывали путь в Окуров,— он скользил глазами по ним и ждал: вот из-за холмов на красном небе явится черный всадник,— Шакир или Алексей,— хлопая локтями по бокам, поскачет между этих лент и еще издали крикнет:

«Евгенья Петровна послала!»

В поле тяжело и низко летели вороны, и когда птица летела над лужей, то раздваивалась. Вышла со двора высокая баба с густыми бровями на печальном лице, поклонилась Матвею.

— Ключи дай, батюшка...

— Вот с ней, с Анной, я буду гулять! — сурово объявил Матвей, когда она ушла.

Завязывая пояс, мужик сморщился, переспрашивая:

— С энтой? С Анной?

— Ну да!

— С нею — нельзя! — хихикая, сказал мужик.— Ты сам знашь — нельзя!

— Почему?

— Чай, она будто сынова жена, снохой мне приводится,— сам знашь!

Кожемякину хотелось спорить, ругаться, кричать.

— Сволочь ты, Мокей! Где у тебя сын?

— А он, разбойная душа, на своем законном месте...

— Да ведь не крал он у тебя денег — сам ты подложил ему, сам, чтобы Анну отбить, ну?

Мужик зевнул, перекрестил рот и спокойно ответил:

— Никто ничего не знает этого. Это всё врут на меня, ты не верь. Закон есть, по закону Ваське приводится

в остроге сидеть, а нам с тобой на воле гулять! Идем в избу-то!

Желание спорить исчезло — не с кем было спорить. И смотреть на дорогу не хотелось — закат погас, кумач с полей кто-то собрал и шелковые ленты тоже, а лужи стали синими.

В избе встретила солдатка Любовь, жена Мокеева племянника, баба худая, маленькая, с маслеными глазками и большим шрамом на лбу; кланяясь в пояс, она пропела:

— Боярину светлому Матвею Савельичу!

Он давно не был в этой избе, чистой, непохожей на крестьянскую, но ему показалось, что только вчера видел он божницу с пятью образами, зеркало в раме «домиком», неподвижный маятник часов, гири с подковой на одной из них и низкие широкие полати.

Любовь принесла поднос с водкой и закуской, он выпил сразу три рюмки и опьянел. Он не любил пить, ему не нравился вкус водки, и не удовлетворяло ее действие — ослабляя тело, хмель не убивал памяти, а только затемнял ее, точно занавешивая происходящее прозрачным пологом.

Три дня он нехотя и невесело барахтался в грязном потоке незатейливого деревенского разгула, несколько раз плакал пьяными слезами и кричал в изуродованное, двоившееся лицо Любови:

— Любка! Сделай, чтоб быть тебе похожей на ту,— хоть на минутку одну — всё отдам! Не можешь, халда!

И Мокей тоже плакал, плакал и кричал:

— Ты — Матвей, а я — Мокей, тут и вся разность,— милай, понимаешь? Али мы не люди богу нашему, а? Нам с тобой все псы — собаки, а ему все мы — люди,— больше ничего! Ни-к-какой отлички!

— Неправда! — возражал Кожемякин, бия себя кулаками в грудь.— Она — отлична ото всех,— нет ее лучше, нет!

Чапунов целовал его в щеку и уговаривал:

— Брось — все люди! Где нам правда? Али — я правда? Худой я мужичонка, неверный, мошенник я — вот те истинный Христос!

И — крестился, завывая:

— Го-осподи — пошто терпишь нас?

А Кожемякин падал на колени перед большеротой, тоже хныкавшей Любкой, рассказывая ей:

— Соткнулся я с женщиной одной — от всей жизни спасение в ней,— кончено! Нет верхового! Не послала. Города построила новые, людями населила хорошими, завела на колокольню и бросила сюда вот! Ушла! Стало быть, плох я ей...

Бился головой о скамью и рыдал:

— Зачем я тут, коли плох? Господи — поставил ты ее противу меня и убил душу мою — за что?

Любка пьяными руками пыталась поднять его с пола, слезы ее капали на шею и затылок ему, и он слышал завывающий голос:

— Страдатель ты мой болезный! Купи-ка ты пряник медовый, помолись-ка ты над ним пресвятым заступникам — Усыпе, Бородыне да Маментию Никите! Скажи-ка ты им вещее слово: уж и гой вы еси, три браты, гой вы, три буйные ветры, а вселите-тко вы тоску-сухотку в рабыню-любыню — имечко ее назови...

Мокей, сидя на полу, тянул Кожемякина к себе.

— Растревожил ты мне сердце! Любка — зови Анку! Милай,— Анку желаешь — дай ей четвертной билет! Ей, стерве,— и мне дай тоже! Я — подлец, брат, эх! Она тебе уступит, она-то? Нет тебе ни в чем запрету, растревожил ты меня!

И орал неистовым голосом:

— Гос-споди-и! На что я те нужен?..

Всё вокруг зыбко качалось, кружась в медленном хороводе, а у печи, как часовой, молча стояла высокая Анка, скрестив руки на груди, глядя в потолок; стояла она, точно каменная, а глаза ее были тусклы, как у мертвеца.

— Уйди, зверь дохлый! — кричал на нее Мокей.

— Полно, батюшка, куда мне идти! — услышал Кожемякин скучный, холодный ответ.

— Савельич, Матвеюшка! — бесновался Чапунов, ползая по полу, точно паук.— Гляди — вот она, удавка моя! Вот чем меня бог ушиб,— за мошенство мое!

Вдруг диким голосом запел:

Расцветала-а ягода калина-а...
На угорье эх — да близ села...

— Анка, пой, ведьма!

Высокая женщина закрыла глаза и неожиданно красивым голосом ласково и печально приняла песню:

Под калиной бел горючий камень...
А под каменем — милый мой зарыт...

— Матвеюшка, гляди на нее, колдунью!

Был зарезан милый темной ночью...
А и неизвестным ножом...

Любка, качаясь на лавке, завыла голодной волчихой:

Ой, груди вскрыты, ребрышки побиты...
Белы ручки все-то во крови...

Мокей хотел встать на ноги, но встал на четвереньки, хрипя:

Эх, был разбойник — стал покойник...

Эти кошмарные люди, речи, песни провожали Кожемякина всю дорогу от Балымер до города; он возвращался домой ночью, тихонько, полубольной с непривычного похмелья и подавленный угрюмым стыдом.

«Веселье тоже! — думалось ему.— И всегда это так,— слезой какой-то кислой подмочено всё — и песни и пляс. Не столько веселье, сколько просто шум да крик,— дай покричу, что будет?»

В темном небе ярко цвели звезды — вспоминалось, что отец однажды назвал их русскими, а Евгенья Петровна знала имя каждой крупной звезды. И цветы она звала именами незнакомыми.

Пахло гарью — где-то горели торфяники, едкий запах щекотал поздри, голова кружилась. В Ляховском болоте мяукали совы, точно кошки.

Когда Евгения Петровна шла по двору, приподняв юбку и осторожно ставя ноги на землю, она тоже напоминала кошку своей брезгливостью и, может быть, так же отряхала, незаметно, под юбкой, маленькие ноги, испачканные пылью или грязью. А чаще всего в строгости своей она похожа на монахиню, хотя и светло

одевается. В церковь — не ходит, а о Христе умеет говорить просто, горячо и бесстрашно.

Однажды он заметил:

— А в бога вы, Евгенья Петровна, как-то не по-нашему веруете!

Она ответила:

— Очень может быть, потому что вы тут признаете бога, но — не веруете в него...

— Как же это?..

— Да так уж...

— Всякий бога признает.

— Да, да! Бог — есть, и вы — есть, а связи между вами и богом — нет...

Ему показалось, что она утверждает что-то опасное, еретическое, и он перестал говорить с нею об этом.

«Как я теперь встречу ее? Рожа-то у меня, верно, ничему не подобна. Настрадался! Баню надо истопить, вымыться надо, скоту...»

Искупавшись в грязи, безобразно испачкав и измучив тело, он думал о себе унизительно, брезгливо, а к постоялке относился спокойнее, чище, чувствуя себя виноватым перед нею.

Сдерживая лошадь,— точно на воровство ехал,— он тихо остановился у ворот дома, вылез из шарабана и стал осторожно стучать железным кольцом калитки. В темноте бросились в глаза крупно написанные мелом на воротах бесстыдные слова.

«Дьяволы!» — злобно подумал он и, сняв картуз, стал сбивать мел картузом.

Раздались быстрые шаги босых ног, громыхнул запор, ворота отворились — Шакир, в длинной до пят рубахе, молча взял коня под уздцы.

— Ты бы тише! — сказал Матвей.— Перебудишь всех...

— Нисяво,— грустно прозвучало во тьме.

— На воротах-то опять написано...

— Вседа написано!

Матвей взошел на крыльцо и спросил оттуда:

— Боря здоров ли?

Невидимый за лошадью Шакир ненужно громко ответил:

— Уехала она оба...

Кожемякин опустился на ступень крыльца.

— Казначейшам жить хочит.

Обиженно, не веря своим словам, Матвей бормотал:

— Съехала,— как же это? Без хозяина? Надо бы подождать меня! Как же ты отпустил?

И, не желая этого, проговорился:

— Что же со мной будет!

Короткая летняя ночь, доживая свой последний час, пряталась в деревья и углы, в развалины бубновской усадьбы, ложилась в траву, словно тьма ее, бесшумно разрываясь, свертывалась в клубки, принимала формы амбара, дерева, крыши, очищая воздух розоватому свету, и просачивалась в грудь к человеку, холодно и тесно сжимая сердце.

Ощущение усталости разливалось в теле, отравленном и вялом, в памяти пыл визгливый Любкин голос:

Ой, да ни роду, ни племени нету...

Подошел Шакир, похожий на покойника в длинной своей рубахе, и тихо сказал:

— Письма есть ее...

— Что — письмо? — отозвался Матвей безнадежно и безразлично.— Куда оно мне!

— Так бог судил! — сказал татарин, проходя в сени. Скрипнула дверь — Матвей оглянулся и подумал: «Вот и всё...»

Потом он долго, до света, сидел, держа в руках лист бумаги, усеянный мелкими точками букв, они сливались в черные полоски, и прочитать их нельзя было, да и не хотелось читать. Наконец, когда небо стало каким-то светло-зеленым, в саду проснулись птицы, а от забора и деревьев поползли тени, точно утро, спугнув, прогоняло остатки не успевшей спрятаться ночи,— он медленно, строку за строкой, стал разбирать многословное письмо.

«Милый Матвей Савельич!

Я ушла, чтобы не мучить Вас, а скоро, вероятно, и совсем уеду из Окурова. Не стану говорить о том, что разъединяет нас; мне это очень грустно, тяжело, и не

могу я, должно быть, сказать ничего такого, что убедило бы Вас. Поверьте — не жена я Вам. А жалеть — я не могу, пожалела однажды человека, и четыре года пришлось мне лгать ему. И себе самой, конечно. Есть и еще причина, почему я отказываю Вам, но едва ли Вас утешило бы, если бы Вы знали ее.

Мне хочется поблагодарить Вас за ласку, за доброе отношение к сыну, за то, что Вы помогли мне многое понять. Страшной жизни коснулась я и теперь, кажется, стала проще думать о людях, серьезнее смотреть на свою жизнь, на всю себя. Может быть, самое глубокое и умное, что сказано о подвигах,— „лучший подвиг — в терпении, любви и труде". Господи боже мой, как мне хочется, чтобы Вы подумали о том, что такое — Россия и отчего в ней так трудно жить людям, почему все так несчастны и судорожны или несчастны и неподвижны, точно окаменевшие! Вам не поздно учиться, ведь душа у Вас еще юная, и так мучительно видеть, как Вы плохо живете, как пропадает хорошее Ваше сердце, нужное людям так же, как и Вам нужно хорошее! Буду я жить и помнить о Вас, человеке, который живет в маленьком городе один, как в большой тюрьме, где все люди — от скуки — тюремные надзиратели и следят за ним. Мне больно думать о Вас. Не сердитесь, прощайте и простите, если я виновата перед Вами.

*Евгения Мансурова*».

«Как мелко пишет,— подумал Матвей и снова начал читать письмо.— Хорошее сердце нужно,— что ж не взяла? Тебе — не нужен, значит — кому же? Да, ласкова ты со мной, погладила да и мимо прошла...»

Но от этих мелких черненьких слов, многократно перечеркнутых, видимо писанных наспех, веяло знакомым приятным теплом ее голоса и взгляда. Прочитав письмо еще раз, он вспомнил что-то, осторожно, концами пальцев сложил бумагу и позвал:

— Шакир!

Татарин оказался сзади него.

— Баню вели вытопить. Жарче...

Шакир открыл рот, желая что-то сказать.

— Отстань! Я спать пойду. Готова будет баня — разбуди...

...С неделю он прожил чего-то ожидая, и с каждым днем это ожидание становилось всё более беспокойным, намекающим на большое горе впереди.

Он не верил, что всё и навсегда кончено. Было странно, что Евгении нет в доме, и казалось, что к этому никогда нельзя привыкнуть. Унылые, надутые лица Шакира и Натальи, острые улыбочки Алексея как будто обвиняли его.

«Неужто она сказала им, как я ее тогда схватил?» — думал он, одиноко шатаясь по саду.

Он привык слышать по утрам неугомонный голос Бориса, от которого скука дома пряталась куда-то. Привык говорить с Евгенией о себе и обо всем свободно, не стесняясь, любил слушать ее уверенный голос. И всё яснее чувствовал, что ему необходимы ее рассказы, суждения, все эти ее речи, иногда непонятные и чуждые его душе, но всегда будившие какие-то особенные мысли и чувства.

«Как она тогда Маркушку-то вскрыла!»

Невольно сравнивая эти несколько кратких месяцев со всей длинной, серой полосой прошлого, он ясно видел, что постоялка вывела его из прежней, безразличной жизни в углу, поставила на какой-то порог и —ушла, встряхнув его душу, обеспокоив его навсегда.

Часто поднималось раздражение против нее.

«Ты — дай мне книги-то, где они? Ты их не прячь, да! Ты договори всё до конца, чтобы я понял, чтобы я мог спорить,— может, я тебе докажу, что всё — неправда, все твои слова! И народ — неправда, и всё...»

Целыми днями составлял речи против нее, полные упреков, обвинений, даже насмешек, но вдруг — наступала какая-то особенная минута, все его мысли казались ему выдуманными, ненужными, пустыми и сгорали в безграничном чувстве тоски по ней.

С невыносимой очевидностью он ощущал, что эта женщина необходима ему и что пропадет он без нее теперь, когда душа его вся поколеблена. Придется пьян-

ствовать, гулять, возиться с продажными бабами и всячески обманывать себя, чтобы хоть как-нибудь укрыться от страшного одиночества, вновь и с новою силою идущего на него.

Неподвижно сидя где-нибудь в саду, он размышлял, окованный тоскою.

«Явлюсь к ней и скажу: делай что хочешь, только не бросай! А она ответит — ничего не хочу».

Становилось страшно. Тогда он вынимал из кармана ее письмо, измятое, знакомое ему наизусть, и успокаивался несколько:

«Документ, не отопрется!»

Как-то раз, после ужина, сидя у себя в комнате под окном, он услыхал в саду звонкий, всегда что-то опровергающий голос Алексея:

— Есть эдакие успокоительные пословицы, вроде припарок на больное место кладут их: «Все человечки одной печки», «Все беси одной веси», — враки это! Люди — разны, так им и быть надлежит. Вот, Евгенья Петровна, разве она на людей похожа? Как звезда на семишники. А хозяин — похож на купца? Как-кой он купец! Ему под окнами на шарманке играть.

«Почему это — на шарманке?» — не обижаясь, усмехнулся Кожемякин.

— А я на что похож? Не-ет, началась расслойка людям, и теперь у каждого должен быть свой разбег. Вот я, в городе Вологде, в сумасшедшем доме служил, так доктор — умнейший господин! — сказывал мне: всё больше год от году сходит людей с ума. Это значит — начали думать! Это с непривычки сходят с ума,— не привыкши кульё на пристанях носить, обязательно надорвешься и грыжу получишь, как вот я,— так и тут — надрывается душа с непривычки думать!

— В городе говорят,— сказала Наталья,— чернокнижием будто многие стали заниматься. Только Евгенья Петровна смеется — пустяки, дескать, это чернокнижие...

— Лексей! — позвал Кожемякин, высунувшись из окна.

И, когда косой человек подошел к окну, он, не сердясь, спросил его:

— Это ты почему про шарманку?

Глаза дворника метнулись к ушам, он развел руками и, видимо, не очень смутясь, ответил:

— Так это, извините, к слову пришлось. Виноват, конечно!

Матвей усмехнулся.

— Да я — ничего. Ты — в своих мыслях волен, я — в своих. А о чем речь шла?

— Про госпожу Мансурову,— неохотно ответил Алексей. И, снова блеснув глазами, продолжал, откровенно и доверчиво: — Насчет русского народа вообще, как — по моему умозрению — все люди находятся не на своем месте и неправильно понимают себя. Ему по природе души целовальником быть, а он, неизвестно с какой причины, в монахи лезет — это я про дядю своего. Или — вдруг хороший человек начинает пьянствовать до потери своего образа. А в Пензе служил я у судьи — оказалось, он смешные стихи сочиняет. Судья,— ведь это кто? Я к нему попал — он мне жизнь переломить сразу может, а он смешные стихи похабного сорта производит! Это не соответствует серьезной обязанности. И очень много примеров. Про вас подумалось: купец, а нажиму нет у вас, живете тоже несоответственно званию — один, ото всего в стороне. Купец — вообще... должен, например, иметь детей достаточно! Извините...

— Да я не виню тебя,— повторил Матвей успокоительно, а сам думал:

«Бойко говорит, не боится, хороший, видно, парень-то...»

Дня два после этого Алексей ходил хмурый, а потом подошел к хозяину на дворе и, сняв картуз, вежливо попросил расчет.

— Что ты? — удивленно воскликнул Кожемякин.— Чем тебе худо у меня?

— Я доживу до второго сроку, а вы пока приищите себе другого человека,— помахивая картузом, говорил Алексей.— Я, извините, очень вами доволен, только мне не по характеру у вас...

Отвернувшись в сторону, усмехнулся и с некоторой горячностью объяснил:

— Я, видите, люблю, чтоб хозяин собака был, чтоб он мне душеньку грыз, а я бы ему мог противоречить. Такой характер — очень люблю спор и брань, что поделаешь!

— Смешной ты, брат! — с невеселым любопытством сказал Кожемякин, оглядывая его щуплое тело.— Напрасно уходишь — куда? Сила у тебя невелика, начнешь браниться — изобьют где-нибудь...

— Такое умозрение и характер! — ответил дворник, дернув плечи вверх.— Скушно у вас в городе — не дай бог как, спорить тут не с кем... Скажешь человеку: слыхал ты — царь Диоклетиан приказал, чтобы с пятницы вороны боле не каркали? А человек хлопнет глазами и спрашивает: ну? чего они ему помешали? Скушно!

— Да, здесь — скушновато,— тихо согласился Кожемякин.— Это и отец мой, бывало, говаривал, лет двадцать тому назад...

Дворник остро взглянул на него и, приложив руку ко рту, вежливо и тихо покашлял.

— Хоша — не только здесь, я вот в десяти губерниях жил,— тоже не весело-с! Везде люди вроде червяков на кладбище: есть свеженький покойничек — займутся, сожрут; нету — промежду себя шевелятся...

Его желтые щеки надулись и ненужная бородка встала ежом.

— Вот вчера ходил самоубивца смотреть...

— Это который в земстве служил?

— Его. Лежит мертвый человек, а лицо эдакое довольное, будто говорит мне: я, брат, помер и — очень это приятно! Ей-богу, как будто бы умнейшее дело сделал!

— Пьянствовал он...

Дворник отступил на шаг в сторону, кинул картуз на голову и суховато сказал:

— Едва ли от радости...

— Да-а,— отозвался Кожемякин.

— Однако хочется попраздновать, один раз живешь. Так уж я пойду где веселее, извините за беспокойство!

— Твое дело. Куда же ты?

Алексей оглянулся, подумал.

— Да хотел в Воргород идти и в актеры наняться, ну — как у меня грыжа, а там требуется должностью кричать много, то Евгенья Петровна говорит — не возьмут меня...

— Когда она это говорила?

— Вчерась.

— Ходишь к ней разве? — тихо спросил Кожемякин.

— Как же! Неупустительно, как могу, они человек аграмаднейшего ума, и слышать речь их всегда праздник...

— Верно,— невольно сказал Матвей.— Ну что ж! Значит — прощай, брат!

— Покорнейше благодарю! — сказал Алексей, тряхнув протянутую руку хозяина.

«Один раз живешь,— думал Кожемякин, расхаживая по саду.— И всё прощаешься. Как мало-мальски интересен человек, так сейчас уходит куда-то. Экой город несчастный!»

Он на секунду закрыл глаза и со злой отчетливостью видел свое жилище — наизусть знал в нем все щели заборов, сучья в половицах, трещины в стенах, высоту каждого дерева в саду и все новые ветки, выросшие этим летом. Казалось, что и число волос в бороде Шакира известно ему, и знает он всё, что может сказать каждый рабочий на заводе.

Раньше он знал и все свои думы, было их немного, и были они случайны, бессвязны,— тихо придут и печально уйдут, ничего не требуя, не возмущая душу, а словно приласкав ее усыпляющей лаской. Теперь же тех дум нет, и едва ли воротятся они; новых — много, и все прочно связаны, одна влечет за собой другую, и от каждой во все стороны беспокойно расходятся лучи.

«Пойду к ней и скажу — спутала ты мне душу непоправимо...»

В воскресенье вечером он стоял у крыльца чистенького домика казначея и не знал — как войти: через парадную дверь, в комнаты, или двором, на кухню?

Он часто видал Матушкина в казначействе, это был барин строгий, бритый, со злыми губами, говорил он кратко, резко и смотрел на людей прямым, осуждающим взглядом.

«Заорет еще, если с парадного войти»,— тоскуя, соображал Кожемякин.

В саду, за забором, утыканным длинными гвоздями, был слышен волнующий сердце голос Бори — хотелось перелезть через забор и отдать себя покровительству бойкого мальчика.

Он присел на корточки и, найдя щель в заборе, стал негромко звать Бориса, но — щелкнула щеколда калитки, и на улицу выглянула сама Евгения Петровна; Кожемякин выпрямился, снял картуз и наклонил голову.

— Здравствуйте! — слышал он приветливый голос, и горячая рука крепко схватила его руку.— Вы что же так долго не приходили?

«Разве ничего не случилось?» — хотел спросить он.

— Я видела из окна, как вы подошли к дому. Идемте в сад, познакомлю с хозяйкой, вы знаете — у нее совсем ноги отнялись!

— У меня тоже! — пробормотал он.— Думал — не решусь войти...

Знакомая улыбка скользнула по лицу женщины.

— Казначея боитесь? Он уехал в отпуск, надолго. Борис, смотри, кто пришел!

Из кустов выскочил Боря, победно взвизгнул и вцепился в гостя, как репей.

— Что же ты, брат, забыл уж меня? — глухо спрашивал Кожемякин, боясь, что сейчас заплачет.

— Вовсе нет, дядя Мотя, честное слово!

— Более двух недель прошло, а ты...

— Одиннадцать дней,— поправила Евгения Петровна.

«Считала!» — радостно подумал он.

— Очень некогда,— кричал Боря.

Мелькнула белая голова Вани Хряпова.

— Это пришел канатчик...

— Здравствуйте, здравствуйте! — махая испачканными в земле ручками, кричала кудрявая Люба.

— Вот Варвара Дмитриевна...

В большом плетеном кресле полулежала странно маленькая фигурка женщины и, протягивая детскую руку, отдаленным голосом говорила:

— Очень рада, очень...

— Подожди, тетя Варя! — деловито сказал Борис,— сначала мы ему покажем...

— Исчезни, Борька...

Отгоняя сына, Евгения Петровна скрылась с ним за кустами — Кожемякину показалось, что она сделала это нарочно, он вздохнул.

— Евгения Петровна столько хорошего рассказала про вас...

Смущенно улыбаясь, Кожемякин смотрел в прозрачное, с огромными глазами лицо женщины.

«Страшная какая...»

Слова ее падали медленно, как осенние листья в тихий день, но слушать их было приятно. Односложно отвечая, он вспоминал всё, что слышал про эту женщину: в свое время город много и злорадно говорил о ней, о том, как она в первый год по приезде сюда хотела всем нравиться, а муж ревновал ее, как он потом начал пить и завел любовницу, она же со стыда спряталась и точно умерла — давно уже никто не говорил о ней ни слова.

Тихонько напевая и обмахиваясь листом лопуха, подошла Евгения:

— Вы не знаете — много сгорело леса?

— Не слыхал... горит еще...

— Это мужики подожгли? — спросила она, садясь в ногах хозяйки.

— Они, наверно. Леса-то не чищены, бурелому да сухостойнику много, огню — сытно...

— А мужикам зимой избы топить нечем...

— Пропадают леса, пропадают люди,— тихонько сказала казначейша.

— Это вы про самоубийцу?

— Вообще, про всех тут...

Говорили о грустном, но как-то так умело и красиво, что слушать было любопытно и легко.

Кожа на висках у хозяйки почти голубая, под глазами лежали черноватые тени, на тонкой шее около уха

торопливо дрожало что-то, и вся эта женщина казалась изломанной, доживающей последние дни.

«Вот и Евгения, здесь живя, такой же стала бы!» — внезапно подумал Кожемякин и — вздрогнул.

Заметя, что хозяйка внимательно прислушивается к его словам, он почувствовал себя так же просто и свободно, как в добрые часы наедине с Евгенией, когда забывал, что она женщина. Сидели в тени двух огромных лип, их густые ветви покрывали зеленым навесом почти весь небольшой сад, и закопченное дымом небо было не видно сквозь полог листвы.

— Алексей-то уходит от меня,— сообщил Кожемякин Евгении.

Прикрыв лицо лопухом, так что были видны одни глаза, она сказала:

— Это я посоветовала ему. Пусть идет в большой город, там жизнь умнее. Вот и вам тоже надо бы уехать отсюда...

— Что ж это будет, если все уезжать станут? — усмехнулся он.— Надо кому-нибудь на одном месте жить.

— Вам-то зачем?

— Так. Да и не гожусь я для больших городов, робок очень.

И рассказал, как, впервые приехав в Воргород, он в гостинице познакомился с какими-то людьми, а они уговорили его играть с ними в карты. Не смея отказаться, он уже сел за стол, но старичок-буфетчик вызвал его в коридор и сказал, что люди эти шулера и обязательно обыграют его. Старичок предложил запереть его в пустом номере, а им сказать, что он спешно вызван по делу. Часа три сидел он запертый, а за это время у него в номере подменили пуховую подушку перяной. На улицах он чувствовал себя так, точно воргородские люди враги ему: какой-то маляр обрызгал его зеленой краской, а купцы, которым он привез свой товар, желая подшутить над его молодостью, напоили его вином и...

— Дальше уж и рассказать нельзя, что делалось, ей-богу! — смущенно сознался он, не глядя на женщин.— Словно бы я не русский и надо было им крестить меня в

свою веру, только — не святою водой, а всякой скверной...

Прозрачное лицо казначейши налилось чем-то темным, и, поправляя волосы маленькими руками, она говорила:

— Отчего у нас все, везде, во всем так любят насиловать человека? Чуть только кто-нибудь хоть немного не похож на нас — все начинают грызть его, точить, стирать с души его всё, чем она особенна...

А Евгения горячо говорила знакомые ему речи:

— Думают, что счастье в мертвом равновесии, в покое, в неизменности, и всё, что хоть немного нарушает этот покой,— ненавистно...

«Всегда одно говорит! — думал Кожемякин. — Как молитва это у нее...»

Вокруг было мирно, уютно, весело звучали голоса детей, обе женщины были как-то особенно близки, и было немного жалко их.

Речи, движения, лица, даже платья и башмаки — всё было у них иное, не окуровское: точно на пустыре, заваленном обломками и сором, среди глухого бурьяна, от семян, случайно занесенных ветром издалека, выросли на краткий срок два цветка, чужих этой земле.

Подо всем, что они говорили, скрывалось нечто ласково оправдывавшее людей,— это было особенно приятно слушать, и это более всего возбуждало чувство жалости к ним.

Он ушел от них уже ночью, несколько примиренный с Евгенией.

«Надо нарушать покой,— ну, вот нарушила ты! — грустно думалось ему.— А теперь что я буду делать?»

Он стал ходить в дом казначейши всё чаще, подолгу засиживался там, и если Евгении не было,— жаловался больной хозяйке: пошатнулась его жизнь, жить как раньше не может, а иначе — не умеет. И говорил, что, пожалуй, начнет пить.

— Ах, нет, нет! — вскрикивала она, пугливо мигая умирающими глазами. — Это потому всё, что вы прозрели и вам не привычен солнечный свет...

Ее слова казались ему слащавыми, пустыми, были неприятны и ненужны, он хотел только, чтобы она пере-

дала его жалобы Евгении, которая как будто прятаться стала, постоянно куда-то уходя.

Он не решался более говорить ей о любви, но хотелось еще раз остаться наедине с нею и сказать что-то окончательное, какие-то последние слова, а она не давала ему времени на это.

И как-то, встретив его у ворот, неожиданно сказала, точно ударила:

— Ну-с, через три дня я уезжаю.

Сказала она это громко, храбро, с неприятной улыбкой на губах, с потемневшими глазами.

Его обдало холодом. Стоя перед нею, он, подавленный, не мог сказать ни слова.

— Идемте в поле! — предложила Евгения, взяв его под руку.

И когда пошли, она, прижимая локоть его к своему боку, тихо заговорила:

— Ну, дитя мое большое, жалко мне вас — очень, как брата, как сына...

— Женя! — прошептал он.— Как я буду?

— Поймите же — не себя я жалею, а не хочу обманывать вас!

Он взглянул в лицо ей и почти не узнал ее — так небывало близка показалась она ему. Задыхаясь, чувствовал, что сердце у него расплавилось и течет по жилам горячими, обновляющими токами.

— Родимая! — бормотал он.— Уж всё равно! Уж я не думаю о женитьбе,— что там? Вон, казначейша-то какая страшная, а мне тебя жалко. И на что тебе собака? А я бы собакой бегал за тобой...

— Перестаньте! — сказала она, оглянувшись.

— Об одном прошу тебя,— жарко говорил он,— будь сестрой милой! — не бросай, не забывай хоть. Напиши, извести про себя...

— Да. Конечно! Вы еще встретите женщину и лучше меня,— сказала она, с досадой оправляя кофту на груди.

Он отрицательно махнул рукою.

— Нет. Зря человека не буду обижать,— всегда бы на ее месте ты была — разве хорошо?

Дошли до Мордовского городища — четырех бугров, поросших дерном, здесь окуровцы зарывали опоиц и

самоубийц; одно место, еще недавно взрытое, не успело зарасти травой, и казалось, что с земли содрали кожу.

— Сядем.

Он покорно опустился рядом с нею. Взял руку ее, гладил ладонью и тихонько причитал:

— Прощай, Женюшка, прощай, милая...

— Слушайте,— говорила она, не отнимая руки и касаясь плечом его плеча.— Вы дайте-ка мне денег...

— Бери сколько хошь...

— Мне — не надо! — сердито сказала она, вырвав руку.— Я куплю на них книг и пришлю вам, поняли?

Когда они возвращались в город, он ощущал, что какое-то новое, стойкое и сильное чувство зародилось в его груди и тихо одолевает всё прежнее, противоречивое и мучительное, что возбуждала в нем Евгения.

Но дома, ночью, снова показалось, что всё, сказанное ею сегодня, просто — слова, утешительные и нехитрые.

Вспоминалась злая речь Маркуши:

«Людям что ни говори,— всё будет: отстаньте!»

Стало тошно и холодно, точно в погреб столкнули его эти слова.

«Уедет — забудет... Одичаю я тут, как свинья в лесу, и издохну от тоски».

Но вдруг он подумал, что ее можно привязать к себе деньгами, ведь она — бедная, а надобно сына воспитывать.

«Ну да! — размышлял он всё более уверенно.— Возьмет денег и посчитает себя обязанной мне. Конечно!»

И на другой день предложил:

— Евгенья Петровна, возьми ты, пожалуйста, денег у меня...

— Да, да! — торопливо согласилась она.— Мне не с чем ехать. Вы дайте рублей двадцать!

— Отъезд — пустяки! — хмуро сказал Матвей.— Я — для Бори и вообще для житья...

Она выпрямилась, глаза ее сердито вспыхнули, но тотчас, отвернувшись в сторону, неопределенно проговорила:

— Ну-у — это потом, если понадобится когда-нибудь...

— А сейчас бы взяла?

— А сейчас...

Подумав, Евгения сказала, так деловито, точно речь шла о тысячах:

— А сейчас я возьму двадцать пять рублей,— не двадцать, а двадцать пять! Вот.

«Дурак я! — выругался Кожемякин, сконфуженно опустив глаза.— Разве ее подкупишь? Она и цены-то деньгам не знает».

Уезжала она утром, до зари, в холодные сумерки, когда город еще спал.

Лицо у нее было розовое, оживленное, а глаза блестели тревожно и сухо. В сером халате из парусины и в белой вуали на голове, она вертелась около возка и, размахивая широкими рукавами, напоминала запоздавшую осеннюю птицу на отлете.

Невыспавшийся Борис мигал слипавшимися глазами и капризничал, сердито говоря Шакиру:

— Отчего такие маленькие лошади?

— Здесь скотина мелкий,— грустно отвечал татарин.

— Они и не довезут никуда вовсе! Это же переодетые собаки...

Наталья ходила по двору, отирая опухшие глаза.

— Евгеньюшка Петровна, лепешечки-то в кулечке, под сиденьем положены...

Мотал голым синим черепом Шакир, привязывая к задку возка старый кожаный сундук; ему, посапывая, помогал молодой ямщик, широкорожий, густо обрызганный веснушками.

Кожемякин стоял у ворот, гладя голову Бориса, и говорил ему:

— Ты — не забывай! Пиши, а? Про маму, про себя, как и что,— а?

— Конечно, буду! — неохотно отвечал мальчуган.

Из окна торчала растрепанная голова казначейши и медленно текли бескровные слова:

— Вы, Матвей Савельич, останетесь чай пить?

— Покорно благодарю,— бормотал он, следя за Евгенией.

А Евгения говорила какие-то ненужные слова, глаза ее бегали не то тревожно, не то растерянно, и необычно

суетливые движения снова напоминали птицу, засидевшуюся в клетке,— вот дверца открыта перед нею, а она прыгает, глядя на свободу круглым глазом, и не решается вылететь, точно сомневаясь — не ловушка ли новая — эта открытая дверь?

Жалко было ее.

«Одна. Куда едет? Одна...»

— Готова! — сказал Шакир.

Евгения Петровна подошла к Матвею, приподнимая вуаль с лица.

— Ну...

И, схватив его за рукав, повела в дом, отрывисто говоря:

— Надо сначала с Варварой Дмитриевной, с Любой проститься... она спит.

Матвей чувствовал, что она говорит не те слова, какие хочет, но не мешал ей.

Он остался в прихожей и, слушая, как в комнате, всхлипывая, целовались, видел перед собой землю, вспухшую холмами, неприветно ощетинившуюся лесом, в лощинах — темные деревни и холодные петли реки, а среди всего этого — бесконечную пыльную дорогу.

— Ну — прощайте, друг мой...

Она положила крепкие руки свои на плечи ему и, заглядывая в лицо мокрыми, сияющими глазами, стала что-то говорить утешительно и торопливо, а он обнял ее и, целуя лоб, щеки, отвечал, не понимая и не слыша ее слов:

— Не забывай Христа ради, все-таки я — человек! Не забывай, пожалуйста!

Потом, стоя на крыльце, отуманенными глазами ревниво видел, что она и Шакира тоже целует, как поцеловала его, а татарин, топая ногами, как лошадь, толкает ее в плечо синей башкой и кричит:

— Сыветлый...

Плачет Наталья. И, обняв друг друга, они втроем танцуют какой-то тяжелый, судорожный танец.

«Все ее полюбили, не один я...»

— Ах, господи! — кричал Боря, прыгая в возке.— Да дядя же Матвей, иди же!

Он подошел к мальчику, устало говоря:

— Пиши, а? Пожалуйста...

— Я буду,— очень длинные письма...

Хлопая его ладонями по щекам и ушам, мальчик шмыгал носом, сдерживая слезы, а капли их висели на подбородке у него.

Поехали, окутавшись облаком пыли, гремя, звоня и вскрикивая; над возком развевался белый вуаль и мелькала рука Евгении, а из окна отвечала казначейша, махая платком.

Две собаки выкатились откуда-то, растягиваясь, как резиновые, понеслись за лошадьми.

— Ну, вот,— говорила казначейша, сморкаясь,— уехала наша милая гостья! Идите, Матвей Савельич, попьем чаю и будем говорить о ней...

— Сейчас... благодарствую!.. — пробормотал он, покачнулся и пошел вслед за возком.

Шел тихонько, точно подкрадываясь к чему-то, что неодолимо тянуло вперед, и так, незаметно для себя, вышел за город, пристально глядя на дорогу.

Там, в дымном облаке, катилось, подпрыгивая, темное пятно, и — когда горбина дороги скрывала его — сердце точно падало в груди. Вот возок взъехал на последний холм, закачался на нем и пропал из глаз.

Кожемякин остановился, сняв картуз.

«Прощай, Евгенья Петровна!»

Час тому назад он боялся представить себе, что будет с ним, когда она уедет, а вот — уехала она, стало очень грустно, но — он переживал более тяжелые и острые минуты.

Обеспокоенный, что ему менее больно, чем ожидал, Кожемякин снова и быстрее пошел вперед, прислушиваясь к себе.

«Устал я за эти дни! — размышлял он, точно оправдываясь перед кем-то.— Ждал всё, а теперь — решилось, ну, оно будто и полегчало на душе. Когда покойник в доме — худо, а зароют и — полегчает!»

Корявые березы, уже обрызганные желтым листом, ясно маячили в прозрачном воздухе осеннего утра, напоминая оплывшие свечи в церкви. По узким полоскам пашен, качая головами, тихо шагали маленькие лошади; синие и красные мужики безмолвно ходили

за ними, наклонясь к земле, рыжей и сухой, а около дороги, в затоптанных канавах, бедно блестели желтые и лиловые цветы. Над пыльным дерном неподвижно поднимались жесткие бессмертники — Кожемякин смотрел на них и вспоминал отзвучавшие слова:

«Надо любить, тогда не будет ни страха, ни одиночества,— надо любить!»

Он дошел до холма, где в последний раз мелькнул возок, постоял, поглядел мокрыми глазами на синюю стену дальнего леса, прорезанную дорогой, оглянулся вокруг: стелется по неровному полю светлая тропа реки, путаясь и словно не зная, куда ей деваться. Земля похожа на истертую шашечницу — все квадратики неровны, перепутаны. По границам окоёма стоят леса, подпирая пустое небо, и последние стрижи, звеня, чертят воздух быстрыми, как молнии, полетами. Чуть слышен стрекот сверчков, с пашен текут, как стоны, унылые возгласы:

— О-о, милая...

Кожемякину казалось, что в груди у него пусто, как внутри колокола, сердце висит там, тяжелое, холодное, и ничего не хочет.

Вдали распростерся город, устремляя в светлую пустыню неба кресты церквей, чуть слышно бьют колокола, глухо ботают бондари — у них много работы: пришла пора капусту квасить и грибы солить.

«Бабам — интереснее жить! — нехотя подумал Матвей.— Дела у них эдакие... дети тоже...»

Над Чернораменским лесом всплыло белое осеннее солнце, а из города, встречу ему, точно мыши из темной щели, выбежали какие-то люди и покатились, запрыгали по дороге.

Город вспыхнул на солнце разными огнями и красками. Кожемякин пристально рассматривал игрушечные домики — все они были связаны садами и заборами и отделены друг от друга глубокими зияниями — пустотой, которая окружала каждый дом.

Росла, расширяя грудь до боли, выжимая слезы, жалость, к ней примешивалась обида на кого-то,— захотелось бежать в город, встать там на площади — на видном для всех месте — и говорить мимо идущим:

«Милые мои люди, несчастные люди,— нестерпимо, до тоски смертной жалко вас, все вас — покидают, все вам — судьи, никем вы не любимы, и нету у вас друзей — милые мои люди, родные люди!..»

Он долго думал об этом, а потом вытер кулаком мокрые глаза и сердито остановил поток жалобных слов:

«Никто не услышит, а услышат — осмеют... Только и всего...»

И опустил голову, чужой сам себе.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Дважды ударил колокол,— вздрогнув, заныли стекла окон, проснулся ночной сторож, лениво застучала трещотка, и точно некто ласковый, тихонько вздохнув, погладил мягкой рукою деревья в саду.

Кожемякин тяжело приподнял седую голову над зеленым абажуром лампы и, приложив ладонь ко лбу, поглядел на часы,— они показывали без четверти три.

Тишина безлунной ночи, вспугнутая на минуту стоном колокола, насторожилась, точно проснувшаяся кошка, и снова, плотно и мягко, улеглась на землю.

Старик тихонько вздохнул и, омакнув перо в чернильницу, согнулся над столом, аккуратно выводя на белой странице тетради четкие слова:

«Оканчивая записи мои и дни мои, скажу тебе, далекий друг: страшна и горька мне не смерть, а вот эта одинокая, бесприютная жизнь горька и страшна. Как это случается и отчего: тьма тем людей на земле, а жил я средь них, будто и не было меня. Жил всё в бедных мыслях про себя самого, как цыпленок в скорлупе, а вылупиться — не нашел силы. Думаю — и кажется мне: вот посетили меня мысли счастливые, никому неведомые и всем нужные, а запишешь их, и глядят они на тебя с бумаги, словно курносая мордва — все на одно лицо, а глаза у всех подслеповатые, красные от болезни и слезятся».

Написав эти строки, он поглядел на них, прищурясь, с тоскою чувствуя, что слова, как всегда, укоротили, обесцветили мысли, мучившие его, и задумался о тайном смысле слов, порою неожиданно открывавших пред ним свои емкие души и странные связи свои друг с другом.

Вспомнилось, как однажды слово «гнев» встало почему-то рядом со словом «огонь» и наполнило усталую в одиночестве душу угнетающей печалью.

«Гнев,— соображал он,— прогневаться, огневаться,— вот он откуда, гнев,— из огня! У кого огонь в душе горит, тот и гневен бывает. А я бывал ли гневен-то? Нет во мне огня, холодна душа моя, оттого все слова и мысли мои неживые какие-то и бескровные...»

За шкафом неустанно скребла мышь — Кожемякин знал ее, ночами она серым комочком выкатывалась на середину комнаты и, зорко сверкая черной пуговкой круглого глаза, ловкими лапками отирала острую мордочку.

В эту ночь она мешала тишине души; Матвей Савельев тихонько сказал:

— Кш! Я тебя...

И поднялся на ноги, чувствуя пугающее замирание сердца; всё тело вдруг сделалось вялым, непослушным, а кровь точно сгустилась, течет тяжко и — вот остановится сейчас, потопит сердце.

Ощущение тошноты и слабости кружило голову, окутав мысли липким, всё гасящим туманом; придерживаясь за стену руками, он дошел до окна, распахнул ставни и лег грудью на подоконник.

В черном небе дрожали золотые цепи звезд, было так тихо, точно земля остановилась в беге и висит неподвижно, как маятник изломанных часов.

И в тишине, спокойной, точно вода на дне глубокого колодца, деревья, груды домов, каланча и колокольня собора, поднятые в небо как два толстых пальца,— всё было облечено чем-то единым и печальным, словно ряса монаха.

Взвыла спросонья собака, укушенная блохой или увидавшая страшный сон, зашелестела трава — прошел еж, трижды щелкнув челюстями; но звуки эти, неожиданные и ненужные, ничего не поколебали в темном, устоявшемся молчании душной ночи, насыщенном одуряющим, сладким запахом липового цвета.

Где-то близко рассыпался сухой, досадный треск, стало слышно тяжелое и лепивое шарканье ног по земле и старческий голос, бормотавший:

— Господи Исусе...

«Старик, за восьмой десяток ему,— думал Кожемякин о стороже,— а вот, всё караулит людей, оберегая ото зла ночного. Не уберечь ведь ему, а верует, что — может! И до смертного часа своего...»

Старик покорно закрыл глаза.

«Так, однажды ночью, настигнет и меня последний час мой...»

Эта жуткая мысль точно уколола больное сердце, оно забилось сильнее и ровнее, старый человек упрямо сдвинул брови, отошел к постели, лег и стал перечитывать свои записки, вспоминая, всё ли, что надобно, он рассказал о жизни.

«188...

Три недели минуло с того дня, как уехала она, а всё упрямей стремится плененная душа моя вослед ей, глядеть ни на что не хочу и не могу ни о чем думать, кроме нее. Неукротима дневная тоска моя, а ночами приходит злая ревность и обидно терзает сердце сладостными соблазнами. Хожу по двору и саду,— хоть бы следок ноги ее увидать! Вспоминаю умные речи и улыбку вижу, дразнит она меня и лишает ума. Дрова колоть принимался, в полях шатаюсь до упадка сил, ничто не помогает. Ночами же поднимаюсь на чердак, лежу там на постели ее, горю, плачу и злобой исхожу. Змея, проползла ты сквозь сердце мое, никогда не вылечусь от этого. Ведь заигрывала ты со мной, было это, а — зачем, коли я не нужен тебе? Теперь, поди-ка, другой смотрит на тебя довлеющими глазами, и опять улыбаешься ты ему, маня к себе и разжигая плоть неугасимым огнем. Противны были мне скопцы, а ныне думаю: только они, может, нашли верное средство против озлобления плотского, кое низводит человека до безумного пса. Раз бы один после сладкой муки любовной уснуть рядом с тобой, Евгеньюшка, и навек бы согласился уснуть, умер бы в радости, ноги твои бессчетно целуя...»

Прочитал Кожемякин это место, потихоньку вздохнул и, поправляя очки, подумал о себе, как о чужом:

«Не столько тут любви, сколько обиды. Мелкое сердце, мелкое...»

И стал читать дальше, перевернув несколько страниц.

«Нашел сегодня в Псалтыре единственное по сию пору, краткое письмо ее; пишет: „Вот мы и приехали в Воргород, отдохнем здесь два дня, а дальше уж на пароходе, по этой славной реке".

Вспомнилась широкая серо-синяя полоса реки, тянется она глубоко в даль и исчезает промеж гор и лугов, словно уходя в недра земли, а пароход представился мне маленьким. Как почтовый возок на избитой дороге, прыгает он на воде. А нет на нем никого, кроме строгой женщины с вихрастым мальчиком, и оба они — как мухи. Говорила, что надо жить в темной нашей щели, в глупости людской для пользы их, а сама вот уехала. Споря с Маркушей, опрокинула его словами, а правда осталась его и стоит незыблема: всякому до себя!»

«Опять полюбил я в церковь ходить. Хорошо: много народу вокруг, а один ты в нем, над народом и тобою бог — и тоже один. Хорошо, что новый поп Александр проповедей не говорит, а просто выйдет с крестом и улыбается всем, точно обещая что-то ласковое сказать. Прислали его из Воргорода, проштрафился чем-то будто бы; к нам в наказание послан. Отец Павел перед смертью своей каждое воскресенье проповеди говорил; выходило у него скушно, и очень злился народ — обедать время, а ты стой да слушай, до чего не по-божьи живешь. А этот и словам и времени меру знает, служит негромко, душевно и просто, лицо некрасиво, а доброе и милое, только щеку всё подергивает у него, и кажется, будто он моргает глазом, дескать, погодите, сейчас вот, сию минуту! Глядишь на него и всё ждешь — вот он что-либо сделает или скажет необычное, всем приятное, и очень хорошо стоять в темном уголку с этим ожиданием в душе».

«Всю ночь до света шатался в поле и вспоминал Евгеньины слова про одинокие города, вроде нашего; говорила она, что их более восьми сотен. Стоят они на земле, один другого не зная, и, может, в каждом есть вот такой же плутающий человек, так же не спит он по ночам и тошно ему жить. Как господь смотрит на

города эти и на людей, подобных мне? И в чем, где оправдание нам?

Ночь была лунная, пополуночи оделась земля инеем, хорошо стало, как посеребрилось всё и поседело. А рассвет был чист, безоблачен и ласков, город сделался мил и глазам и душе, когда стоял, будто розовым снегом осеян, и дым из труб поднимался, словно из кадил многих. Тут опять вспомнил ее слова, что земля — храм, а жизнь — богослужение. Хорошие слова, и утром рано, пока люди не проснулись, как будто верны они, а дневной жизни — не соответствуют. Где же тут храм, ежели базар, и какое богослужение, коли торг и драка ежедень почти?

Хочется мне иной раз обойти невидимкой весь город из дома в дом, посидеть в каждой семье и оглядеть — как люди живут, про что говорят, чего ожидают? Или, как я, ждут неведомо чего, жизнь так же непонятна им, и думы их лишены вида?

Совершаются в городе разные случаи, смешные и печальные, а мне записывать их неохота. Плывет сор поверх реки, и — плыви, а что в глубине течения — неизвестно. Вон у Стоякиных трехлетний ребенок керосину напился, а у бондаря Мигунова сбежала сестра неизвестно куда. Локтев, лавочник, голову жене проломил, одурела она, речи и памяти лишившись, и всё в эдаком роде. А на свадьбе у Титовых напились все, полегли спать кто где, утром Яков Титов проснулся, а рядом с ним в постели невестина сестра, разбудил он ее, она кричать: «Батюшки, что это? Где же мой-от муж?» А он в сенях, со свахой спит. Покричали, подрались, поплакали, да снова пировать. Бабы тоже много на свадьбах пьют. Какая, однако, надобность помнить всё это и записывать, какой тут смысл? Нет никакого смысла в этом...»

«Сегодня утром застиг меня в грустях Шакир и пристал, добряга; уговаривать начал: не одна-де хорошая женщина на земле живет. По-ихнему, по-татарски, конечно, не одна, а для нас, видно, иначе положено, каждому дается на всю жизнь одна любовь, как тень. Он, чудак, всё уговаривает меня вывихнутыми словами:

пропал твоя башка, хозяйн, когда так будешь жить. А кому ее нужно, башку мою? Ты, говорит, себя мало любить умеешь, тебе надо другого человека, чтобы много любить его. Полюбишь, себя забудешь, хорошо будет. Отца Виталья вспомнил, как он его поучал, и — хоть татарин, а пожалел человека до слез. Спился отец Виталий, дошел до белой горячки и помер. Ходил по улицам в безобразном виде, глаза кровью налиты, тело наго, останавливал людей и жаловался:

— Бе той Диоскор жидовин! Дьяволы, почто вы мне этого не сказали, зачем скрыли от меня, ведь это я — Диоскор, моя фамилия Диоскуров, знали вы это!

И, в безумии, многих людей бил. Хороший человек пропал. Отчего у нас хорошие люди плохо живут и так мучительно кончают жизнь свою? Экий беспризорный народ все мы.

Какая ночь недобрая: ветер воет, усугубляя скорбь, тучи быстро бегут, точно неприятна им земля. Серпик лунный тонок, потерян в тучах и блестит слабенько, словно осколок донышка бутылки в темной куче мусора».

«Вот и Покров прошел. Осень стоит суха и холодна. По саду летит мертвый лист, а земля отзывается на шаги по ней звонко, как чугун. Явился в город проповедник-старичок, собирает людей и о душе говорит им. Наталья сегодня ходила слушать его, теперь сидит в кухне, плачет, а сказать ничего не может, одно говорит — страшно! Растолстела она безобразно, задыхается даже от жиру и неестественно много ест. А от Евгеньи ни словечка. Забыла».

«Проповедник у Сычуговых живет. Старец маленький, вроде бы подросток телом, весьма древен, головка голая, только от уха к уху седенький жидкий венчик. Уши остренькие, мышиные, нос длинный, загнут вниз, и рта не видать в заросли бородки да желтых усов. Глаза ввалились и тоже не видны, только слезы непрестанно текут из них по темным щекам. Не благообразен, говорит трудно и невнятно, руки же всё время держит на столе и бесперечь шевелит пальцами, кривенькими, как птичьи когти, словно на невидимых гуслях играя.

Посадили его в передний угол, под образа, сзади его горела лампада синего стекла, и свет от нее, ложась на голову старичка, синил ее очень жутко.

Говорил о душе, что надо ее беречь и любить, а мы ей связуем крылья и лишаем ее Христа. Враг души первый и злейший — плоть, душа в ней подобна узнику в темнице. Человек двусоставен, в двусоставе этом и есть вечное горе его: плоть от дьявола, душа от бога, дьявол хочет, чтоб душа содеялась участницей во всех грехах плотских, человек же не должен этого допускать. Всё будто верно, а дальше — сомнительно и непопятно; спросили его, как же плоть-то победить? А он ответил — давайте ей полную волю во всем, чего она хочет, тогда она сама себя одолеет и пожрет, и освободится душа, чиста служению божью.

Сидел рядком с ним провожатый его, человек как будто знакомый мне, с нехорошими такими глазами, выпучены они, словно у рака, и перекатываются из стороны в сторону неказисто, как стеклянные шары. Лицо круглое, жирное, словно блин. Иной раз он объяснял старцевы слова и делал это топорно: идите, говорит, против всех мирских заповедей, душевного спасения ради. Когда говорит, лицо надувает сердито и фыркает, а голос у него сиповатый и тоже будто знаком. Был там еще один кривой и спросил он толстого:

— Стало быть — не согрешив, не покаешься, не покаявшись, не спасешься,— так? Это мы слыхали!

Все начали ворчать на него, а толстый не ответил. Потом долго догадывались — где душа? Одни говорили — в сердце, другие — в черепе, в мозгу, а кривой снова дерзостно сказал:

— Неведомо — что, неведомо — где, а вы говорите — главное!

Слова — необычные и пропали без толку. Старец задремал, спутник же невежливо потряс его, спрашивая:

— Эй, где душа-то?

Тот, испуган толчками, долго дрожал и всхлипывал, потом объяснил: дана в плоть на испытание. И все успокоились, замолчали. Слушал я это, глядел на людей, и казалось мне, что уж было всё это однажды или, может, во сне мною видано. Был там еще человек, тон-

кий и длинный, как жердь, носик пуговкой и весело вздернут, усы пушистые, глаза ясные, лоб большой, а лицо маленькое и не подходящее ему. Стоял он молча и улыбался, разглядывая всех, как знакомых. А когда пошел я домой, пристал он ко мне, сказавшись двоюродным братом снохе Хряпова, той, что утонула, в пожар, на пароходе. Зовется Семен Дроздов, показался мне весьма забавным, и зашли мы с ним к Савельеву в трактир, чайку попить, а там кривой уже сидит, слободской он, Тиунов, родной сын повитухи и знахарки Живой Воды, которая сводней была. Сам он человек, ни к чему не причаленный, бродяга, пройдоха и в речах сильно дерзок. Связался Дроздов спорить с ним, говорит:

— Это очень хорошо, что люди душу ищут, давно пора, без души живем.

А кривой, бородку на палец накрутив, оскалил зубы и отвечает:

— Все эти разговоры — на нищий кафтан золотые пуговицы, на дурацкую башку бархатный колпак. Собрались овцу пасти, да забыли ее приобрести. Сначала бы жен да детей перестали чем попадя колотить, водку меньше лакали бы, а уж потом и поискать — где душа спряталась?

— Нет,— говорит Дроздов,— не найдя души, правильного поведения не найдешь...

А тот — свое:

— Проповедников этих в шею надо гнать: сами они вдосталь всего нажрутся, а людям внушают — не троньте, вредно!

— Этот наоборот: всё, говорит, можно.

Кривой даже привстал и словно укусить хочет.

— Без него знаем! Ты мне скажи, что первее всего нужно мне и всякому для хорошей жизни...

— А вот душа и нужна!

Тут кривой совсем освирепел, тычет черным пальцем в лицо Дроздову и говорит на весь трактир:

— Сгниете вы в грязи, пока, в носах ковыряя, душу искать станете, не нажили еще вы ее: непосеянного — не сожнешь! Занимаетесь розысками души, а чуть что — друг друга за горло, и жизнь с вами опасна, как среди зверей. Человек же в пренебрежении и один на земле,

как на болотной кочке, а вокруг трясина да лесная тьма. Каждый один, все потеряны, всюду тревога и безместное брожение по всей земле. Себя бы допрежде нашли, друг другу подали бы руки крепко и неразрывно...

Говорит Тиунов этот веско и спокойно, а кажется — будто кричит во всю мочь. Я думал, что его побьют; в трактире пятка три народу было и люди всё серьезные, а они ничего, слушают, как будто и не про них речь. Удивился, и люди показались мне новыми, особливо этот слободской.

Не идет из ума старичок: и древен и не очень уж мудр, а заботится о людях, поучает их, желая добра. Другие же, в полной силе и обладании умом, бегут куда-то прочь от людей, где для них веселее и легче.

Потом Дроздов ко мне ночевать пошел, у Хряпова ворота с восьми часов заперты, а было одиннадцать. Так и теперь живет у меня».

«Дроздов часы разобрал на куски, а починить их, видно, не в силах, говорит, что потеряно какое-то трехстороннее колесо; пес его знает, бывают ли такие колеса. Забавный он. Насчет кладов много говорит, будто умеет их искать и много разрешительных заговоров знает. Врет, поди-ка. А иных мест люди занятнее и бойчее наших, как видится. Вот теперь дворник новый, Максим, ярославский парень, тоже голова. Красивый на редкость, рыжий, глаза голубые, брови темные, рот — как у женщины: мал и ласков. Работает хорошо, не спеша, но споро и с любовью, точно ест работу. Сначала походит вокруг дела, обдумает и сразу видит, с чего легче начать. Шакир очень его хвалит: незаконный человек, говорит, не русский. А мне эти слова обидны и не очень по душе Максим сей. Книжек много имеет, держит их в черном сундучке, а сундучок на замок заперт. По вечерам читает вслух, недавно прочитал прежалостную историю: женщина уязвлена была великой любовью и покорно погибла от нее, как Палага и как всем бы женщинам следовало.

Про женщин очень памятно Дроздов говорит, хоть и не всегда понятно. С Максимом они всё спорят, и на все

слова Дроздова Максим возражает: врешь! Выдает себя Дроздов за незаконнорожденного, будто мать прижила его с каким-то графом, а Максим спрашивает:

— Ванькой звали графа-то?

Вот бы Максиму проповедовать, даром что молод он, а строг к людям.

— Не уважаю,— говорит,— я народ: лентяй он, любит жить в праздности, особенно зимою, любови к делу не носит в себе, оттого и покоя в душе не имеет. Коли много говорит, это для того, чтобы скрыть изъяны свои, а если молчит — стало быть, ничему не верит. Начало в нем неясное и непонятное, и совсем это без пользы, что вокруг его такое множество властей понаставлено: ежели в самом человеке начала нет — снаружи начало это не вгонишь. Шаткий народ и неверующий.

Он прошел Русь крест-накрест, и со всем, что я вижу в людях, его речи согласны. Народ непонятный и скучающий — отчего бы это? Максим говорит — от глупости. Так ли? Дураки и сами весело живут и другим забавны...»

«Спросил я Дроздова — чем он живет?

— А хожу,— говорит,— туда-сюда и гляжу, где хорошие люди, увижу — потрусь около них. Выглядел вас на беседе тогда, сидите вы, как во сне, сразу видно, что человек некорыстный и ничего вам от людей не надо. Вот, теперь около вас поживу.

Пускай живет; он хороший, только — очень со́вок, за всё берется, а сделать ничего не может: схватил амбарный замок чинить, выломал сердечко и бросил — это-де не аглицкий замок! А никто и не говорил, что аглицкий. Шакир начал его ругать, а он хлопает глазами, как дитя, и видно, что сам сокрушен промашкой своей, молча разводит руками да улыбается кротко, совсем блаженный какой-то. Шакир его не любит и говорит мне:

— Я таких людей боюсь, они везде лишние и везде нос суют, им всё равно что делать, они из любопытства за всё могут взяться, вредные люди.

А Наталья всё хочет откормить его, он же ест мало и плохо, а сам неуемно тенорком рассказывает что-

нибудь всегда. Прошлый раз за чаем вдруг ошарашил Максима:

— А ведь ты тоже, пожалуй, незаконнорожденный.

— Врешь! У меня мать-отец в законном браке.

— Это,— говорит,— ничего не доказует. Ты гляди: шла по улице женщина — раз! Увидал ее благородный человек — два! Куда изволите идти, и — готово! Муж в таком минутном случае вовсе ни при чем, тут главное — женщина, она живет по наитию, ей, как земле, только бы семя получить, такая должность: давай земле соку, а как — всё едино. Оттого иная всю жизнь и мечется, ищет, кому жизнь ее суждена, ищет человека, обреченного ей, да так иногда и не найдет, погибает даже.

Когда он про женщин говорит, глаза у него темнеют, голос падает до шёпота, и съеживается он, как в испуге, что ли.

— В женщине,— говорит,— может быть, до двадцати душ скрыто и больше, оттого она и живет то так, то сяк, оттого и нельзя ее понять...

Максим морщится, рубит:

— Врешь!

— Нет, погоди-ка! Кто родит — женщина? Кто ребенку душу дает — ага? Иная до двадцати раз рожает — стало быть, имела до двадцати душ в себе. А которая родит всего двух ребят, остальные души в ней остаются и все во плоть просятся, а с этим мужем не могут они воплотиться, она чувствует. Тут она и начинает бунтовать. По-твоему — распутница, а по должности ее — нисколько.

О женщине и о душе он больше всего любит говорить, и слушать его интересно, хоть и непонятен смысл его речей. Никогда не слыхал, чтобы про женщин говорилось так: будто бы с почтением, даже со страхом, а все-таки — распутно.

Рассказал Дроздов, как одна купчиха уговаривала его помочь ей тестя отравить.

„Тесть — безногий старичок, ездил он по всему дому в самодвижущем кресле, колеса суконной покромкой обмотаны; ездит он, покашливает на всех, головкой дергает,— тихо-тихо в дому. Я при его персоне состоял

в мальчиках, было мне тогда лет пятнадцать, убирал я за ним, доверял он мне письма читать и вообще наблюдал меня хорошо, даже, бывало, грозился: я тебя, дурака, в люди хочу вывести, и должен ты мне покоряться. Я покорялся — что мне? Сын его человек робкий был, но тайно злой и жену тиранил, отцу же поперек дороги не становился, наедет на него старичок и давай сверлить, а Кирилло, опустя глаза, на всё отвечает: слушаю, тятенька! Исподтишка был он вину пристрастен; не то чтоб уж пьяница полный, а так, назло своей судьбе пил. А жена из бедных мещанок, красивая, с характером, с фантазией в голове.

И вот начала она меня прикармливать: то сладенького даст, а то просто так, глазами обласкает, ну, а известно, о чем в эти годы мальчишки думают,— вытягиваюсь я к ней, как травина к теплу. Женщина захочет — к ней и камень прильнет, не то что живое. Шло так у нас месяца три — ни в гору, ни под гору, а в го́ре да на го́ре: настал час, подошла она вплоть ко мне, обнимает, целует, уговаривает.

— Ты,— говорит,— Сеня, человек добрый, ты — честный, ты сам всё видишь, помоги мне, несчастной! Кирилло,— говорит,— тайно сопьется и меня зря изведет, покуда Ефим Ильич своей смерти дождется,— помоги, пожалей, гляди — какова я, разве мне такую жизнь жить надо?

Верно это говорила она — жизнь не по ней. Мне и хочется помочь, и жаль ее, а — боязно. Погодите, говорю. Взяла она с меня клятву на образ божьей матери Смоленской, что я буду верен ей. А все-таки, видно, испугавшись, что я передам ее просьбу свекру-старику, она мне мышьячку подсыпала на пирог с малиной. Еще когда ел я, чувствую — нехорошо что-то, а как съел всё, тут меня и схватило — матушки мои, как! Однако, испугавшись, сначала потерпел немного, а потом говорю: «Везите меня в больницу, худо мое дело». Свезли, а я там начал поправляться и на пятый день к вечеру уже в порядке был почти, только ослаб очень и тело всё рыжими пятнами покрылось. Спрашивают меня — как да отчего, а я соврал ловко: хотел, мол, сахарцем посыпать пирог, да ошибся.

Лежу — вдруг она идет, бледная, даже, пожалуй, синяя, брови нахмурены, глаза горят, и так идет, словно на цепи ведут ее. Присела на койку; вот, говорит, я тебе чайку принесла, то да се, а потом тихо шепчет:

— Сказал, что это я тебя?

— Что вы,— говорю,— я же клятву принял.

— Врешь,— говорит,— сказал, по глазам вижу! Только — напрасно это — чем докажешь?

Тут мне стало обидно.

— Вы,— говорю,— уйдите, я в делах ваших помощником не хочу быть, коли вы мне веры на даете.

И рассказал ей, как я объяснил больничным всё это. Тут она заплакала тихонько.

— Господи,— говорит,— как я боялась, что скажешь ты! Спасибо,— говорит,— тебе, милый, награди тебя пресвятая богородица, а уж с ним, кощеем, я сама теперь справлюсь, теперь,— говорит,— я знаю, что понемножку надо давать, а не сразу,— это она про мышьячок.

Сунула мне в руку три зеленых бумажки, просит, целуя в лоб:

— Уйди, пожалуйста, из города, а то, ежели случится у нас что-нибудь,— догадаешься ты да и проговоришься невзначай, уйди уж, сделай милость!

Я, конечно, согласился — мне что? Города все одинаковы, а ей отказать силы у меня не было. И ушел я тогда в Саватьму".

— Ну, а как она? — спрашиваю я Дроздова.

— Не знаю,— говорит.

— Отравила свекра-то?

— Не слыхал. Я,— говорит,— как отойду в сторону от чего-нибудь, так уж оно мне и неинтересно совсем, забываю всё.

Прослушал я эту историю и не могу понять: что тут хорошо, что плохо? Много слышал я подобного, всюду действуют люди, как будто не совсем плохие и даже — добрые, и даже иной раз другому добра желают, а всё делается как-то за счет третьего и в погибель ему.

А хорошо Дроздов рассказывает и любит это дело. Просто всё у него и никто не осужден, точно он про мертвых говорит».

«Сегодня за обедней показалось мне, что поп Александр в мою сторону особо ласково глядел; дождался я его на паперти, подошел под благословение, спрашиваю — не позволит ли когда прийти к нему, а он вдруг заторопился, схватил за рукав меня и скороговоркой приглашает:

— Пожалуйте когда угодно, сделайте уважение!

Да и повел за собою. Ходит быстро, мелкими шажками, шубенка у него старенькая и не по росту, видно, с чужого плеча. Молоденький он, худущий и смятенный; придя к себе домой, сразу заметался, завертелся недостойно сана, бегает из горницы в горницу, и то за ним стул едет, то он рукавом ряски со стола что-нибудь смахнет и всё извиняется:

— Ой, извините великодушно!

Щека у него вздрагивает, тонкие волосенки дымом вокруг головы, глаза серые, большие и глядят чаще всего в потолок, а по костям лица гуляет улыбочка, и он ее словно стереть хочет, то и дело проводя по щекам сухонькими руками. Совсем не похож на себя, каким в церкви служит, и не то — хитер, не то — глуповат, вообще же обожженный какой-то, и словно виновен и предо мною и пред женой своей. Она его старше и солиднее, носит очки, бровей не заметно, грудь плоская, а походка как у солдата. Серая вся и по лицу и по платью, смотрит через очки пристально и пытливо, прямо в глаза тебе, и этим весьма смущает. Ест попик торопливо, нож, вилку — роняет, хлеб крошит, шарики вертит из мякиша и лепит их по краю тарелки, а попадья молча снимает их длинными пальцами и всё время следит за ним, как мать за ребенком, то салфетку на шее поправит, то хлеб подсунет под руку, рукав ряски завернет и — всё молча.

Рассказал я ему, как старичок о душе говорил, он взмахнул руками, словно взлететь над столом захотел, и скороговоркой говорит жене:

— Вот, Анюта, видишь вот, ага?

А она решительно отвечает:

— Это заблуждение от невежества.

Он ко мне метнулся, просит:

— Продолжайте, почтенный Матвей Савельич.

Я сказал, что, мол, по непривычке и малому образованию складно передать проповедь старичкову трудно мне, мысли у меня заскакивают,— тут он снова взвился:

— Именно — так! Вернейшее слово — заскакивают мысли, да, да, да! Это наше общее, общерусское: у народа мысль на восток заскакивает, а у нас, образованных, вперед, на запад, и отсюда великое, не сознаваемое нами горе, мучительнейшее горе и стояние на одном месте многие века. Ибо вкопаны мы историей промежду двух дорог, вкопаны по грудь. Старичок этот мыслью своей за тысячу семьсот лет назад заскочил: это во втором веке по рождестве Христовом некоторые люди думали, что плоти надо полную волю дать и что она духу не вредит. И утверждали даже, что чем более распущена плоть, тем чище духом человек. Имя людям сим гностики, и я вам предложу книжку о них — весьма интересный и красноречивый труд.

Часа два он мне рассказывал о еретиках, и так хорошо, с таким жаром,— просто замер я, только гляжу на него в полном удивлении. Ряску сбросил, остался в стареньком подряснике, прыгает по горнице, как дрозд по клетке, и, расписывая узоры в воздухе правою рукой, словно сражается, шпагой размахивая.

Попадья подняла очки на лоб и говорит негромко:

— Саша!

А он не слышит, стоя боком к ней и спрашивая:

— Что есть душа? Она есть тугой свиток, ряд наслоений древних, новых и новейших чувств, еще не освещенных светом духа божия, и свиток этот надо развернуть, и надо внимательно, любовно прочитать начертанное на нем острыми перстами жизни.

А попадья — снова и уже строго:

— Саша!

Услыхал он, оглянулся и вдруг завял, улыбается, а щека дрожит.

— Да,— говорит,— да... хорошо, Анюта.

И сел в уголок, приглаживая волосы. Поговорили еще кое-что о городе, но уже лениво и с натугой, потом я простился и пошел, а попадья вышла за мной в прихожую и там, осветясь хорошей такой усмешкой, сказала:

— Вы уж, пожалуйста, оставьте его речи в своей памяти, не разглашая их.

— Некому мне,— говорю,— разглашать-то.

Пожала крепко руку и просила, чтоб заходил я. Задала она мне всем этим какую-то задачу, а какую — не понять. Попик любопытный и даже милый, а есть в нем что-то неверное. Конечно, всех речей его я не помню точно, а чуется, есть в них будто бы не церковное.

А живут они бедно: посуда разная, мебель тоже, башмаки и платьишко у попадьи чиненые, одного много — книг; заметил я, что в соседней комнате два шкафа набито ими, и всё книги толстые. Одну он мне всучил, толстое сочинение гражданской печати, хотя и про ереси.

Гляжу я на людей: с виду разномастен народ на земле, а чуть вскроется нутро, и все как-то похожи друг на друга бесприютностью своей и беспокойством души».

«Максим этот на руку дерзок: вчера избил на заводе двух ребят, пришли они ко мне в синяках, в крови, жалуются. Позвал я его, пожурил, а он при жалобщиках, без запинки дерзко объясняет:

— Ежели они и опять покажут Шакиру свиное ухо да над верой его смеяться будут, опять я их вздую без жалости!

Я, конечно, строго ему напомнил, что хозяин тут не он, но слова его понравились мне: народишко на заводе подобрался озорник всё. Последнее время народ вообще будто злее стал, особенно слободские.

Добыл Максим у Васи, сына трактирщика Савельева, книгу без конца, под названием «Темные и светлые стороны русской жизни», проезжий какой-то оставил книгу. Пятый вечер слушаю я ее: резкая книга и очень обидная, слушать тяжко, а спорить — нельзя, всё верно! Стало быть, есть правдолюбы, знают они, как мы в Окурове живем, и это особенно действует: как будто пришел невидимый человек и укоряет. Максим и Шакир очень довольны книгой, а мне с Дроздовым не нравится она. Что это за нескончаемое судьбище: все друг на друга послушествуют, жалуются, а делом помочь никто не

хочет. Дроздов опять проштрафился: зубы Шакиру извел, вызвался лечить, смазал чем-то вроде царской водки, рот весь ожег, а зубы крошатся. Сам удивляется: говорит, что пользовал этим средством рязанского губернатора, так тот — ничего».

«Пять недель непробудно пил, а теперь чуть жив, голова — кабак, сердце болит...»

Кожемякин вздрогнул с отвращением, вспомнив кошмарные дни пьянства, и помимо воли перед ним завертелся темный хоровод сцен и лиц.

Вот, громко чавкая, сидит Дроздов за обедом, усы попадают ему в рот, он вытаскивает их оттуда пальцами, отводит к ушам и певуче, возвышенно говорит:

Душа своей пищи дожидает,
Душе надо жажду утолить!
Потщись душу гладну не оставить,
От мирской заботы удалить!

— А ты — жри! — ворчит Наталья.

Максим неприязненно смотрит на Дроздова и тоже бормочет:

— Комар...

Шакир, пугливо оскалив черные зубы, отводит хозяина в угол кухни и шепчет там:

— Старый Хряпов сказывал — Дроздов острогам сидел, деньга воровал...

Кожемякин не хочет верить этому и обиженно возражает:

— Не похож он на жулика.

— Ты его много видел? — убеждает Шакир.— Люди разны, и жулик разный...

Дом наполнен тягостной враждой и скукой, никто, кроме Дроздова, не улыбнется, а он улыбается невесело и заигрывает со всеми, как приблудная собака.

«Пойду к попу!» — сказал себе Кожемякин, изнывая от скуки.

С этого и началось. Когда он вышел за ворота, на улице, против них, стоял человек в чуйке и картузе, нахлобученном на нос. Наклоня голову, как бык, он

глядел из-под козырька, выпучив рачьи глаза, а тулья картуза и чуйка были осыпаны мелким серебром изморози.

— Кожемякиных дом-от?

— Да.

— Старик-от помер?

— Давно.

— Ты сын, что ли, его?

— Сын.

Крепко ударяя в землю тяжелыми ногами, в ярко начищенных сапогах и кожаных галошах, человек перешел на тротуар и, не спеша, двинулся прочь, а Кожемякин шагал сзади него, не желая обогнать, и тревожно думал — кто это?

— Не признаёшь или не хочешь? — приостановясь и показывая красное лицо, еще более расширенное неприятной усмешкой, спросил человек.

— Как будто знакомы,— поспешно ответил Матвей, боясь, что этот человек обругает.

А он, спесиво выпятив живот, пошел рядом с ним и, толкаясь локтем, сипло говорил:

— Знакомы, чать,— работал я у отца. Савку помнишь? Били еще меня, а ты тогда, с испугу, вина дал мне и денег,— не ты, конечно, а Палага. Убил, слышь, он ее,— верно, что ли?

И, оглянув Матвея с ног до головы, угрюмо продолжал:

— Не скажешь, чать! Мал ты о ту пору был, а, говорят вон, слюбился с мачехой-то. Я тебя еще у Сычуговых признал — глаза всё те же. Зайдем в трактир — ну? Старое вспомнить.

Кожемякин не успел или не решился отказать, встреча была похожа на жуткий сон, сердце сжалось в трепетном воспоминании о Палаге и темном страхе перед Савкой.

И вот они сидят в сумрачном углу большой комнаты, Савва, искривив толстые губы, дергает круглой головой в спутанных клочьях волос, похожих на овечью шерсть, и командует:

— Эй, шестерка!

Кожемякину совестно: в трактире служит только

сын Савельева, тихий, точно полинявший подросток Вася, книгочей и гармонист, приятель Максима.

— А ты — со старцем?

— Со старцем. Издыхает он у меня, старец-то. Пей, за помин Палагиной души!

Выпили, и он угрюмо спросил:

— Не женат, слышь? Отчего?

— Так как-то...

— Н-да-а,— сказал Савка, снова наливая рюмки.— У тебя будто любовница была, барыня, говорят?

— Врут! — с досадой ответил уколотый Кожемякин.

— А может, стыдно сказать, если бросила она? Бросила, что ли?

Кожемякин тоскливо оглянулся: комната была оклеена зелеными обоями в пятнах больших красных цветов, столы покрыты скатертями, тоже красными; на окнах торчали чахлые ветви герани, с желтым листом; глубоко в углу, согнувшись, сидел линючий Вася, наигрывая на гармонии, наянливо и раздражающе взвизгивали дисканта, хрипели басы...

— Невесело живешь, а? — приставал Савка, чмокая губами.

Хотелось уйти, но не успел: Савка спросил еще водки, быстро, одну за другой, выпил две рюмки и, багровый, нехорошо сверкая просветленными глазами, стал рассказывать, навалясь грудью на стол:

— Я тогда долго валялся, избитый-то; в монастырь тетка свезла, к монаху-лекарю, там я и осел в конюхах, четыре года мялся. Жизнь была легкая, монахи добряк-народ, а стало скушно...

— Скушно? — подхватил Кожемякин знакомое слово, и оно оживило его.

— Терпенья нет, до того! Пьянствовать начал с монахами, ну — прогнали!

— Все что-то скучают,— тихонько заметил Кожемякин, разглядывая темные жесткие шерстинки на красных лапах Саввы, и морщился — от этого жуткого человека нестерпимо пахло луком, ваксой и лампадным маслом.

— Кругом все скучают, наскрозь! — отозвался Савва, громко чмокнув, точно от удовольствия.— Чего ни

делают против: лошадьми балуются, голубиные охоты, карты, бои петушьи — не помогает! Тут и бабы, и вино, и за деньгами гоняются, всё — мимо сердца, не захватывает, нет!

Он надул щеки, угрожающе вытаращил глаза и, запустив пальцы обеих рук в спутанные волосы, замолчал, потом, фыркнув и растянув лицо в усмешку, молча налил водки, выпил и, не закусывая, кивнул головой.

— Пей, что не пьешь? Нагляделся я, брат! Есть которые, они будто довольны, вопьются в дело, словно клещ в собаку, и дябят в нем, надуваются. Эти вроде пьяниц, у них привычка уж, а вдруг и они — запьют или еще что,— и пошел камнем под гору!

Напиваясь и багровея до синевы, он становился всё развязнее, говорил быстрее, глаже и ухмылялся всё более часто.

— Я было тоже вклепался в работу — вот моя точка, думаю, крестьянином родился, так и умереть! Пришел в деревню, взял надел, деньжонки были, женился — всё как надо быть. Шесть годов спину ломал, на седьмой бросил — на чёрта оно мне? И жену и детей оставил — живите! Двое мальчишек у меня. Как начали меня, брат, жать в деревне — только держись! Тот скулит — дай, другой просит — подай, родственников объявилось десятка два, всё нищие. Одни клянчат, другие воруют, третьи без всякой совести за горло берут, травят — мы-де мир, а ты-де нам послушник!

Он захохотал и тотчас погасил смех, опрокинув в зубастую пасть рюмку водки.

— Ну, я не дурак! Ушел в город. Мотался, мотался — никакого проку, ни покоя. Опять в монастырь, а уж трудно стало — в деревне надорвался, в городе избаловался, сердце у меня болит еще с той поры, как били меня. Тут и подвернись мне старец-богомол, не этот, другой. Жулик был и великий бабник. Я и присосался к нему. Проповедовал он — ах ты, мать честная! — больно речист, собака, бывало, до слез общарапает словами. Всё разоблачал, всю жизнь, и никого не боялся. А в своей компании смеется: язык, говорит, способней рук кормит, знай, бей об угол, не твой колокол!

— Сам-от не веровал, что ли? — тихо спросил Кожемякин.

— Пес его знает. Нет, в бога он, пожалуй, веровал, а вот людей — не признавал. Замотал он меня — то адовыми муками стращает, то сам в ад гонит и себя и всех; пьянство, и смехи, и распутство, и страшенный слезный вопль — всё у него в хороводе. Потом пареной калины объелся, подох в одночасье. Ну, подох он, я другого искать — и нашел: сидит на Ветлуге в глухой деревеньке, бормочет. Прислушался, вижу — мне годится! Что же, говорю, дедушка, нашел ты клад, истинное слово, а от людей прячешь, али это не грех?

Савка страшно выкатил глаза и, сверкая зубами, закачал тяжелой головой.

— Я в этих делах наблошнился до большой тонкости. Он мне — стар-де я, мне не учить, а помирать надо. Не-ет, брат, врешь! Ну, обратал я его и вожу вот, старого пса,— я эти штуки наскрозь проник!

Откуда-то, точно с потолка свалился, к столу подошел кривой Тиунов и попросил:

— Позвольте — разделить компанию?

А воткнувшись в стул, точно гвоздь, закричал:

— Вася, графинчик!

— Так, значит, проповедуя — не верует? — ласково спросил он, сверля лицо Кожемякина острым темным глазом.— Ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай? Этаких многонько видал я!

Комната качалась, стены колебались, точно паруса, а сзади Кожемякина журчал знакомый голос:

— «Ну, теперь, бесчеловечный любви моей тиран, нанолняй своим воплем сей густой лес...»

— Эка подлая! — воскликнул тихий Вася, а знакомый голос продолжал:

— «И когда ты из доброй воли любить меня не хочешь, то я принужу тебя к тому с ругательством твоей чести...»

Кожемякин обернулся, держась за стол,— сзади него, за другим столом, сидели Вася с Максимом, почти касаясь головами друг друга, и Максим читал, как дьячок над покойником.

«Отчего это я как будто всех людей знаю и всё, что скажут,— знаю?» — внезапно подумал Кожемякин.

Савка хрипло смеялся, говоря:

— Он — снохач, распутник, мироед знаменитый по своему месту...

— Во-от! — пронзительно кричал Тиунов.— Нагрешат, накрутят людских кишок на шею, а придет конец жизни — испугаются и хотят бога обмануть!

— Вер-рно! Как звать?

— Яков Захаров...

— Пей за правду!

Савка матерно ругался, а Тиунов всё точил едкие слова:

— Представляются перед богом, будто ошиблись в мыслях, оберегая душеньку чистой для него...

Большая голова Савки бессильно поникла, красные пальцы ползали по столу, опрокидывая чашки и рюмки, он густо смеялся, чмокал и бормотал:

— Так...

— Вот ты много видел,— звенел памятный голос кривого.— А как надо жить с достойным человеку пристрастием, ну?

— Всё равно! — крикнул Савка, стукнув ладонью по столу, и захохотал.

Его смех отрезвил Кожемякина; привстав со стула, он сказал:

— Ну, я пошел...

— Нет, все-таки? — спрашивал Тиунов.

— Всё равно! Кожемякин — стой...

— Вы думаете — дураками легче жить?

— Верно! Дураками...

— Никогда! Дурак не горит, не греет, глупые люди та же глина — в ненастье за ноги держит, в добрую погоду — неродима!

— А мне — наплевать!

И, подняв руку, свирепо заорал, выкатывая глаза:

Ой, меня матушка моя породи-ила,
Ой, да на горе, значит, на беду,
Эх, и не дала она ль мне доли,
Ой, сам я долюшки своей не найду!..

По лицу его текли серые пьяные слезы, и Кожемякину вдруг стало жалко Савку.

— Что, брат,— спросил он, тоже заплакав,— что-о?

Потом они, обнявшись через стол и сталкивая посуду, целовались, давили черепки ногами и, наконец, в обнимку вывалились на улицу, растроганные и влюбленные.

На улице Максим оттолкнул Савку.

— Ты, боров, прочь!

И взял хозяина под локоть, но Кожемякин обиделся, замахал руками и заорал:

— Сам прочь! Я тебе — кто?

— А вы идите, стыдно! — сказал Максим, толкая его вперед.

Пришли домой. Разбудив Дроздова, пили в кухне чай и снова водку. Шакир кричал на Максима, топая ногой о пол:

— Зачем привел свинья?

А Тиунов, качаясь, уговаривал:

— Позволь, князь, тут решается спор один,— тут за душу взяло!

Наталья, точно каменная, стоя у печи, заслонив чело широкой спиной, неестественно громко сморкалась, каждый раз заставляя хозяина вздрагивать. По стенам кухни и по лицам людей расползались какие-то зеленые узоры, точно всё обрастало плесенью, голова Саввы — как морда сома, а пестрая рожа Максима — железный, покрытый ржавчиной заступ. В углу, положив длинные руки на плечи Шакира, качался Тиунов, говоря:

— Разве мы не одному царю служим?

Невыспавшийся, измятый Дроздов, надменно вздернув нос и щуря глаза, придирался к Савве:

— Вы — о душе, почтенный?

— Пшёл ты, хвост...

А Дроздов лез на него.

— Вы — со старичком?

Савва отяжелел, был мрачен, как черный кот в сумерках, и глаза его неподвижно смотрели вперед.

— А-а-а,— выл Дроздов,— значит, вы... значит, вы...

Савва взял со стола огурец и ткнул им в рот Дроздову, все начали хохотать, и Кожемякин смеялся, уговаривая:

— Не надо, братцы, худого, ну его, не надо!

— Я могу извинить всякое свинство,— кричал Дроздов,— из уважения я всё могу!

Тихо и печально прозвучал голос Шакира:

— Острогам был — уваженья?

— Что такое? — удивленно взывал Тиунов.— Стой, тут надобно коснуться глубины! Просто, по-азбучному...

А Дроздов, обиженно всхлипывая, доказывал Шакиру, который отступал перед ним в угол:

— У меня мать три месяца с графом Рудольфом...

Рыжий Максим тащил его куда-то, а Савка уверенно советовал:

— Бей его, гнилую кость, рви хвост!

Снова кричал Дроздов:

— Не тронь меня, я большой человек!

Потом щекотал шею Кожемякина усами и шептал на ухо ему:

— Обязательно надо за девицами послать!

Бил себя кулаком в грудь и с гордостью доказывал Тиунову:

— Разве я похож на людей? Бывают такие люди, а?

Тиунов же, подмигивая одиноким глазом, соглашался:

— Где им! Ты ли в картошке не луковица?

Савка поднял голову и громко закричал:

— Пой, ребята! Эй, немец, хвост, пой!

И, тяжко стукнув кулаком по скамье, заорал, вытаращив глаза:

— Аллилуйя, аллилуйя...

— Экой дурак! — сказал Тиунов, махнув рукою, и вдруг все точно провалились куда-то на время, а потом опять вылезли и, барахтаясь, завопили, забормотали. Нельзя было понять, какое время стоит — день или ночь, всё оделось в туман, стало шатко и неясно. Ходили в баню, парились там и пили пиво, а потом шли садом в горницы, голые, и толкали друг друга в снег.

...Явились три девицы, одна сухонькая и косая, со свернутой шеей, а две другие, одинаково одетые и толстые, были на одно лицо. Савка с Дроздовым не могли разобрать, которая чья, путали их, ругались и дрались, потом Дроздов посоветовал Савке намазать лицо его девицы сажей, так и сделали, а после этого девица начала говорить басом.

Косенькая сидела на коленях Кожемякина, дергала его за бороду и спрашивала:

— Любишь, серый?

— Люблю! — покорно соглашался он.

Савка, сидя на полу, всё орал аллилуйю и хотел закрыть глаза, вдавливая их под лоб пальцами, а они вылезали прочь, Дроздов же доказывал Тиунову, обняв и целуя его:

— Ты, Яков, одинарный человек, ты всегда одно видишь, везде одно, а двуглазые, они всё — двоят. Я говорю всем: гляди прищурившись; я человек случайный, только — шалишь! — я вижу верно! Кто жизнь начал? Баба,— верно? Кто жизнь начал?

— А ты — хвост! — упрямо твердил Савка, всё загоняя глаза под лоб.

Косая разглаживала волосы на голове Кожемякина и говорила тихонько:

— И есть у меня кот, уж так он любит меня, так любит — нельзя того сказать! Так вот и ходит за мной, так и бегает — куда я, туда и он, куда я, туда и он, да-а, а ночью ляжет на грудь мне и мурлычет, а я слушаю и всё понимаю, всё как есть, ей-бо! И теплотепло мне!

С нею было боязно, она казалась безумной, а уйти от нее — некуда было, и он всё прижимался спиною к чему-то, что качалось и скрипело. Вдруг косенькая укусила его в плечо и свалилась на пол, стала биться, точно рыба. Савка схватил ее за ноги и потащил к двери, крича:

— Ага, кликуша...

Все бросились друг на друга, заорали, сбились в черный ком и — исчезли, провалясь сквозь землю, с воплями и грохотом.

...Обложенный подушками, весь окутанный мокры-

ми полотенцами, Кожемякин сидел на постели, стараясь держать голову неподвижно, а когда шевелил ею, по всему телу обильно разливалась тупая, одуряющая боль, останавливая сердце, ослепляя глаза.

За столом Максим читает книжку, и в память забиваются странные слова:

— «Умилосердитесь, государыня, долго ль вам так нахальничать...»

Кланяется, точно сухая маковица, острая одноглазая голова Тиунова и трубит:

— Будем говорить просто, по-азбучному...

— Кривой — ушел? — тихо спросил Кожемякин.

Максим, не поднимая головы от книги, сказал задумчиво:

— Он сам ушел, а того, Савку, выгнали. Дроздова бы еще надо выгнать. А Кривой — он ничего...

Помолчал и добавил:

— Он на якорь похож...

На дворе густо идет снег. Кожемякин смотрит, как падает, развевается бесконечная ткань, касаясь стекол.

«Господи, господи,— думает он,— как я сам себе противен».

И снова лезут в уши книжные слова:

— «А как румяная заря отверзла блистающему солнцу двери, которое светлыми своими лучами прогнало тьму ночную...»

...Ночь. Лампа зачем-то поставлена на пол, и изо всех углов комнаты на ее зеленое пятно, подобное зоркому глазу Тиунова, сердито и подстерегающе смотрит теплая темнота, пропахнувшая нашатырем и квашеной капустой. Босый, без пояса, расстегнув ворот рубахи, на стуле в ногах кровати сидит Максим, то наклоняя лохматую голову, то взмахивая ею.

— Тошно мне! — стонет Кожемякин.

— Рассолу, что ли, дать? — спрашивает рыжий, прикрывая зевок сложенной ковшичком ладонью.

— Рассказал бы что...

— Из книжки?

— Зачем? Про себя.

Максим подумал, потрогал пальцами ухо и ответил:

— Про себя-то я ничего не знаю.

И вдруг, подвинувшись вперед вместе со стулом, оживленно заговорил:

— А вот, я расскажу, ворона меня любила, это — занятно! Было мне тогда лет шестнадцать, нашел я ее в кустах, на огороде, крыло у нее сломано и нога, в крови вся. Ну, я ее омыл, подвязал кости ниткой с лучинками; била она меня носом, когда я это делал, страсть как, все руки вспухли,— больно ей, конечно! Кричит, бьется, едва глаза не лишила, да так каждый раз, когда я ее перевязывал — бьет меня не щадя, да и ну!

Усмехнулся, тряхнул головой, и лицо его вдруг стало другим, точно маска свалилась с него.

— А потом — привыкла, да так — словно собака, право! Куда я, туда и она боком скачет, волоча крыло по земле, каркает и всё вертит башкой, будто в глаза мне заглянуть хочет.

Он посмотрел в лицо хозяина строго, с укором, и убежденно сказал:

— А у ней глаз вовсе не глупый, это неправильно считается, она птица умная!

И, снова улыбаясь мягкой, немножко сконфуженной улыбкой, продолжал:

— Увидит меня и прыгает под ногами, ходить нельзя — того гляди наступишь, это она просится, чтоб я ее на плечо взял. Ну, возьму, а она меня за ухо щипать и храпит как-то, очень чудно́ было это! Смеются надо мной все...

Замолчал, опустив голову. А Кожемякин думал: отчего это люди чаще вспоминают и рассказывают о том, как их любили коты, птицы, собаки, лошади, а про людскую любовь молчат? Или стесняются говорить?

В тишине комнаты снова зазвучал глуховатый, невеселый голос:

— Потом ударил, что ли, кто-то ее, а может, кошка помяла, вижу — умирает она,— взял ее в руки, а она спрятала голову под мышку мне, близко-близко прижалась ко груди, встрепыхнулась — да и кончено!

«Молодой, красивый,— думал Матвей Савельев, закрыв глаза и притворяясь, будто уснул,— ему бы за девицами ухаживать, на гармонии играть, а он живет монахом, деньги не тратит, сапожонки худые и даже

праздничной одежи нет, не покупает. Скучный какой-то, всех готов осудить. Живет в углу. Плохие люди везде на улицах шумят, а кто получше — в уголок прячется».

Ему хотелось уложить все свои думы правильно и неподвижно, чтобы навсегда схоронить под ними тревожное чувство, всё более разраставшееся в груди. Хотелось покоя, тихой жизни, но что-то мешало этому. И, рассматривая сквозь ресницы крепкую фигуру Максима, он подумал, что, пожалуй, именно этот парень и есть источник тревоги, что он будит в душе что-то новое, непонятное еще, но уже — обидное.

«Вот, погоди, я возьму себя в руки»,—подумал Кожемякин, засыпая.

...Потом случилось что-то непонятное, страшное и смешное: разбудил Кожемякина тихий визг отворенной двери и скрип половицы, он всмотрелся во тьму, ослабел, облившись холодным потом, хотел вскрикнуть и не мог, подавленный страхом,— на полу бесшумно извивалась длинная серая фигура; вытянув вперед тонкую руку, она ползла к постели медленными движениями раздавленной лягушки.

«Вор! Максим!» — сообразил Кожемякин, приходя в себя, и, когда вор сунул голову под кровать, тяжело свалился с постели на спину ему, сел верхом и, вцепившись в волосы, стал стучать головою вора о пол, хрипя:

— Караул!

Вор, закидывая ноги, бил его пятками, царапал руками пол и шипел, как теплое пиво.

— Попался! — давя его, шептал Кожемякин, но от волнения сердце остановилось, руки ослабели, вор, извиваясь, вылез из-под него и голосом Дроздова прошептал:

— Христа ради — погоди, не кричи! Ой, погоди-ка, послушай...

— Ты-ы? —удивленно спросил Кожемякин и вдруг— обрадовался, а в следующую секунду стало обидно, что это не Максим.

Дроздов сел на полу и, точно кошка лапами, вытирая руками лицо, быстро шептал:

— Побей сам, а? Я те прошу богом, ну, на, бей,— только — не зови никого!

Он бодал головою в грудь Кожемякина, всхлипывал, и с лица его на голые ноги Матвея Савельева капали тяжелые теплые капли.

— Молчи! — сказал Кожемякин, ударив его по голове, и прислушался — было тихо, никто не шел. Дроздов шумно сморкался в подол рубахи. Потом он схватил ногу хозяина и прижался к ней мокрым лицом.

— Кто тебя научил, а?

Кожемякину хотелось услышать в ответ — Максим, но Дроздов забормотал:

— Известно кто — бес!

— Дурак ты, дурак! — вставая с пола, сказал Кожемякин обиженно и уже без страха. Он зажег огонь и вздрогнул, увидав у ног своих обломок ножа.

— Это ты — на меня? — шёпотом осведомился он, холодея.

Дроздов, встав на колени, торопливо зашептал, отмахиваясь обеими руками:

— Что ты, что ты, Христос с тобой! Укладку я хотел открыть — ну, господи, на тебя, эко!

— Ах ты,— вот уж дурак! — подняв нож, сказал Кожемякин с чувством, близким к жалости.— Да разве этим можно? Она железом окована и двойной замок, болван!

Но поняв, что он не то говорит, Кожемякин двинулся к двери, а Дроздов, точно раздавленный паук, изломанно пополз за ним, хватая его за ноги и умоляя:

— Не ходи-и! Побей сам, милый,— не больно, а? Не зови-и!

Лицо у него было в пятнах, из носа текла кровь, он вытирался рукавами, подолом рубахи, и серая рубаха становилась темной.

«Здорово я его побил!» — удовлетворенно подумал хозяин, сел на стул и, думая о чем-то другом, медленно говорил:

— Я тебя, собаку, пригрел, приютил, сколько ты у меня испортил разного...

— Прогони меня! — предложил Дроздов, подумав.

— А не стыдно тебе? — пробормотал Кожемякин, не зная, что сказать, и не глядя на вора. Тот же схватил его руку и, мусоля ее мокрыми губами, горячо шептал:

— Я человек слабый, я тяжело работать не могу, я для тонкого дела приспособлен! Я бы рублей десять взял, ей-богу, ну,— пятнадцать, разве я вор? Мне пора в другое место.

— Вот позвать полицию...— вяло сказал Кожемякин.

— Зови! — громко сказал Дроздов и еще громче высморкался.— Она те встанет в денежку, она — не как я — сумеет в укладку-то заглянуть!

И вдруг он заговорил укоризненно, без боязни, свободно:

— Эх ты! Разве человек десяти целковых стоит, чтобы его на суд, в острог, и всё такое? Судья тоже! Предатель суду, ну, зови! Скандалу хлебнешь вдосталь!

Кожемякину стало стыдно и неловко.

— Молчи, говорю, блудня!

Он не знал — что же теперь делать? И не мог решиться на что-нибудь определенное: звать полицию не думал, считая это хлопотливым и неприятным, бить Дроздова — противно, да и достаточно бит он.

И, когда в сенях вдруг раздался шорох, он испугался, вскочил со стула и растерянно сказал Дроздову:

— Идут, чу! Ты, чёрт,— ври чего-нибудь! Не хочу огласки...

— Конечно,— прошептал Дроздов, согласно кивнув головой, и встал с колен.

В двери появился Шакир, с палкой в руке, палка дрожала, он вытягивал шею, прищурив глаза и оскалив зубы, а за его плечами возвышалась встрепанная голова Максима и белое, сердитое, нахмуренное лицо.

— Ну, что вы? — смущенно начал Кожемякин, махая на них рукою.— Это вот он всё...

— Лунатик я,— тревожно говорил Дроздов, крестясь и кивая головою.— Ей-богу же! В лунном сне пошел да вот, рожей о косяк, право!

— Идите, ничего! — устало пробормотал Кожемякин.

Они, не торопясь, исчезли. Дроздов, изогнувшись к двери, прислушался и с хитрой улыбкой шепнул:

— В сенях стоят!

«Точно я ему товарищ!» — мелькнула мимолетная мысль. Матвей Савельев сердито фыркнул: — Вот позову, так они тебя так-то ли...

— Им только скажи! — прошептал Дроздов, глупо подмигнув.— Человека по шее бить первое удовольствие для всех!

Кожемякин почувствовал, что Дроздов обезоруживает его.

— Ну, ступай вон, блудня!

Но Дроздов повел плечами, недоуменно говоря:

— Куда же я пойду? Ты думаешь, они поверили? Как же! Они меня сейчас бить станут. Нет, уж я тут буду — вот прикурну на лежанке...

Подошел к лежанке, свернулся на ней калачиком и, протяжно зевнув, сказал:

— О господи! Тепло...

Тогда Кожемякин, усмехнувшись, загасил свечу, сел на постель, оглянулся — черные стекла окон вдруг заблестели, точно быстро протертые кем-то, на пол спутанно легли клетчатые тени и поползли к двери, а дойдя до нее, стали подниматься вверх по ней. Ветер шуршал, поглаживая стены дома.

—Юродивый ты, Семен, что ли? — укоряя, заворчал он.— Прямо блаженный ты какой-то...

— Ничего,— не сразу отозвался Дроздов.— Всё хорошо вышло. А то бы полиция, туда, сюда,— расходы лишние. А так — дай мне завтра сколько не жаль, я уйду, и — прощай!

— Неужто не стыдно тебе против меня?

— И просить стыдно, брат!

— А воровать?

Дроздов вздохнул и ответил:

— Воровать, конечно, труднее,— а все-таки своей рукой делается, никто не видит, никто не знает...

«Вот пес!» — подумал хозяин.— Да ведь страшно?

— И страшно,— а все-таки свободней будто! Взял да и пошел, никому не обязан.

— Нет у тебя в душе никаких весов, брат! Совсем ты не понимаешь, что хорошо, что плохо.

— Нет, я понимаю — вот ты хорош человек.

— А ты хорошего меня обокрасть затеял!

— Плохой — сам обокрадет.

— Толкуй с тобой! — воскликнул Кожемякин, невольно засмеявшись.— И не поймешь: не то дурачок ты, не то — ребенок, несмышленая голова...

И почти до рассвета они мирно беседовали.

— Живешь ты — нехорошо! — убежденно доказывал Дроздов.— Никакого удовольствия в этой жизни, никаких перемен нет...

— А как бы, по-твоему, жить? — насмешливо спрашивал Кожемякин.

— Да так как-нибудь, чтобы сегодня одно, назавтра — другое, а через месяц там — третье что-нибудь!

— В тюрьму и сядешь эдак-то.

— Везде люди одинаковы...

— Ты сидел?

— Я? Одиннадцать месяцев...

— Вот хорошо! За что?

— За деньги. Из-за них всего больше худа,— сонно ответил Дроздов.

— Украл?

— Да, как говорится...

— Много?

— Триста сорок семь с двугривенным...

Он вскочил, спустил с лежанки ноги, уперся в нее руками и, наклонясь вперед, оживленно заговорил:

— Жид меня подвел один, еврей, чёрт! Били их у нас в Звереве, жидов; крючники, извозчики, мясники, вообще — народ. Ух, брат, как били — насмерть! Женщин, девушек — за косы, юбки, платья обдерут, голых по земле тащат да в животики пинают ножищами, в животики, знаешь, девушек-то, а они — как фарфоровые, ей-богу! Невозможно смотреть, обезуметь можно, потому, брат, груди женские и животы — это такие места, понимаешь, Исус Христос, цари и святые,— всё человечье из женского живота и от грудей, а тут вдруг — сапожищами, а?

— Что ты врешь! — вздрогнул и с отвращением воскликнул Кожемякин, поднявшись и садясь на кровати, но Дроздов, не слыша, продолжал тревожным всхлипывающим шёпотом:

— Этого я не могу, когда женщину бьют! Залез на крышу, за трубой сижу, так меня и трясет, того и гляди упаду, руки дрожат, а снизу: «У-у-у! Бей-й!!» Пух летит, ах ты, господи! И я — всё вижу, не хочу, а не могу глаза закрыть,— всё вижу. Голое это женское тело треплют.

— Да за что? — спросил Кожемякин, охваченный жутким любопытством.

— Жиды, говорят!

— Врешь ты!

— Право! Жиды, и — кончено!

Дроздов всё наклонялся вперед, и было непонятно, почему он не падает на спинку кровати.

— Тут ты и своровал?

— Нет, я спустя неделю, что ли...

— У жида же?

— Ну, зачем! У следователя. Я, видишь, как насмотрелся на это, то ослаб умом, что ли, испугался очень! Ты подумай, ведь женщин перебить — всё кончено, уж тогда всё прекращается! А они их — без пощады, так и рвут!

— Перестань про это! — строго сказал Кожемякин, не веря и вспомнив Палагу, как она шла по дорожке сада, выбирая из головы вырванные волосы.— Ты про себя скажи...

— Я — про себя. Ну вот, хожу это я, совсем ополоумел, вдруг знакомый квасник говорит: «Ты смотрел погром? Иди к следователю, расскажи про них, сукиных сынов!» Пошел я, пришел, сидит молодой человек, черненькие усики, в очках золотых, зубы палочкой ковыряет и спрашивает — что я знаю? Я говорю так и так, и очень мне это противно: тут людей перебили, истерзали женщин, а он — внимательно палочкой зубы ковыряет, на-ко! Потом отошел в угол, к шкафчику, наклонился, а на столе — разные вещи и, между прочим, бумажник. Эх, думаю, вот дело-то сделать случай вышел! — цоп бумажник и за пазуху. Отпустил он меня, а я прямо к знакомому жиду, картузник-старичок, умнеющий еврей, замечательный, всё знал, из кантонистов, как начнет рассказывать, что с ними делали,— просто ужас слышать! Бедный, конечно, дети, племян-

ники, внуки — полна горница, того гляди раздавишь которого. Его тоже растрепали немножко — стекла побили, мебель поломали, ну — живое всё цело осталось, спрятавшись. Дал я ему триста сорок семь с двугривенным — раздели, мол, потерпевшим, и сам поправься! А он — не понял да в полицию и заяви на меня, ну, сейчас приходит околоточный: «Вы Лобковичу-еврею дали денег?» — «Дал».— «Где вы их взяли?» «Нашел». А он — не верит, да и этот, ковыряло, объявил — пропал-де бумажник. Ну, меня в острог!

— Ах, брат,— тихо сказал Кожемякин,— действительно, не в уме ты!

— Да! — согласился Дроздов, кивая головой.— В ту пору я был совсем не в уме, это и адвокат заметил, и судьи.

— Судили?

— Как же! — с достоинством подтвердил Дроздов.— Очень парадно, по всем законам! Тут, на суде, жид и понял, что ошибся, даже заплакал и стал просить, чтобы не судили меня, велели ему молчать, а он еще да еще, и — увели его, жалко даже стало мне его! Очень он сокрушался, дурачина, ему, видишь, показалось, что деньги-то жидовские, что я их на погроме слямзил...

Кожемякин соскочил па пол, зажег свечу, помахал в воздухе огонь и, приблизив его к лицу Дроздова, спросил:

— Наврал ты всё это?

Мигая и улыбаясь спокойной, мечтательной улыбкой, Дроздов ответил:

— Нет, зачем врать! Всё верно!

Поставив свечу на стул, Матвей Савельев прошелся по комнате раз и два, соображая:

«Не врет. Дурачок он...»

А Дроздов зевнул, подобрал ноги и, укладываясь на лежанке, проговорил:

— А меня-таки одолевает сон!

— Взял бы подушку хоть,— предложил Кожемякин, отходя в угол.

Дроздов не ответил, когда же хозяин подошел к нему — он уже всхрапывал, посвистывая носом. Кожемякин стоял над ним, охваченный тяжким чувством недо-

умения, всматривался в его детское лицо с полуоткрытым ртом и думал:

«Невзначай — пожалел, невзначай — украл! Что такое?»

Светало, свеча горела жалко и ненужно, освещая черные пятна на полу у кровати; желтый язычок огня качался, точно желая сорваться со светильни, казалось, что пятна двигаются по полу, точно спрятаться хотят.

Кожемякин вздохнул, стал не торопясь одеваться, искоса поглядывая на лежанку, и, не находя в смущенной душе ни понятного чувства, ни ясной мысли, думал:

«Нет, пусть уйдет, ну его... может, он даже святой, а вдруг, невзначай, мышьяку даст или еще что...»

Одевшись, он выбрал три наиболее потертые бумажки по пяти рублей и, разбудив Дроздова, сунул их ему, говоря:

— Ну, ты иди куда надо, иди, брат, да!

Дроздов схватил его руку, жал ее, дергал и счастливым голосом говорил:

— Во-от! Ну, спасибо, ах ты! А я прямо изныл: зашел сюда да и не знаю, как выбраться. Ну вот, теперь я с крыльями...

Кожемякин смотрел в сторону, не желая видеть его лица.

Через час, даже не напившись чаю, Семен Дроздов, распушив усы, прощался, совал всем длинную руку и, сияя, говорил торопливо:

—Приятно оставаться, будьте здоровеньки и всё такое!

Все неохотно улыбались в ответ ему, неохотно говорили короткие пожелания добра. Кожемякину стало неприятно видеть это, он поцеловался с Дроздовым и пошел к себе, а тот многообещающе сказал вслед ему:

— Ты так и знай, Савельич, я тебе добра твоего по гроб не забуду!

«Нет, дурак он!» — вздохнув, подумал Кожемякин, а сам чувствовал, что ему жалко провожать этого человека.

«Вот — опять ушел человек неизвестно куда,— медленно складывалась печальная и досадная мысль.—

Он — ушел, а я остался, и снова будто во сне видел его. Ничего невозможно понять!»

В тот же день после обеда скоропостижно умерла Наталья. Об этом в тетради Матвея Савельева было записано так:

«За обедом стало Наталье нехорошо, откинула голову, посинев вся, и хрипит:

— Ой, батюшки, заглоталась я!

Максим сказал:

— Еще бы! Ты будто сдельно ешь.

Ела она с некоторой поры, действительно, через меру: до того, что даже глаза остановятся, едва дышит, руки опустит плетями, да так и сидит с минуту, пока не отойдет, даже смотреть неприятно, и Максим всё оговаривал ее, а Шакиру стыдно, покраснеет весь, и уши — как раскаленные.

Привыкши к этому в ней, мы и на сей раз весу словам ее не придали, а она встала, пошла к двери да вдруг, подняв руки к горлу, и упала, прямо на порог лицом. Подняли ее, разбилась, кровь носом идет, положили на скамью, отдышалась немножко — хрипит:

— Смертушка пришла...

Послали за попом, а она начала икать да и померла, мы и не заметили — когда; уж поп, придя, сказал. Сказал он, а Шакир сморщился, да боком-боком в сени и лезет на чердак, цапаясь за стену и перила, как пьяный. Я — за ним: «Куда ты?» Не понимает, сел на ступень, шепчет: «Алла, алла!» Начал я его уговаривать, а сказать-то нечего,— против смерти что скажешь? Обнял и молчу. Час, наверно, сидели мы так, молча.

Мне про нее сказать нечего было, не любил я ее и даже замечал мало — работает да ест, только и всего на жизнь человеку, что о нем скажешь? Конечно — жалко, бессловесной жалостью.

Схоронили ее сегодня поутру; жалко было Шакира, шел он за гробом сзади и в стороне, терся по заборам, как пес, которого хозяин ударил да и прочь, а пес — не знает, можно ли догнать, приласкаться, али нельзя. Нищие смотрят на него косо и подлости разные говорят,

бесстыдно и зло. Ой, не люблю нищих, тираны они людям.

На кладбище не взошел Шакир, зарыли без него, а я, его не видя, испугался, побежал искать и земли горсть на гроб не бросил, не успел. Он за оградой в поле на корточках сидел, молился; повел его домой, и весь день толковали. Очень милый, очень хороший он человек, чистая душа. Плакал и рассказывал:

— Хорошая баба русская, хитрая, всё понимает всегда, добрая очень, лучше соврет, а не обидит, когда не хочет. В трудный день так умеет сделать: обнимет, говорит — ничего, пройдет, ты потерпи, милый. Божия матерь ей близко, всегда ее помнит. И молчит, будто ей ничего не надо, а понимает всё. Ночью уговаривает: мы других не праведней, забыть надо обиду, сами обижаем — разве помним?

Потом Шакир сказал: «Ты мне не хозяин, ты мне брат», и я ему от всей души это же сказал, и что очень уважаю его.

Спать он лег в моей комнате, я сказал, что боюсь покойницы, а сам за него боялся — веревок в доме достаточно, а тоска — чёрту подруга. Ночью он поднимет голову, прислушается — сплю я или нет и, встав на колени, молится; так всю ночь, до утра, а утром встал, поглядел на меня, помахал руками и — ушел. Я не пошел за ним, видя по лицу его, что он уже переломил горе. А жаль, что про Наталью ничего хорошего не придумаешь сказать. Так хочется записать о комнибудь — хорошее, эдакими особенными, большими словами, торжественно.

Отпевал Наталью поп Александр — хорошо хоронит, внушительно и глубоко, с чувством, с дрожью в словах. Идя с кладбища, ласково сказал мне:

— Что не зайдете? К жене дядя приехал, а также фисгармонию получили — заходите, жена сыграет.

Пойду».

Пошел и сразу как будто перепрыгнул в новый мир, встретив необыкновенного человека.

Человек был необычен видом и несообразно возрасту суетлив — это бросилось в глаза прежде всего

и первое время очень смущало. Уже в самой манере, с которой он поздоровался, было что-то интересное и особенное.

— Ну, здравствуйте,— сказал он баском, крепко дергая руку Кожемякина вниз,— ну вот, превосходно, садитесь-ка! Матвей Савельич, верно? Ну, а я — Марк Васильев...

И тотчас, как будто забыв о госте, кубарем завертелся по тесной, бедной комнате, размахивая руками и рассказывая:

— Леса там, Саша, красоты чудесной, реки быстры и многоводны, скот — крупен и сыт, а люди, ну — люди посуше здешних, и это справа — неважно, а слева — недурно, цену себе понимают!

Он был одет в рубаху серого сукна, с карманом на груди, подпоясан ремнем, старенькие, потертые брюки были заправлены за голенища смазных, плохо вычищенных сапог, и всё это не шло к его широкому курносому лицу в густой, законно русской бороде от глаз до плеч; она обросла всю шею и даже торчала из ушей, а голова у него — лысая, только на висках и на затылке развевались серые пряди жидких волос. Ноги — колесом, и живот выдается, а руки короткие и всё время двигаются, ощупывая вещи, поддергивая штаны, рисуя в воздухе узоры.

«Некрасивое лицо-то, а — приятное и даже будто апостольское»,— подумал Кожемякин, внимательно присматриваясь.

Вдоль большого лба лежали глубокие морщины, красные в глубине, они были похожи на царапины, весь череп его, большой, гладко вытертый сверху, лохматый снизу и боков, заставлял думать, что человек этот несокрушимо упрям, но маленькие бойкие глаза блестели мягко, весело и несогласно с мыслью об упрямстве.

Лицо Марка Васильева было изменчиво, как осенний день: то сумрачно и старообразно, а то вдруг загорятся, заблестят на нем молодые, веселые глаза, и весь он становится другим человеком.

Поминутно расправляя усы и бороду короткими пальцами, он расхаживал по комнате, выкидывая ноги

из-под живота, не спеша и важно, точно индейский петух, его степенная походка не отвечала непрерывным движениям рук, головы, живой игре лица. Было в нем что-то смешное, вызывающее улыбку, но все слова его, четкие и ясные, задевали внимание и входили в память глубоко.

Серая попадья, подняв очки на лоб, положив на колени руки и шитье, сидела у окна, изредка вставляя в речь дяди два-три негромких слова, а поп, возбужденный и растрепанный, то вскакивал и летел куда-то по комнате, сбивая стулья, то, как бы в отчаянии, падал на клеенчатый диван и, хватаясь за голову руками, кричал:

— Но позвольте же, дядя Марк...

А дядя Марк говорил спокойным баском:

— Не прыгай, это недостойно твоего сана! Я говорю — снимите цепи с человека, снимите их все и навсегда, а ты — вот,— готовы другие!

— Но ведь невозможна же, неосуществима эта свобода ваша!

— Что ты — и все вы — говорите человеку? Человек,— говорите вы,— ты плох, ты всесторонне скверен, ты погряз во грехах и скотоподобен. Он верит вам, ибо вы не только речами, но и поступками свидетельствуете ваше отрицание доброго начала в человеке, вы отовсюду внушаете ему безнадежность, убеждая его в неодолимой силе зла, вы в корне подрываете его веру в себя, в творящее начало воли его, и, обескрылив человека, вы, догматики, повергаете его еще глубже в грязь.

— Ах, это же бог знает что! — кричал поп, вскакивая и топая ногою, точно капризный ребенок.

Из угла раздавался охлаждающий возглас:

— Саша!

Поп, дернув головою вверх, бросался на диван, и снова густо, уверенно, не торопясь, звучали веские слова:

— Не внушайте человеку, что он и дела его, и вся жизнь на земле, всё — скверно и непоправимо скверно, навсегда! Нет, убеждайте его: ты можешь быть лучше, ибо ты — начало всех деяний, источник всех осуществлений!

— Вам не интересно это? — вдруг услыхал Кожемякин тихий вопрос, вздрогнул, поднял голову и встретил серые, пытливо прищуренные глаза попадьи, наклонившейся к нему.

Он смущенно провел рукой по лицу и сказал, глубоко вздохнув:

— Очень интересно, как же! Очень,— прямо по моему недугу! Только — понимаю трудно.

— А кто, по-вашему, прав? — спросила она, улыбаясь и опустив очки.

— Дядюшка! — твердо и неожиданно для себя быстро ответил он.

Попадья выпрямилась, восклицая:

— Слышишь, Саша?

Дымясь и фыркая, дядюшка стоял среди комнаты, смотрел на Кожемякина, весело подмигивал ему и говорил:

— Ну, разумеется! У кого виски белые, тот меня одобрит, ибо жизнь ему знакома. А проповедники — разве они знают действительность, разве считаются с нею?

— Но ведь вы же сами яростный проповедник, вы! — крикнул поп.

Дядя Марк отмахнулся от него, сел рядом с Кожемякиным и заговорил:

— А вот что, почтенный Матвей Савельич, нужна мне квартира, комната какая-нибудь, ищу ее более недели, и — нет!

— Не надо этого! — проворчал поп.

Кожемякин встал и, клапяясь, взволнованно предложил:

— Позвольте мне представить,— у меня есть сколько угодно, целый дом, я один, ей-богу!

Ему захотелось, чтобы этот человек жил рядом с ним, чтоб можно было видеть и слышать его каждый день. Он чувствовал, что просит, как нищий, и что это глупо и недостойно, и, волнуясь, боясь отказа, бормотал, опустя голову.

Попадья почему-то строго и сухо сказала:

— Видите ли, Матвей Савельич, вы должны знать: дядя — недавно приехал из ссылки, из Сибири, он был сослан по политическому делу...

Кожемякин сел, радостно улыбаясь, и сказал:

— Знаю-с...

— Уже?

— То есть — догадался я. По уму, извините!

— Ах, вот как! — ласково вскричала попадья, а поп с дядей засмеялись, переглянувшись, и дядя как-то особенно спросил:

— Что, попишко?

Поп, взяв его под руку, прижался к нему плечом, говоря:

— Воистину — так! Ой, дядя, я вас весьма люблю — и всё больше!

Кожемякин почувствовал себя легко и свободно и говорил попадье:

— У меня, изволите видеть, жила в прошлом годе одна женщина, госпожа Евгения Петровна Мансурова...

— Мансурова? Ба! — вскричал дядя.— Это, батенька мой, знакомое лицо,— помнишь, Анна, Сысоеву? Это она! Во-от что... Я же ее видел месяца два тому назад!..

Он пристально поглядел в лицо Кожемякина, собрал бороду в кулак, поднял ее ко рту и, пустив клуб дыма, сказал сквозь дымящиеся волосы:

— Ушиб ее ваш городок!

— Да? — тихо спросил Матвей Савельев. — Как это?

— Так,— по голове. Раньше она всё мечтала о геройской жизни, о великих делах, а теперь, согласно со многими, утверждает,— даже кричит,— что наше-де время — не время великих дел и все должны войти в простую жизнь, посеять себя вот в таких городах!

— Воротится? — с робкой надеждой воскликнул Кожемякин.

— Сюда? Нет, не воротится...

Дядя Марк уставился в лицо Кожемякина светлыми глазами и, качая лысой головой, повторил:

— Не воротится! Насчет посева своей души на непаханной почве — это слова слабого давления! Все люди на Руси, батенька мой, хотят жить так, чтобы получать как можно больше удовольствия, затрачивая как можно менее труда. Это — от востока дано в плоть

нам,— стремление к удовольствиям без затраты усилий, пагубнейшее стремление! Вот поп как раз очень предан защите оного...

— Дядя! — просительно и негромко воскликнула попадья.

Дядя Марк снова зашагал по комнате, веско и упрямо говоря:

— Никогда и ничего доброго не будет у нас, если мы не научимся находить удовольствие в труде. Не устроишь жизни, в которой удовольствия преобладали бы, ибо жизнь по существу своему — деяние, а у нас самый смысл деяний подвергается сомнению. Это следует наименовать глупостью и даже свинством! Ибо, унаследовав великие труды людей прошлого, многострадальных предков наших, живя на крови и костях их, мы, пользуясь всем прекрасным, ничего не хотим делать к умножению его ни для себя, ни для потомков наших — это свободно может быть названо поведением свиньи под дубом вековым, говорю я и — буду говорить!

Он высоко поддернул штаны, так что одна штанина выскочила из голенища, наклонился, заправляя ее, и стал похож на козла, собравшегося бодаться.

— Всех больше лицемерят и лгут лентяи, ибо всего труднее в мире оправдать лень. Создана жизнь, но надо досоздать ее до совершенства, и те, кто не хочет работать, должны, конечно, утверждать, что вся жизнь, вся работа предков — бессмысленна, бесценна...

Он выпрямился, красный, и, отдуваясь, сказал:

— Всем пользуясь — всё отрицать, эдакая подлость!

«Он — Евгению?» — думал Кожемякин, не без приятного чувства. Было странно слушать резкие слова, произносимые без крика, спокойным баском, но думы о Евгении мешали Кожемякину следить за ходом речи дяди Марка.

«Не воротится»,— повторял он. Ему казалось, что до этого часа в нем жива была надежда встретить женщину, а теперь — сейчас вот — умерла она, и сердцу больно.

Попадья зажгла лампу, Матвей Савельев вскочил, оглянул комнату, полную сизого дыма, и, кланяясь

плававшей в нем фигуре старика, смущенно, торопливо стал прощаться.

— Извините, засиделся, не заметил времени!

Все провожали его в прихожую и говорили обычные слова так добродушно и просто, что эти слова казались значительными. Он вышел на тихую улицу, точно из бани, чувствуя себя чистым и легким, и шел домой медленно, боясь расплескать из сердца то приятное, чем наполнили его в этом бедном доме. И лишь где-то глубоко лежал тяжелый, едкий осадок:

«Не воротится!»

Дядя Марк пришел через два дня утром, и показалось, как будто в доме выставили рамы, а все комнаты налились бодрым весенним воздухом. Он сразу же остановился перед Шакиром, разглядел его серое лицо с коротко подстриженными седыми усами и ровной густой бородкой и вдруг заговорил с ним по-татарски. Шакир как будто даже испугался, изумленно вскинул вверх брови, открыл рот, точно задохнувшись, и, обнажая обломки черных, выкрошившихся зубов, стал смеяться взвизгивающим, радостным смехом.

— Хороший народ татаре! — уверенно сказал гость Кожемякину.— Думают медленно, но честно. Они еще дадут себя знать, подождите, батенька мой!

И уже по-русски начал рассказывать Шакиру, что в Персии явились проповедники нового закона, Баба, Яхья, Беха-Улла, и написана священная книга Китабе-Акдес.

— Сказано в ней,— слышал Кожемякин внятный, повышенный бас: — «Пусть человек гордится тем, что любит род человеческий...»

Путая русскую речь с татарской, Шакир тревожно и жадно спрашивал о чем-то, а Максим, возившийся в углу, развязывая тяжелый кожаный сундук, взмахнул головою и сказал:

— Им, татарам, да жидам еще, конечно, надо всех любить — они в чужих людях живут.

— Ты бы, Максим, погодил со словами! — недовольно проворчал Кожемякин, а дядя Марк, быстрым жестом распахнув бороду, спросил:

— А нам, русским?

Максим, сердито раздергивая веревки, ответил:

— Мы — у себя...

— Он — дерзкой! — сказал Шакир, ласково смеясь.— Молодой такой!

Тогда Максим выпрямился, оглянул всех и, уходя из горницы с веревкой в руках, буркнул:

— Молодость не грех да и не глупость...

— Сердит! — весело крикнул дядя Марк вслед ему, а Кожемякин сконфуженно прибавил:

— Глуп еще, вы уж не того...

Дядя Марк положил руку на плечо ему.

— У арабов, батя мой, есть пословица: «Глупость честной молодости поучительнее деяний злой старости».

И начал внимательно расспрашивать про Максима, выбирая из сундука белье, книги, какие-то свертки бумаг.

«Точно он — с ребенком, со мной»,— безобидно подумал Кожемякин.

Этот человек со всеми вел себя одинаково: он, видимо, говорил всё, что хотел сказать, и всё, что он говорил, звучало убедительно, во всем чувствовалось отношение к людям властное, командующее, но доброе, дружелюбное.

В течение первого дня он раза два подшутил над Максимом, а вечером, в кухне, уже сидел на корточках перед его сундуком, разбирал книжки и, небрежно швыряя их на пол, говорил:

— Это — дрянь, это — тоже,— тоже...

Заложив руки за спину, рыжий парень стоял сзади него, искривив губы.

— Да вы сами-то — читали? — с сердцем спросил он наконец.

Дядя Марк подвинул к нему рукою отброшенные книги, предлагая:

— Бери любую, спрашивай, о чем в ней речь идет, ну!

— Не хочу,— вздохнув, молвил Максим.

— Ага, струсил!

— Нисколько даже!

— Говори! Вот я тебе могу дать книжки, получше твоих.

Максим тоже присел на корточки, недоверчиво спрашивая:

— Дадите?

— Уж дам!

— У вас — про что?

— Про всё. Про жизнь, про народ.

— Народ я и без книг знаю,— сказал парень, снова вздохнув.

Дядя Марк крякнул, сел на пол и обнял колени руками.

— Знаешь?

— А конечно. Эка мудрость!

— Ты мне, брат, расскажи про народ, сделай милость! — попросил старик как будто серьезно, а Шакир весело засмеялся, да и Кожемякину смешно стало.

— Хохотать — легко! — сказал Максим, вставая и сердито хмурясь. Схватил шапку, нахлобучил ее и пошел в сени, бормоча: — Для смеха ума не надо.

— Ого-о! — воскликнул старик, весело блестя глазами.

— Ухи надо трепать,— посоветовал Шакир, сердито взмахнув рукой.

— Зачем? Мы, брат, ему мозги встреплем...

Дядя Марк легко встал с пола, потянулся и сказал:

— Чайку бы попить, а?

«Упокой господи светлую душу его с праведниками твоими»,— мысленно сказал Кожемякин, перекрестясь, и, взяв тетрадь, снова углубился в свои записи.

«Ко всякому человеку дядя Марк подходит просто, как будто давно зная его, и смотрит в глаза прямо, словно бы говоря взглядом:

„Не стесняйся, брат, видал я людей гораздо хуже тебя, говори всё прямо!“

Все и говорят с ним без оглядки, особенно Максим.

— Люди,— говорит,— мне подозрительны, правды ни в ком нет, доброта их обманна, и не нужны они мне.

А дядя Марк смеется:

— Так-таки и не нужны? Ты погоди, цыпленок, кукареку петь, погоди!

Сердится Максим-то, а хмурость его как будто линять стала, и дерзостью своей меньше кичится он.

Вчера дядя Марк рассказывал Шакиру татарскую книгу, а я себе некоторые изречения ее записал:

„Возьмите законы бога руками силы и могущества и покиньте законы невежд".

„Скоро всё, что в мире, исчезнет, и останутся одни добрые дела".

Впутался Максим, начал горячо утверждать, что русские проповедники умнее татар, а дядя Марк сразу и погасил огонь его, спросив:

— Ты прошлый раз говорил, что в чертей не веришь?

— И не верю.

— Так. А весьма уважаемый наш писатель Серафим Святогорец говорит: „Если не верить в существование демонов, то надобно всё священное писание и самую церковь отвергать, а за это в первое воскресенье великого поста полагается на подобных вольнодумцев анафема". Как же ты теперь чувствуешь себя, еретик?

Заерзал парень, угрюмо говорит:

— Один какой-то...

Дядя Марк обещал ему с десяток других подобных представить, а парень просит:

— Серафима этого дайте.

Смеется старик:

— Не веришь мне?

А Максим сердится:

— Не вам, а ему.

И на сей раз — не убежал. А Шакир, седой шайтан, с праздником,— так весь и сияет, глядит же на старика столь мило, что и на Евгенью Петровну не глядел так. Великое и прекрасное зрелище являет собою человек, имеющий здравый ум и доброе сердце, без прикрасы можно сказать, что таковой весьма подобен вешнему солнцу».

«Дни идут с незаметной быстротой, и каждый оставляет добрую память о себе, чего раньше не было.

Писарь из полиции приходил, тайно вызвал меня и упрекал, что опять я пустил в дом подозрительного человека.

— Надо же,— говорю,— жить-то ему у кого-нибудь.

Допытывался, о чем старик говорит, что делает, успокоил я его, дал трешницу и даже за ворота проводил. Очень хотелось посоветовать ему: вы бы, ребята, за собой следили в базарные дни, да и всегда. За чистыми людьми наблюдаете, а у самих носа всегда в дерьме попачканы,— начальство!

Дяде Марку не скажу об этом, совестно и стыдно за город. В кои-то веки прибыл чистый человек, а им уж и тошно.

Слушал я вчера, как он на заводе ребят про песни спрашивал и поговорки, а после, в горнице, за чаем рассказывал мне:

— Поговорка — большая вещь, в ней народная мысль, как масло, густо сбита. Вот примерно: „Коль народишко ссорится — воеводы сытно кормятся, а будь жизнь смирна — воеводам ни зерна“. Другая: „Не там город, где городьба, а где ума поболе“,— это народ сложил в ту пору, когда еще цену и силу ума понимал верно. А пришло другое время, он отметил: „Силу копят не умом, а дубьем да рублем“, „Не суй бороду близко городу“ — замечаете: как будто два народа составляли эти речения, один — смелый, умный, а другой — хитроват, но как будто пришиблен и немножко подхалим.

Пословиц он знает, видно, сотни. На всякое человечье слово надобно внимание обращать, тогда и будет тебе всё понятно, а я жил разиня рот да глядел через головы и дожил до того, что вижу себя дураком на поминках: мне говорят — „хорош был покойник“, а я на это — „удались блинки!“».

«Он, как и Евгенья, тоже в ссылке, в Сибири, был, а до ссылки смотрителем служил в духовном училище. Пострадал за книжки, которые не велят читать. Жизнь его очень запутана, и трудно разобрать, сколько раз он сидел по тюрьмам, а спросить—неловко. Сам он про себя не любит рассказывать, а если говорит, так неохотно, с усмешкой, и усмешка эта не нравится мне, скушно от

нее на душе. От сидячей жизни, должно быть, он и стал таким непоседой, пяти минут не держится на стуле. Очень много в нем забавного: соберет бороду, закроет ею рот и пустит в седую ее гущу дым табачный, и дымится она, а он носом потягивает — доволен. Лысину чешет всегда в одном месте, над левым ухом, и всегда мизинцем правой руки, перекидывая ее через голову. Штаны поддергивает, словно бы заигравшийся мальчуган.

Он всё знает: заболела лошадь — взялся лечить, в четверо суток поставил на ноги. Глядел я, как балованная Белка косит на него добрый свой глаз и за ухо его губами хватает,— хорошо было на душе у меня. А он ворчит:

— Не балуй, ты, гладкая! Какая ты лошадь, ты — кошка. Просто — кошка ты! — И язык ей показал. Чудачина! Белка, чуя ласку, скалит зубы, играет.

Экое это удовольствие на хорошего человека смотреть. Хороший человек даже скоту понятен и мил, а у нас — в Сибирь его, в тюрьму. Как понять? Похоже, что кто-то швыряется людями, как пьяный нищий золотом, случайно данным ему в милостыню; швыряется — не понимает ценности дара, дотоле не виданного им».

«Рассказывал сегодня Марк, как чужеземцы писали о русском народе в древности; один греческий царь сказал: „Народы славянские столь дорожат своей честью и свободой, что их никаким способом нельзя уговорить повиноваться“. Арабы тоже весьма похвально писали, норвежане и другие, все замечая, что-де народ умный, трудолюбивый и смелый, а потом всё это пропало и как будто иной совсем явился народ. Фридрих, царь немецкий, говорил, что „народ глуп, пьян, подозрителен и несчастен“. А один иностранный посол написал своим, что „народ привык-де к неволе, к низкому, бесчеловечному раболепию пред теми, кто всего более делает ему зла“. Другой, тоже посол, записал, что „в народе русском самолюбия нет“. А третий: „С этим народом можно делать всё, что хочет власть, он же ничего не понимает и, ничем не интересуясь, живет, как во сне, пьяный и ленивый“.

И таких отписок, в древности похвальных, семнадцать, а после, стыдных — двадцать две вынес я, со скорбью и обидой, на отдельный лист, а зачем — не знаю. Странно мне, что с хулителями и некоторые русские согласны — Тиунов, например, Алексей косой и Максим тоже. А к Максиму дядя Марк относится весьма лестно, просто по-отечески, только — не на камень ли сеет?

После этого разговора выпили мы с дядей Марком вина и домашнего пива, захмелели оба, пел он баском старинные песни, и опять выходило так, как будто два народа сочиняли их: один веселый и свободный, другой унылый и безрадостный. Пел он и плакал, и я тоже. Очень плакал, и не стыдно мне этого нисколько».

«Максим денно и ночно читает Марковы книги, даже похудел и к делу своему невнимателен стал, вчера забыл трубу закрыть, и ночью мы с Марком дрожью дрожали от холода. Бог с ним, конечно, лишь бы учился в помощь правде. А я читать не в силе; слушаю всё, слушаю, растет душа и обнять всё предлагаемое ей не может. Опоздал, видно, ты, Матвей, к разуму приблизиться».

«— Дело в том,— сказал он сегодня, час назад,— дело в том, что живет на свете велие множество замученных, несчастных, а также глупых и скверных людей, а пока их столь много, сколь ни любомудрствуй, ни ври и ни лицемерь, а хорошей жизни для себя никому не устроить. В тесном окружении скучным и скверным горем возможна только воровская жизнь, прослоенная пакостной ложью, или жизнь звериная, с оскаленными зубами и с оглядкой во все стороны. Дни наши посвящены не любовному самовоспитанию в добре, красоте и разуме, но только самозащите от несчастных и голодных, всё время надо строго следить за ними и лживо убеждать их: сидите смирно в грязи и нищете вашей, ибо это неизбежно для вас. А они нам перестают верить и уже спрашивают: однако вы сами нашей участи избежали? Ах, говорим мы,— что в том? Все люди смертны, а царство божие — не от мира сего. А они продолжают не верить, покуда — тайно, а потом — явно не поверят,

и в ту пору наступят для всех очень плохие, черные дни.

Эти его слова пролили предо мною свет на всю жизнь и потрясли меня своею простотой; открылось уязвленное тоскою сердце, и начал я ему сказывать о себе.

— Вот,— мол,— скоро сорок лет, как я живу, а ни одного счастливого человека не видел. Раньше, бывало, осуждал людей, а ныне, как стал стареться,— жалко всех.

Подмигнул он, подсказывая:

— Хорошего жалко за то, что плохо ему, плохого за то, что плох,— так?

Очень ловко умеет он подсказать слово в нужную минуту.

— Только,— говорит,— жалость — это очень обманное чувство: пожалеет человек, и кажется ему, что он уже сделал всё, что может и что надобно, да, пожалев, и успокоится, а всё вокруг лежит недвижно, как лежало, и на том же боку. Кладбищенское это чувство — жалость, оно достойно мертвых, живым же обидно и вредно.

Так все дни, с утра до поздней ночи, в тихом доме моем неугомонно гудит басок, блестит лысина, растекаются, тают облака пахучего дыма и светло брызжут из старых уст яркие, новые слова.

Умилен я и растроган; ложась спать — благодарю господа за красу человека, созданного им».

«Максим, рыжий чёрт, устроил скандалище, и не иначе как сесть ему в острог: дал книжку дяди Марка Васе Савельеву, сыну трактирщика, а старик Ефим, найдя ее, сжег в печи, Васю же прежестоко избил, так что малый лежит. Вчера Максим отправился в трактир и там выдрал Ефима, позорнейше, за волосья и за уши. Экой необычный парень, даже дерется неправильно, ну,— разве это возможно пожилого человека за уши драть? Толкни, ударь, а так — это и вчуже обидно! Всё как-то не по-людски и с неприятным форсом. Пришел Ефим с подвязанными ушами, полиция пришла, был шум и ругань, Ефим трясется и орет неистово:

— Чернокнижники, фармазоны!..

Максим, зеленый со зла али с испуга,— молчит.

Я говорю:

— Рассчитаю тебя, брат.

Молчит, как земли наелся.

А Шакир, тоже неведомо почему, взвился турманом: серый весь, глаза горят, кричит Ефиму:

— Как можно книгу жечь огнем? Книга — святая, это от бога идет книга, как ты можешь жечь ее? Тебя судить надо за это.

Ефима, видно, это ошарашило, мягче стал,— татарина в городе весьма уважают за честность и очень удивляются ему. Однако всё записали, таскают Максима в полицию, спрашивают о чем-то, а он ходит мрачнее сажи и смолы. К мировому его потянут, не избежать.

Дядя Марк хорошо доказывал ему, что человека бить нельзя и не надо, что побои мучат, а не учат. Сначала парень слушал, цепко, точно клещ, впился глазами в дядино лицо, а потом — покраснел, глаза стали как финифть на меди, и ворчит:

— Он — зверь, я всех таких всегда буду бить.

Когда он спорить не в силе, то уходит прочь, вскипув рыжую башку и злобно сжав зубы; так и тут сделал.

Дядя Марк пустил дым вслед ему и сказал, качая головой:

— Властный парень! Трудно будет людям около него...

И долго рассказывал о том, что не знает русский человек меры во власти и что ежели мученому дать в руки власть, так он немедля сам всех мучить начнет, извергом людям будет. Говорил про Ивана Грозного, про Аввакума-протопопа, Аракчеева и про других людодёров. С плачем, со слезами — мучили.

— Может,— говорит,— потому мучили, что жарко добра хотели, и потому плакали, что не знали — каково оно, добро, и как его делать.

Хороша эта привычка у него — показывать при всяком случае, что и за злым может быть скрыто доброе начало, а всегда всему помеха — человечья чугунная глупость.

Особенно много говорил он про Аввакума, ласково говорил, а не понравился мне протопопище: великий изувер пред людьми, а перед богом — себялюбец, са-

мохвал и велия зла зачинщик. „Бог,— говорит,— вместил в меня небо и землю и всю тварь“ — вишь ты, какой честолюб!

Я сказал про это дяде Марку, а он, внимательно в глаза мне поглядев, как будто согласился:

— Доля правды,— говорит,— и тут есть: способствовал пагубе нашей этот распаленный протопоп. Его невежеству и ошибкам благодаря изобидели людей, загнали их в темные углы, сидят они там почти три века, обиды своих лелея и ни во что, кроме обид, не веря, ничему иному не видя цены.

Евгеньины речи против его речей — просто детские, он же прощупал людей умом своим до глубины. От этого, видно, когда он говорит слова суровые,— глаза его глядят отечески печально и ласково. Странно мне, что к попу он не ходит, да и поп за всё время только дважды был у него; оба раза по субботам, после всенощной, и они сидели почти до света, ведя беседу о разуме, душе и боге.

Показалось мне, что поп на бога жалуется и боится его, а дядя Марк говорит безбоязненно и внушительно.

— Ты,— говорит,— возьми бога как разум мира, не находящий покуда полного воплощения в несовершенном человеке, тогда всё будет и величественней и проще.

А поповы речи очень книжны, и понять их мне не под силу; мечется он, встрепанный и воспаленный, пронзает воздух ударами руки, отталкиваясь от чего-то и как бы нечто призывая к себе, и видно, что дяде тяжело смотреть на него, морщится он, говорит мало, тихо и строго.

— Брось,— говорит,— ухищрения, думай проще.

Споры их трудные, но дядя, видно, одолевает попа: покипит он, покипит, попрыгает да и задумается. А однажды вскочил и, схватив дядю за плечи, кричит ему:

— Экой ты милый, экой умный и великодушный.

Дядя остановил его:

— Погоди, не хвали. Помнишь, что епископ Синезий о похвале сказал: „Похвала обольстительна, но пагубна; она подобна ядовитому питью, смешанному с медом, которое назначается для осужденных на смерть“.

Понравились мне эти слова, только не понял я насчет питья, и он мне рассказал про философа Сократа,

отравленного народом за отрицание бога. Всё бы надо знать, всё в прошлом интересно и поучительно, а я — точно крот, дневному свету неприятелем живу.

Оба раза вслед за попом являлась попадья, садилась в уголок, как страж некий, и молчала, скрестя руки на плоской груди, а иногда, встав, подходила осторожно к окошку и, прищурившись, смотрела во тьму. Дядя, наблюдая за нею, смеялся и однажды сказал:

— Не бойся, никого нет.

А она, обернувшись к нему, ответила:

— Напрасно смеешься.

Всё это туманно для меня, а спросить не решаюсь».

«Померла казначейша Матушкина, сегодня хоронили, почти весь город вышел гроб проводить. Странно как видеть это: жила она жизнью недвижимой, а вот — оказалось, что все знали ее, и много говорено о ней по дороге на кладбище сожалительного и доброго. Шел за гробом казначей; идет сутуло, ногами шаркает, голова наклонена, как под нож или топор, лицо багровое, глаза опухли, затекли,— совсем кабан. А Люба в беличьей старенькой шубке и шапочке котиковой — такая сирота, сил нет смотреть! Не плакала, только губки поджаты и личико как бумага. Поздоровался я с ней, идя с кладбища, как будто обрадовалась, а отец, держа ее за руку, хрипит мне:

— Вы — кто?

— Кожемякин,— говорю,— мы частенько в казначействе видаемся, а с супругой и дочкой вашей я даже знаком.

— Испортили мне дочь,— хрипит, и потащил ее, шлепая по лужам, а она, прыгая за ним на тонких ножках, качается, как ветка около ствола под ветром сильным. Жалко глядеть. Что с ней будет теперь?

Любят у нас человека хоронить: чуть помрет кто позначительней — весь город на улицы высыплется, словно праздник наступил или зрелище дается, все идут за гробом даже как бы с удовольствием некоторым. Положим,— ежели жить скушно, и похоронам рад».

«Вот и март приспел, вчера был день Алексея божьего человека, должна бы вода с гор бежать, а — морозно, хоть небо и ясно по-вешнему. Сегодня гуляли с Марком вокруг города, и весь путь он всё сказывал о трудной и печальной русской старине. Любит он народ и умеет внушать внимание к нему, да и к себе внушает любовь. Максима так переменил, что парень за этот краткий срок стал на себя не похож, мягок, ласков и всё улыбается, словно пред ним любимая девица стоит. Только вот забывчивость одолела его: то забыл, другое не запомнил. Это — от книг, ест он книги, как молодой жеребец вешнюю траву.

Заметно, что дядя Марк предпочитает его мне, говорит с ним чаще и охотнее, чем со мной. Опасаюсь, не загордился бы парень.

Весело вчера говорил ему дядя Марк:

— Тело у нас — битое, а душа — крепка и не жила еще, а всё пряталась в лесах, монастырях, в потемках, в пьянстве, разгуле, бродяжестве да в самой себе. Духовно все мы еще подростки, и жизни у нас впереди — непочат край. Не робь, ребята, выкарабкивайся! Встанет Русь, только верь в это, верою всё доброе создано, будем верить — и всё сумеем сделать.

Думаю я про него: должен был этот человек знать какое-то великое счастье, жил некогда великой и страшной радостью, горел в огне — осветился изнутри, не угасил его в себе, и по сей день светит миру душа его этим огнем, да не погаснет по вся дни жизни и до последнего часа.

Хорошо вчера говорил он Максиму:

— Нам, брат, не фыркать друг на друга надо, а, взяв друг друга крепко за руки, с доверием душевным всем бы спокойной работой дружно заняться для благоустройства земли нашей, пора нам научиться любить горемычную нашу Русь!

Приятно было слушать эти умные слова. Действительно, все фыркают, каждый норовит, как бы свою жизнь покрепче отгородить за счет соседа, и оттого всеместная вражда и развал. Иной раз лежу я ночью, думаю, и вдруг поднимется в душе великий мятеж, выбежал бы на́ люди да и крикнул:

„Братцы! Россию-то пожалейте, дело-то древнее, на крови, на костях строенное!“».

«Вася Савельев пропал, третьи сутки ищут,— нигде нет. Ефим прямо землю роет, прибежал ко мне, на губах пена, трясется, кричит:

— Это вы, чернокнижники, смутили его. Ты, Максимка, должен всё знать, говори!

И шапку о землю бьет.

А Максим почернел, глядит на Ефима волком и молчит. Накануне того как пропасть, был Вася у неизвестной мне швеи Горюшиной, Ефим прибежал к ней, изругал ее, затолкал и, говорят, зря всё: Максим ее знает, женщина хотя и молодая, а скромная и думать про себя дурно не позволяет, хоть принимала и Васю и Максима. Но при этом у нее в гостях попадья бывает, а к распутной женщине попадья не пошла бы.

Марк Васильич второй день чего-то грустен, ходит по горнице, курит непрерывно и свистит. Глаза ввалились, блестят неестественно, и слышать он хуже стал, всё переспрашивает, объясняя, что в ушах у него звон. В доме скушно, как осенью, а небо синё и солнце нежное, хоть и холодно еще. Запаздывает весна».

«Подходит ко мне Марк Васильич и спрашивает, улыбаясь:

— Вас когда тоска больше одолевает — осенью али весной?

— Зимой,— говорю.

— А меня — весной. Как небо раскроется, так и потянет куда-то, оторвал бы себя с места да и — марш. Мимо городов, деревень, так — всё дальше, в глубь земли, до конца!

Гляжу на него, а ответить не умею. Уйти ему отсюда пельзя, слава богу, он по какому-то закону два года должен прожить у нас».

«Вдруг ударило солнце теплом, и земля за два дня обтаяла, как за неделю; в ночь сегодня вскрылась Путаница, и нашелся Вася под мостом, ниже портомойни. Сильно побит, но сам в реку бросился или сунул кто — не дознано пока. Виня Ефима, полиция допрашивала

его, да он столь горем ушиблен, что заговариваться стал и никакого толка от него не добились. Максим держит руки за спиной и молчит, точно заснул; глаза мутные, зубы стиснул.

Марк Васильич ушел вчера в полдень к попу, там ночевал и сегодня, видно, там же ночует,— скоро десять часов, а его нету».

«На похоронах Васи — Горюшину эту видел, шла об руку с Любой Матушкиной. Женщина неприметная, только одета как-то особенно хорошо, просто и ловко.

Поп позвал меня к себе, и она тоже пошла с Любой, сидели там, пили чай, а дядя Марк доказывал, что хорошо бы в городе театр завести. Потом попадья прекрасно играла на фисгармонии, а Люба вдруг заплакала, и все они ушли в другую комнату. Горюшина с попадьей на ты, а поп зовет ее Дуня, должно быть, родственница она им. Поп, оставшись с дядей, сейчас же начал говорить о боге; нахмурился, вытянулся, руку поднял вверх и, стоя среди комнаты, трясет пышными волосами. Дядя отвечал ему кратко и нелюбезно.

— Придавая богу хотение и действия,— кричит поп,— ты награждаешь его свойствами своими, человеческими, ты расщепляешь его единство.

— Старо это! — ворчит дядя.

— Позволь! Чего бог может хотеть, когда он — всё и как он может действовать, на что направил бы действие, когда вне его ничто же бысть?

— Это, Саша, восток, брось! Это уже пережевано,— без охоты говорил дядя.

— Но если мною не пережито? Если для меня это мучительная загадка?

— Ну, врешь! — сказал дядя, предложив мне идти домой, а поп отскочил в угол и свернулся там на кресле, видимо, рассердясь, мне сунул руку молча, а дяде и головой не кивнул.

Дорогой я спросил сумрачного Марка Васильева, в чем дело, и он не весьма охотно разъяснил мне:

— Да вот видите в чем: у человека нет простой, крепкой веры, и он хочет ее выдумать себе, а чего нет, того не выдумаешь.

Потом уже у ворот прибавил:

— Всё одно и то же, везде одно — на восток нас тянет, к покою, к оправданию бездействия. Тем паче необходимы действия.

А придя домой, рассказал: однажды поп покаялся духовнику своему, что его-де одолевает неверие, а духовник об этом владыке доложил, поп же и прежде был замечен в мыслях вольных; за всё это его, пожурив, выслали к нам, и с той поры попадья живет в страхе за мужа, как бы его в монастырь не сослали. Вот почему она всё оговаривает его — Саша да Саша.

Скушно как-то рассказывал он всё это, да оно и само по себе скушно. Один отчаялся да покаялся, другой послушал да донес, а городу Окурову — милостыня: на тебе, убоже, что нам не гоже...»

Через несколько дней после похорон Васи дядя Марк и Кожемякин сидели на скамье за воротами, поглядывая в чистое глубокое небо, где раскаленно блестел густо позолоченный крест соборной колокольни.

— Как же это,— задумчиво спрашивал дядя Марк,— река у вас есть, а рыбы — нет?

— Да уж так как-то! — ответил Кожемякин, благодушно улыбаясь.

— Вот я и пришла! — вдруг виновато прозвучало сбоку.

— И чудесно! — сказал дядя Марк.— Нуте-ка, садитесь с нами!

Кожемякин привстал, молча поздоровался и снова сел, крепко сжав в кулак пальцы, коснувшиеся мягкой женской руки.

— Значит — вы не хотите жаловаться на обидчика? — спрашивал дядя Марк, окутываясь дымом.

— Бог с ним! — как бы упрашивая, сказала женщина.— Он и так убит.

— Конечно,— «блажен иже и скоты милует».

— Да и время такое — великий пост.

— Н-да? А в мясоед вы бы не позволили колотить вас безнаказанно?

— Всё равно! — ответила женщина и, достав из рукава кофточки платок, вытерла рот, как это делают

молодые мещанки за обедней, собираясь приложиться ко кресту. Потом, вздыхая, сказала: — Ведь судом этим Васю не воротишь...

«Какая обыкновенная»,— подумал Кожемякин, искоса и осторожно разглядывая ее.

Одетая в темное, покрытая платком, круглая и небольшая, она напоминала монахиню, и нельзя было сказать, красива она или нет. Глаза были прикрыты ресницами, она казалась слепой. В ней не было ничего, что, сразу привлекая внимание, заставляет догадываться о жизни и характере человека, думать, чего он хочет, куда идет и можно ли верить ему.

Из калитки высунулась рыжая голова Максима, сверкнули синие глаза, исчезли, и тотчас же он вышел на панель, независимо вздернул голову, улыбаясь и высоко подняв темные брови.

Горюшина встала, протягивая руку и тихо говоря:

— Здравствуйте, Максим Степаныч!

Парень поздоровался молча и нырнул в калитку, а она, снова отирая рот платком, медленно опустилась на лавку.

«Видно — снюхались! — равнодушно подумал Кожемякин.— Весна приступает, конечно».— И предложил, не очень любезно: — Пойдемте в горницы?

— Нет, мы здесь посидим,— сказал дядя Марк, хлопнув ладонью по своему колену.

Кожемякин поднялся, не желая — зевнул, поглядел вдоль улицы, в небо, уже начинавшее краснеть, на черные холмы за городом и нехотя ушел.

Позднее, взвешивая тяжести стыдных своих поступков, он решил, что именно с этого вечера и началось всё то непонятное и зазорное, что сбило его с пути, твердо — как он думал — избранного им.

Вскоре к дяде Марку стали ходить гости: эта, обыкновенная, Горюшина, откуда-то выгнанный сын соборного дьякона, горбун Сеня Комаровский, а позднее к ним присоединились угреватый и вихрастый Цветаев, служивший в земстве, лысый, весь вытертый и большеносый фельдшер Рогачев да племянница второго соборного попа Капитолина Галатская, толстая, с красным, в малежах, лицом, крикливая и бурная. Все они

собирались аккуратно по субботам, во время всенощной, в комнате дяди Марка, а когда стало теплее — в саду, около бани, под березами. Иногда являлась попадья, садилась в угол и, молча поглядывая на всех через очки, всегда что-то вязала или вышивала. Тут же независимо торчал Максим и всё приглаживал рыжие кудри медленными движениями то одной, то другой руки, точно втирая в голову себе то, о чем оживленно и веско говорил дядя Марк. А где-нибудь в сторонке, заложив руки за спину, поочередно подставляя уши новым словам и улыбаясь темной улыбкой, камнем стоял Шакир, в тюбетейке, и казалось, что он пришел сюда, чтобы наскоро помолиться, а потом быстро уйти куда-то по важному, неотложному делу.

Являясь на эти беседы, Кожемякин смущенно хмурился; без слов здороваясь с людьми и проходя вперед, садился за стол рядом с дядей Марком, стараясь смотреть на всех внушительно и развязно, но чувствуя неодолимое смущение перед этими людьми.

Скоро, увлеченный рассказами Марка, он забывал о них и о себе, напряженно слушая, смеялся вместе со всеми, когда было смешно, угрюмо вздыхал, слыша тяжкое и страшное, и виновато опускал голову, когда Марк сурово говорил о трусливом бессердечии людей, о их лени, о позорном умении быстро ко всему привыкать и о многих других холопьих свойствах русского человека.

Но когда дядя Марк, уставая, кончал свою речь и вокруг него, точно галки вокруг колокольни, начинали шуметь все эти люди,— Кожемякин вспоминал себя, и в грудь ему тихонько, неумолимо и лукаво вторгалось всё более ясное ощущение своей несхожести с этими людьми.

Со своего места он видел всех, все они были моложе его, все казались странными и несколько смешными. Длинный Цветаев, выставив вперед острые колени, качал носом, точно сонная ворона в жаркий день, и глухо, сорванным, как у пьяного дьячка, голосом, с неожиданными взвизгиваниями, говорил:

— Таким образом, пред нами стоят два вопроса,— о личности и обществе...

Говорил он много, уверенно и непонятно, часто закрывал глаза и чертил пальцем в воздухе какие-то знаки и вдруг, положив палец на переносье, задумывался.

— Вы кончили? — спрашивал дядя Марк.

— Позвольте — тут есть еще один вопрос...

И снова все смотрели на его угреватое лицо, а дядя Марк щелкал по столу пальцами, нетерпеливо двигая густыми бровями.

После Цветаева всегда говорила Галатская, и всегда ее речи начинались звонким возгласом:

— Ах, дело совсем не в том, чтобы спорить о частностях!

Ее лицо краснело еще более, рот быстро закрывался и открывался, и слова сыпались из него темные в своей связи и раздражающе резкие в отдельности. Кожемякин беспокойно оглядывался вокруг, смотрел на попадью, всё ниже и равнодушнее склонявшую голову над своей работой,— эта серая гладкая голова казалась полною мыслей строгих, верных, но осторожных, она несколько успокаивала его.

После речи Галатской Цветаев и Рогачев начинали, вперебой, оспаривать ее, первый взвизгивал обиженно, а второй сильным добрым басом рубил, упирая на о:

— Это — не по существу!

Он был похож на большой инструмент, которым долго работали, широкий, плотный, с лицом точно стертым, маленькими, слинявшими глазами и какой-то подержанной головой, он двигался развинченно, неверно, в груди у него хрипело, и часто его схватывал кашель.

Сеня Комаровский был молчалив. Спрятав голову в плечи, сунув руки в карманы брюк, он сидел всегда вытянув вперед короткие, маленькие ноги, смотрел на всех круглыми немигающими глазами и время от времени медленно растягивал тонкие губы в широкую улыбку,— от нее Кожемякину становилось неприятно, он старался не смотреть на горбуна и — невольно смотрел, чувствуя к нему всё возрастающее, всё более требовательное любопытство.

Горюшина слушала речи и споры открыв рот, круглый как у рыбы, часто мигая пустыми глазами какого-то

жидкого цвета, и вздыхала, точно глубоко всасывая в себя слова.

Ярким пятном выделялось нахмуренное лицо Максима; приглаживая волосы, он поднимал руки так, точно, не торопясь и осторожно, лез куда-то вверх по невидимой лестнице, его синий глубокий взгляд порою останавливался на фигуре Горюшиной и — увлажнялся, темнел, ноздри вздрагивали, а Кожемякин, видя это, неприязненно думал:

«Жеребец! Его допустили к разуму, а он — свое соображает».

И темные глаза Комаровского тоже нередко слепо останавливались на лице и фигуре женщины,— в эти секунды они казались большими, а белков у них как будто не было.

«Совсем совиное лицо»,— соображал Кожемякин.

Все вели себя свободно, почти каждая речь вызывала десятки возражений, и вначале это удивляло Кожемякина:

«Сколько мыслей в людях!» — почти с восхищением думал он. Это обилие мыслей, простых, понятных, легко разрешавших сложную путаницу жизни, вооружало душу бодростью, внушая доверие к людям, к силе их разума и уважение к добрым намерениям их. И было приятно сознавать, что столь значительные люди явились в его городе и в его собственном, Кожемякина, доме звучат все эти смелые слова. Резкости перестали пугать, и только когда Галатская открывала свой большой рот, он опасливо наклонял голову и старался не смотреть на девицу, всегда тайно желая, чтобы кто-нибудь скорее остановил бурный поток ее слов.

Он записал в свою тетрадку:

«С внешности Капитолина беззлобна и даже будто простовата, на словах же неукротима пуще всех и заставляет думать, что двигатели жизни людской — несчастие и озлобление. О голоде, ожидаемом в этом году, говорит с явной радостью, и по ее суждениям выходит так, что чем хуже человеку, тем это полезней для него. Если правда, что только горе может душу разбудить, то сия правда — жестокая, слушать ее

неприятно, принять трудно, и многие, конечно, откажутся от нее; пусть лучше спит человек, чем терзается, ибо всё равно: и сон и явь одинаково кончаются смертью, как правильно сказал горбун Комаровский.

Притом Капитолина еще и невежливая девица: зовет меня по имени редко, а всё больше купец и хозяин. Назвал бы я ее за это нехорошим словом,— дурой, примерно,— да вижу, что и всех она любит против шерсти гладить, дерзостями одаривать. Заметно, что она весьма любит котят дымчатых,— когда такого котенка увидит, то сияет вся и делается доброй, чего, однако, сама же как бы стыдится, что ли.

Очень трудно ее понять и никак не привесишься, чтоб поговорить с нею просто, по душе, без фырканья с ее стороны и без крика. Одета хотя и не бедно, а неряшливо: кофта под мышками всегда сильно пропотевши и крючки не везде целы, все прорешки светятся. Гляжу я на нее, гляжу, да иной раз и подумаю: кто такую решится полюбить? Никто, наверно, не решится».

Когда он свыкся с людьми и вошел в круг их мыслей, ему тоже захотелось свободно говорить о том, что особенно бросалось в глаза во время споров, что он находил неправильным. И сначала робко, конфузливо, потом всё смелее и настойчивее он стал вмешиваться в споры.

— Позвольте мне заметить? — просил он, привставая на стуле и чувствуя, что кровь отхлынула у него от лица, а сердце стучит торопливо.

Получив от дяди Марка ласковое разрешение, он, стараясь выражаться вычурнее, говорил всегда одно и то же:

— Видите ли — вот вы все здесь, желающие добра отечеству, без сомнения, от души, а между тем, из-за простой разницы в способах совершения дела, между вами спор даже до взаимных обид. Я бы находил, что это совсем лишнее и очень мешает усвоению разных мыслей, я бы просил — поласковей как и чтобы больше внимания друг ко другу. Это — обидно, когда такие, извините, редкие люди и вдруг — обижают друг друга, стараясь об одном только добре...

Иногда, растроганный своею речью, поддаваясь напору доброго чувства к людям, он чуть не плакал — это действовало на слушателей, они, конфузливо усмехаясь, смотрели на него ласково, а дядя Марк одобрительно посмеивался, весь в дыму.

— Это верно! — говорил кто-нибудь иногда весело, иногда тихо и грустно.

«Против меня — не спорят!» — с некоторой гордостью думал Кожемякин и продолжал:

— Теперь — второе, вот Капитолина Петровна да и все, хотя — поменьше ее, очень нападают на купечество, дворянство и вообще на богатых людей, понося их всячески за жадность и корыстолюбие,— очень хорошо-с! Однако вот господин Цветаев доказывает, да и сам Марк Васильевич тоже очень правильно говорит всегда, что человек есть — плод и ничем другим, кроме того, каков есть, не может быть. Так что, осуждая и казня человека-то, все-таки надо бы не забывать, что, как доказано, в делах своих он не волен, а как ему назначено судьбою, так и живет, и что надобно объяснить ему ошибку жизни в ее корне, а также всю невыгоду такой жизни, и доказывать бы это внушительно, с любовью, знаете, без обид, по чувству братства,— это будет к общей пользе всех.

Он усиленно старался говорить как можно мягче и безобиднее, но видел, что Галатская фыркает и хотя все опять конфузятся, но уже как-то иначе, лица у всех хмурые и сухие, лицо же Марка Васильевича становилось старообразно, непроницаемо, глаза он прятал и курил больше, чем всегда.

Все слушали его молча, иногда Цветаев, переглядываясь с Галатской, усмехался, она же неприятно морщилась,— Кожемякин, заметив это, торопился, путался в словах, и, когда кончал, кто-нибудь снова неохотно говорил:

— В общем — это верно...

Чаще других, мягче и охотнее отзывался Рогачев, но и он как будто забывал, на этот случай, все слова, кроме двух:

— Это так.

И скоро Кожемякин заметил, что его слова уже не

вызывают лестного внимания, их стали принимать бесспорно и, всё более нетерпеливо ожидая конца его речи, в конце торопливо говорили, кивая ему головой:

— Да, да, это так...

— Приблизительно верно, конечно...

Потом Галатская и Цветаев стали даже перебивать его напоминающими возгласами:

— Мы уже слышали это!

И дядя Марк не однажды строго останавливал их:

— Позвольте, дайте же кончить.

Кожемякин отмечал уже с недоумением и обидой: «Не оспаривают, даже и не слушают; сами говорят неумеренно, а для меня терпенья нет...»

Наконец случилось так, что Максим, не вставая со стула, заговорил против хозяина необычным складом речи, с дерзостью большей, чем всегда:

— Вы, Матвей Савельич, видно, не замечаете, что всегда говорите одно и то же и всё в пользу своего сословия, а ведь не оно страждет больше всех, но по его воле страждет весь народ.

Строгий и красивый, он всё повышал голос и чем громче говорил, тем тише становилось в комнате. Сконфуженно опустив голову, Кожемякин исподлобья наблюдал за людьми — все смотрели на Максима, только темные зрачки горбуна, сократясь и окруженные голубоватыми кольцами белков, остановились на лице Кожемякина, как бы подстерегая его взгляд, да попадья, перестав работать, положила руки на колени и смотрела поверх очков в потолок.

Максим кончил говорить, поправил волосы.

— Прекрасно, очень хорошо! — воскликнула Галатская, ерзая по дивану.— Нуте-ка, хозяин, что вы скажете?

И снова стало тихо, только дядя Марк недовольно сопел.

Кожемякин поднялся, опираясь руками на стол, и, не сдерживая сердитого волнения, сказал:

— Вздорно ты балагуришь, Максим, и даже неприятно слушать...

Все тихонько загудели, зашептались, а дядя Марк, подняв руку, ласково, но строго сказал:

— Спокойно, Матвей Савельич, спокойно!

— Что мне беспокоиться? — воскликнул Кожемякин, чувствуя себя задетым этим неодобрительным шёпотом.— Неправда всё! Что мне мое сословие? Я живу один, на всеобщем подозрении и на смеху, это — всем известно. Я про то говорил, что коли принимать — все люди равны, стало быть, все равно виноваты и суд должен быть равный всем,— вот что я говорю! И ежели утверждают, что даже вор крадет по нужде, так торговое сословие — того больше...

Галатская бесстыдно и громко засмеялась, Цветаев тоже фыркнул, по лицу горбуна медленно поползла к ушам неприятная улыбка — Матвей Савельев похолодел, спутался и замолчал, грузно опустясь на стул.

— Позвольте! — сразу прекратив шум, воскликнул дядя Марк и долго, мягко говорил что-то утешительное, примиряющее. Кожемякин, не вслушиваясь в его слова, чувствовал себя обиженным, грустно поддавался звукам его голоса и думал:

«Предпочитают мальчишку...»

После спора с дворником на собрании он ночью записал:

«Сегодня Максимка разошелся во всю дерзость, встал при всех против меня и продолжительно оспаривал, а все — за него и одобряли. Сконфузился я, конечно; в своем доме, против своего же работника спорить невместно и недостойно. Даже удивительно, как это всем руководящий Марк Васильев не усмотрел несоответствия и допустил его до слова. Будь это Шакир, человек в летах и большой душевной солидности,— другое дело, а то — молодой паренек, вроде бубенчика, кто ни тряхни — он звякнет. Конечно, Марку-то Васильичу мысли всегда дороже людей, но, однако — откуда же у Максимки свои мысли явились бы? Мысли у всех — общие, и один им источник для всех — всё тот же Марк Васильич. Стал он теперь очень занят, дома бывает мало, ночами долго гуляет в полях, и поговорить душевно с ним не удается всё мне. И опять я как будто начинаю чувствовать себя отодвинутым в сторону и некоторой бородавкой на чужом носу».

Незаметно прошел май, жаркий и сухой в этом году; позеленел сад, отцвела сирень, в молодой листве зазвенели пеночки, замелькали красные зоба тонконогих малиновок; воздух, насыщенный вешними запахами, кружил голову и связывал мысли сладкою ленью.

Манило за город, на зеленые холмы, под песни жаворонков, на реку и в лес, празднично нарядный. Стали собираться в саду, около бани, под пышным навесом берез, за столом, у самовара, а иногда — по воскресеньям — уходили далеко в поле, за овраги, на возвышенность, прозванную Мышиный Горб,— оттуда был виден весь город, он казался написанным на земле ласковыми красками, и однажды Сеня Комаровский, поглядев на него с усмешечкой, сказал:

— Красив, подлец! А напоминает вора на ярмарке — снаружи разодет, а внутри — одни пакости...

Авдотья Горюшина поглядела на него пустыми глазами и заметила тихонько, не осуждая:

— Везде есть хорошие люди.

— Как во всякой лавочке — уксус,— не глядя на нее, проговорил горбун, а она, вздыхая, обратилась к Матвею Савельеву:

— Этого я не понимаю, про уксус...

Почти в первый раз она заговорила с ним, и Кожемякин вдруг обрадовался, засмеялся.

— Семен Иванович любит загадками говорить...

Сузив зрачки, горбун строго сказал ей:

— Вам и не надо пичего понимать, вам просто надо замуж выйти.

— Ой, что вы это! — воскликнула женщина, покраснев и опуская глаза.

— Верно, Матвей Савельич, замуж? —спросил горбун.

Кожемякин заговорил:

— Это — глядя за кого. Конечно, для молодой женщины замужество...

Подошла Галатская, обмахиваясь платком, прислушалась и, сморщив лицо, фыркнула:

— Фу, какие пошлости!

И пламенно начала о том, что жизнь требует от человека самопожертвования, а Сеня, послушав ее, вдруг ехидно спросил:

— Что ж, по-вашему, жизнь, как старуха нищая, всякую дрянь, сослепу, принимает?

Галатская, вспыхнув, закричала, а Матвей Савельев подумал о горбуне:

«Чего он всегда при Авдотье грубит? Ведь ежели у него расчет на нее — этим не возьмешь!»

И внимательно оглядел молодое податливое тело Горюшиной, сидевшей рядом с ним.

А через неделю он услыхал в саду тихий голос:

— Оставьте, не трогайте...

В ответ загудел Максим:

— Да ведь уж всё равно!

Кожемякин вздрогнул, высунулся в окно и снова услыхал нерешительный, уговаривающий голос женщины:

— Тут такое дело и люди такие...

— Дело делом, а сердца не задавишь,— внятно, настойчиво и сердито сказал дворник.

«Ах, кобель!» — воскликнул про себя Матвей Савельев и, не желая, позвал дворника, но тотчас же, отскочив от окна, зашагал по комнате, испуганно думая:

«Зачем это я? Что мне?»

И, когда Максим встал в двери, смущенно спросил его:

— Самовар — готов?

— Нет еще...

— Отчего? Там пришел кто-то.

— Авдотья Гавриловна.

Кожемякин пристально оглядел дворника и заметил, что лицо Максима похудело, осунулось, но стало еще более независимым и решительным.

«Одолеет он ее!» — с грустью подумал Кожемякин и, отвернувшись в сторону, махнул рукой.

— Ну, иди!

И снова сердито думал, стоя среди комнаты:

«Жил бы с кухаркой; женщина еще в соку, и это в обычае, чтобы дворник с кухаркой жил. А он — эко куда заносится!»

Взглянув на себя в зеркало и вздохнув, пошел в сад, неся в душе что-то неясное, беспокойное и новое.

Горюшина, в голубой кофточке и серой юбке, сидела на скамье под яблоней, спустив белый шелковый платок

с головы на плечи, на ее светлых волосах и на шелке платка играли розовые пятна солнца; поглаживая щеки свои веткой березы, она задумчиво смотрела в небо, и губы ее двигались, точно женщина молилась.

Кожемякин поздоровался и сел рядом, думая:

«Тихая, покорная. Она уступит...»

Жужжали пчелы, звук этот вливался в грудь, в голову и, опьяняя, вызывал неожиданные мысли.

— Вы ведь вдова? — спросил он тихо.

— Третий год.

— Долго были замужем-то?

— Год пять месяцев...

Отвечала не спеша, но и не задумываясь, тотчас же вслед за вопросом, а казалось, что все слова ее с трудом проходят сквозь одну какую-то густую мысль и обесцвечиваются ею. Так, говоря как бы не о себе, однотонно и тускло, она рассказала, что ее отец, сторож при казенной палате, велел ей, семнадцатилетней девице, выйти замуж за чиновника, одного из своих начальников; муж вскоре после свадьбы начал пить и умер в одночасье на улице, испугавшись собаки, которая бросилась на него.

— Ласковый был он до вас? — участливо спросил Кожемякин.

— Н-не знаю,— тихо ответила она и тотчас, спохватясь, мило улыбнулась, объясняя: — Не успела даже присмотреться, то пьяный, то болен был — сердце и печенка болели у него — и сердился очень, не на меня, а от страданий, а потом вдруг принесли мертвого.

— Так что жизни вы и не испытали?

Сломав ветку березы, она отбросила ее прочь, как раз под ноги горбатому Сене, который подходил к скамье, еще издали сняв просаленную, измятую черную шляпу.

— А я думал — опаздываю! — высоким, не внушающим доверия голосом говорил он, пожимая руки и садясь рядом с Горюшиной, слишком близко к ней, как показалось Кожемякину.

Вслед за ним явились Цветаев и Галатская, а Кожемякин отошел к столу и там увидел Максима: парень сидел на крыльце бани, пристально глядя в небо, где

возвышалась колокольня монастыря, окутанная ветвями липы, а над нею кружились охотничьи белые голуби.

— Бесполезно! — вдруг разнесся по саду тенор горбуна.

— По-озвольте! — пренебрежительно крикнул Цветаев, а Галатская кудахтала, точно курица:

— Кого, кого?

И снова голос горбуна пропел:

— Всех — на сорок лет в пустыню! И пусть мы погибнем там, родив миру людей сильных...

Кожемякин, усмехнувшись, сказал Максиму:

— Горбатый всегда так — молчит, молчит да и вывезет несуразное.

Но, к его удивлению, Максим ответил:

— Он — умный.

А тенор Комаровского, всё повышаясь, пел:

— Голубица тихая — не слушайте их! Идите одна скромной своей дорогой и несите счастье тому, кто окажется достойным его, ибо вы созданы богом...

— Богом! — взвизгнула Галатская.

— Чтобы дать счастье кому-то, вы созданы для материнства...

— Видите? — спросил Максим, вставая с кривой усмешкой на побледневшем лице.— Он — хитрый...

— Зови их! — сказал Кожемякин, но Максим, не двигаясь, заложил руки за спину и крикнул:

— Чай пить!..

«Ревнует, видно!» — не без удовольствия подумал хозяин и вздохнул, вдруг загрустив.

К столу подошли возбужденные люди, сзади всех горбун, ехидно улыбаясь и потирая бугроватый лоб. Горюшина, румяная и смущенная, села рядом с ним и показалась Кожемякину похожей на невесту, идущую замуж против своей воли. Кипел злой спор, Комаровский, повертываясь, как волк, всем корпусом то направо, то налево, огрызался, Галатская и Цветаев вперебой возмущенно нападали на него, а Максим, глядя в землю, стоял в стороне. Кожемякину хотелось попять злые слова необычно разговорившегося горбуна, но ему мешали пастойчивые думы о Горюшиной и Максиме.

«Тихая, покорная»,— в десятый раз повторял он про себя.

И с тревожным удивлением слышал едкую речь горбуна:

— Вы кружитесь, как сор на перекрестке ветреным днем, вас это кружение опьяняет, а я стою в стороне и вижу...

Галатская, вспотев от волнения, стучала ладонью по столу, Цветаев, красный и надутый, угрюмо молчал, а Рогачев кашлял, неистощимо плевался и примирительно гудел на о:

— Господа, полноте!

— Вижу и знаю, что это — не забава! — криком кричал Комаровский.— Не своею волею носится по ветру мертвый лист...

Тут вдруг рассердился и Рогачев, привстал, глухим басом уговаривая Галатскую:

— Оставьте же! Это не разговор, а одно оригинальничание, кокетство!..

Заходило солнце, кресты на главах монастырских церквей плавились и таяли, разбрызгивая красноватые лучи; гудели майские жуки, летая над березами, звонко перекликались стрижи, кромсая воздух кривыми линиями полетов, заунывно играл пастух, и всё вокруг требовало тишины.

«Спорили бы дома, не здесь!» — устало и обиженно подумал Кожемякин, говоря вслух:

— А Марк Васильич не идет...

Горюшина, вздрогнув, виновато оглядела всех и тихонько сказала, что не придет сегодня дядя Марк — отец Александр заболел лихорадкой, а дядя лечит его.

— Не лихорадка у него, а запой начался!—усмехаясь, пояснил Сеня.

Горюшина, вздохнув, опустила глаза.

«Овца!» — подумал Кожемякин, разглядывая сипеватую полоску кожи в проборе ее волос, и захотел сказать ей что-нибудь ласковое, но в это время Комаровский сердито и насмешливо спросил:

— Почему вы говорите лихорадка, зная, что у попа — запой?

— Зачем же рассказывать плохое? — ответила она.

— Так! — с удовольствием сказал Кожемякин.

Но Сеня поглядел по очереди на него, на Горюшину и снова спросил, кривя рот:

— Надеетесь, что плохое само собою исчезнет, если молчать о нем?

Сзади Кожемякина шумно вздохнул Максим, говоря:

— Вот привязывается человек!.. Не отвечайте ему, Авдотья Гавриловна.

«Надо бы мне заступиться за нее!» — чуть не вслух упрекнул себя Кожемякин.

А Галатская, поправив на голове соломенную шляпу с красным бантом, объявила:

— Ну-с, мы уходим...

Цветаев надевал белую фуражку столь осторожно, точно у него болела голова и прикосновение к ней было мучительно. Рогачев выпрямился, как бы сбрасывая с плеч большую тяжесть, и тихо сказал:

— До свиданья!

И гуськом, один за другим, они пошли по дорожке.

— Видели вы,— спросил Комаровский,— как она в самовар смотрелась, Галатская-то, поправляя шляпу?

— Разве это нехорошо? — тихо осведомилась Горюшина.

— Смешно...

Женщина, недоверчиво взглянув на него, сказала:

— Почему же? Если шляпа криво надета — тогда смешно...

— Нет,— резко и задорно говорил Комаровский,— смешно, когда урод смотрит сам на себя.

— Еще смешнее другим людям глядеть на него,— тяжело выговорил Максим.

Кожемякин видел, что дворник с горбуном нацеливаются друг на друга, как петухи перед боем: так же напряглись и, наклонив головы, вытянули шеи, так же неотрывно, не мигая, смотрят в глаза друг другу,— это возбуждало в нем тревогу и было забавно. Он следил за женщиной: видимо, не слушая кратких, царапающих восклицаний горбуна и Максима, она углубленно рассматривала цветы на чашке, которую держала в руках, лицо ее побледнело, а пустые глаза точно паутиной покрылись. Он смотрел на нее с таким чувством, как

будто эта женщина должна была сейчас же и навсегда уйти куда-то, а ему нужно было запомнить ее кроткую голову, простое лицо, маленький, наивный рот, круглые узкие плечи, небольшую девичью грудь и эти руки с длинными, исколотыми иглою пальцами.

«Съедят ее, в кусочки разорвут,— думал он, торопливо убеждая себя в чем-то.— Чужие для нее эти...»

В тишине сада, еще опыленного красноватою пылью вечерней зари, необычно, с какими-то ласковыми подвизгиваниями растекался тонкий голос горбуна:

— Человек хотел бы жить кротко и мирно, да, да, это безопасно и просто приятно и не требует усилий,— но как только человек начнет готовиться к этому — со стороны прыгает зверь, и — кончено! Так-то, добрейший...

Его совиные глаза насмешливо округлились, лицо было разрезано тонкой улыбкой на две одинаково неприятные половины, весь он не соответствовал ласковому тону слов, и казалось — в нем говорит кто-то другой. Максим тоже, видимо, чувствовал это: он смотрел в лицо горбуна неприязненно, сжав губы, нахмурив брови.

— Есть такое учение,— вкрадчиво подвизгивая, продолжал горбун,— побеждают всегда только звери, человек же должен быть побежден. Учение это более убедительно, чем, например, Евангелие,— оно особенно нравится людям с крепкими кулаками и без совести. Хотите, я дам книжечку, где оно рассказано очень понятно и просто?

— Не хочу,— сказал Максим.

— Да? Впрочем, и не надо — вы и без книжки можете в лучшем виде исполнить это учение...

Максим подвигался к нему медленно, как будто против своей воли, Кожемякин крякнул, тревожно оглянувшись, а Горюшина вдруг встала, пошатнулась и, мигая глазами, протянула Кожемякину руку.

— Прощайте, мне пора!

— И мне! — сказал горбун.

Максим странно зашаркал ногами по земле, глядя, как они уходят из сада и Горюшина, шагая осторожно, поддерживает юбку, точно боясь задеть за что-то, что остановит ее.

Сухой треск кузнечиков наполнял сад, и гудели жуки, путаясь в сетях молодой зелени, шелестя мелким листом берез.

— Поеду за водой,— вдруг сказал Максим и быстро ушел.

«Не за водой, а за ней присмотреть!» — мысленно поправил его Кожемякин, усмехаясь и ощущая напор каких-то старых дум, возрождение боязливого недоверия к людям; это одолевало его всю ночь до утра. В тетрадку свою он записал:

«Опять душа моя задета и ноет тихонько, как дитя бессловесное хнычет, никем не слышимо. Общее дело надо делать, говорят люди и спорят промеж себя неугомонно, откликаясь на каждое неправильно сказанное слово десятком других, а на этот десяток — сотнею и больше. Говоря о дружбе и соединении сил — враждуют, разъединяясь сердцами. Даже и сам Марк Васильев не сторонится того, что ему вовсе бы не подходяще, и когда Цветаев говорит про города, про фабрики,— хмурится, не внимает и как бы не придает словам его веса. Конечно, Цветаев вдвое моложе и не весьма вежлив, а все-таки о чем-то по-своему думает, всякая же своя дума дорога человеку и должна бы всем интересна быть. Галатская при нем за дьячка служит и похожа на дьячка, к слову сказать.

Фершал же, видно, другого толка, он больше молчит да кашляет, спорит — редко, только с Комаровским и всегда от Евангелия. С великою яростью утверждает, что царство божие внутри души человеческой,— мне это весьма странно слышать: кто может сказать, что коренится внутри его души? Много в ней живет разного и множество неожиданного, такого, что возникает вдруг и пред чем сам же человек останавливается с великим недоумением и не понимая — откуда в нем такое? „Как можно говорить о царстве божием без разума?“ — справедливо спросил горбун Комаровский, а Рогачев, осердясь, объяснил, что разум — пустяки, ничем не руководит в жизни, а только в заблуждение ведет. Всё это — невозможно понять: выходит теперь, что и бог неразумен! Замечаю я, что всего труднее и запутаннее люди

говорят про бога, и лучше бы им оставить это, а то выходит и страшно, и жалобно, и недостойно великого предмета. Хуже всех на словах Комаровский, Фома неверный какой-то он, лезет очертя голову на всякую высоту и подо всё желает пороху подложить, чем для всех и неприятен. До чего бы люди ни договорились, он сейчас же вопрошает: а это как? И снова начинается спор, установленное летит кувырком, Марк Васильев сердится, а он, словоблуд неистощимый, доволен. Фершал кричит: „Зачем вы с людьми, которые ищут веры, ведь вам, несчастный, неверие сладостно?“ Действительно — горбатый играет самыми страшными словами, как чёрт раскаленным углем, и видно, что это приятно и сладостно ему.

Обрадовался было я, что в Окурове завелся будто новый народ, да, пожалуй, преждевременна радость-то. Что нового? Покамест одни слова, а люди — как люди, такие же прыщи: где бы прыщ ни вскочил — надувается во всю мочь, чтобы виднее его было и больней от него. Горбун совершенно таков — прыщ.

А про Максима прямо и думать не хочется, до того парень надулся, избалован и дерзок стал. Всё пуще награждают его вниманием, в ущерб другим, он же хорохорится да пыжится, становясь всякому поперек горла. Тяжел он мне. Насчет Васи так и неизвестно, кто его извел».

Утром во время чая принесли записку от попадьи, она приглашала к себе, если можно, сейчас же.

«Опять денег взаймы просить будет»,— равнодушно и устало подумал Кожемякин.

Неохотно оделся, лениво пошел и застал попадью в саду; согнувшись между гряд, она обрывала усы клубники, как всегда серая, скучная, в очках.

— Руки грязные,— сказала она вместо приветствия, показывая ему ладони так, точно отталкивала его. Оправила подоткнутую юбку и долго молча вытирала пальцы углом передника, а ее безбровый, точно из дерева вырезанный лоб покрылся мелкими морщинами.

Кожемякин спросил о здоровье попа, она сухо ответила:

— Не спал всю ночь, теперь уснул. И дядя лег.

«Скажет правду или нет?» — подумал гость и спросил:

— Какая болезнь-то?

— Русская, запой,— в два удара сказала попадья, идя к беседке, потом, взглянув поверх очков, тоже спросила: — Разве Комаровский не сказал?

— Нет,— то есть он сказал,— сконфуженно замялся в словах Кожемякин.

— А вы ему не поверили? Напрасно, он очень хорошо относится к вам.

Села в угол беседки, подняла очки на лоб и, оглядев гостя туманным взглядом слабых глаз, вздохнула, размышляя о чем-то, а потом, раздельно и точно считая слова, начала говорить:

— Я позвала вас, чтобы сказать о Комаровском. Он несчастен и потому зол. Ему хочется видеть всех смешными и уродливыми. Он любит подмечать в человеке смешное и пошлое. Он смотрит на это как на свою обязанность и свое право...

«Что ей надо?» — быстро кружилось в голове Кожемякина.

Подняв руки и поправляя прическу, попадья продолжала говорить скучно и серьезно. На стенках и потолке беседки висели пучки вешних пахучих трав, в тонких лентах солнечных лучей кружился, плавал, опадая, высохший цветень, сверкала радужная пыль. А на пороге, фыркая и кувыркаясь, играли двое котят, серенький и рыжий. Кожемякин засмотрелся на них, и вдруг его ушей коснулись странные слова:

— Это верная мысль — вам лучше всего жениться!

— Кто это говорит? — быстро спросил он, подскочив на скамье.— Неужто Семен Иванович?

— Ну да! И я с ним согласна. Я же сказала вам, что в глубине души он человек очень нежный и чуткий. Не говоря о его уме. Он понимает, что для нее...

— Для Авдотьи Гавриловны? — спросил Кожемякин.

Попадья замолчала, опустила очки и, пристально оглянув гостя, спросила его:

— Вы меня не слушали?

— Я? Нет, я слушал! — солгал Кожемякин.

Ее голос зазвучал суше, поучительнее, а слова сыпались мерно и деловито.

— Я знаю Дуню давно, мы из одного города, она — удивительная по душе! И Семен Иванович прав — Максим ее погубит, это ясно.

— Конечно, так! — с радостью подтвердил Кожемякин.

Он смотрел на попадью, широко открыв глаза, чувствуя себя как во сне, и, боясь проснуться, сидел неподвижно и прямо, до ломоты в спине. Женщина в углу казалась ему радужной, точно павлин, голос ее был приятен и ласков.

«Эдакая добрая, эдакая умница!» — думал он, слушая ее размеренную речь.

— Она не чувствует себя, ей кажется, что она родилась для людей и каждый может требовать от нее всего, всю ее жизнь. Она уступит всякому, кто настойчив,— понимаете?

— Да. Это верно. Кроткая такая...

— Вот. И если бы они сошлись, она и Максим, это было бы несчастием для обоих. Ему — рано жениться, вы согласны?

— С чем ему жениться? — воскликнул Кожемякин.

— Ну да, и это...

Она откинулась к стене и, сложив руки на груди, спокойно сказала:

— Таким образом, женясь на ней, вы спасете двух хороших людей от роковой ошибки. Сами же, в лице Дуни, приобретете на всю жизнь верного друга.

Кожемякин торопливо встал.

— Вы — куда? — строго спросила попадья.

— Я просто так...

— Всё это пока должно остаться между нами!

— Вы с ней — говорили?

— Нет еще. Надо было иметь ваше согласие.

— Хорошо вы придумали, Анна Кирилловна! — воскликнул Кожемякин с радостью и удивлением.— Говоря по правде — я и сам смотрел на нее...

— Ну да, понятно! — сказала попадья, пожав плечами, и снова начала что-то говорить убедительно и длинно, возбуждая нетерпение гостя.

— Итак — сегодня вечером к восьми часам я буду иметь ее ответ, а вы придете ко мне! — закончила она, вставая и протягивая ему руку.

Он долго и горячо тряс эту сухую руку и от избытка новых чувств, приятных своей определенностью, не мог ничего сказать попадье.

Голова сладко кружилась, сердце замирало, мелькали торопливые мысли:

«Вот и доплыл до затона! Поп Александр обвенчает без шума, на первое время мы с Дуней махнем в Ворогород. Молодец попадья — как она ловко поставила всех по местам. А Дуня — она меня полюбит, она — как сестра мне по характеру, право,— и как я сам не додумался до такой простоты?..»

Победно усмехнувшись, он представил себе заносчивую фигуру Максима и мысленно погрозил ему пальцем: «Знай, сверчок, свой шесток!»

Город был насыщен зноем, заборы, стены домов, земля — всё дышало мутным горячим дыханием, в неподвижном воздухе стояла дымка пыли, жаркий блеск солнца яростно слепил глаза. Над заборами тяжело и мертво висели вялые, жухлые ветви деревьев, душные серые тени лежали под ногами. То и дело встречались темные оборванные мужики, бабы с детьми на руках, под ноги тоже совались полуголые дети и назойливо пыли, простирая руки за милостыней.

«Эк их налезло!» — мимолетно подумал Кожемякин, рассовывая медные монеты и точно сквозь сон видя черные руки, худые волосатые лица, безнадежные усталые глаза, внутренно отмахиваясь от голодного похоронного воя.

Обливаясь потом, обессиленный зноем, он быстро добежал домой, разделся и зашагал по комнате, расчесывая бороду гребнем, поглядывая в зеркало, откуда ему дружелюбно улыбалось полное желтоватое лицо с отеками под глазами, с прядями седых волос на висках.

К вечеру мысль о женитьбе совершенно пленила его, он рисовал себе одну за другой картины будущей жизни и всё с большей радостью думал, что вот наконец нашел себе давно желанное место в жизни — прочное и спокойное.

«Тихонько, в стороне от людей заживем мы, своим монастырем...»

Сквозь этот плотный ряд мирных дум безуспешно пыталась пробиться одна какая-то укоряющая мысль, но он гнал ее прочь, даже не чувствуя желания понять то, о чем она хочет напомнить ему.

Уже в семь часов он был одет, чтобы идти к попадье, но вдруг она явилась сама, как всегда прямая, плоская и решительная, вошла, молча кивнула головою, села и, сняв очки, протирая их платком, негромко сказала:

— Мы опоздали...

Не поняв ее слов, Кожемякин с благодушной улыбкой смотрел на нее.

Попадья вздохнула и начала говорить, глядя в пол, точно читая книгу, развернутую на нем, усталая, полинявшая и более мягкая, чем всегда.

— Они уже сошлись. Да, уже; хотя я говорила ей: «Дуня, ничего хорошего, кроме горя и обиды, ты не найдешь с ним!»

— С Максимом? — спросил Кожемякин и, поперхнувшись, сел на стул, пришибленный.

— Я повторила ей это сегодня, а она говорит: «Если я нужна ему — всё равно, хоть и ненадолго»,— вы понимаете этот характер?

— Чем же он лучше меня для нее? — сказал Кожемякин, разводя руками, полный холодной обиды и чувствуя, как она вскипает, переходя в злость.— Проходимец, ни кола, ни двора. Нет, я сам пойду, поговорю с ней!

Она, надев очки, пристально осмотрела его и голосом старухи устало выговорила:

— Попробуйте. Спасая человека, надо идти до конца и не щадя себя.

— Всегда он мне не нравился, этот ястреб рыжий! — говорил Кожемякин тихо и жалобно.— Прогоню вот его завтра, и — поглядим!

Попадья строго сказала:

— Этого нельзя делать!

— Как — нельзя? Я ж — хозяин, я могу...

— Нет, не можете!

Он остановился, немного испуганный и удивленный ее возгласом, сдерживая злость; попадья глядела в глаза ему, сверкая стеклами очков, и говорила, как всегда, длинными ровными словами, а он слушал ее речь и не понимал до поры, пока она не сказала:

— Не надо забывать, что у него есть перед вами преимущества: красота, молодость и уверенность в себе, чего у вас нет!

Ему показалось, что эта серая, сухая, чужая женщина трижды толкнула его в грудь, лицо у нее стало неприятное, осуждающее.

«Конечно, они все его предпочитают!» — думал он, покачиваясь на ногах и оглядывая пустую комнату.

— Не поддавайтесь обиде и зависти! — надоедно звучал голос попадьи.

Он почти не заметил, как она ушла, сжатый тугим кольцом спутанных дум, разделся, побросав всё куда попало, и сел у окна в сад, подавленный, унылый и злой, ничего не понимая.

«Словно насмешка, поманили, показали, а потом говорят — это не для тебя! Обнадежила и говорит — вы из зависти».

И спросил себя с натугой:

«Разве я из зависти? Врет она».

Однако ему показалось, что он ответил сам себе неуверенно, это заставило его вспомнить об Евгении, он тотчас поставил Горюшину рядом с нею, упорно начал сближать их и скоро достиг того, чего — неясно — хотел: Горюшина неотделимо сливалась с Евгенией, и это оживило в нем мучительно пережитое, прослоенное новыми впечатлениями чувство непобедимого влечения к женщине.

Во тьме ныли и кусались комары, он лениво давил их, неотрывно думая о женщине, простой и кроткой, как Горюшина, красивой и близкой, какой была Евгения в иные дни; думал и прислушивался, как в нем разрушается что-то, ощущал, что из хаоса всё настойчивее встает знакомая тяжелая тоска. И вдруг вскочил, весь налившись гневом и страхом: на дворе зашумело, было ясно, что кто-то лезет через забор.

«Это Максим, к ней, подлец!» — сообразил он, заме-

тавшись по комнате, а потом, как был в туфлях, бросился на двор, бесшумно отодвинул засов ворот, приподнял щеколду калитки, согнувшись, нырнул во тьму безлунной ночи. Сердце неприятно билось, он сразу вспотел, туфли шлепали, снял их и понес в руках, крадучись вдоль забора на звук быстрых и твердых шагов впереди.

Властно захватило новое, неизведанное чувство: в приятном остром напряжении, вытянув шею, он всматривался в темноту, стараясь выделить из нее знакомую коренастую фигуру. Так, точно собака на охоте, он крался, думая только о том, чтобы его не заметили, вздрагивая и останавливаясь при каждом звуке, и вдруг впереди резко звякнуло кольцо калитки, взвизгнули петли, он остановился удивленный, прислушался — звук шагов Максима пропал.

«Она не здесь живет!» — облегченно вздохнув, сообразил он и надел туфли, чувствуя, что ему немножко стыдно.

Но все-таки пошел вперед, а дойдя до маленького, в три окна, домика, услыхал вырывавшийся в тишину улицы визгливый возглас Цветаева:

— Голод будет страшен...

«Там она или нет?» — спрашивал себя Кожемякин, проходя под окнами бесшумно и воровато.

Перешел улицу наискось, воротился назад и, снова поравнявшись с домом, вытянулся, стараясь заглянуть внутрь комнат. Мешали цветы, стоявшие на подоконниках, сквозь них видно было только сутулую спину Рогачева да встрепанную голову Галатской. Постояв несколько минут, вслушиваясь в озабоченный гул голосов, он вдруг быстро пошел домой, решительно говоря себе:

«Завтра — сам пойду к ней!»

Ночь он спал плохо, обдумывая свое решение и убеждаясь, что так и надо сделать; слышал, как на рассвете Максим перелез через забор, мысленно пригрозил ему:

«Я те полазию, погоди, прохвост!»

А засыпая, сквозь дрему тревожно подумал:

«Его надо будет вовсе сплавить из города, а то — женщина слабая! Это я попадью попрошу, пусть она уговорит его, ведь она всё затеяла».

Он пошел к Горюшиной после полудня, рассчитав, что в жару на улицах никого не встретит, и не ошибся: было пустынно, тихо, даже в раскрытых окнах домов не замечалось движения и не было слышно шума.

Дойдя до ограды собора, откуда было видно улицу и дом, где жила Горюшина, он остановился, сдерживая тревожное биение сердца, собираясь с мыслями. Жара истощала силы, наливая голову горячим свинцом. Всё раскалялось, готовое растаять и разлиться по земле серыми ручьями.

В узкой полоске тени лежала лохматая собака с репьями в шерсти и возилась, стараясь спрятать в тень всю себя, но или голова ее, или зад оказывались на солнце. Над нею жадно кружились мухи, а она, ленясь поднять голову, угрожающе щелкала зубами, ловя тени мух, мелькавшие на пыльной земле. Правый глаз ее был залит бельмом, и, когда солнце освещало его, он казался медным.

Маленький темный домик, где жила Горюшина, пригласительно высунулся из ряда других домов, покачнувшись вперед, точно кланяясь и прося о чем-то. Две ставни были сорваны, одна висела косо, а на крыше, поросшей мхом, торчала выщербленная, с вывалившимися кирпичами, черная труба. Убогий вид дома вызвал у Кожемякина скучное чувство, а силы всё более падали, дышать было трудно, и решение идти к Горюшиной таяло.

«Нашел время! — укорял он себя, оглядываясь.— Приду потный, в одышке, эко хорошо для жениха! Не спал к тому же, рожа-то не дай бог какая...»

В скучном отвращении он стал рассматривать медный глаз собаки и следить, как она ловит тени мух. С реки доносился звонкий, раздражающий крик и визг ребятишек.

«Лучше я вечером к ней, а теперь работает она и всё такое...»

Вдруг рассердился на что-то, топнул ногой и крикнул собаке:

— Пшла прочь!

Собака взглянула на него здоровым глазом, показала еще раз медный и, повернувшись спиной к нему, растя-

пулась, зевнув с воем. На площадь из улицы, точно волки из леса на поляну, гуськом вышли три мужика; лохматые, жалкие, они остановились на припеке, бессильно качая руками, тихо поговорили о чем-то и медленно, развинченной походкой, всё так же гуськом пошли к ограде, а из-под растрепанных лаптей поднималась сухая горячая пыль. Где-то болезненно заплакал ребенок, хлопнула калитка и злой голос глухо крикнул:

— Гони ее...

Кожемякин поглядел на мужиков, вздохнул, медленно пошел домой и там лег спать, решив, что вечером он неотложно пойдет к Горюшиной.

А когда проснулся — заходило солнце, сад был красен, и по двору разносился сердитый крик Шакира:

— Чего будет? Никакой дела нет, вода не привез — как это? Надо работать!

— Ага! — воскликнул хозяин, вскочив с дивана, подошел к окну, позвал татарина и попутно заглянул в зеркало, желая знать, достаточно ли строго его лицо: заплывшие глаза смотрели незнакомо и неприятно, правая щека измята, в красных рубцах, волосы растрепаны, и вся фигура имела какой-то раздавленный, изжеванный вид.

«Жених! Очень похож!» — сердито и тоскливо упрекнул он себя, а когда вошел Шакир, он отвернулся в угол и, натужно покашливая, сказал:

— Выдай ему расчет!

— Ух! — откликнулся татарин негромко, с явным сожалением и испугом.

— Да, так-то вот! — бормотал Кожемякин, искоса поглядывая в зеркало, и, увидав там сморщенное, жалобно улыбавшееся лицо,— испугался, что Шакир начнет спорить, заступаться за Максима.

— Иди, иди, чего там! — как мог сердито заговорил он, стоя спиной к татарину.— Надоело всё это! Лентяев не надо. Сегодня бы и уходил, сейчас вот, довольно баловства, да! Иди!

Шакир бесшумно исчез, а хозяин присел на стул среди комнаты и, глядя на пальцы босых ног, задумался:

«Придет прощаться. Сказать бы ему чего-нибудь? Он, чай, сам наговорит, по дерзости своей».

— Ну, и чёрт его дери! — крикнул Максим на дворе.

«Меня, конечно»,— сообразил Матвей Савельев, прислушиваясь и опуская голову. Он знал, что отменит свое распоряжение, если Шакир начнет защищать дворника или сам Максим войдет и спросит: «За что вы меня рассчитали?»

И ему было приятно слышать сердитый голос, гудевший то в сенях и в кухне, то на дворе; слов нельзя было разобрать, а ясно, что Максим — ругался, это оправдывало хозяина, укрепляя его решение, но плохо успокаивало человека.

Снова вошел Шакир. Плотно притворив дверь за собой, он опасливо покосился на открытое окно во двор и сказал, вздохнув:

— Одиннасать рубля двасать копейкам ево...

— Дай пятнадцать! — негромко молвил Кожемякин.

Унылое лицо Шакира вздрогнуло, он протянул руку, открыл черный рот.

— Ладно, ладно! — торопливо зашептал Кожемякин.— Я знаю, что ты скажешь, знаю...

Татарин согнул спину, открыл ею дверь и исчез, а Кожемякин встал, отошел подальше от окна во двор и, глядя в пол, замер на месте, стараясь ни о чем не думать, боясь задеть в груди то неприятное, что всё росло и росло, наполняя предчувствием беды.

— Прощай, брат! — негромко прозвучало на дворе.— Спасибо тебе.

Потом хлопнула калитка, и — раз, два, три — всё тише с каждым разом застучали по сухой земле твердые тяжелые шаги.

«Семнадцать,— сосчитал Кожемякин.— Ушел, не простясь,— как собака сбежал!»

Хотелось вызвать мысль сердитую, такую, чтобы она оправдывала поступок, но думалось вяло, было тревожно.

Сад кутался пеленою душного сумрака; тяжелая, оклеенная пылью листва не шелестела, в сухой траве, истощенной жаждою, что-то настойчиво шуршало, а в темном небе, устало и не сверкая, появились желтень-

кие крапинки звезд. Кто-то негромко стучал в монастырские ворота, в устоявшейся тишине неприютно плавал всхлипывающий тонкий голос:

— Сестрица — некуда боле, везде толкались...

«Ежели мне теперь идти к ней? — соображал Кожемякин, изнывая в тягостной скуке.— Поздно уж! Да и он, чай, там. Конечно — он не преминул...»

Обо всем думалось двойственно и противоречиво, но все-таки он, не спеша, оделся, вышел за ворота, поглядел на город и — нога за ногу — пошел в поле, покрытое жаркой тьмой.

Когда он поравнялся с Мордовским городищем, на одном из холмов что-то зашевелилось, вспыхнул огонек спички и долго горел в безветренном воздухе, освещая чью-то руку и желтый круг лица.

Кожемякин круто повернул прочь.

«Это место несчастные посещают».

Но вслед ему с холма крикнули голосом Комаровского:

— Матвей Савельич — вы?

— Я.

— Идите сюда. Посидим, побеседуем.

Кожемякин был доволен встречей, но, подумав, сказал:

— Нет, я к вам не пойду... Идите вы со мною.

Посвистывая, шаркая ногами и занося плечи вперед, горбун подошел, сунул руку Кожемякину и бок о бок с ним долго шагал по дороге, а за ним тонкой лентой вился тихий свист.

— Прогнали Максима? — вдруг спросил он.

— Да! — вздрогнув, ответил Кожемякин.

— Видел я его,— задумчиво говорил горбун, шурша какой-то бумажкой в кармане у себя.— Идет, вздернув голову, за плечом черный сундучок с премудростью, на ногах новые сапоги, топает, как лошадь, и ругает вас...

— Ругает?

— Именно.

— Вы сами-то как? — спросил Кожемякин, помолчав.— Ведь вы его не очень жалуете?

— Я, сударь, никого не жалую,— как-то неестественно просто выговорил горбун.

«Врешь!» — подумал Кожемякин.

— А вы понимаете, что уронили себя во мнении ваших знакомых? — спросил горбун и зевнул, напомнив собаку с медным глазом.

У Кожемякина неприятно ёкнуло в груди, он пробормотал тихо и нерешительно:

— Чем это?

— Вам, батя, этого не простят!

— И прощать нечего! Да разве я прошу прощенья? — волновался Матвей Савельев.

Комаровский, точно вдруг вспомнив что-то, ожидавшее его впереди, ускорил шаги и закачался быстрее, а Кожемякин, догоняя его, обиженно ворчал:

— В чем я виноват? Если он лентяй и бросил всякую работу,— я в своем деле волен распорядиться...

— А они распорядятся с вами,— негромко и равнодушно заметил его спутник.

Из тьмы встречу им выдвинулось, точно сразу выросло, большое дерево, Комаровский остановился под ним и предложил:

— Сядемте?

— Что ж, сядем...

Горбун, прислонясь плечом к стволу, долго шарил в карманах, потом зажег спичку о штаны и, следя, как она разгорается, глуховато заговорил:

— И если сказать вам — просите прощения у Максима, вы тоже ответите — что ж, можно...

«К чему это он?» — подумал Кожемякин, внимательно вслушиваясь.

— А сказать — намните ему бока, тоже — можно?

— Вовсе нет! — нехотя заметил Кожемякин.

Помолчав, горбун просто и безобидно продолжал:

— Вы, сударь, хуже злого. Злой — он хоть сопротивление вызывает, вы же — никаких чувств, кроме жалости. Жалко вас, и — больше ничего! Русский вы человек, очень русский! На сорок лет в пустыню надо вас, таких. И ее с вами.

— Авдотью Гавриловну? — тихонько спросил Кожемякин, наклоняясь к собеседнику.

— И ее. Вам — нечего защищать, нечем дорожить, вы люди — неизвестно зачем!

Горбун снова зажег спичку, осветил лицо его и швырнул ее прочь раньше, чем она догорела.

— Не курите вы, а спички тратите,— заметил Кожемякин нехотя, чтобы сказать что-нибудь.

В ответ ему из тьмы задумчиво раздалось:

— Люблю зажигать спички в ночи. И дома у себя, лежа в постели, зажигаю, и везде, где придется...

— Зачем?

— И обязательно, чтобы спичка была серная, русская, а не шведская. Русская спичка горит лениво, разноцветно и прескверно пахнет...

«Чудит»,— подумал Кожемякин, оглядываясь.

— На сорок лет в пустыню! — точно пьяный, сказал горбун.

Вдали, ограничивая поле черной чуть видной стеною, стоял лес; земля казалась сжатой в маленький комок, тесной и безвыходной, но в этой жалобной тесноте и малости ее было что-то привычно уютное, трогательно грустное.

— Больно уж сердиты вы,— укоризненно заметил Кожемякин. — Всё не по-вашему...

— Всё! — согласно повторил горбун.

Простота его слов возбуждала особенный интерес. Кожемякину захотелось еще таких слов,— в темноте ночной они приобретали значительность и сладость; хотелось раззадорить горбуна, заставить его разговориться о людях, о боге, обо всем, с жутким чувством долго слушать его речь и забыть про себя.

— Гордый вы,— сказал он.— Хорошо ли это?

— Это — хорошо! — ответил Комаровский, не шевелясь и точно засыпая.

Потом спросил, точно ударив:

— Вы любите ее?

Кожемякин вздрогнул от неожиданности.

— Я? Мне она по душе, конечно...

— А-а,— равнодушно протянул Комаровский, но Кожемякину показалось, что равнодушие неверное, он успокоительно добавил:

— Я бы, конечно, женился...

— Жениться вам надо! — спокойно посоветовал Комаровский.— Лучше этого вы ничего не придумаете...

— Да вот Максим впутался тут,— сказал Кожемякин, вздохнув.

— А Максима оставьте и Авдотью Гавриловну тоже. Вам до них никакого дела нет.

Комаровский стал насвистывать какую-то знакомую песню. Над лесом неясно заблестел серпик луны, и лес стал чернее.

У Кожемякина снова явилось желание раздразнить горбуна.

— А вы как? — спросил он.— С носом остаетесь?

Комаровский встал и, отряхая платье длинными руками, безобидно выговорил:

— Не умный вы человек, Матвей Савельич, не умный и жалкий.

Потопал ногою о землю и пошел прочь дальше в поле, снова посвистывая.

Сняв фуражку, Кожемякин смотрел, как его фигура, непохожая на человечью, поглощается тьмой, и напрягался, надувал щеки, желая крикнуть горбуну что-нибудь обидное, но не нашел слова и помешала мысль:

«Верно — не умный я! И всё у меня случайно,— как у Дроздова».

— Эй, послушайте! — раздалось издали.

— Ой? — откликнулся Кожемякин, вставая.

— Вы на меня не сердитесь — ладно?

— Ничего! Ведь один на один...

Невидимый горбун как будто засмеялся, заклохтал, потом снова прозвучал его высокий голос:

— Вам бы на время уехать из этого города.

— Почто? — спросил Кожемякин, но Комаровский не ответил.

Сухие шорохи плыли по полю, как будто кто-то шел легкой стопой, задевая и ломая стебли трав. Небо чуть-чуть светлело, и желтенькие звезды, белея, выцветая, становились холодней, но земля была так же суха и жарка, как днем.

«А ведь это, пожалуй, верно попадья сказала,— горбун добрый,— думал Кожемякин, медленно шагая.— И верно, что лучше мне уехать. Ведь ничего не нужно мне,— не пошел я к ней. Из зависти к Максимке, псу, это у меня. А жениться — надо. Подобную бы

найти,— без разговоров... Разговоры мне тяжеленьки стали».

Он пришел домой успокоенный и примиренный и так прожил несколько дней, не чувствуя пустоты, образовавшейся вокруг него. Но пустота стала уже непривычна ему; незаметно, с каждым днем усиливая ощущение неловкости, она внушала тревогу.

«Зря всё это затеяла попадья,— говорил сам себе Кожемякин.— Настроила меня, и вот теперь — сиди, как в яме! Дура...»

По двору тихо бродил Шакир, вполголоса рассказывая новому дворнику Фоке, где что лежит, что надо делать. Фока был мужик высокий, сутулый, с каменным лицом в густой раме бороды, выгоревшей досера. Он смотрел на всё равнодушно, неподвижным взглядом темных глаз и молча кивал в ответ татарину лысоватой острой головой.

— Ты откуда? — спросил его хозяин в день найма.

Глядя в землю, мужик не сразу ответил:

— В пачпорте, чать, показано.

— У вас там тоже голод?

— Тоже.

— Ну вот, живи смирно, может, и поправишься.

— Я — смирный,— сказал мужик, переступив с ноги на ногу, и громко сапнул носом, полным черных волос.

Его движения были медленны, вещи он брал в руки неуверенно и неловко, на ходу качался с боку на бок, точно ноги у него были надломлены в коленях, и весь он был тяжко-скучный.

Запрягая лошадь, чтобы ехать за водой, он дважды молча ударил ее кулаком по морде, а когда она, избалованная ласками Максима, метнулась в сторону, прядая ушами и выкатив испуганные глаза, он пнул ее в живот длинной своей ногой.

Хозяин, видя это из окна, закричал:

— Эй, эй — зачем? Это нельзя!

— Нельзя — не буду,— ответил Фока, ненужно задирая голову лошади и вводя ее в оглобли, а лошадь, вздрагивая и мигая, плакала.

— Нельзя! — сердито говорил Кожемякин.— Она к этому не приучена.

— Приучить — можно, — уверенно сказал мужик.

— Да зачем бить-то?

— Чтобы знала.

— Кого — тебя?

— Меня, — копаясь в упряжи, ответил Фока.— Я — новый ей.

— Так ты ее — лаской!

— Чать, она не девка! — дернув плечом и раздувая ноздри, заметил новый человек.

— Экой ты, брат, дико́й! — вздохнув, чувствуя себя побежденным, крикнул хозяин.

«Да,— думалось ему,— об эдаких пора бы позаботиться,— зверье! А они, заботники-то, всё промеж себя слова делят, мысли меряют».

О них думалось всё более неприязненно, потому что они не шли к нему. Скука подсказывала ему сердитые, обиженные мысли.

И наконец, почувствовав себя достаточно вооруженным для какого-то важного, решительного разговора, Кожемякин, нарядно одевшись, в воскресенье, после поздней обедни, отправился к попу. Шел бодро, чувствуя себя смелым, умным, нарочито хмурился, чтобы придать лицу достойное выражение, и думал:

«Я им — про Фоку этого расскажу, нуте-ка вот — как с ним быть?»

Но открыв незапертую калитку, он остановился испуганный, и сердце его упало: по двору встречу ему шел Максим в новой синей рубахе, причесанный и чистенький, точно собравшийся к венцу. Он взглянул в лицо хозяина, приостановился, приподнял плечи и волком прошел в дом, показав Кожемякину широкую спину и крепкую шею, стянутую воротом рубахи.

«И затылок подбрил!» — негодуя, отметил Матвей Савельев, пятясь назад и осторожно прикрывая калитку, но — на крыльцо вышел дядя Марк, возглашая как-то особенно шутливо:

— А-а, пож-жалуйте!

Осторожно взял гостя за руку и повел, говоря:

— Слышали, батенька, голод-то как развернулся? Умирать начали люди!

Кожемякин молча вздохнул, он ждал каких-то иных слов.

Прошли в сад; там, в беседке, попадья, закрыв лицо газетой, громко читала о чем-то; прислонясь к ней, сидела Горюшина, а поп, измятый и опухший, полулежал в плетеном кресле, закинув руки за голову; все были пестрые от мелких солнечных пятен, лежавших на их одежде.

— Мое почтение! — неестественно громко вскричал поп, вскакивая на ноги; бледное, усталое лицо Горюшиной вспыхнуло румянцем, она села прямо и молча, не взглянув в глаза гостя, протянула ему руку, а попадья, опустив газету на колени, не своим голосом спросила:

— Как поживаете?

Было ясно, что все смущены. Гость сел, положил картуз на колено и крякнул.

— Жара! — виновато воскликнул поп. — А? Жарища?

— Жарковато,— согласился Матвей Савельев.

— Дуня,— попросила попадья,— поди, пожалуйста, узнай, как обед!

— Вот,— заговорил поп, дергая дядю за рукав,— века шляется наш мужичок с места на место, а не может...

— Матвей Савельич,— сказала попадья,— мне надо поговорить с вами...

Она пошла в сад, а поп кашлянул и жалобно попросил:

— Анюта, ты не очень долго, а?

Не отвечая мужу, она строго сказала Кожемякину:

— Максим у нас.

— Видел.

— Вы — нехорошо поступили с ним.

Он искоса поглядел на нее и подумал:

«Ты всему начало положила...»

Нужно было отвечать — Кожемякин сказал первое, что пришло в голову:

— Всякому дозволяется рассчитывать работников...

— Да-а? — протянула она.— Без вины?

— Лентяй он, дармоед и дерзок,— нехотя сказал Кожемякин.— Вообще — парень нехороший.

— Неправда! — почти закричала попадья и, понизив голос, ведя гостя по дорожке вдоль забора, начала говорить, тщательно отчеканивая каждое слово:

— Если вы верите в то, что еще недавно восхищало вас, вы должны бы подумать...

Стебли трав щелкали по голенищам сапог, за брюки цеплялся кружовник, душно пахло укропом, а по ту сторону забора кудахтала курица, заглушая сухой треск скучных слов,— Кожемякину было приятно, что курица мешает слышать и понимать эти слова, судя по голосу, обидные. Он шагал сбоку женщины, посматривая на ее красное, с облупившейся кожей, обожженное солнцем ухо, и, отдуваясь устало, думал:

«Тебе бы попом-то быть!»

— Мне больно видеть вас неправым...

Кожемякин остановился, спрашивая:

— А дядюшка Марк, он — как?

И она остановилась, выпрямив спину, по ее гладкому лицу пробежала рябь морщин; похожая на осу, она спросила:

— Мое мнение вам не интересно?

Приподняла плечи и пошла прочь.

— Я его пришлю к вам.

Кожемякин оглянулся — он стоял в углу заглохшего сада, цепкие кусты кружовника и малины проросли желтою сурепой, крапивой и седой полынью; старый, щелявый забор был покрыт сухими комьями моха.

Хрустнуло, на кусты легла вуалью серая тень,— опаловое облако подплывало к солнцу, быстро изменяя свои очертания.

— Ну-с,— заговорил дядя Марк, подходя и решительным жестом поддергивая штаны,— давайте поговорим!

Кожемякин снял картуз, с улыбкой взглянул в знакомое доброе лицо и увидел, что сегодня оно странно похоже на лицо попадьи, — такое же гладкое и скучное.

— Всю эту бурю надо прекратить сразу! — слышал

он. — Парень — самолюбив, он обижен несправедливо... наденьте картуз, а то голову напечет...

«Осудил!» — подумал Кожемякин, но спросил еще с надеждой:

— Осердились вы на меня?

— Не то слово! — сказал старик, раскуривая папиросу.— Видите ли: нельзя швыряться людьми!

И снова Кожемякин ходил вдоль забора плечо о плечо с дядей Марком, невнимательно слушая его слова, мягкие, ласковые, но подавлявшие желание возражать и защищаться. Еще недавно приятно возвышавшие душу, эти слова сегодня гудели, точно надоедные осенние мухи, кружились, не задевая сердца, всё более холодевшего под их тоскливую музыку.

— Ах, сукин сын! — вдруг выдохнул он.

— Это — кто? Максим? — спросил дядя Марк, словно испугавшись.

— Конечно! Из-за него вот...

— Н-ну,— сказал старик, качая головою,— дело плохо, если так! Эх, батенька, а я считал вас... я думал предложить вам извиниться перед ним...

— Пред Максимкой? — не веря своим ушам, спросил Кожемякин, искоса взглянув на дядю Марка, а тот, разбрасывая пышную бороду быстрыми движениями руки, тихо упрашивал:

— И всё это уладилось бы...

— В чем — извиниться-то?

— Не понимаете разве?

— Обидно мне!

— А — ему?

Помолчали. Потом, смущенно глядя в лицо Кожемякина, дядя Марк, вздохнув, спросил:

— Так как же, а?

— Я пойду домой,— отводя глаза в сторону, сказал Кожемякин.— Надо подумать...

— Да, батенька, подумайте! Надо! Иначе парня не укротить,— превосходный парень, поверьте мне! Такая грустная штука, право!

Кожемякин осторожно пожал руку Марка и пошел из сада, встряхивая опустевшей, но странно тяжелой головою.

«Значит — им всё равно, что я, что Максим, даже значительней Максим-от!» — думал он, медленно шагая по улице.

Из переулка, озабоченно и недовольно похрюкивая, вышла свинья, остановилась, поводя носом и встряхивая ушами, пятеро поросят окружили ее и, подпрыгивая, толкаясь, вопросительно подвизгивая, тыкали мордами в бока ей, покрытые комьями высохшей грязи, а она сердито мигала маленькими глазами, точно не зная, куда идти по этой жаре, фыркала в пыль под ногами и встряхивала щетиной. Две желтых бабочки, играя, мелькали над нею, гудел шмель.

Кожемякин оглянулся, подошел к свинье, с размаха ударил ее ногой в бок, она, взвизгнув, бросилась бежать, а он, окинув пустынную улицу вороватым взглядом, быстро зашагал домой.

Дома, разморенный угнетающей жарою, разделся до нижнего белья, лег на пол, чувствуя себя обиженным, отвергнутым, больным, а перед глазами, поминутно меняясь, стояло лицо дяди Марка, задумчивое, сконфуженное и чужое, как лицо попадьи.

— «Стало быть — прощенья попросить?» — неоднократно говорил он себе и морщился, отплевываясь, вспоминая подбритый, как у мясника, затылок Максима, его недоверчивые глаза, нахмуренные брови.

«До чего забаловали человека! — негодующе думал он.— Баба ему понадобилась, на — получи; человека пожелал склонить пред собою — помогают! Говорят против господ, а сами из мужика готовят барина — зачем? А кто такое Максим — неизвестно. Например — Вася,— кто его извел?»

Но он тотчас оттолкнул от себя эту мысль, коварно являвшуюся в минуты, когда злоба к Максиму напрягалась особенно туго; а все другие мысли, ничего не объясняя, только увеличивали горький и обидный осадок в душе; Кожемякин ворочался на полу, тяжело прижатый ими, и вздыхал:

— О господи!

Не раз на глаза навертывались слезы; снимая пальцем капельку влаги, он, надув губы, сначала рассматривал ее на свет, потом отирал палец о рубаху, точно

давил слезу. Город молчал, он как бы растаял в зное, и не было его; лишь изредка по улице тихо, нерешительно шаркали чьи-то шаги,— должно быть, проходили в поисках милостыни мужики, очумевшие от голода и опьяняющей жары.

Кожемякин задремал, и тотчас им овладели кошмарные видения:

В комнату вошла Палага́,— оборванная и полуголая, с растрепанными волосами, она на цыпочках подкралась к нему, погрозила пальцем и, многообещающе сказав: «подожди до́ света, верно говорю — до́ света!» — перешагнула через него и уплыла в окно; потом его перебросило в поле, он лежал там грудью на земле, что-то острое кололо грудь, а по холмам, в сумраке, к нему прыгала, хромая на левую переднюю ногу, черная лошадь, прыгала, всё приближаясь, он же, слыша ее болезненное и злое ржание, дергался, хотел встать, бежать и — не мог, прикрепленный к земле острым колом, пронизавшим тело его насквозь. Но раньше, чем лошадь достигла его, он перенесся в баню, где с каменки удушливо растекался жгучий пар хлебного кваса, а рядом с ним на мокром полу сидел весь в язвах человек с лицом Дроздова, дергал себя за усы и говорил жутким голосом:

— Взмолился я, взмолился я, взмолился...

Вдруг окно лопнуло, распахнулось, и, как дым, повалили в баню плотные сизые облака, приподняли, закружив, понесли и бросили в колючие кусты; разбитый, он лежал, задыхаясь и стоная, а вокруг него по кустам шнырял невидимый пес, рыча и воя; сверху наклонилось чье-то гладкое, безглазое лицо, протянулись длинные руки, обняли, поставили на ноги и, мягко толкая в плечи, стали раскачивать из стороны в сторону, а Савка, кувыркаясь и катаясь по земле, орал:

— Аллилуйя, аллилуйя!

Набежало множество темных людей без лиц. «Пожар!» — кричали они в один голос, опрокинувшись на землю, помяв все кусты, цепляясь друг за друга, хватая Кожемякина горячими руками за лицо, за грудь, и помчались куда-то тесной толпою — так быстро, что

остановилось сердце. Кожемякин закричал, вырываясь из крепких объятий горбатого Сени, вырвался, упал, ударясь головой, и — очнулся сидя, опираясь о пол руками, весь облепленный мухами, мокрый и задыхающийся.

Встал, выпил квасу и снова, как пьяный, свалился на диван, глядя в потолок, думая со страхом и тоскою:

«Умру я эдак-то, господи! Умру один, как пес паршивый!»

Близились сумерки, и становилось будто прохладнее, когда он пришел в себя и снова задумался о горьких впечатлениях дня. Теперь думалось не так непримиримо; развертывалась — туго, но спокойнее — новая мысль:

«Конечно, если сказать ему один на один — ты, Максим, должен понять, что я — хозяин и почти вдвое старше тебя, ну...»

«Что? — спрашивал кто-то изнутри и, не получая ответа, требовательно повторял: — ну, что?»

«Развязаться бы с этим! — отгоняя мух, взывал к кому-то Кожемякин и вдруг вспомнил: — По времени — надо бы грибам быть, а в этом году, при засухе такой, пожалуй, не будет грибов...»

Сухо щелкнула о скобу щеколда калитки, кто-то легко и торопливо пробежал по двору.

«Не попадья ли?» — вскакивая, спросил себя Кожемякин, и тотчас в двери встала Горюшина.

— Ой, оденьтесь...

Тяжело дыша, красная, в наскоро накинутом платке, одной рукою она отирала лицо и, прижав другую ко груди, неразборчиво говорила, просила о чем-то. Он метнулся к ней, застегивая ворот рубахи, отскочил, накинул пиджак, бросился в угол и торопливо бормотал, не попадая ногами в брюки.

— Извините...

А она, вытягивая шею, вполголоса говорила, точно каялась:

— Анюта — попадья, Анна Кирилловна — всё сказала ему, как вы его ругали дармоедом, он так рассердился — просто ужас, и хочет идти к вам ругаться, чтобы...

— Ну-у!..— протянул Кожемякин.— Опять — то же, ах ты, господи!

— И я пришла сказать — миленький, уехали бы вы на время! Вы не сердитесь, ведь вы — добрый, вам — всё равно, я вас умоляю — что хорошего тут? Ведь всё на время и — пройдет...

«Она, действительно, добрая»,— мысленно воскликнул Кожемякин, тронутый чем-то в ее торопливых словах, и, подойдя к ней, стал просить, нелепо размахивая руками:

— Проходите, садитесь!

— Бежала очень, а — душно...

Села, положила платок на колени и, разглаживая его, продолжала более спокойно:

— Они вас, кроме батюшки, все осуждают, особенно Семен Иваныч...

— Горбатый? Экой чёрт! — удивленно воскликнул Кожемякин.

— А я — не согласна; не спорю — я не умею, а просто — не согласна, и он сердится на меня за это, кричит. Они осуждают, и это подстрекает его, он гордый, бешеный такой, не верит мне, я говорю, что вы тоже хороший, а он думает обо мне совсем не то и грозится,— вот я и прибежала сказать! Ей-богу,— так боюсь; никогда из-за меня ничего не было, и ничего я не хочу вовсе, ах, не надо ничего, господи...

Подняла к нему круглое, обильно смоченное слезами лицо и, всхлипывая, бормотала:

— Я ни в чем не виновата, я только боюсь, не случилось бы чего, миленький, уехать вам надобно...

Взволнованный, растерявшийся Кожемякин шептал:

— Я — уеду,— я для вас вполне готов!

Его испуг и недоумение быстро исчезали, сменяясь радостью, почти торжеством, он гладил голову ее, касался пальцами мокрых щек и говорил всё бодрее и веселее:

— Ничего!

И, обняв ее, неожиданно для себя сказал:

— Едемте вместе! Разве он вам пара?

Но она выплыла из его объятий и, отстраняя его, твердо ответила:

— Ой, что вы! Нельзя...

— Почему? — крикнул он, разгораясь.— Уедем, и — никто не найдет!

— Нет, нет! — говорила она, вздыхая.

— Я ведь — не просто, я женюсь...

Она опустила голову, пальцы ее быстро мяли мокрый платок, и тело нерешительно покачивалось из стороны в сторону, точно она хотела идти и не могла оторвать ног, а он, не слушая ее слов, пытаясь обнять, говорил в чаду возбуждения:

— В ночь бы и уехали, бог с ними, а? Все друг с другом спорят, всех судят, а никакого сообщества нет, а мы бы жили тихо.— едем, Дуня, буду любить, ей-богу! Я не мальчишка, один весь тут, всё твое...

И хватал ее за плечи, уверенный в победе, а она вдруг отодвинулась к двери, просто и ясно сказав:

— Нет, нельзя, теперь я уж чужая, поганая для вас...

Утром он сам догадался, что это так, и тогда даже зависти к Максиму не почувствовал, а в эту минуту ее слова точно обожгли ему лицо,— он отшатнулся и, захлебнувшись злой обидою, крикнул:

— Успела? Эх, мякоть!

Вытянув к ней руку с крепко сжатым кулаком, грозясь и брызгая слюною, искал оскорбительных слов, шипя и вздрагивая, но вдруг услыхал ее внятные слова:

— Сломал он меня! Кабы раньше вы... Прощайте, дай вам бог!..

Вспыхнула новая надежда и осветила, словно очистив женщину огнем, он бросился к ней, схватил за руку, загляпул в глаза.

— Насильно он, а? Дуня, если — насильно,— ничего! Ты — не девица, вдова...

— Нет, нет! — испуганно крикнула женщина и выросла, стала выше, вырвала руку, схватилась за скобу двери.

Она говорила еще что-то, но он уже не слушал, стоя среди комнаты, и со свистом, сквозь зубы кричал:

— Ступай... ступай!

Женщина исчезла за дверью,— он сбросил пиджак,— снова хлопнула калитка, и снова она, малень-

кая и согнутая, явилась в сумраке, махая на него рукою:

— Идет, идет,— спрячьтесь!

Он зарычал, отшвырнул ее прочь, бросился в сени, спрыгнул с крыльца и, опрокинувшись всем телом на Максима, сбил его с ног, упал и молча замолотил кулаками по крепкому телу, потом, оглушенный ударом по голове, откатился в сторону, тотчас вскочил и, злорадно воя, стал пинать ногами в черный живой ком, вертевшийся по двору. В уши ему лез тонкий визг женщины, ноющие крики Шакира, хрип Фоки и собачий лай Максима, он прыгал в пляске этих звуков, и, когда нога его с размаха била в упругое, отражавшее ее тело, в груди что-то сладостно и жгуче вздрагивало.

Черный ком подкатился к воротам, разорвался надвое, одна его часть подпрыгнула вверх, перекинулась во тьму и исчезла, крикнув:

— Помни!

И сразу стало тихо, только сердце билось очень быстро, и от этого по телу растекалась опьяняющая слабость. Кожемякин сел на ступени крыльца, отдуваясь, оправляя разорванную рубаху и всклокоченные волосы, приставшие к потному лицу. По земле ползал Фока, шаря руками, точно плавал, отплевывался и кряхтел; в сенях суетливо бегали Шакир с полуглухой зобатой кухаркой.

Потом Кожемякин пил холодный квас, а Фока, сидя у него в ногах, одобрительно говорил:

— Ловок, бес!

— Попало ему? — спросил хозяин.

— Попало, чать! А пинками — это ты меня, хозяин.

— Ну?..

— Ничего, нога у тебя мягкая...

Шакир где-то сзади шумно вздыхал и чесался.

— Это за что его били? — спросил Фока.

Хозяин не ответил, а татарин не сразу и тихо сказал:

— Тебе надо был перед знать...

Мужик, выбирая что-то из густой бороды, раздумчиво заметил:

— Мне — к чему? Я ведь так это, любопытно спросил. Трубку я выронил. Зажечь фонарь — поискать...

И, вздохнув, добавил:

— Ты бы, хозяин, поднес мне с устатку-то!

— Иди, пей,— вяло сказал Кожемякин.

Над головой его тускло разгорались звезды; в мутной дали востока колыхалось зарево — должно быть, горела деревня. Сквозь тишину, как сквозь сон, пробивались бессвязные звуки, бредил город. Устало, чуть слышно, пьяный голос тянул:

— И-е-е-и...

Фока вышел на двор с фонарем в руках и, согнувшись, подняв фонарь к лицу, точно показывая себя земле, закружился, заплутал по двору.

Кожемякин встал на ноги; ему казалось, что все чего-то ждут: из окна торчало желтое лицо кухарки, удлиненное зобом; поставив фонарь к ногам, стоял в светлом круге Фока, а у стены — Шакир, точно гвоздями пришитый.

«Осуждает, конечно,— думал Кожемякин, пошатываясь на дрожащих ногах.— Теперь все осудят!»

Вспомнилась апостольская голова дяди Марка, его доброжелательный басок, детские глаза и царапины-морщины на высоком лбу. А безбровое лицо попадьи от блеска очков казалось стеклянным...

«Максим меня доедет!» — пригрозил Кожемякин сам себе, тихонько, точно воровать шел, пробираясь в комнату. Там он сел на привычное место, у окна в сад, и, сунув голову, как в мешок, в думы о завтрашнем дне, оцепенел в них, ничего не понимая, в нарастающем желании спрятаться куда-то глубоко от людей.

— Довели! — воскликнул он, ясно чувствуя, что в этом укоре нет правды.

Вдруг, точно во сне, перед ним встали поп и Сеня Комаровский: поп, черный, всклокоченный, махал руками, подпрыгивал, и сначала казалось, что он ругается громким, яростным шёпотом, но скоро его речь стала понятной и удивила Кожемякина, подняв его на ноги.

— Он ее ударил — понимаете? Безумен и неукротим!

А горбун, квадратный, похожий на камень, съежившись, сунув руки в карманы, равнодушно говорил:

— Кашу эту расхлебать может только время, а вы — лишний...

— Вот! — схватился за слово Кожемякин.— Да, лишний я!

Горбун тотчас куда-то исчез, а поп, вихрем кружась по горнице, шептал, подняв руку выше головы:

— Вы очень виноваты, очень! Но — у меня к вам лежит сердце. Ведь чтобы бить человека — о, я понимаю! — надо до этого страшно мучить себя — да? Ведь это — так, да?

— Разыгрался я, пес! — покаянно бормотал Кожемякин.

Он готов был просить прощенья у всех, и у Максима; эта неожиданная забота о нем вызвала желание каяться и всячески купить, вымолить прощение; но поп, не слушая его восклицаний, дергал его за руки и, блестя глазами, пламенно шептал:

— Настанет день, когда и судьи и осужденные устыдятся...

— Я — на всё согласен! — обещал Кожемякин, а поп тащил его куда-то, таинственно доказывая:

— Злое нападает на нас ежедневно, отовсюду, доброе же приходит редко, в неведомый нам час, с неизвестной стороны...

— Верно! — всхлипывал Кожемякин.

— Посему — сердце наше всегда должно быть открыто, в ожидании добра...

— Довольно! — строго сказал горбун, разъединяя их.

— Пишите во всю широту души, ожидаю этого с величайшим нетерпением! — уговаривал поп, обнимая и целуя его горячими сухими губами.

Явился Шакир и сказал:

— Лошад ест.

Кожемякин сел, оглядываясь: в окно неподвижно смотрели черные на сером небе, точно выкованные из тьмы деревья.

— А вы — скорее! — сказал горбун сурово и громко.

В двери, опираясь руками о косяки, стоял, точно распятый, Фока и улыбался темной, пьяной улыбкой.

— Когда воротишь? — спрашивал Шакир, вздыхая.

Поп вцепился в Кожемякина и толкал его к двери.

— Всё пройдет, всё!

— Да будет же вам, батюшка! — крикнул горбун.

И все завертелись, заторопились, побежали, сталкиваясь, бормоча, мешая друг другу.

...Кожемякин пришел в себя, когда его возок, запряженный парою почтовых лошадей, выкатился за город.

Поднимаясь на угорье, лошади шли шагом,— он привстал, приподнял козырек картуза: впереди, над горою, всходило солнце, облив березы красноватым золотом и ослепляя глаза; прищурившись, он оглянулся назад: городок Окуров развалился на земле, пестрый, точно празднично наряженная баба, и удалялся, прятался в холмы, а они сжимались вокруг него, как пухлые, короткие Савкины пальцы, сплошь покрытые бурой шерстью, оттененной светлым блеском реки Путаницы, точно ртутью налитой. Мешая свои краски, теряя формы, дома города сливались один с другим; розовела и серебрилась пыльная зелень садов, над нею курился дым, голубой и серый. Всё там медленно соединялось в разноцветное широкое пятно, будто чьи-то сильные руки невидимо опустились на город и лениво месят его, как тесто.

Кожемякину хотелось спать, но возникло желание прощально подумать, сказать себе и людям какое-то веское, точное слово: он крепко уперся подбородком в грудь, напрягся и выдавил из усталого мозга краткое, обиженное восклицание:

— Выгнали...

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

За семь верст от Воргорода, в полугоре над светлой рекой Окшей, среди медно-красных стволов векового соснового леса крепко врос в землю богатый монастырь во имя Илии пророка.

Сквозь медь и зелень смотрит на реку широкая белая лента зубчатой ограды, связанная по углам четырьмя узлами башен. Пятая, шире и выше всех,— посредине, в передней стене, над воротами во двор, где два храма — зимний и летний — тесно обстроились хозяйственными службами. А над крышами приземистых гостиниц, кладовых и сараев возвышаются золотые чешуйчатые луковицы церковных глав и вонзились в кроны сосен узорные, в цепях, кресты. Выше в гору — огромный плодовый сад: в нем, среди яблонь, вишенья, слив и груш, в пенном море зелени всех оттенков, стоят, как суда на якорях, темные кельи старцев, а под верхней стеною, на просторной солнечной поляне приник к земле маленький, в три окна, с голубыми ставнями домик знаменитого в округе утешителя страждущих, старца Иоанна.

Миновал грозовый Ильин день, в этом году такой же нестерпимо палящий, как и все дни насмерть сухого лета; отошел трехдневный праздник, собравший сюда тысячи народа; тугая послепраздничная скука обняла монастырь. По двору, в смолистом зное, точно мухи по стеклу, ползают усталые, сердитые монахи, а старый, важный козел, стоя в дверях конюшни, смотрит умными коричневыми глазами, как люди ныряют с припека в тень зданий, и трясет рыжей бородой, заботливо расчесанной конюхом. Послушники чистят двор, загрязненный богомолами, моют обширные помещения обще-

житий и гостиниц; из окон во двор лениво летит пыль, падают корки хлеба, комья смятой промасленной бумаги, плещет вода и тотчас испаряется на камне двора, нагретого солнцем.

Большое гостеприимное хозяйство восстановляет нарушенный порядок; монахи кружатся в ленивой, усталой суете, а наверху горы, пред крыльцом кельи старца Иоанна, собрался полукруг людей, терпеливо и молча ожидающих утешения, и среди них — Кожемякин.

Почти месяц он жил в монастыре и каждый день, в три часа, не спеша, поднимался сюда по гладко утоптанной дорожке, кое-где перебитой обнаженными корнями сосен и ступенями темных плит песчаника. Завидев сквозь сети зелени зоркие окна кельи старца, Кожемякин снимал картуз, подойдя к людям, трижды в пояс кланялся им, чувствуя себя грешнее всех; садился на одну из трех скамей у крыльца или отходил в сторону, под мачтовую сосну, и, прижавшись к ней, благоговейно ждал выхода старца, простеньких его слов, так легко умягчавших душу миром и покорностью судьбе.

Старец Иоанн выходил из кельи в половине четвертого. Небольшого роста, прямой, как воин, и поджарый, точно грач, он благословлял собравшихся, безмолвно простирая к ним длинные кисти белых рук с тонкими пальчиками, а пышноволосый, голубоглазый келейник ставил в это время сзади него низенькое, обитое кожей кресло: старец, не оглядываясь, опускался в него и, осторожно потрогав пальцами реденькую, точно из серебра кованую бородку, в которой еще сохранилось несколько черных волос,— поднимал голову и темные густые брови.

Тогда открывались светлые острые глаза, и лицо старца,— благообразное, спокойное, словно выточенное из кипарисового дерева, — сразу и надолго оставалось в памяти своим внушительным сходством с ясными, добрыми ликами икон нового — «фряжского» — письма.

Пытливо оглядывая толпу склонившихся пред ним людей, глаза его темнели, суживались, лицо на минуту становилось строгим и сухим. Потом вокруг тонкого носа и у налимьего рта собирались морщинки, склады-

ваясь в успокоительную, мягкую улыбку, холодный блеск глаз таял, из-под седых усов истекал бодрый, ясный, командующий голос:

— Во имя отца и сына и святаго духа — приветствую вас сердечно, братия любезная!

Люди кланялись, падали на колени и гудели:

— Заступничек! Милостивец! Прозорливец...

Положив красивые руки на колени, старец сидел прямо и неподвижно, а сзади него и по бокам стояли цветы в горшках: пестрая герань, пышные шары гортензии, розы и еще много ярких цветов и сочной зелени; темный, он казался иконой в богатом киоте, цветы горели вокруг него, как самоцветные камни, а русокудрый и румяный келейник, напоминая ангела, усиливал впечатление святости.

Когда люди, ворча и подвывая, налезали на крыльцо, касаясь трясущимися руками рясы старца и ног его, вытягивая губы, чмокая и бормоча, он болезненно морщился, подбирал ноги под кресло, а келейник, хмурясь, махал на них рукою,— люди откатывались прочь, отталкивая друг друга, и, в жажде скорее слышать миротворные слова, сердились друг на друга, ворчали.

— Мне бы, отче, глаз на глаз,— раздавался тревожный, умоляющий голос; ему робко и настойчиво, громко и шёпотом вторили:

— И мне... и мне...

Иногда, осмотрев человека, старец приказывал:

— Отойди в сторонку...

Но чаще — внушал, ровным и убедительным голосом:

— Невозможно, не могу — видишь, сколько ожидающих? У меня не хватило бы времени, если с каждым говорить отдельно! Что хочешь сказать, о чем болит сердце?

И почти всегда люди говорили слова, знакомые Кожемякину, сжимавшие сердце тугим кольцом:

— Тоска смертная, места себе не нахожу, покоя не вижу...

Сквозь сладкий запах смол и зреющих яблок растекался мягкий, внушительный голос:

— Мир душевный и покой только в единении с гос-

подом находим и нигде же кроме. Надо жить просто, с доверием ко благости господа, надо жить по-детски, а по-детски и значит — по-божьи. Спаситель наш был дитя сердцем, любил детей и сказал о них: «Таковых бо есть царствие небесное».

Миром веяло от сосен, стройных, как свечи, вытопившаяся смола блестела золотом и янтарем, кроны их, благословляя землю прохладною тенью, горели на солнце изумрудным пламенем. Сквозь волны зелени сияли главы церквей, просвечивало серебро реки и рыжие полосы песчаных отмелей. Хороводами спускались вниз ряды яблонь и груш, обильно окропленные плодами, всё вокруг было ласково и спокойно, как в добром сне.

Кожемякин всматривался в лица людей, исчерченные морщинами тяжких дум, отупевшие от страданий, видел тусклые, безнадежно остановившиеся или безумно горящие глаза, дрожь искривленных губ, судороги щек, неверные, лишенные смысла движения, ничем не вызванные, странные улыбки, безмолвные слезы,— порою ему казалось, что перед ним одно исстрадавшееся тело, судорожно бьется оно на земле, разорванное скорбью на куски, одна изболевшаяся душа; он смотрел на людей и думал:

«По-детски жить — этим-то? Пример ли им — дети? Бьют они детей, не щадя».

А старец, всё улыбаясь круглой улыбочкой, утешительно говорил:

— Терпел земную жизнь Христос, господь бог наш, и нам повелел терпеть. Помните — как молился он в Гефсиманском саду: «Господи, пронеси мимо меня чашу сию»,— трудно было ему, труднее, чем нам, а — подчинился он кротко воле отца, спасения нашего ради! Жизнь земная дана нам для испытания. Разве спорить с богом рождены мы и разве противоречить законам его, их же несть выше? Изгоняйте из души своей гордое, дьяволом внушаемое желание состязаться с ненавидящими и обижающими вас, ибо сказано — «блаженни кроткие»; облекитесь ризами терпения, укрощайте строптивость вашу и обрящете мир душе; сопротивление же злу творит новое зло...

Он говорил всегда одно и то же: о кротости, терпении, любви и всегда — аккуратно до половины пятого.

«Этот — верит!» — думал Кожемякин, разглядывая властное, точеное лицо старца.

Один против многих, старец смотрел на людей с высоты, а они бились у ног его, точно рыбы, вытащенные сетью на сухой песок, открывали рты, взмахивали руками; жалобы их звучали угрюмо, подавленно и робко, крикливо, многословно. Все они были не схожи друг с другом, разобщены многообразными страданиями, и каждому из них своя боль не позволяла чувствовать и видеть что-либо иное, кроме нее. И на всю эту истрепанную разными судорогами толпу, обеспложенную горем, подавленную страхом,— теплыми каплями летнего дождя падали спокойные слова:

— Будьте как дети!..

«Верит»,— думал Кожемякин. И всё яснее понимал, что эти люди не могут стать детьми, не смогут жить иначе, чем жили,— нет мира в их грудях, не на чем ему укрепиться в разбитом, разорванном сердце. Он наблюдал за ними не только тут, пред лицом старца, но и там, внизу, в общежитии; он знал, что в каждом из них тлеет свой огонь и неслиянно будет гореть до конца дней человека или до опустошения его, мучительно выедая сердцевину.

Но чем тверже он знал это, тем более поражался спокойным упрямством старца, настойчивостью, с которою он внушал жаждущим отдыха и покоя:

— Терпите!

Люди слушали его речь, и вместе с тенями вечера на лица их ложилась тень успокоения — все становились глаже, сидели неподвижнее, грузнее, точно поглощенные сновидением наяву.

«Выпрошу у него прием себе и весь наизнанку вывернусь пред ним!» — не однажды обещал он сам себе и с этим обещанием спускался вниз.

Там, в номере, к нему почти каждый день приходил отец Захария, человек тучный, добрый и веселый, с опухшими веками и больными глазами в дымчатых очках, крестясь, садился за стол к самовару и говорил всегда одно и то же:

— Идите-тко, христолюбец, к нам, в покой и тишину, в сладкую молитву богу за мир этот несчастный, а? Что вам, одинокому, в миру делать? А года ваши такие, что пора бы уже подумать о себе-то, а? И здоровье, говорите, не крепкое, а?

«Пожалуй — верно!» — соображал Матвей. Ему рисовалась милая картина, как он, седой и благообразный, полный мира и тихой любви к людям, сидит, подобно старцу Иоанну, на крылечке, источая из души своей ласковые, смиряющие людей слова. Осторожно, ничего не тревожа, приходила грустно укоряющая мысль:

«Значит — и я прочь от людей, как все?»

Иногда вставало в памяти мохнатое лицо дяди Марка, но оно становилось всё более отдаленным, расплываясь и отходя в обидное прошлое.

«Здесь — спокойно. Особенно, ежели дать большой вклад».

Но однажды, поднявшись к старцу Иоанну и оглянув толпу, он заметил в ней одинокий темный глаз окуровского жителя Тиунова: прислонясь к стволу сосны, заложив руки за спину, кривой, склонив голову набок, не отрываясь, смотрел в лицо старца и шевелил темными губами. Кожемякин быстро отвернулся, но кривой заметил его и дружелюбно кивнул.

«Ну вот!» — подумал Кожемякин, чего-то опасаясь, и спрятал голову в плечи.

А через несколько минут он услыхал голос Тиунова:

— Отче Иоанн! Разрешите милостиво сомнение мое. Недавно здесь скопцов осудили судом в Сибирь, а в Евангелии сказано: «И суть скопцы, иже исказиша сами себя царствия ради небесного»,— объясните неразумному мне — как же это: они — царствия небесного ищут, а их — в Сибирь?

Келейник, двигая бровями, делал рукою запретительные знаки, а старец, прищурясь, посмотрел в лицо Тиунова и внушительно сказал:

— Это вы опять? Но я уже объяснил вам, почтенный, что присутствую здесь не ради пустого суесловия, а для мирной беседы с теми, кто ищет утешения в скорбях мира сего. Аз не есмь судия и не осуждаю никого же.

Люди оглядывались на Тиунова и роптали, келейник

наклонился, осыпав плечико старца пышными локонами русых волос, и что-то шептал в ухо ему, старец отрицательно потряс головою, а Кожемякин облегченно подумал, косясь на Тиунова:

«Не дадут ему говорить».

Но кривой всё стоял, отщепясь от людей в сторонку, накручивал бороду на палец и пристально смотрел на старца, повысившего голос.

— Не оттого мы страждем, что господь не внимает молитвам нашим, но оттого лишь, что мы не внимаем заветам его и не мира с богом ищем, не подчинения воле его, а всё оспариваем законы божии и пытаемся бороться против его...

— Именно, отче,— снова громко сказал Тиунов,— мятемся, яко овцы, не имущие пастыря, и не можем нигде же обрести его...

— Несть пастыря нам, кроме бога!

«Уйду я лучше»,— решил Кожемякин, тотчас же выбрался из круга людей, не оглядываясь пошел вниз, по извилистой дорожке между сочных яблонь и густых кустов орешника. Но когда он проходил ворота из сада во двор, за плечом у него почтительно прозвучало приветствие Тиунова, и, точно ласковые котята, заиграли, запрыгали мягкие вопросы:

— Давно ли в богоспасаемом месте этом? Всё ли, сударь, по добру-здорову в Окурове у нас? Дроздова Семена изволите помнить?

Последний вопрос коснулся сердца Кожемякина.

— Где он?

— Тут, в самом Воргороде...

И, не обидно, но умненько посмеиваясь, Тиунов рассказал: нашел Дроздов место себе у булочницы, вдовы лет на пяток старше его, и приспособила его эта женщина в приказчики по торговле и к персоне своей, а он — в полном блаженстве: сыт, одет и выпить можно, по праздникам, но из дома его без личного надзора никуда не пускают.

— Доверия к нему не больше, как к малому ребенку, потому что,— как знаете,— человек с фантазией, а булочница — женщина крутая, и есть даже слушок, что в богородицах у хлыстов ходила, откуда у нее и деньги.

А Семен обучился на гитаре играть и ко стихам большое пристрастие имеет...

— Устроился, значит? — задумчиво спросил Кожемякин.

— Видимо — так! Что же, было бы ему хорошо, людям от того вреда не будет, он не жаден.

— Разве вред от жадности?

— Первее — от глупости, конечно. Умная жадность делу не помеха...

— Какому делу?

— Всякому, вообще...

Кожемякину хотелось пить, но он не решался ни позвать Тиунова к себе, ни проститься с ним. Незаметно вышли за ограду и тихо спускались сквозь рощу по гладко мощенной дороге на берег реки, к монастырской белой пристани. Кривой говорил интересно и как бы играя на разные голоса, точно за пятерых: то задумчиво и со вздохами, то бодро и крепко выдвигая некоторые слова высоким, подзадоривающим тенорком, и вдруг — густо, ласково. И всегда, во всех его словах прикрыто, но заметно звучала усмешка, еще более возбуждавшая интерес к нему.

— Узнали старца-то?

— Нет. А — кто он?

— Наш, окуровский...

Кожемякину это показалось неприятным и неверным, он переспросил:

— Окуровский?

— Обязательно — наш! Ипполита Воеводина — знавали?

— Слыхал.

— А я его еще офицером помню,— ловкий воин был! Вон куда приметнуло!

Шли по улице чистой и богатой монастырской слободы, мимо приветливых домиков, уютно прятавшихся за палисадниками; прикрытые сзади зеленым шатром рощи, они точно гулять вышли из нее дружным рядом на берег речки. Встречу попадались нарядно одетые, хорошо раскормленные мещане, рослые румяные девицы и бабы, а ребятишки казались не по возрасту солидными и тихими.

— Отчего же он в монастырь? — не очень охотно спросил Кожемякин.

— Не слыхал. Думаю — от нечего есть,— говорил Тиунов, то и дело небрежно приподнимая картуз с черепа, похожего на дыню.— По нынешнему времени дворянину два пути: в монахи да в картежные игроки,— шулерами называются...

— А в чиновники?

— Это — как в солдаты, всякому открыто.

— И в монахи всякий может...

— Высоко — не пустят!

— Куда — высоко?

— До проповеди. В проповедники, в старцы, всегда норовят дворянина поставить, потому он — не выдаст...

— Кого?

— Вообще... тайную механику эту,— уклончиво сказал кривой, вышагивая медленно и важно, точно журавль, и всё время дергая головою вверх, отчего его жесткая бородка выскакивала вперед, как бы стремясь уколоть кого-то своим острием.

Слова кривого тревожили навеянное монастырем чувство грустной покорности.

— Обратите вниманьице: почитай, все святые на Руси — князья, бояре, дворяне, а святых купцов, мещан алибо мужиков — вовсе нет; разве — у староверов, но эти нами не признаются...

Кожемякин неопределенно сказал:

— Н-да, по житиям — дворянства во святых довольно много!

— Вообще — верховое сословие первое достигает бога. Ну, а ежели бы дворянские-то жития мужичок писал, ась?

Кривой прищурил глаз и тихонько засмеялся, Матвей Савельев тоже ответил ему невольной усмешкой, говоря:

— Неграмотен, не может.

— Во-от! — одобрительно воскликнул Тиунов, приостанавливаясь. И, понизив голос, таинственно заговорил:

— Не туда, сударь, не в ту сторону направляем ум — не за серебро и злато держаться надобно бы, ой,

пет, а вот — за грамоту бы, да! Серебра-злата надо мно-ого иметь, чтобы его не отняли и давало бы оно силу-власть; а ум-разум — не отнимешь, это входит в самую кость души!

«Будь-ка я знающ, как они, я бы им на всё ответил!» — вдруг вспыхнула у Кожемякина острая мысль и, точно туча, рассеялась в груди; быстро, как стрижи, замелькали воспоминания о недавних днях, возбуждая подавленную обиду на людей.

— Все нам судьи,— ворчал он, нахмурясь,— а мы и оправдаться не умеем...

— Колокола без языков, звоним, лишь когда снаружи треснут...

— Верно!

— Азбука! Не живем — крадемся, каждый в свой уголок, где бы спрятаться от командующих людей. Но если сказано, что и в поле один человек не воин — в яме-то какой же он боец?

— Нуте-ка, зайдемте чайку попить!— решительно сказал Кожемякин, взяв кривого за локоть.

Ему казалось, что он вылезает на свет из тяжелого облака, шубой одевавшего и тело и душу. Прислушиваясь к бунту внутри себя, он твердо взошел по лестнице трактира и, пройдя через пестрый зал на балкон, сел за стол, широко распахнув полы сюртука.

— Пожалуйте-ко!

— Расчудесно,— потирая темные руки, говорил Тиунов и, окинув глазом всех и всё вокруг, сел против Кожемякина. Матвей Савельев тоже оглянулся, посмотрел даже вниз через перила балкона и тихо, доверчиво спросил:

— А как вы думаете насчет старца?

— О-очень злой барин,— ого! — ответил Тиунов, подняв вверх палец.

Острая усмешка обежала его раненое лицо и скрылась в красном шраме на месте правого глаза.

— Я с ним,— вполголоса продолжал он, мигая глазом,— раз пяток состязался, однова даже под руки свели меня вниз — разгорячился я! Очень вредный старичок...

— В едный? — переспросил Кожемякин, с жутким,

но приятным ощущением, точно ему занозу вынимали.

— Обязательно — вредный! — шептал Тиунов, и глаз его разгорался зеленым огнем.— Вы послушайте мое соображение, это не сразу выдумано, а сквозь очень большую скорбь прокалено в душе.

Навалившись грудью на стол, воткнув глаз в лицо собеседника, он тихонько, кипящими словами шептал:

— Кто мы есть? Народ, весьма примученный тяжелою жизнью, ничем не вооруженный, голенький, сиротский, испуганный народ, азбучно говоря! Родства своего не помним, наследства никакого не ожидаем, живем вполне безнадежно, день да ночь — сутки прочь, и всё — авось, небось да как-нибудь — верно? Конечно — жизнь каторжная, скажем даже — анафемская жизнь! Но — однако же и лентяи ведь и лежебоки, а? Ведь этого у нас не отнимешь, не скроешь, так ли?

— Это — есть! — согласился Кожемякин.

— Есть? — радостно воскликнул кривой.

И тотчас внушительно и победно зашептал:

— Но — и другое есть: народ наш сообразительный, смекалистый, на свой салтык — умный,— азбука!

— А старец? — спросил Матвей Савельев.

— Сейчас дойдем! Первее — народ. Какие у него мозги — вопрос? Мозги, сказать правду,— серые, мягкие, думают тяжко и новых путей не ищут: дед с сохой да со снохой, внук за ним тою же тропой! Силы — не мало, а разума нехватка, с разумом — не живут, считается, что он барское изделие, а от барина — какое добро? Жизнь обидная и нищая. С кем по душе поговорить? С бутылкой да вот — с Ипполитом Воеводиным, верно? Ну, прихожу я к нему: «Старче — жить не умею!» А он мне: «Это и не требуется, ты к смерти готовься! Здесь, на земле, всё равно как ни живи — помрешь, главное — небо, небеса, царствие божие!» Вот он откуда вред — видите? Али царствие божие для лентяев, а? Никогда! А он способствует разрождению бездельников, коим и без него у нас — числа нет! Что он говорит? Терпи, покорствуй, не противься злому, на земле не укрепляйся, ибо царствие божие не от мира сего, бог, дескать, не в силе, коя тебя ломит, а в правде,— что же

это такое — правда, между тем? Это и есть — сила, ее и надобно найти да в руки взять, чтобы ею оборониться от всякого вреда в жизни! Бог именно в силе разума, а разум — правда, тут и заключена троица: разум, правда, а от них — вся сила богова!

У него потемнело лицо, а шрам на месте глаза стал красен, как уголь, и горячий его шёпот понизился до хрипа.

— Что сказал господь? Вот тебе земля, возделай ее, яко рай, в поте лица твоего! А когда Христос сказал: «Царство мое не от сего мира»,— он разумел римский и жидовский мир, а не землю,— нет! Тут надо так понимать — царство мое не от сего мира — жидовского и римского,— а от всего мира! Обязательно! Значит — царствие-то богово на земле, и — действуй, человече, бог тебе в помощь! А все эти утешительные слова только лени нашей потворствуют. Нет, будет уж! Никаких утешений, и чтобы одна правда! Пришел человек — тоска! Работай. Силов нет! Прикопи. Не могу! Прощай. Очень коротко. Как в солдаты: лоб — затылок; боле ничего!

Это не понравилось Кожемякину, он отклонился от стола и пробормотал:

— Строгонько будто бы?

— Без всякого послабления!

Копченое лицо Тиунова вздрогнуло, беззубый рот растянулся в усмешку и глаз странно запрыгал.

— Я, сударь мой, проповедников этих не один десяток слышал, во всех концах землишки нашей! — продолжал он, повысив голос и кривя губы.— Я прямо скажу: народу, который весьма подкис в безнадежности своей, проповеди эти прямой вред, они ему — как вино и даже много вредней! Людей надо учить сопротивлению, а не терпению без всякого смысла, надобно внушать им любовь к делу, к деянию!

«То же Марк Васильев говорил,— мысленно отметил Кожемякин,— значит — есть в этом какая-то правда, ежели столь разные люди...»

Слушая, он смотрел через крышу пристани на спокойную гладь тихой реки; у того ее берега, четко отражаясь в сонной воде, стояли хороводы елей и бе-

рез, далее они сходились в плотный синий лес, и, глядя на их отражения в реке, казалось, что все деревья выходят со дна ее и незаметно, медленно подвигаются на край земли. Среди полян возвышались стога сена, около них, не торопясь, ходили мужики, в синем и красном, и метали сено на телеги. А на вершинах деревьев, отраженных водою, неподвижно повисла лодка, с носа ее торчали два длинных удилища, и она напоминала огромного жука. Через реку поплыл тяжелый черный паром, три черных монаха — двое у струны, один на руле — вели его, за ним широкими крыльями простерлась по воде рябь, и отражения заколебались, ожив и точно выбегая на зеленый берег.

«Похерить хочет старца-то»,— думал Кожемякин, удивляясь равнодушию, с которым он принимал дерзкие речи кривого, а тот как в барабан бил, горячо и быстро отчеканивая глуховатым голосом:

— Каждый человек должен найти свое пристрастие — без пристрастия какая жизнь? Возьмем, примерно, вас...

— Меня? — с испугом спросил Кожемякин.

— Не персонально вас, а вообще — купца... Сословие!

— Н-да?

— Какое это сословие?

— А что?

— Сила-с!

— Мм... А — в чем сила все-таки?

— Во всем! — победно сказал Тиунов.— Дворянство-то где? Какие его дела ноне заметны? Одни судебно-уголовные! А впереди его законно встало ваше сословие. Купец ли не строит городов, а? Он и церкви, и больницы, богадельни ставит, новые пути кладет и, можно сказать, всю землю вспорол, изрыл, обыскивает — где что полезно,— верно-с?

Кожемякин утвердительно кивнул головой, а Тиунов, сердито подняв брови, перекосил лицо и почти с озлоблением закричал:

— А до главнейшего не доходит! Ему что надо для полного верховодства? Грамота, наука! Ему бы не больницы, а школы возводить для обучения всех людей

настоящему делу, чтобы всякий мог понимать, что есть Россия! Азбука-с! Кто, кроме купечества, народ поддержать может? Всем прочим человек нужен для грабежа, чтоб сорвать с него целковый, а купцу потребен работник, делец! Вот — воспитай деловой народ-то, чтобы он понимал сам себя и Россию! Возведи человека на высоту разума, чтобы он, оглядевшись, нашел себе дело по сердцу, а не суй его клином куда попало, он хоша плох, да — живой, это ему больно!

— Купец для многих вроде бранного слова,— заметил Кожемякин, вспомнив Галатскую.

— А почему? — взвился кривой.— Почему пренебрежение к силе? Это вот они всё воспитали, Ипполитушки-Иванушки! Блаженни кротции, с них очень просто рубаху снять! Нет, это баловство! Крохоборство пора прекратить. Все друг с друга рубахи рвут и даже со шкурой, однако — толку не видно от этого. Держим один другого за шиворот и толчемся на одном месте, а питаемся не от плодов и сокровищ земли, а кровью ближнего, а кровь — дрянная, ибо отравлена водочкой-с, да-с! Нет, ты помоги человеку одеться достойно званию, вооружи его настояще, дай ему всё, и тогда — он те возместит с хорошим процентом! Разумный человек долги свои платит, это только дурак мечтает схватить бы сто рублей да убежать...

— Дельно говорите! — похвалил Кожемякин, заражаясь воодушевлением собеседника, а тот, хвастливо тыкая пальцем в свой коричневый лоб, сказал:

— Думала эта голова! Э-эх, сударь мой! Смотришь, смотришь везде: господи, экая сторона благодатная! И чего в ней нет? Всё есть, кроме разума! Обидно до жгучих слез: земля оврагами изранена, реки песками заметаны, леса горят, деревни — того жесточе, скотина — вроде вшей, мужик живет дико, в грязи, без призора, глуп, звероват, голоден, заботы о нем никакой, сам бы о себе, может, позаботился — не размахнешься, запрещено! Живем вроде как в плену, нет нам никакой науки. И вся премудрость государства — рубль казне отдай и — как хошь — пропадай!

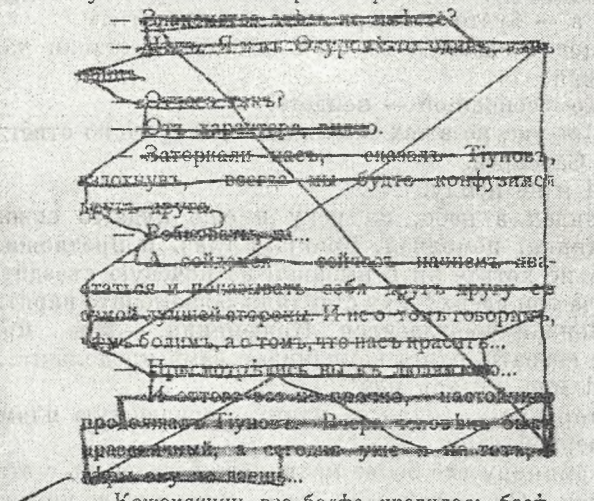
Он прикрыл свой пламенный глаз, и из-под ресниц тяжело выкатилась большая слеза. Это очень тронуло

чевую съѣздить, версты за три вверхъ? Уху стерляжью знаменито варятъ...

— Можно! — согласился Кожемякинъ.— Мнѣ, признаться сказать, охота компанію съ вами продолжить...

— И мнѣ, сударь мой!

Не торопясь вышли на улицу, окрашенную пламенемъ вечерней зари.



Кожемякину все болѣе нравилось бесѣдовать съ этимъ человѣкомъ. Онъ чувствовалъ себя стоящимъ въ уровень съ кривымъ,

**«ЖИЗНЬ МАТВЕЯ КОЖЕМЯКИНА».**

**Страница печатного текста с правкой М. Горького для издательства «Книга».**

Кожемякина, он вспомнил точеное лицо старца Иоанна и подумал:

«Тот—не заплачет! А Марк Васильев тоже плакал...»

— Извините,— тихо сказал Тиунов, спрятав лицо.— Разбередил свое сердце несколько.

Кожемякин, вздохнув, молча отвернулся в сторону. С горы тянул вечерний ветер; ударили ко всенощной, строгий звон поплыл за реку, в синий лес, а там верхушки елей, вычеканенные в небе, уже осветились красным огнем.

«Уйдет кривой,— думал Кожемякин,— останусь я один, опять думы разные навалятся. Захария начнет зудеть, надоест, и попаду я в монахи. Старец этот, действительно... Терпи, а — за что? Кривой говорит дерзко, а — будто подыгрывается и льстит...»

Тиунов отодвинул от себя недопитый стакан чая, спрашивая:

— Ко всенощной — пойдете?

— Нет уж, не в тех мыслях я,— задумчиво ответил Матвей Савельев.

— И я не пойду.

Поглядел в небо, на реку и еще куда-то сквозь Кожемякина, помолчал, прикрыв глаз, и предложил:

— А не хотите ли к рыбакам на ночевую съездить, версты за три вверх? Уху стерляжью знаменито варят...

— Можно! — согласился Кожемякин. — Мне, признаться сказать, охота компанию с вами продолжить...

— И мне, сударь мой!

Не торопясь, вышли на улицу, окрашенную пламенем вечерней зари.

Кожемякину всё более нравилось беседовать с этим человеком. Он чувствовал себя стоящим в уровень с кривым, не ниже его. Недоверие к Тиунову не исчезало, но отстранялось возрастающим интересом к его речам.

«Говорит тихо, а будто криком кричит»,— снова вспомнилось давно пережитое впечатление.

Спустились, почти съехали на ногах вместе с песком к реке; под кормой пристани, над бортом синей лодки торчала большая курчавая седая голова.

— Назарыч, эй!

— Эй! Пришел?

В лодке поднялся огромный, широкоплечий, краснорожий старик, посунул лодку к берегу и, когда она ткнулась в песок, сказал, густо и дружески:

— Влезайте.

— Каков человек? — спросил Тиунов, усаживаясь и подмигивая Кожемякину на лодочника.

— Хорош! — согласился тот, мимолетно подумав: «Завезут куда да и укокают...»

Старик, разбирая весла, улыбался воловьими глазами, говоря:

— Бабы это самое, — что хорош я, — очень понимают...

— Велик ты, Назарыч, грешник! — с ласковой насмешкой сказал Тиунов.

— И царь богу грешен.

Сидел Назарыч прямо, не качаясь, греб не торопясь, силою одних рук, без шума, только скрипели уключины да журчала под носом лодки встревоженная вода и, разбегаясь от бортов, колебала темные отражения прибрежных зданий. Кожемякин чувствовал себя маленьким и оробевшим перед этим стариком. Плыли против течения, а ему казалось, что он ровными толчками опускается куда-то вниз. В лад с тихим плеском воды растекался неуемный и точно посеребренный насмешкою голос Тиунова.

— Вот он — красоты завидной, силы неутомимой человек, шестьдесят семь лет держит на плечах — не крякнет, и до ста доживет, а жил не жалеючи себя,— верно, Назарыч?

— Да ведь так. Чего жалеть-то? Дана богом сила, стало быть, пользуйся ей...

— А вся сила потрачена зря, безо всякой охоты оставить в людях память о себе. А захоти он — был бы, при этой своей силе, великого дела заводчик, и людям кормилец, и сам богат...

Расслабленно поддаваясь толчкам лодки, Кожемякин качался, смотрел на острый череп Тиунова, на темное его лицо с беспокойным глазом, и думал:

«Экой неугомонный! И всё о богатстве. Жаден, видно».

Поучительно сказал:

— Богатство не спасает.

— Верно! — подтвердил рыбак. — Христос-от нищий был, рыбачил вон с апостолами...

— Нет, ежели человек не хоронит себя в деньгах, а вертит ими с разумом, это и ему честь и людям польза! Богатство нам надобно,— всего у нас много, а взяться нечем, и все живут плохо...

— Приехали,— сказал старик, разогнав лодку и выбросив ее на песчаную отмель. Выскочил за борт, приподнял нос лодки, легко потянул ее по сырому песку, а потом выпрямился и крепким голосом властно позвал:

— Николка-а!

Широко шагая, пошел к землянке, прислонившейся под горой. Перед землянкой горел костер, освещая черную дыру — вход в нее; за высокой фигурой рыбака влачились по песку две тени, одна — сзади, черная и короткая, от огня, другая — сбоку, длинная и посветлее, от луны. У костра вытянулся тонкий, хрупкий подросток, с круглыми глазами на задумчивом монашеском лице.

— Придурковатый,— сказал Тиунов. — С испуга, пожара испугался, сестренка с матерью сгорели у него, а он — помешался. Жил в монастыре — прогнали, неудобен. А будь он старше — за блаженного выдали бы, поди-ка!

И кривой тихонько засмеялся.

В синем небе висел измятый медный круг луны, на том берегу от самой воды начинался лес, зубцы елей напоминали лезвие огромной пилы; над землянкой круто поднимался в гору густой кустарник, гора казалась мохнатой, страшной, сползающей вниз. И всё вокруг было большое, страшное, как в сказке. Тускло блестела река, и казалось, что она не течет, а толчками двигается на одном месте то взад, то вперед. Светло вспыхнул костер, обняв повешенный над ним черный котелок, на песке затрепетали тени, точно забились в безмолвных судорогах большие, насмерть раненные птицы.

— Прозевал ты свою жизнь,— твердил Тиунов, дразнясь.

— Ладно и так,— ответил Назарыч, стоя у костра, весь в трепете красных отражений.

Кожемякин прилег на рогоже около землянки и подумал:

«Никуда не уйдешь от этих разговоров!»

А у костра, сливаясь с треском огня, мирно текла тихая беседа.

— Не велел господь таланты в землю зарывать, а велел жить на людях...

Рыбак густо и лениво отвечал:

— Одначе — святые угодники в лесах, пустынях ютились...

— Погоди...

— А теперь и вовсе нет их,— народишко всё отбойней становится, злее...

— Надобно привести всех к разуму...

— Разродился очень народ. Раньше простота была: барин, мужик да монах, тут и все люди...

— А купец, а солдат?

— Они тоже — мужики! А ныне — чиновника этого пошло густо, адвокаты, учителя, речная полиция и всякая; барыни бездомные какие-то объявились, и не понять — откуда бы?

«Нет, — снова подумал Кожемякин, в припадке тоски, внезапной и острой,— от этого разговора не укроешься...»

И перестал слушать, вспомнив страшный и смешной рассказ; лежал он ночью в маленькой, оклеенной синими обоями комнатке монастырской гостиницы, а рядом, за тонкой переборкой, рассказывали:

— И было ему тридцать шесть годов о ту пору, как отец послал его в Питер с партией сала, и надумал он отца обойти, прибыл в Питер-то да депеш отцу и пошли: тятенька-де, цены на сало нет никакой! Получил старый-то Аржанов депеш, взял медный таз, вышел в прихожую горницу, встал на колени да, наклоня голову-то над тазом, — чирк себя ножиком по горлу, тут и помер.

— Тсс?..

— И помер.

— Н-да-а! Таз-от — зачем ему был?

— А чтобы пол кровью не залить, не отмоешь ведь кровь-то, скоблить надо пол, а это ему жалко.

— Бережлив был, господь с ним!

— Ну, так вот. Депеш, конечно, фальшивый: продал Гришук товар по цене, воротился домой и — зажил по своей воле. Женился на бедненькой, запер ее в дому, а сам волком по губернии рыщет, землю у башкирья скупает за чай, за сахар, за водку, деньга к нему ручьями льется. И прошло еще тридцать лет...

— Тридцать?

— День в день — не скажу, а может, и боле тридцати. Вырос у Гришука сын, этот самый Василей, и — пошло всё, как при деде: послал его Гришук с овчиной да кожами на ярмарку к Макарию, а Василей ему такую же депеш и пошли. Рассчитывал, значит, что и отец, как дедушка,— зарежется, получив эдакую весть. Ну, Гришука на кривой не объедешь! Отвечает: продай за что дают и возвращайся. Хорошо. Продал Вася, приехал домой, а Гришук и встретил его в той самой прихожей, где дедушка зарезался, да кочергой его железной и отвалял, да так, что вот с той самой поры и живет Вася дурачком.

Торжествующий голос рассказчика пресекся на минуту, и стало слышно, как на дворе монах ругает конюхов:

— Бесы вы эфиопские...

Сиплый голос спросил:

— С чего он помер, Григорий-то?

— Со старости, чай, а может, и с дурной пищи... Ел он плохо: ходит, бывало, по базару и где увидит у торговки яйца тухлые, яблоки-мякушки, ягоду мятую — привяжется: «Ты что делаешь, мать? Город у нас холерный, а ты продаешь гнилье, а? Вот как я кликну полицию!» Нагрозит бабе-то, а она, конечно, испугается. Ведь ежели сам, всеми уважаемый, Григорий Аржанов полицию позовет, — не простят! И готова товар свой бросить да бежать, а тут он ей и скажет: «Жалко мне тебя, баба, бедная ты, баба, на тебе копейку, а дрянь эту мне отдай». Ссыплет всё с лотка в мешок свой и за копейку кормится с семьей.

— От миллионов-то?

— От них.

— Сорок будто у него было?

— Считался в сорока.

— Миллион тоже много от человека требует!

«Вот,— угрюмо думал Кожемякин,— разберись в этом во всем!»

— Скипела уха! — возгласил рыбак, чмокая губами, и крикнул:

— Эй, купец! Иди уху хлебать...

— Не тронь, не буди,— сказал Тиунов.— У него душа болит...

Они начали шептаться, и под этот тихий шёпот Кожемякин заснул.

Проснулся на восходе солнца, серебряная река курилась паром, в его белом облаке тихо скользила лодка, в ней стоял старик. Розовый весь, без шапки, с копной седых волос на голове, он размахивал руками и кланялся, точно молясь заре и вызывая солнце, еще невидное за лесом. Неподалеку от Кожемякина, на песке, прикрытый дерюгой, лежал вверх лицом Тиунов, красная впадина на месте правого глаза смотрела прямо в небо, левый был плотно и сердито прикрыт бровью, капли пота, как слезы, обливали напряженное лицо, он жевал губами, точно и во сне всё говорил.

«Вот тоже сирота-человек,— с добрым чувством в груди подумал Кожемякин, вставая на ноги.— Ходит везде, сеет задор свой,— какая ему в этом корысть? Евгенья и Марк Васильев — они обижены, они зря пострадали, им возместить хочется, а этот чего хочет?»

Где-то далеко равномерно хлопал по воде плицами тяжелый пароход.

— Уп-уп-уп,— откликалась река.

Проснулись птицы, в кустах на горе звонко кричал вьюрок, на горе призывно смеялась самка-кукушка, и откуда-то издалека самец отвечал ей неторопливым, нерешительным ку-ку. Кожемякин подошел к краю отмели — два кулика побежали прочь от него, он разделся и вошел в реку, холодная вода сжала его и сразу насытила тело бодростью.

«Нехорошо в монастыре, перееду-ка сегодня в город!» — вдруг решил он.

Выкупался и, озябший, долго сидел на песке, подставив голое тело солнцу, уже вставшему над рекой.

— Здорово! — раздался сзади крепкий голос рыбака. — А мы переметишки поставили; сейчас чаю попьем, ась? Ладно ли?

— Хорошо! — согласился Кожемякин, оглянув старика: широко расставив ноги, он тряс мокрой головой, холодные брызги кропили тело гостя.

— То-то и есть, что хорошо! — сказал он, присаживаясь на корточки и почесывая грудь.

— А Захарыч набунтовался — спит, душа! Человек умный, видал много, чего нам и не знать. До утра меня манежил, ну — я ему, однако, не сдался, нет!

Широко улыбнувшись, он зевнул и продолжал:

— Я понимаю — он хочет всё как лучше. Только не выйдет это, похуже будет, лучше — не будет! От человека всё ведь, а людей — много нынче стало, и всё разный народ, да...

Дружелюбно глядя серыми воловьими глазами в лицо Кожемякина, он сочно и густо засмеялся.

— По весне наедут в деревни здешние: мы, говорят, на воздух приехали, дышать чтобы вольно, а сами — табачище бесперечь курят, ей-богу, право! Вот те и воздух! А иной возьмет да пристрелит сам себя, как намедни один тут, неизвестный. В Сыченой тоже в прошлом году пристрелился один... Ну, идем к чаю.

И, шагая рядом с Кожемякиным, он крикнул:

— Эй, Захарыч! Поднимайся, гляди, где солнце-то...

Тиунов вскочил, оглянулся и быстро пошел к реке, расстегиваясь на ходу, бросился в воду, трижды шумно окунулся и, тотчас же выйдя, начал молиться: нагой, позолоченный солнцем, стоял лицом на восток, прижав руки к груди, не часто, истово осенял себя крестом, вздергивал голову и сгибал спину, а на плечах у него поблескивали капельки воды. Потом торопливо оделся, подошел к землянке, поклонясь, поздравил всех с добрым утром и, опустившись на песок, удовлетворенно сказал:

— Хорошо на восходе солнышка в открытом месте богу помолиться!

— А это разве положено, чтобы нагому молиться? — спросил рыбак.

— Не знаю. Я — для просушки тела...

Тотчас после чая сели в лодку, придурковатый молчаливый парень взял весла, а старик, стоя по колена в воде, говорил Кожемякину:

— Приезжай когда и один, ничего! Посидим, помолчим. Я смирных уважаю. Говорунов — не уважаю, особливо же ежели одноглазые!

И, откинув лохматую серебряную голову, широко открыв заросший бородою рот, — захохотал гулко, как леший, празднично освещенный солнцем, яркий в розовой рубахе и синих, из пестряди, штанах.

— Экая красота человек! — ворчал Тиунов, встряхивая неудачно привешенной бородкой.— И честен редкостно, и добр ведь, и не глуп,— слово сказать может, а вот — всё прошло без пользы! Иной раз думаешь: и добр он оттого, что ленив, на, возьми, только — отступись!

«Опять — знакомо!» — вздрогнув и вспомнив Маркушу, подумал Кожемякин.

Кривой печально задумался и спустя минуту снова говорил:

— Сколько я эдаких видал — числа нет! И всё, бессомненно, хороший народ, а все — бездельники! Рыбачество — это самое леностное занятие...

«Вроде Пушкарева он,— соображал Кожемякин.— Вот — умер бы Шакир, я бы этого на его место».

Через несколько дней Кожемякин почувствовал, что копченый одноглазый человек — необходим ему и берет над ним какую-то власть.

— Первее всего,— таинственно поучал он,— каждый должен оценить свое сословие, оно — как семья ему, обязательно! Это зря говорится: я — не мужик, а рыбак, я — не мещанин, а торговец, это — разъединяет, а жить надобно — соединительно, рядами! Вы присмотритесь к дворянам: было время, они сами себе исправников выбирали — кого хотят, а предводителя у них и по сию пору — свои люди! Когда каждый вста-

пет в свой ряд — тут и видно будет, где сила, кому власть. Всякое число из единиц — азбука! И все единицы должны друг ко другу плотно стоять, и чтобы единица знала, что она не просто палочка с крючком, а есть в ней живая сила, тогда и нолики ее оценят. А перебегая туда-сюда, человек только сам себе и всему сословию игру портит, оттого и видим мы в дамках вовсе не те шашки, которым это надлежит!

— Верно,— согласился Кожемякин, вдруг вспоминая Максима.

Кривой повел Кожемякина в городской манеж на концерт в пользу голодающих: там было тесно, душно, гремела военная музыка, на подмостки выходили полуголые барыни в цветах и высокими, неприятными голосами пели то одна, то — две сразу, или в паре с мужчинами в кургузых фраках.

— Глядите,— зудел Тиунов,— вот, несчастие, голод, и — выдвигаются люди, а кто такие? Это — инженерша, это — учитель, это — адвокатова жена и к тому же — еврейка, ага? Тут жида и немца — преобладание! А русских — мало; купцов, купчих — вовсе д же нет! Как так? Кому он ближе, голодающий мужик,— этим иноземцам али — купцу? Изволите видеть: одни уступают свое место, а другие — забежали вперед, ага? Ежели бы не голод, их бы никто и не знал, а теперь — славу заслужат, как добрые люди...

Сидели они высоко, на какой-то полке, точно два петуха, их окружал угрюмый, скучающий народ, а еще выше их собралась молодежь и кричала, топала, возилась. Дерево сидений скрипело, трещало, и Кожемякин со страхом ждал, что вот всё это развалится и рухнет вниз, где правильными рядами расположились спокойные, солидные люди и, сверкая голыми до плеч руками, женщины обмахивали свои красные лица.

— Всё горе оттого, что люди не понимают законного своего места! — нашептывал Тиунов.

Расхаживая с Кожемякиным по городу, он читал вывески:

— Шторх — значит — немец. Венцель — тоже, бессомненно. Бух и Митчель, Кноп, эва — сколько! Изак-

сон, Майзель — обязательно евреи! А где Русь, Россия? Вот это и значит — полорото жить!

Кожемякина тоже удивляло обилие нерусских имен на вывесках, но слова Тиунова были неприятны ему жадностью и завистью, звучащими в них.

Он сказал:

— Какой веры ни будь — пить-есть надо!

— Верно! Азбука! Надо, но — пусть каждый на своем месте!

— Да ежели у жидов нет своего царства!

— Они и не опасны: сказано — «Жид со всяким в ногу побежит». А немцы, а? Сегодня они купцов напустят, завтра — чиновников наведут, а там — глядите — генералов, и — тю-тю наше дело!

Крикливый, бойкий город оглушал, пестрота и обилие быстро мелькавших людей, смена разнообразных впечатлений — всё это мешало собраться с мыслями. День за днем он бродил по улицам, неотступно сопровождаемый Тиуновым и его поучениями; а вечером, чувствуя себя разбитым и осовевшим, сидел где-нибудь в трактире, наблюдая приподнятых, шумных, размашистых людей большого города, и с грустью думал: «У нас, в Окурове, благообразнее и тише живут...»

Шумная, жадная, непрерывная суета жизни раздражала, вызывая угрюмое настроение. Люди ходили так быстро, точно их позвали куда-то и они спешат, боясь опоздать к сроку; днем назойливо приставали разносчики мелкого товара и нищие, вечером — заглядывали в лицо гулящие девицы, полицейские и какие-то темные ребята.

Иногда девица нравилась ему, возбуждая желание купить ее ласки, но неотвязный, как тень, кривой мешал этому.

— Сколько их тут! — сказал он однажды в надежде завязать разговор, который погасил бы это чувство.

А кривой, всегда и всё готовый разъяснить, поучительно и охлаждающе ответил:

— Многонько! Ремесло, бессомненно, непохвальное, но я — не в числе осуждающих. Всем девицам замуж не выйти — азбука! Нищих плодить — тоже одно обре-

менение жизни. Засим — не будь таких, вольных, холостежь в семьи бы бросилась за баловством этим, а ныне, как вы знаете, и замужние и девицы не весьма крепки в охране своей чести. Приходится сказать, что и в дурном иной раз включено хорошее...

«Верно говорит, кривой бес!» — мысленно воскликнул Кожемякин, проникаясь всё большим почтением к учителю, но поглядывая на него с досадой.

А пред ним всплывали смутно картины иной возможной жизни: вот он сидит в семье своих окуровских людей, спокойно и солидно беседуя о разных делах, и все слушают его с почтительным вниманием.

«Сказать я много могу теперь! Как туда воротишься, домой-то? Скандал пойдет...»

И спросил Тиунова:

— А судебным делом не занимались вы?

— У мировых выступал! — с гордостью, дернув головой, сказал Тиунов.— Ходатайствовал за обиженных, как же! Теперь это запретили, не мне — персонально, — а всем вообще, кроме адвокатов со значками. Они же сами и устроили запрещение: выгодно ли им, ежели бы мы могли друг друга сами защищать? И вот опять — видите? И еще: всех людей судят чиновники, ну, а разве может чиновник всякую натуру понять?

Сидели в трактире, тесно набитом людьми, окуровский человек исподлобья следил за ними и не верил им: веселились они шумно, но как будто притворно, напоказ друг другу. В дымной комнате, полной очумелых мух, люди, покрасневшие от пива, водки и жары, судорожно размахивали руками, точно утопая или собираясь драться; без нужды кричали, преувеличенно хвалили друг друга, отчаянно ругались из-за пустяков и тотчас же мирились, целуясь громко.

Играла машина, ревели и визжали полоротые медные трубы, трескуче бил барабан, всё это орало нарочито сильно, и казалось, что приказчики, мастеровые, мелкие чиновники, торгаши — все тоже, как машина, заведены на веселье, но испорчены внутри, во всех не хватает настоящего, простого человечьего веселья, люди знают это и пытаются скрыть друг от друга свой общий

изъян. Часто люди, только что казавшиеся пьяными и бурно шумевшие, вдруг затихали, наклонясь друг к другу, говорили о чем-то серьезно и трезво, а Кожемякин смотрел на них и думал:

«Это, конечно, жулики...»

Порою мелькало обезумевшее лицо с вытаращенными глазами, мертвое и вздутое, как лицо утопленника; оставались в памяти чьи-то испуганные, виноватые улыбки, свирепо нахмуренные брови, оскаленные зубы, туго сжатые кулаки одиноких людей, сидевших в углах. Иногда кто-нибудь из них вставал и, опустив голову, осторожно пробирался к выходу из трактира,— думалось, что человек пошел бить кого-то, а может — каяться в великом грехе.

А сквозь нарочито преувеличенный шум и гам, легко, как шило сквозь гнилую кожу, проходил неутомимый язык Тиунова:

— Бессомненно, что если люди не найдут путей соединения в строгие ряды, то и человек должен беспомощно пропасть в страхе пред собственным своим умалением души...

«Нет, пес с ними со всеми, поеду-ка назад»,— решил Кожемякин.

Когда шли в гостиницу к себе, он спросил Тиунова:

— Вы когда — домой?

— Куда это, собственно?

— В Окуров.

— Ага! Н-не знаю...

Непривычно большие здания, тесно прижавшись друг к другу, смотрели на людей угрюмо, точно чьи-то начальственные, широкие и глазастые рожи в очках. Трещали развинченные пролетки, на перекрестках из-за углов высовывались и исчезали темные юркие фигуры. Обгоняли и встречались девицы, некрасивые прятались в тени и, протягивая руки оттуда, дергали прохожих за платье, а девицы помоложе и покраше останавливались в свете фонарей и смеялись там, бесстыдно и приподнято громко. Тускло светились во тьме медные пуговицы полицейских; порою в уши лезли какие-то странные слова:

— Я его дожму...

— Бесконечно влюблена...

Шатаясь, шли двое пьяных, и один вдруг крикнул:

— Гриня, нам ли, орлам...

Тиунов говорил, как всегда, негромко, и, как всегда, казалось, что он кричит:

— Пристрастия особого до Окурова я не питаю; городок малозанятный: ни железной дороги, ничего нет... Почти пустое место.

— А то — поехали бы вместе,— предложил Кожемякин.

— Это стоит девять рублей тридцать, да в дороге проесть рубля два...

— Сделайте милость — за мой счет, а?

Кривой помолчал с минуту, потом сказал:

— Подумаю-с...

Ответ не понравился Кожемякину, а слово-ер-с показалось даже неуместным и обидным.

Лежа в постели, он думал:

«Завтра же и поеду. Один, так один, не привыкать стать! Будет уж, проболтался тут, как сорина в крупе, почитай, два месяца. А с теми — как-нибудь улажусь. Поклонюсь Марку Васильеву: пусть помирит меня с Максимом. Может, Максимка денег возьмет за бесчестье...»

Утром, встретив Тиунова, он объявил:

— Сегодня к вечеру еду...

— Сегодня?

Кривой пытливо обвел его темным глазом, поджал губы и пожелал:

— Доброго пути, когда так...

— Воротитесь — заходите!

— Не премину.

— Рад буду вам.

— Благодарю весьма...

Он, видимо, куда-то спешил, топтался на месте и, глядя в сторону, всё дергал себя за неудобную бородку.

«Сухой человек! — подумал Кожемякин, простясь с ним. — Нет, далеко ему до Марка Васильева! Комаровский однажды про уксус сказал — вот он и есть уксус! А тот, дядя-то Марк.— елей. Хотя и этого тоже

не забудешь. Чем он живет? Будто гордый даже. Темен человек чужому глазу!»

Когда он, рано утром, подъезжал к своему городу, встречу ему над обнаженными полями летели журавли, а высоко над ними, в пустом небе, чуть видной точкой плавал коршун.

Кожемякин смотрел на город из-за спины ямщика и недоуменно хмурился: жалобно распростертый в тесной лощине между рыжих, колючих холмов, Окуров казался странно маленьким, полинявшим, точно ссохся он этим летом.

В тишине утра над ним колебались знакомые, привычные уху звуки — работал бондарь:

— Тум-тум-тум. Тум-тум.

А журавли кричали:

— Увы, увы...

Уже при въезде во двор Кожемякин испуганно почувствовал, что дома случилось неладное; Шакир, еще более пожелтевший и высохший, бросился к нему, взвизгивая и всхлипывая, не то плача, не то смеясь, завертелся, схватил за руку, торопливо ввел в дом, прихлопнул дверь и встал перед ним, вытянув изрезанную морщинами шею, захлебываясь словами:

— Беда пришол, ой, ой!

Ошеломленный, замирая в страхе, Кожемякин долго не мог понять тихий шёпот татарина, нагнувшегося к нему, размахивая руками, и наконец понял: Галатская с Цветаевым поехали по уезду кормить голодных мужиков, а полиция схватила их, арестовала и увезла в город; потом, ночью, приехали жандармы, обыскали весь дом, спрашивали его, Шакира, и Фоку — где хозяин?

— Фока сказал, как ты бил Максима, он — такой, всё говорит, ему надо рассчитать...

И, подпрыгивая, он рассказал далее, что из города выбрали и увезли всех, Марка, Комаровского, Рогачева и еще каких-то мужа с женой, служивших в земской управе.

— Ну-у,— протянул Кожемякин, похолодев.

— Мина жардар нос бил пальсы, кричал — турьма будет мина!

— Пожалуй — мне тюрьма будет, зачем привечал! — бормотал Кожемякин, расхаживая по комнате.— А Максимку — взяли?

— Его с Авдотии попадья послал лесопилку, скоро — как ты уехал.

«Нет его!» — удовлетворенно подумал Матвей Савельев, и тотчас ему стало легче: вот и не надо ни с кем говорить про эту историю, не надо думать о ней.

Половина страха исчезла, заменившись чувством сожаления о Марке Васильеве, других — не жалко было. Тревожила мысль о полиции.

— Жандары очень спрашивали про меня?

— Фока им говорил. Он глупый и всех бьет. Мина ударил. Работать не любит...

— Прогоним.

Он зажил тихо, никуда не выходя из дома, чего-то ожидая. Аккуратно посещал церковь и видел там попа: такой же встрепанный, он стал как будто тише, но служил торопливее, улыбался реже и не столь многообещающе, как ранее. Не однажды Кожемякину хотелось подойти к нему, благословиться и расспросить обо всех, но что-то мешало.

Время шло, и снова возникла скука, хотелось идти в люди, беседовать с ними. Он пробовал разговаривать с Шакиром,— татарин слушал его рассказы о Тиунове, о городе, молча вздыхал, и выцветшие, начинавшие слезиться глаза его опускались.

Однажды он сказал:

— Добра не будет, нет! Когда хорошим-та людя негде жить, гоняют их,— добра не будет! Надо, чтобы везде была умная рука — пусть она всё правит, ей надо власть дать! А не будет добра людей — ничему не будет!

А Фока нарядился в красную рубаху, черные штаны, подпоясался под брюхо монастырским пояском и стал похож на сельского целовальника. Он тоже как будто ждал чего-то: встанет среди двора, широко расставив ноги, сунув большие пальцы за пояс, выпучит каменные глаза и долго смотрит в ворота.

— Ты чего это? — спросил Кожемякин.

Мужик сплюнул в сторону и сказал:

— Так.

— Ждешь кого, что ли?

— Зачем? Я — не здешний, кого мне ждать?

Вечерами в кухне Орина, зобатая кухарка, искала у него в голове и, точно ребенку, рассказывала сказки, а он, редко глядя в лицо ей, покрикивал и фыркал:

— Тиша, волосья рвешь! Сказывала эту, другую говори!

Кожемякин стал бояться его, а рассчитать не решался. Тогда он как-то вдруг надумал продать завод и остаться с одним Шакиром, но было жалко дом.

«Не буду открывать завода с весны,— решил он наконец. — К чему он?»

Пробовал читать оставшиеся после дяди Марка книги; одна из них начиналась словами:

«В предыдущих частях этого труда», а другая:

«Культура или цивилизация в обширном, этнографическом смысле, в своем целом слагается...»

— Нет, это мне не по зубам,— сказал он сам себе, прочитав страницу, и закрыл книгу.

Тянуло к людям, всё чаще вспоминались убедительные речи кривого:

«Каждый должен жить в своем сословии, оно — та же семья человеку...»

И вдруг, с легкостью, изумившей его, он вошел в эту семью: отправился однажды к мяснику Посулову платить деньги, разговорился с ним и неожиданно был приглашен в воскресенье на пирог.

Алексей Иванович Посулов, человек небольшой, коренастый, имел длинную шею, и за это в городе прозвали его Шкаликом. Лицо у него было красное и безволосое, как у скопца, только в углах губ росли рыжеватые кустики; голова — бугроватая, на месте бровей — какие-то шишки, из-под них смотрели неразличимые, узкие глаза. Он часто раздувал ноздри широкого носа, громко втягивал ими воздух и крякал, точно всегда подавляя что-то, пытавшееся вырваться из его крепко сжатых губ. Говорил он немного, отрывисто, но слушал внимательно, наставив на голос большое,

тяжелое ухо, причем глаза его суживались еще более и смотрели в сторону.

А его супруга Марфа Игнатьевна была почти на голову выше его и напоминала куклу: пышная, округлая, с белой наливной шеей и фарфоровым лицом, на котором правильно и цветисто были нарисованы голубые глаза. Всё, что говорила она, сопровождалось приветливой улыбкой ярко-красных губ, улыбка эта была тоже словно написана, и как будто женщина говорила ею всем и каждому:

«Делайте что хотите, а я свое знаю».

Обедали в маленькой полутемной комнате, тесно заставленной разной мебелью; на одной стене висела красная картина, изображавшая пожар,— огонь был написан ярко, широкими полосами, и растекался в раме, точно кровь. Хозяева говорили вполголоса — казалось, в доме спит кто-то строгий и они боятся разбудить его.

— Ты! — обращался Шкалик к жене.— Дай перец, не видишь?

Она, улыбаясь, поднимала белую, полную руку и снова сидела, словно кулич.

Угрюмые окрики Посулова смущали гостя, он ежился и раз, когда ему стало особенно неловко, сказал хозяйке:

— Строг с вами супруг-то...

Спокойно, негромко она ответила:

— Днем он всегда сердитый.

А Посулов, смигнув строгое выражение с лица, сказал поласковее:

— Как с ними иначе? Зверье ведь.

Но тотчас же, взглянув на жену, округлил глаза еще более строго и неприязненно.

Водки он пил немного, но настойчиво угощал гостя и жене внушал:

— Угощай! Что зеваешь?

Когда Кожемякин отказывался — он густо, недовольно крякал, а глаза Марфы сонно прикрывались ресницами, точно она вдруг чувствовала усталость.

Кожемякин не находил ничего, о чем можно бы говорить с этими людьми; заговорив о городской думе, он получил в ответ:

— Жулики там сидят.

«Да ведь ты тоже там»,— едва не сказал гость хозяину.

Спросил хозяйку, из-за чего началась драка на свадьбе у Смагиных,— она, улыбаясь, ответила:

— Я ушла еще до драки.

А Шкалик равнодушно объяснил:

— Никон Маклаков начал...

— Дико живут наши люди.

Посулов крякнул, подумал, отвел глаза в сторону и со вкусом произнес:

— Зверье!

Сейчас же после обеда начали пить чай, хозяйка всё время твердила:

— Еще чашечку.

— Благодарствую!

— Нет, пожалуйста! С вареньицем!

И, поглядывая на гостя, улыбалась, заря зарей.

А муж ее молча следил, как гость пьет, командуя жене:

— Наливай!

Сквозь сафьяновую кожу его лица проступил пот, оно залоснилось, угрюмость как будто сплыла с него, и он вдруг заговорил:

— Ты что ж это, Матвей Савельев, отшельником живешь? Гнушаешься людей-то, что ли?

Кожемякин, отяжелев после обеда, удрученный долгим молчанием, усмехнулся и не мог ничего ответить. Надув щеки, Шкалик вытер их пестрым платком и спросил:

— В карты играешь?

— Не умею, — сказал Кожемякин.

Марфа, мотая головой, расстегнула две верхние пуговицы синей ситцевой кофты, погладила горло большой ладонью, равнодушно выдохнув:

— Они — научат.

— Научим! — серьезно подтвердил Шкалик.— Ты вот приходи в то воскресенье, я позову Базунова, Смагина,— а? Приходи-ка!

— Ладно, спасибо, я приду,— обещал Кожемякин.

Хозяин несколько оживился, встал, прошел по ком-

нате и, остановясь в углу перед божницей с десятком икон в дорогих ризах, сказал оттуда:

— Вот и приходи!

Чувствуя, что ему неодолимо хочется спать, а улыбка хозяйки и расстегнутая кофта ее, глубоко обнажавшая шею, смущает его, будя игривые мысли, боясь уронить чем-нибудь свое достоинство и сконфузиться, Кожемякин решил, что пора уходить. С Марфой он простился, не глядя на нее, а Шкалик, цепко сжимая его пальцы, дергал руку и говорил, словно угрожая:

— Гляди же, приходи!

В воскресенье Кожемякин был и удивлен и тронут общей приветливостью, с которой его встретили у Посуловых именитые горожане. Градской голова Базунов, человек весьма уважаемый в память об отце его,— гладкий, складный, чистенький, в длинном до пят сюртуке и брюках навыпуск, весь точно лаком покрытый. Голова смазана — до блеска — помадой, темная борода и усы разобраны по волоску, и он так осторожно притрогивается к ним пальцами в перстнях, точно волосы сделаны из стекла. Его пухлое, падутое лицо не запоминалось, как и лицо его жены, одетой, по старине, в шелковую головку, шерстяное набойчатое платье лилового цвета и шелковую цвета бордо кофту. В ушах у нее болтались тяжелые старинные серьги, а на руках были надеты кружевные нитянки без пальцев.

Вторым почетным гостем был соборный староста Смагин, одетый в рубаху, поддевку и плисовые сапоги с мягкими подошвами, человек тучный, с бритым, как у старого чиновника, лицом и обиженно вытаращенными водянистыми глазами; его жена, в черном, как монахиня, худая, высокая, с лошадиными челюстями и короткой верхней губой, из-за которой сверкали широкие кости белых зубов.

А третья пара — краснорядец Ревякин с женою; он — длинный, развинченный, остробородый и разноглазый: левый глаз светло-голубой, неподвижный, всегда смотрит вдаль и сквозь людей, а правый — темнее и бегает из стороны в сторону, точно на нитке привязан. И лицо у него двустороннее: левая половина спокойна и точно припухла от удара, а на правой скула выдалась

бугром, кожа щеки всё время вздрагивает, точно кусаемая невидимой мухой. Его супруга — Машенька — веселая говорунья, полненькая и стройная, с глазами как вишни и неуловимым выражением смуглого лица, была одета ярко — в красную муаровую кофту, с золотистым кружевом, и серую юбку, с желтыми фестонами и оборками. Подвижная, ловкая, она всё время вертелась по комнате, от нее пестрило в глазах и крепко веяло духами пачулей.

Сначала долго пили чай, в передней комнате, с тремя окнами на улицу, пустоватой и прохладной; сидели посредине ее, за большим столом, перегруженным множеством варений, печений, пряниками, конфетами и пастилами,— Кожемякину стол этот напомнил прилавки кондитерских магазинов в Воргороде. Жирно пахло съестным, даже зеркало — казалось — смазано маслом, желтые потеки его стекали за раму, а в средине зеркала был отражен черный портрет какого-то иеромонаха, с круглым кисло-сладким лицом.

Женщины сидели все вместе за одним концом стола, ближе к самовару, и говорили вполголоса, не вмешиваясь в медленную, с большими зияниями напряженной тишины беседу мужчин.

Кожемякин сразу же заметил, что большой дряблый Смагин смотрит на него неприязненно, подстерегающе, Ревякин — с каким-то односторонним любопытством, с кривой улыбкой, половина которой исчезала в правой, пухлой щеке. Базунов, округлив глаза, как баран, не отрываясь смотрит на стену, в лицо иеромонаха, а уши у него странно вздрагивают. Шкалик, то и дело поднимаясь со стула, медленно, заложив руки за спину, обходит вокруг стола, оглядывая всё, точно считал — что съедено? А женщины, явно притворяясь, что не замечают нового человека, исподлобья кидают в его сторону косые взгляды и, видимо, говорят о нем между собою отрывисто и тихонько. Это подавляло Кожемякина, он чувствовал себя неудобно, стесненный плохо скрытым интересом к нему; казалось, что интерес этот враждебен. В беседе мужчин слышалось напряжение, как будто они заставляли друг друга думать и говорить не о том, что близко им; чувствовалось общее желание

заставить его разговориться,— особенно неуклюже заботился об этом Посулов, но все — а Ревякин чаще других — мешали ему, обнаруживая какую-то торопливость.

— Вот, Матвей Савельев,— крякнув, начинал мясник, хмурясь и надувая щеки,— какое удовольствие — грех?

— А всякое,— вставил Смагин, испытующе оглядывая Кожемякина.

Ревякин, прищурив глаз, спросил:

— Ну, а если я псалмы пою?

— Это не удовольствие, а молитва будет,— заметил Смагин строго.

— А если я и молюсь с удовольствием даже?

— Как тут сказать? — озабоченно пробормотал Базунов, не отводя глаз от портрета иеромонаха.

— А — врешь, Виктор! — крикнул Смагин Ревякину.— Удовольствие — смех, со смехом не помолишься!

— Ну, а если я — в радости пред богом? — упорствовал Ревякин.

Шкалик, видимо, не желая спора между своими и боясь возможных обид, крякал и, вытирая лысоватую бугристую голову, командовал, как на пожаре:

— Марфа,— угощай!

Она поднималась, вырастала над столом, почти касаясь самовара высокою грудью, и пела, немножко в нос.

— Дорогие гости, пожалуйте, не обессудьте!

Ревякин доказывал Смагину, помахивая длинной костистой рукой:

— Лишь бы — с верой, а бог всё примет: был отшельник, ушел с малых лет в леса, молитв никаких не знал и так говорил богу: «Ты — один, я — один, помилуй меня, господин!»

С женского конца стола неожиданно и свежо вступила в спор Машенька:

— Перепутал ты, Виктор: было их двое и молились они: «Двое — вас, двое — нас, помилуйте нас!»

— Это больше похоже на правду,— сказал Базунов, одобрительно кивнув женщине.

Но Смагин не уступает:

— Вовсе не похоже! Бог — один, а не два!

— Они не знали сколько! — крикнула Машенька.

— Должны знать, что — троица, чай, празднуют ей!

— Кто же в лесу празднует?

— В лесу-то? — краснея и тряся головой, воскликнул Смагин.

О чем бы ни заговорили — церковный староста тотчас же начинал оспаривать всех, немедленно вступал в беседу Ревякин, всё скручивалось в непонятный хаос, и через несколько минут Смагин обижался. Хозяин, не вмешиваясь в разговор, следил за ходом его и, чуть только голоса возвышались,— брал Смагина за локоть и вел в угол комнаты, к столу с закусками, угрюмо и настойчиво говоря:

— Выпьем доморощенной!

Вздыхая и не спеша, за ними шел Базунов, Ревякин стремительно подбегал к дамам, приглашая их разделить компанию, они, жеманясь, отказывались, комната наполнялась оживленным шумом, смехом, шелестом юбок, звоном стекла, чавканьем и похвалами умелой хозяйке.

В одну из таких минут около Кожемякина очутилась бойкая Машенька,— поглядывая в зеркало, она оправляла прическу, вертя змеиной головой, и вдруг он услыхал тихий шёпот:

— Не садитесь в карты со Шкаликом. Не спорьте со Смагиным — высмеять вас собрался.

И тотчас же громко спросила:

— А вы что же, Матвей Савельич, к столу-то?

Смущенный, обрадованный, он бормотал:

— Покорнейше благодарю! Не пожелаете ли со мной рюмочку?

— Отчего же нет?

Взяла его под руку и бойко повела к столу, а муж встретил их криком:

— Глядите — Машенька-то, отшельника-то!

Все улыбались, смеялись.

После выпивки снова начинался сторонний, надуманный разговор; Кожемякин слушал и удивлялся:

почему они не говорят о своих делах, о городе, о несчастиях голодного года?

Наконец Посулов густо крякнул и сказал жене:

— Ну-ка, готовь!

Пышная Марфа позвала кухарку и вместе с нею стала выдвигать из комнаты чайный стол; дамы делали вид, что помогают в этом; качаясь, дребезжала посуда, и они вперебой кричали:

— Ах, тише, тише!

Машенька Ревякина, подскочив к Матвею Савельеву, игриво сказала ему:

— Вы — с нами! Непременно! Мужчин и так четверо, а у нас Марфенька не играет — слышите?

Не похоже на себя, как-то жалостно и тихо Посулов сказал ей, глядя в сторону:

— Экая ты! Чай — Виктора посадили бы с собой-то!

— Нет уж!

Посулов махнул рукой и угнетенно отошел, а Машенька, подмигнув Кожемякину, шепнула:

— Видали?

Тронутый ее защитой, он, повеселев, стал играть и один за другим сразу же поставил три ремиза, чем весьма понравился дамам.

Базуниха, выигрывая чаще всех, сладостно распустила толстые губы и удивлялась ему:

— Ах, Матвей Савельич, какой вы рисковой!

А Смагина, двигая лошадиной челюстью, глухим голосом предвещала, точно цыганка:

— Таким вот мужчинам иной раз долго ничего не дается, да вдруг сразу всё и привалит! Это очень опасные мужчины!

И левой рукою опуская карты под стол, прежде чем посмотреть, крестила их там.

— Вы — опасный? — спрашивала Машенька, строя глазки, и хохотала, а Кожемякин благодарно и ласково улыбался ей.

Она казалась ему то легкомысленной и доброй, то — хитрой, прикрывающей за своим весельем какие-то темные мысли: иногда ее круглые глаза, останавливаясь на картах, разгорались жадно и лицо бледнело, вытягиваясь, иногда же она метала в сторону Марфы сухой,

острый луч, и ноздри ее красивого носа, раздуваясь, трепетали.

«Не любит она эту»,— соображал Кожемякин, храбро ставя ремиз за ремизом.

Хозяйка, оставаясь на страже своих обязанностей, плавала из комнаты в кухню и обратно, обходила вокруг столов и, на минутку останавливаясь сзади Кожемякина, заглядывала в его карты. Почти всегда, когда он стучал, объявляя игру, она испуганно вскрикивала:

— Ой, что вы, с такими картами разве можно?

И дышала ему в затылок раздражающим теплом.

Женщины кончили игру раньше мужчин, потому что Базунова начала выигрывать, а Смагина рассердилась на это и закапризничала.

— Проиграли мы с вами! — сказала Машенька Кожемякину, прищурив глаза, и тотчас утешила:

— Ну, ничего, здесь проиграли, а в другом месте, может, и выиграем...

«Это на что она намекает?» — подумал Кожемякин, несмело улыбаясь в лицо ей.

В дверь снова вдвинули круглый стол, накрытый для ужина: посреди него, мордами друг ко другу, усмехалась пара поросят — один жареный, золотистый, с пучком петрушки в ноздрях, другой — заливной, облитый сметаною, с бумажным розовым цветком между ушей. Вокруг них, точно разномерные булыжники, лежали жареные птицы, и всё это окружала рама солений и соусов. Едко пахло хреном, уксусом, листом черной смородины и лавра.

Мужчины поднялись сердитые, красные, только Ревякин, весело сморщив двустороннее лицо, звенел деньгами, подкидывая их на ладони, и покрикивал:

— Вот они — слезы ваши! Чу?

И, притопывая ногою, пел:

Дупя долго плакала,
Слеза звонко капала...

Жена искоса взглянула на него, неприятно искривив губы, и — ласково позвала:

— А ты, паяц, садись-ка, не болтайся!

За столом сначала все жевали молча и жадно, потом, уставшие, смягченные выпитой водкой, начали хвалить хозяйку. Кожемякин молчал, наблюдая, и заметил, что к жене Ревякина все — и сам муж — относятся как-то осторожно, бережно, точно боясь уколоться о ее бойкий взгляд. Заметил также, что хозяин старается подпоить его, подливая ему водки чаще, чем другим, а однажды палив ее в стакан с пивом. Смагин тоже видел выходки Посулова,— по его дряблому лицу растекалась блаженная улыбка. Это обидело Кожемякина, и обида скипелась в груди, где-то около горла, крепким горячим комом, вызывая желание встать и крикнуть мяснику:

«Эй, понимаю я, чего ты хочешь!»

И когда Посулов, видимо, рассчитывая захватить врасплох подпившего, покрасневшего гостя, неожиданно спросил его: «А что за человек этот попов дядя, квартирант и дружок твой, которого жандары увезли?» — Кожемякин горячо и твердо ответил:

— Это — редкий человек, превосходнейший человек, да!

Все замолчали, нацелясь на него глазами, казалось, пикто не дышит; Кожемякин оглянул их напряженные лица, блеснули зубы, открытые улыбками, только лицо Машеньки нахмурилось, да Марфа прикрыла голубые глаза, точно засыпая.

— Пре-во-схо-дный? — сипло протянул Смагин, откладывая в сторону нож и вилку.— Как же это, братцы мои? А все говорят — он против царя-отечества, а?

— Мало ли что говорят! — воскликнула Машенька.

Кожемякина охватило незнакомое, никогда не испытанное, острое ощущение притока неведомой силы, вдруг одарившей его мысли ясностью и простотой. Никогда раньше он не чувствовал так определенно свое отчуждение, одиночество среди людей, и это толкнуло его к ним неодолимым порывом, он отклонился на спинку стула, уставил глаза в большое лицо Смагина и заговорил как мог внушительно и спокойно:

— Нет, Иван Андреич, неправда! Он и люди его толка — против глупости, злобы и жадности человечьей! Это люди — хорошие, да; им бы вот не пришло

в голову позвать человека, чтобы незаметно подпоить да высмеять его; время свое они тратят не на игру в карты, на питье да на еду, а на чтение добрых и полезных книг о несчастном нашем российском государстве и о жизни народа; в книгах же доказывается, отчего жизнь плоха и как составить ее лучше...

Смагин надулся пузырем и сопел, Ревякин, подняв брови, изумленно оскалил зеленые зубы, Базунов, быстро вытирая рот салфеткой, путал усы и бороду,— казалось, что он вскочит сейчас и убежит,— а Посулов, багровый до синевы на щеках, ощетинив кустики усов, шептал что-то женщинам, вертясь на стуле, как ведьма на помеле.

Кожемякин говорил тихо и убедительно:

— Бог требует от человека добра, а мы друг в друге только злого ищем и тем еще обильней зло творим; указываем богу друг на друга пальцами и кричим: гляди, господи, какой грешник! Не издеваться бы нам, жителю над жителем, а посмотреть на всё общим взглядом, дружелюбно подумать — так ли живем, нельзя ли лучше как? Я за тех людей не стою, будь мы умнее, живи лучше — они нам не надобны...

Когда он кончил свою речь, ему показалось, что все испуганы ею или сконфужены, тягостно, подавляюще молчат. Машенька, опустив голову над столом, гоняла вилкой по тарелке скользкий отварной гриб, Марфа, не мигая, смотрела куда-то перед собою, а жены Базунова и Смагина — на мужей.

— М-да-а, — крякнув, начал Посулов, а Смагин, к великому удивлению Кожемякина, ударил по столу ребром ладони и заговорил новым, посвежевшим голосом:

— А верно, Матвей Савельев, верно, брат! Думать надо!

Базунов забормотал:

— Как сказать? Конечно, надо бы думать обо всем...

Взвился Ревякин, оглянул всех разными глазами и почти закричал:

— Я всё это думал, ей-богу! Машенька,— ведь думал я это самое?

Не поднимая головы, она ответила:

— Ты обо всем думаешь, кроме того, что надо.

Ревякин победоносно оглядел всех и крикнул, взмахнув руками:

— А всё оттого, что живем в атмосфере, без цивилизации...

Смагин, широко развалясь на стуле, тыкал рукою в воздух и говорил, всё более горячась:

— Народ — ослабел, неурожаи, голода пошли; лень, пьянство в деревнях! А мы — от них живем, от деревень. Начальства — много, а порядку нет!

— Начальства — много! — подтвердил Базунов, тяжело вздыхая.

И заговорили все сразу, не слушая, перебивая друг друга, многократно повторяя одно и то же слово и явно осторожничая друг пред другом: как бы не промахнуться, не сказать лишнего.

Кожемякин некоторое время чувствовал себя победителем; голова его приятно кружилась от успеха и вина, но когда он, дружелюбно приглашенный всеми в гости и сам всех пригласив к себе, вышел на улицу и под ногами у него захрустел снег — сердце охладело, сжалось в унынии, и невольно с грустью он подумал:

«Экая щета у этих против тех! Ни мыслей нету, ни даже слов. Держатся за наибольше говорливого, как слепые за поводыря...»

И остановил себя:

«Не рано ли осуждаю?»

Знакомство с городом сразу же завязалось многими узлами и петлями и начало дергать его из дома в дом. Он метался, как сом в сетях, ходил в гости, принимал у себя, говорил, вслушивался, иногда спорил почти до озлобления, иногда его слегка высмеивали, но в общем он чувствовал интерес к себе, это льстило ему; царапины неудач быстро залечивались. Он скоро заметил, что каждый из новых знакомцев стремится говорить с ним один на один и что с глаза на глаз все люди приятнее, добрее, интереснее, чем в компании. Все уговаривали его быть осторожнее, недоверчивее.

— Я те прямо скажу,— внушал мощный кудрявый бондарь Кулугуров,— ты, Кожемякин, блаженный! Жил ты сначала в мурье, в яме, одиночкой, после —

с чужими тебе людьми и — повредился несколько умом. Настоящих людей — не знаешь, говоришь — детское. И помяни мое слово! — объегорят тебя, по миру пойдешь! Тут и сказке конец.

То же говорил и Сухобаев, человек ловкий в движениях, вежливый, острый, как шило.

— Вам бы, Матвей Савельич, не столь откровенно говорить среди людей, а то непривычны им ваши мысли и несколько пугают. Начальство — не в полиции, а в душе людской поселилось. Я — понимаю, конечно, добрые ваши намерения и весьма ценю, только — по-моему-с — их надо людям подкладывать осторожно, вроде тихой милостыни, невидимой, так сказать, рукою-с!

Этот человек смотрел на людей, поджав губы, а говорил с ними, всегда опустив глаза долу, если же взглянет в лицо — то как иглой уколет.

Ухмыляясь и мигая красными слезящимися глазами, старый ростовщик Хряпов сказал однажды:

— Ну-ну, режь правду, режь, а Васька Сухобаев шкуру снимет с нее! Ему, шельме, и правда годится! Я — шучу...

И беззвучно смеялся, обнажая пару желтых клыков. Ему минуло шестьдесят лет, но года три тому назад он перестал ходить в церковь, и когда однажды в трактире «Лиссабон» Ревякин спросил его, почему он не ходит в божий храм,— старик ответил:

— Молился я лет полсотни, а безгрешнее не стал, теперь же помирать мне пора и уж не замолю я грехов, времени нет!

Поглядел на всех и добавил серьезнее:

— Это я — шучу! Просто — ноги ослабли, не могу стоять в церкве...

Во всем, что говорил Кожемякин, прежде всего люди отмечали то, что казалось им несбыточным или трудно осуществимым, а заметив это, отрицали вместе с ним и осуществимое. Каждый из них старался дробить его мысли и, точно осколок стекла, отражал своим изломом души какую-то малую частицу, не обнимая всего, но в каждом был скрыт «свой бубенчик» — и, если встряхнуть человека умело, он отвечал приветно,

хотя неуверенно. Он внушал этим людям, что надо жить внимательнее и доверчивее друг ко другу,— меньше будет скуки, сократится пьянство; говорил, что надо устроить общественное собрание, чтобы все сходились и думали, как изменить, чем украсить жизнь,— его слушали внимательно и похваливали за добрые намерения.

— Не теми ты, Кожемякин, словами говоришь, а по смыслу — верно! — соглашался Смагин, покровительственно глядя на него. — Всякое сословие должно жить семейно — так! И — верно: когда дворяне крепко друг за друга держались — вся Русь у них в кулаке была; так же и купцам надлежит: всякий купец одной руки палец!

Когда в компании был Хряпов, он сидел где-нибудь в сторонке, молчал, мигая слезоточивыми глазками, а потом, один на один, говорил Кожемякину, с горькой хрипотой в голосе и приглушенным смешком:

— Милый! Заросла наша речка гниючей травой, и не выплыть тебе на берег — запутаешься! Знаю я этот род человеческий! Сообрази — о чем думают? Всё хотят найти такое, вишь, ружье, чтобы не только било птицу, а и жарило! Им бы не исподволь, а — сразу, не трудом, а —ударом, хвать башкой оземь и чтобы золото брызнуло! Один Сухобаев, может, гривенника стоит, а все другие — пятачок пучок! Ты их — брось, ты на молодых нажми, эти себя оправдают! Вон у меня Ванюшка, внук...

Слезы текли из глаз его обильнее, голос становился мягче, слаще.

— Этот будет своей судьбе командиром! Он — с пяти годов темноты не боится, ночью куда хошь один пойдет, и никакие жуки-буканы не страшны ему; поймает, крылышки оборвет и говорит: «Теперь овца стала! Большая вырастет — стричь будем!» Это я — шучу!

Он смеялся веселеньким стеклянным смешком и ускорял шаги, подпрыгивая на ходу, как пружинный.

Иногда — всё реже — Кожемякин садился за стол, открывал свою тетрадь и с удивлением видел, что ему нечего записывать о людях, не к чему прицепиться в них. Все они сливались в один большой серый ком,

было в каждом из них что-то свое, особенное, но — неясное, неуловимое — оно не задевало души.

Душа его томилась желанием дружбы, откровенных бесед об этих людях, о всей жизни, а вокруг не было человека, с которым он мог бы говорить по душе.

Особенно смущал Кожемякина Посулов: он кружился около него коршуном, молча разглядывал и покрякивал, как бы поднимая никому не видимую тяжесть,— это внушало Кожемякину подозрение, и он сторонился мясника.

— Ты что ко мне не заходишь? — настойчиво спрашивал Шкалик, не глядя в глаза и посапывая.— Ты заходи, али я бесчестнее других? С меня знакомства начал, а не заходишь!

Однажды Кожемякин неохотно назначил день и час, когда зайдет,— пришел, а Посулов сконфузился, надул щеки и, катаясь по комнате, виновато объявил:

— Экая, братец ты мой, жалость! Случилось тут дело у меня, должен я идти сейчас, ей-богу! Уж ты — с Марфой посиди покуда, а? Я — скоро!

— Да не беспокойся,— уговаривал его Кожемякин, несколько удивленный таким обилием слов.

— Как же, братец, а? Я, может, Никона Маклакова приведу, ты как — терпишь его? Он веселый.

И быстро ушел, а дородная его супруга, лениво улыбаясь, пригласила гостя:

— Садитесь, пожалуйста!

Села против него, сложив руки под грудями, отчего груди вызывающе приподнялись, и, неотрывно разглядывая его лицо, улыбалась всё той же улыбкой, словно наклеенной на лицо ее.

— Что это вы мало ходите куда? —спрашивал он, отводя глаза от нее.

— Да так, не охотница я.

— Отчего же?

— Одеваться надо, а не люблю я, когда затянута вся. На свадьбы я хожу.

— Мало свадеб эту зиму!

— Мало,— согласилась она, не выражая сожаления.

— Это всё из-за голода!

— Неужто? — равнодушно спросила женщина.

Он стал объяснять, почему голод в деревнях мешает жениться городским, а сам, поглядывая на нее, думал:

«Экой идолобес! Даже глядеть на нее зазорно».

Вдруг, перебив его речь на полуслове, она нудно спросила:

— А вот вы не женитесь — разве от голода? У вас денег много ведь?

— Боюсь я,— сказал Кожемякин шутливо.

— Чего же бояться тут?—как будто немного удивилась она, и в глазах ее что-то дрогнуло.

— Вас, женщин...

Женщина покачнулась вперед, ее зрачки заметно сузились, и она протянула в нос:

— Ну-о-о? Расскажите, как же это, — чего же вы боитесь?

Глаза ее застыли в требовательном ожидании, взгляд их был тяжел и вызывал определенное чувство. Кожемякин не находил более слов для беседы с нею и опасался ее вопросов, ему захотелось сердито крикнуть:

«Дура!»

— Не идет Алексей-то Иваныч,— сказал он, отдуваясь, и, встав, прошелся по комнате, а она выпрямила стан и снова неподвижно уставилась глазами в стену перед собой.

«Тянет, как омут,— думал гость, незаметно поглядывая на нее.— Нет, сюда я не стану ходить!»

Он ушел, не дождавшись Посулова, и дорогой, медленно шагая по темной улице, думал:

«Экие несуразные люди! Даже страшно несколько с ними».

И вдруг он снова очутился лицом к лицу с одним из тех странных людей, с которыми уже не однажды жизнь упрямо сталкивала его.

Самым потерянным и негодным человеком в городе считался в то время младший Маклаков — Никон, мужчина уже за тридцать лет, размашистый, кудрявый, горбоносый, с высокими взлизами на висках и дерзким взглядом серых глаз. Кожемякин помнил обоих братьев с дней отрочества, когда они били его, но с того времени

старший Маклаков — Семен — женился, осеялся детьми, жил тихо и скупо, стал лыс, тучен, и озорство его заплыло жиром, а Никон — остался холост, бездельничал, выучился играть на гитаре и гармонии и целые дни торчал в гостинице «Лиссабон», купленной Сухобаевым у наследников безумного старика Савельева. Там Никон подбивал всех и каждого перекинуться с ним картишками и, ловко обыгрывая неопытных или задорных людей, откровенно смеялся над ними, когда его ругали за нечистую игру.

— Нечестно? — орал он. — А вы знаете — что честно, чёртовы псы?

В городе его боялись, как отчаянного бабника и человека бесстыдного, в хорошие дома приглашали только по нужде, на свадьбы, сговора, на именины, как лучшего музыканта.

Базарными днями он приводил в трактир мужиков-певцов, угощал их, заставлял петь, и если певец нравился ему, он несуразно кричал дерзкие слова:

— Чем не панихида, а? Плачь, крохоборы! Эй, Смагин, али не тронуло тебя, деревянная душа?

С языка его, как жёлуди с дуба, срывалась ругань и щелкала людей по головам.

Скандалил, стараясь обидеть наиболее солидных людей, а своего брата — прежде всех, привязывался к нему и терзал:

— Тела у тебя, Сенька, девять пуд, а череп вовсе пуст! Ну, угощай от избытка, ты — богатый, я — бедный! Брат мой, в отца место, скоро тебя кондрашка пришибет, а я встану опекуном к твоим детям, в город их отправлю, в трубочисты отдам, а денежки ихние проиграю, пропью!

Семен Маклаков боялся смерти, — посинев от страха, он умоляюще смотрел на брата и бормотал:

— Ну, отстань-ко! Что уж! Все на смерть осуждены...

Как все солидные люди города, Кожемякин относился к Никону пренебрежительно и опасливо, избегая встреч и бесед с ним, но, присматриваясь к его ломанью, слушая злые, буйные речи, незаметно почувствовал любопытство, и вскоре Никон показался ему фонарем

в темноте: грязный фонарь, стекла закоптели, салом залиты, а все-таки он как будто светит немного и не так густо победна тьма вокруг.

Познакомился он с ним необычно и смешно. Пришел однажды в предвечерний час к Ревякиным, его встретила пьяная кухарка, на вопрос — дома ли хозяева? — проворчала что-то невнятное, засмеялась и исчезла, а гость прошел в зал, покашлял, пошаркал ногами, прислушался,— было тихо.

«Спят, видно»,— подумал он, взглянув на дверь в спальную и осматривая уютную и парадную в сумраке вечера комнату, со множеством цветов на окнах, с пестрыми картинами в простенках и горкой, полной хрустали и серебра, в углу.

Он уже хотел уйти, но в спальной завозились, распахнулась дверь, и на пороге явилась Машенька, в одной рубахе и босая, с графином в руке.

— Ой, господи, кто это? — тихонько крикнула она, схватясь за косяк, и тотчас над ее плечом поднялась встрепанная голова Никона, сердито сверкнули побелевшие глаза, он рванул женщину назад, плотно прикрыл дверь и — тоже босой, без пояса, с расстегнутым воротом — пошел на Кожемякина, точно крадучись, а подойдя вплоть, грозно спросил:

— Ты — что тут?

Оробев, сконфузясь, тот ответил:

— Я — в гости зашел...

— Выбрал время! — крикнул Никон, двигая руками и плечами, раскачиваясь и свирепея.

Тогда Кожемякин, медленно отходя к двери, виновато сказал:

— Да разве я знал, что ты тут воюешь?

Никон мотнул головой, и сердитое выражение точно осыпалось с его лица.

— Что же мне,— угрюмо сказал он,— надо было письмо тебе посылать: сегодня не приходи, я тут?

— А мне как знать? — тихо сказал Кожемякин, выходя в прихожую.

— Стой! Садись,— остановил его Никон и, встряхивая кудрями, прошелся по комнате, искоса огляды-

вая в зеркало сам себя и поправляя одежду.— Маша, кинь мне пояс и сапоги! Нет, не надо!

Снова остановился перед гостем, пристально взглянул в лицо ему, взглянул на себя в зеркало и вдруг — весело захохотал.

— Ну и — рожа у тебя, Матвей Савельев, да и у меня! Ох, господи!

Кожемякин, через силу усмехнувшись, сказал:

— Еще бы те!..

Тогда Никон сел рядом с ним, ударил ладонью по колену и серьезно заговорил:

— Ну — ладно, будет конфузиться-то: дело — житейское, было и — будет! Болтать не станешь?

— Будь надежен!

— То-то. Помолчишь — спасибо скажу, распустишь язык — вредить буду.

И, снова оглянув Кожемякина, дружелюбно, тихо добавил:

— Ты бабу не обидишь,— верно?

— Конечно,— сказал Кожемякин, легко вздохнув,— какой я судья людям?

— Ну да! У тебя — совесть есть, я знаю!

Встал и, расправляя плечи, хозяйски крикнул:

— Вылезай, Марья, давай гостям чаю, что ли?

Она вышла румяная, полузакрыв томные глаза и по-девичьи прикрывая лицо локотком, гибкой, кошачьей походкой подошла к смущенному гостю, говоря тихо:

— Ой, стыдобушка какая...

Отворотясь в сторону, лукаво улыбаясь и опустив глаза, она протянула Кожемякину руку.

— Не осуди грешницу, Матвей Савельич!

Была она очень красива, и Кожемякин видел, что она сама знает это. Обрадованный тем, что всё обещает кончиться хорошо, без скандала, тронутый ее простыми словами, увлеченный красотой, он встал пред нею, веско и серьезно сказав:

— Не беспокойся, прошу, я сплетне не потатчик! И помню твою доброту ко мне.

Любуясь ею, Никон подталкивал ее к дверям.

— Иди, иди, бесстыдница!..

Облизывая губы розовым языком и поигрывая статным телом, она пошла, сердито бросив Никону:

— А сам-то не бесстыдник?

Никон, нахмурясь, посмотрел вслед ей и зашагал по комнате, опустив голову.

— Так-то, Кожемякин, вот и застал ты меня в чужом гнезде...

Было в нем что-то незнакомое: мягкое, невеселое и располагающее к нему.

— Не весьма осторожны вы,— сказал Матвей Савельев, качая головой.

— Виктор поехал в уезд, холсты скупать, кружева, у кухарки — тоже свои эдакие дела, да именинница она притом же,— задумчиво рассказывал Никон.

— Вдруг бы кто другой в мое место!

— Нехорошо было бы ему! — сказал Маклаков, мельком взглянув на гостя.

И, снова усевшись рядом с Кожемякиным, заговорил, оглядывая его с любопытством и мягкой улыбкой.

— Гляжу я, брат, на тебя — дивлюсь, какой ты чудной человек!

— А чем?

— Да так, сторонний какой-то! По улице идешь — около самых заборов, в церкве, в трактире — по углам прячешься...

— Ну? А мне это незаметно.

— Кому ж ты дорогу уступаешь?

— Не знаю...

— Эх вы, домовладельцы! — сказал Никон.

Он был много моложе Кожемякина, но говорил, как старший, и Матвея Савельева не обижало это, даже было почему-то приятно. На удлиненных вверх, лысых висках Никона лежали мелкие живые морщинки; почти незаметные, они отходили лучами от серых глаз, сегодня — не дерзких, хотя они и смотрели на всё прямо и пристально.

Вошла Машенька и с улыбкой объявила:

— А Дунька-то пьянехонька лежит,— и стала собирать на стол чайную посуду, вертясь, точно котенок, и как бы говоря каждым поворотом крепкого тела: «Уж не обессудьте, такая удалась!»

Кожемякину становилось завидно смотреть на них: всё между ними было просто, открыто, они точно голые ходили перед ним, но он не чувствовал в этом бесстыдства, а было ему грустно, невольно вспоминалась Евгения:

«У той походка еще лучше была».

Но скоро он заметил, что между этими людьми не всё в ладу; пили чай, весело балагуря про разные разности, а Никон нет-нет да и собьется с веселого лада: глаза вдруг потемнеют, отуманятся, меж бровей ляжет ижицей глубокая складка, и, разведя ощипанные, по густые светлые усы большим и указательным пальцем, точно очистив путь слову, он скажет в кулак себе что-нибудь неожиданное и как будто — злое.

Исподволь оправдывая свой бабий грех, Машенька смешно и складно рассказывала случаи из жизни знакомых женщин, и выходило так, что все они — бесстыднее и виноватее ее.

— У меня дети примерли, а один и родился неживым,— это уж Викторова вина, акушерка сказала.

Мимоходом она вспомнила о Христе с грешницей, и тут Никон, с усмешкой взглянув на Кожемякина, сказал:

— Вот — всегда так: сделаем подлость и за бога прячемся.

Матвей Савельев испугался, ожидая, что Машенька обидится, но она, тихонько посмеиваясь, певуче выговорила:

— Хорош? Слушает, будто в ногу идет, да вдруг, когда не ждешь, под ножку тебя!

— А Маша,— говорит Никон,— хлоп в грязь лицом и тотчас вскочит, рада, улыбается: причастилась!

«Ну,— подумал Кожемякин,— теперь она осердится!»

И снова ошибся: Машенька залилась смехом до того, что слезы из глаз потекли. Так, подкидывая друг друга, точно на качелях, они сшибались не однажды; от этого Кожемякину снова стало грустно, оба они перестали казаться ему простыми и ясными. Наконец Машенька как будто начала сердиться, нос у нее заострился, а маленькие твердые губы часто вздрагивали, оскаливая

мелкие, как у мыши, острые зубы. Гость понял, что пора уходить, с ним приветливо простились, не удерживая его.

— Мне тебя пригласить некуда, кроме трактира, так я сам к тебе приду,— сказал Никон, усмехаясь.

И дня через два пришел, свободно, как давний знакомый, размашисто швырнул шапку куда-то в угол, весело сказав:

— Вот те и гость!

Очищая лед с усов, присмотрелся к обстановке комнаты и неодобрительно покачал головой.

— Холосто живешь, неуютно, эхма...

Подошел вплоть и предложил:

— Ну, угощай!

Через час времени выпившие, приятно возбужденные, они беседовали, как старые друзья, торопясь сказать как можно больше и прерывая друг друга.

— Нет,— многозначительно говорил Никон, высоко подняв туго сжатый кулак,— я, понимаешь, такого бы человека хотел встретить, чтобы снять мне перед ним шапку и сказать: покорнейше вас благодарю, что родились вы и живете! Вот как!

— Я такого знаю! — радостно похвастался Кожемякин.

— И такую бы женщину, чтобы встать перед ней на колени,— на, ешь!

— И женщину такую видел! — радостно вскричал Кожемякин, чувствуя себя богаче гостя и гордясь этим.

— Вот каких людей надо нам! Ты мне их покажи — желаю поклониться человеку!

Он бил себя кулаком в грудь и кричал в странном возбуждении, сильнее, чем вино, опьянявшем хозяина:

— Ты — пойми: есть хорошие люди — всё оправдано! И я оправдан и ты — верно?

Кожемякину хотелось рассказать о Марке Васильеве, об Евгении, он чувствовал, что может говорить о них высокими, хорошими словами, и начинал:

— Есть у нас люди великого сердца, есть!

— Э, брат, каждый думает, что есть хорошие люди, когда в зеркало смотрит,— это что-о!

— Постой, я те расскажу...

Никон встал на ноги и, точно вдруг отрезвев, негромко спросил:

— Ты думаешь — Марья хороший человек?

Прошелся по комнате, стройный и красивый, остановился против хозяина, заложив руки за шею, и, покачиваясь, продолжал:

— Она — насквозь подлая и неверная! Увидишь — она меня хватит в спину, уж это обязательно — в спину, сзади! Выждет свою минуту и — срежет меня с ног...

Говорил он уверенно и спокойно, но от этого Кожемякину стало еще более жалко Никона и боязно за судьбу его.

— Как же так? — пробормотал он.

— Так уж!

— Ты бы бросил ее,— посоветовал Кожемякин, ощущая, что ему приятно советовать этому человеку.

— Зачем? — воскликнул Никон, встряхнув кудрями.— Пускай ее, это даже интересно — как она ищет места, куда больней ударить! Эх, брат, не всё ли равно, кто в могилу опрокинет? Уж пускай лучше ловкая рука!

— А говорили про тебя,—тихо и дружелюбно сказал Кожемякин,— что ты — веселый, озорник!

Никон остановился у стола, выпил рюмку водки, ткнул вилкой в гриб, поглядел на него, положил обратно на тарелку и, расправляя усы, проговорил в ладонь себе:

— Какое наше веселье? Идешь ночью — темно, пусто и охоты нет идти куда идешь, ну — жутко, знаешь, станет и закричишь, запоешь, в окно стукнешь чье-нибудь, даже и не ради озорства, а так,— есть ли кто живой? Так и тут: не сам по себе веселишься, а со скуки!

Пил он немало, а не пьянел, только становился всё мягче, доверчивее, и слова его принимали особую убедительность. За окнами в саду металась февральская метель, шаркая о стены и ставни окон, гудело в трубах, хлопали вьюшки и заслонки.

— Заночую я у тебя,— сказал Никон, расстегнув ворот рубахи и вертя шеей.

Потом прилег на диван и вдруг начал рассказывать тихонько, но внятно и складно, точно сказочник:

— Люблю я баб, а — не верю ни одной, с малых лет не верю, это меня матушка испортила. Нехорошо про мать дурное помнить, а я — не могу это забыть!

Кожемякин сидел около него в кресле, вытянув ноги, скрестив руки на груди, и молча присматривался, как играет, изменяется красивое лицо гостя: оно казалось то простым и ясным, словно у ребенка, то вдруг морщилось брезгливо и сердито. И было странно видеть, что лицо всё время менялось, а глаза оставались неизменно задумчивы.

— Ты, чай, знаешь,— говорил он низким, сипловатым тенорком,— отец у нас был хороший, кроткий человек, только — неделовой и пьющий; хозяйство и торговля у матери в руках, и он сам при нас, бывало, говаривал: «Устя, ты дому начало!» А мать была женщина рослая, суровая, характерная: она нас и секла, и ласкала, и сказки сказывала. Любили мы ее больше отца,— ругала она его, пьяненького, высмеивала при нас, и это привилось нам несколько: дети переимчивы, и мы тоже над ним, пьяным-то, шутки шутили, нос сажей намажем, а то — перцу в ноздри ему, и — чихает, а нам смешно! Особенно Сенька зол и гадок был на выдумки. Я любил мать без ума, до ревности и драки с Сенькой и с сестрой Марьей,— чуть, бывало, они забегут к ней вперед меня — я их, чем попадя, до крови бил. И теперь вот — истаскался кобель до лысины в шерсти, а — не померли для меня ни глаза ее ласковые, ни руки мягкие, и все сказки помню. Положит меня, бывало, на колени к себе, ищет ловкими пальцами в голове, говорит, говорит,— а я прижмусь ко груди, слушаю — сердце ее бьется, молчу, не дышу, замер, и — самое это счастливое время около матери, в руках у ней, вплоть ее телу,— ты свою мать помнишь?

— Нет, — тихонько ответил сорокалетний человек.

— Это, брат, слезы! Верно сказано: нет милее дружка, как родимая матушка! И слово ее было мне закон. Провинюсь в чем — сам приду и скажу, ни разу не помню, чтобы соврал ей! Накричит, побьет, потом — обласкает, оцелует и, хитро так подмигивая, скажет: «Сене с Машей скажи, что — простила, а что целова-

ла — молчи!» Им тоже заказывала говорить мне, что, побив,— приласкала их, это она для того, чтоб в строгость ее верили... И вот — было мне лет восемь-девять, сидел в гостях у нас никольский дьякон — он нас, ребят, грамоте учил. Сенька хворал тогда, Маша с отцом в Шабалдино к тетке уехали, а я в углу дома из карт строю и вижу: возлагает дьякон руку свою матери на грудь, рука — рыжая, и перстень серебряный на ней. «Погоди»,— говорит мать,— а сама пуговицы на кофте расстегивает, он ее поднял, под мышки взяв, и повел, и ушли, а я — за ними, ну, они, конечно, дверь заперли, да ведь это всё равно уж! Ничего я не видал, а всё понял, конечно, и заплакал в горькой обиде, спрятался в углу меж лежанкой и диваном да плачу тихонько — тут в углу и решилась вся моя судьба! Долго спустя вышла она, качается, как пьяная, улыбается, а увидала меня — обмерла даже, забыть не могу глаз ее в ту минуту. «Ой,— шепчет,— ты не спишь?» Схватила на руки, прижала к себе крепко, закрыла глаза. Плачу я: «Мама, говорю, почто тебя дьякон щупает? Прогони его!» Опять она посоловела, трясет меня, испугалась, шепчет, точно кипятком обдавая: «Что тебе привиделось, что ты, не смей, забудь!» Я — пуще плачу: «Не ври, знаю я всё!» Ну, и она заплакала тогда, жмет меня так, что едва дышу, и — плачет! Потом уговорились мы с ней, что буду я молчать — ни отцу, ни брату, ни сестре про дьякона не скажу, а она его прогонит, дьякона-то; конечно, не прогнала, в баню ходил он, по ночам, к ней, в нашу. Начала она меня баловать, сластями закармливать, потакает мне, всё, чего я хочу,— разрешает; а отец и при ней и без нее учит нас: «Слушайте мать, любите ее, она дому голова!» А дьякон был рыжий, грузный, когда ел, так всхрапывал и за ученьем щелкал нас по лбам перстнем этим. Мать, видно, сказала ему про меня, стал он ласковый со мной, а приятней мне не сделался. Вскоре после того разбила его, пьяного, лошадь, похворал недолго и — помер! Обрадовался я этому. Наняли другого учителя — длинноволосый такой, носатый и веселый; вижу я — опять путается с ним; я уж привык подглядывать за нею, выгодно было это. А тут работник новый явился, цыган

Елисей, она и с ним. Застал я их раз в полном виде. Избила меня тогда мать до крови, а потом унесла к себе в спальню, целует, воет: «Никонушка, несчастный ты мой, кровинка моя сердечная — прости мне, прости!» Ну, уж не помогло это, нет, не помогло! И как-то, брат, подорвалось у меня сердце, делать ничего неохота, всё как-то не нравится, и пикуда меня не тянет, и — со скуки, что ли — начал я свистать, хожу, оттопырив губы, и — закатываю! Даже за столом иной раз забудусь и — начну,— конечно, получаю ложкой по лбу. А то уйду в сад, залезу в яму, на месте сгоревшей бани, лягу в полынь и лопух носом вверх и лежу, всё посвистывая. На улицу выйду — точно вихрем схватит, начну озоровать — ты, чай, слыхал! В ту пору мне минуло тринадцать лет, цыган — видно, желая прикрыть себя с матерью — научил меня всему добру со слободскими огородницами. Он — хороший был парень, цыган-то, эдакий веселый волк... Н-да. Так и переделалась церковь во хлев.

Он замолчал, вытянувшись как бы в судороге, а Кожемякин заговорил с тоскою, восходившей до отчаяния:

— Ведь живут другие люди не похоже на нас, есть они, живут же!

И, близко наклонясь к лицу Никона, горячо стал просить:

— Ты — послушай, я те расскажу про человека; попова дядю — видал?

Он торопливо начал говорить про Марка Васильева, легко вспоминая его речи, потом вынул из стола записки свои и читал их почти плача, точно панихиду служа о людях, уже отошедших из его мира. Никон поднялся, сел, упираясь руками в диван, и расширенными глазами заглядывал то в тетрадь, куда Кожемякин ожесточенно тыкал пальцем, то в его лицо, бледное, возбужденное и утратившее обычное ему выражение виноватой растерянности. Две лампы горели в комнате, и когда та, что стояла перед ними, затрещала, угасая и выкидывая из стекла искры, Никон осторожно поднялся, погасил ее, на цыпочках подошел к столу, принес другую и снова молча сел, как раньше.

Отворилась дверь, явился Шакир, с порога сказал, ласково упрекая:

— Осым часов!

Они поглядели на него, друг на друга, на окна.

— Ночева-ал я,— протянул Никон и вздохнул, причмокнул губами.

Кожемякин чего-то испугался и тревожно крикнул Шакиру:

— Ну — восемь! Ну — что ж?

— Ставня открывать нада — светла!

— Уйди, брат! — крикнул Никон, махая рукой татарину.— Досказывай, Матвей!

— Давай самовар! — радостно скомандовал хозяин.— А ставни не открывай, давай огня лучше, налей лампу!

И просящим голосом сказал Никону.

— Уж так, знаешь, всё при одном свете!

Тот молча кивнул головою и подвинулся ближе к нему.

Они стали друзьями, Никон почти поселился у Кожемякина и всё более нравился ему. Он особенно подкупал Матвея Савельева тем молчаливым и напряженным вниманием, с которым слушал его рассказы о редких людях, о Марке Васильеве, Евгении, Тиунове. Первые двое не вызывали у него никаких вопросов, а только удивление.

— Это, действительно, умы! — почтительно говорил он.— Даже и не верится, что есть такие, прямо — сказка! Вот откуда у тебя мысли эти!

И, угрюмо помолчав, добавил:

— Конечно, развестись им в большое число не дадут, нет!

— Начальство?

— И начальство. Да и сами мы — не дадим!

— Мы? Отчего?

— Душить будем!

— Да отчего? — добивался изумленный Кожемякин.

Никон, пожимая плечами, виновато говорил:

— Не сумею объяснить это, а — думаю, так будет! Это — зерна в камень!

Кожемякин опускал голову, вспоминая свое отно-

шение к дяде Марку и людям, которых он собрал вокруг себя.

А Тиунов смешил Никона, приводя его в веселое настроение.

— Ах, шельма! — восклицал он, покручивая усы.— Кабы ему силу, денег бы ему! В узлы вязал бы он людей...

Иногда Никон назначал Ревякиной свидание в доме Матвея Савельева, она приходила, свободно и весело здоровалась с хозяином, потом они запирались в комнате Палаги, а Кожемякин приготовлял чай и, ожидая, когда они выйдут, чувствовал себя покровителем их и немножко завидовал Никону.

Машенька казалась ему сначала обыкновенной, как полынь-трава, но, вслушиваясь в ее речи, он понемногу начал понимать странное, тревожное отношение Никона к ней, как бы прослоенное бесконечным спором.

Однажды, сидя за чайным столом, румяная и жаркая, с томными глазами, она заговорила:

— Люблю я тихой зимней ночью одна быть; запрешь дверь наглухо, в горнице — темно, только лампадка чуть брезжит, а в постели тепло, как в парном молоке; лежишь и слушаешь всем телом: тихо-тихо, только мороз о стену бьет! Задремлешь на минуту — будто приснится: вот пришел кто-то, ласково дохнул в лицо — вздрогнешь, откроешь глаза, а — никого нет! Опять лежишь, ждешь, опять померещится — наклонился кто-то над тобой и невнятное, а — дорогое, редкое слово сказал,— и опять нет никого. Вы — не думайте, не мужчину ждешь, а кого бы другого, ну, хоть ангела...

— А то — чёрта,— сказал Никон, не глядя на нее.— Бабе это всё равно.

Усмехнувшись, она бесстыдно подмигнула Кожемякину на Никона, певуче продолжая:

— И вдруг обнимет сон, как мать родная любимое свое дитя, и покажет всё, чего нет, окунет тебя в такие радости, тихие да чистые, каких и не бывает наяву. Я даже иногда, ложась, молюсь: «Присно дева Мария, пресвятая богородица — навей счастливый сон!»

«Эко — расцвела!» — думал Кожемякин, с удовольствием глядя на нее.

А Никон сказал, точно кулаком по пустой бочке грохнул:

— Меня такой тихой ночью — в набат ударить охота берет! Влезу я когда-нибудь на соборную колокольню да и бухну — право!

Машенька, точно сорвавшись откуда-то, вздрогнула и тотчас рассмеялась рассыпчато, говоря:

— Вот испугаются люди! Запрыгают по улицам-то, по снегу-то, голые все, ой...

А посмеявшись, вдруг заторопилась и ушла домой.

— Что ты всё поперек ее речей говоришь? — спросил Кожемякин Никона.

Тот задумчиво поглядел на него и ответил неохотно:

— Хочется достичь до самых до корней в речах ее! Есть, видишь, между нами переборка, а коли жить душа в душу...

Не договорил и встал из-за стола:

— Пойду в трактир со Шкаликом в карты играть!

Потом небрежно сказал, наклонясь, чтобы надеть галоши:

— Ты Посулова остерегайся.

— А что? — вздрогнув, спросил Кожемякин.

— Да так. Остерегайся, говорю.

Кожемякин тревожно задумался: незадолго перед этим он — точно слепой в яму — свалился в объятия Марфы Посуловой. Мясник всё настойчивее навязывался на знакомство, Матвей Савельев, не умея отказать, изредка заходил к нему, но почти каждый раз случалось так, что Посулов уходил куда-то по неожиданно спешному делу, а гость волей-неволей оставался с Марфой. Он знал, что Шкалик яростно играет в карты и дела его расстроены, несколько раз Посулов брал у него денег, обещая отдать вскорости, и — не отдавал.

В городе говорили, что Шкалик бил Марфу за то, что она оказалась дурной мачехой сыну его от первой жены; он должен был отправить сына в Воргород и будто бы очень тоскует о нем, боится за него, но говорили также, что он удалил сына из ревности.

Кожемякин не верил, что Марфу можно бить, но в то же время у него просыпалась тихая жалость к этому здоровому телу, и он думал:

«Ей бы детей человек пять, а она живет бесплодно — какой он муж для нее?»

Однажды, придя к Посулову, он застал Марфу за чаем, и ему показалось, что она встретила его живее, чем всегда, улыбнулась приветливее и как бы умнее.

— Алексея-то Иванова опять нет? — спросил он.

— Телят покупать поехал в Воеводино,— объяснила она.

— А звал меня, говорил — дома буду!

— Забывчив он.

Она сидела, как всегда, прямо и словно в ожидании каком-то, под розовой кофтой-распашонкой отчетливо дыбилось ее тело, из воротничка, обшитого кружевом, гордо поднималась наливная шея, чуть-чуть покачивалась маленькая, темноволосая, гладко причесанная голова, на ее писаном лице, в тумане глаз, слабой искрой светилась улыбка.

— А у нас сегодня баню топили,— рассказывала она, не торопясь и в нос.— Алексей-от мыться хотел, да вот — уехал, так уж я за двоих парилась-парилась, даже сердце зашлось!

— Скучненько вы живете все-таки,— сказал гость, вздохнув.— Такая молодая...

— Нет, ничего,— перебила она.— А если скука пристигнет, пролога́ читаю, мне тетенька подарила рукописные, Митрием Ростовским не правленные.

И, покачнувшись вперед, сказала, тоже почему-то вздыхая:

— Есть там истории такие, что даже стыдно читать!

— Есть,— согласился Кожемякин.

— А ведь — святые?

— Как же!

— Просты были святые-то!

— Тем и святы.

Прикрыв глаза, она медленно выговорила:

— А мы всё мудрим, и вовсе напрасно это...

«Разговор такой надо прекратить»,— сообразил Кожемякин.

Но женщина, тяжело опираясь руками в стол, поднялась и, широко открыв потемневшие глаза, уверенно и деловито повторила:

— Вовсе напрасно,— богородица простить любит!

Когда Кожемякин опамятовался,— ему стало стыдно за себя и за нее: то, что случилось, было так голо, безмолвно, не прикрашено ни словом от сердца, ни тем бешенством плоти, которое умерщвляет стыд и раскаяние. И было страшно: только что приблизился к нему человек как нельзя плотней и — снова чужой, далекий, неприятный сидит на том же месте, схлебывая чай и глядя на него через блюдечко всё тою же знакомою, только немного усталою улыбкой. Он не знал, что сказать ей, в душе кипела какая-то муть, хотелось уйти, и было неловко, хотелось спросить о чем-то, но он не находил нужного слова, смущенно передвигая по столу тарелки со сластями и вазочки с вареньем.

— Что молчишь? — услыхал он ее голос, вздрогнул и вдруг спросил:

— Значит — любишь ты меня?

— Кабы не любила — не согрешила бы!

И прибавила, подумав:

— Да еще в субботу...

«Как яблоко-червоточина упала»,— думал Кожемякин.

Он не помнил, как ушел от нее, и не помнил — звала ли она его к себе. С неделю сидел он дома, сказавшись больным, и всё старался оправдать себя, но — безуспешно. А рядом с поисками оправданий тихонько поднималась другая, мужская мысль:

«Сама ведь она, значит — есть во мне эдакое, победительное...»

Она звала его к себе памятью о теле ее, он пошел к ней утром, зная, что муж ее на базаре, дорогой подбирал в памяти ласковые, нежные слова, вспоминал их много, но увидал ее и не сказал ни одного, чувствуя, что ей это не нужно, а ему не сказать их без насилия над собою.

Так и начался роман без любви, с недоумением в душе и темным предчувствием какой-то беды.

Хотелось ему рассказать о Марфе Никону, посоветоваться с ним о чем-то, но всегда было так, что, когда являлся Никон, Марфа точно исчезала из памяти.

А она, быстро привыкая к нему, становилась раз-

говорчивее, горячее и требовательнее в ласках и всё более смущала его прилипчивым, нехорошим любопытством: заласкав, она спрашивала его тихим, жадным шёпотом:

— Расскажи, как у тебя с мачехой началось?

— А ты — полно! — отказывался он.— Разве можно об этом балагурить?

— Ну, а — с барыней?

Зрачки ее сокращались, глаза становились маленькими, вся она даже вздрагивала, точно вскипая. Кожемякин молчал и сердился, иногда чувствуя желание ударить ее.

Тогда она сама начинала рассказывать ему истории о женщинах и мужчинах, то смешные и зазорные, то звероподобные и страшные. Он слушал ее со стыдом, но не мог скрыть интереса к этим диким рассказам и порою сам начинал расспрашивать ее.

— Ага,— торжествуя и обижаясь, восклицала Марфа,— меня, небойсь, выспрашиваешь, а сам — молчишь, когда я прошу!

— Нехорошо это, Марфа!

— Делать — хорошо, а говорить — нехорошо?

— И откуда бы тебе, молодой женщине, знать эти дела? — удивлялся он.— Выдумываешь, наверно, и привираешь ты...

Горячась, она подтверждала свои грязные сказки новыми:

— Слобода у нас богатая, люди — сытые, рослые, девушки, парни красивые всё, а родители — не строги; по нашей вере любовь — не грешна, мы ведь не ваши, не церковные! И вот, скажу я тебе, в большой семье Моряновых поженили сына Карпа, последыш он был, недоросток и щуплый такой...

Через минуту Кожемякин, конфузливо смеясь, уговаривал ее:

— Перестань, ты, лошадь.

А иногда, устав от нее, мучимый этими рассказами, он говорил:

— Ежели ты затеяла всё это со мной из любопытства, чтобы про такие дела выспрашивать, так любопытство твое скверное и распутное...

— Ну, уж какой святоша,— отзывалась она, надувая губы и отвертываясь от него.

Предупреждение Никона встряхнуло в душе Кожемякина все его подозрения и отрицательные чувства к Марфе и Посулову: мясник всё чаще занимал у него деньги и всё упорнее избегал встреч с ним у себя дома. А в гостях или в трактире он как-то незаметно подкрадывался к Матвею Савельеву и вдруг — сзади или сбоку — говорил:

— Здорово! Как живешь?

Пальцы у него шевелятся, трутся друг о друга, а красное лицо морщится, и раньше не видные глазки теперь смотрят прямо в лицо.

— Марфа говорила — был ты третьего дня?

— Был, как же...

— То-то! Ну-ко, дай-ка ты мне красненькую до субботы, до вечера...

С некоторой поры почти каждое посещение жены он оплачивал мужу.

«Неужто — знает он?» — думал Кожемякин, но тотчас же отталкивал эту мысль, стыдясь ее.

«Надо мне расспросить ее, она — скажет, если умненько»,— решил он после слов Никона.

Жизнь его шла суетно и бойко, люди всё теснее окружали, и он стал замечать, что руки их направлены к его карманам. То один, то другой из деловых людей города тайно друг от друга предлагали ему вступить с ними в компанию, обещая золотые барыши, и всё чаще являлся крепенький Сухобаев, садился против хозяина и, спрятав глазки, убедительно говорил:

— В мыслях ваших самое главное то, что вы соизволили сказать о сословии. Совершенно правильно, что надо нам укрепиться, опираясь друг на друга. Однако— сначала — по единому...

И облизывал губы.

Платье на нем добротное и пригнано к телу так, точно он облит им. Узнав, что Кожемякин хочет закрыть свой завод, он даже испугался, вскочил и замахал руками.

— Помилуйте! — жалобно говорил он.— Это против всех ваших слов! Как же-с? Фирма — это даже очень

важно, и вдруг — нет ничего! Что же это: сами говорите — надобно распространяться по земле, и своей же волей уничтожастесь?

Он подвинул стул вплоть к хозяину, касаясь его колен своими, взглянул в лицо его горячим взглядом и предложил тихо:

— Желаете продать? Сухобаев, преемник Кожемякина,— желаете? Цена-с? В два слова!

Кожемякину понравилась живая игра его лица, решительный взгляд, а больше всего упоминание о фирме.

— Надо подумать,— сказал он дружелюбно.— Надоели мне рабочие эти, возня и всё...

— Понимаю-с! — воскликнул Сухобаев.— Другие мысли посетили, руководящие мысли, которые больше дела, это я понимаю-с! Но думать, что же — думать? Вот вам — Сухобаев, преемник Кожемякина — готов-с!

Не сходя с места, он убедил кончить дело, вручил задаток, взял расписку и встал, обещая:

— Насчет беспокойства — не сомневайтесь, огражу! Покой ваш — вещь для меня значительная, как я, будучи поклонник ваших мыслей, обязан способствовать, чтобы росли без помехи-с!

Кожемякин был польщен его словами и доволен продажей завода без дома, на что он не рассчитывал и о чем не думал даже.

В другой раз Сухобаев, встретясь на улице, спросил Кожемякина:

— Вы, слышал, с Никоном Маклаковым сошлись — верно? Так-с. Тогда позвольте предупредить: Никон Павлович в моем мнении — самый честнейший человек нашего города, но—не играйте с ним в карты, потому— шулер-с! Во всех делах — полная чистота, а в этом — мошенник! Извините, что говорю не спрошен, но как я вообще и во всем хочу быть вам полезен...

Глаза его смотрели прямо и светло — Кожемякин дружески пожал цепкую руку и простился с ним, думая: «Шельма ведь, а — какой приятный!»

Однажды Сухобаев застал у Кожемякина Никона; долго сидели, распивая чай, и Матвей Савельев был удивлен почтительным интересом и внимапием, с которыми этот человек, один из видных людей города,

слушал размашистые речи трактирного гуляки и картежника.

— Жизнь становится другой, а люди — всё те же,— говорил Никон.

— Очень верно! — горячо соглашался Сухобаев.

— Теперешние ребятишки умнее нас не обещают быть; гляжу я на них: игры, песни — те же, что и нами петы, и озорство то же самое.

— Здесь — не соглашусь! — уважительно, но настойчиво заявил Сухобаев, собираясь в комок.

— Отчего, Василий Васильич? — спросил хозяин.

— А видите ли-с,— становятся дети недоверчивей и злей...

— Пожалуй — так! — в свою очередь согласился Никон.— В боях теперешних хитрости много, а чести да смелости меньше стало. И плачут ребятишки чаще, сердятся легче...

Подумав, он заворчал:

— И всё это от матерей, от баб. Мало они детям внимания уделяют, растят их не из любви, а чтоб скорей свой сок из них выжать, да с избытком! Учить бы надо ребят-то, ласковые бы эдакие училища завести, и девчонкам тоже. Миру надобны умные матери — пора это понять! Вот бы тебе над чем подумать, Матвей Савельев, право! Деньги у тебя есть, а куда тебе их?

Сухобаев поднял голову и стал смотреть в зеркало, приглаживая рыжеватые волосы на голове, а Никон, закинув руки за шею, улыбался, говоря:

— Да-а, ежели бабы умнее станут — и, правду скажем, честнее,— люди бы поправились! Наверное!

— Непременно-с! — негромко подтвердил Сухобаев.

Кожемякин молчал, думая:

«Из солидных людей ни в одну голову такая мысль не пришла, а носит ее потерянный человек».

Вслух он сказал:

— Подумать об этом надо...

Сухобаев уронил под стол чайную ложку и, нагнувшись за нею, скрылся.

— Если бы завелись такие женщины, как ты сказывал,— задумчиво говорил Никон, откинув голову

и глядя в потолок.— Бабы теперь все-таки другие пошли: хуже али лучше — не понять, а другие. Раньше были слаще да мягче, а теперь — посуше, с горчинкой! Бывало, ходишь около ее, как грешник вокруг церкви, со страшком в грудях, думаешь — какие бы особенные слова сказать ей, чтобы до сердца дошли? И находились, слова, ничего! Ныне в этом как бы не нуждаются, что ли? И не столько любовь идет, сколько — спор — кто кого пересилит? Устают прежде время от споров этих и стареют.

Сухобаев молча исподлобья смотрел на Никона и, шевеля тонкими губами, порою обводил их острым концом языка. Улыбался он редко, быстро исчезавшей улыбкой; она не изменяла его холодного лица.

Уходя после этой беседы, он вежливо попросил разрешения посетить Кожемякина завтра вечером, тот дружелюбно сказал:

— Всегда рад, пожалуйте...

А оставшись с Никоном, спросил его:

— Как ты о нем думаешь, а?

— Мужик — умный,— сказал Никон, усмехаясь.— Забавно мы с ним беседуем иной раз: он мне — хорошая, говорит, у тебя душа, а человек ты никуда не годный! А я ему — хороший ты человек, а души у тебя вовсе нет, одни руки везде, пар шестнадцать! Смеется он. Мужик — надежный, на пустяки себя не разобьет и за малость не продаст ни себя, ни другого. Ежели бы он Христа продавал — ограбил бы покупателей, прямо бы и сразу по миру пустил.

Усмехнулся недоброй усмешкой, поправил перед зеркалом редеющие кудри и, задумчивый, ушел.

На другой день Сухобаев явился затянутый еще более туго и парадно в черный сюртук, размахнул полы, крепко сел на стуле и, устремив глаза в лицо хозяина, попросил:

— Вот что, Матвей Савельич,— позвольте быть откровенным!

И, надвинувшись ближе, забил в барабан:

— Вам, конечно, известно, что я числюсь жуликом-с и доверия мне нет. Это меня — не обижает: всех деловых людей вначале жульем зовут, а после — ходят пред

пими на четвереньках и — предо мной тоже — в свою пору — на четвереньки встанут-с; но — это между прочим-с! Я, конечно, от этого зрелища не откажусь и поднимать людей на задние ноги — не стану-с, а даже — посмеюсь над ними и, может быть, очень-с! — но — говорю по чистой совести — не это главное для меня! Мне надобен — почет-с, а не унижение человеков во прах: почет — кредит, а унижение не более, как глупая и даже вредная игра-с. Я у вас человек новый, дед мой всего шесть годов назад в Обноскове пастухом умер-с, меня здесь чужим считают, и кредита мне — нет! Однако-с все эти Смагины, Кулугуровы, Базуновы и прочие старожилы, извините,— старые жилы-с, народ ветхозаветный, мелкий, неделовой, и самое лучшее для них и выгодное — не мешать бы мне-с! Вы сами видите — каковы они! И вы совершенно правильно доказывали им, что жить-работать — надо по-новому-с: с пользой для всего жителя, а не разбойно и только для себя! Не хватать бы весь чужой целковый сразу, а — получите четвертачок сдачи и приготовьте мне из него еще рубль-с!

Он напомнил Кожемякину воинственным видом своим солдата Пушкарева, напомнил все злые слова, которыми осыпали его за глаза горожане, и пренебрежительное отношение к нему, общее всем им.

«К чему клонит?» — соображал Матвей Савельев, глядя, как человек этот, зажав в колени свои сухие руки, трет их, двигая ногами и покачиваясь на стуле.

— Чего я от вас желаю-с? — как будто догадавшись, спросил Сухобаев, и лицо его покрылось пятнами.— Желаю я от вас помощи себе, дабы обработать мне ваши верные мысли, взбодрить жизнь и поставить себя на высшую ступень-с! При вашем состоянии души, я так понимаю, что капитал ваш вы пожертвуете на добрые дела-с,— верно?

Кожемякин не думал об этом, но сказал:

— Верно.

— Так-с!

Мигая глазами, как слепой, Сухобаев подвинулся еще ближе, положил свои руки на колени хозяина и тихо, убедительно предложил:

— А не лучше ли сначала возрастить капитал? Сколько банк вам платит? Не желаете ли получить на процент выше?

— На три! — сказал Кожемякин.

— Шутите.

Сухобаев встал, прямой как гвоздь, подумал и спросил:

— Сколько можете дать денег?

— Пятьдесят тысяч.

— Мало-с. У вас должно быть вдвое и даже больше-с. Давайте все!

— Боязно,— сказал Кожемякин, усмехаясь.

— Закладные выдам на землю, гостиницу, дом, векселя возьмите!

Снова сел и таким голосом, как будто дело было решено, заговорил:

— Извольте рассудить: Базунов городу не голова, толка от него никому нет и не будет,— в головы должен встать здесь — я-с!

Кожемякин засмеялся, любуясь его драчливым видом.

— Да, я! — не смутясь, повторил Сухобаев.— А вы мне в этом помогите краснопечием вашим. Тогда — помимо того, что это всему городу явный будет выигрыш,— ваши деньги обеспечиваются солиднее, ежели я возведусь на эту должность, и всех планов ваших исполнение — в собственных ваших руках-с! Я — вам исполнитель и слуга,— желаете эдак? Игра — верная-с! Всех добрых дел и мыслей Матвея Савельева Кожемякина преемник Василий Сухобаев!

Вскочил и, побледнев, затрясся в возбуждении.

— В пять лет сроку переверну весь город-с! Соглашайтесь, и — помолимся богу!

— Нет,— сказал Кожемякин,— надобно подумать. Как же это — сразу?

Сухобаев поучительно сказал:

— Поверьте — всё доброе сразу делается, без дум! Потому что — ей-богу! — русский человек об одном только умеет думать: как бы и куда ему получше спрятаться от дела-с! Извините!

Когда он ушел, Кожемякину показалось, что в комнате жарко, душно, а в груди у него выросло что-то новое и опасно качается из стороны в сторону, вызывая горькие мысли:

«Умру — расхватают всё зря! Духовную надо мне составить на город — кому кроме? А составив духовную, подумаю и об этом. Ловок он, добьется своего! Надо с ним осторожно, не то — ограбит. Хотя — всё едино, кто ограбит. А этот, пожалуй, всё сделает, как сказывал...»

В таких мыслях через несколько дней он пришел к Марфе Посуловой и, размягченный ее ласками, удовлетворяя настойчивое желание поговорить с нею о деле, тяготившем его, сказал:

— А знаешь — я все свои деньги Сухобаеву отдаю на дела его. Мне они — к чему? Один ведь я, помру — всё пропадет, разграбят. Он обещает...

Марфа медленно приподнялась на постели, села и, закрыв лицо руками, вдруг тихонько завыла. Кожемякин спрыгнул на пол, схватил ее за плечи, испуганный, удивленный.

— Что ты? О чем?

Она не отвечала, растекаясь в слезах, и густо, по-волчьи тянула:

— Оу-у-у-у...

Рубашка спустилась с плеч ее, большое белое тело вздрагивало, точно распухая, и между пальцев просачивалась влага обильных слез.

— Да что ты? — шептал он, пытаясь отнять руки от ее лица; она ткнула его локтем в грудь, яростно взвизгнув:

— Поди прочь!

Тяжело свалилась с постели, отвернулась в сторону и, одеваясь, проныла жалобно и тихо:

— Жулики вы, жулики!

Кожемякин тоже поспешно оделся, молча вышел из полутемной, одною лампадой освещенной комнаты в зал, оглянулся ошеломленный, чувствуя, что случилось что-то скверное. Вышла Марфа, накинув на голову шаль, спрятав в ней лицо, и злым голосом сказала:

— Что расселся? Ступай, говорю!

Он подошел к ней, тихо спрашивая:

— Почему, Марфа, а? За что ты?

— Нечего тебе тут делать,— угрюмо ответила она, не глядя на него, откачнулась к стене, оперлась о нее широкой спиной и снова завыла, в явном страхе, отчаянно и приглушенно:

— Что мне теперь бу-удет!

Тогда Кожемякин сорвал с нее шаль, схватил за голову, сжал щеки ладонями и хрипло спросил, задыхаясь со зла и обиды:

— Алешка — знал?

— Пусти,— упираясь в грудь ему мягкими руками, сердито крикнула она.

— Гляди мне в глаза,— знал? Это ты с его согласия, ну?

Женщина присела, выскользнула из его рук, отбежала к двери и, схватившись за ручку ее, заговорила быстрым шёпотом, покраснев до плеч, сверкая глазами и грозя кулаком:

—А ты, чай, думал — своей охотой я связалась с тобой, бабья рожа? Накося!

И, показав ему кукиш, стала стучать лбом о дверь, снова воя и вскрикивая:

— Ой, как я буду теперь, го-осподи-и! Сволочи вы, сволочи-и...

— Ах ты... — не утерпел Кожемякин, подвигаясь к ней.

Но, обругав ее площадным словом, почувствовал, что ему жалко бабу, страшно за нее.

Она опустилась на пол в двери, потом, вскочив, безумно вытаращила глаза и, размахивая руками, закричала:

— Не лай, пес!

Кожемякин поймал ее, обнял и, целуя мокрое лицо, просил виновато:

— Ну — прости! Это я зря, прости! Эх ты, овца недорезанная, бедная ты моя, жалко мне тебя как — не поверишь! Это значит — торговал он тобою, как настоящий мясник, а? Что ж ты мне не сказала прямо, сразу, а?

— Отстань,— вырывалась она не сильно, видимо, успокаиваясь под его ласками, глаза ее блуждали по комнате, словно ища чего-то, и руки тряслись.

Он готов был плакать от нестерпимой жалости к ней, но сердце его горело сухо и подсказывало вопросы о Посулове:

— Зачем это он — из-за денег?

— А я знаю?

— Ну — как ты думаешь? Чего он добивался, на что рассчитывал?

Оттолкнув его, она опустилась на стул и сказала грубо:

— Стану я думать про ваши пакости!

— Да ведь делала ты их?

— Так что? — бормотала она.— Не своей волей, он за меня богу ответчик...

Не думая, со зла на Посулова, Кожемякин предложил ей:

— Вот что, Марфа, бросай мужа, переходи ко мне!

Но она, вскинув голову, сердито усмехнулась в лицо ему, укоризненно сказав:

— Эко вывез! А еще говорят — начитанный ты да умный! Разве можно от мужа уходить? Это — распутницы делают одни...

— Какой он тебе муж, дура! — крикнул Кожемякин.

— Законный, венчанный! А ты — уходи! — бормотала она, глядя в пол.

Потом, смешно надув губы, задумалась на минуту и вдруг снова ясно проговорила:

— И Николая нет. Господи...

— Какого Николая?

— Никакого! Что тебе?— закричала она, сидя, точно связанная.

В комнате было темно и тесно; Кожемякин, задевая за стулья и столы, бродил по ней, как уставшая мышь в ловушке, и слышал ворчливый голос:

— А еще думала я — с этим, мол, хоть слово сказать можно. А ты тоже только сопеть умеешь...

Лицо у нее было новое: слиняло всё и дрожало,

глаза округлились и тупо, оловянные, смотрели прямо перед собою, должно быть, ничего не видя.

— Прощай, — сказал Кожемякин, протянув ей руку.

Она повела плечом и, не подав ему руки, отвернувшись, сурово сказала:

— Иди — бог простит...

Кожемякин вышел на улицу в облаке злых мыслей: хотелось сделать что-то такое, что на всю жизнь ущемило бы сердце Посулова неизбывной болью и обидой.

В бескрасочной мутной дали полинявших полей, на краю неба стояла горой синеватая туча, от нее лениво отрывались тяжелые клочья и ползли к городу низко над холмами.

«Выберу целковый похуже, поистрепанней,— выдумывал он, шагая вдоль заборов, — и пошлю ему с припиской: за пользование женой твоей хорошей, с твоего на то согласия. Нельзя этого — Марфу задену! А — за что ее? Ну, и несчастна же она! И глупа! Изобью Алешку...»

С этим решением, как бы опасаясь утратить его, он быстро и круто повернул к «Лиссабону», надеясь встретить там мясника, и не ошибся: отвалясь на спинку стула, надув щеки, Шкалик сидел за столом, играя в карты с Никоном. Ни с кем не здороваясь, тяжело топая ногами, Кожемякин подошел к столу, встал рядом с Посуловым и сказал приглушенным голосом:

— Здорово!

— Здравствуй,—ответил мясник, рассматривая карты.— Ты что — забыл, где я живу?

Он не взглянул на Кожемякина и говорил равнодушно, покачивая головой, озабоченно подняв веер карт к носу, точно нюхая их.

Кожемякин пододвинул ногою стул, грузно опустился на него и молчал, губы его тряслись. Он смотрел сбоку на Посулова, представляя, как ударит кулаком по этой сафьяновой, надутой щеке, по тяжелому красному уху, и, предвкушая испуг, унижение мясника, дрожал весь мелкой злой дрожью.

— Ты что какой? — спросил Никон.

— Я? Я вот у него в гостях был! — глухо сказал

Кожемякин.— У его жены,— хороша жена у тебя, Алексей Иванов!

Тогда Посулов привстал, опираясь рукою о спинку стула, вытянул шею и, мигая невидимыми глазами, хрипло переспросил:

— Жена? Что?

— Хороша! — злобно крикнул Кожемякин, ударив рукой по столу.— Эх ты, мясник...

Никон, бросив карты, вскочил на ноги.

Пьянея со зла и уже ничего не видя, кроме темных и красных пятен, Кожемякин крикнул:

— А деньги я Сухобаеву отдал, ошибся ты, мошенник!

Посулов ударил его снизу вверх в правый бок, в печень,— задохнувшись, он упал на колени, но тотчас вскочил, открыв рот, бросился куда-то и очутился на стуле, прижатый Никоном.

— Пусти — дай я его! — хрипел Кожемякин.

— Стой! Убежал он!

Никон взял его под руку и быстро повел, а он бормотал, задыхаясь:

— Бить ее — не дам!

Потом в каком-то чулане, среди ящиков, Кожемякин, несколько успокоенный Никоном, наскоро рассказал, что случилось, гармонист выслушал его внимательно и, свистнув, засмеялся, говоря успокоительно:

— Во-он что! Сначала он меня всё подговаривал обыгрывать тебя, а деньги делить. Экой дурак, право! Даже смешно это!

И, пристально взглянув в глаза Кожемякину, строго спросил:

— Ну, а ты что развоевался! Позоришь себя на народе... Идем-ка, зальем им языки-то. Веселее гляди!

— Бить ее побежал он? — спросил Кожемякин, уступая его толчкам.

— Ну — побьет! Думаешь — она этого не стоит? Больно он тебя ударил?

— Прошло.

— Я ему и помешать не успел. Всё это надо погасить,— говорил Никон внушительно,— ты угости хорошенько всех, кто тут есть, они и забудут скандал,

на даровщинку напившись. Надо соврать им чего-нибудь. В Псалтыре сказано на такие случаи: «Коль ложь во спасение».

Его отношение к событию успокоило Кожемякина, он даже подумал:

«Зря всё это я сделал!»

В трактире сидели четверо: брат Никона, Кулугуров, Ревякин и Толоконников.

Никон сразу сделался весел, достал из-за стойки гитару и, пощипывая струны, зашумел:

— Эх, угощай, Кожемякин, топи душу, а то — вылетит! Купечество,— что губы надуло?

Подошел Ревякин, хлопнул ладонями под носом Кожемякина и крикнул:

— Чук!

Весело засмеялся, а потом спросил:

— За что тебя Шкалик ударил?

— Э,— пренебрежительно махнув рукою, сказал Никон,— дурак он! Всё привязывался, денег взаем просил, а Кожемякин отказал ему, ну, вот!

Кулугуров поучительно говорил:

— Ты — слушай: Посулов человек не настоящий и тебе вовсе не пара, он жулик, а ты — прост, ты — детский человек...

— Не хочу я о нем помнить,— возбужденно кричал Матвей Савельев.— Обидел он меня, и — нет его больше!

Ревякин ловил мух, обрывал им крылья и гонял по тарелке, заботясь, чтобы муха делала правильный круг. Семен Маклаков недоверчиво следил за его усилиями и бормотал, покашливая:

— Мухи — это самое глупое,— видишь — не понимает она, не может...

Через час все были пьяны. Ревякин, обнимая размякшего Матвея Савельева, шептал ему на ухо:

— Я знаю, чем всё кончится, я, брат, имею слуг та-аких — мне всё известно вперед за день! Есть такие голоса...

И, распуская половину лица в улыбку, неожиданно вскрикивал:

— Чук!

Толоконников, маленький и круглый, точно кожаный мяч, наклонив к лицу Матвея Савельева свою мордочку сытого кота, шевелил усами и таинственно рассказывал:

— Ты — слушай: пришел со службы слободской один, Зосима Пушкарев, а служил он на границах, н-ну, понял?

— Да?

— На границах, милый! И говорит он — завелись-де новые там люди, всё ходят они по ночам взад-вперед и ходят туда-сюда,— неизвестно кто! И велено их ловить; ловят их, ловят, а они всё есть, всё больше их, да-а...

Кулугуров кричал:

— Шпионы! Это — к войне!

А Ревякин, хитро подмигивая всем, говорил:

— Ну,— не-ет! Это не к войне... Я знаю — к чему! Я голоса слышу...

И, закрыв разъединенные глаза, сладостно думал о чем-то.

Никон, отвалясь на спинку стула, щипал струны гитары, кусал усы и глядел в потолок, а Кожемякин, обнимая всех одним взглядом, смеялся тихонько, любуясь Никоном.

Вдруг кто-то встал в дверях и оглушительно крикнул:

— Посулов жену зарезал!..

Всё вокруг покачнулось, забилось, спуталось и поползло куда-то, увлекая с собою Кожемякина.

В его памяти навсегда осталось белое лицо Марфы, с приподнятыми бровями, как будто она, задумчиво и сонно прикрыв глаза, догадывалась о чем-то. Лежала она на полу, одна рука отброшена прочь, и ладонь открыта, а другая, сжатая в пухлый кулачок, застыла у подбородка. Мясник ударил ее в печень, и, должно быть, она стояла в это время: кровь брызнула из раны, облила белую скатерть на столе сплошной темной полосой, дальше она лежала широкими красными кружками, а за столом, на полу, дождевыми каплями.

Кожемякин, прислонясь к стене, упорно разгляды-

вая этот страшный рисунок, меловое лицо женщины и ее точно за милостыней протянутую ладонь, стоял и, всхлипывая, говорил Никону:

— Где же он? Надо найти его! Как же это? Он ей сам велел...

— Молчи,— шептал Никон, толкая его в бок.

У лежанки, опираясь на пее руками, стоял, вздрагивая и дико вытаращив глаза, высокий рыжий парень лет двадцати, пьяный Кулугуров грозил кулаком ему и шептал:

— Что-о? Довел ты, кобель, хозяина-то до дела, до Сибири, ага?

Вся комната, весь дом был наполнен шёпотами.

— Связать парня надо...

— Зеркало-то занавесьте.

Даже полицейские двигались тихонько и говорили вполголоса.

Никон сердито схватил руку Кожемякина, повел его к двери, но на пороге явился какой-то мальчишка, крикнув:

— Нашли, в хлеву, висит, задавился!

— Не ори! — густо сказал Кулугуров, протянув в сторону покойницы невероятно длинную руку.

Комната налилась тяжелой тишиной, воздух из нее весь исчез, пол опустился, Кожемякин, охнув, схватил себя за грудь, за горло и полетел куда-то.

Очнулся он дома, у себя на постели, около него сидел Никон, а Машенька Ревякина стояла у стола, отжимая полотенце.

— Ну, вот, слава богу! — грубо и сердито говорил Никон.— Чего ж ты испугался? Не с тобой одним она путалась!

— Здесь вот двое любовников ее,— вставила Машенька, вздохнув и подходя к постели.

— Не завидуй, Марья!— зло сказал Никон.— У нее Николка-приказчик постоянным был.

Кожемякину стало тяжко слушать, как они безжалостно говорят о покойнице и сводят свои счеты; он закрыл глаза, наблюдая сквозь ресницы. Тогда они стали говорить тише, Никон много и резко, бледный, растрепанный, кусая усы, а Машенька изредка вставля-

ла короткие слова, острые, как булавки, и глаза ее точно выцвели.

Крадучись, улыбаясь и мигая, вошел Ревякин, сел за стол и, вытирая мокрое лицо, шёпотом попросил:

— Дайте попить!

Поглядел правым глазом на постель.

— Спит?

— Что там? — спросила жена, подвигая к нему графин с квасом; он поднял графин, посмотрел его на свет и, усмехаясь, ответил:

— Чук! Полиция выгнала всех...

Все трое сидели за столом, одинаково положив локти на стол, и, переглядываясь, ворчали тихонько, наводя на хозяина страх и тоску.

«Господи!— думал он.— Вдруг и тут то же случится что...»

Ревякин вертел головой то в одну сторону, то в другую, и казалось, что у него две головы, обе одноглазые.

Машенька сказала, играя пальцами:

— Шкалику всё равно было — либо в петлю, либо в нищие...

«Среди каких людей я живу!» — подумал Кожемякин и застонал.

Подбежала Машенька, наклонилась к его лицу и ласково, испуганно спросила:

— Что — больно?

— Сердце...

Муж ее тоже встал, сел в ногах больного и заговорил тихонько:

— У меня тоже сердце так иной раз сожмется, словно и нет его. Тут надобно читать шестой псалом.

Он отвел живой глаз в сторону и забубнил нараспев:

— «Помилуй мя, господи, яко истощен есмь, яко смятошася кости моя и душа моя смятеся» — голоса вечные, брат!

Кожемякин приподнялся, сел и грубо крикнул:

— Что ты — как над покойником!

А Машенька, махнув рукою на мужа, точно на шмеля, скучно сказала:

— Перестань-ко врать, смятоша-святоша! И сердце у тебя не болит, и псалмов ты не знаешь...

— Чук! — воскликнул Ревякин, отскакивая, примирительно вытянув руки и тряся лысой головой.— Кого я обижаю?

— Паяц! — внятно, но негромко сказала Машенька.

Никон застучал пальцами по столу, засвистел, она повела глазами в его сторону и вздохнула:

— Один — бога тревожит, другой — чертей высвистывает.

Ревякин туго натянул на голову шапку, потом, улыбаясь, предложил Никону:

— Идем?

Они исчезли. На дворе дробно шумел дождь, вздыхал ветер, скрипели деревья, хлопала калитка, Кожемякин прислушивался ко всему, как сквозь сон, вяло соображая:

«Будут меня допрашивать или нет?»

Машенька, расхаживая по комнате сложив руки на груди, осматривала всё и говорила:

— Пыли-то везде сколько! И уж как давно самовар заказан, а всё нет его. Плохо без бабы, Матвей Савельич?

Ему не хотелось отвечать, но он боялся, что молчание обидит ее и она уйдет.

— Неуютно.

— То-то же!

Самодовольный возглас женщины задел его.

— А и с вами — трудно.

— Чем?

Усмехаясь, она встала перед ним.

— Да вот,— сказал он смущенно,— как поглядишь на всё это, на семейных...

— А вы не глядите!

— Как это?

— Так, просто — не глядите да и всё.

Кухарка внесла самовар, женщина отошла к столу, хозяйски заметив:

— Вот и самовар грязный...

И, слово за словом, с побеждающей усмешечкой в темных глазах, обласканная мягким светом лампы, она начала плести какие-то спокойные узоры, желая отвести его в сторону от мыслей о Марфе, разогнать страх, тяжко осевший в его груди.

— Вам бы поискать вдову хорошую, молодую женщину, испытанную от плохого мужа, чтобы она оценила вас верной ценой. Такую найти — невелик бы труд: плохих-то мужей из десяти — девять, а десятый и хорош, да дурак!

Кожемякин немного обиделся.

— Значит — хороших вовсе нет?

— Не видала.

— А жен хороших — много?

— Встречаются. Ведь сколько вы нас ни портите, а всё мы вас лучше — добрее, да и не глупей.

В упор глядя на него, она вызывающе продолжала:

— Вот я хорошая жена: без меня бы Викторка как червяк погиб, ведь он — полоумный. Никто этого не замечает, смеются над ним — чудит, дескать, а я-то знаю, что он с ума сходит. А что я с Никоном живу — сам виноват: если я для него — баба и только ночью — рядом, я и для другого тоже баба, мало ли приятных мужиков-то! Ты, муж, будь для меня человек лучше других, чтоб я тебя уважала и с гордостью под руку с тобой шла улицей — тогда я баловать не стану, нет! И захочется пошалить — перемогусь, а не сдамся да еще похвастаюсь: вот, мол, муженек дорогой, какой мужик приставал ко мне, куда он красивее тебя, а я тебе осталась чистой! И всегда так будет, мил-друг: в мыслях другого-то, может, и подержу, а с собой — не положу, если ты мне закон не по церкви да по хозяйству, а — по душе!

Говорила она, словно грозя кому-то, нахмурив брови, остро улыбаясь; голос ее звучал крепко, а руки летали над столом, точно белые голуби, ловко и красиво.

— А ежели так вот, как Марфа жила,— в подозрениях да окриках,— ну, вы меня извините! Мужа тут нету, а просто — мужик, и хранить себя не для кого. Жалко мне было Марфу, а помочь — нечем, глупа уж очень была. Таким бабам, как она, бездетным да глупым, по-моему, два пути — в монастырь али в развратный дом.

— А что,— спросил Кожемякин, чувствуя к ней доверие,— Никона вы любите?

Прикрыв глаза, она подумала и, улыбаясь, сказала:

— Так себе — часами. Когда рядом — ничего, а издали — не очень. Обошлась бы и без него, не охнув. Вы ведь — приятели?

— Как будто — ничего себе.

— Вот, скажите ему эти мои слова,— попросила она.

— Зачем?

— А вы скажите!

— Рассердится он на вас.

— Поленится.

И, минутку подумав, она добавила тише:

— Он на женщин счастлив.

— Хороший парень,— благодарно сказал Кожемякин.

— Да-а,— не сразу отозвалась она.— Бесполезный только — куда его? Ни купец, ни воин. Гнезда ему не свить, умрет в трактире под столом, а то — под забором, в луже грязной. Дядя мой говаривал, бывало: «Плохие люди — не ну́жны, хорошие — недужны». Странником сделался он, знаете — вера есть такая, бегуны — бегают ото всего? Так и пропал без вести: это полагается по вере их — без вести пропадать...

Просидела она почти до полуночи, и Кожемякину жалко было прощаться с нею. А когда она ушла, он вспомнил Марфу, сердце его, снова охваченное страхом, трепетно забилось, внушая мысль о смерти, стерегущей его где-то близко,— здесь, в одном из углов, где безмолвно слились тени, за кроватью, над головой,— он спрыгнул на пол, метнулся к свету и — упал, задыхаясь.

Хворал он долго, и всё время за ним ухаживала Марья Ревякина, посменно с Лукерьей, вдовой, дочерью Кулугурова. Муж ее, бондарь, умер, опившись на свадьбе у Толоконниковых, а ей село бельмо на глаз, и, потеряв надежду выйти замуж вторично, она ходила по домам, присматривая за больными и детьми, помогая по хозяйству,— в городе ее звали Луша-домовница. Была она женщина толстая, добрая, черноволосая и очень любила выпить, а выпив — весело смеялась и рассказывала всегда об одном: о людской скупости.

— У Веденеевых старуха после обеда пирог ниткой меряет и в карман прячет нитку.

И хохочет продолжительно, иногда до того, что слезы текут из глаз.

— Говорю я Быкову: «Тимофей Павлыч, а ведь ты свиней кормишь лучше, чем работников».— «Так, говорит, и надо: жирный работник к чему мне? А свинья для меня живет, она — вся моя!»

И снова зальется смехом.

Казалось, что, кроме скупости и жадности, глаза ее ничего не могут видеть в людях, и живет она для того, чтобы свидетельствовать только об этом. Кожемякин морщился, слушая эти рассказы, не любил громкий рассыпчатый смех и почти с отчаянием думал: «Прекратятся ли когда осуждения эти?»

Иногда он просил ее:

— Луша, не надо, не говори — я уж знаю...

— Али я рассказала уж? — удивленно спрашивала она и, помолчав некоторое время, снова улыбаясь, открывала рот:

— А у Бродовых...

Болезнь заставила Кожемякина поторопиться с духовным завещанием в пользу города; он послал за попом Александром.

Поп пришел и даже испугал его своим видом — казалось, он тоже только что поборол жестокую болезнь: стал длиннее, тоньше, на костлявом лице его, в темных ямах, неустанно горели почти безумные глаза, от него жарко пахло перегоревшей водкой. Сидеть же как будто вовсе разучился, всё время расхаживал, топая тяжелыми сапогами, глядя в потолок, оправляя волосы, ряса его развевалась темными крыльями, и, несмотря на длинные волосы, он совершенно утратил подобие церковнослужителя.

Когда Кожемякин рассказал ему свой план, поп обрадовался, перекрестил его, поцеловал, точно мертвого, в лоб и горячо заговорил:

— Так вот чем разрешился тихий ваш бунт!

Кожемякин, вспомнив о Максиме, тяжело вздохнул:

— Уж какой — тихий!

Но поп продолжал, подняв палец к лицу своему и глядя на него:

— Да, да,— тихий! Мы все живем в тихом бунте против силы, влекущей нас прочь от родного нам, наша болезнь — как это доказано одним великим умом — в разрыве умственной и духовной сущности России, горе нашей души в том, что она сосуд, наполняемый некой ядовитой влагой, и влага эта разъедает его! О несчастная Русь!

Он воздел руки вверх и потряс ими, а Кожемякин, не понимая смысла его слов, не веря ему, подумал:

«А что она такое — Русь?»

— Противоборствуют в каждом из нас два начала: исконное, родное, и привитое нам извне, но уже отравившее кровь нашу,— против сего-то последнего — весь давний наш, тихий бунт! — всё горячее говорил поп, как будто сам себе. А Кожемякин вспоминал речи Тиунова — кривой говорил тихо, но как будто кричал, этот же выгоревший изнутри человек кричал, а речи его не доходили до сердца. Слушать попа было утомительно, и когда он заговорил о хлыстах, бегунах и других еретиках, отпавших от церкви в тайные секты,— Кожемякин прервал его, спросив:

— А что, матушка очень сердится на меня?

Поп остановился среди комнаты, словно прислушался к отдаленному, не понятому им звуку или вспоминая что-то забытое, помолчал и тоже спросил:

— Как вы сказали?

Кожемякин повторил, робея.

Тогда поп сел на стул и, оправляя волосы обеими руками, грустно проговорил:

— Она — никогда не сердится. Она есть некая мера, налагаемая на всё бескрылым разумом, и всё, что неизмеримо этой мерой, перестает быть.

Улыбнулся нехорошей, дрожащей улыбкой, вздохнул:

— Всё, чего разум не вмещает,— не существует!

И снова вскочил на ноги, широко размахнув рукавами рясы.

— Но разум не может вместить многого, что оскорбительно, нелепо, убийственно духу...

Наклонился к лицу Кожемякина и прошептал, обдав его запахом водки:

— А оно — существует, однако!

— Да-а,— сказал больной, устало прикрывая глаза.

Поп, стараясь не стучать сапогами, отошел от кровати, надел шляпу и, как слепой, вытянув руку вперед, ушел.

Кожемякину было неловко и стыдно: в тяжелую, безумную минуту этот человек один не оставил его, и Матвей Савельев сознавал, что поп заслуживает благодарности за добрую помощь. Но благодарности — не было, и не было доверия к попу; при нем всё становилось еще более непонятным и шатким.

А он стал являться чаще, принося с собою бумаги, читал и сам же браковал их.

«Видно, некуда больше ходить ему»,— равнодушно думал Кожемякин.

Однажды поп застал у него Машеньку с Никоном, поздоровался с ними ласково, как со знакомыми, и, расхаживая по комнате, стал, радостно усмехаясь, присматриваться к ним, а они на него смотрели, как вороны на петуха.

— Гляжу я па вас,— вдруг сказал он,— какая вы славная, ладная пара!

Машенька наклонилась, чтобы спрятать покрасневшее лицо.

— Давно женаты? — спросил поп, остановясь около нее.

— Мы — не женаты,— торопливо и угрюмо сказал Никон, покусывая усы.

Кожемякин, сконфуженный, прибавил:

— Это — кум с кумой.

Машенька встала, спокойно говоря:

— Врут они оба, батюшка, я у этого, кудрявого-то, в любовницах,— помните, каялась вам на духу?

Поп отступил от нее, потемнел, смутился и забормотал, спрятав руки в карманы:

— Да... вот как? Я не помню, но... Да,— это особый случай...

Он стал беспомощен, как ребенок, заговорил о

чем-то непонятном и вскоре ушел, до слез жалкий, подобный бездомному бродяге, в своей старенькой, измятой шляпе и вытертой по швам, чиненой рясе.

Ревякина пошла провожать его, а Никон, поглядев вслед ей, спросил:

— Видал, как Машка-то озорничает?

— Да,— облегченно вздыхая, сказал Кожемякин.— А я думал, он вас проберет!

Никон встал, пошел кругом по комнате, говоря как бы сам с собою, опустив голову:

— Нравится мне этот поп, я и в церковь из-за него хожу, право! Так он служит особенно: точно всегда историю какую-то рассказывает тихонько, по секрету,— очень невеселая история, между прочим! Иногда так бы подошел к нему один на один спросить: в чем дело, батюшка? А говорить с ним не хочется, однако, и на знакомство не тянет. Вот дела: сколь красивая пичужка зимородок, а — не поет, соловей же — бедно одет и серенько! Разберись в этом!

Вошла Машенька, остановилась против Никона, сложив руки на груди, и ехидно спросила:

— Что — испугался правду-то сказать?

Он поднял руку в уровень ее головы, легонько толкнул в лоб и ответил, усмехнувшись:

— Отстань. Какая там правда? Озорство твое только...

«Хорошо, что не женился я!» — в десятый раз подумал Кожемякин.

За время болезни Кожемякина они укрепились в его доме, как в своем, а Машенька вела себя с хозяином всё проще, точно он был дряхлый старик; это даже несколько обижало его, и однажды он попенял ей:

— Уж больно просто ты со мной ведешь себя, словно я мальчишка!

Женщина весело засмеялась.

— Ну, вот еще! Разве ты в любовники годишься? У тебя совесть есть, ты не можешь. Ты вон из-за Марфы и то на стену полез, а что она тебе? Постоялый двор. Нету, тебе на роду писано мужем быть, ты для одной бабы рожден, и всё горе твое, что не нашел — где она!

Когда Никон узнал, что Кожемякин отказал всё имущество городу, а деньги отдал Сухобаеву в оборот,— он равнодушно проговорил:

— Это и лучше, без забот тебе. А Сухобаев не обманет, он сделает всё, как надо. Он прежде — честолюбец, а потом — всё другое.

Марья же очень удивилась, долго смотрела в лицо Кожемякина круглыми глазами, видимо, не веря ему, и брови ее дрожали.

— Так-таки всё и отдал?

— Всё.

Поджав губы, подумав, сказала:

— Экой грех какой!

— Отчего — грех?

— Да так.

И, вздохнув, добавила:

— Вот что значит один человек!

— Не понимаешь ты этого дела,— сказал Кожемякин, немного задетый ее отношением.

— Не понимаю,— созналась она.

Долго молчала и наконец, жалобно глядя на него, спросила:

— Может, лучше бы усыновить кого, ему бы отдать, сироте? А то — город! Как это? Тут все — разные...

Он начал объяснять ей, волнуясь и поучая, она слушала, облизывая губы, точно Сухобаев, и наконец, тихо засмеявшись, перебила его:

— Ну, ну, ладно! Твое дело. И пусть на могиле твоей не полынь растет, а — малина!

Весь этот вечер она была особенно ласкова с ним, но все-таки посмеялась еще раз:

— Ой, Савельич, кабы все мужчины в тебя душой были — то-то бы нам, бабам, хорошо жить!

Когда он встал на ноги и вышел в город, ему стало ясно, что не одной Марье непонятен его поступок, почти все глядят на него, как на блаженного, обидно и обиженно.

Смагин уныло хрипел:

— Училища должна казна ставить, а нам бы — кредитное общество надо!

— Как сказать? — говорил Базунов,— конечно, и училище имеет тоже свой резон, однако же...

Кулугуров смеялся:

— Что, брат, испугался смерти-то? Дорожку в рай мостишь, ага!

Очень удивил его Толоконников,— таинственно подмигнув, отвел его в сторону и прошептал:

— Ошибся ты! В Екклезиасте что сказано, забыл, кутяпа? «Познание умножает скорбь», сказано!

И, ткнув пальцем в лоб его, быстро отошел, вдруг повеселевший отчего-то.

А Ревякин, безуспешно стараясь смотреть в лицо ему обоими глазами, несуразно бормотал:

— Дать бы эти деньги мне, эх ты! Я бы сейчас начал одно огромадное дело; есть у меня помощники, нашел я, открыл таких людей — невидимы и неизвестны, а всё знают, всюду проникают...

Но еще хуже, более злостно, стали смотреть на него, узнав, что он передал весь капитал в руки Сухобаева.

— Не блаженный ты, а — дурак! — кратко заявил ему Смагин, встряхивая обвислыми щеками, и Кожемякин ясно видел, что это — общее мнение о нем.

Только старый Хряпов, быстро отирая серыми, как птичьи лапы, руками обильную слезу в морщинах щек, сказал при всех, громко:

— Правильно сделал, Кожемякин!

Вскоре Кожемякин заметил, что люди как будто устали относиться к нему насмешливо и враждебно, а вместе с этим потерялся у них и всякий интерес к нему: в гости его не звали, никто больше, кроме Сухобаева, не заходил в его дом и даже раскланивались с ним неохотно, небрежно, точно милость оказывая.

Первое время это и угнетало и сердило его, но однажды он подумал:

«Отчего ко мне льнут всё такие никчемные, никудышные люди, как Никон, Тиунов, Дроздов, и эти — нравятся мне, а к деловым людям — не лежит моя душа, даже к Сухобаеву? Почти четыре года вертелся я среди них, а что прибыло в душе, кроме горечи?»

И вдруг всё около него завертелось в другую сторону, вовлекая его в новый хоровод событий.

Никон Маклаков стал посещать его всё реже, иногда не приходил по неделе, по две. Кожемякин узнал, что он начал много пить, и с каждой встречей было заметно, что Никон быстро стареет: взлизы на висках поднимались всё выше, ссекая кудри, морщины около глаз углублялись, и веселость его, становясь всё более шумной, казалась всё больше нарочитой.

Однажды он объявил задумчиво:

— А Петрушка Посулов хороший парень, с душой! Познакомился я с ним намедни. Сижу в «Лиссабоне», запел «Как за речкой зелен садик возрастал»—поднялся в углу человек, глядит на меня, и, знаешь, лицо эдакое праздничное, знатока лицо! Потом идет ко мне слепым шагом, на столы, на людей натыкаясь, слезы на глазах, схватил за руку — «Позвольте, говорит, низко поклониться. Никогда, говорит, эту песню так не слыхал!» Ну, а какой я певец? Рассказываю больше, не пою. Подружились мы. Он с мальчишек по церковным хорам пел, а когда сюда ехать, уж помощником регента был. В театре игрывал и любит это... Вообще — ходок!

Никон опустил голову и засмеялся, почесывая затылок.

— Прельстил он меня, как девица. А дела у него нет, и жить ему нечем. Отцово всё описано за долги и продано. Сухобаев купил. Да. Определил я его.

— Куда? — спросил Кожемякин.

— К Марье, в лавку...

Помолчали.

— Не боишься? — снова спросил Кожемякин.

Как ни бойся, как ни беспокойся,
А любови ты не убежишь!

— пропел Никон и засмеялся, сказав: — Дурацкая песня, из новых, Зосима привез...

— Он чего делает, Зосима?

— Он? Пьянствует. Сон ему какой-то приснился, что ли? Всё болтает о потайных людях каких-то, о столяре, который будто все тайны знает, так, что его даже царь немецкий боится. Дай-ко, брат, водки мне.

— А что ж Марья?

— Марья? — переспросил Никон и задумался, не ответив.

Уйдя, он надолго пропал, потом несколько раз заходил выпивший, кружился, свистел, кричал, а глаза у него смотрели потерянно, и сквозь радость явно скалила зубы горькая, непобедимая тоска. Наконец однажды в воскресенье он явился хмельной и шумный, приведя с собою статного парня, лет за двадцать, щеголевато одетого в черный сюртук и брюки навыпуск. Парень смешно шаркнул ногой по полу и, протянув руку, красивым, густым голосом сказал:

— Петр Алексеев Посулов.

— Похож на отца-то? — кричал Никон.

Посулов светлолицый; его юное, большеглазое лицо напоминало женщину вкрадчивым, мягким взглядом и несколько смущенной усмешкой ярких губ. Прежде чем сесть, он вежливо спросил хозяина:

— Разрешите?

— Говори, Петя! — кричал Никон, взбивая поредевшие кудри.

И Посулов начал красивым, покоряющим голосом:

— Мы обращаемся к вам, Матвей Савельевич, с покорнейшей просьбой: помогите нам составить хор для собора!

Кожемякин, улыбаясь, слушал его, соглашался, обещал и думал завистливо:

«Мог бы и у меня быть такой сын...»

Когда молодой Посулов ушел, он сказал Никону, вздохнув:

— Хорош!

— Верно?

— Чистый такой. Хорош!

Никон подошел к нему, согнулся и глухо проговорил:

— Машку-то я проиграл.

— Ему?

— Конечно.

Сел против Кожемякина и стал рассказывать, медленно, как бы вспоминая что-то отдаленное.

— Я как привел его тогда к ней — по глазам ее,

по усмешке понял, что дурака играю. Ожгло. После она спрашивает меня, как ты: «Не боишься?» — «Нет», мол. «А не жалеешь?» Как сознаться, что и жалею и боюсь? Она будто рассердилась: «Никогда, говорит, ты меня честно не любил! Да». Конечно — врала, глаза прикрыть мне старалась!

Он замолчал, выпил водки, понюхал кусочек хлеба и скатал из него шар. В открытое окно душисто и тепло дышал сад, птицы пели, шелестел лист. Никон приподнялся, бросил шарик хлеба в сад. И, отшатнувшись от окна, сказал:

— Прощай!

Кожемякин, провожая его, вышел на улицу. Отягощенно плыли облака, точно огромные сытые птицы; белое солнце, являясь между их широких крыльев, безрадостно смотрело минуту на пыльную, сухую землю и пряталось. По земле влачились тени; лениво переваливаясь через крыши домов, они кутали деревья, лишая зелень и золото листьев металлического блеска. Где-то пели плотники, поднимая балку или стропило, песня их была похожа на движение теней — такая же медленная и темная. Шел пьяный портной Барабанов, тыкая кулаком в заборы, смотрел под ноги себе, спотыкался и бормотал:

— Н-нет? Нет — так нет!

Выскочил из подворотни молодой петушок, еще цыпленок, бросился под ноги ему, встряхивая крыльями,— портной остановился, упираясь рукою в забор, поднял ногу и оглушительно свистнул.

Опустив голову, Кожемякин вошел на двор.

...Снова дом его наполнился шумом: дважды в неделю сбегались мальчишки — встрепанные, босые и точно одержавшие радостную победу над каким-то смешным врагом; жеманно входили лукавые девицы-подростки, скромно собирались в углу двора, повизгивали там, как маленькие ласковые собачки, и желая обратить на себя внимание и боясь этого; являлись тенора, люди щеголеватые и веселые, один даже с тростью в руке и перстнем на оттопыренном мизинце; бородатые и большеротые басы становились в тень к стене амбара и внушительно кашляли там. Среди этой

пестрой толпы, не суетясь, сизым голубем расхаживал со скрипкой в руках ласковый Посулов и ворковал:

— Господа певцы! Внимание!

Чертил мелом на дверях амбара ноты, указывал на них смычком и спрашивал:

— Это — какая?

Пела скрипка, звенел чистый и высокий тенор какого-то чахоточного паренька в наглухо застегнутой поддевке и со шрамом через всю левую щеку от уха до угла губ; легко и весело взвивалось веселое сопрано кудрявой Любы Матушкиной; служащий в аптеке Яковлев пел баритоном, держа себя за подбородок, а кузнец Махалов, человек с воловьими глазами, вдруг открыв круглую черную пасть, начинал реветь — о-о-о! и, точно смолой обливая, гасил все голоса, скрипку, говор людей за воротами. Посулов, заткнув уши, прыгал, как ушибленный, было очень смешно смотреть на смычок и скрипку, торчавшие в уровень с его гладкой, круглой головой, и на его сморщенное лицо. Все хохотали, качались, размахивая руками, кузнец, прикрыв рот рукой, гудел сквозь пальцы:

— Опять — перепустил? Эко лихо!

Спрятавшись за зеленью цветов, Кожемякин сидел у окна, рассматривая людей, улыбался, тихонько подпевал, если пели знакомое, и со двора в грудь ему вливалось что-то грустное.

Иногда зоркие глаза замечали лицо Кожемякина, и дети вполголоса, осторожно говорили друг другу:

— Гляи — сидит!

— Иде?

— Эвон...

Хозяин прятался за косяк и думал:

«Как про лешего говорят...»

Где-нибудь в углу торчал старенький безмолвный Шакир, прищурив глаза, ласково усмехаясь, а около него ютился полупьяный, растрепанный Никон, тоже с блуждающей усмешкой на красном, измятом лице.

— А ты всё пьешь, Никаша! — упрекал его Кожемякин.

— Всё пью, братец мой!

— Зачем?

— А когда пьян — всем веришь! — отвечал Маклаков и странно всхлипнул.— Пьяному — всё правда: зеленые черти, хорошие люди! Ты найди-ка трезвый хорошего человека — не найдешь! А я сразу нахожу: вот он!

И указал на Посулова.

Виктора Ревякина Машенька отвезла в лечебницу в Воргород и воротилась оттуда похудев, сумрачная, глаза ее стали темнее и больше, а губы точно высохли и крепко сжались. Стала молчаливее, но беспокойнее, и даже в походке ее замечалось нерешительное, осторожное, точно она по тонкой жердочке шла.

Однажды, нарядно одевшись, она посетила Кожемякина поздно вечером и, сидя с ним в саду за чаем, вдруг тихонько заговорила:

— Хочу я с тобой, Савельич, по душам побеседовать. Скотья и бессмысленная жизнь эта надоела мне, что ли то, годы ли причина, или бездетность моя — уж не знаю что, а хоть и руки на себя наложить!

Кожемякин подумал, поискал, что бы ей сказать, и ощутил, что в груди и в голове у него — холодно и темно.

— Что ты мне скажешь? — услышал он требовательные слова, очнулся, пощупал грудь и торопливо забормотал:

— Живешь ты, действительно, неверно будто... Тебе бы выбрать одного.

Она встала, отошла под дерево и оттуда спросила:

— Значит — жаловался Никон?

— Говорил...

— Что — к этому меня тянет, к Петру вот?

— Да.

— Дурак,— негромко и беззлобно сказала она, сломав ветку березы и омахиваясь ею.

— Кабы дети — хоть одно дитя было у меня от него! Истаскался, изжег себя винищем, подлец, а тоже... туда же!

Кожемякин прислушивался к себе, напряженно ожидая — не явятся ли какие-нибудь мысли и слова, удобные для этой женщины, недавно еще приятной ему, возбуждавшей хорошую заботу о ней, думы о ее судьбе.

И снова чувствовал — почти видел,— что в нем тихо, пусто.

«С головы помирать начал»,— подумал он в ужасе.

— Ты — что? — спросила Ревякина, подходя к нему и заглядывая в глаза.

— Так как-то,— ответил он стыдливо,— не знаю что...

Вздохнув, она медленно отошла.

— Видно, от вашего брата ни от кого не будет толку,— слышал он. Потом женщина тихо воскликнула: — О господи!

Походила по саду и незаметно, не простясь, ушла, а Кожемякин долго сидел один, разглядывая себя, как в зеркало, и всё более наливаясь страхом.

Сгущался вокруг сумрак позднего вечера, перерождаясь в темноту ночи, еле слышно шелестел лист на деревьях, плыли в темном небе звезды, обозначился мутный Млечный Путь, а в монастырском дворе кто-то рубил топором и крякал, напоминая об отце Посулова. Падала роса, становилось сыро, ночной осенний холодок просачивался в сердце. Хотелось думать о чем-нибудь посторонием, спокойно, правильно и бесстрашно.

«С той поры, как начал Сухобаев болото сушить — пугачи не кричат больше. Улетели, видно».

Кто-то отворил калитку сада, зашаркал ногами по земле.

В темноте выросла ссохшаяся, сгорбленная фигура татарина.

— Это ты, Шакир?

— Я. Что не спишь?

— А ты?

Татарин, не ответив, подошел вплоть к столу, остановился, наткнувшись животом на угол его, и сказал, слегка упрашивая:

— Спать надобно...

— Успеем, выспимся,— задумчиво ответил Кожемякин,— торопиться некуда.

Шакир протяжно вздохнул, повернулся и пошел прочь, а Кожемякин заговорил ему вслед:

— Крестился бы ты,— помрешь скоро уж! Дали бы тебе русское имя. Пора, брат, нам о настоящем думать.

Но татарин, не отвечая, растаял в узкой щели дорожки среди черных ветвей, и это было жутко. Кожемякин встал, оглянулся и быстро ушел из сада, протянув руки вперед, щупая воздух, и каждый раз, когда руки касались ветвей, сердце пугливо замирало.

С этого вечера мысль о смерти являлась всё чаще, постепенно и враждебно стремясь вытеснить все другие мысли. Сначала Кожемякин принимал ее покорно и без спора подчинялся ее внушениям, охлаждавшим всякое любопытство к жизни, интерес к людям. Встречая в зеркале свое отражение, он видел, что лицо у него растерянное и унылое, глаза смотрят виновато, ему становилось жалко себя и обидно, он хмурился, оглядываясь, как бы ища, за что бы взяться, чем сорвать с души серую, липкую паутину. И, бесплодно побродив по дому, устало садился на любимое свое место, у окна в сад, смотрел на шероховатую стену густой зелени, в белесое небо над ней, бездумно, в ожидании чего-то особенного, что, может быть, явится и встряхнет его, прогонит эту усталость. Приходил Сухобаев, потертый, заершившийся, в измятом картузе, пропитанный кислым запахом болота или осыпанный пылью, с рулеткой в кармане, с длинной узкой книгой в руках, садился на стул, вытягивая тонкие ноги, хлопал книгой по коленям и шипел, стискивая зубы, поплевывая:

— Это не народ, а — сплошь препятствие делу-с! То есть не поверите, Матвей Савельевич, какие люди,— столь ленивы и — в ту же минуту — жадны, в ту самую минуту-с! Как может человек быть жаден, но — ленив? Невозможно понять! Даже как будто не город, а разбойничий лагерь — извините, собрались эдакие шиши и ждут случая, как бы напасть на неосторожного человека и оного ограбить.

Вскакивал со стула и, грозя книгой, бормотал:

— Дудочки-с! Около меня не обрыбишься, нет!

И снова жаловался, ежась, недоуменно приподнимая плечи и устало щуря острые глаза.

— Где у них разум? Совершенно нельзя понять! Говоришь им: вы подумайте, это предприятие полезно всему городу, всякому жителю! Реку вы испортили — освежим, воды у вас нету хорошей — будет! Не внима-

ют! Не верят! Это, говорят, ты для своей пользы. А что же, позвольте спросить, в пользу пращура, что ли, работать мне? Это удивительно-с! Скажешь: господа обыватели, ежегодно мы горим, отчего большое разорение и убытки, и надо бы строить дома каменные. А,— кричат,— это потому, что ты у балымерских мужиков глину купил и кирпичный завод затеваешь! Ну, конечно, я купил — господи боже мой! — и завод, конечно, будет, потому что это нужно-с! И, конечно, всё, что нужно,— выгодно!

— А вот,— усмехаясь, вставил Кожемякин,— умирать надо, однако — кому это выгодно?

— Умирать? — с явным удивлением переспрашивал Сухобаев.— Зачем же-с? Смерть — дело отдаленного времени, мы лучше сначала поживем несколько!

И тотчас же, повинуясь новому ходу мыслей, он поучительно говорил:

— Под училище, Матвей Савельевич, следует приобрести эту самую вот бубновскую усадьбу-с; превосходное местоположение-с, и можно дешево купить! Прикажете действовать? Чудесно-с, я осторожно начну.

Иногда, прикрыв глаза и дергая себя за бородку, туманно улыбался — фантазировал:

— Пробежит лет десяток, и не узнать будет ни города, ни людей: прямо коробочка с конфетами, честное слово-с! Отбросьте сомнения, да!

И облизывал губы острым языком.

«Этому жить не страшно»,— думал Кожемякин.

Ему очень хотелось говорить о смерти, а — не с кем было: Шакир упорно отмалчивался или, сморщив темное лицо, уходил, Фока — не умел говорить ни о чем; всегда полупьяный Никон не внимал этим речам, а с Посуловым беседовать на такую тему было неловко.

Он всегда рассказывал Кожемякину что-нибудь новое, интересное.

— Видали вы, Матвей Савельич, тенорка у меня, эдакий худущий, с резаной щекой? Он — подкидыш, с Петуховой горки, Прачкин прозвищем, а по ремеслу — портной. Он, знаете, удивительной фантазии парень! Надо, говорит, составить всеобщий заговор против жестокого обращения с людьми...

В его светлых глазах вспыхнули золотые, веселые искры, он подвинулся ближе к хозяину, понизил голос до таинственного шёпота.

— Надо согласить всех людей, чтобы они сказали: не желаем больше жестокой жизни!

— Кому — сказали?

— Вообще в мир,— несколько смущаясь, пояснил Посулов.— Главное, конечно, имущим власть.

И снова доверчиво продолжал:

— Замечательно! Вдруг бы все объявили общую волю: желаем жить в радости и веселии! Не желаем безобразия и грубости! Да-а, это бы — ой-ой что было!

Задумался на минуту, весь освещенный мечтательной и ясной улыбкой, потом сказал:

— Замечательная мысль!

Он всё больше привлекал Кожемякина к себе, возбуждая в нем приятное, отеческое чувство своей живостью, ясным взглядом прозрачных глаз, интересом ко всему в жизни и стремлением бесшумно делать разные дела, вовлекая в них как можно больше людей.

Новые мысли появлялись всё чаще, и было в них что-то трогательное. Точно цыплята, они проклевывали серую скорлупу окуровской жизни и, желтенькие, легкие, пуховые, исчезали куда-то, торопливо попискивая, смешные, по — невольно возбуждающие добрую улыбку.

Даже Никон замечал:

— А знаешь, Савельич,— будто бы живее люди становятся! Громче голос у всех. Главное же — улыбаются, черти! Скажешь что-нибудь эдак, ради озорства, а они — ничего, улыбаются! Прежде, бывало, не поощрялось это! А в то же время будто злее все, и не столько друг на друга, но больше в сторону куда-то...

Кожемякин поглядел на его испитое лицо, облезлую голову, помутневшие глаза и спросил:

— А как у тебя с Марьей?

— С Ма-арьей,— протянул Никон, и оживление его погасло.— Так как-то, неизвестно как! Ты меня про это не спрашивай, ее спроси. Посулова тоже можно спросить. Они — знают, а я — нет. Ну-ко, дай мне просвещающей!..

Он молча, рюмку за рюмкой, начал глотать водку и, безобразно напившись, свалился в углу на дворе; подошел к нему угрюмый Фока с трубкой в зубах, потрогал его ногой и, шумно вздохнув, пошел со двора тяжелым медленным шагом.

Кожемякина обидело поведение Фоки, он высунулся из окна, желая упрекнуть мужика, надулся, запыхтел, но не сказал ни слова.

«Надо тем сказать,— подумал Кожемякин,— что они бросают человека!»

Надел картуз, поддевку и пошел на базар, строя по дороге внушительную речь о том, что Никона надо пожалеть, приласкать его надо и нельзя допустить, чтобы он погиб в пьянстве, валялся в грязи.

В темной прохладной лавке, до потолка туго набитой красным товаром, сидела Марья с книгой в руке. Поздоровались, и Кожемякин сразу заговорил о Никоне устало, смущенно. В темных глазах женщины вспыхнула на секунду улыбка, потом Марья прищурилась, поджала губы и заговорила решительно:

— Про Никона ты молчи; дело это — не твое, и чего оно мне стоит — ты не знаешь! Вы все бабу снизу понимаете, милые, а не от груди, которой она вас, окаянных, кормит. А что для бабы муж али любовник — иной раз — за ребенка идет, это вашему брату никогда невдомек!

Ему показалось, что она скрипнула зубами, это смутило и напугало его, он забормотал:

— Да ведь разве я тебя обидеть хотел? Человек он хороший, несчастный теперь...

— Он-всегда-был-несчастный,— всё суровее говорила женщина, странно отрывая слово от слова.— Я его счастливым пыталась делать — ладно, будет!

И, с оттенком обиды в голосе, она воскликнула:

— Чтобы с эдакой бабой, как я, да не найти себе счастья — ну, уж извините! Я ему полдуши отдавала — на!

Она вытерла платком лицо, рот и протяжно, точно застонав, вздохнула. Посидев еще несколько тяжелых минут, Кожемякин виновато простился и ушел.

Ночью, приподнятый с постели жутким ощущением одиночества, зажег лампу, осмотрел внимательно темные углы комнаты и, достав свою тетрадь, написал:

«Давно не касался я записей моих, занятый пустою надеждой доплыть куда-то вопреки течению; кружился-кружился и ныне, искалечен о подводные камни и крутые берега, снова одинок и смотрю в душу мою, как в разбитое зеркало. Вот — всю жизнь натуживался людей понять, а сам себя — не понимаю, в чем начало мое — не вижу и ничего ясного не могу сказать о себе».

Прочитал написанное и болезненно сморщился.

«Лживо написано — когда я противу течения плыть старался? Не было этого».

Подумав, перевернул страницу и снова начал аккуратно выводить на бумаге прямые, остроугольные буквы.

«Благослови господи на покаяние без страха, лжи и без утайки. Присматриваясь к людям, со скорбью вижу: одни как я — всё время пытаются обойти жизнь стороной, где полегче, но толкутся на одном месте до усталости и до смерти бесполезно себе и людям, другие же пытаются идти прямо к тому, что любят, и, обрекая себя на многие страдания, достигают ли любимого — неизвестно».

«Не то, всё не то, не этими мыслями я живу!» — внутренно воскликнул он и, отложив перо, долго сидел, опустошенный, наблюдая трепет звезд над черными деревьями сада. Тихий шум ночи плыл в открытое окно, на подоконнике чуть заметно вздрагивала листва цветов.

Он открыл книгу, взятую у Посулова, недоверчиво уставился на ровные линии строк и прочитал:

«Один пред другим давали клятву быть вместе, как один человек, друг другу во всем помогать, друг друга из беды выручать, жизнью за друга жертвовать, за смерть друга мстить».

Кожемякин пододвинул лампу, не отрывая глаз от книги, и читал далее:

«Этот союз ценился у них так, что, бывало, отец готовился мстить собственным сыновьям, исполняя завет кровавого мщения за убийство названного брата».

Закрыл книгу, потом осторожно открыл ее с первой страницы и, облокотясь на стол, углубился в чтение; читал долго, пока не зарябило в глазах, а когда поднял от стола голову — в комнате было светло, и деревья в саду стояли, уже сбросив тяжелые уборы ночи.

Он встал удивленный и зашагал по комнате, улыбаясь в бороду, встряхивая приятно усталой головой, шагал и думал:

«Вот оно что! Значит, книги — для того, чтобы времени не замечать?»

В памяти спутанно кружились отрывки прочитанного и, расплываясь, изменяясь, точно облака на закате, ускользали, таяли; он и не пытался удержать, закрепить всё это, удивленный магической силой, с которой книга спрятала его от самого себя.

Потом он спокойно разделся, лег, крепко уснул, а утром, умываясь в кухне, сказал Шакиру:

— Ежели кто спрашивать будет — дома нет меня!

— А — Никон?

Кожемякин, подумав, ответил:

— И он. Всё равно. У меня— дело сегодня...

Напился чаю, сел у окна и с удовольствием открыл книгу.

Чтение стало для него необходимостью: он чувствовал себя так, как будто долго шел по открытому месту и со всех сторон на него смотрело множество беспокойных, недружелюбных глаз — все они требовали чего-то, а он хотел скрыться от них и не знал куда; но вот нашелся уютный угол, откуда не видать этой бесполезно раздражающей жизни,— угол, где можно жить, не замечая, как нудно, однообразно проходят часы. Читал он медленно, не однажды перечитывая те строки, которые особенно нравились ему, и каждый раз, когда книга подходила к концу, он беспокойно щупал пальцами таявшие с каждым часом непрочитанные страницы.

Стал еще бóльшим домоседом, а когда в дом собирались певчие Посулова и многократно начинали петь: «Хвалите имя господне...» — Кожемякин морщился: «Скоро ли это кончится!»

Он прочитал книги Костомарова, Историю пугачевского бунта, Капитанскую дочку, Годунова, а стихи — не стал читать.

— Это — детское, это мне не нужно, а ты давай-ка еще исторического,— сказал он Посулову.

— Историческое — всё уж!

Кожемякин почти испугался и, не веря, спросил:

— Как — всё?

— У меня больше нет.

— Надо, брат, достать. Поедешь в Воргород за товаром, я тебе дам денег, ты и купи, которые посолидней. Спрось там кого-нибудь — какие лучше...

И, уже не имея сил отказаться от привычного занятия, он начал снова перечитывать знакомые книги, удивляясь развившейся страсти и соображая:

«Вот оно как! Осуждал я, бывало, людей, которые в карты играют, и вообще всякий задор осуждал, а — вот!»

Вскоре погиб Никон Маклаков: ночью, пьяный, он полез зачем-то на пожарную каланчу, а когда стали гнать его, начал драться и, свалившись с лестницы, разбил себе голову.

Эта смерть не поразила Кожемякина, он знал, что с Никоном должно было случиться что-нибудь необычное; он как будто даже доволен был — вот, наконец, случилось,— нет человека, не надо думать о нем. Но похороны выбили его из колеи.

Хоронили Никона как-то особенно многолюдно и тихо: за гробом шли и слободские бедные люди, и голодное городское мещанство, и Сухобаев в черном сюртуке, шла уточкой Марья, низко на лоб опустив платок, угрюмая и сухая, переваливался с ноги на ногу задыхавшийся синий Смагин и еще много именитых горожан.

Сухобаев говорил Кожемякину, покачивая гладкой головой:

— Не первый это случай, что вот человек, одарен-

ный от бога талантами и в душе честный-с, оказывается ни к чему не способен и даже, извините, не о покойнике будь сказано,— бесчестно живет! Что такое? Загадка-с!

Теплая пыль лезла в нос и горло, скучные, пугающие мысли просачивались в душу,— Кожемякин смотрел в землю и бормотал:

— Ничего мы не знаем.

Между плеч людей он видел гроб и в нем желтый нос Никона; сбоку, вздыхая и крестясь, шагала Ревякина; Сухобаев поглядывал на нее, вполголоса говоря:

— Вполне загадочна жизнь некоторых людей...

Когда гроб зарыли, Семен Маклаков, виновато кланяясь, стал приглашать на поминки, глаза его бегали из стороны в сторону, он бил себя картузом по бедру и внушал Кожемякину:

— Вы — приятели были,— блинков откушать надо...

Толкались нищие, просовывая грязные ладони, сложенные лодочками, пальцы их шевелились, как толстые черви, гнусавые голоса оглушали, влипая в уши. Кожемякин полусонно совал им копейки и думал:

«Все — нищие на земле, все...»

Он не пошел на поминки, но, придя домой, покаялся в этом,— было нестерпимо тошно на душе, и знакомые, прочитанные книги не могли отогнать этой угнетающей тоски. Кое-как промаявшись до вечера, он пошел к Сухобаеву, застал его в палисаднике за чтением Евангелия, и — сразу же началась одна из тех забытых бесед, которые тревожили душу, будя в ней неразрешимые вопросы.

— Вот,— говорил чистенький человек, тыкая пальцем в крупные слова,— извольте-с видеть, как сказано строго.

И отчетливо, угрожающе прочитал, подняв палец:

— «Иже аще не приимет царствия божия яко отроча,— не имать внити в не».

Закрыл книгу, хлопнув ею громко, и продолжал:

— Это я всё с Посуловым спорю: он тут — заговор против жестокости тихонько проповедует и говорит, что Евангелие — на всю жизнь закон. Конечно-с...

Сухобаев оглянулся, понизил голос:

— Однако и в Евангелии весьма жестокие строгости показаны — геенна огненная и прочее-с, довольно обильно! Ну, а первое-с, Матвей Савельевич, как принять жизнь «яко отроча»? Ведь всякое дело вызывает сопротивление, а уж если сопротивление,— где же — «отроча»? Или ты обижай, или тебя замордуют!

Он вскочил на ноги, прошелся мимо гостя и снова сел, говоря:

— Знаете-с, как начнешь думать обо всем хоть немножко — сейчас выдвигаются везде углы, иглы, и — решительно ничего нельзя делать. И, может быть-с, самое разумное — закрыть глаза, а закрыв их, так и валять по своим намерениям без стеснения, уж там после будьте любезны разберите — почему не «отроча» и прочее,— да-с! А ежели иначе, то — грязь, дикость и больше ничего. А ведь сказано: «Всяко убо древо не творяще плода посекается и во огнь вметается» — опять геенна!

— Я думал,— тихо и удивленно сказал Кожемякин,— что вас такие мысли не касаются.

Сухобаев махнул рукой.

— Очень даже касаются и — кусаются! Человек я, а — не скот! Характер у меня живой, глаз — весьма зоркий. Хочется прожить без осуждения людьми, с пользой для них, не зря, хочется уважения к себе и внимания. Что же-с — и святые внимания к себе требовали, вниманием нашим они и святы-с, да...

— Угрожают нам со всех сторон,— глубоко вздохнув, сказал Кожемякин.

Сухобаев уже тяготил его, вовлекая в кольцо враждебных дум.

— А кто? — воскликнул хозяин, надвигаясь на гостя.— Не сами ли мы друг другу-с? А сверху — господь бог: будь, говорит, как дитя! Однако при том взгляде на тебя, что ты обязательно мошенник,— как тут дитей будешь?

Кожемякин отклонился от него, устало спрашивая:

— Когда полагаете кончить корпус ваш на базаре?

Сухобаев метнул в его сторону острый взгляд, под-

тянулся как-то и бойко затрещал о многообразных своих делах.

«Напрасно я заходил к нему,— думал Кожемякин, идя домой по улице, среди лунных теней.— Я старик, мне полсотни лет, к чему мне это всё? Я покою хочу. Маялся, маялся, хотел приспособиться как-нибудь — будет уж! Имеючи веру, конечно, и смоковницу можно словом иссушить, а когда у тебя нет точной веры — какие хочешь строй корпуса, всё равно покоя не найдешь!»

Шел он, как всегда, теснясь к стенам и заборам, задевая их то локтем, то плечом, порою перед ним являлась черная тень, ползла по земле толчками, тащила его за собою, он следил за ее колебаниями и вздыхал.

«Вот и Никон помер. Шакир тоже скоро, чуть жив уж...»

Когда воротился Посулов и привез большой короб книг, Кожемякин почувствовал большую радость и тотчас, аккуратно разрезав все новые книги, сложил их на полу около стола в две высокие стопы, а первый том «Истории» Соловьева положил на стол, открыв начальную страницу, и долго ходил мимо стола, оттягивая удовольствие.

И вот он снова читает целыми днями, до боли в глазах, ревниво оберегая себя от всяких помех, никуда не выходя, ничем не интересуясь и лишь изредка поглядывая на черные стрелки часов, отмечавших таяние времени по желтому, засиженному мухами циферблату.

Серые страницы толстой книги спокойно, тягучим слогом рассказывали о событиях, а людей в книге не чувствовалось, не слышно было человечьей речи, не видно лиц и глаз, лишь изредка звучала тихонько жалоба умерших, но она не трогала сердца, охлажденная сухим языком книги.

Человек рылся в книге, точно зимняя птица в сугробе снега, и был бескорыстнее птицы — она все-таки искала зерен, а он просто прятал себя. Ложились в память имена драчунов-князей, запоминалась человечья жадность, честолюбие, споры и войны, грабежи, жестокости, обманы и клятвопреступления — этот темный,

кровавый хаос казался знакомым, бессмысленным и вызывал невеселую, но успокаивающую мысль:

«Всегда люди жили одинаково!»

Он чувствовал себя за книгою как в полусне, полном печальных видений, и видения эти усыпляли душу, рассказывая однообразную сказку о безуспешных попытках людей одолеть горе жизни. Иногда вставал из-за стола и долго ходил по комнате, мысленно оспаривая Марка Васильева, Евгению и других упрямцев.

«Это — детское, надеяться, что жизнь иначе пойдет! Отчего — иначе? Нет этому причин! И если в пустыню на сорок годов — всё равно! Эка штука — пустыня. Уходили в пустыню-то! Тут — изнутри, от корней всё плохо».

Отрываясь от книги физически, мысленно он не отходил от нее, глядя на всё сквозь густую пыль прошлого, и точно частокол возводил вокруг себя, стараясь запомнить всё, что могло оттолкнуть, обесцветить требовательные мысли.

А живое все-таки вторгалось к нему, и странны были образы живого. Однажды, после спевки, вошла девочка Люба Матушкина в длинном не по росту платье, в стоптанных башмаках, кудрявая, похожая на куклу.

— Можно с вами поговорить?

Она спросила так серьезно, что старик, усмехнувшись помимо воли, предложил ей сесть. Шаркая ногою о пол, она смотрела в лицо Кожемякина прозрачно-синими глазами, весело оскалив зубы, и просила о чем-то, а он, озадаченный ее смелостью, плохо понимая слова, мигал утомленными глазами и бормотал:

— Что ж, пожалуйста!

Девушка резво вскочила и исчезла, вызвав у него сложное чувство: она не понравилась ему, но ее было жалко:

«Бойкая какая, хоть мальчишке впору! Трудно живется сироте — вон как одета, вся в стареньком, матернем. А скоро невестой будет...»

На другой день она снова явилась, а за нею, точно на веревке, опустив голову, согнувшись, шел чахоточный певчий. Смуглая кожа его лица, перерезанная уродливым глубоким шрамом, дрожала, губы искривились,

темные, слепо прикрытые глаза бегали по комнате, минуя хозяина; он встал, не доходя до окна, как межевой столб в поле, и завертел фуражку в руках так быстро, что нельзя было разобрать ни цвета, ни формы ее.

— Вот! — сказала Люба, подходя вплоть к Матвею Савельеву и весело встряхивая кудрявой головою.— Говорите, Прачкин!

Тот шагнул вперед, открыл круглые темные глаза.

«По глазам — Пантелемон-целитель»,— подумал Кожемякин, приготовясь слушать.

Парень твердо начал, сунув руку с фуражкой в карман поддевки:

— Намерение мое очень простое: всякий, кто видит, что жизнь плоха, обязан рассказать это и другим, а всё надо начинать с детей, оттого я и хочу быть учителем, а вас прошу о помощи, я же готов, мне только сдать экзамен и на первое время несколько рублей надо...

— Так,— сказал Кожемякин, довольный тем, что дело оказалось простое и парень этот сейчас уйдет. Но из вежливости он спросил:

— А отчего же плоха жизнь?

Прачкин подступил ближе, отвечая четко и уверенно:

— От всеобщей жестокости, и — это надо объявить! А жестокость — со страха друг пред другом, страх же — опять от жестокости,— очень просто! Тут — кольцо! И, значит, нужно, чтобы некоторые люди отказались быть жестокими, тогда — кольцо разорвется. Это и надо внушить детям.

Удивленно мигая, Кожемякин смотрел на него, на девушку, сидевшую с полуоткрытым ртом, упираясь на колени: оба такие молодые, а придумали что-то особенное.

— Мм,— мычал он.— Что ж? Это — хорошо!

Прачкин судорожно усмехнулся, вздохнул и добавил:

— Я прошу — взаймы.

Когда они ушли, Кожемякин, шагая по комнате, почувствовал неприязнь к ним.

— Тоже! — восклицал он, дергая себя за бороду.— Какой герой, князь Галицкой нашелся! Кольца рвать,

туда же! Их веками ковали, а мальчишка пришел — на-ко! И эта девчонка, живет без призору, потеряет себя с эдакими вот...

Он дал Прачкину денег и забыл о нем, но Люба Матушкина, точно бабочка, мелькала в глазах у него всё чаще, улыбаясь ему, ласково кивая головой, протягивая длинные хрупкие пальцы руки, и всё это беспокоило его, будя ненужные мысли о ней. Однажды она попросила у него книг, он подумал, неохотно дал ей, и с той поры между ними установились неопределенные и смешные отношения: она смотрела на него веселыми глазами, как бы чего-то ожидая от него, а его это сердило, и он ворчал:

— Это — книги скучные, серьезные, и вам, девочке, не нужны они.

— Вовсе не скучные,— спорила она.

— Вам даже и понять нечего тут...

— А я всё понимаю!

И, глядя на него с веселой гордостью в глазах, объявила:

— Я уж мамочкиного Тургенева всего прочитала!

Он не верил ей, качал головой и не расспрашивал больше: в синих зрачках Любы блестели искры догадливой улыбки, это смущало его, напоминая умную, скользкую улыбку Евгении. Было в этой девушке нечто неуловимо приятное, интересное, она легко заставляла слушать себя, как-то вдруг становясь взрослой, солидной, не по возрасту много знающей. Доверчиво, просто, нередко смущая старика подробностями, она рассказывала ему о своем отце, о чиновниках, игре в карты, пьянстве, о себе самой и своих мечтах; эти рассказы, отдаленно напоминая Кожемякину юность, иногда вводили в сумрак его души тонкий и печальный луч света, согревая старое сердце.

— Отчего вы не читаете газету?— спрашивала она.

— Ну, вот еще, зачем мне?

— Чтобы знать, что делается везде.

Он, приподняв плечи, всматривался в ее хорошее лицо, хмурясь и жалея ее:

— Ну, а что же делается?

Девочка скороговоркой рассказывала всегда что-

нибудь страшное — о каком-то таинственном убийстве актрисы офицером, о рыбаках, унесенных на льдине в море, и — снова о любовных драмах.

— Вовсе бы и не надо знать вам эти истории! — говорил он, а она, смешно надувая губы, с обидой заявляла:

— Вы — точно папа, ф-фу!

Незаметно для себя он привык к ней; если она не являлась три-четыре дня, это уже беспокоило его — он знал, что девочка одна и беззащитна среди пьяных картежников, товарищей ее отца. Но и частые посещения смущали его, заставляя думать:

«Девушка на возрасте, как бы слухи не пошли зазорные...»

Багряное солнце, пронизав листву сада, светило в окна снопами острых красных лучей, вся комната была расписана-позолочена пятнами живого света, тихий ветер колебал деревья, эти солнечные пятна трепетали, сливаясь одно с другим, исчезали и снова текли по полу, по стенам ручьями расплавленного золота.

Кожемякин сидел в этой углубленной тишине, бессильный, отяжелевший, пытаясь вспомнить что-нибудь утешительное, но память упорно останавливалась на одном: идет он полем ночью среди шершавых бесплодных холмов, темно и мертвенно пустынно кругом, в мутном небе трепещут звезды, туманно светится изогнутая полоса Млечного Пути, далеко впереди приник к земле город, точно распятый по ней, и отовсюду кто-то невидимый, как бы распростертый по всей земле, шепчет, просит:

— Пожалей! Помоги!

От этой картины сердце таяло в горячих слезах, они заливали горло, хотелось кричать.

Стало темно и холодно, он закрыл окно, зажег лампу и, не выпуская ее из руки, сел за стол — с желтой страницы развернутой книги в глаза бросилась строка: «выговаривать гладко, а не ожесточать», занозой вошла в мозг и не пускала к себе ничего более. Тогда он вынул из ящика стола свои тетради, начал перелистывать их.

«Для кого это, кому надо? Евгенья — не прочитает. Умру — бросят это в печь. Может, и посмеются еще. Любови разве отдать?»

И, наклонясь над столом, заплакал скупыми старческими слезами; мелкие, они падали на бумагу, точно капли с крыши в середине марта, и буквы рукописи расплывались под ними, окружаясь лиловым тонким узором.

Он стряхнул слезы на пол, закрыл глаза и так сидел долго, беспомощный, обиженный, в этом настроении прожил весь следующий день, а к вечеру явилась Люба с книжкой в руках.

— Здравствуйте!

Беленькая, тонкая и гибкая, она сбросила с головы платок, кудрявые волосы осыпались на лоб и щеки ей, закрыли веселые глаза; бросив книгу на стул, она оправляла их длинными пальцами, забрасывая за уши, маленькие и розовые,— она удивительно похожа была на свою мать, такая же куколка, а старое длинное платье, как будто знакомое Кожемякину, усиливало сходство.

— Пришла! — сказал он, впервые обращаясь к ней на ты.

Упершись руками в узкие бедра, выгибая спину и показывая девичью, едва очерченную грудь, она прошлась по комнате, жалуясь:

— Ой, устала!

И, взглянув на него, вдруг деловито спросила:

— Почему вы такой?

— Какой?

— Бледный, растрепанный?

— Так уж...

Она села рядом с ним, заглянула в глаза ему.

— У-у, скучнущий! А я — на минутку. Сегодня весь день мы с Лушей-домовницей возились, возились — ужас что такое! Вчера у нас до шести часов утра в карты играли и ужинали, ну — напились, конечно, грязь везде, окурки — ах! Даже тошно вспомнить! В субботу у почтмейстера папа проиграл, а на вчера пригласил всех к себе и еще проиграл, и напился с горя, а сегодня — смотреть страшно какой — больной, сердитый, придирается ко всему, жалуется, что я его не

люблю, а мне нужно полы мыть! Я уж сказала ему: иди, папка, лежи, а когда я уберусь и будет везде чисто, тогда станем про любовь говорить, иди! Вы знаете — я ведь могу очень строго с ним!

Кожемякин смотрел на ее угловатые плечи, длинные руки с красивыми кистями и на лицо ее,— глаза девушки сияли снисходительно и пухлые губы милостиво улыбались.

— Трудно тебе с ними?

Нос у нее вздрогнул, тонкие брови сошлись в одну линию, она прищурила глаза и не сразу ответила:

— Да-а. Но я ухожу, если они начинают говорить глупости и мне станет неприлично.

И, покраснев так сильно, что даже шея у нее стала розовой, она усмехнулась.

— Они очень много врут, не бывает того, что они рассказывают, если бы это было — я уж знала бы, мне мамочка рассказывала всё, про людей и женщин, совсем — всё! А они это — со зла!

Он спросил, не глядя на нее:

— На кого — со зла?

— Не знаю,— задумчиво ответила девушка.— Может быть, и не со зла, а — так, просто. Ведь у них всегда одно — карты да выпивка, а это, я думаю, надоедает же, ну и надо еще что-нибудь говорить. Они удивительно скучные. Вот и вы сегодня какой-то...

— Я? — тихо сказал Кожемякин.— Я — о смерти думаю, помирать мне надо...

Ласково прикрыв глаза ресницами, девушка сказала, вздохнув:

— Бедненький вы! Жить так интересно... Я до-олго буду жить!

Встала, пересела на подоконник и высунула голову в сад.

Старик согнулся и, покачиваясь, молча стал гладить колени. Синеватый сумрак кутал сад, отемняя зелень, желтая луна висела в пустом небе, жужжали комары, и, отмахиваясь от них, Люба говорила:

— Не хочется мне домой, я бы лучше посидела у вас, чаю хочется и просто так — у вас хорошо, тихо, чисто! А то, право, устала я сегодня, даже кости болят!

— А ты — посиди,— попросил он тихонько.

— Надо ужинать идти, папа будет ворчать, если опоздаю.

Она стучала каблуком по стене и — немножко сконфуженно — рассказывала:

— Иногда мне бывает так трудно, что я просто не знаю, что делать,— сунусь куда-нибудь в угол и плачу даже, право! Если бы можно было какой-нибудь плеткой хлестать время, чтобы оно шло скорее и я выросла...

Она засмеялась.

— Какие глупости я говорю.

Ветка фуксии щекотала ей шею, девушка, склонив голову, оттолкнула цветок щекою.

— Все-таки это приятно — глупости говорить! Вот тоже я люблю сидеть на окпах, а это считается неприлично. Если бы у меня был свой дом — одна стена была бы вся стеклянная, чтобы всё видеть. Вы любите город? Я очень люблю: такой он милый и смешной, точно игрушечный. Издали, с поля, дома — как грибы, высыпанные из лукошка на меже...

Засмеялась, довольная своим сравнением, подняв руки к голове, оправляя кудри, легкая и почти прозрачная.

— А грибы-то — червивые,— вставил Кожемякин. Он часто говорил такие слова, желая испытать, как она отзовется на них, но Люба словно не замечала его попыток. С нею было легко, ее простые слова отгоняли мрачное, как лунный свет.

— Ну, я иду,— воскликнула она, спрыгнув с подоконника.

— Любишь отца-то? — вздохнув, сказал старик и тоже встал на ноги.

— Люблю,— не вдруг и нерешительно ответила девушка, но, подумав, побледнела и добавила тише: — Не совсем люблю. Он очень мучил мамочку.

— За что?

— Не знаю. Мамочка объясняла, но я не всё поняла. Как-то так, что он очень любил ее, но не верил ей и всё подозревал. Это даже страшно. Он и газету выписывал нарочно самую злую и скверную и книги такие, чтоб мучить мамочку.

— Как же это — газетой мучить?

Девочка подняла голову и серьезно сказала, пахмурив брови:

— Если в ней пишут злое и неправду — конечно, это мучает!

— Кто знает, что такое правда? — осторожно проговорил старик, вздохнув.

— Хорошее — правда, а дурное — неправда! Очень просто понять,— строго и веско ответила Люба. Брови ее сошлись в одну черту, губы сомкнулись, детское лицо стало упрямым, потеряв милое выражение любопытного, веселого и храброго зверка.

Когда она ушла, все его мысли с напряжением, близким отчаянию, вцепились в нее; он сам подталкивал их в эту сторону, горячо думая:

«Как живет дитя, а? И не разберешь — моложе она али старше своих годов? То будто моложе, то — старше...»

Он умилялся ее правдивостью, мягким задором, прозрачным взглядом ласковых глаз и вспоминал ее смех — негромкий, бархатистый и светлый. Смеясь, она почти не открывала рта, ровный рядок ее белых зубов был чуть виден; всегда при смехе уши у нее краснели, она встряхивала головой, на щеки осыпались светлые кудри, она поднимала руки, оправляя их; тогда старик видел, как сильно растет ее грудь, и думал:

«Замуж скоро захочет...»

Он никуда не ходил, но иногда к нему являлся Сухобаев; уже выбранный городским головой, он кубарем вертелся в своих разраставшихся делах, стал еще тоньше, острее, посапывал, широко раздувая ноздри хрящеватого носа, и не жаловался уже на людей, а говорил о них приглушенным голосом, часто облизывая губы,— слушать его непримиримые, угрожающие слова было неприятно и тяжело.

— Наше дело-с — пастырское, где скот окрика не слушает, там уж поневоле надо тронуть его батожком-с!

Люба стала главною нитью, связывающею его с жизнью города: ей были известны все события, сплетни, намерения жителей, и о чем бы она ни говорила, речь ее была подобна ручью чистой воды в грязных

потоках — он уже нашел свое русло и бежит тихонько, светлый по грязи, мимо нее.

Иногда они беседовали о прочитанных книгах, и Кожемякин ясно слышал, что Люба с одинаковым интересом и восхищением говорит о добрых и злых героях.

— Как же это? — уличал он ее.— Где же тут правда, добро, а?

Она, смеясь, отвечала:

— Уж так у меня выходит, я не знаю, как это!

И задумывалась, а он слегка издевался над нею, очень довольный чем-то.

Но однажды она сказала с улыбкой и точно прося извинить ее:

— Ведь это всё — прошло, все — померли, и осталась одна сказка, а я читаю сказку и всех — люблю: и бабу-ягу, и Аленушку с Иванушкой...

Удивленно раскрыла глаза и захохотала, изгибаясь, выкрикивая весело:

— Ой, это верно, верно! Ведь без бабы-яги сказки-то и не было бы!

— Чай, поди, о женихах думаешь? — спросил он однажды.

Она отрицательно покачала головой.

— Нет.

Но тотчас, покраснев, опустила голову и сказала вдумчиво:

— То есть, конечно, думаю об этом, как же? Только, видите ли, если выходить замуж так вот — ни с чем в душе,— ведь будет то же самое, что у всех, а — зачем это? Это же нехорошо! Вон Ваня Хряпов считает меня невестой своей...

— Он хороший парень?

— Он? Хороший,— неуверенно ответила Люба.— Так себе,— добавила она, подумав.— Ленивый очень, ничего не хочет делать! Всё о войне говорит теперь, хотел ехать добровольцем, а я чтобы сестрой милосердия. Мне не нравится война. А вот дедушка его — чудесный!

— Ну, еще чего скажешь! — воскликнул Кожемякин, рассердясь и ревнуя.— От него, Кощея, весь город плачет...

— А он — хороший! — спокойно и уверенно повторила Люба.

Старик надулся и замолчал.

Уже не раз в багряные вечера осени, поглядывая в небо, где красные облака напоминали о зиме, вьюгах, одиночестве, он думал:

«Рановато я отказал имущество-то городу — лучше бы оставить молодой вдове! Может, и сын был бы. А то — что же? Жил-жил — помер, а и глаз закрыть некому. Положим — завещание можно изменить, да-а...»

Шел к зеркалу и, взглянув на себя, угрюмо отступал прочь, сердце замирало, из него дымом поднимались в голову мысли о близком конце дней, эти мысли мертвили мозг, от них было холодно костям, седые, поредевшие волосы тихонько шевелились.

Приходила высокая стройная девушка, рассказывала, горячась и краснея, о волнениях жизни, топала ногой и требовала:

— Ах, да выпишите же хорошую газету! Ну, голубчик, выпишите!

Он уступил ей, но поставил условием — пусть она приходит каждый день и сама читает ему. И вот она быстро и внятно читает шумный лист, а Кожемякин слушает, и ему кажется, что в газете пишут Марк Васильев, Евгения, злой Комаровский,— это их мысли, их слова, и Люба принимает всё это без спора, без сомнений.

— Почему ты так веришь газете? — ворчливо спрашивал он.

— Это — правда, ведь видно же!

Иногда на прозрачных глазах девушки выступали слезы, она металась по комнате, размахивая измятым листом газеты, и старик со страхом слышал свои давние, забытые мысли:

— Боже мой, боже мой! Почему все здесь такие связанные, брошенные, забытые — почему? Вон, какие-то люди всем хотят добра, пишут так хорошо, правдиво, а здесь — ничего не слышно! И обо всем говорят не так: вот, о войне — разве нас побеждают потому, что русские генералы — немцы? Ведь не потому же! А папа кричит, что если бы Скобелев...

«Уйдет она отсюда! — ревниво следя за нею, думал старик.— Ох, уйдет!»

В душе его снова нарастала знакомая тревога:

«Я — помираю, а старые мысли — ожить хотят!» — Он тихонько, осторожно уговаривал ее:

— Ты — не очень верь! Я знаю — хорошего хочется, да — немногим! И ежели придет оно — некому будет встретить его с открытой душой, некому; никто ведь не знает, какое у хорошего лицо, придет — не поймут, испугаются, гнать будут,— новое-де пришло, а новое опасным кажется, не любят его! Я это знаю, Любочка!

Тыкал себя пальцем в грудь и предупреждающим шёпотом рассказывал, забыв о ее возрасте:

— Вот — гляди-ко на меня: ко мне приходило оно, хорошее-то, а я не взял, не умел, отрекся! Надоел я сам себе, Люба, всю жизнь как на руках себя нес и — устал, а всё — несу, тяжело уж это мне и не нужно, а я себя тащу, мотаю! Впереди — ничего, кроме смерти, нет, а обидно ведь умирать-то, никакой жизни не было, так — пустяки да ожидание: не случится ли что хорошее? Случалось — боялся да ленился в дружбу с ним войти, и вот — что же?

Она остановилась среди комнаты, недоверчиво вслушиваясь в его слова, потом подошла к нему.

— Это неправда!

— Правда! — воскликнул Кожемякин, незаметно впадая в покаянное настроение, схватил ее за руку, посадил рядом с собою, потом, взяв одну из тетрадок, развернул и наскоро прочитал:

«Смотрит бог на детей своих и спрашивает себя: где же я? Нет в людях духа моего, потерян я и забыт, заветы мои — медь звенящая, и слова мои без души и без огня, только пепел один, пепел, падающий на камни и снег в поле пустынном».

— Кто это написал — вы? — спросила девушка, с удивлением заглядывая в тетрадь и в глаза ему.

— Я. Это не то, подожди...

Волнуясь, он торопливо перелистывал тетрадь, ему хотелось в чем-то разубедить ее, предостеречь и хотелось еще чего-то — для себя. Девушка пошевелилась

на стуле, села тверже, удобнее — ее движение несколько успокоило и еще более одушевило старика: он видел в ее глазах новое чувство. Так она еще не смотрела на него.

— Вот, я тут записывал всю правду...

— Про себя? — тихо спросила она.

— Про всё.

Стал читать и видел, что ей всё понятно: в ее широко открытых глазах светилось напряженное внимание, губы беззвучно шевелились, словно повторяя его слова, она заглядывала через его руку на страницы тетради, на рукав ему упала прядь ее волос, и они шевелились тихонько. Когда он прочитал о Марке Васильеве — Люба выпрямилась, сияя, и радостно сказала негромко:

— Ой, я знаю таких людей! Мамочка удивительно рассказывала про них, и есть книги,— ах, как хорошо, что вы записали!

И, потемнев, понизив голос, продолжала:

— А папа — несчастный, он не верит в это и смеялся, оттого мамочка и умерла, конечно! Мне надо идти к нему, я опоздала уже... Милый,— просила она, ласково заглядывая в глаза ему,— я приду завтра после обеда сейчас же, вы прочитаете всё, до конца?

И убежала.

А на другой день он читал ей про Евгению, видел, что это волнует ее, сам чуть не плакал, глядя, как грустно и мечтательно улыбается она, как жалобно и ласково смотрят ее глаза.

— Ужасно интересно всё! — восклицала она порою, прерывая чтение, и почтительно, с завистью трогала тетрадь.

— Вот как делаются книги сначала! Какое удовольствие, должно быть, писать про людей! Я тоже буду записывать всё хорошее, что увижу. А отчего у вас нет карточки тети Евгении?

Прежде чем он мог ответить, она уже предложила:

— Хотите — я подарю вам ее портрет с Борей? Она прислала мамочке, а мне — не нужно. Хотите?

Кожемякин обрадовался, а она, глядя в сторону, сказала:

— Я очень ее помню. А с Борисом переписываюсь даже, недавно он прислал свою карточку, он уже студент,— показать вам?

И вдруг, покраснев, спросила его, опуская голову:

— Вы очень ее любили?

— Да-а,— вздохнул Кожемякин.— Очень!

— Я бы на ее месте не уехала! Впрочем — не знаю...

Влажными глазами посмотрела на него, прикусив губу, и потом, жарко вздохнув, прошептала:

— Господи, как это хорошо! Точно — у Тургенева!

Ее мягкое волнение коснулось сердца старика и словно раздавило в груди его тяжелый, темный нарыв, он нагнулся над столом, бессвязно говоря:

— Любонька, как я ошибся!

Испуганная, она поднимала его голову сильными руками.

— Вы — добрый! — говорила она, оправляя его седые волосы.— Я знаю — вы много сделали добра людям...

— Это для того только, чтобы оставили они меня в покое! Ведь все покоя ищут, в нем полагая счастье,— сознавался Кожемякин.

Когда он, излив пред нею свое горе, несколько пришел в себя, то попросил ее, взвешивая на ладони рукописи свои:

— Когда я помру, ты, Люба, возьми тетради эти и пошли Борису — ладно?

— Хорошо,— задумчиво отозвалась она, стоя среди комнаты белая, тонкая.

— А портреты принеси, не забудь!

Она так же тихо повторила:

— Хорошо.

Ему хотелось расспросить ее о Евгении, Борисе.

— Ты что задумалась?

Люба взглянула на него и, тихонько шагая вдоль комнаты, с явным недоумением сказала:

— Вот и дедушка Хряпов так же осуждал себя.

— Он? — недоверчиво спросил Кожемякин.

— Да-а... Вот бы ему тоже написать о себе! Ведь если узнать про людей то, о чем они не говорят,— тогда всё будет другое, лучше,— верно?

— Не знаю.

— Верно! Я знаю! — твердо сказала она, сложив руки на груди и оглядывая всё, как новое для нее.— Когда я не знала, что думает отец,— я его боялась, а рассказал он мне свою жизнь — и стал для меня другим...

— А Хряпова ты не понимаешь,— пробормотал старик, печально покачивая головою, несколько обиженный сопоставлением.— Он — злой человек!

— Нет.

— Я же с ним всю жизнь рядом прожил!

— И я,— резонно заметила девушка, подошла к нему и, ласково улыбаясь, стала просить: — Сходите к нему, а? Пожалуйста! Ну — сходите!

Он обещал. Когда Люба ушла, он тоже стал расхаживать по комнате, глядя в пол, как бы ища ее следы, а в голове его быстро, точно белые облака весны, плыли легкие мысли:

«Разве много надо человеку? Только послушайте его со вниманием, не торопясь осудить».

Осторожно, словно боясь порвать полосу своих новых мыслей, он сел за стол и начал писать,— теперь он знал, кто прочитает его записки.

«Тем жизнь хороша, что всегда около нас зреет-цветет юное, доброе сердце, и ежели хоть немного откроется оно пред тобой,— увидишь ты в нем улыбку тебе. И тем людям, что устали, осердились на всё,— не забывать бы им про это милое сердце, а — найти его около себя и сказать ему честно всё, что потерпел человек от жизни, пусть знает юность, отчего человеку больно и какие пути ложны. И если знание старцев соединится дружественно с доверчивой, чистой силой юности — непрерывен будет тогда рост добра на земле».

Положил перо и, закрыв глаза, представил себе лицо Евгении, читающей эти строки. В сердце было грустно и мирно.

Дня через три, в тусклый полдень сентября, Кожемякин пришел к старому ростовщику Хряпову. Его

встретил широколицый курносый Ваня и ломким басом пригласил:

— Пожалуйте, дедушка сейчас выйдет.

Гость ревниво осмотрел его и остался доволен — парень не понравился ему. Коренастый, краснощекий, в синей рубахе, жилете и шароварах за сапоги, он казался грубым, тяжелым, похожим на кучера. Всё время поправлял рыжеватые курчавые волосы, карие глаза его беспокойно бегали из стороны в сторону, и по лицу ходили какие-то тени, а нос сердито шмыгал, вдыхая воздух. Он сидел на сундуке, неуклюже двигая ногами, и смотрел то на них, то на гостя каким-то неприятным, недоумевающим взглядом.

— Дедушка, скорее! — басом крикнул он, но голос сорвался, он, покраснев, тяжело встал и пошел куда-то, встряхивая головой.

В углу около изразцовой печи отворилась маленькая дверь, в комнату высунулась темная рука, дрожа, она нащупала край лежанки, вцепилась в него, и, приседая, бесшумно выплыл Хряпов, похожий на нетопыря, в сером халате с черными кистями. Приставив одну руку щитком ко лбу, другою торопливо цапаясь за углы шкафов и спинки стульев, вытянув жилистую шею, открыв черный рот и сверкая клыками, он, качаясь, двигался по комнате и говорил неизменившимся ехидно-сладким, холодным говорком:

— Ты где тут, гостенек дорогой? Ага-а, вижу! Тушу — вижу, а на месте лица — извини уж — не то лукошко, не то решето, что ли бы...

Подошел, сел рядом и после нескольких обычных вопросов, навалившись на плечо гостю, вдруг спросил, тонко хихикнув:

— Плачешь, чу? Тоскуешь будто?

«На что она сказала!» — сердито подумал Кожемякин, а вслух проговорил, неохотно и негромко:

— Заплачешь, вон как на войне-то вздули.

— Вздули,— согласился Хряпов и будто бы благодарно добавил: — Постарались, поучили, да-а...

Не отнимая руки со лба, он всматривался в лицо гостя, а тот отвернулся, заметив:

— Ну, этого старанья достаточно с нас...

— Видно, нет еще, коли даемся: нате-ко, поколотите еще! Это я шучу, однако.

Бессильно уронив руку на колени, Хряпов открыл красные, растаявшие глаза и, продолжая щупать лицо гостя оловянными зрачками, ткнул его пальцем в бок.

— Ты меня не стыдись, ничего! Любавья-то сказала мне, о чем ты плачешь. Ничего! Что ж: жили-жили, дакали да такали, дожили до лютой старости — заплакали! Это ведь не с одними нами случилось — никудышных людей в городе непочат край!

Выпул из-за пазухи халата большой пестрый платок, отер им мокрое лицо и рот, растянул тонкие губы в улыбку и продолжал:

— И я вот всё плачу. Стыда в этом нет, это слезы добрые, хоть и не нужны никому. Разве — Любавье? Ей — нужны, пожалуй, а? В ней это — слезы наши кисленькие — веру укрепляют в добрые разные начала; мы-то знаем, что человеки — подлецы, и когда плачут — тоже подлецы, а ей этого не надо знать — верно, а?

— Несуразно ты говоришь,— угрюмо ответил гость, но Хряпов точно не слышал его слов и пел:

— Она собирается за добро воевать, ну — пусть ее думает, что каков ни есть человек мерзавец, а однажды и он может дрянность свою чистой слезой полить — чистой будто? Пусть она думает, что чистой, хоть слеза-то не от раскаяния, не потому, что — «покаяния двери отверзи ми», а — от страха, в могилку пора, пора ведь, ась? А неохота в могилку-то?

Обиженный его издевками, Кожемякин брезгливо отодвинулся.

— Напрасно ты...

Но Хряпов ткнул его рукою и быстро заговорил, понизив голос:

— Это я шучу! Не про тебя говорю, не бойся! Я ведь речи-хлопоты твои помню, дела — знаю, мне всё известно, я над твоей слезой не посмеюсь, нет, нет! Будь покоен, я шучу!

— И не оттого я...— начал Кожемякин.

Гладя его колено, Хряпов снова перебил его речь:

— И не от того, и от того — ото всего зареветь можно!

Он снова навалился на плечо гостя, щурясь, выжимая слезы, отыскивая глаза его мутным, полуслепым взглядом; дряблые губы дрожали, маленький язык шевелился по-змеиному быстро, и старик шептал:

— Взвоешь ведь, коли посмеялся господь бог над нами, а — посмеялся он? А дьявол двигает нас туда-сюда, в шашки с кем-то играя, живыми-то человеками, а?

— Не говорить бы так тебе на старости лет...

— Я же шучу, чудак! А тебе — спасибо, что учишь! — быстро подхватил Хряпов, кивая лысой, точно ощипанной головою.

— Не учу я...

— Ванька-внук тоже вот учит всё меня, такой умный зверь! Жили, говорит, жили вы, а теперь из-за вашей жизни на улицу выйти стыдно — вона как, брат родной, во-от оно ка-ак!

Он снова захихикал, перебирая пальцами кисть халата, выдергивал из нее нитки, скатывал их в комочки и бросал на пол.

— Это — в самом деле так Иван говорит? — спросил Кожемякин тихонько и оглянулся.

— Именно вот этими словами, да! Стыдно, говорит, на улицу выйти!

— Чего же — стыдно-то?

— Ему? Меня, значит, дедушки стыдно...

Кожемякину стало немного жалко старика, он вздохнул и снова осмотрел комнату, тесно заставленную сундуками и комодами. Блестели две горки, битком набитые серебром: грудами чайных и столовых ложек, связанных веревочками и лентами, десятками подстаканников, бокалов с чернью, золоченых рюмок. На комодах стояли подсвечники, канделябры, несколько самоваров, а весь передний угол был густо завешан иконами в ризах; комната напоминала лавку старьевщика.

«Всё залоги, конечно»,— подумал Кожемякин. Запах табаку и нафталина душил его и щипал в носу, вызывая желание чихнуть.

А хозяин, повизгивая, рассказывал:

— Вот, говорит, копили вы, дедушка, деньги, копили, а — что купили? И начнет учить, и начнет, братец ты мой! А я — слушаю. Иной раз пошутишь, ска-

жешь ему: дурачок недоделанный, ведь это я тебя ради жадовал, чтоб тебе не пачкаться, чистеньким вперед к людям доползти, это я под твои детские ножки в грязь-жадность лег! А он — вам бы, говорит, спросить меня сначала, хочу ли я этого. Да ведь тебя, говорю, и не было еще на земле-то, как уж я во всем грешен был, о тебе заботясь. Сердится он у меня, фыркает.

Кожемякин слушал и не верил, что Иван таков, каким его рисует дед.

— Это, может, Любовь его научила? — спросил он.

— Любавья?! — живо воскликнул Хряпов и отрицательно затряс головою.— Не-ет, нет! Я ее — ну, я же ее знаю ведь! Семи годов была она, когда спросила меня однова: дедушка, ты — жулик? Жулик, мол, девочка, жулик, милая! Это я, значит, шучу с ней. А она— серьезно, села мне на колена, бороденку мою расправила и советует-просит: ты-де не будь жуликом, не надобно, а вот тебе ножницы, и вырежь мне Василису Премудрую, а то моей Василисе Ваня голову оторвал. Это, видишь, я им сказки сказывал, вырезывал фигурки разные и раскрашивал. С той поры у нас с ней дружба и она мне — всегда защита!

Лицо его обильно взмокло от слез, непрерывно ливших из красных, точно раны, глаз, он снова вытащил платок, крепко отер щеки, подавил глаза, не прерывая речи. Было странно видеть его дряхлость, это таяние слезами и — слышать тонкий, резкий голосок, и было всё более жалко его.

— Она мне и против Ваньки, и против бога — за меня покажет, ежели на страшный суд идти, только, чай, не потребуют нас туда, мы тутотка осуждены жестоко-достаточно, будет бы, а?

— Дело божие,— тихо сказал Кожемякин.— Ничего нам не известно, слепы мы родились...

— Н-да? Слепыми, говоришь? — переспросил Хряпов, растянув сухие губы.— Будь так! А Любавья — ты за нее держись! — вдруг заговорил он внушительно и строго.— Она, брат милый, такие слова знает,— он как бы задохнулся, нащупал дрожащей рукою локоть гостя и продолжал шёпотом,— она всё умеет оправдать, вот как! Может, она великой праведницей будет, на-

стоящей, не такой, что в пустыни уходят, а которые в людях горят, оправдания нашего ради и для помощи всем. Она правде — как сестра родная! — Он подскочил на стуле и радостно, быстро заговорил всё тем же удушливым шёпотом: — Ваньку-то, Ваньку — как она щелкает, дурака! Ласково ведь, ты гляди-ка, ласково! Ты, Ваня, говорит, оттого добр и честен, что сыт и бездельник притом,— а? А кабы, говорит, был ты, Ваня, беден и работал бы, был бы ты и зол да и о чести не заботился бы, а?

И, подняв руку вверх, грозя пальцем, Хряпов веселым голосом проговорил:

— Не-ет, она за него не выйдет, не бывать этому, нет! За него-то? Хм — никогда!

Не в силах скрыть радости и удивления, Кожемякин спросил:

— Али ты не любишь внука-то?

— Я? Нет, я помню — моя кровь! Но — ежели в руке у тебя такая судорога сделалась, что бьет эта рука по твоей же роже, когда не ждешь этого и нечем ее остановить,— ты это любишь?

Он открыл рот и захохотал, а потом, устало вздыхая, сказал:

— Ох, люблю я пошутить!

И, снова всплеснув руками, ударив себя по бедрам, засмеялся.

— Ты гляди, гляди-ко, что требуется: прежде чем за дело взяться, надо сына родить, да вырастить, да и спросить — уважаемая кровь моя, как прикажете мне жить, что делать, чтобы вы меня не излаяли подлецом и по морде не отхлестали, научите, пожалуйста! Интересно-хорошо, а? Эх, Матвей Савельев, милый,— смешно это и мутно, а?

Дернул гостя за руку и окончил:

— А тебе — жить, и ты над этим подумай, загляни в глубь-то, в сердце-то, ты загляни, друг, да-а! Любавье-то подумать бы тут, ей! Она — эх, когда она лет сорока будет — встал бы из гроба, вылез из могилы поглядеть на нее, вот уж — да-а! Вылез бы! А — не позволят червяки-то ведь, не разрешат?

Кожемякин болезненно вздохнул и откачнулся от

старика, а Хряпов закрыл глаза, чтобы выжать из них слезы, и, качая головою, сказал:

— Богат будет Ванька! Ох, богат...

Повел носом, прислушался к чему-то и тихонько сказал Кожемякину:

— А я на ее имя немножко в банк положил-таки, тысченки две, может, а? Хорошо?

— Ничего, ладно,— согласился гость.— Конечно, добро рубля дороже...

— А ты брось это,— перебил его Хряпов.— Добро— всего дороже, а никто никому за него не платит, оттого мы и без цены в людях! За него — сторицей надобно и чтобы цена ему всегда в гору шла; тут бы соревнование устроить: ты меня на три копейки обрадовал, а я тебя на три рубля, ты меня за то — на тридцать, а я тебя — на триста,— вот это игра! Чтобы до безумия люди доходили, творя друг другу радость,— вот это уж игра, какой лучше не придумать, и был бы дьявол посрамлен на веки веков, и даже сам господь бог устыдился бы, ибо скуповат все-таки да неприветлив он, не жалостлив...

Старик трясся в возбуждении, ноги у него плясали и шаркали по полу, а руки изломанно хватались за кисти халата, за ворот и край стола, дергали скатерть, задевали гостя.

— А мы — бога в плательщики за нас ставим, и это — взаимный обман! Нет, ты сам, сам — заплати! Я тебя пятнадцать лет пестовал, я тебя думал в люди ввести чистенько, честно-хорошо, на — живи без труда...

«Вот что вконец съело ему сердце»,— с грустью и состраданием подумал Кожемякин, чувствуя, что он устал от этих речей, не может больше слушать их и дышать спертым воздухом темной загроможденной комнаты; он встал, взял руку хозяина и, крепко пожав ее, сказал:

— Спасибо за беседу, Михайло Кирилыч, за доверие, за ласку...

— Идешь?

Хряпов с трудом стал подниматься на ноги.

— Ты — сиди, не беспокой себя, сиди!

— Ничего! — бормотал старик, изгибаясь.— Хоть и моложе ты меня десятка на два, а встать пред тобой — могу! Ничего. Ты тут — любопытный! Заходи, а? Больно интересно-хорошо Любавья про тебя сказывает.

Держась рукою за плечо гостя, он дошел с ним до двери, остановился, вцепившись в косяк, и сказал:

— Заходи же, слышь! Я уж никуда из дому не выйду, кроме как в могилу: она мне готова, в сторонке там, недалеко от твоих — от мачехи с солдатом. Приятно ты держишь могилы ихние, аккуратно-хорошо! Часто ходишь?

— Бываю.

— И ко мне заходи. С мертвым побеседовать — милое дело, не соврет, не обидит...

И, засмеявшись, тихонько добавил:

— Это я — шучу всё!

«Да, вот оно как,— печально размышлял Кожемякин, идя домой,— вот она жизнь-то, не спрятаться, видно, от нее никому. Хорошо он говорил о добре, чтобы — до безумия! Марк Васильев, наверное, до безумия и доходил. А Любовь-то как столкнула нас...»

Дул ленивый сырой ветер, обрывая последние листья с полуголых деревьев, они падали на влажную землю и кувыркались по ней, разбегаясь в подворотни, в углы, под лавки у ворот.

Около дома Кожемякина встретили взволнованный Сухобаев, в картузе на затылке, и одноглазый, взъерошенный, точно неделю не евший Тиунов. Сухобаев, как-то обвинительно указывая на него пальцем, сказал:

— Явился человек с тревогами, говорит, что знакомый ваш, я его и захватил для совета.

— Давно ли здесь? — пожимая руку кривого, спрашивал Кожемякин.

А Тиунов, солидно поздоровавшись, шагал журавлем и подробно рассказывал:

— Пригнал почтовыми третьего дня, помылся в бане и — сейчас же к господину градскому голове, потому что газеты оглушают разными словами и гораздо яснее живая речь очевидца, не заинтересованного ни в чем, кроме желания, чтоб всё было честно и добросовестно...

Говорил он спокойно, не торопясь, но — как всегда — казалось, что бьет в барабан; его сверлящий глаз прыгал с лица на лицо, а брови угрожающе сдвигались.

Когда вошли в дом, разделись и сели за стол, Сухобаев, облизнув губы, сказал угрожающе:

— А ведь дела-то начались серьезные-с, Матвей Савельевич!

— Да,— говорил Тиунов, направляя око свое куда-то поверх головы хозяина,— дела крутые! Первее всего обнаружилось, что рабочий и разный ремесленный, а также мелкослужащий народ довольно подробно понимает свои выгоды, а про купечество этого никак нельзя сказать, даже и при добром желании, и очень может быть, что в государственную думу, которой дана будет вся власть, перепрыгнет через купца этот самый мелкий человек, рассуждающий обо всем весьма сокрушительно и руководимый в своем уме инородными людями, как-то — евреями и прочими, кто поумнее нас. Это — доказано!

Речь его текла непрерывно, длинной струей, слова сыпались на головы слушателей, как зерно из мешка, оглушая, создавая напряженное настроение.

— Не понимаю я чего-то,— заявил Кожемякин, напряженно сморщив лицо,— какая опасность? Ежели все люди начинают понимать общий свой интерес...

Сухобаев вскочил со стула.

— То есть — это как же? Ведь какие люди — вопрос! В евреев — не верю-с, но есть люди значительно опаснее их, это совсем лишние люди и, действительно, забегают вперед, нарушая порядок жизни, да-с!

Он обиженно вздернул плечи, снова облизнул губы и продолжал:

— Вы сами, Матвей Савельевич, говорили, что купеческому сословию должны принадлежать все права, как дворянство сошло и нет его, а тут — вдруг, оказывается, лезут низшие и мелкие сословия! Да ежели они в думу эту — господь с ней! — сядут, так ведь это же что будет-с?

Он моргнул и, разведя руками, с печалью и злостью докончил:

— Тогда прямо уж — к хивинцам поезжай конину кушать!

— Бессомненно, что должна быть отчаянная сумятица! — уверенно сказал Тиунов.— Все эти ныне выступающие люди совершенно преждевременны и притом разъярены надеждами бесподобно.

— Какие — надежды? — спросил Кожемякин, разглядывая опавшие щеки кривого и глаз его, окруженный черным кругом, точно подбитый. Тиунов повел носом и ответил:

— Первее всего — полное уравнение в правах и поголовная разверстка всех имуществ и всей земли...

— Видите-с? — воскликнул Сухобаев.— А чего верстать? Много ли накопили имущества-то? По трешнику на голову...

— Самое же главнейшее и обидное,— продолжал Тиунов, отчетливо, раздельно, точно он свидетельствовал на суде,— и самое опасное то, что всё это есть тонкая интрига со стороны чужеродных людей: заметивши в русских мелких людях ихнюю склонность к мечтанию и пользуясь стесненным положением их жизни, хитрые люди внушают самое несбыточное, чтобы сразу солидный народ и начальство видели, сколь все запросы невозможны и даже безумны.

Сухобаев насторожился, вытянулся и быстро спросил:

— Какой расчет?

Тогда Тиунов заговорил громче, торопливее и отрывистей.

— Расчет — ясный: надо внушить властям недоверие к народу, надо поставить народ так, чтоб первее всего бросалась в глаза его глупость,— поняли? Чтобы сразу было видно — это кто? Мечтатель и, так сказать, блаженный дурачок — ага!

Он очертил глазом своим сверкающий круг, замкнул в этом круге слушателей, положил руки на стол, вытянул их и напряг, точно вожжи схватив. Рана на лице его стала багровой, острый нос потемнел, и всё его копченое лицо пошло пятнами, а голос сорвался, захрипел.

— Тут — так придумано,— клокотали и кипели

слова в горле у него,— Россия разрослась — раз! начальство сконфузилось — два! Потеряло свой форс, обращается к народу — давай разберемся в делах совместно и дружески — три! А хитрые эти люди,— я думаю, что предварительно — немцы, хотя видимость и показывает на жидов,— так вот они и сообразили, что ежели так пойдет, то Русь сама выправится, встанет на ноги, и — это же им невыгодно, совсем невыгодно! Тут и вся тайна политики: надобно показать, что русский народ — глуп и помощи от него напрасно ждать!

— Н-ну,— сказал Сухобаев, покачивая головой,— это как-то не того-с, не убедительно мне! На мой глаз — не тут опасность!

— Нет — тут, именно в этом месте! — жарко сказал Тиунов, срывая руки со стола.

Они заспорили, сначала хоть и горячо, но вежливо, подыскивая наиболее круглые и мягкие слова, а потом всё более сердито, грубо, зло и уже не стесняясь обижать друг друга.

— Какой же вы голова городу, ежели не понимаете общего интереса жителей? — ехидно спрашивал кривой, а Сухобаев, глядя на него сбоку, говорил вздрагивающим голосом:

— Вы сами, почтеннейший, распространяете бессмыслие, да-с!

Кожемякин сидел ошеломленный всем, что слышал, огорчаясь возникшим спором, желал остановить его и не умел.

— Погодите-ка,— бормотал он,— не в этом ведь дело, надо согласие...

Перед ним стояло лицо Хряпова, неотвязно вспоминались слова старика о добре, которое надо делать с восторгом, до безумия, и слова эти будили приятно тревожную мысль:

«Вдруг все проникнутся насквозь этим и — начнется...»

— Постойте-ка, вы! — обращался он к спорящим.— Давайте-ка сообща...

Сухобаев, желтый со зла, сверкал глазами и, усмехаясь, ядовито говорил:

— Не-ет, с этим я никак не соглашусь, совсем не согласен!

— А — отчего? — сухо спрашивал Тиунов, воткнув в лицо ему свое темное око.

— От того самого, что причастие к жизни должно иметь свой порядок-с!

— Это какой же?

— А такой: сначала я, а после и вы,— да-с!

— Я вперед вас не забегаю, но — спрашиваю вас: вы до сего дня где были?

— Я? Тут!

— Так-с! А здесь что — Россия или нет?

— Здесь-то?

Сухобаев замолчал, видимо, боясь ответить.

— То-то и есть,— говорил Тиунов, как-то всхрапывая,— то-то вот и оно, что живем мы, а где — это нам неизвестно!

— Вот — верно! — согласился Кожемякин.— Василий Васильич, это, брат, верно!

— Почему? — тревожно кричал Сухобаев.

Кожемякин не мог объяснить и, сконфуженно вздохнув, опустил глаза, а кривой бойко забарабанил:

— Потому, первее всего, что чувствуем себя в своем уезде, своем городе, своем дому, главное — в дому своем! — а где всё это находится, к чему привязано, при чем здесь, вокруг нас, Россия,— о том не думаем...

— Во-от! — примирительно воскликнул Кожемякин, а Сухобаев вдруг затопал ногами на одном месте, точно судорогой схваченный, задохнувшись прохрипел:

— Прощайте-с! — и быстро убежал.

— Ах, господи! — огорченно сказал Кожемякин, вставая на ноги и глядя вслед ему. Тиунов тоже вскочил, наклонив голову, высунув ее вперед, и, размахивая правой рукой, быстро заходил по комнате, вполголоса говоря:

— То же самое, везде — одно! В каждой губернии — свой бог, своя божья матерь, в каждом уезде — свой угодник! Вот будто возникло общее у всех, но сейчас же мужики кричат: нам всю землю, рабочие спорят:

нет, нам — фабрики. А образованный народ, вместо того, чтобы поддерживать общее и укреплять разумное, тоже насыкается — нам бы всю власть, а уж мы вас наградим! Тут общее дело, примерно, как баран среди голодных волков. Вот!

Он наткнулся на стол, ощупал его руками, сел и начал чесать шрам на месте глаза, а здоровый его глаз стал влажен, кроток и испуганно замигал.

— Вот, Матвей Савельич, я — кривой, а у него, у головы, на обоих глазах бельма! И даже можно сказать, что он дурак, не более того, да!

Капля пота скатилась с его щеки, оставив за собою светлый след, ноздри его дрожали и губы двигались судорожно.

— Народ безо всякой связи изнутри, Матвей Савельич,— жалобно и тихо говорил он,— совершенно незнакомый сам с собою, и вам, например, неизвестно, что такое Саратовская губерния и какие там люди,— неизвестно?

— Нет,— виновато ответил Кожемякин.

— Ну да! — печально кивнув головой, сказал Тиунов, сгибаясь над столом.— И от этой неизвестности Россия может погибнуть, очень просто! Там, в Саратовской, вокруг волнение идет, народишко усиливается понять свою жизнь, а между прочим сожигает барские дома. Конечно, у него есть маленький резон на это, ибо — скажем прямо — господа его жгли живьем в свою пору, а все-таки усадьба — не виновата! Нет, Россия очень может погибнуть! Там, видите, среди этого волнения немцы — здороввеннейший народ, Екатериною поселен, так они — спокойны! Совершенно! Потирают руки — я сам видел: стоит немец с трубкой в зубах и потирает руки, а в трех местах — зарево!

Кожемякину хотелось успокоить кривого, он видел, что этот человек мучается, снедаемый тоской и страхом, но — что сказать ему? И Матвей Савельев молча вздыхал, разводя пальцем по столу узоры. А в уши ему садился натруженный, сипящий голос:

— В Воргороде творится несосветимое — собирается народ в большие толпы и кричит, а разные люди — и русские и жиды, а больше всего просто подростки —

говорят ему разное возбуждающее. Господи, думаю я, из этого образуется несчастие для всех! И тоже влез, чтобы сказать: господа товарищи, русские люди, говорю,— первее всего не о себе, а о России надо думать, о всем народе. Сейчас меня за ногу и за полу сдернули, затолкали, накричали в нос разных слов — черная сотня и прочее, а один паренек — очень веселый, между прочим,— ударил меня по шее. Тут я его вежливо спрашиваю — зачем же вы меня по шее? А вы, говорит, привыкли, чтобы по морде? Обратите внимание на слова «вы привыкли, чтобы по морде», вот это самое «привыкли», а? Это слово чрезвычайно русское — «привыкли, чтоб по морде»! Нет, говорю, молодой человек, я совсем наоборот желал бы. Смеется — «по затылку, что ли?» Пошли мы с ним в трактир, и я почти реву — не от удара, конечно,— а от тоски эдакой! Говорим, и он сознался: простите, дескать, товарищ, дурак я, ударил вас совершенно зря, а теперь стыжусь! Это, говорит, наверно, оттого, что меня тоже очень много таскали за вихры, по морде били и вообще — по чему попало, и вот, говорит, иногда захочешь узнать: какое это удовольствие — бить человека по морде?

Кривой приподнял голову, борода его вытянулась вперед и тряслась.

— Вы извольте заметить слово — «удовольствие»! Не иное что, а просто — «удовольствие»! Тут говорит паренек веселый, человек очень прозрачной души, и это безопасно, в этом-то случае — безопасно, а если вообще взять...

Тиунов встал, опираясь руками о стол.

— Матвей Савельич, примите честное мое слово, от души: я говорю всё, и спорю, и прочее, а — ведь я ничего не понимаю и не вижу! Вижу — одни волнения и сцепления бунтующих сил, вижу русский народ в подъеме духа, собранный в огромные толпы, а — что к чему и где настоящий путь правды,— это никто мне не мог сказать! Так мелетешит что-то иногда, а что и где — не понимаю! Исполнен жалости и по горло налит кипящей слезой — тут и всё! И — боюсь: Россия может погибнуть!

— Я тоже ничего не понимаю,— глухо сказал Кожемякин, и оба замолчали, сидя друг против друга неподвижно и немотно.

— Есть тут одна девица,— начал Матвей Савельев.

Но Тиунов, мотнув головой, отозвался:

— Видел я девиц!

Снова помолчали, потом Тиунов проворчал:

— Лихорадка у меня, должно быть...

— Вы прилягте,— предложил Кожемякин, устав смотреть на него, не желая более ни говорить, ни слушать.

Тиунов отошел к дивану, лег, поджав ноги, но тотчас вздрогнул, сел и развел руками, точно поплыл.

— Говорится теперь, Матвей Савельич, множество крутых слов, очень значительных, а также появилось большое число людей с душой, совершенно открытой для приема всего! Люди же всё молодые, и поэтому надо бы говорить осторожно и просто, по-азбучному! А осторожность не соблюдается, нет! Поднялся вихрь и засевает открытые сердца сорьем с поверхности земли.

Он закрыл глаза, опрокинулся на диван и сказал, вытягиваясь в медленной судороге:

— Очень может погибнуть всё. Господин же градской голова — вовсе не голова, а — наоборот...

«Нет, я уйду!» — решил Кожемякин, чувствуя необходимость отдыха, подошел к дивану и виноватым голосом объяснил, что ему надобно сходить в одно место по делу, а кривой, на секунду открыв глаза, выговорил почему-то обиженно:

— Разве я у вас на дороге лег?

«Путаный человек»,— думал Кожемякин, выйдя за ворота.

С бесплодных лысых холмов плыл на город серый вечер, в небе над болотом медленно таяла узкая красная черта, казалось, что небо глубоко рапено, уже истекло кровью, окропив ею острые вершины деревьев, и мертвеет, умирает. Летели с поля на гнезда черные птицы, неприятно каркая; торопясь кончить работу, стучали бондари, на улице было пусто, сыро, точно в корыте, из которого только что слили грязную воду.

Огни в домах еще не зажигались, тусклые пятна окон смотрели друг на друга хмуро, недоверчиво, словно ожидая чего-то неприятного.

Со двора выскочила растрепанная баба, всхлипывая, кутаясь в шаль; остановилась перед Кожемякиным, странно запрыгав на месте, а потом взвыла и, нагнув голову, побежала вдоль улицы, шлепая босыми подошвами. Посмотрев вслед ей, Кожемякин сообразил:

«Видно — помирает кто-нибудь, за попом она...»

И — остановился, удивленный спокойствием, с которым он подумал это.

Влажная холодная кисея висела над городской площадью, недавно вымощенною крупным булыжником, отчего она стала глазастой; пять окон «Лиссабона» были налиты желтым светом, и на темных шишках камней мостовой лежало пять желтых полос.

Сзади раздался шум торопливых шагов, Кожемякин встал в тень под ворота, а из улицы, спотыкаясь, выскочил Тиунов, вступил в одну из светлых полос, и, высоко поднимая ноги, скрылся в двери трактира.

«Неугомонный какой!» — одобрительно подумал Кожемякин и тоже вошел в трактир.

Зал был наполнен людьми, точно горшок горохом, и эти — в большинстве знакомые — люди сегодня в свете больших висячих ламп казались новыми. Блестели лысины, красные носы; изгибались, наклоняясь, сутулые спины, мелькали руки, и глухо, бессвязно гудел возбужденный говор. В парадном углу, где сиживали наиболее именитые люди, около Сухобаева собрались, скрывая его, почти все они, и из их плотной кучи вылетал его высокий голос. Напротив, в другом углу, громко кричало чиновничество: толстый воинский начальник Покивайко, помощник исправника Немцев, распухший, с залитыми жиром глазами отец Любы.

Кожемякин долго стоял у двери, отыскивая глазами свободное место, вслушиваясь в слитный говор, гулкий, точно в бане. Звучно выносился звонкий тенор Посулова:

— Воссияй мирови свет разума!

И гудел бас:

— Тебе кланяемся — солнце правды!

«Чужими словами говорят»,— отметил Кожемякин, никем не замечаемый, найдя наконец место для себя в углу, между дверью в другую комнату и шкафом с посудою. Сел и, вслушиваясь в кипучий шум речей, слышал всё знакомые слова.

— Вскую шаташася языцы! — кричал веселый голос, и кто-то неподалеку бубнил угрюмо:

— Содом и Гоморра...

Звучали жалобы:

— Когда не надобно — начальство наше мухой в рот лезет.

— А тут — предоставлены мы на волю божию...

И всё выше взлетал, одолевая весь шум, скрипучий, точно ржавая петля, сорванный голос Тиунова:

— Мне на это совершенно наплевать, как вы обо мне, сударь мой, думаете!

— Ш-ш! — зашипел кто-то и застучал по столу. На секунду как будто стало тише, и оттуда, где сидели чиновники, поплыла чья-то печальная возвышенная речь:

И знал я, о чем он тоскует,
И знал он, о чем я грущу:
Я думал — меня угостит он,
Он думал, что я угощу...

Рассыпался смех, и снова стало шумно, и снова сквозь всё проникали крики:

— Я — Россию знаю, я ее видел! Не я чужой ей, а вы посторонние, вы!

— Тише! — крикнул Посулов вставая, за ним это слово сказали еще несколько человек, шум сжался, притих.

— Это вы наследства, вам принадлежащего, не знаете и всякой памяти о жизни лишены, да! Чужой — это кто никого не любит, никому не желает помочь...

— Однако,— кричал Сухобаев,— объясните — вы кто такой? Вам что угодно-с?

— Человек я!

— Половой, значит,— услужающий?

Многие захохотали, а Кожемякину стало грустно, он посмотрел в угол сквозь синие волны табачного дыма, и ему захотелось крикнуть Тиунову:

«Перестань!»

Но откуда-то из середины зала, от стола, где сидели Посулов и регент, растекался негромкий, ясный, всё побеждающий голос, в его сторону повертывались шеи, хмурились лица, напряженно вслушиваясь, люди останавливали друг друга безмолвными жестами, а некоторые негромко просили:

— Встань, не видно!

— Громче!

— Стойте, тише, братцы!..

— Кто это?

— Неизвестно.

Внятно раздавались чьи-то слова:

— Дайте нам, простым людям, достаточно свободы, мы попытаемся сами устроить иной порядок, больше человечий; оставьте нас самим себе, не внушайте, чтоб давили друг друга, не говорите, что это — один закон для нас и нет другого,— пусть люди поищут законов для общей жизни и борьбы против жестокости...

Кожемякину казалось, что от этих слов в трактире становится светлее, дымные тучи рассеялись, стало легче дышать. Оглядываясь на людей, он видел, что речь принимается внимательно, слышал одобрительный гул и сам поддавался тихой волне общего движения, качавшего толпу, сдвигая ее всё плотнее и крепче. Почти ощущая, как в толпе зарождаются мысли, всем понятные, близкие, соединяющие всех в одно тело, он невольно и мимолетно вспомнил монастырский сад, тонко выточенное лицо старца Иоанна, замученный горем и тоскою народ и его гладенькую, мягкую речь, точно паклей затыкающую искривленные рты, готовые кричать от боли.

— Кто скажет за нас правду, которая нужна нам, как хлеб, кто скажет всему свету правду о нас? Надобно самим нам готовиться к этому, братья-товарищи, мы сами должны говорить о себе, смело и до конца! Сложимте все думы наши в одно честное сердце, и пусть оно поет про нас нашими словами...

— Спасибо, парень!

Толпа зашумела, качнулась к стене, где над нею возвышалось разрезанное лицо, с круглыми, слепо открытыми глазами, но вдруг раздался резкий, высокий голос Сухобаева:

— Господа обыватели! И вы, господа начальство,— что же видим все мы? Являются к нам неизвестные люди и говорят всё, что им хочется, возмущая умы, тогда как еще никто ничего не знает...

— Вы, известные-то, воры все!

— Что-с?

— То-с!

— То есть как?

— Так!

И всё завертелось, закипело, заорало, оглушая, толкая и давя Кожемякина; он, не понимая, что творится вокруг, старался зачем-то пробиться к стене, где стоял оратор, теперь невидимый.

— Это мое помещение! — визгливо выкрикивал Сухобаев.

Трещали столы и стулья, разбивалась посуда, хрустели черепки, кто-то пронзительно свистел, кто-то схватил Кожемякина за ворот, прищемив и бороду, тащил его и орал:

— Вот они — глядите! Во-от они-и!

— Стой! — хрипел старик, отбиваясь.

В густом потоке людей они оба скатились с лестницы на площадь перед крыльцом, Кожемякина вырвали из рук сапожника, он взошел на ступени, захлебываясь от волнения и усталости, обернулся к людям и сквозь шум в ушах услышал чьи-то крики:

— За что ты его, чёрт?

Чей-то голос торопливо и громко говорил:

— Чернокнижником считается, это — которого Сухобаев обделал...

— Имущество же он всё свое на училище отдал, городу!

Широкорожий парень схватил руку Кожемякина, встряхивал и бормотал:

— Ошибся он, дурашка!

Подошли Посулов, Прачкин, Тиунов, но Кожемякин, размахнув руками, крикнул вниз, в лица людей:

— Стойте! Это ничего! Если человек обижен — ему легко ошибиться...

Хотелось встать на колени, чтобы стоять прочнее и тверже, он схватился обеими руками за колонку крыльца и вдруг, точно вспыхнув изнутри, закричал:

— Братцы! Горожане! Приходят к нам молодые люди, юноши, чистые сердцем, будто ангелы приходят и говорят доброе, неслыханное, неведомое нам — истинное божье говорят, и — надо слушать их: они вечное чувствуют, истинное — богово! Надо слушать их тихо, во внимании, с открытыми сердцами, пусть они не известны нам, они ведь потому не известны, что хорошего хотят, добро несут в сердцах, добро, неведомое нам...

— Верно, старик! — крикнули снизу.

— Прожили мы жизнь, как во сне, ничего не сделав ни себе, ни людям,— вступают на наше место юноши...

Он размашисто перекрестился.

— Дай господи не жить им так, как мы жили, не изведать того горя, кое нас съело, дай господи открыть им верные пути к добру — вот чего пожелаем...

Крыльцо пошатнулось под ним и быстро пошло вниз, а всё на земле приподнялось и с шумом рухнуло на грудь ему, опрокинув его.

Потом он очутился у себя дома на постели, комната была до боли ярко освещена, а окна бархатисто чернели; опираясь боком на лежанку, изогнулся, точно изломанный, чахоточный певчий; мимо него шагал, сунув руки в карманы, щеголеватый худенький человек, с острым насмешливым лицом; у стола сидела Люба и, улыбаясь, говорила ему:

— Я вам не верю.

Худенький человек, вынув часы, переспросил, глядя на них:

— Не верите?

— Нет.

Он хлопнул крышкой часов и сказал не торопясь:

— Это меня — огорчает. А в аптеку послали?

Не сводя с него глаз, Люба кивнула головой, и он снова начал шагать, манерно вытягивая ноги.

Певчий выпрямился, тоже сунул руки в карманы, обиженно спросив:

— Почему же вы так думаете, доктор?

— Так мне удобнее,— ответил тот, глядя в пол.

Кожемякин не шевелился, глядя на людей сквозь ресницы и не желая видеть черные квадраты окон.

«Опять я захворал»,— думал он, прислушиваясь к торопливому трепету сердца, ощущая тяжелую, угнетающую вялость во всем теле, даже в пальцах рук.

— Захворал я, Люба? — спросил он полным голосом, четко и ясно, но, к его удивлению, она не слышала, не отозвалась; это испугало его, он застонал, тогда она вскочила, бросилась к нему, а доктор подошел не торопясь, не изменяя шага и этим сразу стал неприятен больному.

— Что? — спрашивала Люба, приложив ухо к его губам.

— Позвольте! — отстранил ее доктор, снова вынув часы, и сложил губы так, точно собирался засвистать. Лицо у него было желтое, с тонкими темными усиками под большим, с горбиной, носом, глаза зеленоватые, а бритые щеки и подбородок — синие; его черная, гладкая и круглая голова казалась зловещей и безжалостной.

— Так,— сказал он, с обидной осторожностью опуская на постель руку Кожемякина.— Извините, мадемуазель...

— Матушкина.

— Мне всё хочется сказать — Батюшкова,— эта фамилия встречается чаще. Вы ничего не забудете?

— Нет.

— До завтра!

Люба говорила несвойственно ей кратко и громко, а доктор раздражающе сухо, точно слова его были цифрами. Когда доктор ушел, Кожемякин открыл глаза, хотел вздохнуть и — не мог, что-то мешало в груди, остро покалывая.

Люба, сидя у постели, гладила руку больного.

Собравшись с силами, Кожемякин спросил:

— Умираю, что ли?

— Ой, нет! — вздрогнув и отбрасывая его руку, воскликнула девушка.— Что вы?

— Сердце у вас слабое,— тихо сказал певчий,— вот и всё!

— Вам ничего не надо делать,— добавила Люба.

Кожемякин через силу ухмыльнулся.

— Я ничего и не делал никогда...

Потолок плыл, стены качались, от этого кружилась голова, и он снова закрыл глаза. Было тихо, и хотелось слышать что-нибудь, хоть бы стук маятника, но часы давно остановились. Наконец певчий спросил:

— Не понравился он вам?

— Нет. Вы — тише!

«Зачем?» — хотел крикнуть Кожемякин, но промолчал, боясь, что они все-таки не станут говорить, и, напрягая слух, ловил слова, едва колебавшие тишину.

— Теперь,— шептал юноша,— когда люди вынесли на площади, на улицы привычные муки свои и всю тяжесть,— теперь, конечно, у всех другие глаза будут! Главное — узнать друг друга, сознаться в том, что такая жизнь никому не сладка. Будет уж притворяться — «мне, слава богу, хорошо!» Стыдиться нечего, надо сказать, что всем плохо, всё плохо...

Явился Тиунов и тоже шептал:

— Я говорю — отечество, Россия! Дорогие мои — собор строить разрешено, а вы опять — бойню...

Люба утешала его тихими словами, белки ее глаз стали отчего-то светлей, а зрачки потемнели, она держалась в доме, как хозяйка, Шакир особенно ласково кивал ей головой, и это было приятно Кожемякину — тягостная вялость оставляла его, сердце работало увереннее.

На другой день с утра явился Сухобаев, он смотрел на Кожемякина, точно мерку на память снимал с него, и ворчал:

— Это не более, как всеобщая куриная слепота-с!

Пришел Ваня Хряпов, хмуро объявил, что дедушка его тоже сильно захворал, и Люба, тревожно побегав по комнате, исчезла.

«Милая,— мысленно проводил ее Кожемякин,— радость человеческая!»

Дни пошли крупным шагом, шумно, беспокойно, обещая что-то хорошее. Каждый день больной видел Прачкина, Тиунова, какие-то люди собирались в Палагиной комнате и оживленно шумели там — дом стал похож на пчелиный улей, где Люба была маткой: она всех слушала, всем улыбалась, поила чаем, чинила изорванное пальто Прачкина, поддевку Тиунова и, подбегая к больному, спрашивала:

— Ну, что — лучше?

— Лучше! — отзывался он.

Он чувствовал себя здоровым, но доктор запретил вставать. При докторе девушка странно и явно менялась: ходила как-то по-солдатски мерно и прямо, выпячивая грудь, поджав губы, следя за ним недобрыми глазами, а на вопросы его отвечала кратко, и казалось, что, говоря ему — да, она спорит с ним. Кожемякин тоже не спускал глаз с доктора, глядя на него угрюмо, недоброжелательно, и когда он уходил, еще в комнате надевая на затылок и на правое ухо мягкую шляпу,— больной облегченно вздыхал. Было странно, что обо всем, что творилось в городе, доктор почти не говорил, а когда его спрашивали о чем-нибудь, он отвечал так неохотно и коротко, точно язык его брезговал словами, которые произносил. На его желтом лице не отражалось ни радости, ни любопытства, ни страха, ничего — чем жили люди в эти дни; глаза смотрели скучно и рассеянно, руки касались вещей осторожно, брезгливо; все при нем как будто вдруг уставали, и невольно грустно думалось, глядя на него, что, пока есть такой человек, при нем ничего хорошего не может быть.

«Как бы он не соблазнил Любовь-то,— тревожно думалось Кожемякину.— Господи — помилуй ее!»

Однажды он проснулся рано утром и, чувствуя себя почти здоровым, оделся, а потом разбудил Шакира и попросил его:

— Веди, князь, до кресла! Разучился я ходить.

Взяв его под руку, Шакир вел и радостно бормотал, мигая глазами:

— Пошла, ну! Опять теперь беспокойства-та начинался...

Кожемякин сел, взглянул на деревья, перекрестился.

— Ну, давай, Шакирушка, поцелуемся!

Татарин, всхлипнув, припал к нему.

— Ничего! — утешительно говорил Кожемякин, поглаживая его шерстяную щеку.— Еще поживем немножко, бог даст! Ой, как я рад, что встал...

— Ему тебя нада давать много дня ласковый-та! — бормотал Шакир, как всегда, в волнении, еще более усердно коверкая слова.— Доброму человека бог нада благдарить — много ли у него добрым-та?

И оба улыбались друг другу, а больной всё хотел вздохнуть как можно глубже, но — боялся этого и с наслаждением ждал минуты, когда он решится и вздохнет во всю грудь.

— Вот, видишь,— говорил он,— народился добрый-то народ!

— Есть, есть! — согласно кивая головой, ответил татарин.— Пошел молодой — бульно хорош людя!

— Любовь-то, а?

Татарин открыл рот и засмеялся прежним своим смехом, добродушным и веселым.

— Русский баба — самый лучший!

Осторожно открыв дверь, на пороге встала Люба, с головой окутанная в старую, рваную шаль, и тревожно крикнула:

— Зачем вы встали?

— А вот — встал да и встал! — озорниковато ответил Кожемякин.

Шакир снова засмеялся, согнувшись колесом, упираясь руками в колени, встряхивая головою. Девушка, медленно распутывая шаль, осторожно подвигалась к окну, от нее веяло бодрым холодом, на ресницах блестели капельки растаявшего инея, лицо горело румянцем, но глаза ее припухли и смотрели печально.

— Ты — что? — заботливо спросил старик.

Она улыбнулась, видимо, через силу.

— Так.

Голос ее вздрогнул, оборвался, и она закрыла глаза мокрыми ресницами. Кожемякин, тихонько вздохнув, взял ее руку.

— Помер, что ли, Хряпов-то?

Она молча кивнула головой, присев на ручку его кресла, потом сказала:

— В три часа ночи...

Это проплыло над стариком, как маленькое серое облако по светлому небу весеннего дня.

«Боялась сказать, берегла меня», — благодарно отметил он, а вслух покорно выговорил, крестясь:

— Упокой господи! Что ж — вот и я скоро...

— Нет! — воскликнула девушка.

Ему был приятен этот протестующий крик. Чувствуя, что нужно еще что-нибудь сказать о Хряпове, он задумался, разглядывая ее побледневшее лицо и увлажненные глаза, недоуменно смотревшие в окно. Но думалось ему не о Хряпове, а о ней.

— Как трудно он... — заговорила Люба тихонько.

— Умирал,— подсказал Кожемякин.

— Да. Ужасно!

Она пугливо взглянула в глаза старика и заговорила свободнее.

— Помните — он любил говорить: «Это я шучу»? Последний раз он сказал это около полуночи и потом вскоре — сразу начал биться, кричать: «Уберите, отодвиньте!» Это было страшно даже...

— Что — уберите? — спросил Кожемякин.

— Не знаю. Ваня стал выносить разные вещи и мебель выдвигать...

— Плачет Иван-то?

— Да. Не очень. Он испугался...

— А ты?

— Я?

Подумав, она ответила:

— Когда он умирал — было боязно, а потом — обидно, к чему эти мучения? Я не понимаю. Не нужно это и жестоко!

Кожемякин вздохнул медленно и так глубоко, что кольнуло в сердце, сладко закружилась голова, потом он сказал, тиская пальцами ее руку:

— Хорошо будет людям около тебя,— дай тебе господи силы на всех!

А через два дня он, поддерживаемый ею и Тиуновым, уже шел по улицам города за гробом Хряпова. Город был окутан влажным облаком осеннего тумана, на кончиках голых ветвей деревьев росли, дрожали и тяжело падали на потную землю крупные капли воды. Платье покрывалось сыростью, точно капельками ртути. Похороны были немноголюдны, всего человек десять шагало за гробом шутливого ростовщика, которому при жизни его со страхом кланялся весь город. Гроб — тяжелую дубовую колоду — несли наемные люди.

Но казалось, однако, что весь город принимает издали участие в этих похоронах без блеска, без певчих: всюду по улицам, точно жучки по воде устоявшегося пруда, мелькали озабоченные горожане, на площади перед крыльцом «Лиссабона» и у паперти собора толклись по камням серые отрепанные люди, чего-то, видимо, ожидая, и гудели, как осы разоренного гнезда. Разъезжали деревянные стражники, опустив правую руку с нагайкой в ней, медленно вышагивал в тумане городовой Капендюхин, было много пьяных, летал на дрожках, запряженных пегим коньком, Сухобаев и, прищурив острые глаза, смотрел вперед, ища чего-то в густом тумане. Прыгая через грязь, спешно бежали в разные стороны мужчины и женщины, полы чуек и юбки развевались, как паруса, и люди напоминали опрокинутые ветром лодки на сердитых волнах озера. Глухой гул человечьих голосов плавал по городу, а стука бондарей — не слышно, и это было непривычно уху. Казалось, что и дома́ напряженно открыли слуховые окна, ловя знакомый потерянный звук, но, не находя его, очень удивлялись, вытаращив друг на друга четыреугольные глаза, а их мокрые стекла были тусклы, как бельма. Соборная колокольня, всегда красная, мясистая, сегодня была сизой и словно таяла, ее тяжелые резкие формы были обсосаны туманом.

Кожемякин, шагая тихонько, видел через плечо Вани Хряпова пестрый венчик на лбу усопшего, желтые прядки волос, темные руки, сложенные на бугре черного сюртука. В гробу Хряпов стал благообразнее — красные, мокрые глаза крепко закрылись, ехидная улыбка погасла, клыки спрятались под усами, а прова-

лившийся рот как будто даже улыбался другой улыбкой, добродушной и виноватой, точно говоря:

«Ну — вот, нате, умер я...»

Никто из провожатых не говорил о покойнике — шептались и ворчали о делах города.

Но порою из тумана выплывала целая толпа мастеровых и слобожан, шумно окружала гроб, спрашивала:

— Кого хоронят?

— Хряпова, ребята!

— Закладчика?

— Его.

— Ага-а, подох-таки...

Некоторые ругались скверно, иные, налезая на провожатых, весело просили:

— На помин грешной души не найдется ли на бутылочку, а?

Исчезали, снова являлись и снова просили; забегал вперед поп Александр, останавливался, высоко поднимая крест, и что-то говорил, а однажды пронзительно крикнул:

— Шапку, шапку снять...

И густой голос ответил сердито:

— Перед крестом — сниму, на, а не перед ним!

— Нехорошо ведет себя народ,— сказал Кожемякин Тиунову.

Кривой встряхнулся и, как всегда, похожий на головню, теперь — мокрую, ответил:

— Молодые собачки, на цепи их долго и занапрасно держали, а теперь вот, будучи спущены,— мечутся они, испытывая, где предел воли ихней. Не понимают...

Помолчав, добавил:

— И требовать понимания нельзя с них: слепой, вокруг себя щупая, обязательно что-нибудь зря разобьет, изломает...

Кожемякину показалось, что кривой верно говорит: люди были нарочито крикливы, слишком веселы, вызывающе совки. Они всё обнюхивали, пробовали, до всего дотрагивались смело, но эта смелость была лишена уверенности, и в глубине дерзко усмехавшихся глаз, в их озорных криках чувствовался испытующий вопрос:

«Можно — али нет?»

Многие притворялись пьяными больше, чем были, обнимались, качались и, стоя среди дороги, запевали песню встречу гробу; свои же товарищи смотрели на них с любопытством, никто не останавливал, и, сконфуженные, они, обрывая песню на полуслове, исчезали.

Двое, забежав далеко вперед, раскачали фонарный столб, выдернули его из земли и понесли впереди похоронного хода по тротуару, гроб и провожатые настигли их, но никто не сказал им ни слова, и Кожемякин видел, как они, не глядя друг на друга, положили столб на землю и молча нырнули в туман.

Тиунов сверкал глазом и шипел:

— Эх, отольются же кошке мышиные слезы — обязательно!

Принесли Хряпова на кладбище и зарыли его; поп Александр торопливо снял ризу, оделся в черное, поглядел на всех исподлобья огромными глазами, нахлобучил до ушей измятую шляпу, быстро пошел между могил, и походка его напомнила Матвею Савельеву торопливый полет испуганной птицы.

А Кожемякин прошел к своим могилам и там сел на скамью под зеленый шатер сосны, пышно раскинувшей тяжелые лапы, чисто вымытые дождями.

Тонкие ветви берез печально изогнулись над двумя холмами, вокруг могил полегла некошеная рыжая трава, капли сырости светились на ней жемчугом.

Люба, согнувшись, сидела рядом с Кожемякиным — он дотронулся одной рукою до ее плеча, а другой до атласного ствола березы и проговорил, вздохнув:

— Тут и всё, что я сделал хорошего, вот — пяток деревьев посадил!

— Это неверно,— тихо сказала девушка.

— Верно! Лежит здесь, Люба, простой солдат — большой он был человек, как я теперь вижу...

Она подняла голову, лицо ее было грустно и на глазах — слезы; взяв его руку, она сказала громко:

— Вы должны теперь беречь себя, вам нужно дописать обо всем, что было — чего больше не будет!

Волнуясь, дергая его руку и вздрагивая, она горячо шептала:

— Вот — умер человек, все знали, что он — злой, жадный, а никто не знал, как он мучился, никто. «Меня добру-то забыли поучить, да и не нужно было это, меня в жулики готовили»,— вот как он говорил, и это — не шутка его, нет! Я знаю! Про него будут говорить злое, только злое, и зло от этого увеличится — понимаете? Всем приятно помнить злое, а он ведь был не весь такой, не весь! Надо рассказывать о человеке всё — всю правду до конца, и лучше как можно больше говорить о хорошем — как можно больше! Понимаете?

Она заглянула в глаза ему особенным взглядом, и внушая и прося понять ее.

Кожемякин встал, сказав:

— Я понимаю!

Снял шапку, кланяясь могилам, потом хозяйственно и спокойно попросил ее, топая ногою в землю:

— Меня — поперек положи, вот так — в ногах у них, пожалуйста, уж не забудь! Деревьев посади, парочку! Ну, идем, милая!

Еще раз поклонился двум мохнатым холмам в спутанной рыжей траве и ушел бок о бок с Любой, молчаливой и грустной.

С той поры, дорожа каждым часом, и начал он усердно заполнять тетради свои описанием окуровской жизни и своих суждений о ней.

Днем ему не позволяли долго сидеть за столом, да и много народу было в доме, много шума; он писал ночами, в строгой тишине, внимательно слушавшей его шёпот, когда он искал нужное слово. Скрип пера стал для него музыкой, она успокаивала изношенное,неверно работавшее сердце, и порою ему было до слез приятно видеть на бумаге только что написанные, еще влажные, круглые слова:

«Человек послан богом на землю эту для деяний добрых, для украшения земли радостями,— а мы для чего жили, где деяния наши, достойные похвалы людской и благодарной улыбки божией?»

По лицам людей, кипевших в его доме, по их разговорам и тревожным глазам Любы он знал, что жизнь возмущается всё глубже, волнение людей растет всё

шире, и тем сильней разгоралось в нем желание писать свои слова — они гудели в ушах его колокольным звоном, как бы доносясь издали и предвещая праздник, благовестя о новой жизни.

«Изолгали мы и бога самого, дабы тем прикрыть лень свою, трусливое нежелание отдать сердца наши миру на радость; нарочито сделали бога черным и угрюмым и отняли у него любовь к земле нашей: для того исказили бога, чтобы жаловаться на него, и вот стал он воистину темен, непонятен, и стала оттого вся жизнь запутана, страшна и тайнами прикрыта».

«Возникли ныне к жизни новые работники, сердца, исполненные любви к земле, засоренной нами; плуги живые — вспашут они ниву божию глубоко, обнажат сердце ее, и вспыхнет, расцветет оно новым солнцем для всех, и будет благо всем и тепло, счастливо польется жизнь, быстро».

«Дети — насельники земли до конца веков, дети Владыки Сущего, бессмертны они и наследники всех деяний наших — да идут же по зову чистых сердец своих в бесконечные дали времен, сея на земле смех свой, радость и любовь! Что есть в мире значительней детей, судей наших, кои являются, дабы объяснить нас и оправдать в чем можно, принять содеянное нами с благодарностью или отвергнуть дела наши со стыдом за нас? Юность — сердце мира, верь тому, что говорит она в чистосердечии своем и стремлении к доброму,— тогда вечно светел будет день наш и вся земля облечется в радость и свет, и благословим ее — собор вселенского добра».

Всю зиму, не слушая ее печальных вьюг, он заглядывал в будущее через могилу у своих ног, писал свои покаяния и гимны, как бы прося прощения у людей, мимо которых прошел,— прощения себе и всем, кто бесцветной жизнью обездолил землю; а в конце весны земля позвала его.

Это случилось на рассвете одного из первых майских дней: он поднялся с постели, подошел к окну, раскрыл его и, осторожно вдыхая пьяный запах сирени и акации, стал смотреть в розоватое небо.

В монастыре только что кончили звонить к заутрене, воздух еще колебался, поглощая тихий трепет меди, а пенье одинокого комара как будто продолжало этот струнный звук.

На юной зелени деревьев и сочной молодой траве сверкала обильная роса, тысячекратно отражая первый луч солнца — весь сад был опылен изумрудной и рубиновой пылью.

Ветер вздыхал, перекликались зорянки, трепетали вершины деревьев, стряхивая росу,— в чуткой тишине утра каждый звук жил отдельной жизнью и все сливались в благодарный солнцу шёпот.

Умиленный трогательной красотою рождения нового дня, старик перекрестился, молясь словами молитвы после причастия:

— Благодарю тя, господи боже мой, яко не отринул мя еси грешного, но общника мя быти святынь твоих сподобил...

Шакир, спавший на диване, приподнял голову, тихо спросив:

— Чего хочешь?

— Ничего не надо мне, друг, лежи, спи! — ласково ответил он, но Шакир поднялся, сел и, упираясь руками в диван, укоризненно закачал головой.

— Тебе — нада спать! Вот я скажу ей, тогда...

Утренний холодок вливался в окно, кружилась голова, и сердце тихо замирало.

— Ты гляди, какое радостное утро,— сказал Матвей Савельев, опускаясь в кресло.

За окном дыбились зеленые волны, он смотрел на их игру, поглаживая грудь и горло.

Зеленые волны линяли, быстро выцветая, небо уплывало вверх, а тело, становясь тяжелым, оседало, опускалось, руки безболезненно отстали от плеч и упали, точно вывихнутые.

Он прошептал:

— Шакир — друг...

И сердце его остановилось навсегда.

# НАБРОСКИ

# <БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ>

Казначей Матушкин не любил свою дочь, и были у него на то законные причины: двадцать лет назад, служа в губернии чиновником контрольной палаты, будучи хорошо замечен начальством и уверенно мечтая о большой карьере, он женился на дочери разорившегося помещика Кандаурова, а через три месяца после свадьбы ему довелось пережить такую сцену.

Однажды зимою, возвратясь со службы, он подошел к двери в маленькую комнату молодой жены и замер на пороге, онемев от испуга, обиды, от горя: весь свет лампы, накрытой абажуром, падал со стола на тонкую и гибкую фигурку Варвары Дмитриевны, она стояла на коленях и, молитвенно сложив руки, говорила незнакомым голосом:

— Вы не должны терять веру, вы не должны гасить сомнениями эту великую любовь,— боже мой, как хотела бы я идти с вами и каждую минуту, всегда, до могилы помогать вам...

На диване сидел товарищ тестя, политический ссыльный Муханов, богатырь ростом, ласковый и мягкий человек, уже седой, несмотря на свои сорок лет. Он старался приподнять женщину с пола и взволнованно убеждал ее:

— Встаньте, Варя, ну вас к богу! Спасибо вам, пристыдили вы меня.

И, приподняв маленькое, еще девичье тело, он крепко обнял его большими руками, а потом, целуя женщину в лоб, дважды звучно сказал:

— Милая вы моя, милая моя...

Сначала Матушкин смутно и мимолетно почувствовал в этой сцене что-то человечески светлое и доброе,

что-то ласково тронувшее его за сердце, но вдруг увидал в зеркале свое отражение: подавленное, сутулое тело, жалкое, опрокинутое лицо, с полуоткрытым ртом и растерянно мигавшими глазами,— в груди у него как бы вдруг лопнуло что-то, сердце облилось жгучим потоком обиды и негодования:

— Это что? — спросил он, задыхаясь.— Как вы смеете, вы...

В ответ ему Муханов, обняв его жену за плечи, начал говорить что-то о чистоте души русской женщины, о своей усталости, о том, что Варя — он так и назвал, Варя — разрушила его сомнения, оживила лучшие надежды,— говорил он строго и громко, точно декламируя стихи Некрасова, лицо у него пылало и глаза были увлажены.

— Ступайте вон! — глухо сказал Матушкин.— Вон, без слов!

Жена, бросившись к нему, испуганно крикнула:

— Сергей, что ты?

А Муханов, разводя руками, удивленно пробасил:

— Послушайте, батенька...

«Кажется, я не то, не так»,— мельком и пугливо подумал Матушкин, но оттолкнул жену и осевшим голосом снова сказал:

— Вон, говорю я!

Варвара Дмитриевна, рыдая, упала на стул, а Муханов страшно выкатил глаза, схватил Матушкина за руку, дергал его из стороны в сторону и оглушительно орал:

— Вы — дурак! Просите у нее прощенья! Разве я похож на селадона, чёрт вас возьми!

Матушкин крепко ударился затылком о косяк двери, сел на пол и, молча глядя, как бьется в рыданиях тело жены, махал рукою, указывая Муханову на дверь.

— Я не могу, не могу,— кричала жена, закрыв лицо руками, а ему казалось, что она смеется.

— Уведите меня к папе...

— Конечно, вы должны уйти от этого господина,— решил Муханов.

И они ушли.

Четыре дня Матушкин сидел дома, сказавшись боль-

ным и не зная, что ему делать. Он не сомневался в измене жены, но не мог объяснить себе — почему?

«Я ей нравился»,— думал он, вспоминая ее ласки.

Часами стоял перед зеркалом, внимательно и сумрачно разглядывая свое приличное лицо: оно было строго обтянуто чиновничьей кожей, обесцвеченной воздухом канцелярии, на нем даже и теперь неподвижно застыло солидное выражение уверенности человека в своих достоинствах. И вся фигура была солидная: крепкая, на широких костях.

Нестерпимо больно было ему вспоминать себя таким, как он отразился в зеркале: испуганным, удивленным и жалким, и в то же время он всем телом чувствовал, что страстно, неисчерпаемо любит жену, что в этой любви сгорают все его планы, расчеты и надежды, в ней — всё его самолюбие и оно настойчиво требует победы над женщиной.

«Почему? — думал Матушкин, крепко потирая лоб, и с холодным отчаянием в груди считал: — Мне — тридцать один год, ей восемнадцать, а ему — с лишком сорок. Седой... Однако — о чем же, кроме любви, можно говорить так, как они говорили?»

Ему хотелось увидеть жену, поговорить с нею, но та сила, которую он считал чувством собственного достоинства, властно удерживала его:

«Не надо поддаваться. Это слабость...»

Закрыв глаза, он вспоминал жену — маленькую, стройную, ее волосы причесаны гладко, заплетены в косу и образуют на затылке пышный золотистый узел. У нее красноречивые и бойкие ручки, тонкое овальное лицо, может быть — слишком серьезное для ее возраста, но светло-голубые глаза улыбаются мягко и наивно. В этой улыбке всегда есть что-то возбуждающее тревогу,— она является часто, но, быстро ускользая, не дает понять ее, остается неопределенной. И Матушкин думает:

«Смеется потому, должно быть, что сознает свое превосходство над мужем, плебеем».

На пятый день пришел отец Матушкина, изукрашенный медалями седой унтер, и, слишком часто нюхая табак, сообщил, что гимназисты седьмого и восьмого

класса с наслаждением рассказывают в подробностях о том, как недавняя их подруга, Варя Кандаурова, изменила мужу.

— А уж если о чем гимназисты говорят — это весь свет знает... Ты, Сергей, не очень все-таки гневайся. Женщина всегда старается мужа надуть, это как служащий хозяина всё равно...

Проводив отца, Матушкин написал прошение о переводе в другой город, сам снес его на почту, отправился в дом тестя и был до глубины души потрясен встречей с женою: она бросилась ему на шею и, до боли крепко обнимая его, стала упрекать, смеясь, плача, жалуясь:

— Как ты оскорбил меня!

И спрашивала, смущенно заглядывая в глаза мужа:

— Ты очень сильно любишь меня?

Он растерялся, ему хотелось встать пред нею на колени, сжимая ее хрупкое тело, он говорил с удивлением и стыдом:

— Я сам не знал, что так сильно. Очень мучился без тебя... я самолюбив... испугался...

После этого с месяц времени они жили уединенно, почти не выходя из дома, оба охваченные взрывом молодой страсти, жили торопливо, как бы предчувствуя, что огонь скоро погаснет, и стараясь найти за ним нечто более прочное и устойчивое.

Но часто жена, утомленная ласками, молча, мечтая, с улыбкой, едва заметной на бледном лице, смотрела куда-то сквозь стены вдаль подозрительно неподвижным и пристальным взглядом темно-голубых добрых глаз.

Матушкин чувствовал, что в сердце ему тонкою иглой вонзается страх и будит ревность.

— О чем думаешь? — внезапно и громко спрашивал он.

— Ах, Сережа,— какие люди есть у нас в России, какие удивительные люди!

Она не умела толково рассказать мужу свои думы и говорила что-то бессвязное, наивное, подобное детской ‹сказке›, а Сергей Матушкин сказкам не верил, не знал их и не любил: с лишком два десятка лет изо дня в день

он наблюдал однообразное вращение тяжкого колеса суровых буден, привык спокойно слышать скучные стоны и жалобы людей, знал, сколько терпения и упорства требует жизнь от человека, как любит она унизить его и как спокойно уничтожает того, кто, не выдержав ее толчков, упал.

Слыша в речах жены веру, чуждую ему, он беспокоился и, осторожно стараясь погасить эту веру, ласково говорил:

— Всё это — так себе, Варя, это больше для самоутешения выдумано: очень трудно жить, и люди выдумывают будущее. Мне кажется, это даже вредно — думать о будущем, особенно для нас, людей простых, чернорабочих государства, право. Идет ли для нас будущее дальше завтрашнего дня? Надо жить спокойнее, умнее, надо сначала устроить хорошее, удобное сегодня, а потом уж исподволь готовить еще лучшее завтра...

Она, глядя в лицо ему любящими глазами, вдумчиво слушала мягкую речь, но порою ее тонкие брови недоуменно вздрагивали.

— Твой отец и Муханов — дворяне,— говорил муж более строго и уверенно,— им неловко жить без мечты о лучшем, потому что в недавнем прошлом их деды и отцы жили слишком хорошо. А мы — я, например, человек вчерашнего дня, и вчера я жил хуже, чем сегодня; нашему брату необходимо много работать, для того чтоб врасти в землю, быть признанными жизнью, нам мечтать некогда и вредно...

Возникали споры, и Сергей Матушкин со страхом и обидой чувствовал, что его простые, неотразимые мысли, внушенные самой жизнью,— раздражают жену, непонятны ей и что мечта для нее и светлее и дороже его правды.

Во время споров она всегда забивалась куда-нибудь в уголок, трепетала там, точно маленькая белая птица, звонко, упрямо и спешно вскрикивая:

— Нет, это не мечта, это необходимо! Это правда будущего, без нее жизнь не имеет смысла,— как ты не понимаешь?

Иногда она, взволнованная до слез, обнимала мужа и с тоской говорила ему:

— Сережа, Сережа,— у тебя сердце в железной клетке! И мысли твои — такие прямые, как железные прутья, и все они — неверные,— их надо уничтожить!

Матушкин крепко потирал широкий лоб и морщился: слова жены казались ему книжными, наивными, он стыдился бы говорить таким языком.

И всё чаще он думал о том, что неудачно женился, что Варя не поймет тех ударов жизни, которыми выкованы его прямые, твердые, короткие мысли, что она любит его телом и чужда ему душой. Муханов и подобные ему люди всегда будут ближе ей и будут помехой его задаче создать жизнь устойчивую и способную отразить все удары судьбы, оборонить его от всех случайностей.

«Сначала она перестанет уважать меня, потом разлюбит»,— соображал он, а сам любил жену всё больше, и ревность его росла, вызывая порою озлобление и всегда — унизительные мысли.

«О ком она думает, обнимая меня?» — спрашивал он.

Когда она радостно и гордо сказала ему о своей беременности, он смутился и стал скучно говорить, что теперь она не должна волноваться, не должна думать ни о чем, кроме ребенка. Говорил разумно, долго,— пока она не заплакала от холода его речи, а ему эти слезы показались подозрительными, он почувствовал в них что-то сиротское, обидное.

«Перестает любить...»

Вскоре он получил перевод в окуровское казначейство.

— Почему? — удивленно спросила жена.

— Я сам просил.

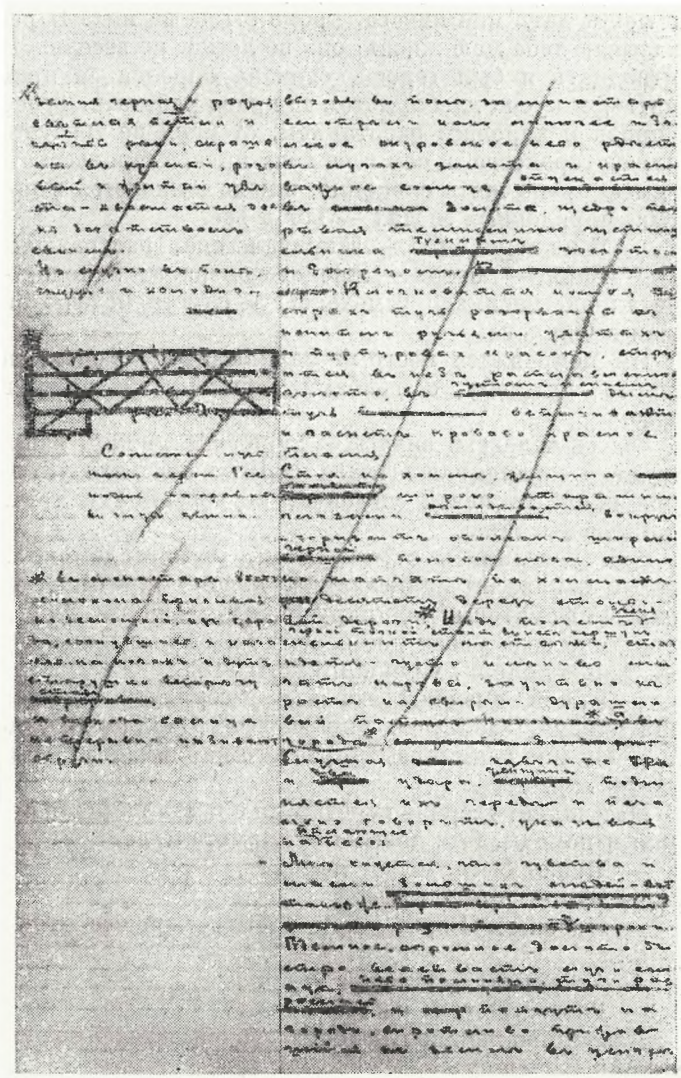
— По — почему?

— Видишь ли, после этой истории неловко оставаться здесь.

— Неловко? — тихо переспросила она.— Но ведь ты признаешь то, чего не было? Ведь ты этим унижаешь себя? Как ты мог уступить грязным сплетням? Сергей,— что ты делаешь?

Он остановил ее возбужденную речь.

— Стой, Варя, давай объяснимся раз навсегда. Я — сын сторожа, бесхарактернейшего человека, моя мать — была кухаркой инспектора гимназии, она стра-



**«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».**
**Страница автографа.**

дала истерией и пила водку. Я рано понял, что они оба не могут дать мне ничего, кроме стыда за них. Я рассказываю тебе мою жизнь, она не легка, не весела. Лет пятнадцать я был героем, сначала боролся за право учиться и кусок хлеба, потом за право работать. Теперь я признан хорошим работником, от меня не требуется больше геройства, и сам я не хочу ничего героического, я имею право жить спокойно, жизнь нуждается в простых, порядочных людях — вот и всё.

— Я не верю тебе! — вскричала она, раздражаясь.

— Варя,— поверь — жизнь не опера, а я не тенор,— сказал он, насильно усмехаясь, и спустя неделю они были в Окурове.

Им понравился пестрый малолюдный городок, подобный лукошку с грибами, забытому в поле на меже.

«Здесь человека видно»,— думал Матушкин, вопросительно заглядывая в глаза жены, а она тихо улыбалась какой-то новой улыбкой, неуверенной и тотчас убегавшей с лица.

Они поселились в маленьком, уютном домике за густым занавесом палисадника, к дому примыкал небольшой фруктовый сад, окруженный высоким забором, посредине сада росли две огромные, старые липы, осеняя тенью яблони, вишню и кусты ягод.

— Какой смешной город,— рассуждала Варвара Дмитриевна, заботливо украшая четыре комнаты дома.— Он мне напоминает горбатого карлика-шута с какой-то картины...

Матушкин, усердно передвигая с места на место сундуки и комоды, был доволен и бормотал:

— Может быть, может быть...

— Что — может быть?

— Не знаю, Варя... может быть хорошее что-нибудь...

— Ага, и ты мечтаешь!

— Разве? Нет, я рассуждаю...

Назойливо наивное любопытство обывателей сначала трогало женщину:

— Какие они простые и милые! — восклицала она.— Знаешь, когда мы устроимся, я познакомлюсь

с молодежью здешней, соберу кружок, буду читать русскую литературу...

Но через малое время она заметила:

— А они — недоверчивы, знаешь? Очень. И какие-то подозрительные — точно это не люди, а самозванцы и всегда боятся, как бы не узнали, кто они на самом деле...

Подобные речи жены заставляли Матушкина опасливо ежиться,— он не понимал, как может она, полуребенок, говорить эти фразы, в которых чувствовалась пугающая прозорливость.

Прошло несколько недель — наступили багровые осенние вечера,— Матушкины, [выходя в поле, за монастырь, смотрели, как липучее и белесое окуровское небо рдеет в лучах заката и красное важное солнце опускается в болото, щедро покрывая темно-синюю щетину ельника тусклым золотом и багрецом. Клочковатые комья серых туч разорваны огненными ручьями желтых и пурпуровых красок, струится в небе расплавленное золото, в густом и синем дыме туч вспыхивает и гаснет кроваво-красное пламя. Солнечный луч, точно перст господень, направлен в глубь земли.

Стоя на холме, женщина широко открытыми глазами оглядывается вокруг — горизонт опоясан широкой черной полосой леса, одиноко маячит на холмах десяток берез столбовой дороги, земля — черная и рыжая, светлые изгибы и петли реки окрашены в красный, розовый и желтый цвета,— хвастается осень богатством своим.

Но скучно в поле, скучно и холодно. Над полем, звеня, мелькают ласточки, черной точкой стоит в небе коршун, стадо идет — густо и лениво мычат коровы, заунывно играет на свирели дурашливый пастух Никодим, в монастыре бьют колокола, призывая ко всенощной, из города, согнувшись и качаясь на ногах, идут старушки встречу стаду, а в городе с восхода солнца непрерывно набивают обручи.]

Слушая извечные три и два удара, женщина подчиняется их череде и печально говорит, указывая на пылающее небо:

— Мне кажется, что чувства и мысли больших людей — вот такие же...

Темное огромное болото быстро всасывает лучи солнца, небо полиняло, тучи разрослись и ползут на город, сиротливо прижавшийся к земле в центре пустынного круга. Сухой осенний ветер озабоченно летает по полю, разнося семена трав, шуршит сухим бурьяном у монастырской ограды, вздыхает, что-то шепчет.

Матушкины тихо идут домой.

— Вот обживемся мы здесь,— говорит муж, поддерживая под руку беременную жену,— познакомимся с людями, которые получше. И постепенно...

[Жена молчит, глядя в небо, опрокинутое над ней, и на город, который точно недоверчиво сжимается, становясь тем меньше, чем ближе подходишь к нему.

В долгие осенние ночи он точно исчезал с лица земли. Изредка в затаенной тишине вздрагивал и ныл монастырский колокол, отбивая часы, сторож у Николы тоже торопливо дергал веревку, и она всегда дважды и громко заставляла взвизгнуть лист железа на крыше колокольни. Разбуженные унылыми стонами меди, дремотно тявкали собаки, и снова город словно опускался на дно омута.

Иногда, поздней ночью, под окнами раздавался крик и шум: это идет домой пьяница слесарь Коптев,— идет, шаркая плечом о заборы, и кричит:

— Н-ну, вино-оват! Ну, на же, виноват я. Поля! Палагея,— ох, как я виновен! Бей, па, потрудись, виноват я!]

Варваре Матушкиной казалось, что в безнадежной тишине ночей робко существует волнение каких-то темных и светлых сил, что-то тоскливо доживает последние дни и часы и медленно нарождается нечто новое.

Но скоро она присмотрелась к медленному течению дней и ночей в сиротском городе, вслушалась в однообразие звуков его жизни, и в молодое, неокрепшее сердце незаметно просочилась тихая, задумчивая скорбь.

Жили одиноко. Матушкин, прежде чем ввести жену в окуровское общество, хотел выдержать ее, подготовить к новой, чуждой ей среде, беременность ее была удобным предлогом для того, чтоб не ходить в гости и не приглашать их к себе.

— Ты бы выписал книг, Сергей,— предложила она ему.

— Книг? — задумчиво переспросил он.— Каких же книг?

И стал озабоченно потирать свой желтый лоб со взлизами лысины на висках.

— По русской литературе...

— Всякая книга — литература, это мне ничего не объясняет, ты знаешь — я не очень сведущ в литературе. Сделаем так: я напишу Дьяконову, он большой книжник, пусть составит списочек лучшего... а ты выберешь...

— Я сама составлю. Дьяконов — это который всегда ухмыляется, рябой?

— Да.

— Почему он такой — скептик, не верующий ни во что?

— Н-не знаю. Он очень много перенес, он тоже из бедной семьи...

— Скучные вы, из бедных семей,— негромко сказала Варвара Дмитриевна.— Мне кажется, что переоценили вы ваши усилия добиться сытого куска, а когда добились его — переоценили кусок. Самолюбивые вы.

Он взглянул на нее удивленно и обиженно:

«Как может она, почти ребенок, говорить столь смело?» — подумалось ему.

Вздохнув, он заметил:

— Когда родится ребенок, тебе, вероятно, будет веселее...

Он долго переписывался с Дьяконовым, и наконец из губернии пришли книги Крестовского, Незлобина, Маркевича, Головина — все в одинаковых черных переплетах с красными корешками.

— Зачем ты выписал этих? — недоумевая и негодуя, спросила Варвара Дмитриевна.

— Видишь ли, Варя,— ласково объяснил ей муж,— ты уже читала много книг другого толка, послушай же, что говорится против. Это необходимо для справедливости суждения. Справедливость — это среднее между двумя крайностями. И потом, для меня, по моему поло-

жению, обязательно иметь этих писателей,— так и Дьяконов говорит,— они оправдывают чтение либеральных авторов. Я выписал также и «Русский вестник». Ты знаешь, какое теперь время...

— А где мой список? — спросила она.

— У меня. Потом выпишем и по твоему списку.

Она опустила голову и с того дня стала еще более молчалива.

Наступили славные дни потрясающих душу тревог и радостей — родился ребенок и с первого <дня> жизни своей наполнил дом маленькими страшно важными заботами.

Матушкин видел, что жена отходит от него в сторону, в тихий уголок, где, не умолкая, звучат ее нежные и ласковые песни, он чувствовал себя покинутым, молчал и, завистливо глядя в синие глазки ребенка, растравлял свою ревность:

«Моя это дочь?»

В доме было скучно, в городе еще скучней, Матушкин пытался читать «Русский вестник»,— серовато-зеленые книжки не утешали его, мелкий, скучный шрифт быстро утомлял глаза, казалось, что напечатанные в книге слова и мысли обладают такими же хвостиками, как буквы, и что самое важное — неопровержимейшие доказательства заблуждений жены — скрыто в этих хвостиках, но докопаться до них было лень.

Исподлобья глядя, как жена, снова тонкая и стройная, возится с ребенком, ласково и гордо посмеиваясь, он соображал:

«Это она нарочно показывает мне, как много в ней нежности. Но я не буду просить милостыню...»

От скуки, которая становилась всё более густой, от горечи одиночества, подчеркнутого разбитым и болезненно чутким самолюбием, он незаметно сделал ревность к жене своим развлечением.

— Мечтаете? — спрашивал он, поглядывая на жену сухо и остро.

— Да,— отвечала она вызывающе.

— О чем, можно узнать?

— Так, вообще...

— А преимущественно о героях. Вперед, без страха

и сомненья! — ехидно восклицал Матушкин и, чувствуя, что говорит глупо, злился.— Да-а,— продолжал он, уже почти не отдавая себе отчета, что он говорит.— Аркадий Краснобаев, так, например, зовут героя...

Он плохо знал людей, любезных жене. Говоря о них, всегда видел пред собой ласковые глаза Муханова, ему казалось, что между блеском этих глаз и убегающей в глубину взгляда улыбкой жены есть нечто близкое, родственное.

Однажды во время такой беседы Варвара Дмитриевна подошла к нему и, коснувшись рукой его лба, спросила, строго взглянув в глаза его:

— Что тебе нужно, Сергей?

Неожиданно для себя он сполз со стула, крепко охватил ее колени и почти закричал:

— Я тебя люблю. Мне трудно, Варвара! Разве я не стою твоей любви? А ты всё более... ты становишься чужой мне! Что ты делаешь? Так нельзя жить!

Ему было стыдно до боли, он чувствовал себя еще раз опрокинутым и униженным своей судьбою.

— Разойдемся,— спокойно гладя голову мужа, предложила она.

Он вскочил, оттолкнув ее:

— Значит — верно? Не любишь? Уже? Только? И не стыдишься?

Она раза два молча прошлась по комнате, прежде чем ответить, потом заговорила, задумчиво и печально:

— Иногда мне кажется, что я тебя люблю особенно глубоко,— может быть, именно так любит мать неудачного сына. Мне думается, что в любви женщины всегда есть чувство матери.

«Вот,— соображал Матушкин,— я страдаю, а она— рассуждает!»

Голос жены казался ему сухим, слова холодными и глупыми, во всей ее тонкой фигуре было что-то острое, будившее злую ревность.

— Извини меня,— говорила она, садясь рядом с ним и смущенно краснея,— я не могу скрыть, что иногда, и всё чаще, кажусь сама себе более зрелой, чем ты. Я знаю — это смешно, мне двадцать лет, ты старше,— но что же делать, Сергей?

— А, я понимаю! — пробормотал он, отодвигаясь.— Ты намекаешь на свое дворянство!

— Не знаю, может быть,— сказала она, подумав.— Есть что-то, вызывающее у меня снисхождение к тебе,— я не умею объяснить, что это, я неверно сказала — снисхождение, нет, конечно,— уверяю тебя,— в моем отношении к тебе нет ничего обидного, просто я чувствую себя увереннее и тверже, чем ты. Ты кажешься мне таким беззащитным, у тебя — слишком много опасений, ты иногда такой — как будто только что приехал откуда-то, всё тебе чужое, всё, и ничто не интересно. А потом твое самолюбие — оно, точно иглы у ежа, выступает прямо из кожи, до тебя невозможно дотронуться,— ты колешься, ты оскорбляешь меня. Вот и теперь я чувствую, что ни одно слово мое не трогает тебя, ты думаешь: «Девчонка, она меня учит,— меня, который своим лбом...» и так далее. Этот твой лоб...

— Довольно! — сказал он, вскакивая и зло блестя глазами.— Говори прямо — что ты хочешь?

Тогда она, опустив голову, спокойно ответила:

— Мне кажется, что нам на время нужно разойтись... Иного выхода я не вижу... Посмотрим друг на друга издали.

Он убежал из дома, задыхаясь от тоски, пораженный, всю ночь шагал в поле по рыхлому снегу и черным весенним проталинам и думал о своей любви: она казалась ему силою враждебной, она разрушала давно обдуманный план жизни, обещая впереди длинный ряд тяжких дней одиночества.

Всего обиднее было то, что он не мог не чувствовать в словах жены о нем какой-то правды и не мог простить ей эту правду. В темной глубине его сердца всё ярче разгорался злой огонь ревности, раздуваемый самолюбием человека, претерпевшего много унижений и обид.

Ночь была лунная, по полю бесшумно ползали тени облаков, холмы то поднимались, освещенные голубым сиянием, то опускались, покрываемые тенями, и казалось, что вся земля просыпается, дышит, движется.

«Как глупо всё, все слова эти, все понятия! — думал Матушкин, останавливаясь и оглядываясь вокруг.— Какая она сухая, надутая...»

Сцена с Мухановым вспоминалась всё ярче, откуда-то являлись новые подробности,— маленькие черточки, убеждавшие в измене.

И снова шагал, согнувшись, засунув руки в карманы пальто, спотыкаясь, теряя в снегу галоши. А втайне он любовался этой ночной прогулкой, и страдания ревности увеличивали его уважение к себе самому. Должно быть, что-то человеческое перегорело в нем этой ночью.

Наутро он стоял перед женой и говорил ей командующим голосом хозяина:

— Если вы решили уйти от меня — пожалуйста! Но, чтобы сразу предупредить всякие споры и сцены, я объявляю заранее: ребенок по закону мой.

Варвара Дмитриевна побледнела, вздрогнула и, видимо, для того чтобы скрыть эту дрожь, пожала плечами.

— Без ребенка я, конечно, не уйду, вы это знаете,— сказала она, некрасиво усмехаясь.

Взбешенный ее спокойствием, он закричал:

— Да-с, я это знаю-с, и я пользуюсь этим! Что-с? Подло? Так не поступают Краснобаевы в книжках?

Она была ниже его ростом и, разговаривая с ним, часто вскидывала голову вверх,— это движение всегда казалось ему гордым и оскорбляло его.

Но на этот раз она даже не посмотрела на него, а отвернулась и быстро ушла в детскую, равнодушно бросив на ходу:

— Тише, Люба еще спит...

Матушкин схватился за голову, скрипнул зубами и замер в бессильной тоске, в отчаянии.

Скоро он превратился в типичного уездного чиновника и сделал это так легко, точно надел другой сюртук: начал играть в карты, пить водку, сплетничать, натянул на лицо сухую, ироническую улыбку, которая часто становилась глупой и злой; часто уходил в гости, приглашал их к себе и, вызывающе поглядывая на жену, философствовал пред ними:

— Мы служим делу, а не мечтам! Для великого дела устроения государства нужны маленькие люди, муравьи нужны, да, а не герои. Муравей полезен государству больше какого-нибудь Герцена!

Его слушатели мало знали о муравьях и Герценах, плохо знали и самого оратора; помавая головами, они смотрели на него и старались понять — чего он добивается, какой опасности можно ожидать от этого человека с большим лбом, беспокойными глазами и нехорошей улыбкой на лице.

— Государство,— громко говорил он,— огромнейшее здание, но построено оно из простейших кирпичей; чем спокойнее лежит кирпич на своем месте, тем долговечней и прочней храм. По фасаду его пущены для красоты разные лепные фигуры — писатели, ученые, артисты и разные иные фокусники,— но не они основа, нет, основа — это мы, простые кирпичи. Чем ниже положен кирпич, тем бóльшая тяжесть на нем, но, ⟨исполняя⟩ свою роль,— он не чувствует тяжести, он гордится ею, он — скажу, наконец, мою мысль до конца — он-то и есть истинный герой, отдающий всю свою жизнь общему благу! Выпьем за кирпич, за живой кирпич, ура-а!

Выпивали и жаловались на невнимание высшего начальства, на плохие оклады, дороговизну жизни, глупость и упрямство обывателей, потом долго и шумно играли в карты, ели поросят, гусей, индюков, пили водку, настоянную на можжевельнике, пили всевозможные наливки и расходились под утро усталые, раздраженные, с нелепыми гримасами на странных лицах.

Скоро Матушкин узнал, что в городе говорят о нем:

— Хвастунишко, хвастается, что гимназию кончил,— дескать, я — образованный и обо всем могу речи говорить! Кабы не это подлое его хвастовство,— так ничего бы парень-то!

Линяя всё быстрее, Матушкин стал реже бриться, забывал чистить ногти, начал толстеть, наливаясь угрюмым равнодушием, и бросил философию — никто ее не понимал, и она не достигала главной цели — жена не оспаривала ее.

Любезная и внимательная к гостям, она мало разговаривала с ними, никуда не ходила, оправдываясь заботами о ребенке, и умела как-то быстро погасить интерес обывателей к ней.

— Так себе, дворяночка, пустенькая барынька,— говорили о ней сослуживцы Матушкина своим женам.

Иногда, проводив гостей, Матушкин, бледный, подходил к жене и, скрывая в усах нехорошую улыбку, тихо предлагал ей:

— Давай помиримся, а?

— Идите спать,— отвечала она холодно и твердо, вскидывая маленькую гордую головку.

— Брось! Всё пустяки! Ей же богу, всё это — одни понятия, литература, бумага! — говорил он, пошатываясь на ногах от вина и волнения.— Разве живой человек дешевле книги, а?

Она спокойно отводила в сторону руки его, простертые к ней, шла в свою комнату и запиралась там, а он стоял перед дверью, тяжело соображая:

«Почему я не могу ударить ее? Удержать, взять насильно? Почему?»

Однажды он крикнул ей:

— Что ж мне — любовницу заводить?

— Это ваше дело,— сказала она.

— Гер-роиня! — зарычал Матушкин.

И наконец успокоился, познакомившись с молодой и толстой купчихой Соедовой, женою разбитого параличом богатого скупщика хлеба, сена и пеньки. У купчихи было фарфоровое — белое и розовое — лицо, круглые небесного цвета глаза, маленький, кукольный рот, и она с первых же дней знакомства подарила ему вышитый бисером кошелек со старинным червонцем на счастье. Матушкин похвастался подарком пред женой, но не вызвал с ее стороны ничего, кроме улыбки, оскорбившей его в последний раз.

— Здравствуй, папа! — говорила ему каждое утро толстенькая четырехлетняя девочка и смотрела в лицо его серьезным взглядом светлых глаз. Когда он, молча погладив ее кудри, прикасался сухими губами к теплой и атласной коже ее лба — девочка заглядывала в глаза ему с улыбкой, он чувствовал в этой улыбке какой-то вопрос, но не хотел понять его и думал, внутренне отталкиваясь от дочери:

«Вот как смотрит... уже обнаруживается чужое, чужая душа. А мать, наверное, внушает ей... да...»

— Покойной ночи, папа! — говорила девочка вечером.

Снова отец молча целовал ее и снова хмурился, встречая серьезный и пытливый взгляд.

«Барская кровь»,— соображал он, вспоминая ласковые глаза Муханова.

Когда он сошелся с купчихой Соедовой — жена сказала ему:

— Я прошу вас — не целуйте Любу.

— Это почему же?

— Я прошу вас,— повторила она, вскинув голову и строго глядя в лицо его.

Подумав, он иронически сказал:

— Тогда не подсылайте ее с целью разжалобить меня...

Пожав плечами, жена грустно проговорила:

— Какие пошлости выдумываете вы, Сергей Николаевич!

— Благодаря вам! — заорал он, вскочив на ноги и размахивая руками.— Вы мне душу съели, да, вы сглодали душу мою!

Тогда Варвара Дмитриевна подошла вплоть к нему и, блестя глазами, остановила его бешенство:

— Молчать! — негромко сказала она.— Вы лжете. Слышите? И никогда не смейте орать на меня!

Он не понимал, как эта маленькая, хрупкая женщина может приказывать ему, обижать его, и, не понимая ее силы, стал бояться жены.

...Летом Варвара Дмитриевна часто уходила с дочерью на целые дни в Черемухинский бор, и почти всегда ее сопровождала нянька купца Хряпова с его внуком, пятилетним Ванюшкой. Был он такой же солидный, как Люба,— крепенький мужичок, большелобый, остриженный в скобку. А иногда за ними шагал, толкая перед собой колясочку с безногой и немой Лидочкой, дочерью воинского начальника Будоговского, денщик его, черноусый Нифонт Капендюхин, человек невеселый.

Приходили к лесу, и где-нибудь на опушке его дети играли в траве, разглядывая близкую им жизнь букашек, а солдат, вздыхая, рассказывал о своей родине и вполголоса задумчиво напевал родные песни.

Тихо качают зелеными лапами огромные душистые сосны, осеняя детей пахучей тенью, шуршит, опадая с ветвей, прошлогодняя золотистая хвоя, звенят серые пушистые московки, стучит дятел, гудут пчелы и осы, в кустах орешника заливаются красногрудые малиновки и пеночки, в кронах сосен щелкают клесты,— служит земля свою летнюю обедню, кадит в голубое небо благовонными запахами, и молитвенно тихо льется в воздухе поток ласкающих душу звуков.

Капендюхин неотрывно смотрит в широкое доброе лицо Марьи, тихонько, певуче выводя мягким голосом сердечные слова песни:

Не дай боже смерти
В чужині умерти!
Там нихто не посумує
О твоєї смерти...

Люба и Ванюшка лежат на земле рядом друг с другом, и девочка, протягивая руку вперед, таинственно внушает товарищу:

— Ты смотри не вниз, а прямо — так...

— Я знаю,— басом говорит Ваня.

Если лечь грудью на землю и смотреть в зеленые сети трав — глазам откроется множество чудесных вещей,— развернется пред ними забавная жизнь маленьких умных существ.

Дети знали это; набегавшись, усталые, они подолгу молча и неподвижно наблюдали острыми глазками то, что делалось в траве.

Тяжело покачиваясь на растопыренных лапках, идет круглый черный букан, задевает боками за стебли, золотые и серебристые у корней, кружится, путается, шевелит усиками.

— Это — колдун,— шепчет Люба.

Ванюшка, подумав, говорит:

— Купец. А то — поп!

— Почему?

— Толстый же...

— А колдуны не бывают толстые?

— Я не знаю. Это — купец. Он пьяный,— видишь?

Рубиновая божия коровка долго ползла вверх по стеблю травы, дошла, наконец, до метелки, раскрыла надкрылья, затрепетала, полетела и, наткнувшись на лист буковицы, свалилась на землю, лежит на спине, перебирая черными ножками в воздухе; большеголовый муравей тащит куда-то кусочек рыжей хвои, к нему подбегают другие и, пощупав тружепика усиками, озабоченные, бегут дальше.

— Видно — плотник,— соображает Ванюшка, посапывая широким носом.

— Монахиня,— говорит Люба, видя бронзовую жужелицу, а Ванюшка, взяв в руку тонкую былинку, мешает монахине идти своим путем.

— Не трогай,— просит Люба, останавливая его руку,— она домой идет, а там дети...

На листе подорожника притаился незаметно зеленый лесной клоп,— Ванюшке почему-то кажется, что это «мировой судья»...

Жизнь растет пред глазами детей, и они, погруженные в созерцание ее маленьких чудес, воспринимают их, как букашки: невысокая трава для них уже густой, мощный лес, комок земли — огромный холм, и жуки становятся близки и понятны.

В коляске неподвижно лежит Лида, полуоткрыв большие серые глаза. Марья покачивает зыбкую коляску, тихонько скрипят рессоры, и немолчно раздается задумчивый голос черноусого солдата.

Марья, не мигая, смотрит в лицо ему добрым бабьим взглядом и порою просит, смущенно улыбаясь:

— Варвара Митревна,— нуте-ка скажите ему, чтоб он еще попел чего-нибудь... Уж больно хорошие песни у них, такие жалостные, так сердце и обнимут...

Капендюхин, не ожидая, когда казначейша попросит его, приподнимает густые брови, лицо у него становится удивленным, и он вполголоса точно шелковой ниткой вышивает в мягком воздухе красивую песню:

Ой, біда, біда
Чайці небозі,
Що вивела діток
При битій дорозі...

Песня вызывает детей из сказочной зеленой страны, и, разморенные солнцем, они лениво подкатываются к ногам солдата.

Там чумаки йшли,
Чаєнят найшли,
Часчку зігнали,
Чаєнят забрали...

— жалобно и тихо сказывает Капендюхин, потирая левый глаз, а Марья, опустив голову, сморкается.

Непрерывным широким потоком над землею течет густой и тихий шум жизни. Гудят пчелы, поют птицы, шелестит трава, сладостно сочными звуками отвечает всему древний хвойный бор, и выше всех, звонче и радостней разливается в голубом жарком небе невидимый жаворонок.

Маленькая девочка Люба, покачивая кудрявой головой, на четвереньках подходит к матери и, влезая на колени к ней, тихонько спрашивает:

— Отчего они плачут?

— Им жалко чайку...

Варвара Дмитриевна сидит с книгой в руках на обнаженном корневище мачтовой сосны, могучая ветвь дерева протянулась в поле, под солнце, и душистой узорчатой тенью своих лап осеняет маленькую женщину в сером платье, с добрым и строгим лицом.

Дочь смотрит вверх, вокруг и, улыбаясь, говорит:

— Мам, ты тоже как букашка, ма-аленькая, вот такая — знаешь?

И показывает матери верхний сустав своего мизинца, выпачканного землей и смолою.

— У дида моего было до двадцати пар волів,— гудит солдат, покачивая головою,— чумаковал он, и отец мой, и оба дядья тоже; отец, когда был ще маленький, ходил за рыбою аж до моря, у самый Крым, сулу возили, чабак и тарань. Сто три года было диду, когда помер он. Да. А перед волей — разорил его помещик, чисто разорил...

Ванюшка, лежа на коленях солдата, усердно старается закрутить вверх его жесткие черные усы и мешает ему говорить.

— Тоскуете о своей земле? — вздыхая, спрашивает Марья.

— Эх, ненько, ненько! — отвечает солдат, осторожно отводя руку мальчика от усов.— Та як же не тоскувати?

— Не говори! — просит Ванюшка.

И всех поочередно измеряет, щупает из коляски странный взгляд немого ребенка. Голова Лидочки острая, вытянутое личико старообразно, и на нем беспокойно катаются круглые черные глаза. Но если на коляску сядет бабочка, муха или какая-нибудь букашка — темные зрачки сбегаются к переносью, замрут в остром взгляде, тонкая, сухая ручка осторожно вытягивается к живому существу и если успеет схватить его, то сосредоточенно и медленно обрывает ему ножки, крылья, а когда живое улетит, глаза девочки долго и тоскливо следят за ним.

— Чёртова дура! — кричит мальчик, высовывая язык и грозя кулаком.

— Ай, Ванюша,— останавливает его Марья,— разве можно ругаться!

— Дедушка же ругается...

— Лидочка больная ведь, она убогонькая...

— Живодерка! — бунтует Ваня.

А Люба обиженно просит:

— Мам, не вели ей ловить мух!.. И никого не вели...

Варвара Дмитриевна, успокаивая взволнованных детей, рассказывает им что-нибудь, они оба прижимаются к ней, полудремотно слушают, глядя в ее доброе красивое лицо, и неуловимые словами, тонкие, как золотые паутинки, мудрые думы опутывают их легкой сетью.

Капендюхин и Марья в такие минуты незаметно отходят в сторону, за деревья, идут они туда не торопясь, будто нехотя, точно повинуясь чьему-то приказанию, возвращаются, не глядя друг на друга, не то смущенные, не то поссорившиеся.

Но однажды Марья вышла из леса быстро, лицо ее было облито слезами, она отирала их со щек ладонью и, улыбаясь виноватой улыбкой, подошла к Варваре Дмитриевне, опустилась на землю около нее и, поцеловав ее в плечо, громко всхлипнула или засмеялась.

— Ну, побегайте еще немножко,— торопливо сказала казначейша детям,— а потом — домой! Живо!

— Я буду ласточка! — вскрикнула Люба, бросаясь бежать.

— А я — ворон! — объявил Ванюшка, подумав, сел на корточки и, прыгая вслед за подругой, как лягушка, начал басом каркать, а потом поднялся и, тяжело, широко разводя руками, плавно побежал в поле.

— Что, Маша? — ласково спросила казначейша, гладя женщину по голове.

— Милая,— задыхаясь и вся покраснев, начала шептать нянька,— милая вы моя барыня,— согрешили мы! Не думала, не гадала, так — сразу, говорили, говорили, всё о хорошем, да как-то вдруг и обнялись, да крепко-крепко,— ах, мать пресвятая богородица! Как же теперь? Посоветуйте вы мне, поучите вы нас,— что делать-то будем? Боюсь... уж теперь, как переступили, сама я не своя буду и уж не знаю ничего...

Шептала,— а в голосе ее и на лице горела пьяная радость, и глаза блестели великим счастьем.

— Дай вам бог добра,— тихо и ласково сказала барыня,— он, кажется, хороший человек...

— Ай, Варвара Митревна, какой славный! Так хорошо на смешном языке говорит — нянька моя! — а я его на три года моложе! «Спасибо, говорит, за ласку вашу»,— это он-то мне! И всё на вы, ей-богу! Нифонт! — радостно и громко закричала она,— идите сюда! Скорее...

А он, наклоня голову, уже стоял сзади их, отковыривая пальцем кору сосны, и на зов Марьи ответил смущенно и виновато:

— Тут, пани Варвара, дело божие; вона, Марья, така гарна людина и стала як сестра рідная мини! И говорим вместе и молчим вместе. Ту божью мне ласку, той подарок ее я ж принимаю честным сердцем,— вы не беспокойтесь, пани, и вы, ненько! Мы — поженимось,— мне ще год семь мисяцев и одиннадцать днiй служить, а потом я уже и свободен.

— Голубушка,— перебила Марья,— не могу даже сказать, как жалею его: говорит он про степи, про волов

этих — а я реву! Один, сторона чужая, говор другой даже... Думаю — господи...

Варвара Дмитриевна смотрела на них, весело улыбаясь; ей хотелось сказать им какие-то хорошие, на всю жизнь памятные слова, сказать от полного сердца, но в нем тихонько билась маленькая грусть, и было в нем немножко зависти чужому счастью.

Подбежали дети, красные, встрепанные, задыхаясь, свалились на землю, причем Ванюшка больно стукнулся коленом о корень и густо выругался.

— Лешай!

Возвращались домой по нагретому солнцем полю, притаптывая увядшую от дневной жары короткую траву дерна, срывая по дороге бессмертники, белые и розовато-бледные, золотую куриную слепоту и лиловые повилики.

Шли молча, задумчиво и не спеша; иногда солдат предлагал детям:

— А ну, садитесь мне на плечи!

Люба отказывалась, а Ванюша, широко улыбаясь, влезал на шею Капендюхина и, сидя там, покрикивал своим басом:

— Н-но! Шагай!

Из-за холмов поднимались разноцветные крыши города, осененные темной зеленью деревьев, на стеклах слуховых окон блестело солнце, в густом воздухе однотонно плыл небогатый, тихонький шумок уездной жизни.

— Подумайте про нас, милая барыня! — тихо шепчет Марья.— Научите вы нас...

Улыбаясь, барыня тоже тихо отвечает:

— Не бойтесь ничего, Маша! Надо любить так, чтобы всем, кто на вас взглянет, хорошо и радостно было и захотели бы люди сами крепко любить! Я не знаю, что сказать вам, я такая, какая-то... бедная...

А Марья жалостно говорит, глядя в лицо барыни добрыми и влажными, точно у лошади, глазами.

— Знаю я, ох знаю житье ваше сиротское, сердечная вы моя барынюшка!

Насытясь солнечным воздухом, напоенная пьяным ароматом леса, усталая от беготни и добрых впечатле-

пий дня — девочка идет рядом с матерью, чутко слушает ее тихие слова и запоминает их, а вечером, лежа в постели, спрашивает:

— Мам, ты бедная?

— Да.

— И я бедная?

— И ты.

— Это хорошо, если бедные?

— Спи, дружок...

Помолчав, Люба заявляет:

— Я сегодня не умею спать! Почему у тебя нет кольца? — дай руку! — видишь? — нет! А у папы — есть! И часы есть. Он — богатый?

— Не мешай мне спать, Любашка,— шутливо строгим голосом говорит женщина, кутаясь простыней.

В комнате жарко, ночная бабочка мягко бьется в стекла окна, трещит сверчок, и гудут комары, путаясь в кисейном пологе кровати.

— Вовсе ты не хочешь спать потому что...— говорит дочь, влезая на грудь матери, сжимает ей щеки маленькими ладошками и целует в губы.

— Мм-а, вот как поцеловала Любашка мамашку-букашку! — и подпрыгивает на груди, тискает мать и щекочет ее, когда та пытается сказать что-нибудь — целует ее. Обе смеются, и незаметно девочка засыпает с непогасшей улыбкой на лице.

Идут один за другим уездные дни — не торопясь идут, точно старушки в монастырь ко всенощной. Пестрое лето незаметно сменяется золотисто-рыжей осенью, зеленый сосновый бор стал скучно темен, в поле носится сырой ветер, омывают землю холодные дожди, и вот пришла пышная, белая зима.

В темноте зимних ночей над городом буйно мечется вьюга; шаркая по стеклам белыми крыльями, летают тучи снега, подобные огромным птицам, и разбиваются в мелкую пыль о стены дома, крыши и деревья. Всю ночь слышен мягкий шорох, гудит в трубах, и сторожевой звон церковного колокола исчезает в шуме метели, точно капля масла в кипятке.

Вопросы дочери становятся сложнее, и мать, отклоняя трудные ответы, учит шестилетнюю дочь гра-

моте, а чтобы ей не скучно было одной — с нею вместе учится Ванюшка Хряпов. Дело идет хорошо, Люба быстро постигает премудрость чтения и письма, пачкает чернилами и пальцы и нос, Ванюшка хмурится, басит еще гуще, чем летом, пишет вместо буквы р везде твердый знак, веревка у него выходит въевка, верхом —въхом.

Когда учительница объясняет, что это не так, он солидно спорит:

— А как же? Ер — в нем сразу две буквы, я и пишу ер, чтобы скорее было написано... Нету ера? А дедушка говорит — есть он? В конце слов? Мм...

Люба, торжествуя, смеется, а ее товарищ, вытаращив глаза, долго смотрит в тетрадку и наконец уверенно говорит:

— В конце тоже нельзя ер ставить, тогда всё спутается и я буду уж не Иван, а Иванер...

Мать и дочь хохочут, он смотрит на них сначала немножко обиженно, а потом сам начинает хохотать, широко раскрывая рот и взмахивая большой головою.

Он человек спокойный, добродушный, но несколько теряющийся в разных противоречиях между веселым седеньким дедушкой и ласковой казначейшей, которую он любит.

Дедушка у него человечек сухонький и прямой, он сделан наскоро, но, видимо, и прочно и ловко, а на его маленьком лице всегда такое выражение, как будто этот удобный игрушечный человек всегда думает про себя: «Ну что, взяли? То-то!»

Катались на салазках с горы, устроенной на дворе Хряпова, но подул сильный ветер, детей позвали в комнаты старика,— и они с ним сидели на теплой лежанке— Ваня с одной стороны, Люба с другой.

Он и дедушку любит; однажды на вопрос его: «Кем ты у меня, Ванек, будешь, когда вырастешь?» — Ваня, играя шелковыми волосами длинной, как у святого, дедовой бороды, ответил уверенно и спокойно:

— Жуликом тоже...

— Почто — жуликом? — смеясь и удивляясь, спросил дед.

— Ты — жулик,— кратко объяснил Ваня.

— Та-ак! — серьезно протянул дедушка, прижимая к себе сухими руками ребят.— Это кто же говорит,что я жулик? Мама твоя, Любаша, а?

— Нет,— объяснила девочка, отрицательно мотая головой.— Это мужики кричали...

— Большущие такие мужики, три мужика,— добавил Ваня.

— Где же это они кричали-то?

— У монастыря...

— Мы шли в лес.

— Последний раз когда...

— Это они про меня, про Хряпова?

— Да-а,— сказала Люба.— Страшные мужики... такие.— Она нахмурила брови и надула щеки, изображая страшных мужиков, но Ваня не согласился:

— Вовсе не такие...

Соскочил на пол и, пошатываясь, размахивая руками, закричал:

— Жулик он, Хряпов, старый колдун...

— Пьяные, значит, были,— сообразил дедушка, вздыхая, спустился с лежанки и стал ходить по комнате руки назад.

— Н-да-а! Пьяненькие, господь с ними,— бормотал он. Потом тихо и гнусаво запел:

Свя-а-тый бо-оже,
Свя-а-тый крепкий,
Свя-а-а-тый бессмертный,
Помилуй на-ас!

Его серые брови вздрагивают, а глаза как будто ищут чего-то на потолке и стенах.

Внук смущал деда, а дочь всё чаще и чаще ставила в трудные положения свою мать.

Однажды, когда ей было уже семь лет, лежа в кровати, она обняла ручонками тонкую шею матери и сказала ей на ухо:

— А я знаю, что папа тебя не любит...

Варвара Дмитриевна вздрогнула, но не ответила ни слова.

— И меня не любит тоже.

— Спи, детеныш,— тихонько освобождаясь из объятий дочери, сказала мать.

— Это правда, мама? — спросила девочка, не отпуская ее.

Мать, подумав, ответила:

— Правда, Люба. Он только себя хочет любить...

— Нет,— оживленно и уверенно перебила ее Люба,— он соседку Павлу Никаноровну...

— Кто тебе сказал? — с тихим отчаянием воскликнула женщина.

— Нифонтова Маша. И Нифонт тоже говорил, что папе надо тебя любить, как он Машу любит, и сказал, что папа злой дурень...

Люба говорила спокойно, без волнения, но в голосе ее заметно звучала обида. Она скоро уснула, а мать, заложив руки за шею, долго сидела у кровати, глядя в потолок, не шевелясь и словно не дыша. Порою из глаз выбегала скупая, светлая, холодная слеза, катилась медленно по бледной щеке и падала на кружево капота. Под утро пришел муж, он, раздеваясь, толкал ногами стулья, отдувался, икал и ворчал.

Она дважды осторожно подходила к двери в соседнюю комнату и, закусив губы, стояла пред нею минуту, пять. Потом он захрапел, громко и жирно.

С этой ночи Варвара Дмитриевна стала относиться к дочери, как ко взрослой.

— Я, вероятно, нехорошо делаю, Люба,— говорила она ласково и серьезно,— но я не умею, не могу иначе, я должна, мне кажется, всё говорить тебе, на всё отвечать. Может быть, это вредно и отнимет у тебя веселость лучших лет жизни, убьет тебе душу,— но я не знаю, не знаю, как быть!

Девочка немножко волновалась и покровительственно утешала мать, чувствуя ее боль и отчаяние.

— Ты не бойся, мама, пожалуйста!

И мать, подчиняясь ее ласкам, любящему взгляду синих глаз, серьезному выражению лица, словно теряла ощущение расстояния между собой и дочерью. Каждый вечер, укладываясь в постель, Люба просила:

— Ну иди, мамочка, садись, говори! Скорее!..

## <«ЗАПИСКИ d-r'a РЯХИНА»>

### <I>

Я перепортил множество бумаги в попытках начать мои записки какими-то особенными — круглыми, красивыми словами, хотелось подобрать их так, чтоб они сразу внушили читателю интерес ко мне, заставив его думать, что я человек недюжинный, своеобразный.

Но, видимо, это выше моих способностей: когда я сочинял фразы в драматическом тоне, они звучали неубедительно; желая пококетничать остроумием, я заискивал, в моей лирике явно чувствовалась фальшь и всюду — литература. Мучительно.

Одно начало было таково:

«Это записки обо мне и о Том, кого я выдумал со скуки, для самооправдания, для того, чтоб удобнее и ловчей свести мои счеты с жизнью,— в общем же, выдумал по необходимости».

Другое:

«Я, кажется, погибаю, даже несомненно, что я погибаю».

Это — жалкие слова, я их не люблю, надеюсь, что и читатель тоже не любит. Остается последний, самый трудный прием — говорить просто, «как бог на душу положит». Боюсь, что это тоже не выйдет у меня и будет скучно.

Но начинаю «просто»: дело в том, что меня одолела «тоска». Я не назову ее мучительной, изнуряющей, не могу назвать глупой; это настроение, исполненное всяческих колебаний, неожиданностей и капризов, оно окрашивает всю жизнь — людей, мысли — в какие-то неприятные, опаловые тона, как будто я страдаю помутнением хрусталика души. Я, конечно, знаю, что такого

хрусталика нет и что катаракта — болезнь глаза, я ведь — врач. Кстати: меня зовут Григорий Ряхин, мне 34 года, мой приятель, земский начальник Кемской, находит, что я скептик, в городе меня считают веселым человеком, земство мною довольно — я хороший работник. И при всем этом я, уподобляясь институтке, «веду дневник».

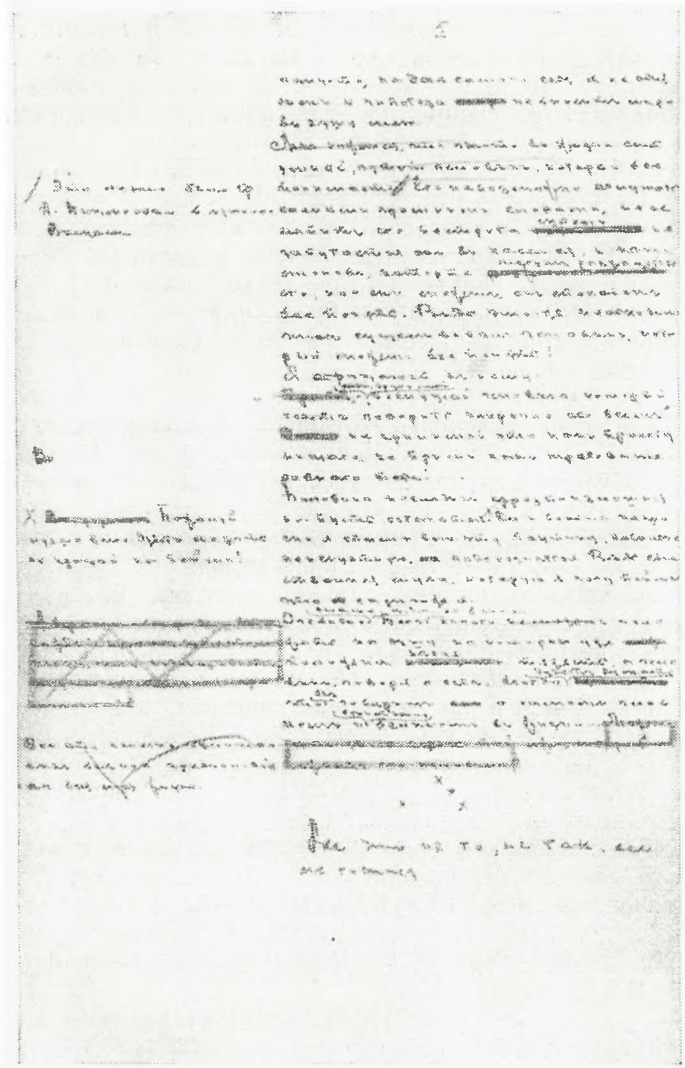
Чаще всего за последние два года я думаю о самоубийстве, но — очень может быть, что женюсь на дочери городского головы, молоденькой вдове, бабенке искаженной, однако неглупой. Могу, сказавшись больным, целый день сидеть у окна — во дворе под окном растет густой куст бузины, в нем бесшумно перепархивают какие-то боязливые серенькие, красногрудые пичужки, они похожи на мои мысли. Летучие мыши не похожи на мои мысли, я сравнивал: их полеты слишком стремительны и судорожны.

Я могу также с утра до вечера валяться на диване, соображая: зачем Гегель сказал — «Тем хуже для фактов», а Бальзак говорил — «Глупо, как факт», и почему врачи обыкновенно стреляются, тогда как им следовало бы употреблять яды? Думаю о Софье Васильевне Хоянской, которая — если я захочу — может стать моей законной супругой, и о Любе Матушкиной, которая не будет ни женой, ни любовницей моей, хотя, я знаю, она может допустить и то и другое, потому что она девушка глупая, а хрусталик в душе ее слишком прозрачен, юмористически прозрачен и чист. Она — ненормальная девушка; я отнюдь не влюблен в нее — в этой истории нет и не будет любви — все глупости, кроме этой. Я не влюблен, но удивлен ею, отсюда всё и началось. Кажется, я впадаю в тон романтика. Как это трудно — говорить просто!

Да, всё это так, всё — верно и всё — неправда. Вот хорошо сказалось: верно, а неправда.

Кажется,— здесь я и ущемлен, оттого мне и плохо, что всё, что я делаю, думаю, всё, что пять минут тому назад я принимал за верное,— в эту вот минуту — ложь.

Есть два вида лжи: естественная, это когда вы не



**«ЗАПИСКИ d-r'a РЯХИНА».**
**Страница автографа.**

говорите правду из жалости к людям и потому, что правда бессмысленна или невыгодна вам; но — есть еще какая-то другая ложь — искусственная, лишенная уловимых оснований, но она живет в каждой мысли, в каждом слове, как бацилла туберкулеза — в ткани легкого. Вот эта ложь и написана здесь, как я знаю.

Ведь ужасно, что, чувствуя где-то около себя правду, я не могу понять ее. Если я скажу себе: «Ты просто жалкий, не очень умный и очень заносчивый человечишко» — это еще не вся правда, против этого я найду множество возражений, я буду спорить. А я не хочу спора, я мира хочу, мира, ибо нельзя жить во вражде с самим собою, это и обидно и смешно.

Иногда мне кажется, что нет такого человека, каким я вижу себя,— человек этот просто моя попытка создать что-нибудь интересное для саморазвлечения, для борьбы с угнетающей скукой жизни, а также и с моей ленью думать. Ведь возможно, что скука — эманация лени, но столь же легко возможно мыслить лень как пассивный протест организма против враждебной ему среды, как частичную забастовку первной системы, которая не может воспринимать впечатлений, чуждых ей или слишком уже насытивших ее.

Может показаться, что, начиная отсюда, писать мне не о чем; я как бы создал гипотезу, объясняющую меня кому-то, но для самого себя я не объяснен, и гипотеза не вносит мира в душу мою.

[Мне кажется, что где-то в жизни есть умный, чуткий человек, который всё понимает.] Его невозможно оглушить самыми громкими словами, не ослепит его пестрота мысли, не запутается он в хаосе ее, и нет стонов, которые могут разжалобить его, но — он может, он способен всё понять. Ведь это же необходимо, чтоб существовал человек, который может всё понять!

Я обращаюсь к нему:

— Друг мой, послушай человека, который хочет говорить искренно обо всем. Не принимай это как просьбу нищего, но прими как требование равного тебе!

Половина последней фразы — излишня, но — пусть останется. Пожалуй, лучше всего будет сказать: «Не прощай, но — пойми!» Да и вообще напрасно я сплел

всю эту паутину, довольно неискусную, надо сознаться. Ведь единственная муха, которую я хочу поймать,— это сам же я.

Очевидно кто-то, может быть, бог,— не в силах ничего положить на душу, на которой уже положена некая тяжесть, а человек, говоря о себе, всегда будет думать, что он говорит о самом главном и единственно в ликом в жизни...

## ‹II›

Мать похоронили на погосте деревни; когда гроб выносили из комнаты, один мужик сказал:

— А и тяжела, одначе, покойница...

За гробом шли все дачники — человек десять — и все дети. Я уже не плакал — может быть, потому, что я, будучи развитым мальчиком, считал слезы постыдными. Все шли, опустив головы, молча и как будто чувствовали себя виноватыми в смерти матери — и не только в этом, а вообще, во всем и пред всеми: пред рыжим священником и мужиками в грязных ситцевых рубахах, пред маленьким урядником с большими усами и пред землей, по которой мы медленно шли.

Когда гроб опустили в яму, старый друг матери, Захар Соломонович, маленький, худой и темный, долго говорил о чем-то, кашляя и задыхаясь, показывая пальцем в могилу. Я не понимал речь, но мне казалось, что он убеждает мать простить его и всех людей, стоявших вокруг могилы, наклонив головы.

Так, с опущенными головами, и разошлись все; Зах‹ар› Соломонович шел под руку с отцом и всё время тихонько говорил ему что-то, а отец вел меня за руку и молчал.

С этого дня я вообще точно помешался на мысли — вернее, на ощущении всеобщей виновности людей друг пред другом,— особенно укреплял меня в этом отец.

Между нами давно, еще при жизни матери, установились странные отношения немой близости и молчаливого доверия друг ко другу, и началом этих отношений было следующее:

Однажды, когда я играл на дворе, отец прошел мимо меня на службу, и, когда он вышел за ворота, дворник Николай, отставной солдат, сказал мне:

— Чудной у тебя папаша, Гриня, вроде факельщика.

Я очень обиделся. Мы жили недалеко от кладбища, почти каждый день мимо наших окон медленно проходили похоронные процессии, я видел факельщиков. Я видел их и потом, когда они возвращались домой, сидя на пустом катафалке, краснорожие, оборванные, иногда пьяные, уже без страшных своих плащей; отец нисколько не был похож на них, разве вот его шляпа?

Вечером я сказал отцу:

— Знаешь, когда у тебя будут деньги, купи себе другую шляпу,— хорошо? А в этой ты похож на факельщика.

— Похож? — спросил он.

— Я не видел это до сегодня, а дворник Николай говорит — похож, тогда и я увидел...

Отец взял меня на руки и сказал:

— Ага-а, это Николай? Н-ну, брат, видишь ли... если люди — Николай или другой кто, всё равно,— если они говорят что-нибудь такое, знаешь... ну — вообще, нехорошее или непонятное тебе, так ты, знаешь,— не расспрашивай их, не стоит, поверь мне. Люди, видишь ты, они — не очень, так сказать, умны, что ли, то есть не все, вот, например, Николай,— он, я тебе, брат, скажу, неинтересный парень, даже, пожалуй, глупый, хотя, конечно, он не виноват в этом, н-ну, однако, надо сказать, что, если тот не виноват, этот не виноват,— значит...

Он надул щеки, вздохнул, потом вдруг прижался бородой к моему лицу и шёпотом спросил:

— Любишь меня?

— Да.

— Ну — молчи! Ладно?

— Ладно.

— Я тебя — тоже! Молчок!

Почему необходимо было для нас любить друг друга молча — я этого не понимал, но это мне нравилось, я его любил и чувствовал, что он тоже любит меня.

После смерти матери отец не стал разговорчивее, а если я расспрашивал его о чем-нибудь, он, как раньше, говорил длинно, невразумительно и так, точно, войдя в темную комнату, ищет спички, осторожно шаря по столам и боясь уронить, опрокинуть невидимые во тьме вещи.

— Видишь ли, конечно, этот капитан Гатрас — он молодчина, ну да, и северный полюс надобно открыть — так, брат; только надо сказать, что, и кроме полюса, есть кое-что неоткрытое, да, и оно, пожалуй, брат, важнее полюса-то, хотя если уж человека тянет на полюс, то ничего не поделаешь...

Молчал он интереснее, и поэтому я старался не часто вызывать его на беседы, а только в случаях крайней необходимости.

А капитаны Гатрасы, Лесные бродяги, Курумилла и другие люди этого порядка странно и непримиримо вставали против русских мужиков — мне нравились и те и другие, но помирить их я не мог, как впоследствии не мог примирить Шопенгауэра с Михайловским и Ницше с Марксом. Одни звали в область фантазии, другие — к действительности, и на всю жизнь легли эти два пути.

Осенью я поступил в первый класс гимназии; помню, как отец привел меня на экзамен, мы с ним стояли в углу желтой холодной комнаты, и он, изредка дотрагиваясь до плеча моего пальцем, шептал:

— Смотри, не трусь! Не струсишь, а?

Я смотрел на него, и мне казалось, что это он трусит.

Недели через три, во время большой перемены, второклассник Туробоев, сын учителя истории, сказал, указывая па меня пальцем:

— Братцы, знаете, отец Ряхина и мать в остроге сидели и в Сибирь были сосланы, они преступники...

Он говорил долго и, как потом оказалось, с большим знанием дела; меня сперва очень удивили его слова, потом я обиделся, наконец взбесился, мы подрались. На другой день я шел из гимназии с отцом, и он говорил мне — виновато, тихо, с какими-то особенными придыханиями:

— Мальчонка просто не понимает, видишь ли,— какие преступники и почему,— н-да, а директор — он

старик и тоже не понимает, это, брат, не многие понимают. Ну, а драться не следует,— ты представь, что будет, если все начнут драться? И могут прогнать из гимназии, им это ничего не стоит, и — вообще, не надо драться! Надо, брат, учиться — вот что надо тебе...

Я слушал, понимал, что это он мне «внушает». Он при мне объяснялся с директором, директор сидел, мигая глазом, и говорил голосом, подобным шуму классного вентилятора:

— Вы должны строго внушить ему, м<илостивый> г<осударь>, что это — ваша вина.

Отец стоял пред ним, как вкопанный, молча, опустив голову, и я видел, что он, действительно, чувствует себя виноватым — в чем?

— Видишь ли,— расхаживая по комнате, говорил он, не глядя на меня,— я, пожалуй, не сумею тебе объяснить это. Мама объяснила бы, а я — нет. Собственно говоря, это глупо, то есть глупо, что преступник. Просто я думал не так, как вообще принято... И мама тоже. Она особенно. Мы были не согласны, видишь ли, брат. Например — крестьяне: помнишь, мама говорила,— всех кормят, а самим кушать нечего. Ну, вот, в этом роде всё... Богатые, бедные, всё как-то глупо... Но я не могу говорить это тебе сейчас... Потому, видишь ли, что лучше, чтоб ты сам увидал всё,— понимаешь? Когда сам — это крепко, а если внушать, то может быть плохо, и ты тоже скажешь, что не так всё это. Мама смотрела на это иначе. Люди, видишь ли, все немножко виноваты, одни — в том, что живут почти не думая, боясь думать, другие — в том, что думают и решают слишком торопливо...

На другой день в гимназии я встретил Туробоева и сказал ему:

— Ты прости меня, что я тебя ударил, хорошо?

Он был мальчик пухлый, мягкий, с розовой мордочкой и красивыми глазами; мое извинение сконфузило и обрадовало его.

— Ну вот еще! — сконфуженно говорил он, оглядываясь вокруг.— Ничего, ведь не очень больно было.

И вдруг зашептал на ухо мне:

— Я ведь тогда просто дразнился. Только, пожалуй,

мне нельзя дружиться с тобой, у меня отец — сущий чёрт.

Дети, которых я знал до этой поры, не говорили о родителях так просто и откровенно, я был удивлен.

Между мною с Туробоевым завязалось нечто вроде дружбы, которую он должен был скрывать от своего отца, это очень нравилось ему. В гимназии мы с ним почти не разговаривали; он, проходя мимо меня, подмигивал мне, я ему улыбался, но раза два в неделю мы встречались на катке и всласть беседовали там, сидя в темном углу теплушки.

Меня особенно занимали его рассказы об отце, человеке толстом, бритом, вислоухом, с большими синими губами и синими жилами на висках. На бесстыдно оголенном лице всегда ползала какая-то неприятная, подстерегающая улыбка.

— Ты его не любишь? — спросил я.

— Нет,— спокойно ответил Миша.— Его никто не любит,— так ему и надо. Он тоже никого не любит — и не может ничего, только учит всех. Он и дома тоже учит: кухарку — стряпать, кота — прыгать, а снегиря — свистеть. Он скушный и трус. Поймает таракана и рассказывает мне, сколько у него ног, очень мне нужно! Тетя Лиза смеется: «Тебе бы в цирке служить надо, а не в гимназии». А он ее боится: тетя в бога не верит и читает запрещенные книжки,— вот, брат, книжки-то, получше твоего Жюль Верна, ого! Библиотекарша ей дает всё, что запрещено читать, отец даже воет со страха, когда видит их.

— А где у тебя мать?

— Она ушла, давно уж, когда еще шесть лет было мне; влюбилась в артиллериста и ушла. Она в Рязани живет, а он уж полковник, и у них другие дети, двое, тетя Лиза знает.

— Ты не сердишься, что она ушла?

— Нет. Тетя Лиза говорит, что нельзя ей было жить с отцом,— уж наверно нельзя, если ушла!

За стеной громогласно играет музыка, продрогшие солдаты дуют в медные трубы, шуршат коньки, строгая лед, в теплушку то и дело забегают веселые, покрасневшие, точно поджаренные, гимназистки, солидно входят

«наши» ученики старших классов и среди них шестиклассник, красавец Борис Кемской, которому до всего дело. Это очень красивый парень, но когда он чем-нибудь недоволен или сердится, юношеская <кровь> исчезает из-под кожи его щек, лицо бледнеет, желтеет и морщится, как маленькая лужа под ветром, синие глаза, суживаясь, становятся мутными и смотрят неприятно, пугающе холодно. Мы оба жмемся в угол, не желая попадаться на глаза ему, но он видит нас, видит и, высокий, стройный, с тонкими усиками, похожий на офицера, идет на нас, говоря барышням, которые следят за ним светящимися, кошачьими глазами:

— А-а, приятели? M-lles, вот, прошу обратить внимание на сих зверей. Этого зовут Пузан, а этого — Шило; они представляют собою любопытнейшую и противоестественную связь: один — чадо заядлого консерватора, другой — сын революционера. Чада, о чем чадите?

Барышни смеются, мы оба смущены, хотим спрятаться, бежать, но — некуда, против нас — плотный полукруг стройных тел.

Я не знаю, что смешного было в нашей дружбе, но почему-то она всеми была замечена, вся гимназия смеялась над нами, и учитель истории узнал о наших тайных свиданиях и строго запретил сыну знакомство со мной. Я не сказал об этом моему отцу, не помню, что я думал по этому поводу, но с той поры стал избегать близких знакомств.

Однажды, раздеваясь в гардеробной, я увидал, что из кармана шинели Кемского, только что небрежно повесившего ее, высунулась и готова упасть тетрадка, исписанная синими чернилами. Я догадался, что это такое, выпул ее, сунул себе в карман и пошел искать красавца, но не успел в этом — зазвонили к началу уроков. В перемену я нашел его в углу коридора, он стоял у окна спиною ко мне и, когда я дотронулся до его локтя,— обернулся ко мне бледный, злой.

— Ну?

Я тихонько сказал ему, в чем дело, он обнял меня за плечи, наклонился, заглядывая в лицо, порозовевший, удивительно красивый, и сказал:

— Спасибо. Молодчина, Ряхин! А я думал — где потерял? Ловко, маленький! Если бы эту штуку вытащил кто-нибудь из учителей — меня выгнали бы.

— Я знаю.

— Ты — очень мудрый старикан. Слушай — познакомь меня с твоим отцом, а? Ты ему только скажи про меня, а я приду к вам?

Я представил, как он, войдя к нам, осмотрит комнату прищуренными глазами, как отец, вынув изо рта мундштук, станет дрыгать ногами, чтоб опустились поднявшиеся выше щиколоток брюки, и как из его бороды нерешительно поползут бесчисленные «видите ли», «так сказать», «что ли»,— а Кемской, положив ногу на ногу, будет, напряженно сморщив брови, искать смысла в этих лишних словах,— представил себе всё это, мне стало жалко отца и Кемского и мучительно захотелось, чтоб Кемской не приходил к нам.

— Ну? — спросил он.

— Я скажу отцу.

Вечером отец говорил мне, надувая щеки:

— Видишь ли,— это едва ли удобно, даже едва ли возможно. То есть — возможно, конечно, однако, может повлечь, что и его и тебя — да, и тебя — исключат, даже наверное исключат, как только узнают, а конечно узнают, я уверен в этом. А главное, видишь ли, мы с ним люди разных кровей, так сказать, и, наверное, химически несоединимы. Хотя, конечно, юноша, но, однако, последний в роде князей Кемских,— все-таки...

Борода встала дыбом, поднялась к ушам, и по остатку лица родителя моего ползала эта знакомая мне судорожная, виноватая улыбочка, он хоронил свои мысли в словах и, помахивая мундштуком, как бы выравнивал их, чтобы они смирно ложились рядом. Было ясно, что Кемской не должен приходить к нам, и мне казалось, что я сумею найти предлог отказать ему — мало ли простейших предлогов: отец болен, занят и прочее.

Но когда я взглянул в его красивое лицо, то почувствовал, что не могу солгать ему, и сказал:

— Нет, вы лучше не ходите к нам.

Он нахмурился:

— Почему?

— Так.

— Отец не хочет?

— Да. Он боится, что меня выключат из гимназии.

Мне было неловко сказать это и стало еще более неловко, когда Кемской не поверил:

— Ты что-то врешь, брательник. Он — боится? Врешь!

Не знаю, как это случилось, но — я заплакал. Кто-то был обижен — я, Кемской, отец, или все трое сразу — этого я не понимал, но чувствовал обиду и плакал, а Кемской, закрывая меня от товарищей, говорил грубовато и ласково:

— Это о чем же? Перестань...

Из гимназии мы шли вместе, и он подробно, привязчиво расспрашивал меня об отце — как он живет, кто у нас бывает, много ли пьют водки, спорят ли, и о чем; я отвечал, как умел, а он морщился и усмехался невеселой старческой усмешкой, портившей его ясное лицо, и наконец сказал:

— Ты, действительно, Шило, и очень тонкое... Ну, до свидания, парнишка. В Америку собираешься?

— Нет.

— Нет? Собирайся, брат. Захвати с собой Туробоева и — беги...

Он пошел было прочь, но вернулся и сказал:

— Ряхин, я научу тебя петь одну песню, она, я думаю, годится по вся дни живота.

И, притопывая ногою по тротуару, он тихонько пропел:

Ожидался маринанд,
Получился реприманд...

Я, конечно, не понимал тогда смысла его шуток, они казались мне слишком взрослыми и неприятными, и с этого дня я стал избегать встреч с ним.

До шестого класса у меня не было товарищей, только с Локтевым сохранилась какая-то странная связь. Встретясь где-нибудь на улице, мы стояли с ним по получасу и более на одном месте или тихо шли куда-нибудь в безлюдные переулки, и он, толстый, с ма-

ленькими глазками, утонувшими в надутых щеках, захлебываясь словами, быстро и немножко шепеляво спрашивал:

— А Георга Самарова — ситал? А Борна? Вот, блат, Борн,— это, блат, интересно. А Понсон дю Террайля — ситал? Ух, блат, хорошо! Тоже — Буаагобей вот или Эберс,— всё, блат, настоящее, египетское. А то — Вальтер Скотт...

Я удивленно завидовал — когда он успевает прочитывать такую массу книг, и в свою очередь хвастался:

— А ты читал Нефедова? Наумова? Решетникова?

— Ну это, блат, всё пло Лоссию, это, блат, никак не одолеешь, скушно очень, это тетя Лиса совала мне... это там всё музыки и всё пьяные, жалуются да делутся, неинтелесно вовсе... это всё и в сам-деле есть! А ты вот носитай Дюма, это, блат, истолическое, а все-таки интелесно...

Так беседовали мы с ним вплоть до выпуска из гимназии, каждый год менялись имена авторов, но отношение оставалось неизменным.

— Ты Стивенсона — ситал? А — Поэ? А Гофмана?

— Нет. А ты читал Печерского, Успенского, Златовратского?..

— Ну,— ситал, ну, это сто! — и Локтев пренебрежительно отмахивался от меня.

Ему не нравились мои книги, мне — его, не все, впрочем; мне тоже понравились Стивенсон и Поэ, как до них нравился Майн Рид и Жюль Верн. Отец старался держать меня в рамках русской литературы.

— Видишь ли, Гришук,— говорил он, надуваясь и виновато помаргивая,— конечно, Поэ, ну да, художник, и приятно читать, забывается действительность, но вот в чем дело: ты — интеллигентный чернорабочий, ну, будешь там, скажем, земским врачом и всё такое, да, ну, и вот надо знать среду, атмосферу, так сказать, надо знать, чем насыщен воздух, которым дышишь, отчего угар, кружится голова и замирает сердце, да... Русская жизнь, видишь ли, это надо очень знать, чрезвычайно запутано всё и вообще — туманно. Обилие углекислоты и сероводорода — вот в чем дело...

Я забыл сказать, что он очень увлекался химией и книгу Менделеева всегда брал в руки особенно благоговейно, а читал ее с улыбкой и даже мычал от удовольствия.

— Я, конечно, ничего не отрицаю, но только Поэ и прочее — это приятно страшно, но — не обязательно, а Некрасов или, скажем, Успенский — неприятно страшно, но — обязательно знать в целях самозащиты...

Он начал весьма заметно выпивать, и во время вечерних разговоров со мною подходил к шкафу, смущенно крякая, проглатывал рюмку, потом — другую, и чем далее, тем чаще. Не пьянел, но лицо его желтело, глаза расширялись и смотрели как-то внутрь, а речь его становилась еще запутанней:

— Неизвестно, что такое душа, но несомненно, что она подлежит закону диффузии,— бормотал он, помахивая мундштуком, и эти фразы, смысл которых был совершенно темен для меня, оставались в памяти моей наиболее прочно,— остались вот до сего дня.

— Наш народ, особенно — мы, великорусы, совершенно утратили гелиотропизм, когда-то очень свойственный нам,— вот в чем дело, Гришук, да. Был бог Хорс, Ярило, чудесный бог, настоящий бог, и помер бог в душе народа. Вон там,— он кивал головою в темный угол, где торчал его стол, заваленный бумагою,— я пишу там об этом, я, видишь ли, хочу доказать, что, когда был бог Хорс, мы были прекрасные люди, да, очень, мы были веселые люди и ничего не боялись. Против всего страшного и непонятного у нас было слово, понимаешь — в начале бе Слово и бог бе Слово... превосходный бог, да, а потом он диффундировался из души в болото и стал кикиморой... Это — догадка, и никто не напечатает, конечно,— у меня нет имени... нет авторитета, да... Что такое авторитет: кислота, или щелочь, или же в нем равномерны оба эти свойства...

Иногда, во время таких бесед, у меня пред глазами являлись какие-то мутно-зеленые круги, отец плавал в них, качался, как пустой челнок на озере, челнок, сорванный ветром с берега, качался и уходил вдаль, исчезал, теряя формы,— я засыпал над книгами, у сто-

ла, и родитель будил меня, тихонько встряхивая за плечо.

— Не спи, казак, сидя...

Иногда, вечерами, приходили статистики: Шиф, горбоносый еврей, кудлатый, черный, весь — судорога; Филодоров, седой, длинноволосый, басовитый, похожий на дьякона, с большою рыжеватой бородой и голубыми глазами. Шиф, бегая по комнате, размахивал маленькими и белыми, как у женщины, руками и кричал:

— Вы — мечтатели, идеалисты, путаники!

Филодоров угрюмо гудел:

— Для того, чтоб страна развивалась нормально, необходима цепь поколений, живущих одною и той же идеей, всё развивая, расширяя ее...

— Нет одной идеи! Есть идеи буржуазии, пролетариата...

— Позвольте, Шиф,— осторожно напоминает отец,— а идея нации?

— Ага-а! Славянофильство...

— А у нас каждое поколение отрицает работу отцов и даже глумится над нею...

— Потому что еще не сложилась правильно классовая психика...

— Отцы — чужие люди в стране, дети — начинают чувствовать себя своими людьми в ней и — уже третируют отцов, как лакеев и болванов...

— Так вас и надо! — кричал Шиф.— Станови́тесь определенно на сторону пролетариата или...

— Не сходи с ума! Где ты видишь пролетариат?

Шиф хватался за голову и выл:

— А-а-а! Слепые!..

А отец гудел своим пониженным виноватым голосом:

— Я, видите ли, думаю, Шиф, что характер борьбы с природой, конечно, должен формировать душу известным, вполне определенным образом, и вот здесь, в процессе работы, образуются национальные особенности...

— У-у! — кричит Шиф, бледный, стиснув зубы.— Что это значит? В процессе работы образуется психика хозяина и работника, а вы, пожалуйста, не мешайте им вашей метафизикой...

— Стой, Шиф! — сердито говорит Филодоров.— Что ж ты— отметаешь психологию расы...

— И — ну?

— Но — ведь ты же еврей?

— Почему это психология? Это — просто несчастие...

И снова просачивается негромкий, всегда как бы на что-то намекающий голос отца: он говорит однотонно, так же, как, бывало, читал матери свои статьи.

— Обратите внимание: во всем, что бы ни делал русский человек, устраивая свою жизнь, чувствуется некоторая ленивая торопливость, отсутствие желания придать работе устойчивость и прочность. Если мы возьмем англосакса, чистого арийца...

Шиф, никого не слушая, говорит с чувством, близким ненависти:

— Ух, какие несчастные люди! Вы должны решить — с кем вы: с демократией или буржуазией, а вы всё хотите установить какую-то третью категорию... Что значит интеллигенция? Это значит — Буриданов осел...

— Главное у нас в народе, видите ли,— заматерелость в преданиях и никаких идей,— говорит отец.

Я не в состоянии точно определить, что именно оставалось в моей голове от этих споров, но на сердце они ложились тяжело: я был согласен с Шифом — отец, и он, и Филодоров — все трое казались мне несчастными людями, их было жалко хорошей, необидной, детской жалостью.

Я уходил в свою комнату, ложился в кровать и, слушая спор, думал о чем-то, что еще более углубляло грусть...

Мы жили почти на окраине города, рядом с кладбищем, в доме купца Басова. Это был очень странный дом, как бы подтверждавший странные слова отца о «ленивой торопливости», с которой устраивает свою жизнь русский человек. Основанием этого огромного неуклюжего сооружения служил каменный этаж — остаток каких-то сгоревших конюшен, эта тяжелая масса камня, закопченного дымом, поддерживала взваленный на нее деревянный сарай в восемь окон, отовсюду к ней примыкали

какие-то антресоли, флигельки, и каждое лето груда этих тесных клеток ремонтировалась.

Внизу помещалась бакалейная лавка, лавка гробовщика и кабак, где по праздникам и после богатых похорон пьянствовали нищие; на дворе, в бесчисленных пристройках, жили водовозы, столяры, сапожник Заботкин, двое татар, торговцев старьем, Аби-Булла и Мустафа, и многосемейный, иссохший, рыжий еврей Губик, которого звали Щука.

Двор был грязен, засорен стружками и всяким хламом, с утра изо всех дверей в эту грязь и сор выбегали чумазые, золотушные оборванные дети; столяры, с весны работавшие на дворе под навесом, гнали их на улицу, и ребятишки исчезали в поле, в оврагах за кладбищем. Когда я впервые прочитал «Крошку Доррит», я нашел, что этот дом похож как нельзя более на тюрьму Маршальси.

Но — только внешнее сходство, в доме Басова не было тех смешных и трогательных людей, которых так любовно и одухотворенно создавал Диккенс. С вечера субботы и до вторника все мастеровые пили водку, валялись в грязи, матерщинили, рычали друг на друга, дрались между собою, били жен, детей, а со вторника до субботы работали с восхода солнца по закат, дразнили Щуку и татар, говорили о том, кто сколько выпил в воскресенье, кто кого и как ударил.

Я пользовался на дворе вниманием и почетом как человек, который может прочитать квитанции ссудной кассы, сказать, когда срок платить проценты, сколько надобно платить; я писал письма, читал их, в награду за это мне рассказывали различные семейные истории, посвящали меня в тайны супружеской жизни, расспрашивали — чувствую ли я себя мужчиной, занимаюсь ли онанизмом, думаю ли о женщинах.

Мерзость этих бесед предохранила меня от ненормальностей, столь естественных в подобной обстановке, привила мне надолго брезгливое, опасливое и недоверчивое отношение к женщине, отношение, от которого я, мне кажется, не свободен и по сей день. Женщины, которых я видел тогда вокруг себя, были всегда грязны и постоянно как-то особенно уродливо беременны; девушки,

чувствуя себя предназначенными для этих же отправлений, проходили мимо мужчин робко, боком, глядя в землю, если же они смотрели в глаза мужиков, то всегда заискивающе и как бы прося пощады. Их было жалко до слез и злобы. Жалко было детей, удивительно лишними казались они, и от этих жалостей сердце незаметно уставало.

Я не хочу, чтоб это указание на усталость сердца было принято как мотив к оправданию, нет, я не оправдываюсь — пред кем бы? Я объясняю. В пятнадцать лет я, как мне казалось, прекрасно познал и оценил настоящую, ничем не подкрашенную жизнь людей на дворе, и она вызывала во мне определенное чувство брезгливости, уныния, отрицания. Эта жизнь разноречила даже и с тем тяжким и страшным, что рассказывали прочит‹анные› мною книги суровых правдописателей,— действительность была еще тяжелей и неприглядней книг.

В книгах и беседах отца с его товарищами речь шла всегда о судьбах некоего «народа» и принималось, что этот народ есть нечто цельное, связанное очень несложной системою интересов, и эта как бы нервная система создавала из него живое чувствилище, весьма приспособленное к восприятию идей добра и правды.

Я такого народа не видел. И книги писателей-народолюбцев стали возбуждать у меня скуку: я чувствовал, что они выше действительности, ярче, интереснее ее, но в то же время не настолько, чтоб примирить меня с ее грязью, заглушить ее в трезвом виде злой, а пьяном — скотский рев. Я думаю, что я уже тогда чувствовал себя старше отца, и, помню, мне не однажды хотелось сказать ему:

«Народ вовсе не таков, каким ты его видишь и как о нем пишут».

Однако не нужно думать, что здесь излагается драма, нет, это я рассказываю всё о той скуке, от которой незаметно и неизлечимо устают сердце и ум,— о той ядовитой скуке русской жизни, которая осязается, обоняется и просачивается в кровь, а, как известно, кровь не должна содержать никаких посторонних примесей, ибо они, отравляя ее, вызывают общее расстрой-

ство нервных отправлений и, так сказать, социальную анестезию.

Учился я довольно сносно, от участия в различных историях воздерживался, товарищи относились ко мне насмешливо и наградили прозвищем Дон Шилос да Тупос Икривос. С учителями у меня были хорошие отношения: мне казалось, что привычка товарищей издеваться над ними — просто нелепая традиция, столь же обязательная, как гимназическая форма — для мальчиков, или беседы о судьбах народа — для моего отца.

У нас много издевались над учителем русского языка, маленьким Окуневым: он покупал дешевые тарелки, оклеивал их иностранными марками, обливая светлым лаком, и развешивал по стенам своей квартиры. Мне это не казалось смешным, я чувствовал к Окуневу тайную симпатию и однажды, узнав, что он болен, пошел навестить его. Он лежал весь обвязанный ватой, морщась от болей ревматизма, но встретил меня любезно и радушно.

— Ряхин? — говорил он, мигая маленькими глазами и улыбаясь.— Ага, садитесь. Очень хорошо.

Я сел, осмотрелся, его пестрые тарелки понравились мне — их было множество, они висели даже на боковых стенках небольшого книжного шкафа.

— Забавно? — говорил Окунев.— Дешево, но — я нахожу — красиво. Я всегда нахожу ‹красивым› только то, что мне нравится, а мерзостей мира сего — не хочу, не принимаю... не замечаю даже. Вы, друг мой, читали «Холодный дом» Диккенса? О, вы прочитайте эту книгу, непременно! Там есть мистер Скимполь,— Ски-мпо-ль, да,— вы обратите внимание на него. Он освещен автором несколько юмористически, но — я считаю это освещение неправильным. Скимполь — тип положительный, да, да... вот кто умел черпать из жизни только то, что ему нравилось в ней...

Ему было трудно говорить, а мне — дышать от запаха йода и спирта, я ушел, унося впечатление убожества; взял Диккенса, прочитал, посмеялся над Скимполем и — забыл об этом визите. Локтев, с которым у меня сохранилась наиболее прочная связь, основанная на единстве литературных вкусов, всё толстел, заплывал

жиром, но стал меньше шепелявить и, читая огромное количество книг, был, в некоторой степени, руководителем моим:

— Ты знаешь,— говорил он обиженным голосом,— у Свечина собираются ребята из седьмого класса, читают какие-то «Наши разногласия» и поют «Выдь на Волгу» — скучища, как за панихидой, ей-богу! Не хочу я слушать, «чей стон раздается над великою русской рекой»,— у меня, брат, дома отец стонет от геморроя и со зла, что его инспектором не назначили, тетка ноет, что ее замуж не берут,— благодарю вас! И Некрасова не хочу — Фофанов лучше, он даже лучше Надсона! А Голенищева-Кутузова ты читал?

Всё более ясно становилось мне, что существует другой мир, другие интересы, другая красота,— всё более чужды речи отца и эта отвратительная жизнь на нашем дворе.

В седьмом классе меня тоже хотели втянуть в кружок самообразования, но я уклонился от этого: не чувствовал себя достаточно вооруженным, чтобы спорить с людьми, и в то же время был органически не согласен с ними.

Потом на дороге моей снова явился Кемской; он был уже студентом второго курса, читал Ницше и целыми часами доказывал мне, что человек — никогда не жертва миру, а самоцель, и что нужно любить дальнего.

Был он худ, бледен, его красивые глаза возбужденно сверкали, но порою он неожиданно задумывался и смотрел как бы внутрь себя, тихонько насвистывая.

— Мне кажется, дружище Ряхин, что это учение оживит и облагородит нас скорей, чем все Чернышевские, Михайловские и эти, теперешние противники их. Суть в том, что в стране нет свободной личности, нет человека, который бы ценил сам себя как такового, мы все более или менее рабы, болеем страхом жить за свой счет и живем на содержании идей, учреждений, предрассудков...

Я не понимал — зачем он говорит: — «мы все»? Какое мне дело до всех и всем до меня, если всё и все против меня, против моего права жить так, как я хочу?

Мне кажется, что я впадаю в странный и несвойственный мне тон жалобы на людей, тогда как у меня, право, нет причин обвинять их или себя в том, что случилось. Да ведь и не случилось ничего особенного, просто пропал человек. Даже, может быть, и не пропадал, а не было человека,— а прожита моя жизнь во чреве русской действительности и в стадии зародыша...

Мне скучно рассказывать, но, честное слово, не я виноват в том, что мне не о чем рассказать весело и забавно. Хотя — почему не я виноват, если я сам, по доброй воле и совету Окунева-Скимполя, старался брать от жизни всё, что мне нравилось. Тут какая-то странность: я хотел жить и жил так, как мне нравилось, но мне не нравится, как я жил.

## ‹III›

Провожая меня в университет, отец, между прочим, сказал мне:

— А еще, брат, желаю тебе — от всей души, чтоб ты не чувствовал себя чужим человеком в родной твоей стране...

В суматохе отъезда эта фраза запомнилась мне только потому, что отец произнес ее необычно для него веско и определенно, вообще же он говорил языком странно запутанным, как бы нарочито стараясь спрятать смысл своих речей в обильном и мутном потоке мягких слов.

Ночью, сидя на корме парохода, я вспомнил прощальное пожелание отца, и вдруг слова его озарили злорадным светом всё, чего я не понимал до этой ночи, о чем скучно было думать и чего я последние два-три года старался не замечать.

Ночь была лунная, от парохода вниз по реке бежала широкая светлая полоса вспененной воды, она развертывалась, точно некая хартия, и уносила серенькие воспоминания мои туда, где они родились,— в каменный, жаркий город, построенный на песке.

Моя мать, высокая женщина в очках на большом носу, смотрела на меня и на всё из-под стекол или через

них всегда одинаково спокойным взглядом круглых синевато-серых глаз. Она носила темные платья без талии, похожие на рясу священника, на плечах у нее — серый пуховый платок, в руках — книга или газета, во рту — папироса. Волосы у нее были острижены, и все-таки седая голова казалась слишком большой, широкое желтое лицо имело черты мужские; она глухо покашливала, голос у нее был усталый, движения медленные. От папиросы вьется тоненькая лента синего дыма, мать прищуривает то один, то другой глаз и, щелкая пальцами по газете, говорит отцу:

— Ну, вот видишь, опять то же самое.

И отец непрерывно курил толстые папиросы из длинного камышового мундштука, иногда он засовывал его за пояс брюк, точно кинжал. Отец был коренастый, лысый, лицо его сплошь заросло густою курчавой бородой, из нее рассеянно смотрели маленькие добрые глаза и мягкий высоко вздернутый нос. Когда отец хотел доставить мне удовольствие, он надувал щеки, борода неестественно растопыривалась, медно-рыжие колечки волос приятно шевелились. Садясь обедать, он долго разбирал бороду пальцами, а когда пил чай, усы его купались в стакане. Дома он ходил в синем мохнатом пиджаке с одной пуговицей, надетом на ситцевую или сатиновую косоворотку, в валяных туфлях, обшитых красной тесьмою.

Он был землемер, служил в земстве и писал статьи по этнографии; его рабочий стол был воткнут в угол комнаты; под столом, на столе и на полках над ним лежали тяжелые кучи растрепанных книг; когда отец работал, всё это закрывалось густым облаком дыма. За другим столом, в простенке между окнами, сидела мать, переписывая набело бесконечные работы отца, или, читая толстые книги, делала в них отметки остро очиненным карандашом. Над ее столом — фотографии: группы каких-то серьезных людей без рамок, а Некрасов, Михайловский и Герцен — в рамках, за стеклами. Герцен сидит в кресле, облокотясь на стол, высоко заложив ногу на ногу; я часто смотрел на него, и мне казалось, что ему тоже очень скучно. Тихо. Царапает бумагу перо отца, шелестят страницы книги; иногда мать, мед-

лешо подняв тяжелую голову, посмотрит через очки в угол, где дымится отец, и — вздохнет, иногда, несогласным жестом отодвинув книгу, угрожающе выпрямится и скажет:

— Нет, этот Тейлор — фантазер ужасный...

— А что? — отзывается отец.

Обыкновенно я сидел за столом матери — учил уроки или читал рассказы о деревне, о животных, о русской природе. Мне нравились эти книжки, но когда родители начинали разговаривать — становилось скучно, и квадратная комната наша напоминала мне жестянку из-под бисквитов — бисквиты все съедены, и она угнетающе пуста.

Мы часто меняли квартиры, но как только отец ставил в угол свой стол, впечатление новизны тотчас исчезало, всё становилось знакомо и старо.

— Не хочу больше читать,— говорил я, закрывая книгу.

Мать, оттопырив нижнюю губу, смотрела на меня, как бы вдумываясь в сказанное мною, потом говорила, убеждая:

— Но спать еще рано...

— Я и спать не хочу.

На голову мне ложилась ее тяжелая теплая рука:

— Хорошо, давай побеседуем...

Тихо, чтоб не мешать отцу, она расспрашивает меня о том, что я прочитал; чаще всего я прошу ее:

— Расскажи мне про другие народы...

— О ком же именно?

— Расскажи про негров...

Она, вздохнув, начинает:

— То же самое и с неграми...

Лет девяти я уже знал, что в старину люди были добрее, жили проще, потом — все начали воевать друг с другом, одни других победили, и теперь победители обижают побежденных, как хотят. Хорошая жизнь — никому не удалась: французы, ирландцы, наши мужики — все более или менее упрямо хлопотали о том, чтоб устроиться получше, и у всех получилось «то же самое».

Эти беседы и чтение книг привели к тому, что я как бы забежал вперед непосредственных впечатлений бы-

тия; приехав впервые на дачу в деревню, я уже знал деревенскую жизнь, знал порядок полевых работ, названия орудий труда, и это номинальное знание, очевидно, притупляло естественную пытливость ребенка. Должно быть, я уже тогда чувствовал, что в груди у меня что-то засохло, мешает мне свободно дышать. Может, этого и не было, но я помню неловкость в моем отношении к детям: однолетки казались мне скучными, я, мальчик «начитанный», тоже был неинтересен для них, меня невольно отодвигало к мальчикам старшего возраста, но — не все интересы и ощущения четырнадцатилетних людей понятны и доступны мальчику в десять лет.

Был я худ, некрасив, неловок, имел привычку засовывать руки в карманы или за пояс,— большеглазая Лида, дочь ссыльного писателя Ханова, прозвала меня «фертом». Это было грустно, она мне нравилась.

Но мне не хочется вспоминать детство — в нем не было значительных событий, оно кажется мне серым, как пуховый платок матери, и скучным, как она.

В августе мать, купаясь, простудилась и заболела воспалением легких. Четыре дня она лежала без сознания, выкатив глаза, странно всхрапывая, лиловая и страшная. Отец молча сидел у постели; когда я входил в комнату, он, виновато взглянув на меня маленькими глазами, шептал:

— Ничего, Гришук, иди, гуляй. Подожди, брат...

Я уходил, садился на крыльцо и ждал. Мимо меня проходили в комнату знакомые, иногда кто-нибудь говорил:

— Ты бы, Гриша, шел к нам...

Мне не хотелось уйти. Сумрачный доктор Яхонтов, погладив меня по голове, сказал:

— Так-то, ферт! Вот оно...

Потом вышел отец, сел рядом со мною, взял меня на колени себе и заплакал, обливая теплыми слезами голову и лицо мое. Я тоже плакал. Это было вечером; против нас, по ту сторону реки, за черным лесом, пряталось большое багровое солнце.

## <«Я ВАМ НЕ ПОМЕШАЮ?..»>

— Я вам не помешаю?

Мой рассказ займет не более получаса... и, пожалуйста, не принимайте его за исповедь.

Дело в том, что я убил человека... Вы слышите — я произношу эти слова равнодушно, я не чувствую трепета в сердце... и отнюдь не угрызения совести побуждают меня рассказать вам этот случай... нет, мотив совершенно иной.

Совершенно иной... я не умею определить его двумя словами... Видите ли что: очень часто и надолго я забываю, что убил человека, внешне подобного мне, то есть двуногое животное, обладающее членораздельной речью и способное смеяться... Впрочем, собаки тоже, кажется, смеются... Большинство людей, на мой взгляд, отличается от животных только искусственными тканями, которые они носят на теле... и на душе тоже.

Старо, неумно и мизантропично, скажете вы... И прекрасно... я не ожидаю любезностей.

Вы извините мне эти отступления... у меня мысль бегает, как ящерица в облачный день... нигде нет солнца... вы понимаете? Нет солнца...

Так вот — иногда я забываю, что убил... но каждый раз, когда вижу в зеркале мое спокойное ординарное лицо с этими неопределенного цвета и малоподвижными глазами... этот неясный рисунок рта, мягкий подбородок, всю свою мешковатую, нескладную фигуру,— меня странно поражает несоответствие между личностью и ее поступком.

Невольно встает, может быть, несколько больной, во всяком случае, очень острый вопрос:

— Я убил? Я — такой? Неужели?

И мне нужно напомнить себе всё это... всё, в подробностях... сначала, день за днем и до конца, до часа на рассвете, когда я... Это было на рассвете, но — осенью. Почему я сказал «но», а не просто осенью? Заметьте эти маленькие странности... я всегда замечаю их, они, право, интересны. Какие-то обмолвки души... может быть, это самое искреннее, что говорит человек.

...Мне было четырнадцать лет, когда репетитор моей сестры, милый и веселый студент Жорж Гмырев, серьезно так заглянул в лицо мое, отвел меня в угол и там доверчиво, подкупающе просто сказал мне:

— Миша, вы умный мальчик и поймете меня без лишних слов. Вот записка, ее необходимо отнести на завод Урлауба и отдать табельщику Везломцеву, но так, чтоб вас никто не видал... Вы узнаете Везломцева, он около ворот будет ждать вас... вы его видели, помните: высокий, с кривым носом... подстриженными усами.

Я помнил. Был потрясен доверием Жоржа, был дико счастлив и задыхался от радости.

Я давно чувствовал, что этот красивый человек с розовыми губами и милейшей улыбкой на смуглом лице живет какой-то особенной, опасной, тонкой жизнью. У него были знакомые, с которыми он, встречаясь на улице, говорил умными взглядами, незаметными жестами, были книги, которые он прятал; с моей сестренкой он разговаривал, наклоняя голову к ее уху, невнятно, словами, которых я не понимал и которые уплотняли вокруг него красивое облако тайны.

Мой отец — управляющий банком, человек в то время слегка либеральный, очень пугливый, немножко смешной — в общем добрый и мягкий человек.

Мать умерла, когда мне было одиннадцать лет. Мы жили вчетвером — отец, сестра, я, Жорж,— он приходился отцу троюродным племянником, что-то вроде этого. У нас служил лакей Капитон, горничная Дуня и важная кухарка Прасковья Гордеевна, славная такая старуха — она была у нас восемь лет, отец относился к ней с уважением, мы, молодежь, любили ее. Жили — скучновато, аккуратно, тихо; Жорж вносил в эту жизнь что-то особенное... он часто улыбался,

вызывая у всех добрые улыбки, говорил он мягко, негромко, в нем всегда жило какое-то тихое, теплое волнение... Знаете — осенью, вечерами, по озеру ходит светлая неглубокая волна... В жарких красках заката вода озера кажется горячей, она ласково бьется о берег, музыкально звенит и усыпляет тревожную душу однотонным шёлковым шорохом. Мне всегда думалось, что эти мягкие удары размывают берег успешней и быстрей, чем высокие белые волны в день сильного ветра.

...Я пытаюсь говорить красиво... вы заметили, что уродливых детей одевают всегда лучше, чем здоровых? Говорить красиво — это уловка всех людей, которые чем-нибудь испуганы, хотят сделать злое или же боятся обнаружить кровь и раны своей разбитой души. Красиво говорят и те, у кого мысли маленькие, чувства жалкие...

Так вот — я вступил в круг тайны... носил маленькие записки каким-то людям, внушавшим мне уважение своей молчаливостью и серьезными лицами... прятал какие-то тоненькие книжки, таскал в гимназию прокламации, написанные круглым почерком и лиловыми чернилами. Жорж дружески улыбался мне и давал хорошие книги — романы о карбонариях, о восстании гладиаторов, о борьбе славян за свободу... Это очень возбуждало фантазию и всё выше ставило Жоржа в моих глазах. Было ясно, что он такой же герой, как люди его славных книг, над которыми я плакал, было несомненно, что лучшее, наиболее красивое дело жизни — бороться за свободу, и наиболее достойная роль человека на земле — роль героя...

— Ну, Миша,— сказал он однажды,— пора тебе заняться собою серьезно!

Я занимаюсь... и узнаю, что существует историческая необходимость, она — необорима, она отрицает героев, делает их смешными и жалкими... Все люди танцуют невольно танец в тесном кругу различных ограничений, и как только человек выскочит за пределы круга — он становится несчастен, одинок и глуп... да.

Это противоречило всему, что я прочитал о Спартаке, карбонариях, 93 годе, о болгарах. Это было мучительно, уверяю вас!

— В каких же книгах больше правды? — спросил я,

шестнадцатилетний мальчик, моего учителя, которому тогда было двадцать три года.

— Всё — правда, ибо всё обусловлено заранее,— объяснил он мне. И долго рассказывал о Степане Разине — пренебрежительно, с сожалением, а о станке ткача — почти с восторгом. Я, конечно, ничего не понял, но — поверил. Мы, русские, удивительно любим верить: посмотрите на старых нигилистов наших,— вот вам фанатики не хуже диких отшельников Фиваиды!

Мне стало немного стыдно за героев и жалко их. Но маленькие книжки на тонкой бумаге, написанные трудным языком, незаметно образовали в душе моей высокие курганы сухих слов, и под этими тяжелыми насыпями я схоронил память о людях сильной воли. Мне приходилось так много читать, что думать было уже некогда,— вы знаете, конечно, что читать не думая, это опять-таки специфически наше русское свойство... Мы издавна торопимся приобрести солидность мнений... каждому хочется нарядить свою серенькую душу так, чтоб она стала заметной...

Да... я много читал и мало думал. Но я начал чувствовать, что мои мечты — мечты юноши — не сливаются с моими знаниями и — враждебны им. Такое же раздвоение души я вскоре заметил и в Жорже.

— Знаешь,— сказала мне однажды сестренка,— она на два года старше меня,— знаешь, вчера я провела удивительный вечер,— мы компанией читали Метерлинка. Это изумительно красиво... Жорж читал, как артист... поразительно!

— Кто такой Метерлинк и какое у него место в хозяйственном процессе? Каково отношение Метерлинка к пролетариату?

— Это совсем, совсем другая область,— сказала сестренка, махнув рукой в ответ мне, и обидно засмеялась.

Через несколько дней я сидел в полутемной комнате и слушал, как из умывальника в медный таз мерно падают тяжелые капли воды,— это был звук жуткий, он настраивал нервы на особый лад. В сумраке я видел напряженно ожидающие, сосредоточенные лица девушек-гимназисток и трех товарищей моих. Сияли широко

открытые глаза, туманно таяли белые шеи и круглые пятна бледных щек. Все молчали. В углу на столе горела свеча, затененная зеленым колпачком; там сидел Жорж, на лице его лежали странные тени, и волнистые белокурые волосы казались подобными водорослям.

— Слушайте! — сказал он глухим, незнакомым мне голосом.— Вот я расскажу вам о том, как Аглавена и Селизетта, две сестры, тщетно сопротивлялись силе смерти, которая пришла, чтобы взять их маленького брата, Тентажиля.

Новый голос Жоржа, новый лад его речи — всё это было странно, вызывало незнакомые думы, и тихий звон меди под ударами тяжелых капель воды назойливым эхом повторял имя обреченного смерти.

— Тентажиль? — недоуменно соображал я, слушая, как мучительно стонут сестры Тентажиля, безнадежно падают усталые речи старого рыцаря и тоскует в предчувствии смерти мальчик. Мне казалось, что я вижу его,— он так прозрачно бледен, что сквозь милое, чистое тело его видно сердце,— с каждой минутой оно бьется всё более слабо и робко.

Помню — шел я домой потрясенный, опрокинутый и угрюмо спрашивал сестру:

— Зачем читали это?

Тонкая и гибкая, она качалась рядом со мною, задевая меня круглым плечом, ее лицо было бледно, глаза широко открыты. Пугливо оглядываясь, она тихонько сказала мне:

— Это — красиво. Разве нет? Это так сильно трогает сердце... Так волнует...

— Зачем падали капли воды?

— Для настроения. Чтобы создать настроение... я не умею объяснить, но это было нужно. Это было как часы... тебе не нравится?

Я не мог ответить. Мне вспомнилось, как однажды на даче, когда жива была мама, мы с вечера собирались за грибами большой компанией далеко в лес с утра на целый день. Были наняты лошади, приготовлено множество вкусных вещей,— было очень празднично и весело.

— А ночью пойдет дождь,— ухмыляясь, говорил дядя Горя, инженер, человек большой, тучный и ленивый.

— Нет! — кричал я.

— А пойдет...

Он едва не заставил меня плакать. Спать я лег злой, а на рассвете дядя разбудил меня, торжественно говоря:

— Слышишь, какой дождище хлещет? Это, брат, на неделю!

Стоял он над моей постелью огромный, белый и указывал рукою на окно, облитое ручьями дождя. Возненавидел я его с той поры.

Воспоминания малодушного человека, скажете вы. Может быть.

А скажите мне: вас научило чему-нибудь злое, научило чему-нибудь иному, кроме недоверия к людям и, порой, презрения к ним?

Я спросил Жоржа — зачем он читал эту грустную вещь? Но он, видимо, сам плохо знал зачем, я не понял его объяснений. Потом я спросил его еще: какова же моя роль в жизни, возможно ли свободное применение моей воли, моей энергии в ровном, неуклонном потоке исторической необходимости? И снова не понял его объяснений, хотя он говорил долго, горячо и красиво.

Он обо всем умел и любил говорить красиво, особенно убедительно жарки были его речи о народе, пролетариате, о творчестве масс.

— Смотри, как всё выше и выше поднимается из хаоса гордая голова титана Прометея, скрежещут, рвутся его цепи, и вот уж близок день, когда он, народ, встанет на ноги и скажет миру: «Воскрес я. Да воскреснет справедливость, разум, красота, мною созданные, распятые твоей жадностью, дряхлый мир!»

В это я верил, ибо сам видел и чувствовал волнение жизни, рост ее гневных сил. Я бегал по заводам, разнося листки, прокламации и книжки, со мною было много товарищей, таких же юных, как сам я, и все они тоже верили, так же как и я были опьянены красивым шумом праздничных дней. Всюду стачки, митинги, праздничные лица, смелая речь, гордый смех.

Историческая необходимость, стихийная сила уничтожения — всё это отодвинулось куда-то в угол, за кулисы событий, стало невидимо и забыто. Всюду реяли радужные птицы великих надежд, отовсюду стекались мощные силы, силы, готовые всё разрушить, всё создать. Жизнь гранила людей, как драгоценные камни, все сверкали разноцветными огнями, отражая мощную игру великих событий, день был чудесно полон радостей и *<Не закончено.>*

# ПРИМЕЧАНИЯ

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

*Андреева* — «М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы». Изд. 3. М., «Искусство», 1968.

*Архив* $Г_{I}$ — Архив А. М. Горького, т. I. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939.

*Архив* $Г_{III}$ — То же, т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951.

*Архив* $Г_{IV}$ — То же, т. IV. Письма к К. П. Пятницкому. М., 1954.

*Архив* $Г_{VI}$ — То же, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. М., 1957.

*Архив* $Г_{VII}$ — То же, т. VII. Письма к писателям и И. П. Ладыжникову. М., 1959.

*Архив* $Г_{IX}$ — То же, т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., 1966.

*Г, Материалы* — М. Горький. Материалы и исследования, т. I. Л., Изд-во АН СССР, 1934; т. II. М.—Л., 1936; т. III. М.— Л., 1941.

*Грж* — М. Горький. Избранные рассказы. 1893—1915. Петербург, Берлин, Москва, изд. З. И. Гржебина, 1921.

*Г-30* — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.

*Г Чтения* — Горьковские чтения, 1937-1938—1964-1965. М., Изд-во АН СССР («Наука»), 1940—1966.

*ЖЗ* — Сочинения М. Горького. СПб., «Жизнь и знание», тт. XI, XII, 1914; т. XIII, 1915.

*К* — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

*Коцюбинский* — М. М. Коцюбинский. Собр. соч. в 4-х томах. М., Гослитиздат, 1965.

*Л* — М. Горький. Городок Окуров. Хроника. Berlin, Verlag I. Ladyschnikow, <1910>; М. Горький. Матвей Кожемякин. Повесть. Ч. I—IV. Berlin, Verlag I. Ladyschnikow, <1910—1911>.

*ЛБГ* — личная библиотека М. Горького.

*ЛЖТ*$_{I-IV}$ — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.

*Ливанова* — Т. Н. Ливанова. Музыка в произведениях М. Горького. М., Изд-во АН СССР, 1957.

*Пр ЖЗ* — текст *ЖЗ* с авторской правкой для издания *К*, хранящийся в Архиве А. М. Горького.

*Сб Зн* — «Сборник товарищества „Знание“».

*Шейн* — П. В. Шейн. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. СПб., 1898.

В десятый том настоящего издания вошли «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», примыкающие к ним, но оставшиеся незаконченными произведения ⟨«Большая любовь»⟩, ⟨«Записки d-r'а Ряхина»⟩ и тоже незаконченный набросок ⟨«Я вам не помешаю?..»⟩. Над этими произведениями Горький работал с середины 1909 г. до осени 1911 г. После первой публикации «Городок Окуров» вышел отдельным изданием в *Л*. Каждая часть «Жизни Матвея Кожемякина» после первой публикации также была выпущена в *Л* отдельными книжками. Оба произведения включались автором в собрания сочинений *ЖЗ* и *К*.

Остальные произведения настоящего тома в собрания сочинений Горьким не включались. Кроме одного отрывка из повести ⟨«Большая любовь»⟩, они были опубликованы после смерти автора.

Принципы распределения произведений по томам изложены в предисловии к изданию (т. I). Полные библиографические сведения о цитируемых источниках, отсутствующих в перечне, указываются при первом их упоминании. Отсутствие специальной оговорки о рукописях и машинописях означает, что либо они не сохранились, либо редакция ими не располагала.

Тексты десятого тома подготовили и комментарии к ним составили: *Е. И. Прохоров* («Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», ⟨«Большая любовь»⟩, ⟨«Записки d-r'а Ряхина»⟩), *В. Ю. Троицкий* (⟨«Я вам не помешаю?..»⟩).

Тексты рассмотрены и утверждены Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

В научном редактировании тома принимал участие *Н. Н. Жегалов*.

О замысле произведений об Окурове существуют различные мнения [1]. Одни исследователи считают, что первоначально автор задумал написать трилогию «Городок Окуров», «Матвей Кожемякин», «Большая любовь». Другие утверждают: было задумано одно произведение, но в трех частях. Третьи полагают, что Горький задумал и создал два самостоятельных произведения.

Из письма Горького к А. В. Амфитеатрову от декабря 1909 г. следует, что сначала писатель намеревался создать одно произведение, состоящее из трех частей: «„Окуров", в первой части, совершенно не удался мне. Вторая — Кожемякин, это коротенькая вещь. Третья — „Большая любовь"» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-58). Об этом же Горький сообщал Морису Хилквиту в феврале-марте 1910 г.: «Работаю над продолжением „Окурова", над второй частью его. Всех будет три...» (*Г Чтения*, 1962, стр. 21).

Такое понимание замысла подтверждается рядом других фактов. Так, в первой публикации начало «Матвея Кожемякина» печаталось под общим заголовком «Городок Окуров. Хроника», т. е. как вторая часть хроники. И позже, когда последующие части «Матвея Кожемякина» печатались уже без общего заголовка, в переписке Горького, особенно в письмах к нему, «Матвей Кожемякин» почти всегда рассматривался как часть «Городка Окурова», как его продолжение. Например, М. М. Коцюбинский, уже прочитав «Городок Окуров» и зная, что последующие части имеют самостоятельное название «Матвей Кожемякин», по-прежнему называл всё произведение «Городком Окуровом» (см. его письма к Горькому от 10 (23) декабря 1910 г., 11 (24) марта, 7 (20) апреля и 16 (29) июля 1911 г.— *Коцюбинский*, т. 4,

---

[1] А. Дымшиц. Из темы о Горьком и народе («Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина»).— «Красная новь», 1936, № 9, стр. 202—215; З. М. Карасик. Творческая история произведений окуровского цикла А. М. Горького. Автореферат. М., 1950; С. В. Касторский. Повести М. Горького «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина». Л., 1960; А. И. Овчаренко. Повести М. Горького об «Окурове».— «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», т. 20, вып. 2, 1961, стр. 111—121.

стр. 314, 324, 326—327, 329, 332). Наконец, посылая И. П. Ладыжникову первую половину машинописи «Городка Окурова», Горький сообщил: «...всего будет листов 15» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 198), а отослав вторую половину, указал: «Общий заголовок: „Городок Окуров. Хроника“» (там же, стр. 199). В повести же «Городок Окуров» чуть больше 5 листов. Это позволяет сделать вывод, что объем в 15 листов относится не к «Городку Окурову» в том виде, в каком он известен нам, а к замыслу большого повествования, составными частями которого были и «Городок Окуров», и «Матвей Кожемякин» («это коротенькая вещь»), и «Большая любовь». Точно так же слова «общий заголовок» имеют более широкий смысл, чем заголовок для двух присланных Ладыжникову «половин» текста: что это одно произведение, у Ладыжникова не могло быть сомнений. Значит, «общий заголовок» — это заголовок всей будущей хроники.

Горький работал над хроникой с увлечением, внутренне полемизируя с теми писателями, которые после революции 1905 года склонны были объявить весь народ, всю трудовую массу носителями мещанской психологии, анархических инстинктов. Но, заканчивая «Городок Окуров», писатель почувствовал необходимость дать не одно произведение, а цикл их, в котором всесторонне изображалась бы «окуровская» Русь. «Городок Окуров» должен был показать хулиганствующее мещанство российского захолустья в лице Вавилы Бурмистрова, «Матвей Кожемякин» — корни мещанского консерватизма, пригибающего к земле даже тех, кто пытается выйти из мещанского болота, «Записки доктора Ряхина» — мещанствующего интеллигента, а в «Большой любви», в образе Любы Матушкиной, должно было воплотиться светлое, живое начало, та новая сила, которая растет в недрах России.

Полностью такой цикл создан Горьким не был, но возникли две повести — «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина», тематически связанные и имеющие общую идейную направленность [1]. Учитывая же незавершенные работы — «Большую любовь» и «Записки доктора Ряхина», мы вправе говорить о цикле произведений, объединенных и наличием ряда сквозных персонажей (Матвей Кожемякин, Яков Тиунов, Люба Матушкина и ее семья, доктор Ряхин, городской голова Сухобаев и др.), и местом действия, и единством замысла — вскрыть корни мещанства, нарисовать исторически и социально широкую картину уездной России с ее консерватизмом и уже начавшимся в ней сложным духовным брожением, характерным для предоктябрьских десятилетий.

---

[1] Работая над произведениями, вошедшими в этот том, Горький называл их и хроникой, и рассказами, и повестями. Беря, как правило, последнее из этих названий, редакция считает, что возможны и другие жанровые определения произведений окуровского цикла. «Жизнь Матвея Кожемякина», например, может быть названа и романом.— *Ред*

## ГОРОДОК ОКУРОВ

(Стр. 5)

Впервые, под заголовком «Городок Окуров. Хроника», напечатано в «Сборниках товарищества „Знание“ за 1909 год», кн. XXVIII, стр. 1—69; 1910, кн. XXIX, стр. 1—87, и одновременно отдельным изданием: М. Горький. Городок Окуров. Хроника. Berlin, Verlag I. Ladyschnikow ⟨1910⟩.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1. Авторизованная машинопись — *АМ* (ХПГ-7-4-1), послужившая оригиналом набора для *Л*. 2. Экземпляр XI-го тома *ЖЗ* (ХПГ-7-4-2), правленный автором для *К*.

Печатается по тексту этого экземпляра со следующими исправлениями:

*Стр. 16, строка 6:* «умеет» вместо «умел» (по *АМ*, *Сб* $Зн_{28}$, *Л*).

*Стр. 19, строка 10:* «отвечает» вместо «отвечал» (по тем же источникам).

*Стр. 29, строка 23:* «говорит» вместо «говорил» (по тем же источникам).

*Стр. 31, строка 31:* «его красивое законченное лицо» вместо «красивое законченное лицо» (по тем же источникам).

*Стр. 34, строка 40:* «Где мне — дорога» вместо «Где мне — дорого» (по *АМ* и *Сб* $Зн_{28}$).

*Стр. 36, строка 12:* «а всё» вместо «ну всё» (по *АМ*, *Сб* $Зн_{28}$, *Л*).

*Стр. 36, строки 27—28:* «успокаивала сердце» вместо «успокаивала сердца» (по тем же источникам).

*Стр. 48, строка 31:* «помавая благообразной головой» вместо «помахивая благообразной головой» (по *АМ* и *Сб* $Зн_{28}$).

*Стр. 50, строка 10:* «он представлял себе» вместо «представлял себе» (по тем же источникам).

*Стр. 52, строка 39:* «он вспоминал» вместо «вспоминал» (по тем же источникам).

*Стр. 75, строки 9—10:* «жить и думать одиноко» вместо «жить и думать одинаково» (по *АМ*, *Сб* $Зн_{29}$, *Л*).

*Стр. 84, строка 6*; *стр. 85, строка 10:* «оброшены» вместо «отброшены» (по *Сб* $Зн_{29}$).

*Стр. 85, строка 36:* «разные» вместо «праздные» (по *Сб* $Зн_{29}$).

*Стр. 94, строки 25—27:* «но тут неслышно явилась Паша, сунула в дверь руку с зажженной лампой» вместо «но тут вошел Пистолет с зажженной лампой» (по *Сб* $Зн_{29}$).

Сведений о начале и ходе работы Горького над повестью «Городок Окуров» не сохранилось. Но в воспоминаниях А. А. Золотарева «Каприйский период Горького» говорится, что «первые годы на Капри Горький усиленно твердил: пришла пора писать хронику, вот как Лесков в „Соборянах“» (Архив А. М. Горького, МоГ-4-16-2).

Можно предполагать, что эта мысль была связана с намерением Горького написать хронику русской деревни за 50 лет — «Историю Кузнечихи», о которой он сообщал К. П. Пятницкому около 14 (27) мая 1908 г. (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 249). Однако деревенской хроники Горький не создал, ограничившись написанием в это время повести «Лето», замысел же хроники он решил осуществить, используя свое глубокое знание жизни провинциальных городков России. «Я могу написать о городе Окурове 10 томов»,— утверждал он в письме к Амфитеатрову (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-58). Позже, уже в советские годы, писатель вспоминал: «Перед тем как писать „Городок Окуров“, я подсчитал: сколько уездных городков известно мне? Оказалось — 49. В этом числе были и такие крупные города, как Борисоглебск-Тамбовский, Царицын, Кременчуг, и такие мещанские гнезда, как Васильсурск 〈...〉 Елатьма — городок, в котором мест〈ный〉 учитель насчитал на 4 т〈ысячи〉 жителей 19 ч〈еловек〉 рабочих» (Архив А. М. Горького, ГЗ$_{VI}$-7-13).

Предположительно в середине 1909 г. Горький приступил к работе над повестью и уже 24 сентября (7 октября) того же года, планируя состав очередного сборника «Знание», Пятницкий с Капри писал С. П. Боголюбову, что в основу сборника «ляжет новая повесть, которую сейчас кончает Алексей Максимыч» (там же, № 65782).

Как обычно в эти годы, работа шла быстро: «...очень торопилось кончить повесть»,— сообщал писатель Е. П. Пешковой в начале (середине) октября (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 75), а 14(27) октября Пятницкий вновь напомнил Боголюбову: «Основанием этого сборника будет новая повесть Горького. На днях кончит. Уверяет, что в ней нет ни одного нецензурного слова» (Архив А. М. Горького, № 65798).

Но еще до окончания всей работы первая половина повести была отослана Горьким в Берлин Ладыжникову: «Посылаю рукопись. Это — начало, всего будет листов 15, но и сей кусок можно печатать как нечто целое. В России он будет напечатан до Рождества» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 198).

Боголюбову экземпляр машинописи был отослан 21 октября (3 ноября) с сопроводительным письмом Пятницкого: «Посылаю Вам новую повесть Горького „Городок Окуров“. В рукописи 58 страниц, это начало, первая часть. Но только эти 58 стр. и войдут в XXIX сборник 〈...〉 В посланной рукописи нет ни одного слова, опасного в цензурном отношении. Она тщательно просмотрена со стороны правописания. Поэтому нет нужды присылать сюда корректуру для поправок 〈...〉 А〈лексей〉 М〈аксимович〉 не хочет выставлять глав. Отделы

повести отделены один от другого чертой: см. страницы 9, 21, 33, 45. Ставьте в конце отдела черту и начинайте следующий с новой страницы.

В конце не вздумайте поставить: „Продолженне следует". А. М. просил не делать этого, хотя продолжение у него уже готово» (Архив А. М. Горького, № 65802).

Действительно, из дневника Пятницкого известно, что 25 октября (7 ноября) в два приема: днем с 3 до 6 часов и вечером с 11 до 1 часу ночи, Горький читал повесть учащимся каприйской партийной школы. В этот день, видимо, была закончена перепечатка второй половины повести на машинке, так как после обеда Горький сказал, что «через полчаса будет готова вторая часть „Городка"» (там же, Д-Пят, 1909, л. 58 об.). Тогда же, в конце октября, Горький сообщил Е. П. Пешковой: «Хотел бы послать тебе новую мою повесть, да — невозможно, тороплюсь отправить в Питер: вероятно, пришлю корректуру» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 76).

В первых числах (середине) ноября Пятницкий получил от автора вторую половину повести, 9(22) ноября вычитал ее и 11-го (24-го) вернул автору со своими замечаниями (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1909, лл. 67 об., 68). В тот же день Пятницкий писал Боголюбову: «Завтра утром пойдет к Вам продолжение „М. Горький. Городок Окуров". Это будет № 1 сборника XXX 〈...〉 Прошу набирать и печатать теперь же 〈...〉 нецензурного ничего нет. Рукопись просмотрена. Переделок не будет. Корректуру все-таки сюда пришлите — для сведения 〈...〉 Это значит: можно не ждать их возвращения, чтобы печатать» (там же, № 65815).

Примерно в это же время, может быть, чуть раньше, машинопись второй половины повести была отослана Ладыжникову: «...посылаю конец „Городка". Общий заголовок: „Городок Окуров. Хрошка"» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 199).

В Архиве А. М. Горького сохранился второй экземпляр авторизованной машинописи, состоящей, условно говоря, из двух частей: первая — на 60 и вторая — на 74 машинописных страницах. В конце первой части — подпись, сделанная рукой автора: «Capri, 909, сентябрь. М. Горький».

В *АМ* внесена небольшая правка: видимо, автором был выправлен не дошедший до нас первый экземпляр машинописи, отосланный для издания в сборнике «Знание» (*Сб Зн*), а с него на сохранившийся второй экземпляр правка была перенесена рукой постороннего лица, и он был отослан для издания Ладыжникову (*Л*).

*АМ* и набранный с нее текст *Л* почти полностью совпадают, причем *Л* повторяет даже явные опечатки *АМ*, которых нет в *Сб Зн*. Разночтения между *АМ* и *Л*, с одной стороны, и *Сб Зн* — с другой, позволяют предположить, что первый экземпляр *АМ* был вычитан автором тщательно, а во второй экземпляр правка была перенесена недостаточно аккуратно. Возможно, впрочем, что в неизвестном нам экземпляре *АМ*, предназначенном для *Сб Зн*, в текст была внесена и дополнительная правка:

некоторые разночтения между *АМ*, *Л* и *Сб Зн* настолько значительны по объему, что их невозможно объяснить невнимательностью лица, переносившего правку с первого экземпляра *АМ* на второй. Так, вместо текста *АМ* и *Л*: «Главное — Толстой ∽ Это, батя, замечательнейший и необходимейший философ для уездных жителей» (*стр. 71, строки 10—14*) — в *Сб Зн* оставлено: «Главное — Толстой: он знает, в чем смысл жизни».

Предположение о дополнительной правке подтверждается каприйским дневником Пятницкого, который вычитывал машинопись перед отсылкой ее в набор и предлагал автору некоторые свои поправки. В частности, 9(22) ноября Пятницкий записал в дневнике: «После завтрака отдаю 2-ю часть „Окурова". Говорю о выходке против Толстого. Спор о Толстом» (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1909, л. 68). Здесь как раз и идет речь о приведенном выше высказывании, которое Пятницкий назвал «выходкой против Толстого» и, видимо, настоял на том, чтобы оно было снято.

Можно, конечно, предположить, что эта дополнительная правка была сделана в корректуре, поскольку, несмотря на предупреждение Пятницкого: «Нет нужды присылать сюда корректуры» (там же, № 65802), Боголюбов ее всё же прислал на Капри. Автор просмотрел ее, и Пятницкий сообщал Боголюбову 14(27) ноября: «...как я писал Вам, исправлять этих вещей не будем 〈...〉 Относительно „Городка Окурова" А〈лексей〉 М〈аксимович〉 просил указать:

а) на 3-й стран., 3 строка: не нужно тире пред словом „ладони".

б) на стран. 21, 5 строка снизу: слова „священный стих" должны идти сряду после слова „Девкин" в 6-й строке снизу; не нужно выделять их в особую строчку [1].

в) при разговоре пред словами лица не забывайте ставить тире: где начинается речь нового лица.

Вот и всё об этих корректурах» (там же, № 65816).

Известны также замечания Пятницкого по корректурам второй половины повести: «На титуле под словом „Хроника" нужно поместить следующие две строчки:

Продолжение

Начало напечатано в XXVIII сборнике „Знания".

〈...〉 На 3-й странице, на которой начинается текст, поставить над ним в скобках: (Продолженне). О мелких поправках не говорю. Знаю, что не было еще корректуры» (там же, № 65834). Все эти указания Боголюбов выполнил.

Высылая Боголюбову «Городок Окуров» по частям, разбивая его на два сборника, Горький понимал, что это ослабит впечатление от повести. Пятницкий писал об этом еще 31 октября (13 ноября): «А〈лексея〉 М〈аксимовича〉 сильно соблазняет

---

[1] Это указание автора в издании не выполнено: слова «Священный стих — главное — певучий» остались как отдельная строка.

мысль выпустить в январе XXIX и XXX ⟨сборники⟩ сразу. Таким образом публика сразу познакомилась бы с двумя частями „Городка“» (там же, № 65808). Отправляя Боголюбову машинопись второй половины повести, Пятницкий вновь напомнил об этом: «Когда получите это письмо, наверное, будет уже кончен XXVIII сборник с первой частью „Городка“ [1]. Немедленно подавайте в цензуру ⟨...⟩ Повторяю еще раз: ⟨...⟩ А. М. не хочется делать большого промежутка между 1 и 2-ю частью „Городка“» (там же, № 65829).

Так шла работа над XXVIII и XXIX *Сб Зн*; из писем Боголюбова и документов Издательства известно, что XXVIII *Сб Зн* вышел в свет 12(25) декабря 1909 г., а XXIX—29 января (11 февраля) 1910 г.

По-видимому, в конце января (первых числах февраля) 1910 г. вышло и отдельное издание «Городка Окурова» в Берлине у Ладыжникова.

В августе 1913 г. к Горькому через М. Ф. Андрееву с предложением издать собрание сочинений обратился руководитель легального большевистского издательства «Жизнь и знание» — В. Д. Бонч-Бруевич (см.: *Андреева*, стр. 250—251). Писатель ответил согласием и по не дошедшему до нас экземпляру *Л* подготовил текст для нового издания (*ЖЗ*). Правка была невелика по объему; более или менее существенные изменения относятся только к характеристике образа проститутки Лодки. В первом издании она много раз упоминает богородицу, а согрешив, всё время обращается за оправданием к ней и т. п. В процессе правки для *ЖЗ* некоторые из этих обращений были вычеркнуты. В результате образ проститутки был снижен, и это характерно для Горького. Еще в курсе «Истории русской литературы» он обратил внимание слушателей каприйской партийной школы на то, что многие русские писатели стремились показать проститутку «милой, кроткой, чуткой девушкой ⟨...⟩

Но — это иллюзия, это — самообман.

Во-первых, проститутка в массе своей существо не кроткое, не доброе и не чуткое — это существо грубое, злое и пьяное, изображать ее в ином виде — значит стараться скрыть от себя грязное и позорное дело ⟨...⟩

Русская проститутка в русской литературе — удивительно совестлива и всегда сознает, что занимается делом грешным,— это, может быть, необходимая, но это все-таки нехорошая ложь» (*Архив Г*$_{I}$, стр. 266—267). Именно поэтому Горький вычеркнул некоторые фразы и слова, характеризующие Лодку, а в 1922 г., готовя текст для *К*, продолжил правку в том же направлении.

---

[1] В середине (конце) ноября 1909 г., в связи с цензурными трудностями в публикации «Жизни ненужного человека», сборники были перенумерованы: XXIX сборник стал XXVIII, XXX — XXIX и т. д.

В издании *ЖЗ* Горький снял подзаголовок «Хроника»: в том виде, как это произведение сложилось, оно уже не было хроникой жизни городка Окурова.

Вместе с тем необходимо отметить, что в *ЖЗ* есть немало опечаток и других искажений текста и это существенно сказалось на доброкачественности текста в *К*.

В 1919 г. для издания *Грж* Горький значительно сократил и отредактировал текст «Городка Окурова». В результате сокращения от повести остались только начальные страницы, характеризующие город и его жителей, и история взаимоотношений Лодки, Вавилы и Симы Девушкина. Правка для *Грж* была значительной не только по объему, но и по содержанию; частично она была учтена автором и при подготовке *К*. Здесь, например, появился краткий, но выразительный эпиграф из Достоевского: «...уездная звериная глушь». Однако основная масса исправлений так и осталась в этой боковой редакции, хотя некоторые из них довольно интересны (см. варианты).

Последний раз Горький правил текст повести в 1922 г. для издания *К*. Эту правку, не очень значительную по объему, характеризуют три основных направления: сокращение многочисленных, раздающихся в толпе и не несущих большой смысловой нагрузки, кратких реплик, продолжение правки, снижающей образ Лодки, и смягчение некоторой рассудочности в суждениях персонажей. В последнем, возможно, сыграло роль замечание, высказанное Горькому еще в 1911 г. одним из его корреспондентов — П. Х. Максимовым: «...мне кажется, что Ваши герои не в меру философствуют, особенно о судьбах России и русского человека 〈...〉 Естественно ли это?» (Архив А. М. Горького, КГ-п-49-2-7). Писатель тогда ответил ему: «...это тоже кажется и многим моим критикам, за это меня многократно и сурово осуждали. А я судей моих справедливыми не считаю и говорю: „Да, к сожалению, русский человек действительно «не в меру философствует»...“» (*Г-30*, т. 29, стр. 174). Всё же, видимо, впоследствии это мнение критики Горький принял во внимание и исключил из текста ряд таких рассуждений (см. варианты).

Новая правка была нанесена на экземпляр *ЖЗ*, текст которого, как уже указывалось, содержал много опечаток; к сожалению, ни автор, ни корректор большую часть их не заметили, в результате чего текст, подготовленный для *К*, был с ошибками. К этому следует добавить, что некоторые новые поправки самого Горького оказались несогласованными с контекстом. Показательна, например, следующая поправка автора (*стр. 94, строка 25*). После слов: «Они оба начали злиться и взвизгивать — но тут» — в предшествующих изданиях шли слова: «вмешался Пистолет» — и следовало рассуждение его о Вавиле, а затем фраза: «Неслышно явилась Паша, сунула в дверь руку с зажженной лампой». Вычеркнув в *Пр ЖЗ* всё рассуждение Пистолета и упоминание о Паше, Горький дал такой вариант: «Оба они начали злиться и взвизгивать,— но тут вошел Пистолет с зажженной лампой». Контекст с такой

фразой не согласуется: Пистолет из комнаты не выходил, а страницей раньше Четыхер послал за лампой именно Пашу («Пашуха, подь-ка и впрямь, тащи огня»). Вместе с тем, исправляя теперь ошибку автора, нельзя в рассматриваемой фразе вместо слов «вошел Пистолет» написать «вошла Паша», так как из следующих фраз видно, что она в комнату не входила, а осталась за дверью. Поэтому приходится вопреки последней авторской правке соединить вместе отрывки двух фраз, оставшихся от ранних источников: «Оба они начали злиться и взвизгивать — но тут неслышно явилась Паша, сунула в дверь руку с зажженной лампой».

С *Пр ЖЗ* текст повести набирался для *К*. Корректор этого издания выправил большинство опечаток *ЖЗ*, не замеченных автором, но в тексте *К* появились новые искажения текста. Принимая во внимание, что Горький не читал корректур издания *К*, для настоящего издания источником основного текста избран *Пр ЖЗ*.

Горький придавал большое значение теме своей повести, особенно когда задумал ее, но по мере написания всё больше и больше разочаровывался в исполнении. В середине (конце) октября 1909 г. он сообщал Амфитеатрову: «Вот и опять захотелось написать повесть,— помните:

Господи,— помилуй нас!
Жить нам — не охота —

начал, написал четыре листа, вышло не то, чего хотел» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-46). А по окончании работы, в декабре 1909 г., в письме к тому же адресату Горький заявил, что «Окуров» ему не удался. Наконец, в июне 1910 г., т. е. когда была уже закончена первая часть «Матвея Кожемякина», он написал Л. А. Сулержицкому: «„Окуров“ — это, брат, очень плохо. „Кожемякин“, может быть, лучше будет. Почитай» («Новый мир», 1961, № 6, стр. 185). Вместе с тем в письме к М. Хилквиту Горький подчеркивал, что «Городок Окуров» — «вещь забавная, очень русская, и, кажется, не скучная, она должна бы понравиться американцам» (*Г Чтения*, 1962, стр. 20).

На оценке произведения, наряду с неизменной высокой требовательностью Горького, сказались, несомненно, отзывы читателей и рецензии критиков. Ко всем близким и знакомым он обращался с просьбой сообщить мнение о «Городке Окурове» (см., например, письмо к Е. П. Пешковой от конца декабря 1909 г. и к Сулержицкому от 26 ноября/9 декабря 1909 г.). Первые же отзывы были весьма противоречивыми. Так, учащиеся каприйской партийной школы, как вспоминает К. А. Алферов, встретили авторское чтение «гробовым молчанием, и это должно было сильно повлиять на его настроение» (Архив А. М. Горького, МоГ-1-27-1, л. 10 об.). С другой стороны, писатель И. И. Ясинский, находившийся тогда в лагере литературной реакции, утверждал, что «Городок Окуров» «во многих кружках

молодежи считается реакционным произведением», поскольку автор его якобы «очернил в нем протест несчастной русской души и обесценил революционный подъем ее в освободительные годы» (там же, КГ-п-91-11-3).

Даже те читатели, которые хорошо отнеслись к повести, достоинство ее нередко видели в том, чего никак не хотел сказать автор. Так, Амфитеатров радовался: «Хороший, добротный городок. И без Эрфуртской программы даже! Не сердитесь! Уж очень я Вас люблю, когда Вы изобразитель, а не школьный учитель» (*Г*, *Материалы*, т. I, стр. 207).

Но Горький рассердился: «Чего Вы меня всё „большевизмом“ шпыняете? — писал он Амфитеатрову в ответ на этот и другие упреки в социал-демократическом „уклоне“.— Вы же внимательный читатель! Большевизм мне дорог, поскольку его делают монисты, как социализм дорог и важен именно потому, что он единственный путь, коим человек всего скорее придет к наиболее полному и глубокому сознанию своего *личного* человечьего достоинства. Иного пути — не вижу 〈...〉 Не трогайте мой социализм» (*Г-30*, т. 29, стр. 104).

Однако более внимательные читатели правильно поняли и авторский замысел и художественные достоинства его исполнения.

Так, обстоятельный отзыв после прочтения первой половины произведения прислал Горькому Сулержицкий:

«...только что прочитал твой „Городок Окуров“ 〈...〉 Слушай,— ты знаешь — много, много разных мыслей вызвал твой рассказ. Я не говорю о тех, которые ты хотел вызвать в читателе, но других, лучших, тех, которых ты *не хотел*, но которые вызвал, потому что они есть у тебя в душе, и которые передаются от автора читателю непосредственно, какими-то неведомыми путями 〈...〉

Очень хорош Сима Девушкин — по-моему, самое главное лицо в рассказе. Удивительно тонко и волнительно написана его встреча с Лодкой и всё, что делается с Лодкой, когда она смотрит в глаза Симе. Это едва ли не сильнейшее место и по содержанию и по живописи. Сима для меня большой человек, и ничего не говоря кроме нелепых стихов — он говорит моей душе очень много, он трогает и объясняет и Россию и людей вообще больше всех. Его не забудешь — и не усомнишься в верности тех мыслей и чувств, которые он пробуждает. Без него „пока“ не может существовать русская жизнь. Оттого и Четыхер слушает его, крестясь, и Лодка тянется к нему, и Тиунов разговаривает по душе, как, вероятно, ни с кем не будет разговаривать. И написан он превосходно. Тиунов, несмотря на массу удачных штрихов, метких, острых, вроде разговора о серебряном рубле, о уездной России и т. д., говорит, для меня, уже по-готовому — особенно в разговоре с Бурмистровым о том, что возникает Россия и т. д. Тут, как и в большинстве его разговоров, я чувствую твою голову.

А сам он, пока ты *о нем* говоришь,— очень правдив и интригует. Лучший его разговор — это последний — с Симой.

И мне кажется, что только с этого момента ты начинаешь правильно писать его разговоры, так что если бы ты писал рассказ дальше, то, думаю, дальше он стал бы говорить уже как следует, потому что, повторяю, в последнем разговоре он уже говорит как он, а не как надо автору, по каким-то там его посторонним, умным соображениям.

В Вавиле, хотя он и знаком нам, много новых черт,— интересных,— но он меня в этом рассказе меньше занимает.

Да обо всех можно поговорить много, а в общем мне особенно кажется важным то, что между этими двумя мирами (господами и ⟨Заречьем?⟩) лежит какая-то безнадежно бездонная пропасть, которая не может не беспокоить зрячего человека уже самым фактом своего существования. И хорошо это сделано, что даже не поймешь, как ты ее сделал, а она зияет тут же под ногами, черная, страшная, и невольно спрашивает — как же это будет? Как с этим быть? Отвечать надо немедленно, а никаких ответов нет. А большинство, как твои окуровские интеллигенты, ходят по краю этой пропасти и даже и не видят ее ⟨...⟩

Мало пейзажа — жалко. То, что есть, хорошо. Но такое впечатление, точно ты боишься писать пейзаж. А может быть, это моя фантазия. Хорош дом, где живут девицы. Стол у исправника» («Новый мир», 1961, № 6, стр. 181—182).

16(29) июня 1910 г. Сулержицкий вновь писал Горькому: «Читаю дальше „Городок Окуров“ — замечательно хорошо. Прекрасный отзыв был в „Киевской мысли“ ⟨...⟩ Хорошо там почувствовали красоты и самобытность языка.

Очень хорошо убийство Симы и самочувствие Вавилы — совершенно неожиданно. Смело это написано. Хорошо они втроем впотьмах с трупом сидят и разговаривают» (там же, стр. 184).

И когда в ответ на такое восхищение повестью Горький написал приведенные выше слова, что «Окуров» ему не удался, Сулержицкий не согласился: «Вот ты всё не хвалишь „Окурова“, а он мне всё больше нравится,— не говоря уже о таких изумительных красотах языка, сравнениях и т. д., которыми полна вся повесть» (там же, стр. 185—186).

Впрочем, и Амфитеатров в цитированном выше письме отзывался о повести очень одобрительно: «Прочитал наспех и залпом „Городок Окуров“. Удивительную штуку Вы написали! Не знаю, что будет дальше, но покуда — нравится мне даже больше „Лета“. А Вы знаете, как я высоко „Лето“ ценю! Все люди живые. И, что, извините, не всегда у Вас, женщины великолепны и правдивы. Неужели наконец-то настоящий русский народный роман иметь мы будем? ⟨...⟩ Ох, как это хорошо у Вас, когда Тиунов с Симою идут ночью, и у Симы, под говор Тиунова, стихи всё сочиняются» (*Г*, *Материалы*, т. I, стр. 206—207). Получив XXIX *Сб Зн*, Амфитеатров вновь высоко оценил повесть: «Спасибо за вторую половину „Городка Окурова“. Так как она переходная, то говорить о ней в отдельности подожду. „Окуров“ — доказательство, что Вы с каждым новым

томом идете всё вперед и вперед в смысле изобразительности. Бытовые декорации и психологический фон написаны в „Окурове“ так ярко, что пред ними уже меркнет самое действие. Да иначе и быть не может: какое действие в городке Окурово или Теплой слободе? А народ хороший, добротный. И пишете Вы его так, что смерть в Россию хочется» (Архив А. М. Горького, КГ-п-2-1-46).

Положительно оценил «Городок Окуров» А. А. Блок, но понимал он повесть своеобразно. Позже, в заметке «А. А. Блок», Горький вспоминал о своей беседе с поэтом после Октября:

«Он сказал, что ему приятно видеть, как я освобождаюсь „от интеллигентской привычки решать проблемы социального бытия“.

— Я всегда чувствовал, что это у вас не настоящее. Уже в „Городке Окурове“ заметно, что вас волнуют „детские вопросы“ — самые глубокие и страшные!

Он — ошибается...» (*Г-30*, т. 15, стр. 329).

Большое число отзывов было просто восторженных.

«Я в восторге от „Городка Окурова“. Ах, как это хорошо!»—писал Горькому С. Кондурушкин (Архив А. М. Горького, КГ-п-37-2-19); «С наслаждением прочел „Городок Окуров“, который вообще имеет успех,— вторил ему С. Недолин (Поперек).— Даже Кузмин в последней кп⟨иге⟩ „Аполлона“ очень хвалит эту вещь» (там же, КГ-п-58-11-2); «Ваш „Городок Окуров“ захватил меня всего,— писал художник С. М. Прохоров.— В один присест, не отрываясь, я прочитал его,— и когда кончил,— стало жаль, что всё. Сильная, милая, родная вещь! Читая, я переносился в этот городок, который стоит, „как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони“. Как это хорошо! Милая, милая вещь! Как просто и как сильно» (там же, КГ-ди-8-17-2).

Особенно много откликов получил Горький от начинающих писателей, писателей-самоучек, которых до глубины души затронул образ Симы Девушкина. Так, П. Х. Максимов заметил: «Сима и Кожем⟨якин⟩ — это моя кровная родня» (там же, КГ-п-49-2-7); Г. Гребенщиков сравнил судьбу Симы Девушкина с судьбой сибирского поэта-самоучки И. Тачалова (см.: С. К а с т о р с к и й. Из русских характеров в творчестве М. Горького.— «Ученые записки Ленинградского пед. ин-та», т. 58, 1947, стр. 73).

Весьма разнообразными были отзывы критики о «Городке Окурове». Читая их, не следует забывать, что незадолго перед тем декадентствующей критикой был провозглашен «конец Горького». Теперь, не найдя в новом произведении открытой проповеди социализма, охранительная и буржуазная критика сделала попытку приписать Горькому защиту того, против чего он выступал в своем произведении. Пьяница и хулиган Бурмистров выдавался за выразителя «революционного духа» горожан, Девушкин — за певца религиозной мечтательности и незлобивости, а Тиунов — за проповедника махрового национализма. На этом основании было провозглашено: «Горький продолжается».

Так писал, например, нововременский публицист П. П. Перцев («Литературные письма».— «Новое время», 1910, 31 декабря). При этом «продолжается» истолковывалось как синоним слова «перерождается»; писатель якобы перестал воспевать социализм и можно надеяться, что «в один прекрасный день мы узнаем что-нибудь неожиданное о Горьком», например, что из писателя-демократа вырастет «Горький — буржуа» (см.: П. П. Перцев. Горький-буржуа.— «Новое время», 1909, 24 ноября).

Узнав об отзыве Перцева, Горький писал Е. П. Пешковой в начале (середине) января 1910 г.: «„Окуров“ похвалил Перцев в „Нов⟨ом⟩ времени“ — я представляю, что теперь будут писать „доброжелатели“ мои!» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 85).

Писатель не ошибся. В уже упомянутом письме по поводу отказа Горького сотрудничать в журнале «Новая жизнь», Ясинский язвительно спрашивал: «И разве Вы, еще на днях, так сказать, не написали „Городок Окуров“, который приветствовало „Новое время“?» (Архив А. М. Горького, КГ-п-91-11-3).

Вокруг «Городка Окурова» разгорелись критические страсти. Одни хвалили повесть за то, за что другие ругали. В либерально-буржуазном «Вестнике Европы» с решительным осуждением повести выступил С. Адрианов. Он считал, что «Городок Окуров» написан «тенденциозно, искусственно и вяло», «поблекли и краски, и язык, и психология», поскольку здесь «на первый план выступило служение определенной тенденции, а конкретный образ и беллетристическая форма низведены на степень приема пропаганды». В повести видно желание автора «показать, что и тут, на полудиких, некультурных низах населения начала зарождаться идея классового самосознания и классовой борьбы, ненависть обездоленных к сытым, бесправных к власть имущим». Критик сомневался в «объективной правильности такого толкования фактов жизни» и считал, что именно эта «теоретичность замысла лишила „хронику“ Горького художественной правдивости, связи с жизнью».

«Нет, положительно, не за свое дело взялся Максим Горький»,— восклицал критик и заявлял, что его успокаивает только то, что «будущий историк» литературы сумеет найти место «и для прежних художественных произведений Максима Горького, сложившихся тогда, когда он не думал ни о каких партиях, программах и пропагандах, а просто рассказывал то, что заполняло его душу.

Теперь наступила другая полоса. Потерял себя Горький, отдал свою царственную „способность“ в кабалу за чечевичную похлебку партийного работника — и захирела в неволе она, вольнолюбивая, потеряла всю свою силу и власть над людьми» («Вестник Европы», 1910, № 2, стр. 362—365).

Тогда же с публичной лекцией «Максим Горький в его последних произведениях» выступил профессор М. Рейснер, поставивший Горькому в заслугу то, что «в его последних произведениях отсутствует партийная тенденция. В них Горький дает мистическую идеологию ⟨...⟩ Герои Горького ищут нового

бога, алчут услышать от него всю правду жизни и находят его в народе-богостроителе» («Известия 〈...〉 книжных магазинов т-ва М. О. Вольфа», 1910, № 5, стлб. 79).

И даже прогрессивно настроенный автор первой книги о Горьком, В. Ф. Боцяновский, увидел достоинство «Городка Окурова» в отчетливой, с его точки зрения, перекличке повести с романом Ф. Сологуба «Мелкий бес». Не замечая принципиальной разницы в отправных позициях и идейных целях писателей, критик считал, что оба они идут «рука об руку», как бы дополняя друг друга: «Если Сологуб взял окуровские верхи, разного рода „интеллигенцию“, то Горький берет мещанство, низы. Сложите их вместе, и картина Окурова получится полная...» («Утро России», 1910, № 9, стр. 21).

Меньшевистскому критику В. П. Кранихфельду понравилась только первая часть повести: «Первая часть хроники 〈...〉 не уступает, по своим художественным достоинствам, лучшим страницам его прежних произведений», «не выцвели краски на его палитре, не дрожит кисть в его твердой руке. Художник целиком сохранил свое яркое дарование, и фигуры и сцены в первой части „Городка Окурова“ по-прежнему красивы и жизненны», в этой части художник, «свободно распоряжаясь материалом, действительно *творит* жизнь».

Что же касается второй части, где речь идет о «смуте революционного периода», то она, в глазах критика, как «хроника „Городка Окурова“ окончательно теряет всякий интерес. Все многословные, посвященные „событиям“ страницы хроники,— говорит Кранихфельд,— я могу определить лишь одним коротким, но выразительным словом: че-пу-ха». И далее он замечает: «...в этой части хроники трудно уловить какое бы то ни было определенное отношение автора к событиям. Ясно только, что здесь художник по рукам и ногам связан. Но чем?» Так и не отвечая на собственный вопрос, критик надеется, что читатель сам поймет: автор связан партийной идеей, или, как он говорит в начале своей рецензии, «игом прозелитизма» («Современный мир», 1910, № 3, стр. 119—125).

Гораздо более объективно оценил повесть рецензент «Русского богатства», одним из редакторов которого в это время был В. Г. Короленко. Сопоставив два произведения — «Лето» и «Городок Окуров», рецензент все преимущества отдавал второму: «Здесь именно мало красок и много яркости, мало ухищрений и много выразительности, словам тесно, а мыслям, вернее впечатлениям — просторно. Есть и здесь новые люди, новая психика, новые мысли, но всё это органическое 〈...〉 Точно вычеканенные, ясные и отчетливые стоят отдельные фигуры героев рассказа пред читателем 〈...〉 И весь городок зарисован в немногих словах с необычайной обстоятельностью и картинностью». Рецензент тонко почувствовал, что хотя автор и изобразил «мертвое захолустье, окоченевшее в традиции», но люди в нем живые: «...все искатели, искатели, все неустанно спрашивают о чем-то важном; и когда вопросы их узко конкретны, практически-деловые, то кажется, что это только теоретическая

беспомощность, что за этой конкретностью всегда стоит широкий общий вопрос о том, как жить». С едкой иронией ответил рецензент «Новому времени», увидевшему в словах Тиунова: «возникает Россия 〈...〉 просыпается в народе любовь к своей стране, к русской милой земле его» — поворот Горького к национализму, отказ от интернационалистических, социалистических позиций: «„Новое время“ уже так обрадовалось этим словам, что и рассказ превознесло, и эдекство Горькому простило, и публичный дом, который есть в рассказе, приемлет без воя о порнографии: не преждевременно ли? На радостях не заметили, что рассказ далеко не кончен, да если бы и кончен — тому, что „возникает Россия“, едва ли „Новому времени“ радоваться, и кто для „размышляющего“ народа окажется в „инородных“, получивших над ним власть,— покажет будущее» («Русское богатство», 1910, № 1, отд. II, стр. 144—148).

Высоко оценил новую повесть Горького критик Вяч. Полонский (впоследствии — видный деятель советской литературы):

«Правда, напечатано лишь начало ее, но это так хорошо, что я не могу устоять от соблазна сказать несколько слов и о ней 〈...〉 Обитатели „Городка Окурова“ ярки, выпуклы, облечены в кровь и плоть, и дышат и живут на немногих страницах.

В этой хронике, широко задуманной, опять перед нами прежний Максим Горький — большой художник, опять палитра его блещет яркими красками, и вновь, как и прежде, поддаешься обаянию его кисти и веришь каждому шагу, каждому поступку, каждому движению его окуровских мещан, жестоко обойденных судьбою 〈...〉 Повторяю,— напечатано лишь начало хроники. Каково будет окончание, мне неизвестно, но если оно будет таково же, как и начало,— мы получим великолепное произведение 〈...〉 „Окуров“ показывает, что Горький вновь силен и молод, как прежде» («Всеобщий ежемесячник», 1910, № 1, стр. 112—113).

Ясно и прямо высказал свое мнение о «Городке Окурове» М. Морозов в статье «Мертвая жизнь». Он так ответил тем «ценителям» творчества Горького, которые боялись, что демократ «съест» в нем поэта:

«Автор — марксист, и марксист определенного толка 〈т. е. большевистского направления〉, делает смотр уездному государству» и «каждая страница хроники городка Окурова, написанная эпически спокойно, полна сатиры, брызжет ядовитым сарказмом на „родство не помнящее“ и „наследства лишенное“ мещанство. Это едва ли не самая беспощадная в русской литературе характеристика мещанства с его мелким националистским патриотизмом и отсутствием даже проблеска сознания о единой великой России. Ни единого проблеска, ни единого луча надежды не оставил им автор».

И именно вот эта, внешне спокойная и бесстрастная, по по существу полная «жгучей ненависти и нещадящего гнева» речь большого писателя помогла ему не только дать идейно правильную оценку «мертвой, разлагающейся жизни» уездного

мещанства, но и достичь высот художественной изобразительности: «Мещанский быт уездных городов России впервые отражен с такой художественной силой, в таком широком охвате. Это страницы, которые останутся в русской литературе ее украшением 〈...〉 Всё так знакомо и вместе неожиданно ново, как будто давно забытое впервые засветилось в новом, не пережитом еще блеске воспоминания» (М. Морозов. Очерки новейшей литературы. СПб., 1911, стр. 188—196).

С «Городком Окуровом» в русском языке появилось понятие «окуровщина» — как обобщение некоторых типичных явлений русской социальной жизни, символ определенного уклада, определенного миропонимания. Типичность окуровщины для революционной России позволила самому Горькому после Октября писать, что «отлично знакомые нам городки Окуровы превращаются в центры социалистической культуры» (*Г-30*, т. 25, стр. 459), что «исчезают древние городки Окуровы, гнездища тупых мещан, людей ленивого ума, мелких паразитов, которые всю жизнь жульнически старались разбогатеть на крови рабочих, крестьян и умирают полунищими. Вместо Окуровых в центрах промышленности создаются новые, социалистические города, уничтожая в стране древний идиотизм мещанства, скопища деревянных особнячков в три окна, душные чуланы, где веками хранился старинный хлам церковных суеверий, где изо дня в день непрерывно шла мелкая борьба зоологического индивидуализма слепых, себялюбия, самости, ячества, зависти, жадности и всякой гадости» (*Г-30*, т. 26, стр. 375—376).

Стр. 7. «*...уездная, звериная глушь*».— Такого выражения в произведениях Достоевского нет; по-видимому, это перефразировка слов «в уезде далеком и зверском» из «Преступления и наказания». Эти слова подчеркнуты Горьким в хранящемся в его личной библиотеке Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского, т. VI. Изд. 6-е. СПб., 1904, стр. 17.

Стр. 7. *Волнистая равнина ∽ на широкой сморщенной ладони.*— Амфитеатров в письме к Горькому писал: «Великолепно у Вас вступление в роман. Первая же чудесная фраза дает чисто Глинкин аккорд и тон всему дальнейшему» (*Г*, *Материалы*, т. I, стр. 207). Сам же Горький, правда, значительно позже, в 1928 г., так отнесся к первой фразе повести: «Мне нужно было написать несколькими словами внешний вид уездного городка средней полосы России. Вероятно, я сидел часа три, прежде чем удалось подобрать и расположить слова в таком порядке: „Волнистая равнина...“». Приведя полностью комментируемую фразу, Горький продолжает: «Мне показалось, что я написал хорошо, но, когда рассказ был напечатан, я увидел, что мною сделано нечто похожее на расписной пряник или красивенькую коробку для конфет» (*Г-30*, т. 24, стр. 490).

Стр. 8. *...слушают чтение пролога, минеи...*— *Пролог* — древнерусский сборник кратких житий святых, поучений и церковно-проповеднических повестей и рассказов; *Минеи-четьи* — древнерусский сборник рассказов о житиях христианских

святых с расположением материала для чтения по числам месяца.

Стр. 8. *...к Макарию на ярмарку...*— Наиболее известная в России ярмарка, первоначально проводившаяся при Макарьевском Желтоводском монастыре на Волге, а позже, с 1817 г., переведенная в Нижний Новгород.

Стр. 11. *Михайлов день* — православный церковный праздник архистратига Михаила, 8 ноября ст. ст.

Стр. 15. «*Об изобретателех вещей*» — «Полидора Виргилиа Урбинского осмь книг о изобретателех вещей» (М., 1720), своеобразная энциклопедия развития науки и культуры первой половины XVI века. Первое издание книги вышло в 1499 г. Русский перевод книги был сделан Г. Бужинским (по другим источникам — Ф. Лопатинским) по распоряжению Петра I. Известно второе издание этой книги, выпущенное в 1782 г. Н. И. Новиковым.

Стр. 15. «*Краткое всемирное позорище, или Малый феатрон*».— Ни в одном из наиболее полных описаний русских старопечатных книг не зарегистрировано издание под таким заголовком. Однако возможно, что Горькому было известно какое-либо сокращенное издание книги: «Феатрон, или Позор исторический, изъявляющий повсюдную историю священного писания и гражданскую 〈...〉 вкратце, ради удобного памятствования, чрез Вилгелма Стратеммана собранный...». СПб., 1724, перевод Г. Бужинского (см. П. Строев. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке 〈...〉 Ф. А. Толстова. М., 1829, стр. 462).

Стр. 18. *Годов шесть тому назад считали!* — По переписи 1897 г. к сословию мещан в России было отнесено более 13 млн. человек.

Стр. 22. *Боже,— милостив буди ми грешному.*— Евангелие от Луки, гл. 18, стих 13.

Стр. 22. *Был при Александре Благословенном грушник Слепушкин...*— Ф. Н. Слепушкин (1783—1848), поэт-самоучка, происходил из ярославских крестьян. Выпустил ряд книг: «Досуги сельского жителя» (1826), «Сельская поэма» (1830), «Четыре времени года русского поселянина» (1830), «Новые досуги сельского жителя» (1834); за первый сборник стихов Слепушкин был награжден золотой медалью Академии наук. Отзыв Горького о Слепушкине см.: *Архив* $Г_1$, стр. 106.

Стр. 22. *...ему государь золотой кафтан подарил да часы, а потом Бонапарту хвастался...*— Здесь допущен явный хронологический сдвиг. Первое издание стихотворений Слепушкина вышло в 1826 г. В том же году он получил от Николая I шитый золотом кафтан и золотые часы — от императрицы Александра I тогда уже не было в живых и, естественно, не могло быть никакого разговора с Наполеоном (И. Ремизов. Ярославский крестьянин-стихотворец Ф. Н. Слепушкин. СПб., 1884, стр. 28—29).

Стр. 23. *Во-лга, Во-лга, вес-ной много-водною...* — Слова из песни «Укажи мне такую обитель» (см. стихотворение

Н. А. Некрасова «Размышление у парадного подъезда»), ставшей популярной среди студенчества; исполнялась на мотив, заимствованный из оперы Доницетти «Лукреция Борджиа».

Стр. 24. *«Как-то раз перед толпою...»* — Народная песня в темпе марша на слова стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор» (1841).

Стр. 26. *...горестная японская война...*— Русско-японская война 1904—1905 годов.

Стр. 30. *Тиун* — наименование должностного лица в хозяйственном управлении на Руси в X—XVII веках.

Стр. 38. *«По небу полуночи ангел летел».*— Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Ангел» (1831).

Стр. 43. *«Однажды бог, восстав ⟨от сна⟩...»* — Первая строка стихотворения П.-Ж. Беранже «Добрый бог» в переводе А. Дельвига.

Стр. 45. *И я ль страдала, страдануля....* — Народная частушка (вариант ее см.: «Великорусские частушки» под ред. Е. Н. Елеонской. М., 1914, стр. 362).

Стр. 48. *Встает заря, идет разносчик...* — Строки из «Евгения Онегина», гл. 1, строфа XXXV. У Пушкина: «Встает купец, идет разносчик...»

Стр. 48. *Симеон-богоприимец* — житель Иерусалима Симеон, которому, согласно евангельской легенде, было предсказано «духом святым», что он не умрет, пока не увидит Иисуса Христа. Когда родители принесли младенца Иисуса в храм, Симеон взял его на руки и произнес: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение твое» (Евангелие от Луки, гл. 2, стихи 29—30).

Стр. 73. *Авессалом* — сын царя Давида, поднявший мятеж против отца и погибший в борьбе с ним (Библия. Вторая книга царств, главы 15—18).

Стр. 73. *Соломон* — царь израильско-иудейского царства (960—925 гг. до н. э.).

Стр. 74. *...чтоб он меня окладом не душил...*— Оклад — прямой налог (государственный, поземельный, с наследства и др.).

Стр. 85. *...что значит забастовка эта...*— Речь идет о Всероссийской политической стачке в октябре 1905 г., переросшей затем в декабрьское вооруженное восстание.

Стр. 88. *Мырамы-орное твое личико...*— Пародия на мещанский «жестокий» романс (*Ливанова*, стр. 271).

Стр. 112. *Свобода всем вышла!* — Манифест от 17 октября 1905 г., содержавший лживые обещания о даровании народу свободы слова, собраний и пр., опубликованный царским правительством под давлением Всероссийской октябрьской стачки и других событий нараставшей революции. С восторгом встреченный либеральной буржуазией, манифест не остановил роста революционного движения народных масс.

## ЖИЗНЬ МАТВЕЯ КОЖЕМЯКИНА

(Стр. 123)

Впервые напечатано в «Сборниках товарищества „Знание“ за 1910 год»: ч. I — кн. XXX, стр. 1—107, кн. XXXI, стр. 1—91; 1911, ч. II — кн. XXXV, стр. 1—142; ч. III — кн. XXXVI, стр. 1—141; ч. IV — кн. XXXVII, стр. 1—208. Первая часть повести в «Сборниках товарищества „Знание“» озаглавлена «Городок Окуров. Хроника» и сопровождена примечанием от редакции: «Продолжение. Начало напечатано в XXVIII—XXIX сборниках „Знание“». На шмуцтитулах в верхнем правом углу дано мелким шрифтом: «Городок Окуров», посредине страницы — крупно: «Матвей Кожемякин». Начиная со второй части, имевшей подзаголовок «Постоялка», повесть выходила без заголовка «Городок Окуров»; третья и четвертая части имели лишь цифровые обозначения частей. Одновременно каждая часть выходила отдельной книгой: М. Г о р ь к и й. Матвей Кожемякин. Повесть. Berlin, Verlag I. Ladyschnikow, ⟨1910—1911⟩.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная машинопись всей повести — $АМ_1$ (ХПГ-28-1-2), послужившая оригиналом набора для *Л*.

2. Авторизованная машинопись второй части повести — $АМ_2$ (ХПГ-28-1-3), послужившая оригиналом набора для XXXV *Сб Зн*.

3. Экземпляр второй части в издании *Л* (ХПГ-28-1-4), правленный автором для издания *ЖЗ*.

4. Экземпляры томов XII и XIII в издании *ЖЗ* (ХПГ-29-1-1 и ХПГ-29-1-2), правленные автором для издания *К*.

5. Неавторизованная машинопись отрывка из первой части под заголовком «Волга» (ХПГ-29-1-3).

Печатается по тексту правленных автором томов *ЖЗ* со следующими исправлениями:

*Стр. 134, строка 17*: «деймоны» вместо «демоны» (по $АМ_1$ и *Сб* $Зн_{30}$).

*Стр. 144, строка 15*: «сытно» вместо «сыто» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{30}$).

*Стр. 148, строка 7*: «бросит» вместо «бросил» (по тем же источникам).

*Стр. 151, строка 38*: «богомаз» вместо «богомазом» (по тем же источникам).

*Стр. 152, строки 36—37*: «красным и желтым» вместо «зеленым и красным» (по тем же источникам).

*Стр. 156, строка 6:* «баушка» вместо «бабушка» (по тем же источникам).

*Стр. 169, строка 13:* «свалился» вместо «свалися» (по тем же источникам).

*Стр. 190, строка 32:* «по юноша» вместо «и юноша» (по *Сб* $Зн_{30}$).

*Стр. 197, строка 2:* «рядом сидела» вместо «сидела» (по $АМ_1$ и *Сб* $Зн_{30}$).

*Стр. 211, строка 41:* «умрет?» вместо «умер?» (по тем же источникам).

*Стр. 213, строка 39:* «жалости» вместо «жалостью» (по смыслу).

*Стр. 219, строка 30:* «как хотелось» вместо «так хотелось» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{31}$).

*Стр. 277*, между строками *2* и *4* вставлена фраза: «Кожемякин серьезно возразил:» (по $АМ_1$ и *Сб* $Зн_{35}$).

*Стр. 283, строка 15:* «странно» вместо «страшно» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{35}$).

*Стр. 290, строка 7:* «их не покроет» вместо «не покроет» (по тем же источникам).

*Стр. 290, строка 32:* «неприютно качаются» вместо «неприятно качаются» (по тем же источникам).

*Стр. 298, строка 28:* «заговоры» вместо «заговор» (по $АМ_1$ и *Сб* $Зн_{35}$).

*Стр. 309, строка 36:* «надобе» вместо «надобно» (по тем же источникам).

*Стр. 313, строка 13:* «заставляла» вместо «заставляя» (по смыслу).

*Стр. 329, строка 21:* «красный» вместо «красивый» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{35}$).

*Стр. 329, строка 23:* «не хощет» вместо «не хочет» (по тем же источникам).

*Стр. 330, строка 33:* «говорил» вместо «говорит» (по *Л* и *Сб* $Зн_{35}$).

*Стр. 340, строки 15—16:* «женщине» вместо «женщины» (по смыслу).

*Стр. 360, строки 16—17:* «молоньей» вместо «молньей» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{35}$).

*Стр. 388, строка 3:* «пополуночи» вместо «до полуночи» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{36}$).

*Стр. 392, строка 3:* «по всей земле» вместо «по земле» (по тем же источникам).

*Стр. 420, строка 13:* «близко» вместо «близка» (по тем же источникам).

*Стр. 421, строка 19:* «в густой» вместо «к густой» (по тем же источникам).

*Стр. 439, строка 22:* «награждаешь» вместо «вознаграждаешь» (по тем же источникам).

*Стр. 449, строка 11:* «Мышиный Горб» вместо «Мышиный Гроб» (по тем же источникам).

*Стр. 453, строка 2*: «над нею» вместо «под нею» (по смыслу).

*Стр. 455, строка 39*: «и Горюшина» вместо «Горюшина» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{36}$).

*Стр. 496, строка 6*: «а шрам» вместо «и шрам» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{37}$).

*Стр. 500, строка 23*: «прикрыв» вместо «прикрыл» (по тем же источникам).

*Стр. 501, строка 3*: «посунул» вместо «подсунул» (по тем же источникам).

*Стр. 504, строка 36*: «Аржанов» вместо «Ячменев» (ср. на странице 503 строку 35).

*Стр. 524, строка 24*: «улыбками» вместо «улыбки» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{37}$).

*Стр. 528, строка 41*: «они сливались» вместо «они то сливались» (незаконченная авторская правка в *Пр ЖЗ*).

*Стр. 535, строка 25*: «прячемся» вместо «примемся» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{37}$).

*Стр. 539, строка 37*: «недолго» вместо «долго» (по смыслу).

*Стр. 544, строки 7—8*: «объяснила» вместо «объявила» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{37}$).

*Стр. 559, строка 11*: «И велено» вместо «А велено» (по тем же источникам).

*Стр. 567, строка 11*: «и Матвей» вместо «Матвей» (по тем же источникам).

*Стр. 578, строка 22*: «бородку» вместо «бороду» (по тем же источникам).

*Стр. 586, строка 20*: «разрезав» вместо «разрезал» (по тем же источникам).

*Стр. 588, строка 35*: «Прачкин» вместо «Прачкин тоже» (незаконченная авторская правка в *Пр ЖЗ*).

*Стр. 597, строка 7*: «да — немногим» вместо «немногим» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{37}$).

*Стр. 597, строка 10*: «пришло» вместо «пришлое» (по тем же источникам).

*Стр. 602, строка 6*: «Любавья-то» вместо «Любовья-то» (по $АМ_1$ и *Л*) [1].

*Стр. 612, строка 26*: «маленький резон» вместо «своя мысль» (цепз.?) (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{37}$).

*Стр. 628, строка 11*: «Она заглянула» вместо «Она снова заглянула» (незаконченная авторская правка в *Пр ЖЗ*).

*Стр. 629, строки 23—24*: «и оправдать» вместо «оправдать» (по $АМ_1$, *Л*, *Сб* $Зн_{37}$).

Изучение этапов работы Горького над задуманной им вещью из трех частей под общим заголовком «Городок Окуров. Хроника» показывает, что по окончании первой части автор приступил к написанию не второй, а третьей части, названной им «Большая любовь». Однако работа эта была очень скоро

[1] В дальнейшем это различие в написании имени не оговаривается.

прервана (см. ниже комментарий к сохранившимся наброскам «Большой любви»), замысел претерпел изменение, и автор начал писать вторую часть. По первоначальному замыслу «Матвей Кожемякин» должен был быть вообще «коротенькой вещью», содержащей, видимо, историю городка в изложении «окуровского летописца» Матвея Кожемякина. Замысел этот Горький рассказал летом 1909 г. на Капри Бунину, который 22 сентября (5 октября) писал автору: «И теперь старичок Ваш особенно задевает меня. Ах, эта самая Русь и ее история» (*Г, Материалы*, т. II, стр. 414). Но, приступив к написанию этой части хроники, Горький увидел всю сложность предстоящей работы и в конце декабря 1909 — начале января 1910 г. сообщал Е. П. Пешковой: «Мне, оказывается, необходимо кончить „Окуров" к 31-му сборнику 〈„Знания"〉. Это трудно» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 84). Трудно было прежде всего из-за разраставшегося замысла. Беседуя с Пятницким, Горький заметил, что «история окуровского летописца», т. е. уже один «Матвей Кожемякин», без первой и третьей частей хроники, посвященных другим темам, займет около 15 листов (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1910, л. 15). Теперь и сам Горький иначе относится к уже написанному и называет первую часть «Матвея Кожемякина» в письме к Боголюбову от 9(22) февраля 1910 г. «большой повестью»: «Заканчиваю большую повесть для весеннего сборника, может быть — для двух даже. Работаю часов по 12! Спина болит» (там же, ПГ-рл-5-77). Об этом же Горький писал Е. П. Пешковой в конце февраля — начале марта того же года: «Гоню повесть, торопясь кончить ее к апрелю, а она — растет, как молочай на Капри» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 87). Появляются в письмах сведения и о новом объеме всей хроники: «Работаю над продолжением „Окурова", над второй частью его,— пишет Горький М. Хилквиту в конце февраля.— Всех будет три, листов 25—30 русских» (*Г Чтения*, 1962, стр. 21).

Разрастающийся замысел захватил Горького: «Пишу сидя, стоя, вижу продолжение повести во сне — даже смешно порой»,— сообщает он Е. П. Пешковой в первых числах марта 1910 г. (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 90).

К этому времени вторая часть хроники «Городок Окуров», иными словами, то, что сейчас составляет первую часть «Жизни Матвея Кожемякина» — была закончена; 5(18) марта Горький читал эту часть своим домашним (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1910, л. 25), а 13(26) марта сообщил Е. П. Пешковой: «...первую часть повести — кончил» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 89). Об окончании работы Горький известил и Боголюбова 15(28) марта 1910 г.: «На днях высылаю материал для двух следующих сборников с новой моей повестью» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-5-80). Но еще до получения этого письма и зная, что Горький пишет *новую* повесть, Боголюбов в недоумении писал Пятницкому 13(26) марта: «Не только я, но и другие считают, что „Окуров" не окончен. Если окончен, то 30-й 〈сборник〉 пойдет в том составе, как набран. Да?» (там же, П-ка Зн-8-1-14).

Пятницкий разъяснил Боголюбову, что «новая» повесть и есть окончание «Окурова», и в письме от 26 марта (8 апреля) того же года сообщил: «Но беда была в том, что до настоящего момента следующая часть „Окурова“ не была готова ⟨...⟩ Теперь дело выяснилось. Дальнейшая часть „Окурова“ написана и обработана ⟨...⟩ Но делать перерыв А. М. тоже не хочет. Решено выпустить в один день два сборника: XXX и XXXI, где будет сполна помещена следующая часть „Окурова“ [1] ⟨...⟩

Высылаю Вам материалы.

XXX сборник: начало составят первые 110 страниц рукописи „Окурова“ ⟨...⟩

XXXI сборник: вторая половина „Окурова“, 111—203 страницы рукописи» (там же, № 65856).

30 марта (12 апреля) 1910 г. машинопись была выслана в Петербург (там же, № 65857, № 65858).

Тогда же Горький изготовил машинописную копию отрывка из первой части «Матвея Кожемякина» — рассказ Савелия Кожемякина о Волге — и под заголовком «Волга» отослал ее в письме Е. П. Пешковой: «Максиму посылаю отрывок из новой повести о Волге, которую он, конечно, забыл. Впрочем, такой, как это у меня написано, он ее не видел. Я — тоже? Всё равно. Дед мой видел» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 89). Копия эта сохранилась. Текст ее: «Но глубже всех рассказов ∽ вот какая разымчивая река!» (*стр. 143, строка 17, стр. 144, строка 32*), имеет минимальные разночтения с основной машинописью; автором она не правлена и не подписана, но имеет надзаголовок: «Отрывок из повести „Матвей Кожемякин“». На отдельном листке в архивной папке с текстом отрывка имеется надпись, что отрывок по указанию Горького предназначался для детской хрестоматии. Надпись сделана, видимо, со слов Е. П. Пешковой, передавшей эту машинопись в Архив А. М. Горького в 1938 г.

Получив машинопись, редакторы издательства «Знание» в Петербурге начали ускоренно работать: «Набор гоню вовсю, почти всё набрано»,— сообщал Боголюбов 12(25) апреля, а на следующий день выслал на Капри корректуру (Архив А. М. Горького, П-ка Зн-8-1-16; КГ-п-10-2-3).

Выполняя распоряжение Пятницкого, Боголюбов разделил первую часть «Матвея Кожемякина» на два сборника, но, опасаясь убытков, возражал против одновременного выпуска их. 13(26) апреля он писал Горькому: «Я понимаю Ваше желание, чтобы публика не ждала и видела окончание „Окурова“. Но почти того же, и без риска, убытка для нас, мы достигнем путем анонсов при 30-м сборн⟨ике⟩» (там же, КГ-п-10-2-3), а Пятницкого уверял: «30-й ⟨сборник⟩ выходит в начале мая; ровно через 15 дней будет выпущен 31-й с окончанием „Окурова“» (там же, П-ка Зн-8-1-16). Практически так и было сделано:

---

[1] С такой же просьбой к Боголюбову обратился и Горький: «Необходимо, чтоб *оба* сборника вышли вместе, и я сердечно прошу Вас позаботиться об этом» (там же, ПГ-рл-5-81).

XXX сборник вышел в свет 7(20) мая, а XXXI — 20 мая (2 июня) 1910 г.

Горький был очень недоволен; он писал Амфитеатрову в мае-июне 1910 г.: «...к огорчению моему, опять разбита повесть на два сборника...» [1] (там же, ПГ-рл-1-25-69), а чуть позже, иронически используя название книги А. Потебни «О Доле и сродных с нею существах», которую в это время разыскивал для работы над образом Маркуши из «Матвея Кожемякина», жаловался: «Разбросал „Кожемякина“ не я. Такова судьба 〈...〉 Судьба, говорю, виновата. Доля. И — сродные с нею существа» (там же, ПГ-рл-1-25-71).

Уже в процессе работы над второй частью «Городка Окурова» Горький пришел к выводу, что созданное им произведение требует продолжения. «Пребываю в городке Окурове,— писал он Амфитеатрову в марте 1910 г.,— книга о коем, как выясняется, будет едва ли не больше города самого 〈...〉 Кончил половину повести» (там же, ПГ-рл-1-25-68). Очень образно об этом сказано Горьким в письме к нему же, относящемся к маю-июню 1910 г.: «Наступают на меня десятками эти российские люди, и каждый просит: меня запиши! Тоже хороший человек был и тоже зря прожил всю жизнь. Уговариваю: отступитесь, братцы, я вам не историк! А они: да кому, окромя, историком-то нашим быть? Эх, землячок, ты гляди, чего делают писатели-то, совсем нас, Русь, похерили в сердцах своих. Монахини, канатчики, бродяги, окуровцы идут, идут, идут. И чувствую, что мне с ними как будто не по силам справиться» (там же, ПГ-рл-1-25-70).

С этой же точки зрения интересен и такой факт. Получив машинопись первой части, Боголюбов в письме от 12(25) апреля 1910 г. задал недоуменный вопрос: «Почему в „Окурове“ при 31 сборн〈ике〉 говорится „Продолжение“, а не „Окончание“?» (там же, П-ка Зн-8-1-16). Пятницкий в письме от 20 апреля (3 мая) того же года разъяснил ему: «Еще заметьте: в 30 и 31 сборниках „Окуров“ не кончен. Это продолжение, а не окончание. Так и было написано мною на титуле. Напрасно Вы предполагали неточность. Об этом дам телеграмму [2]. Но в конце текста ни в 30, ни в 31 сборнике *не* нужно ставить — (Продолжение следует). На этом настаивает А〈лексей〉 М〈аксимович〉.

Еще он просил печатать в колонтитуле не „Городок Окуров“, а „Матвей Кожемякин“ 〈...〉 Я уверен, что теперь поздно, что Вы уже напечатали некоторые листы. Если напечатали, оставьте как есть» (там же, № 65859) [3].

Это письмо не только подтверждает, что продолжение «Матвея Кожемякина» было задумано Горьким еще в процессе работы над первой частью его, но и приводит к выводу, что уже в это время «Матвей Кожемякин» стал рассматриваться им не

---

[1] На два сборника был разделен и «Городок Окуров».

[2] Такая телеграмма сохранилась: «„Окуров“ не кончен. Это продолжение» (там же, № 66532).

[3] В XXX и XXXI *Сб Зн* сохранился колонтитул «Городок Окуров».

как часть «Городка Окурова», а как самостоятельное произведение.

Поэтому, закончив первую часть «Матвея Кожемякина», Горький сразу приступил к работе над второй, которой был дан самостоятельный заголовок — «Постоялка». 7(20) ноября 1910 г. Горький сообщал Коцюбинскому: «„Кожемякина“ осторожненько пишу. Тема — строгая и становится всё строже, требует всё более обдуманного и осторожного отношения. Как по канату ходишь» (*Г-30*, т. 29. стр. 137). Об этом же Горький сообщал Е. П. Пешковой в октябре-ноябре 1910 г.: «Сижу и пишу „Кожемякина“, очень хочется, чтоб эта вещь удалась! Трудно, тема сложна и слишком много требует знаний. Приходится читать десятки старинных книжек» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 102).

Вторая часть писалась в течение всей второй половины 1910 г. Во многих письмах Горького за этот период мелькает почти стереотипная фраза: «Пишу „Кожемякина“» (см., например, *Архив* $Г_{IX}$, стр. 100, 109; Архив А. М. Горького, ПГ-рл-42-16-18). Работа шла с большим напряжением: «...сильно занят, пишу вторую часть „Кожемякина“, очень трудно, интересно писать, порю горячку» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 109); «Очень занят второй частью „Кожемякина“, кончаю ее и ни о чем не могу больше думать» (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 201); «Был всё время адски занят: маялся со 2-й частью „Кожемякина“» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-89).

К середине декабря работа была закончена. 12(25) декабря 1910 г. Горький читал вторую часть повести своим домашним (там же, Д-Пят, 1910, л. 131 об.). Но отделка текста продолжалась, и 27 января (9 февраля) 1911 г. Боголюбов запрашивал Пятницкого: «Отчего не шлете окончание „Матвея Кожемякина“ ⟨...⟩ Ал⟨ексей⟩ Макс⟨имович⟩ давненько уже писал мне, что окончил повесть» (там же, П-ка Зн-8-1-62), а 8(21) февраля, получив оригинал, писал: «Буду высылать Вам каждый лист с 1-й корректуры» (там же, П-ка Зн-8-1-65). В ответ же на возмущение Пятницкого большим числом ошибок в корректуре заметил: «Я предупреждал Вас, чтобы не обращали внимания на грамматические ошибки: посылается прямо с типографского набора, без лишней задержки ⟨...⟩ Рассматривайте, пожалуйста, только в ценз⟨урном⟩ отношении» (там же, П-ка Зн-8-1-68).

28 марта (10 апреля) 1911 г. XXXV *Сб Зн* вышел в свет.

Почти без всякого перерыва Горький приступил к работе над третьей частью (см. *Андреева*, стр. 194). Судя по письмам, первоначальный замысел значительно отличался от того, что было создано впоследствии. Так, в марте 1911 г. Горький сообщал Амфитеатрову: «Как-то справлюсь с третьей частью, коя будет озаглавлена „Другими глазами“, и почти всю ее должен написать сам Матвей. Влезть в его шкуру — трудненько, и боюсь, что не хватит мне языка» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-106). Эта же забота звучит и в письме Горького к Коцюбинскому от 26 апреля (9 мая) 1911 г.: «За третью часть „Кожемякина“ — опасаюсь, языка не нахожу для нее пока» (*Г-30*, т. 29, стр. 165). По-види-

мому, эти трудности в той или иной степени сказались в процессе работы,— третья часть, в ее законченном виде, вовсе не является «написанной самим Матвеем», и в $АМ_1$ заголовок она имеет совершенно другой: «Дядя Марк».

Изменение замысла, видимо, значительно ускорило работу, и уже в середине (конце) июля 1911 г. третья часть была закончена.

В эти дни Горький писал В. П. Миролюбову: «Докончил третью часть „Кожемякина“, передал К. П. ⟨Пятницкому⟩» (*Г*, *Материалы*, т. III, стр. 55). Пятницкий вычитал машинописный оригинал и 16(29) июля отправил его в Петербург, а в первых числах августа на Капри читали корректуры третьей части (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1911, лл. 97, 97 об., 112 об.). В Берлин Ладыжникову машинопись была отослана 29 июля (11 августа).

Боголюбов намеревался выпустить XXXVI сборник в свет 1—2(14—15) сентября (там же, П-ка Зн-9-1-9), но в это время цензурой была арестована повесть Н. Гарина-Михайловского «Инженеры», также выпущенная «Знанием», и Боголюбов, опасаясь цензурных придирок, без согласования с автором перепечатал стр. 47 сборника, вычеркнув слово «Христос» из фразы: «Христос и все святые и всё, всё самое человечье из женского живота и от грудей» (там же, П-ка Зн-9-1-14). Это задержало сборник, и только 16(29) сентября 1911 г. он вышел в свет.

А тем временем, как обычно, Горький работал над следующей, последней частью повести. 8(21) августа он сообщил Е. П. Пешковой: «Только что кончил 3-ю часть „Кожемякина“, пишу четвертую» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 115), и ей же — двадцать дней спустя: «Пишу четвертую часть „Кожемякина“» (там же, стр. 118). В конце второй декады сентября работа была закончена, и Горький сообщил тому же адресату 22 сентября (5 октября): «Кончил 4-ю часть „Кожемякина“ — вышло, конечно, не то, чего хотелось. Следовало бы подождать печатать, но — нельзя: нужно же, чтоб выходили сборники „Знания“» (там же, стр. 123). 21—23 сентября (4—6 октября) Пятницкий вычитывал машинопись, 28 сентября (11 октября) он изложил Горькому свои замечания, а 30 сентября (13 октября) отослал машинопись в Петербург (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1911, лл. 140, 141 об., 147, 150); 7(20) октября второй экземпляр машинописи был отправлен в Берлин Ладыжникову (там же, ПГ-рл-37-19-7).

В Петербурге немедленно приступили к набору, отсылая корректуры на Капри (там же, П-ка Зн-9-1-24, 9-1-25; Д-Пят, 1911, л. 165 об.).

12(25) ноября 1911 г. XXXVII *Сб Зн* вышел в свет.

Таким образом, «Жизнь Матвея Кожемякина» была написана Горьким в сравнительно короткий срок — с ноября 1909 г. по сентябрь 1911 г.

В Архиве А. М. Горького сохранилась полная машинописная копия ($АМ_1$) текста произведения (688 стр.). В начале

каждой части рукой автора написано «Матвей Кожемякин». Кроме того, ч. II имеет подзаголовок «Постоялка» и ч. III — «Дядя Марк»; в конце каждой части — авторская подпись.

В тексте $AM_1$ есть небольшое число исправлений, сделанных чернилами и цветными карандашами, причем в первой части чернильная правка сделана рукой постороннего лица, а в остальных частях — рукой Горького. В основном это поправки ошибок машинистки, однако в ряде случаев есть новая авторская правка: изменение слов, вычерки целых фраз, а иногда и вставки.

Сличение $AM_1$ с *Л* показывает, что печатный текст весьма точно передает текст машинописи, вплоть до повторения многих опечаток, не замеченных автором в $AM_1$.

Набор для *Сб Зн* делался со второго экземпляра той же машинописи, не дошедшего до нас (за исключением второй части повести, о которой далее). Сопоставление текстов в *Л* и *Сб Зн* показывает, что между этими источниками есть разночтения, хотя и мелкие, но довольно многочисленные. Видимо, они — результат правки корректур, о поступлении которых на Капри говорилось выше; о корректурах «Матвея Кожемякина» писал и Горький в письме к Амфитеатрову от мая-июня 1910 г.: «Посылаю Вам первую часть „Кожемякина“ в корректуре» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-69).

Но корректуры на Капри читал скорее всего только К. П. Пятницкий, который, как писала М. Ф. Андреева А. Н. Тихонову 27 августа (9 сентября) 1911 г.: «...у А⟨лексея⟩ М⟨аксимовича⟩ бывает раз в неделю, не более как на $^1/_2$ часа, причем и разговор проходит большею частью „в молчании“» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-4-6-26). Однако не исключено, что во время этих встреч могли согласовываться корректурные исправления.

Была и другая причина появления разночтений между текстами *Л* и *Сб Зн*. Сличение сохранившейся $AM_2$, содержащей текст второй части, с $AM_1$ показывает, что некоторые разночтения возникли в результате недостаточно аккуратного переноса авторской правки с первого экземпляра на второй. Так, некоторые слова, отчетливо вычеркнутые в $AM_1$, не были вычеркнуты в $AM_2$ и перешли в *Сб Зн*. Есть и обратные случаи: слова, имеющиеся в $AM_1$, оказались вычеркнутыми в $AM_2$.

Как уже говорилось, в *Л* и *Сб Зн* повесть печаталась и выходила почти одновременно, причем книжки *Л* — с некоторым опереженнем, исчисляющимся иногда всего несколькими днями. Текст, опубликованный в *Сб Зн*, оказался боковой редакцией, поскольку в основу всех последующих изданий автором был положен текст *Л*.

Закончив публикацию повести в *Сб Зн*, Горький намеревался выпустить ее также отдельной книгой в издательстве «Знание»: об этом он вел переговоры с Пятницким (Архив А. М. Горького, Д-Пят, 1911, л. 185), однако замысел этот остался неосуществленным. После этого Горький обратился к Ладыжникову: «Мне кажется, мы могли бы в первую же голову издать „Кожемякина“» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 214). И через некоторое

время — еще раз к нему же: «...я Вас очень прошу похлопотать о продаже „Окурова“, „Кожемякина“ и „По Руси“ кому-нибудь для отдельного издания» (там же, стр. 226). Но и эти намерения не реализовались.

В 1913 г., вслед за «Городком Окуровом», «Матвей Кожемякин» вошел в тт. XII и XIII *ЖЗ*. Для этого издания Горький готовил текст по экземпляру *Л*, но до нас дошла только вторая часть произведения в этом издании, правленная рукой Горького. Правка — небольшая, с незначительными сокращениями и в основном носящая характер фактических исправлений и стилистической шлифовки. Горький внимательно читал текст, исправив многие ошибки предшествующего издания. В одном случае, заметив неудачную фразу, он, не поправляя ее, запросил Ладыжникова: «В четвертой части „Кожемякина“, на стр. 104—5, какая-то путаница, очевидно — пропуск, пожалуйста, сверьте со сборником „Знания“, очень прошу!» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 231). На самом деле пропуска не было, а была не очень удачная фраза: «Мы все живем в тихом бунте против силы, влекущей нас прочь от родного нам, вся наша и всякая болезнь...» Ладыжников, естественно, здесь ничего не исправил, и, только готовя текст для *К*, автор сам вычеркнул слова «вся», «и всякая».

Со своей стороны, Ладыжников заметил в *Л* фразу, заканчивающуюся двоеточием и оставляющую впечатление пропуска: «...сквозь стены просачивался плачевный шёпот:

Тринадцать раз после смерти...». Об этом Ладыжников писал В. Д. Бонч-Бруевичу 21 ноября (4 декабря) 1913 г.: «Во второй части „Кожемякина“, на стр. 10-й, снизу, между строками 7—8, есть пропуск какой-то фразы,— восстановить эту фразу здесь ⟨на Капри⟩ не удалось, так как под руками нет ни рукописи, ни сборника „Знания“, в коем была напечатана эта повесть. Возьмите, пожалуйста, эту пропущенную фразу из сборника „Знание“» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-10-4-1). Однако и здесь, судя по *АМ*$_1$ и *Сб Зн*, пропуска не было, и всё исправление свелось к замене двоеточия точкой.

Издание *ЖЗ* сильно пострадало от цензуры. Были сделаны следующие изъятия (зачеркнутое цензором выделено курсивом):

Стр. 535, строки 31—32: — А Маша,— говорит Никон,— хлоп в грязь лицом и тотчас вскочит, рада, улыбается: *причастилась!*

Стр. 540, строки 18—19: Так и переделалась *церковь* во хлев.

Стр. 606, строки 19—21: *и даже сам господь бог устыдился бы, ибо скуповат все-таки да неприветлив он, не жалостлив...*

Стр. 609, строки 11—15: — *Первее всего — полное уравнение в правах и поголовная разверстка всех имуществ и всей земли...*

— *Видите-с?* — *воскликнул Сухобаев.— А чего верстать? Много ли накопили имущества-то? По трешнику на голову...*

Кроме того, цензурные купюры были сделаны в двух местах, впоследствии исключенных автором из текста. В записи Матвеем Кожемякиным рассказа Марка Васильевича вычеркнуты все случаи упоминания слова «князь» в русской истории («*княжье* междуусобие», «народ уходил *от князей*», «*князьям* веры не да-

вали» и другие, всего 8 раз) и оборваны две фразы в разговоре окуровцев: «— В столицу можно город обратить! Москва вторая будет! *Церквей понастроить, мощи открыть, чудотворные иконы* — чтобы отовсюду народ валил!

Красавец Кулугуров кричал ему:

— Верно, Викторушка! Кто умеет — *из камня деньги жмет...*»

Когда в 1922 г. началась подготовка издания *К*, текст «Матвея Кожемякина» был уже частично выправлен Горьким для несостоявшегося издания *Грж*. Свидетельство этому — письмо Горького к П. П. Крючкову от 26 декабря 1921 г., в котором говорилось: «...у Гржебина 〈...〉 должны быть уже отредактированные мною два тома „Матвея Кожемякина“» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-3). Автор настоятельно просил переслать их ему, а не получив этих материалов, вновь писал 30 августа 1922 г. из Герингсдорфа, где он лечился, А. Пинкевичу в Берлин: прошу «выслать мне редактированные мною два тома „Матвея Кожемякина“ 〈...〉 Мне нужно получить „Кожемякина“ как можно скорей» (там же, ПГ-рл-30-41-15). Получив эти два тома (XII и XIII *ЖЗ*), Горький провел дополнительную работу над текстом.

На титульном листе правленного автором XIII тома *ЖЗ* имеются две надписи, сделанные рукой Горького: «Стр. 104—5. Восстановить цензурные искажения по изданию И. П. Ладыжникова, берлинскому»; «Вниманию корректора, стр. [280], 294, 434, 440. На этих страницах — цензурные искажения. Необходимо сделать вставки по берлинскому изданию Ладыжникова. А. П.».

В тексте в указанных местах рукой неустановленного лица действительно вписаны доцензурные чтения, за исключением стр. 104—105 и 280, на которых фразы, содержащие цензурные купюры, вычеркнуты автором вместе с контекстом.

Последняя авторская правка довольно значительна: редкая страница не имеет каких-либо поправок, в большинстве — вычерков, от отдельных слов до целых страниц; вставки имеются только там, где необходимо было связать текст после вычеркиваний.

Правка не меняла авторской концепции, идеи произведения; писатель стремился убрать всё лишнее и улучшить стиль повествования. М. Ф. Андреева еще 3(16) октября 1911 г. в письме к А. Н. Тихонову, высоко оценив «Матвея Кожемякина», заметила вместе с тем, что повесть — «переторопленная и много, увы, небрежности от торопливости» (Архив А. М. Горького, ПТЛ-4-6-27). Не исключено, что свое замечание она высказывала и автору, который, впрочем, и сам понимал это. Так, из письма И. Д. Сургучева к Горькому известно, что сам автор назвал свое произведение вещью «тяжелой и загроможденной» (там же, КГ-п-74-6-7), а Амфитеатрова просил: «Прочитав, сообщите кратко Ваше мнение, что излишне, чего нет. Заметил, что полыни нет в бурьяне» (там же, ПГ-рл-1-25-69).

Амфитеатров на это ответил в июне 1910 г., имея в виду первую часть:

«Если позволите несколько мелких отметок, то вот.

1) Не Исаню, но Исакия. Это из Печерского патерика: „Наш еси брате Исакие, воспляши с нами!“ Отсюда — „Наш брат Исакий“.

2) Нельзя ли заменить „бобину“? Трое читающих на нее споткнулись.

3) На что Вам последние 8 или 9 нравоучительных строк? Сверхаккордие» (там же, КГ-п-2-1-50).

Получив эти замечания Амфитеатрова, Горький написал ему:

«Наскоро отвечаю:

Исаню — корректор родил.

Бобина — необходима: без нее веревку не совьешь.

Нравоучительные строки? К отдельному изданию готовя книгу — всё выкину» (там же, ПГ-рл-1-25-71).

Но, готовя текст для *ЖЗ*, Горький «Исаню» действительно исправил, «нравоучительных» же строк не исключил.

При подготовке текста для последнего авторизованного издания (*К*) автор подошел к произведению с исключительной требовательностью и вычеркнул много мест, содержание которых уводило в сторону от основной сюжетной линии. Были убраны следующие эпизоды: «нелепый и неразумный» рассказ Дроздова о дорожном приключении с ним; краткое и несколько вульгаризированное изложение Кожемякиным рассказа Марка Васильевича о русской истории; рассказ рыбака Назарыча о барышне-народнице, плакавшей «о народе, что плохо он живет». Вычеркнул Горький много реплик, не несущих большой смысловой нагрузки, и т. п. (см. варианты).

Во время этой правки произведению было дано название «Жизнь Матвея Кожемякина».

К «Жизни Матвея Кожемякина» Горький относился с особенным чувством. «Пока что — вещь эта мне нравится и очень меня волнует»,— писал он Амфитеатрову в марте 1911 г., закончив вторую часть (там же, ПГ-рл-1-25-106). И хотя в дальнейшем критическое отношение к сделанному у автора, как всегда, возрастало, а по окончании работы ему иногда начинало казаться, что произведение не удалось (см. письма к Амфитеатрову — Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-68, 1-25-131; к Е. П. Пешковой — *Архив Г*IX, стр. 122, 123 и др.), всё же на протяжении всего 1911 года в письмах Горького к самым различным корреспондентам мы встречаемся с одним страстным желанием: чтобы книгу широко читали. Об этом он писал А. И. Грузинскому: «Очень хотел бы, чтобы публика — а молодежь — особенно — читала эту книгу, и жду, что читать ее — будут» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-12-4-1), а также Е. П. Пешковой 18(31) августа 1911 г.: «С „Кожемякиным“, кажется, сорвусь; а на эту вещь я возлагал некоторые надежды и ради ее — очень урезал личное мое, дорогое мне» (*Архив Г*IX, стр. 117); ей же в сен-

тябре 1911 г.: «Я очень рад, что тебе нравится, но думаю, что в России не станут читать — тяжело покажется и скучно» (там же, стр. 122); наконец, ей же, закончив повесть, Горький писал 29 октября (11 ноября) 1911 г.: «А в мелкой прессе усиливается озлобленное отношение ко мне, что весьма неприятно в данный момент: мне хочется, чтоб публика читала „Кожемякина",— книгу, над которой я работал много и которую считаю самой обдуманной из моих книг. Мне кажется, что это вещь национально нужная. Но в тех журналах и газетах, с которыми я, за последнее время, поссорился, отзывы о третьей части несправедливые и злые: более того,— пишут, не прочитав, как напр⟨имер⟩, в „Новом ж⟨урнале⟩ для в⟨сех⟩" ⟨...⟩ Мне надо, чтоб читали „Кожемякина"...» (там же, стр. 127).

«Вещь национально нужная» — в этом видел Горький смысл и значение повести. «Очень жаль будет,— подчеркнул он в письме к В. Л. Львову-Рогачевскому,— если к этой вещи будут подходить с меркой чисто эстетической,— я никогда не был эстетом и стыжусь быть им в тех очертаниях, как это понимается у нас» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-5-13). А в письме к В. Е. Чешихину-Ветринскому вновь повторил свое мнение: «...могу сказать, что „Исповедь" и „Кожемякин" кажутся мне наиболее зрелыми произведениями и наболее ценными социально. И, уж если говорить правду,— думаю, что „Кожемякин" вещь национально нужная» (там же, ПГ-рл-52-1-1).

Глубоко заинтересованный в читательских мнениях о «Матвее Кожемякине», Горький, как обычно, обращался ко многим своим корреспондентам с просьбой — прочесть и написать свой отзыв: «Когда выйдет вторая часть „Кожемякина" — „Постоялка" — будьте добреньки — прочитайте и скажите Ваше мнение...» (Е. К. Малиновской — там же, ПГ-рл-25-44-45); «Редактор! Что же Вы ни слова не сказали по поводу „Кожемякина"?» (В. С. Миролюбову — *Г*, *Материалы*, т. III, стр. 58); «Хочу просить Вас: прочитайте, пожалуйста, моего „Матвея Кожемякина" и скажите, какое эта вещь вызовет у Вас впечатление? Прочитайте, а?» (В. В. Розанову — Архив А. М. Горького, ПГ-рл-37-13-11); «Кончил „Кожемякина", очень хочу, чтоб Вы прочитали конец и сказали мне — как понравится?» (И. И. Бродскому — *Г-30*, т. 29, стр. 207). При этом Горького интересовала не только общая оценка произведения, но и отношение читателей к отдельным образам. Так, в письме к Амфитеатрову Горький спрашивал: «Что Вы не сказали мне ни слова о татарине?» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-71); прочитав отзыв Коцюбинского, писатель с удовлетворением восклицает: «Рад, что Вы заметили Маркушу, это для меня почти символическое лицо. В третьей части тоже будет Маркуша, но уже на религиозной почве стоящий» (*Г-30*, т. 29, стр. 165).

В письме к Львову-Рогачевскому от 10(23) января 1912 г. Горький также обращал внимание адресата на социально-философскую линию повести, связанную с образом Маркуши, на важность ее. «Когда будете писать о Кожемякине,— просил

он критика,— убейте одно давнее недоразумение, очень неприятное для меня: развенчайте Луку; это отнюдь не „положительный" характер, это ловко скрытый Маркуша из „Кожемякина", проповедник-нигилист, как В. Соловьев, например.

„Веришь — есть, не веришь — нет" и Маркушино: „Черти есть?"—„Есть, отстань".— „А может,— нет?"—„Нет, отстань!" — это одно и то же, а в существе этой скверны лежит соловьевское четверостишие:

В лесу — болото,
В болоте — мох,
Родился кто-то,
Потом — пздох...

т. е.— злейший, цинический нигилизм русских одиночек, „лишних людей"» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-5-14).

Еще раз о том же Горький писал в 1913 г. И. Лебединову, резко выступая против анархических и эгоистических настроений адресата: «Я, как мне думается, достаточно определенно показал прелесть эгоизма в очерке „Мой спутник". В соединении с жульнической философией „Проходимца", Луки и Маркуши в „Кожемякине" этот эгоизм и дает то, что нас, русских, губит,— снедающую нас болезнь, которую можно назвать пассивным анархизмом» (наст. изд., т. I, стр. 542).

Раскрывал Горький в своих письмах и другие глубинные идеи произведения. Так, в сентябре 1911 г. он писал Е. П. Пешковой: «Я думаю, что с Максимом можно читать „Кожемякина", право! Рискованные места, вроде сцены с мачехой, мне кажется, при умелом объяснении вреда не принесут, а лишь пользу. Они дадут тебе возможность еще раз поговорить на жгучую тему о женщине просто и ясно 〈...〉 Ты только подчеркни значение материнского инстинкта *во всякой* женской любви, укажи на то, что *грудь* женщины — неиссякаемый источник жизни, что именно эта сторона—материнская—в ней—в любви — главное и отсюда вся поэзия жизни, вся поэзия книг» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 122).

Горький предостерегал против упрощенного понимания героев произведения. Так, когда В. Миролюбов в одном из писем отождествил образ Марка Васильевича с известным революционером Г. Лопатиным, Горький в письме от 18 или 19 августа (31 августа или 1 сентября) 1911 г. возразил: «Я — портретов с живых людей не пишу, и, само собою разумеется, Марк с Лопатиным не имеет — не может иметь — чего-либо общего, ибо я Лопатина с внутренней стороны не знаю. Уверен, однако, что мысли Марка ему чужды» (*Г-30*, т. 29, стр. 177).

Горький получил много писем с восторженными отзывами о новом произведении. Так, Коцюбинский, живший летом 1909 г. на Капри и слышавший от Горького рассказы о замысле хроники городка Окурова, по возвращении в Россию спрашивал автора: «Как Ваш „Уездный город"? Чем больше думаю над Вашею темою, тем более она кажется мне интересной, стоящей самого серьезного внимания и труда» (*Коцюбинский*, т. 4, стр. 273).

Позже, познакомившись с первой частью «Матвея Кожемякина», Коцюбинский вновь обращался к автору: «Как подвигается Ваша работа? Если бы Вы знали, с каким нетерпением жду я продолжения „Окурова“ — этой великолепной вещи, которая заставляет с трепетом следить, как крепнет и растет талант, уже выросший, казалось, во весь свой рост» (там же, стр. 299). Прочитав затем пьесу «Чудаки», Коцюбинский пишет: «А всё же это не то, что „Городок“. Вы знаете, я положительно тоскую по продолжению. Это такая вещь (прямо скажу — великая), что из-за нее Вы должны будете примириться с нелюбимым Вами писателем — Горьким» (там же, стр. 303). Небольшая задержка со второй частью повести вызвала у Коцюбинского тревогу, но, узнав, что работа продолжается, он признавался в письме к Горькому: «С понятным нетерпением ожидаю продолжения этой вещи и — как это ни странно — немножко боюсь, будет ли оно так бесподобно хорошо, как начало» (там же, стр. 324). Наконец, прочитав вторую часть, Коцюбинский под свежим впечатлением писал автору: «Дочитав до конца, я облегченно вздохнул с чувством полного удовлетворения. Слабо будет сказать: хорошо. Вторая часть так же великолепна, как и первая. Эпопея русского города, уездной жизни развернулась и вширь и вглубь. Жутко и страшно стало от той обыденщины, которую так спокойно записывал Кожемякин. Будто развернулась страница истории жизни народа, уходящая началом в темное прошлое, а концом задевающая вчерашнее, близкое, знакомое, но плохо сознанное. Фон так хорош, что лучшего трудно желать. А какие чу́дные люди на этом фоне, везде мрамор, везде резец! Удивительно удался Вам, в частности, Маркуша. И всё — люди, чувства, природа — всё так воздушно, солнечно, ярко и до боли живо переживается. И за всем чувствуется какое-то проникновение, до конца продуманный синтез. Неподражаемо хороши сравнения. Я считал большим мастером в этом отношении Аннунцио. Но теперь вижу, что у него сравнения часто слишком искусственны, деланны, вычурны, тогда как у Вас они так же непринужденны, свободны и красивы, как прыжок дикой степной лошади (простите за сравнение). О красоте языка нечего и говорить: это школа для русских беллетристов» (там же, стр. 326—327).

Высоко оценил повесть Амфитеатров, который по прочтении первой ее части писал: «Счастлив был прочитать „Кожемякина“ 〈...〉 Слагается из Окурова многозначительнейший исторический роман „уездной России“ 〈...〉 Своими последними вещами Вы вносили в русскую революцию то, чего ей больше всего недостает для успеха: народность, а „Кожемякин“ Ваш — уже величавейшая эпопея народности, какую только вообразить можно. Это — опыт русского национализма в самом благородном, живом и нужном смысле слова. Она, эпопея Ваша, пропитана духом былинной свободы, дышит и свидетельствует, что жива и памятна (всё, что памятно, живо) кондовая Русь, сама себя, нескладеху, выстроившая, сама себя она и найдет и освободит» (Архив А. М. Горького, КГ-п-2-1-50). Вторая часть тоже

вызвала полное одобрение писателя: «Хорош уж очень Кожемякин! Дневник его штука поразительная. И женщину хорошо написали. Откровенно говоря, первая интеллигентка Вам так цельно удалась: никакой нарочности, всю живую вижу,— и не сухарь учительной премудрости. За душу хватающая вещь» (там же, КГ-п-2-1-78). Когда же Горький высказал некоторую неудовлетворенность написанным, Амфитеатров возразил: «В „Кожемякине" очень много хорошего. Не знаю, чего Вы ворчите. Быть может, к выигрышу вещи, можно было бы убавить и сжать резонерскую часть, вообще повестй события более быстрым темпом, но это — единственное, что приходит в голову как возражение, непосредственно после прочтения. А это возражение парализуется соображением, что ведь конца-то не знаем, так что, может быть, именно такой ход и необходим и для автора и для читателя, чтобы хорошо и сильно подошел роман к станции назначения» (там же, КГ-п-3-1-112).

Восторженно встретили произведение и другие корреспонденты Горького: «Читал на днях „Кожемякина". Якши, чок-чок якши»,— писал А. И. Куприн (там же, КГ-п-41-10-3); «Читаю дальше „Городок Окуров" — замечательно хорошо!»,— восклицал Л. Сулержицкий («Новый мир», 1961, № 6, стр. 184); «Удивительно тонкая вещь»,— отзывался художник И. И. Бродский (Архив А. М. Горького, КГ-ди-2-1-9); «От „Окурова" я в восторге, особенно вторая часть красива бесподобно»,— приписала на письме С. И. Гусева-Оренбургского поэтесса Г. Галина (там же, КГ-п-24-10-12).

Внимание читателей привлекло своеобразие художественной формы произведения. «Самая форма, в которой написаны три части романа,— особенно третья,— дает уже что-то новое, в которой еще трудно разобраться»,— заметил в письме к Горькому И. Д. Сургучев (там же, КГ-п-74-6-7). А в другом письме добавлял: «Третья часть — расцвет книги,— именно книги, потому что „Кожемякина", по-моему, никак иначе нельзя назвать. „Роман, повесть, рассказ" — всё это к нему не идет. Это — *книга* о людях и о жизни. „Βίβλιος" — по-гречески» (там же, КГ-п-74-6-5). «„Окуров" — ведь это не „хроника",— заключал А. Н. Тихонов,— это поэма ⟨...⟩ с каждой главою интерес возрастает, слова густеют, образы крепнут, и как будто физически чувствуешь всю тяжесть этой неленой и трагичной жизни, имя которой — „Россия окуровская". Это — вещь!» (*Андреева*, стр. 184).

Особое внимание обращалось на социальное значение повести: «Как противоядие ⟨арцыбашевщине⟩ принимается „Кожемякин" (посл⟨едняя⟩ часть)—свежо дышится, четок рисунок»,— сообщал автору А. А. Смирнов (Архив А. М. Горького, КГ-п-73-1-2). Неоднократно подчеркивал это в своих письмах к Горькому и Сургучев: «Читал III ч. „Матвея", и первое, что в ней бросилось в глаза, это то, что она сейчас ох как нужна обществу. Нужна»; «А по-моему — III ч.— звон, который тревожит душу человеческую...»; «В здешних кружках произвел сильное впечатление — Тиунов и, особенно, его слова о том,

что „народ подкис“. Это шлепнуло по голове. Слово сказано...»; «У меня лично было две оценки:

— Как это хорошо.

— Как это нужно.

Я готов был плюнуть в лицо Измайлову, когда он написал, что „К⟨ожемякин⟩ не находит читателя“ ⟨...⟩ Если бы этот пономарь российской „критики“ пожил бы вот в Ставрополе, в такой глухой провинции,— он бы увидел, как здесь люди читают „К⟨ожемякина⟩“ ⟨...⟩ Ну, откуда он узнал, что „К⟨ожемякин⟩“ не находит читателя?Проехал ли он по России? Побывал ли среди читающей молодежи, которая не одними „Бирж⟨евыми⟩ вед⟨омостями⟩“ питается?» (там же, КГ-п-74-6-3, 74-6-4, 74-6-5, 74-6-7). «„Город Окуров“ — болото, в нем жить — с ума сойти лучше, — заявил П. Х. Максимов.— Люди несчастные, и вся Россия несчастнейшая глухая страна ⟨...⟩ Кому надо узнать Русь — пусть прочтет Ваши книги непременно, вместе с Лесковым и Успенским тоже» (там же, КГ-п-49-2-7).

Для Горького огромное значение имела оценка «Матвея Кожемякина» именно как социального произведения, высказанная Г. В. Плехановым. Внимательно следя за творчеством писателя, Плеханов еще в 1910 г. начал свою статью «Международный социалистический съезд в Копенгагене» цитатой из первой части «Матвея Кожемякина»: «Максим Горький говорит: „Нужно, чтобы, как звезды в небе, человеку ясно были видимы огни всех надежд и желаний, неугасимо пылающие на земле“ („Городок Окуров“).

Это превосходно сказано. Само собой разумеется, что, говоря о надеждах и желаниях, неугасимо пылающих на земле, Горький имеет в виду те из них, которые выходят за пределы узкой области эгоизма и приурочиваются к поступательному движению человечества. Прекрасные слова нашего талантливого писателя вспомнились мне в Копенгагене» (Г. В. Плеханов. Собр. соч., т. XVI. Изд. 2-е. М.— Л., 1928, стр. 353).

Когда же в 1911 г. Горький послал Плеханову полный текст «Матвея Кожемякина», последний ответил автору: «Пушкин, прочитавши принесенную ему Гоголем рукопись „Мертвых душ“ в первом наброске, воскликнул: „Боже, как, однако, грустна Россия!“. То же должен будет сказать про себя каждый серьезный читатель, вдумавшись в „Кожемякина“: „Грустна Россия!“. И это впечатление грусти, глубокой, захватывающей грусти, долго не исчезает по прочтении книги. По крайней мере, оно долго не оставляло меня. И теперь, когда я вспоминаю „Кожемякина“, я повторяю: „Грустна Россия!“. Но это впечатление грусти, разумеется, не вина автора, а его большая заслуга: ведь как нельзя более грустен тот предмет, за изображение которого он взялся. В его книге мы имеем дело всё с той же мрачной средой, всё с тем же „темным царством“, которое изображал еще Островский. Добролюбов думал, что уже конец пришел этому темному царству, а оно просуществовало 50 лет после его смерти, да и теперь продолжает существовать, вися, как тяжелая гиря, на ногах русского народа. Но история не остав-

ляет в покое этого царства, она подсылает в него микробы мысли, которые вызывают в нем брожение и разложение. В „Кожемякине“ именно и изображен процесс такого брожения, и изображен мастерскою рукою. Кто хочет ознакомиться с этим процессом, тот *должен* будет прочитать „Кожемякина“, как *должен* прочитать некоторые сочинения Бальзака тот, кто хочет ознакомиться с психологией французского общества времен реставрации и Луп-Филиппа. Раз это так,— а я уверен, что это так,— то автор может гордиться своим делом 〈...〉 Что касается частностей, то я отмечу ту психологическую черту Вашего героя, которая показывает в нем хозяина, решительно не могущего понять, как это люди могут ставить его на одну доску с его работником или дворником,— это всё равно,— Максимкой. Это черта, очень важная для человека, занимающегося социальной психологией» (Г. В. Плеханов. Искусство и литература. М., 1948, стр. 756—757).

В одном из писем к Горькому Амфитеатров заметил: «Это так хорошо, так глубоко, сильно и ясно, что, наверное, не будет иметь успеха у российской критики 〈...〉 Ругать Вас за „Окуров“, я думаю, у самого недобросовестного критика рука не подымется, но будут молчать» (Архив А. М. Горького, КГ-п-2-1-50).

Амфитеатров был близок к истине. Произведение, которое приветствовали в письмах читатели самых различных социальных слоев, с самыми различными вкусами, можно сказать, не получило «большой прессы»: и отзывов было немного, и ни один из них не давал серьезного, обстоятельного анализа книги.

Зинаида Гиппиус (А. Крайний), похвалив на страницах реакционного журнала «Русская мысль» «хороший, живой» рассказ Шмелева «Человек из ресторана», продолжала: «Мне печально, что я не могу сказать этого о повести „Матвей Кожемякин“ Горького 〈...〉 Собственно никакой повести — никакого повествования — нет 〈...〉 Мне скажут: такова тема, такова наша провинциальная жизнь, тягучая, нудная. А по-моему — дело в писателе, а не в теме 〈...〉 Старые сверкающие „провинциальные“ очерки Щедрина живы до сих пор, а „Кожемякин“ мертв, ибо мертвый родился 〈...〉 „современный“ городок Окуров не дает нам ничего: ни знания провинции, ни, с другой стороны, никакого художественного наслаждения: написан вяло, серо, с натугой, со скукой, без „рассказа“» («Русская мысль», 1911, № 11, отд. III, стр. 26—27). Ей вторил аноним из либерального журнала: «Матвей Кожемякин — тип резонерствующего русского мещанина 〈...〉 Многое в Кожемякине кажется выдуманным. Слишком обилен поток глубоких мыслей, заливающий повесть от начала и до конца. Существует предел, после которого глубокомыслие переходит в нудное и неприятное резонерство. Надуманность, почти всегда вредящая художественной правде, губит у Горького многие красивые страницы» («Новый журнал для всех», 1911, № 36, стлб. 127—128).

Именно эти отзывы Горький назвал в письме к Е. П. Пешковой «несправедливыми и злыми».

Но такие высказывания о повести, конечно, крайность. В том же «Новом журнале для всех», несколькими неделями ранее, говорилось: «...в описаниях, в точных, метких и своеобразных красках, в выпуклой обрисовке типов, в богатстве бытовых подробностей и характерной колоритности языка виден всё тот же большой художник. По поводу этой новой повести опять приходится дивиться поразительному, непстощимому обилию художественного опыта и впечатлений у Горького, его изумительному знанию русского языка, всяческих поговорок, поверий, нередко даже перегружающих, замедляющих его повествование. И это у художника, уже много лет оторванного от России» («Новый журнал для всех», 1911, № 31, стлб. 120).

Даже в «Запросах жизни» — журнале, который В. И. Ленин назвал «ликвидаторско-трудовическо-вехистским», была помещена одобрительная рецензия на повесть — «О „новом" Максиме Горьком и новой русской беллетристике». Автор ее, критик и публицист меньшевистского склада М. П. Неведомский, высмеяв мнения тех, которые считали, что в этом произведении «Горький „пошел против Горького", поклонился тому, что сжигал, или, вернее, сжег то, чему поклонялся», утверждал: «В „Городке Окурове" — *герои* вовсе отсутствуют, „Городок Окуров" — это смрадная летопись провинциального захолустья в годы, предшествовавшие революции и в революционный момент 〈...〉 Эта мрачная летопись свидетельствует лишь о том, что автор *обращается к действительности*» («Запросы жизни», 1912, № 8, стлб. 491).

С безоговорочно положительной, но узкой оценкой произведения выступил М. А. Кузмин. Восхищаясь сочной и густой живописью Горького (особенно в третьей части), поэт не понял синтезирующего, социального, народного характера «Жизни Матвея Кожемякина» и оценил ее только как образец «бытописательной прозы» («Аполлон», 1911, № 1, стр. 68).

Характерно, что значительно позже — в 1916 г.,— когда первые впечатления улеглись и появилась возможность ретроспективно оценить повесть, М. С. Королицкий в статье «Творчество Горького последних лет», снова тенденциозно противопоставляя это произведение предшествующему творчеству Горького, утверждал на страницах умеренно-буржуазного «Вестника Европы», что после периода «увлечения 〈...〉 социал-демократическими тенденциями», полосы «доктринерства» и в целом пережив творческий кризис, Горький, начиная с «Городка Окурова», вступил в новый период «творческих дум и живых воплощений 〈...〉 В „Городке Окурове" заиграл снова знакомый нам талант писателя. Со страниц „Окурова" на нас повеяло чем-то родным и близким, заставившим нас снова полюбить писателя, в возрождение которого мы вчера еще так плохо верили. На нас пахнуло живой струей яркого и самобытного дарования, к которому мы так привыкли в давнишних произве-

дениях, пред нами встали знакомые нам образы и картины — и мы убедились, что источники творчества Горького далеко не иссякли, что свет его искрящегося таланта не погас».

При этом критик утверждал, что «с точки зрения внутреннего содержания Горький не высказывает в „Окурове“ ни новых идей, не открывает каких-либо новых психологических горизонтов 〈...〉 И Яков Тиунов, и Матвей Кожемякин, и Пелагея, мачеха Матвея, и дядя Марк, и постоялка Мансурова, и другие мелькающие здесь образы не новы в галерее типов, созданных творческой фантазией Горького 〈...〉 Всё это говорит о том, что писатель остался самим собою, нимало не отрекся от своих прежних воззрений 〈...〉 Идеология Горького, общая концепция его тревожного и протестующего мировоззрения осталась 〈...〉 та же». Однако интонация писателя, настроение, окрашивающее книгу, стали иными: появилось «чувство известной как бы умиротворенности, в противоположность к тому острому протестующему чувству, какое звучало в произведениях первого периода 〈...〉 былой, часто ненужный и нередко мелодраматический пафос исчез, и зазвучали ноты скорбного, но ровного, умиротворенного настроения 〈...〉 яркая непримиримость значительно смягчена — слышится скорее какая-то углубленная грусть, едкая печаль, тоска души; над замиренным чувством поднимается искренняя вера в торжество добра, радость бытия». В словах Тиунова: «...возникает Россия, появился народ всех сословий, все размышляют, просыпается в народе любовь к своей стране», и в записях Матвея: «...возникли ныне в жизни новые работники, сердца, наполненные любовью к земле, засоренной нами; плуги живые,— вспашут они ниву божию глубоко, обнажат сердце ее, и вспыхнет, расцветет оно новым ярким солнцем для всех и будет благо всем и тепло, и счастливо польется жизнь» — критик видит «настроение подлинного оптимизма самого автора» («Вестник Европы», 1916, № 5, стр. 402—406).

27 августа (9 сентября) 1913 г. Горький писал Ладыжникову, что за границей «„Кожемякин“ встречен очень сочувственно, есть немало отзывов во французской прессе» (*Архив Г*$_{VII}$, стр. 228).

Действительно, переведенная в 1913 г. на французский язык (M. G o r k i. Une tragique enfance. Trad. d'après le manuscrit par S. Persky. Paris, 1913) книга вызвала несколько вполне сочувственных откликов. В частности, рецензент «Mercure de France» (1913, vol. 104, 16 août, p. 873—874) назвал ее новым большим достижением писателя.

В дальнейшем в зарубежных откликах на «Матвея Кожемякина» произошла хронологическая ошибка. Впервые переведенное на немецкий язык в 1925 г., а в 1927 г. вышедшее в составе собрания сочинений Горького в Malik-Verlag, произведение было расценено немецкой критикой как только что написанное. «Творчество Горького еще не завершено,— писал в 1927 г. Эрхард Брейтнер,— в последние годы он написал два романа: „Дело Артамоновых“ и „Матвей Кожемякин“, это — эпос про-

ясненнейшей зрелости, веский и мощный» (см.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком. М.— Л., 1930, стр. 101—102).

В названной книге И. А. Груздева приводятся и другие, положительные отзывы о повести: «В „Матвее Кожемякине" Горький дает непревзойденную картину русского городка, его обитателей, условий их жизни и привычек. Картина до последнего штриха так вырисована и углублена, так отчетливо дана со всеми тенями и бликами, что множество деталей и отдельных сцен действуют с почти ошеломляющей и смущающей силой ⟨...⟩ Всё это по своей сути — такое русское, восточное, азиатское, что необходим художественный гений Горького, чтобы изобразить подобные отношения для нас, западноевропейцев, понятно и, более того, привлекающе и захватывающе интересно. Что-то очень крепкое и устойчивое проникает роман и дает ему его длительную ценность. Это — глубочайшее русское своеобразие действующих лиц, воплощенное в их безмерных страстях, в ненависти и в любви, в злобе, мести, горе, молитве и самобичевании!» («Hessischer Kurier», там же, стр. 124). Некоторые зарубежные критики высказывались с еще бо́льшим восхищением: «Этот эпос маленького городка — совершенно из ряду выходящее художественное событие» («Berliner Tageblatt»); «Это — классическая эпопея маленького русского городка, великолепно написанная вещь» («Wiener Zeitung»); Горький — «поэт широких масс, воплотитель народных сказаний, старинных притч и легенд» («Die Welt am Abend»); «Это — необычная, единственная в своем роде книга, которую нужно читать с раздумьем, сосредоточенным вниманием и любовью» («Allgemeine Lokal-Anzeiger») и т. п. (там же, стр. 46—47).

С т р. 125. *...крупным полууставом...*— Полуустав — почерк, вошедший в употребление во второй половине XIV в. и отличавшийся от применявшегося ранее устава наличием косых и ломаных линий и сглаженных углов в написании букв.

С т р. 127. *Вкушая, вкусих мало меда и се — аз умираю.*— Библия. Первая книга царств, гл. 14, стих 43.

С т р. 127. *...как на образе Максима Грека...*— Максим Грек (ок. 1475—1556) — высокообразованный монах Афонского монастыря и духовный писатель, приехавший в 1518 г. в Москву для перевода и исправления богослужебных книг. Поскольку после смерти Максим Грек не был причислен к «лику святых», постольку, строго говоря, «образа» его, т. е. иконы, быть не могло. Однако сохранилось несколько изображений Максима Грека, и на одном из них он сидит за столом с раскрытой книгой, действительно с большой рыжей и круглой бородой и с обычным для святых нимбом над головой (М. П. Лихачев. Материалы для истории русского иконописания, т. II. СПб., 1906, стр. 584).

С т р. 132. *Вот во поле, на лужку...*— Вариант русской народной песни «У Макарья на лужку» (Сочинения П. И. Якушкина. СПб., 1884, стр. 650; ср.: *Шейн*, т. I, вып. 1, стр. 129).

С т р. 133. *От юности моея мнози борют мя страсти...*— Стих священного писания, который поется попеременно обоими клиросами во время вечернего богослужения (Ирмологий. М., 1702, стр. 188).

С т р. 133. *Осанна!*— Спаси! Охрани! — восторженное восклицание в молитве (*др.-евр.*).

С т р. 135. *...ни татаре, ни поляки, ни даже сам Бонапарт не мог ее взять!* — Савелий Кожемякин рассказывает сыну явную легенду: Ростов Великий был взят и сожжен татарами в 1237 г., поляками — в 1609 г., а Бонапарт не был возле Ростова (А. А. Титов. Ростов Великий и его святыни. СПб., 1895, стр. 8, 12).

С т р. 141. *Слышны весточки плачевны...*— Рекрутская народная песня (*Ливанова*, стр. 262).

С т р. 142. *...мера эта — 33!* — По христианскому вероучению, Иисус Христос был распят, когда ему было 33 года.

С т р. 142. *...взял себе число 666...*— По библейской легенде, дьявол на правой руке или на лице каждого человека перед концом света начертит свое число, а «число его шестьсот шестьдесят шесть» (Библия. Откровение Иоанна Богослова, гл. 13, стихи 16, 18).

С т р. 142. *...кто не щепотник, а истинной древней веры держится.*— Щепотник — бранное прозвище, данное раскольниками сторонникам официальной церкви за то, что они крестятся щепотью, т. е. тремя сложенными пальцами, а не двумя, как представители «истинной древней веры».

С т р. 150. *Максим Башлык* — легендарный атаман поволжских разбойников, рассказы о похождении которого маленький Алеша Пешков слышал от своего деда и даже присвоил себе прозвище «Башлык» (С. П. Хитровский. Страницы из прошлого. Горький, 1960. Изд. 2-е, стр. 61—62).

С т р. 157. *Венус любезная советовалася... Загадка вся сия да ныне явная...*— Неточные цитаты 1 и 3 строф «Свадебных стихов А. А. Головину» И.-В. Пауса. По-видимому, Горький допустил здесь хронологический сдвиг: стихотворение это было написано, вероятно, по-немецки в 1703 г. и позже переведено на русский язык («Вирши».— «Библиотека поэта», малая серия. Л., 1935, стр. 158, 299); впервые опубликовано по рукописи в 1902 г. (В. Н. Перетц. Историко-литературные исследования и материалы, т. III. СПб., 1902. Приложения, стр. 139). Дьячок же Корнеев поет эти стихи в конце 1860-х годов. Однако возможно, что в устной традиции они были известны и ранее, и Горький мог слышать их как свадебную кантату.

С т р. 157. *Эх, да мимо нашего любимого села...*— Русская народная песня (*Шейн*, т. I, вып. 1, стр. 132).

С т р. 165. *Се что добро или что красно...*— Псалтырь, псалом 132, стих 1.

С т р. 165. *Господи, искусил мя еси и познал мя еси...*— Псалтырь, псалом 138, стих 1.

С т р. 166. *Яко несть лести в языце моем...*— «И не было лести в устах его» (Библия. Первое послание апостола Петра, гл. 2, стих 22).

С т р. 166. *...словно черти пустынника Исаакия...*— В Киево-Печерском патерике рассказывается, как бесы обманули пустынника Исаакия: заставили его поклониться бесовскому «действу» и плясать под бесовскую музыку (Киево-Печерский патерик по древним рукописям. Киев, 1870, стр. 14—15).

С т р. 166. *Иомуд* — одно из туркменских племен.

С т р. 168. *Распорядилось начальство, чтобы мужикам картошку садить...*— В 1839—1840 годах, ввиду неурожая зерновых, было «высочайше повелено» расширить посадку картофеля и сделать ее обязательной в крестьянском хозяйстве. Население восприняло этот приказ с сопротивлением; вспыхнули «картофельные бунты», для усмирения которых были вызваны войска. Однако здесь в тексте допущена явная неточность: отношение крестьян к картофелю как «порождению антихриста» встречалось в России лишь в самом начале XVIII в., с середины этого столетия картофель уже распространился в России. Исследователь истории «картофельных бунтов» в XIX в. С. В. Токарев специально подчеркивал: «Совершенно неправильно было бы искать причины „картофельных бунтов" в религиозных воззрениях крестьян». На самом деле крестьяне бунтовали из-за того, что в связи с реформой удельного ведомства и положения государственных (некрепостных) крестьян разнесся слух, что обязательные посадки картофеля означают для государственных крестьян (а бунтовали именно они) «перевод в крепостные к помещикам или в удельное ведомство» (С. В. Токарев. Крестьянские картофельные бунты. Киров, 1939, стр. 6, 8—9).

С т р. 170. *Аминь, сиречь — истина!* — Древнееврейское слово «аминь» (истинно так да будет) употребляется как подтверждение истинности произносимых при богослужениях слов, как заключительное слово христианских молитв.

С т р. 172. *Летела ворона со в вереё...*— Детская шуточная песня; *вереё* (верея) — стойка ворот (*Шейн*, т. I, вып. 1, стр. 6).

С т р. 173. *...как горела венгерская деревня...*— В 1849 г. русское самодержавие вместе с австрийской монархией принимало участие в подавлении революционного национально-освободительного движения в Венгрии.

С т р. 174. *Отверзи-и ми...*— «Господи! Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою» (Псалтырь, псалом 50, стих 17).

С т р. 175. *Студными бо окалях душу мою грехми...*— Псалтырь, псалом 50, стих 5.

С т р. 184. *На заре-то, матушка...*— Вариант русской народной песни (*Шейн*, т. I, вып. 1, стр. 373).

С т р. 205. *...становись на правеж!* — Правеж — наказание за какую-либо провинность; в древнерусском судопроизводстве так называлось, в частности, битье батогами несостоятельного должника.

С т р. 216. *...странные видения божьего крестника...*— Горький вспоминал позже, что Сказку о божьем крестнике он слышал от своей бабушки (*Г-30*, т. 13, стр. 54).

Стр. 217. *Мизгирьё* — мелкий, слабосильный человек.

Стр. 220. *Абзей* — дядя *(татарск.)*.

Стр. 222. *Бардадым, фалька* — король и дама пиковая (трефовая); фалькой называют и пиковую восьмерку.

Стр. 223. *Как прекратили откупа...*— В царской России существовала система передачи права взимания государственных налогов с населения частным лицам (откупщикам), которые выплачивали государству определенную сумму и покрывали свои расходы безжалостной эксплуатацией населения. Особенно большие прибыли откупщикам приносили винные и табачные откупа; в 1863 г. винные откупа были отменены.

Стр. 225. *Пырин* — индюк.

Стр. 227. *Шар-мазло.*— По-видимому, речь идет об игре «шар-касло» (нечто вроде крокета или гольфа), в которой играющие перегоняют палкой из лунки в лунку деревянный шар (см. А. Терещенко. Быт русского народа, ч. IV. Забавы. СПб., 1848, стр. 58).

Стр. 247. *Голопузая слободка...*— Народная частушка (*Ливанова*, стр. 274).

Стр. 249. *Туроват* — быстр, прыток.

Стр. 252. *Окуровски воеводы...*— Народная частушка, «переадресованная» Горьким окуровцам. Ср. вариант: «Спасские мещане/Пропили хомут с клещами» («Великорусские частушки» под ред. Е. Н. Елеонской. М., 1914, стр. 378).

Стр. 252. *Еруслан Лазарич* (Лазаревич) — богатырь, герой «Повести об Еруслане Лазаревиче», сложившейся в казачьей среде в начале XVII в. и позже ставшей на Руси народной. Сюжет повести заимствован, по-видимому, из поэмы Фирдоуси «Шахнаме».

Стр. 275. *Не во сне ли вижу я...*— Из псевдонародного стихотворения «Ах ты, воля, моя воля», посвященного отмене крепостного права; автор неизвестен. В марте 1911 г., закончив работу над второй частью повести, Горький писал Е. П. Пешковой: «Помнишь, как Максим в Арзамасе, на крыльце, пел „Ах ты, воля, моя воля!“ А я воспользовался» (*Архив Г*IX, стр. 112). Эта песня использована Горьким также в рассказе «Как я учился» (*Г-30*, т. 14, стр. 225) и в романе «Жизнь Клима Самгина» (*Г-30*, т. 19, стр. 24).

Стр. 286. *Насыкались* — покушались, натравляли, науськивали.

Стр. 286. *Откупа...*— См. примечание к стр. 223.

Стр. 286. *Рекрутчина общая* — система набора регулярной армии путем принудительной повинности, обязывающей население, платившее подать, поставлять в армию рекрутов по требованию правительства. С 1862 г. были разрешены денежные откупа от рекрутчины.

Стр. 286. *А на фитанцах как нажились иные?* — Фитанцы— искаженное «квитанции». Речь идет, по-видимому, о выкупных рекрутских квитанциях (см. выше).

Стр. 293. «*Родное слово*» — хрестоматия для детей младшего возраста, составленная К. Д. Ушинским и пользовавшаяся

огромной популярностью (первое издание — 1864 г.; в 1915 г. вышло 147 издание). По этой книге учился и Горький (*Г-30*, т. 13, стр. 132).

Стр. 300. *...рбдится человек, а с ним и доля его рбдится...* — Горький очень интересовался темой доли, судьбы в народных поверьях. «Странное дело,— писал он В. И. Харциеву 23 мая (5 июня) 1912 г.,— века народ русский поет и плачет о Доле, века тщится одолеть Судьбу, и подчиняется ей, побежденный, а наши фольклористы по сей день не дали сборника „Песен о Доле“» (*Г-30*, т. 29, стр. 241). В период работы над «Матвеем Кожемякиным» Горький усиленно разыскивал статью А. Потебни «О Доле и сродных с нею существах», обращался с просьбой достать ее к фольклористу Н. Ф. Сумцову: «Мне эта книга необходима, найти же ее не могу ни в Питере, ни в Москве, хотя обращался ко всем букинистам столиц» (Н. Ф. Матвийчук. Творчество М. Горького и фольклор. Киев, 1959, стр. 92—93). Названная работа была впервые опубликована в «Древностях Московского археологического общества» (т. II, 1867); позже Сумцов прислал эту работу Потебни Горькому (*Г-30*, т. 29, стр. 226), но прямого влияния ее в тексте «Матвея Кожемякина» нет. Гораздо ближе для темы Горького была статья П. Иванова «Народные рассказы о доле», и в речах Маркуши писатель использовал некоторые мотивы из этих рассказов, например (цит. в переводе с украинского): «Доля — это свой ангел, который есть над всяким человеком 〈...〉 Есть люди, которые сами плохо делают, а долю ругают; виновата не доля, а своя воля 〈...〉 Как родится человек, тотчас к богу являются ангелы и спрашивают его, какую долю дать новорожденному. Бог тогда и велит дать долю или недолю. Каждому человеку дается по одной доле» («Сборник Харьковского историко-филологического общества», т. 4. Харьков, 1892, стр. 61—62). В *ЛБГ* хранится оттиск из «Университетских известий» (Киев, 1906) со статьей А. И. Сонни «Горе и Доля в народной сказке»; материалы этой статьи также использованы Горьким.

Стр. 312. *...прочитал «Робинзона» ∽ «Детский мир»...* — *«Робинзон»* — роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» (первый русский перевод — СПб., 1762—1764); *«Детский мир»* — «Детский мир и хрестоматия. Книга для классного чтения», сост. К. Ушинский. СПб., 1861.

Стр. 313. *Черные стены суровой темницы...* — Отрывок из стихотворения Н. Ф. Щербины «Узник» (1851).

Стр. 318. *Пресвятая Прасковея Пятница...* — Имя великомученицы греческой церкви Параскевы, житие и казнь которой церковь относит к эпохе имп. Диоклетиана (284—305), на Руси изменилось на Прасковея (Прасковья). Поскольку «Параскева» по-гречески означает «пятница», ее имя в народных поверьях слилось с представлением о пятнице как дне распятия Христа.

Стр. 323. *В Петербурге убили царя...* — 1 марта 1881 г. по приговору исполнительного комитета партии «Народная воля» Александр II был убит бомбой, брошенной народовольцем И. И. Гриневицким.

С т р. 325. *Какого-то князя со Владимирко...*— Имеется в виду князь Володимирко Володаревич (ум. 1152), объединивший Галицкую землю.

С т р. 328. *Ды-ля чи-иво беречься мне?..*— Из романса И. П. Мятлева «Плавающая ветка» (1840), музыка А. Паскуа.

С т р. 329. *Оле* — увы.

С т р. 329. *...сказано: паси овцы моя...*— Евангелие от Иоанна, гл. 21, стих 16.

С т р. 329. *...о свиниях же — ни слова...*— Согласно евангельской легенде, Христос выгнал бесов из человека, одержимого нечистой силой, и загнал их в свиней (Евангелие от Марка, гл. 5, стих 13).

С т р. 332. *Не гулял с кистенем я в др-рему-чем лес-су!..*— Популярная песня на слова стихотворения Н. А. Некрасова «Огородник» (1846), музыка Н. И. Филипповского.

С т р. 335. *Выморочное* — имущество, оставшееся без хозяина за смертью владельца и отсутствием наследников.

С т р. 338. *...наше время — не время великих задач...*— Популярный в 80-х годах лозунг либеральной интеллигенции, отказавшейся от задач социальной борьбы, выдвинутых революционными демократами 60-х годов.

С т р. 344. *О всепетая мати, бога родшая...*— Обращение к богородице в молитве.

С т р. 346. *...не добро ему быти едину...*— Библия. Бытие, гл. 2, стих 18.

С т р. 349. *Акафист* — хвалебная песнь в честь бога или святых, во время которой не позволяется сидеть. В переводе с греч. «акафист» значит: «не сидя».

С т р. 356. *Дай бог дождю...*— Детская песенная прибаутка (*Шейн*, т. I, вып. 1, стр. 28).

С т р. 356. *Ты, мать божья...*— Детская песенная прибаутка (см. там же).

С т р. 363. *Усыня, Бородыня, Маментий Никита* — персонажи многих «приворотных заговоров» (Л. Н. Майков. Великорусские заклинания. СПб., 1869, стр. 424).

С т р. 363. *Расцветала-а ягода калина-а...*— Русская народная «разбойничья» песня (*Ливанова*, стр. 281).

С т р. 367. „*...лучший подвиг — в терпении, любви и труде.*“— Неточная цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Подвиг есть и в сраженье» (1854). У Хомякова: Высший подвиг в терпенье, / Любви и мольбе (А. С. Хомяков. Стихотворения и драмы.— «Библиотека поэта», большая серия. Л., 1969, стр. 146).

С т р. 371. *Диоклетиан* — римский император Гай Аврелий Валерий из Диоклеи (284—305), установивший независимость императорской власти от сената и войска, гонитель христиан.

С т р. 389. *Диоскор* — патриарх александрийский, сторонник еретического учения. Халкидонский собор (451) осудил это учение и низложил Диоскора.

С т р. 392. *...много разрешительных заговоров знает.*— За-

говор — словесная формула, сопровождающая какие-либо действия или обряд и имеющая якобы магическую силу. «Разрешительный» заговор, например, снимает («разрешает») заклятье, которое положил на клад человек, спрятавший его.

Стр. 392. *...недавно прочитал прежалостную историю...*— В первых изданиях повести после этих слов было: «камчадалки одной: дикая женщина из Камчатки, уязвлена была...». Речь идет, вероятно, о романе И. Калашникова «Камчадалка» (СПб., 1833, ч. I—IV).

Стр. 398. *Гностики* — последователи гностицизма (от греч. gnosis — знание), религиозно-философского течения I—III веков н. э. в Римской империи. Для гностического учения, своеобразно объединившего христианские и языческие взгляды, характерен резкий дуализм — убеждение в непримиримом разделении «духовного» и «плотского» в человеке, «божественного» и «мирского» начал в жизни. Некоторые гностические секты утверждали, что «плоть» чужда духу и нужно ее «укрощать»; другие призывали дать ей полную волю, поскольку абсолютно чуждому ей духу она повредить не может. Таким образом, крайний аскетизм сочетался в гностической мистике с проповедью крайней разнузданности.

Стр. 398. *...я вам предложу книжку о них...*— Возможно, имеется в виду книга А. М. Иванцова-Платонова «Ереси и расколы первых трех веков христианства» (М., 1877, ч. 1), посвященная преимущественно исследованию гностицизма.

Стр. 399. *...сочинение гражданской печати...*— Гражданская печать — рисунок шрифта, введенный в 1710 г. Петром I для печати гражданских (не церковных) книг.

Стр. 399. «*Темные и светлые стороны русской жизни*» — роман П. Зарубина, вышедший в 1872 г. В очерке «О том, как я учился писать» (*Г-30*, т. 24) Горький называет эту книгу «скучнейшей», но, как вспоминал В. Десницкий, в одной из бесед Горький сказал: «А знаешь 〈...〉 если и учился я у кого-нибудь, то, пожалуй, только у Зарубина» (В. Десницкий. М. Горький. Л., ГИХЛ, 1940, стр. 351).

Стр. 400. *Душа своей пищи дожидает...*— Раскольничья песня (см. И. С. Аксаков. Краткая записка о странниках, или бегунах.—«Русский архив», 1866, стлб. 637).

Стр. 404. *Ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай?* — Часто встречающаяся в древнерусской литературе формула неверия в языческие приметы. Ср. в былине «Василий Буслаев молиться ездил»: «А не верую я, Васенька, ни в сон, ни в чох» («Русский фольклор. Эпическая поэзия».— «Библиотека поэта», малая серия. Л., 1935, стр. 475). В проповеди Кирилла Туровского (XII в.) осуждаются те, кто верует «...в стречу, в чех 〈...〉 и в птичьи граи» (С. Шевырев. История русской словесности. Ч. 1. М., 1859, стр. 42).

Стр. 407. *Аллилуйя* — «Халлелу ях» — хвалите Яхве, т. е. господа, хвалебный припев в христианских церковных песнопениях (*др.-евр.*).

Стр. 416. *Кантонисты* — в царской России солдатские

сыновья, числившиеся за военным ведомством и воспитывавшиеся в условиях жесточайшей дисциплины в специальных колониях. Особенно широко кантонисты набирались из еврейских семей.

Стр. 426. *...в Персии явились проповедники нового закона, Баба, Яхья, Беха-Улла, и написана священная книга Китабе-Акдес.— Баба* (Баб) — Мирза Али Мохаммед (1812—1849), основатель мусульманской религиозно-политической секты бабидов, возглавившей в 1848—1852 годах демократическое восстание в Иране; принятое им имя *Баб* означает «врата», через которые возможно общение между богом и людьми. *Яхья* (Сеид Яхъя-Дараби, казнен в 1850 г.) — ширазский ученый, последователь Баба, организовавший его побег из тюрьмы; после казни Баба проповедовал его учение. *Бехаулла* — Мирза Хосейн Али (1817—1892), ученик Баба; после поражения восстания и казни Баба он отбросил демократические стороны движения бабидов и выступил против революционной борьбы с реакцией; принятое им имя Бехаулла означает «блеск божий». *«Китабе-Акдес»* (*перс.*— «Священнейшая книга») — книга, излагавшая учение Баба; написана Бехауллой в 1870—1872 гг. В *ЛБГ* сохранилось русское издание «Китабе-Акдес» — «Священнейшая книга современных бабидов». Текст, перевод, введение и приложение А. Г. Туманского. СПб., 1899. В книге много пометок Горького.

Стр. 426. *«Пусть человек гордится тем, что любит род человеческий...»* — Слова Бехауллы, обращенные к английскому путешественнику Э. Г. Броуну. См. указанное выше издание «Священнейшей книги», стр. XXVI; в экземпляре Горького это высказывание отчеркнуто.

Стр. 429. *„Возьмите законы бога руками силы и могущества и покиньте законы невежд“.*— Цитата из «Священнейшей книги» (см. выше), стр. 16. В экземпляре Горького эти слова отчеркнуты.

Стр. 429. *„Скоро всё, что в мире, исчезнет, и останутся одни добрые дела“.*— Неточная цитата из «Священнейшей книги», стр. 18. В источнике: «Скоро всё, что в мире, исчезнет, а то, что останется,— это добрые деяния». В экземпляре Горького эти слова отчеркнуты.

Стр. 429. *Серафим Святогорец* — литературный псевдоним иеросхимонаха Сергия (в миру—С. А. Веснин, 1814—1853), автора книг: «Письма Святогорца к друзьям своим о святой горе Афонской» (СПб., 1850), «Сочинения и письма Святогорца, собранные после его смерти» (СПб., 1858), «Духовные стихи Святогорца» (СПб., 1862) и др.

Стр. 431. *...один греческий царь сказал: „Народы славянские ∽ повиноваться“.*— Известен следующий отзыв византийского императора Маврикия (539—602) о славянах: «Племена славян 〈...〉 любят свободу и не склонны ни к рабству, ни к повиновению» (Маврикий. Тактика и стратегия. СПб., 1903, стр. 180).

Стр. 431. *Арабы тоже весьма похвально писали, норве-*

*жане и другие...*— см.: А. Я. Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870; И. Мак у ш е в. Сказания иностранцев о быте и нравах славян. СПб., 1861.

Стр. 431. *Фридрих, царь немецкий, говорил, что „народ ∽ несчастен“.*— В «Записках Фридриха Великого о России в первой половине XVIII в.» утверждалось: «...простой народ тупоумен, предан пьянству, суеверен и бедствует» («Русский архив», кн. 1, 1877, стр. 8).

Стр. 431. *А один иностранный посол написал...*— Французский посол маркиз де-ла-Шетарди в своем письме отзывался о русском народе как о «привыкшем к неволе, к низкому, бесчеловечному раболепию перед тем, кто всего более ему делает зла» (Маркиз де-ла-Шетарди в России 1740—1742 годов. СПб., 1862, стр. 117).

Стр. 431. *Другой, тоже посол, записал...*— Французский посол граф Сегюр в своих «Записках» заявлял, что у «низшего класса народа в этом государстве нет всеоживляющего и подстрекающего двигателя — самолюбия» (Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. 1785—1789. СПб., 1865, стр. 31).

Стр. 433. *Чернокнижники, фармазоны!..*— *Чернокнижники* — колдуны, знахари; *фармазоны* — вольнодумцы, безбожники (от franc-maçon).

Стр. 435. *„Бог,— говорит,— вместил в меня небо и землю и всю тварь“...*— Из «Послания протопопа Аввакума к царю Алексею Михайловичу, писанного из Пустозерска» (Материалы для истории раскола за первое время его существования. Под ред. Н. Субботина. Т. V, ч. II. М., 1879, стр. 151).

Стр. 435. *...епископ Синезий о похвале сказал...*— Высказывание архиепископа Птолемаидского Синезия (379—412), философа-неоплатоника, оратора и поэта, цитируется Горьким по книге, хранящейся в *ЛБГ*: А. Остроумов. Синезий философ, архиепископ Птолемаидский. М., 1879, стр. 53.

Стр. 440. *«...блажен иже и скоты милует».*— Библия. Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, гл. 7, стих 24.

Стр. 452. *...на сорок лет в пустыню!* — По библейской легенде, бог осудил всех взрослых иудеев за ропот против него на сорокалетнее скитание в пустыне (Библия. Числа, гл. 14, стих 33).

Стр. 455. *Есть такое учение ∽ побеждают всегда только звери...*— Речь идет о реакционном учении Ф. Ницше (1844—1900), по которому судьбы человечества определяет только воля «человека-зверя», «белокурой бестии», стоящей «по ту сторону добра и зла».

Стр. 457. *Фома неверный* — апостол. В ответ на рассказ о смерти и воскресении Христа он заявил: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю» (Евангелие от Иоанна, гл. 20, стих 25).

Стр. 471. *У вас там тоже голод?* — Речь идет о конце

XIX в. В это время в России было несколько неурожайных лет (1889, 1891, 1892 и 1897 гг.), вызвавших голод во многих губерниях. Из них голод 1891 и 1892 годов был особенно сильным, приведшим к огромной смертности и расстройству сельского хозяйства.

Стр. 485. *Ильин день* — православный церковный праздник Ильи-пророка 20 июля ст. ст.

Стр. 486. *...икон нового — «фряжского» — письма.*— В конце XVII в. в русское иконописание начинает проникать европейское (итальянское, французское) влияние, предопределившее переход от традиционной («палатной») иконописи к реалистической живописи. Этот новый стиль письма назывался «фряжским» (от фряжский — генуэзский, шире — латинский, западный).

Стр. 488. *«Таковых бо есть царствие небесное».*— Евангелие от Марка, гл. 10, стих 14. В источнике: «царствие божие».

Стр. 488. *«Господи, пронеси мимо меня чашу сию»...*— Евангелие от Марка, гл. 14, стих 36.

Стр. 488. *...«блаженни кроткие»...*— Евангелие от Матфея, гл. 5, стих 5.

Стр. 490. *«И суть скопцы, иже исказиша сами себя царствия ради небесного»...* — Евангелие от Матфея, гл. 19, стих 12.

Стр. 491. *...в богородицах у хлыстов ходила...*— Хлысты — мистическая изуверская секта. Глава секты именует себя «сыном божиим», около него есть «двенадцать апостолов» и «богородица»; община хлыстов называется «корабль», во главе которого стоят «кормщик» и «кормщица», которая по преимуществу руководит «раденьями». Власть «кормщика» (и «кормщицы») в общине — неограниченная.

Стр. 496. *«Царство мое не от сего мира...»*— Евангелие от Иоанна, гл. 18, стих 36.

Стр. 503. *Не велел господь таланты в землю зарывать...*— Евангелие от Матфея, гл. 25, стихи 15—28.

Стр. 523. *Дуня долго плакала...*— Русская народная припевка (ср. вариант: «Я сидела плакала / В стакан слеза капала».— «Великорусские частушки» под ред. Е. Н. Елеонской. М., 1914, стр. 485).

Стр. 535. *...вспомнила о Христе с грешницей...*— По евангельской легенде, грешница омыла ноги Христа и отерла их своими волосами (Евангелие от Луки, гл. 7, стихи 37—50).

Стр. 544. *...прологá читаю со Митрием Ростовским не правленные.*— Митрополит Ростовский Димитрий около двадцати лет занимался составлением новой редакции Четий-Миней (после «Великих Четий-Миней», составленных в XVI в. митрополитом Макарием). В новой редакции им были использованы, в частности, латинские источники. Православная церковь полностью приняла его редакцию Четий-Миней; однако среди верующих они таким доверием не пользовались, и многие предпо-

читали читать прологи (входящие в Четьи-Минеи) в старой редакции.

Стр. 558. *«Коль ложь во спасение».*— Псалтырь, псалом 32, стих 17. Выражение возникло в результате неверного понимания церковнославянского текста: «Ложь конь во спасение», т. е. «Ненадежен конь для спасения».

Стр. 559. *Посулов жену зарезал!..*— В воспоминаниях М. Ф. Андреевой рассказывается, что первоначально, в не дошедшей до нас рукописи, «эпизод Марфы Посуловой 〈...〉 был, например, написан совсем иначе: Марфа из хорошей бабьей жалости, тоскливо скучая по Николаю, пасынку своему, которого старый мясник Посулов, ревнуя жену к сыну, отослал в другой, такой же страшный уездный город — Воргород, искренне и горячо привязалась к Матвею Кожемякину. Кожемякин же искал у Марфы утешения в острой тоске своей по любимой им постоялке Евгении Мансуровой». Однажды, когда Горький писал как раз сцену убийства Марфы мужем, М. Ф. Андреева услыхала в его кабинете шум и падение чего-то тяжелого. Она вбежала в кабинет и увидела, что писатель лежал на полу в глубоком обмороке. Она «расстегнула рубашку 〈...〉 чтобы компресс на сердце положить», и увидела — «с правой стороны от соска вниз тянется у него по груди розовая узенькая полоска». Когда, наконец, Горький пришел в себя, он проговорил: «Фу, чёрт!.. Ты понимаешь 〈...〉 как это больно, когда хлебным ножом крепко в печень!»

«Должно быть, видя мое испуганное лицо, он окончательно пришел в себя и рассказал мне, как сидят и пьют чай Матвей Кожемякин, Марфа Посулова и сам Посулов и как муж, видя, что она ласково и любяще, с улыбкой смотрит на Матвея, схватил нож, лежащий на столе, и сунул его женщине в печень.

— Ты понимаешь — сунул, вытащил, и на скатерть легла линейкой брызнувшая из раны кровь... Ужасно больно!

Несколько дней продержалось у него это пятно. Потом побледнело и совсем исчезло» (*Андреева*, стр. 200—202). В другом месте воспоминаний М. Ф. Андреева добавляет: «Я только потом поняла, что он до такой степени ярко представил себе эту боль, ее ощущение, рану этой женщины, что у него образовалась стигма, которая, я помню, держалась несколько дней» (там же, стр. 404).

Стр. 561. *«Помилуй мя, господи, яко истощен есмь...»* — Псалтырь, псалом 6, стих 3.

Стр. 564. *Бегуны* — беспоповщинская секта, требовавшая от своих членов уклоняться («убегать») от каких-либо гражданских обязанностей—платежа податей, воинской службы, паспортов, присяги, переписи и т. п.

Стр. 570. *«Познание умножает скорбь»*...— Библия. Книга Екклесиаста, гл. 1, стих 18. В источнике: «Кто умножает познание, умножает скорбь».

Стр. 571. *Как ни бойся, как ни беспокойся...*— Песня из городского фольклора (*Ливанова*, стр. 270).

Стр. 571. *...о столяре, который будто все тайны знает...*— По всей вероятности, здесь речь идет о выдающемся деятеле немецкой социал-демократии Августе Бебеле (1840—1913); по профессии Бебель был токарь (ср. в «Моих университетах»: «Плотник необыкновенного ума,— его сам король на советы приглашает».— *Г-30*, т. 13, стр. 570).

Стр. 583. «*Хвалите имя господне...*» — Псалтырь, псалом 112, стих 1.

Стр. 584. «*Иже аще не приимет царствия божия яко отроча...*» — Евангелие от Марка, гл. 10, стих 15.

Стр. 585. «*Всяко убо древо не творяще плода посекается...*»— Евангелие от Матфея, гл. 3, стих 10.

Стр. 586. *...и смоковницу можно словом иссушить...*— По евангельской легенде, Христос, увидя смоковницу без плодов, сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек» — и смоковница тотчас засохла (Евангелие от Матфея, гл. 21, стих 19).

Стр. 588. *Пантелемон-целитель* — Пантелеймон, христианский великомученик; учился врачебному искусству у знаменитого врача Евфросима. За распространение христианского учения был подвергнут пыткам и казнен в 305 г.

Стр. 595. *Всё о войне говорит теперь...*— Речь идет о начавшейся русско-японской войне 1904—1905 годов.

Стр. 602. *...«покаяния двери отверзи ми»...*— Церковное песнопение, исполняемое на вечернем богослужении перед великим постом.

Стр. 612. *Там, в Саратовской, вокруг волнение идет...*— В начале 1905 г. в Саратовской губернии происходили массовые выступления крестьян, сопровождавшиеся разгромами и поджогами имений.

Стр. 612. *...немцы — здоровеннейший народ, Екатериною поселен...*— В 1762—1763 гг. Екатерина II пригласила иностранцев селиться на свободных землях России. В это время в б. Самарской и Саратовской губерниях образовались колонии немцев, переселенцев из Германии. На первых порах им были даны огромные льготы, позволившие укрепить хозяйства и приобрести такую силу, что они начали вытеснять помещичьи хозяйства.

Стр. 615. *Воссияй мирови свет разума!* — Псалтырь, псалом 96, стих 11. В источнике не «мирови» ⟨миру⟩, а «праведнику».

Стр. 616. *Вскую шаташася языцы!* — Зачем мятутся народы! (Псалтырь, псалом 2, стих 1).

Стр. 616. *Содом и Гоморра...*— По библейской легенде, бог разрушил города Содом и Гоморру за развращенность их жителей (Библия. Бытие, гл. 13, стих 10).

Стр. 630. *Благодарю тя, господи...*— Православная молитва, читаемая после причастия.

## ‹БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ›

(Стр. 633)

Повесть осталась незаконченной. При жизни автора отрывок из нее: «Летом Варвара Дмитриевна ∽ девочка засыпает с непогасшей улыбкой на лице» (*стр. 650, строка 29 — стр. 657, строка 26*) под заголовком «Из повести „Большая любовь“» был напечатан в сб. «Белый цветок», издание Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом. Полтава, 1912, стр. 2—5, и с небольшой авторской правкой перепечатан в газете «Правда», 1913, № 1, 1 января. Весь сохранившийся текст впервые опубликован в *Г-30*, т. 9, стр. 605—630.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф (ХПГ-49-2).

Печатается по черновому автографу с внесением последней авторской правки по газете «Правда».

«Большая любовь»—проектировавшаяся писателем третья часть окуровского цикла. Первое упоминание о повести содержалось, по-видимому, в не дошедшем до нас письме Горького к И. А. Бунину, которому автор намеревался посвятить повесть. Бунин ответил на это 22 октября (4 ноября) 1909 г.: «Дорогой Алексей Максимович, большое спасибо! Очень тронут Вашим намерением—это для меня большая честь, не говоря уже о том, что твердо верю, что задуманное Вами будет Вашей чудесной песнью» (*Г Чтения*, 1961, стр. 43).

В конце октября 1909 г. был закончен «Городок Окуров» и писатель приступил к продолжению задуманного повествования, но не ко второй, а третьей части его — к «Большой любви». «...необходимо написать русскую девушку с большой любовью,— пишет Горький Амфитеатрову в октябре-ноябре 1909 г.— Большая любовь — вы понимаете? Это, может быть, то, чего не было, нет еще, но что должно быть. А я — никогда не писал о девушках и о любви» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-58). Через некоторое время писатель сообщает тому же адресату: «...а у меня — работа! Роман! С любовью! В уездном городе — вы понимаете? Сосновый лес. Воинский начальник! Казначей! Городовой! Чумацкие песни!

Не шутя говорю — всё это для меня так интересно, что я дрожу над бумагою, как мальчишка, и точно только что начал

писать. Слов мне надобно нежных и простых — тысячи! Гневных и смешных — тысячи! Рожицы предо мною денно и нощно стоят эдакие уездные» (*Г Чтения*, 1959, стр. 315).

Упоминаемые в письме детали не оставляют никаких сомнений в том, что речь идет о повести «Большая любовь», точнее — о второй части сохранившегося наброска, где есть и сосновый лес и чумацкие песни, где упоминаются и воинский начальник и казначей.

Но идейный замысел автором еще не сформулирован. Можно только догадываться, что в третьей части хроники писатель намеревался показать новых героев той же «уездной, звериной глуши», но, в отличие от большинства других, сумевших сохранить чистую душу и светлые стремления.

Особенно большое место в повествовании должны были занять проблемы воспитания ребенка, который именно в результате правильного воспитания должен будет вырасти человеком, умеющим противостоять «свинцовым мерзостям» мещанского захолустья. О такой своей задаче сообщал Горький в декабре 1909 г. писательнице Л. А. Никифоровой: «Ваше письмо попало как раз в „настроение“ — я сейчас занимаюсь рассказом о „большой любви“ — героини мать и дочь, приходится говорить о боге, природе и т. д.— иными словами, я думаю дни и ночи как раз над вопросом, который Вы поставили 〈...〉 Необходимо — для полноты ощущения жизни, т. е. для счастья — учить детей „большой любви“ — к родине, к нации, к человечеству, доверию к силе разума, удивлению пред красотою человеческой души, только всё это — способно создать органическое уважение к человеку, к личности» (*Г Чтения*, 1959, стр. 317).

Но в конце декабря 1909 г. Горький оставил работу над «Большой любовью».

Дошедшая до нас рукопись повести (ХПГ-49-2) представляет собой черновой автограф с большой авторской правкой: вычеркиваниями, исправлениями, вставками на полях и т. д. Заголовка нет. В тексте синим карандашом вычеркнуты и ничем не заменены два больших отрывка. Исключение их нарушает связность повествования, и поэтому они напечатаны в настоящем томе в квадратных скобках.

Кроме этой рукописи, среди бумаг Горького имеются три небольших листка с текстом, относящимся к задуманному произведению.

На первом листке излагаются обстоятельства смерти Варвары Дмитриевны (опубликовано в *Г-30*, т. 9, стр. 630, строки 32—38); текст второго листка представляет собой высказывание девушки, вероятно, героини повести, о любви к родине; на третьем листке — описание разговора девушки с доктором и Кожемякиным (опубликованы: *Архив* $Г_{III}$, стр. 262).

Нельзя быть уверенным, что хранящиеся в Архиве А. М. Горького рукопись и отдельные листки — это всё, что было написано автором для повести «Большая любовь»: вполне возможно, что существовали и другие наброски. М. Ф. Андреева, например, сообщала А. Н. Тихонову 27 августа ст. ст. 1911 г.:

«...написал он ⟨Горький⟩ третью часть ⟨„Матвея Кожемякина“⟩ — очень хорошо, по-моему, но шедевром его будет „Большая любовь“, хотя пока я знакома только с небольшими отрывками ее, но — очень, очень хороша!» (*Андреева*, стр. 206). В этом письме заслуживают внимания два факта: дата его и упоминание отрывков. Нам пока пзвестен по существу только один отрывок, а что касается даты, то, по-видимому, не случайно М. Ф. Андреева вспоминает «Большую любовь» во второй половине 1911 г., т. е. почти через два года после того, как автор прекратил всякую работу над повестью. Есть основания полагать, что именно в это время, заканчивая четвертую часть «Матвея Кожемякина», Горький вновь обратился к «Большой любви». Во всяком случае через год, в июле 1912 г., Горький в одном из писем Бунину сообщил, что хочет посвятить ему рассказ «Рождение человека» в отдельном издании. «...или,— добавлял он,— напишу другой. Как раз вот теперь пишу и — кажется — что-то удачное» (*Г Чтения*, 1961, стр. 65). О каком новом рассказе здесь идет речь — остается неясным, но когда Бунин, поблагодарив Горького за намерение, задал вопрос: «Куда отдадите новый рассказ?» (там же, стр. 66), Горький ответил: «Посвящу я Вам не рассказ, а повесть „Большая любовь“, которую сейчас пишу, а где буду печатать — еще не знаю» (там же), а через несколько дней он вновь писал: «Не ответил Вам на вопрос — куда отдам „Большую любовь“? Если эта вещь окажется интересной и небольшой — предложу ее предполагаемым В. В⟨ересаевым⟩ сборникам» (там же, стр. 68).

Интерес Горького к «Большой любви» мог пробудиться в это время и по другой причине: в апреле 1912 г. правление Полтавского общества борьбы с туберкулезом обратилось к писателю с просьбой дать какое-нибудь произведение для опубликования в благотворительном сборнике. Горький охотно откликнулся на эту просьбу и послал обществу отрывок из сохранившегося наброска к повести, несколько его отшлифовав и сопроводив посылку следующим письмом:

«Правлению Полтавского общества борьбы с туберкулезом.

Милостивые государи!

Срок, назначенный Вами для представления рукописи в сборник,— слишком краток; я боюсь опоздать и посылаю то, что имею под рукою готовым, очень сомневаясь, что этот рассказ годится для Вашей цели.

Если я успею заменить его другим — сделаю это.

Желаю делу Вашему доброго успеха.

12-го мая 1912 г.
Capri

А. Пешков»

Отрывок, присланный Горьким, и приведенное выше письмо его были опубликованы в сборнике «Белый цветок» (Полтава, 1912).

1(14) декабря 1912 г. А. Н. Тихонов, заведовавший тогда литературным отделом «Правды», обратился к Горькому с письмом: «От имени товарищей по „Правде“ и своего — очень прошу Вас — не пришлете ли чего-нибудь для рождественского номера газеты.

Хотя бы в 5 строк!

Очень нужно» (Архив А. М. Горького, КГ-п-75-9-15).

Писатель ответил 12(25) декабря: «...будем стараться и, вероятно, к праздникам пришлем Вам нечто от Горького» (*Г Чтения*, 1959, стр. 26). Через неделю Тихонову был выслан тот же отрывок из «Большой любви» с сопроводительным письмом Горького: «Вещица, при сем прилагаемая, была уже напечатана в сборнике „Біла квітка“, изданном весною в Полтаве местным отделением Лиги борьбы с туберкулезом. Кроме этого я сейчас ничего не могу дать» (там же, стр. 27).

Присланный материал был напечатан под заголовком «Большая любовь (отрывок из повести)» в номере от 1 января 1913 г. со следующим примечанием от редакции: «Напечатан в сборнике „Біла квітка“, изданном Полтавским о-вом „Борьбы с туберкулезом“. Печатается в „Правде“ с разрешения автора».

Хотя в этом примечании сказано лишь о «разрешении автора» на перепечатку, опубликованный текст содержит и небольшую, но бесспорно авторскую правку.

С т р. 643. *Крестовский*, *Незлобин*, *Маркевич*, *Головин* — писатели, представители реакционного, «антинигилистического» направления в русской литературе. В. В. *Крестовский* (1840—1895) — автор романов «Панургово стадо» (1869) и «Две силы» (1874), клеветнически изображавших революционеров-шестидесятников. *Незлобин* — псевдоним А. А. Дьякова (1845—1895), фельетониста «Русского вестника» и «Московских ведомостей», автора рассказов из жизни русских «нигилистов» за рубежом («Кружковщина. Наши лучшие люди — гордость нации». Одесса, 1879). Б. М. *Маркевич* (1822—1884) — автор трилогии «Четверть века назад» (1878) и романов «Перелом» (1881) и «Бездна» (1884) с резко антиреволюционным содержанием. К. Ф. *Головин* (1843—1913) — автор повестей «Вне колеи» (1882) и «Дядюшка Михаил Петрович» (1886), содержащих клевету на русскую революционную молодежь.

С т р. 644. «*Русский вестник*» — реакционный литературно-политический журнал, издававшийся в 1856—1906 годах.

С т р. 644—645. *Вперед, без страха и сомненья!..*— Первая строка известного стихотворения А. Н. Плещеева, написанного в 1846 г. и ставшего очень популярной песней в кругах передовой молодежи 1850—60-х годов.

С т р. 651. *Не дай боже смерти...*— Украинская народная песня (И. Я. Р у д ч е н к о. Чумацкие народные песни. Киев, 1874, стр. 234).

С т р. 652. *Ой, біда, біда...*— Украинская народная песня (см. там же, стр. 88).

Стр. 659. *Свя-а-тый бо-оже...*— Так называемая «Трисвятая, или Серафимская песнь», одна из самых распространенных христианских молитв.

## ‹ЗАПИСКИ d-r'a РЯХИНА›

(Стр. 661)

Произведение осталось незаконченным и при жизни автора не публиковалось. Отрывок из него (*стр. 681, строка 16 — стр. 684, строка 39* и *стр. 665, строка 10 — стр. 674, строка 19*) впервые был напечатан в журнале «Огонек», 1946, № 23, стр. 16—18, а полностью весь сохранившийся текст напечатан в *Архиве* $Г_{VI}$, стр. 30—52; там же, на стр. 52—58, опубликованы 23 заметки Горького к «Запискам...».

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф «Записок...» (ХПГ-30-3-1).

Печатается в виде трех отдельных фрагментов по черновому автографу. В тексте сохранен разнобой в написании имен, имеющийся в автографе.

22 сентября (5 октября) 1911 г., закончив четвертую часть «Матвея Кожемякина», Горький писал Е. П. Пешковой: «Сейчас же начну „Записки доктора Ряхина“ — вещь небольшая» (*Архив* $Г_{IX}$, стр. 124). Это письмо — единственный документ, в котором говорится о произведении именно с таким заглавием. В работах о Горьком указывается, что подробно замысел этот изложен автором в письме к Амфитеатрову от середины октября 1911 г.: «Для „Совр‹еменника›“ думаю написать „Дневник никудышника“, герой — „человек, который выдумал себя“, и выдумка эта пожрала его. Много места посвящу описанию тех физических условий, среди коих слагается психика никудышников». Если на этом оборвать цитату, как обычно делается, то, пожалуй, можно считать, что здесь действительно речь идет о замысле «Записок доктора Ряхина». Но письмо имеет продолжение:

«Намерение: приласкать человека; конечно — дрянь ты, милый, но — согласен — жизнь твоя трудная! Однако — ты дрянь, голубчик!

Думаю, что напишу весело, так что хотя и будут слезы, но и смешному простор» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-1-25-132).

Однако такой поворот замысла — приласкать человека и написать весело — не имеет ничего общего с образом Ряхина, каким он встает с сохранившихся страниц Горького.

«Никудышники» — это Матвей Кожемякин, Никон Маклаков и другие люди, прожившие свою жизнь зря, не сделав ничего полезного народу, но и не навредившие ему («Неудавшийся хороший человек Матвей Кожемякин»,— назвал его Горький в одном из писем.— Архив А. М. Горького, ПГ-рл-41-21-1).

Не таков Ряхин: давно уже замечено, что он — в какой-то степени прообраз Клима Самгина. Они оба себя выдумали и в этой выдумке противопоставили себя народу, людям — борцам и творцам. Ничего «веселого» Горький о них сказать не мог и не хотел ни «приласкать», ни даже «пожалеть» их.

Поэтому можно предположить, что «Дневник никудышника» — какое-то другое произведение, не связанное с «Записками доктора Ряхина».

Как бы то ни было, кроме письма Горького к Е. П. Пешковой, мы не имеем других документальных свидетельств о замысле «Записок доктора Ряхина», начало работы над которыми относится к осени 1911 г.

Сохранившаяся черновая рукопись состоит из трех фрагментов:

1. Черновик начала «Записок...» («Я перепортил множество бумаги ∽ о самом главном и единственно великом в жизни...»), отброшенный автором.

В конце черновика красным карандашом сделана запись: «Всё это не то, не так, всё не годится». Смысл записи остается неясным: то ли это авторская помета для себя, с оценкой написанного, то ли это новый вариант зачеркнутого Горьким рассуждения Ряхина, завершающего фрагмент: «Всё это, конечно, излишне, как всякое предисловие, как вся моя жизнь».

2. Черновик средней части текста без начала («веселиться. Меня невольно отодвигало ∽ но мне не нравится, как я жил»). В настоящем издании начальная страница фрагмента («веселиться. Меня невольно отодвигало ∽ большое багровое солнце») печатается в томе вариантов, поскольку этот текст позже в переработанном виде вошел в следующий фрагмент.

3. Переписанное набело другое начало («Провожая меня в университет ∽ большое багровое солнце»). В конце беловика — авторская помета: «Отсюда прямо на 17-ю стр. Астрахань, Бирючья коса, ловля рыбы. Калмыки». Поскольку ни один сохранившийся набросок не имеет 17-й страницы, очевидно, что нам известна только часть авторской рукописи.

Кроме того, до нас дошли листок с первоначальным вариантом первых 9 строк третьего фрагмента и большое число заметок к «Запискам...». Большинство заметок написано по старой орфографии, т. е. они относятся, по-видимому, ко времени работы автора над основным наброском. Однако среди них есть несколько, написанных уже по новой орфографии, в частности, без твердого знака в конце слов, но с разнобоем в окончаниях прилагательных (аго — яго, ого — его), характерным для Горького в период 1919—1928 годов.

Это позволяет сделать вывод, что, прекратив в 1911 г. работу над произведением, писатель не оставлял своего замысла и в более позднее время. Об этом говорят и некоторые позднейшие заметки, находящиеся на тех же листках бумаги, на которых ранее были сделаны заметки по старой орфографии. По всей вероятности, эти листки хранились у автора в более или менее

собранном виде и, при необходимости сделать новую заметку, он брал те же листки бумаги.

О том, что Горький обращался к сохранившейся рукописи наброска «Записок...» в более позднее время, говорит и такой факт: на л. 3 об. в тексте есть фраза: «Мне кажется, что где-то в жизни есть умный, чуткий человек, который всё понимает». Фраза эта вычеркнута синим карандашом, причем — в отличие от других вычерков (построчных, аккуратных) — этот вычерк сделан очень небрежно, а на полях напротив него другими чернилами и другим пером, уже по новой орфографии, сделана помета: «Это сказано было Ф. А. Нищенковым в прошлое воскрес‹енье›».

Вероятно, обдумывание замысла «Записок доктора Ряхина» продолжалось до тех пор, пока идея их не нашла более полного и разностороннего воплощения в «Жизни Клима Самгина».

Стр. 662. ...*Гегель сказал — «Тем хуже для фактов»*...— Слова, приписываемые Гегелю, ответившему так на замечание, что его теории не согласуются с фактами.

Стр. 662. ...*Бальзак говорил — «Глупо, как факт»*...— В «Шагреневой коже» Бальзака — «хоть глупо, но факт» (О. Бальзак. Собр. соч. в 15 томах, т. 13. М., 1955, стр. 207).

Стр. 667. ...*капитаны Гатрасы, Лесные бродяги, Курумилла*...— Герои романов Жюля Верна «Приключения капитана Гаттераса», Габриэля Ферри «Лесной бродяга» и Густава Эмара «Курумилла», «Красный кедр», «Великий предводитель аукасов».

Стр. 673. *Георг Самаров, Борн, Понсон дю Террайль, Буаагобей, Эберс.— Георг* (Грегор) *Самаров* — псевдоним немецкого бульварного романиста Иоганна Фердинанда Оскара Мединга (1829—1903). *Георг Борн* — псевдоним немецкого писателя Карла Георга Фюльборна (1837—1902), автора авантюрных романов на исторические темы («Тайны мадридского двора, или Изабелла, бывшая королева Испании» и др.). *Понсон дю Террайль* (1829—1879) — плодовитый французский писатель, автор занимательно построенных авантюрно-уголовных романов, среди которых особой известностью пользовались «Похождения Рокамболя» и «Воскресший Рокамболь». *Буаагобей* (Буагобе) — французский писатель Фортюне Кипполин Аугуст Буагобе (1821—1891), автор многочисленных авантюрных романов. *Эберс* — немецкий ученый-египтолог и писатель Георг Мориц Эберс (1837—1898), им создано большое число исторических романов. О творчестве Георга Самарова Горький писал в серии фельетонов «Между прочим»: «...толстущие, скучнейшие, якобы исторические романы Георга Самарова, написанные тяжеловесным языком до тошноты точного немца...». Там же он назвал Георга Борна «бездарным подражателем» Понсон дю Террайля (*Г-30*, т. 23, стр. 45). Что касается Эберса, то в 1936 г., определяя состав серии «Исторические романы», Горький написал А. Н. Тихонову: «Нужен Эберс» (*Г Чтения*, 1959, стр. 66). Роман Эберса «Император» был выпущен в этой серии в 1940 г.

С т р. 674. *Гелиотропизм* — здесь культ солнца у древних славян.

С т р. 674. *Хорс*, *Ярило* — божества восточнославянской языческой мифологии.

С т р. 674. *...в начале бе Слово...*— Евангелие от Иоанна, гл. 1, стих 1.

С т р. 676. *Буриданов осел* — выражение, приписываемое французскому философу-схоласту Жану Буридану (ок. 1300—ок. 1350). Доказывая тезис об отсутствии свободы воли, Буридан якобы привел в пример осла, который умер от голода, так как, находясь между двумя одинаковыми охапками сена, не знал, какую из них выбрать; однако в сохранившихся произведениях Буридана такого примера нет.

С т р. 680. «*Наши разногласия*» — работа Г. В. Плеханова (1885), одно из первых выступлений марксистов против народников.

С т р. 680. «*Выдь на Волгу*» — см. примечание к стр. 23.

С т р. 683. *Тейлор* — Тайлор Эдуард (1832—1917), английский этнограф и социолог, создатель ряда прогрессивных для своего времени концепций (эволюционная школа в этнографии, теория происхождения религии и др.), слабой стороной которых был идеалистический подход к истории развития культуры.

## 〈«Я ВАМ НЕ ПОМЕШАЮ?..»〉

(Стр. 685)

Впервые напечатано в книге: Архив А. М. Горького, т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951, стр. 60—69.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф со значительной правкой (ХПГ-49-12). По содержанию и бумаге набросок датируется 1911—1912 годами.

Печатается по автографу.

С т р. 687. *...романы о карбонариях, о восстании гладиаторов, о борьбе славян за свободу...*— Речь идет о произведениях Этель Лилиан Войнич «Овод» (1898 — здесь и далее указываются даты первых русских изданий). Рафаэлло Джованьоли «Спартак» («Дело», 1880, № 10—12, 1881, № 1—8), Генрика Сенкевича «Крестоносцы» (1900), а также, видимо,— Алоиса Ирасека «Псоглавцы» (1910) и Теодора Томаша Ежа (Зигмунда Милковского) «На рассвете» (1899). Появление последней книги горячо приветствовал Горький, с уважением отзываясь об ее авторе, который «всю свою долгую жизнь посвятил» борьбе «за права людей» (М. Горький. Библиографическая заметка.— «Нижегородский листок», 1899, № 352, 23 декабря).

С т р. 687. *...о Спартаке, карбонариях, 93 годе, о болгарах.*— Имеются в виду упомянутые выше произведения Р. Джо-

ваньоли, Э. Войнич, Т. Ежа, а также романы Виктора Гюго «93 год» (1874) и Ивана Вазова «Под игом» («Мир божий», 1896, № 1—10).

С т р. 688. *Фиваида* — местность близ египетского города Фивы, где процветало монашество; слово это употреблялось в смысле «скит».

С т р. 689. *...как Аглавена и Селизетта со их маленького брата, Тентажиля.* — Здесь явно спутаны персонажи разных пьес Морпса Метерлинка: сестрами Тентажиля в драме «Смерть Тентажиля» (1894) являются Игрена и Беланжера; Аглавена и Селизетта — персонажи одноименной пьесы (1896), не сестры.

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

**А. М. Горький.** Капри, 1910—1911 гг. . . . . 4

**«Городок Окуров».** Страница машинописи с автографом . . 53

**«Жизнь Матвея Кожемякина».** Страница машинописи с правкой М. Горького . . . . . 347

**«Жизнь Матвея Кожемякина».** Страница печатного текста с правкой М. Горького для издательства «Книга» . . . 499

**<«Большая любовь»>.** Страница автографа . . . . . 639

**<«Записки d-r'a Ряхина»>.** Страница автографа . . . . . 663

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПОВЕСТИ


| | Текст | Примечания |
|---|---|---|
| Городок Окуров | 5 | 700 |
| Жизнь Матвея Кожемякина | 123 | 716 |


## НАБРОСКИ


| | | |
|---|---|---|
| ‹Большая любовь› | 633 | 749 |
| ‹Записки d'-га Ряхина› | 661 | 753 |
| ‹«Я вам не помешаю?..»› | 685 | 756 |

| | |
|---|---|
| ПРИМЕЧАНИЯ | 693—756 |
| Условные сокращения | 695 |
| Вступительная заметка | 697 |
| Список иллюстраций | 757 |

*Печатается по решению*
*Президиума Академии наук СССР*
*и Комитета по печати*
*при Совете Министров СССР*

*
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили
*Е. И. Прохоров* и *В. Ю. Троицкий*

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор десятого тома *А. Л. Дымшиц*

*

Редактор издательства *А. И. Корчагин*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технический редактор *А. П. Ефимова*
Корректоры *В. Г. Богословский*, *Т. А. Пономарева*

*

Сдано в набор 25/VIII 1970 г. Подписано к печати 19/I 1971 г.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Печ. л. 23,75+1 вкл. (0,062 п. л.)
Усл. печ. л. 40. Уч.-изд. л. 37,1.
Тираж 299 300 экз. Тип. зак. № 1370.
Цена 1 р. 50 к.

*Издательство «Наука»*
*Москва, К-62, Подсосенский пер., 21*
*Ордена Трудового Красного Знамени*
*Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова*
*Главполиграфпрома Комитета по печати*
*при Совете Министров СССР*
*Москва, М-54, Валовая, 28*